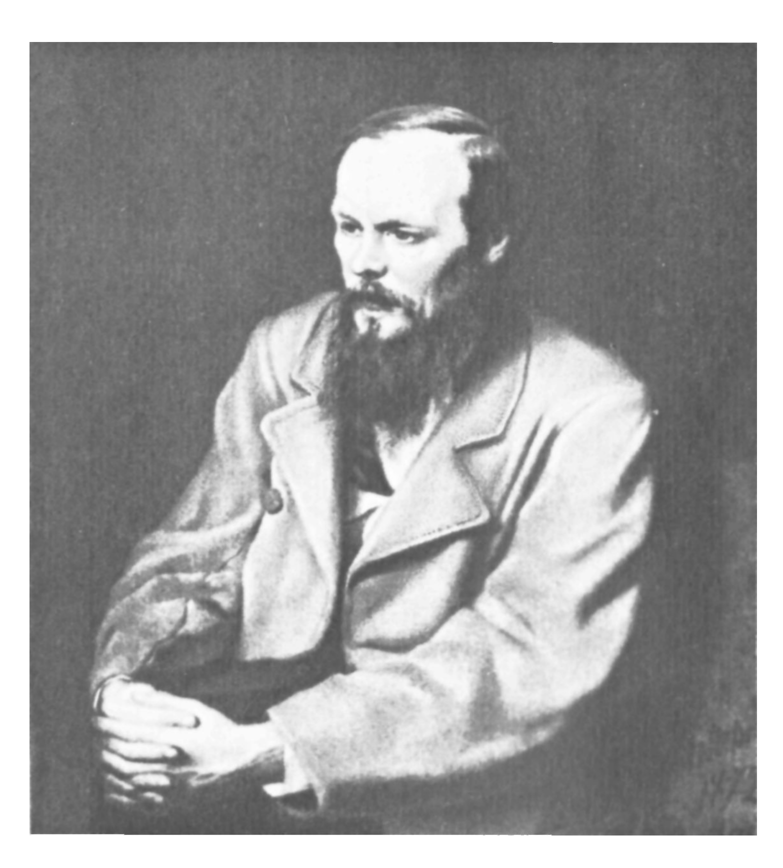
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





Ф. М. Достоевский. Художник В. Перов. 1872



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Редакционная коллегия:

ВАЦУРО В. Э.
ГЕЙ Н. К.
ЕЛИЗАВЕТИНА Г. Г.
МАКАШИН С. А.
НИКОЛАЕВ Д. П.
ТЮНЬКИН К. И.



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р1
Д70

Составление и комментарии

К. ТЮНЬКИНА

Подготовка текста

К. ТЮНЬКИНА и М. ТЮНЬКИНОЙ

Оформление художника

В. МАКСИНА

Д $\frac{4702010101-253}{028(01)-90}$ 14-90

ISBN 5-280-01025-1 (Т.2)
ISBN 5-280-01024-3

© Издательство «Художественная литература», 1990 г.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

МОИ СВИДАНИЯ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание». Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения

личной его благодарности мне за то, что по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город. Заметив через несколько минут, что порыв чувства уже утомляет его нервы и делает их способными успокоиться, я спросил моего гостя о первом попавшемся мне на мысль постороннем его болезненному увлечению и с тем вместе интересном для него деле, как велят поступать в подобных случаях медики. Я спросил его, в каком положении находятся денежные обстоятельства издаваемого им журнала, покрываются ли расходы, возникает ли возможность начать уплату долгов, которыми журнал обременил брата его, Михаила Михайловича, можно ли ему и Михаилу Михайловичу надеяться, что журнал будет кормить их. Он стал отвечать на данную ему тему, забыв прежнюю; я дал ему говорить о делах его журнала сколько угодно. Он рассказывал очень долго, вероятно часа два. Я мало слушал, но делал вид, что слушаю. Устав говорить, он вспомнил, что сидит у меня много времени, вынул часы, сказал, что и сам запоздал к чтению корректур, и, вероятно, задержал меня, встал, простился. Я пошел проводить его до двери, отвечая, что меня он не задержал, что, правда, я всегда занят делом, но и всегда имею свободу отложить дело и на час и на два. С этими словами я раскланялся с ним, уходившим в дверь.

Через неделю или полторы зашел ко мне незнакомый человек скромного и почтенного вида. Отрекомендовавшись и, по моему приглашению, усевшись, он сказал, что думает издать книгу для чтения малообразованным, но любознательным людям, не имеющим много денег; это будет нечто вроде хрестоматии для взрослых; вынул два или три листа и попросил меня прочесть их. Это было оглавление его предполагаемой книги [1]. Взглянув на три, четыре строки первой, потом четвертой или пятой страниц, я сказал ему, что читать бесполезно: по строкам, попавшимся мне на глаза, достаточно ясно, что подбор сделан человеком, хорошо понявшим, каков должен быть состав хрестоматии для взрослых, прекрасно знающим нашу беллетристику и популярную научную литературу, что никаких поправок или пополнений не нужно ему слышать от меня. Он сказал на это, что в таком случае есть у него другая просьба: он человек, чуждый литературному миру, не знакомый ни с одним литератором; он просит меня, если это не представляет мне особого труда, выпросить у авторов выбранных им для его книги отрыв-

ков дозволения воспользоваться ими. Цена книги была назначена очень дешевая, только покрывающая издержки издания при распродаже всех экземпляров. Потому я сказал моему гостю, что ручаюсь ему за согласие почти всех литераторов, отрывки из которых он берет, и при случае скажу тем, с кем видаюсь, что дал от их имени согласие, а с теми, о ком не знаю вперед, одобрят ли они согласие, данное за них, я безотлагательно поговорю и прошу его пожаловать ко мне за их ответом дня через два. Сказав это, я просмотрел имена авторов в оглавлении, нашел в них только одного такого, в согласии которого не мог быть уверен без разговора с ним; это был Ф. М. Достоевский. Я выписал из оглавления книги, какие отрывки его рассказов предполагается взять, и на следующее утро отправился к нему с этой запиской, рассказал ему, в чем дело, попросил его согласия. Он охотно дал. Просидев у него, сколько требовала учтивость, вероятно больше пяти минут и наверное меньше четверти часа, я простился. Разговор в эти минуты, по получении его согласия, был ничтожный; кажется, он хвалил своего брата Михаила Михайловича и своего сотрудника г. Страхова; наверное, он говорил что-то в этом роде; я слушал, не противоречил, не выражал одобрения. Дав хозяину кончить начатую тему разговора, я пожелал его журналу успеха, простился и ушел.

Это были два единственные случая, когда я виделся с Ф. М. Достоевским.

26 мая 88. Астрахань.

А. П. СУСЛОВА

ИЗ КНИГИ «ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ»

19 августа, среда. <1863.>

<...> Сейчас получила письмо от Федора Михайловича [1]. Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтоб сказать все, но теперь решила писать.

19 августа.

«Ты едешь немножко поздно... [2] Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку: — все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. — Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый!

Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось *говорить* с тобой о России».

В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный! какой ум! какое сердце! <...>

27, среда [3].

Сейчас получила письмо от Федора Михайловича по городской уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень.

Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо мое придет не скоро), не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я *предупредила* его, чтобы он прежде мне написал, иначе что б было. <...>

Того же числа вечером.

Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Федор Михайлович явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. «Здравствуй», — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство.

— Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.

— Какое письмо?

— Чтобы ты не приезжал.

— Отчего?

— Оттого, что поздно.

Он опустил голову.

— Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.

Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. *Я не смотрела на него. Он только по временам* кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом: «Vite, vite», причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам *сжимал* ее и делал какие-то судорожные движения.

— Успокойся, ведь я с т о б о й, — сказала я.

Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал!» Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун. *Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое».*

Я долго не хотела ему отвечать.

— Ты отдалась ему совершенно?

— Не спрашивай, это н е х о р о ш о, — сказала я.

— Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он: русский, француз, не мой доктор? Тот <нрзбр.>?

— Нет, нет.

Я ему сказала, что очень люблю этого человека.

— Ты счастлива?

— Нет.

— Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?

— Он меня не любит.

— Не любит! — вскричал он, схватившись за голову, в отчаянии. — Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?

— Нет, я... я уеду в деревню, — сказала я, заливаясь слезами.

— О Поля, зачем же ты так несчастлива! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до двадцати трех лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей, но чего это стоит: мужчина и женщина не одно и то же. Он берет — она дает.

Когда я сказала ему, что*о* это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он, верно, будет писать свой роман, он сказал: «За кого ты меня принимаешь! Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления». Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня. <...>

5 сентября. Баден-Баден [4].

Перед отъездом из Парижа мне было очень грустно. Это не просто чувство привычки, Петербург я оставляла легко; я уезжала из него с надеждами, а в Париже потеряла многое. Мне кажется, я никого никогда не полюблю. Чувство мщения еще тлело во мне долго, и я *решила,* если не рассеюсь в Италии, возвратиться в Париж и исполнить то, что было задумано... Дорогой мы разговорились с Федором Михайловичем о Лермонтове [5]. Я вспомнила этот характер, и все случившееся со мною показалось мне так мелочно, так недостойно серьезного внимания...

И ничего на этом свете благословить он не хотел.

Он был прав. Зачем же увлекаться.

Мне кажется, что я больна. Это было бы слишком несправедливо. Мне кажется, что в природе есть какие-нибудь законы справедливости.

6 сентября. Баден-Баден.

Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно; визируя наши билеты, он побранился в папском посольстве; всю дорогу говорил стихами, наконец здесь, где мы с трудом нашли две комнаты с двумя постелями, он расписался в книге «Officier», чему мы очень смеялись. Все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. Дорогой он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Париж, он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды — напротив. Вчера вечером эти надежды особенно высказались. Часов в десять мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть.

Я ему говорила, что была к нему несправедлива и груба в Париже, что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.

— Ты куда ж хотел идти? — спросила я.

— Я хотел закрыть окно.

— Так закрой, если хочешь.

— Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он с странным выражением.

— Что такое? — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.

— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.

— Ах, зачем это? — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.

— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это.

— И мне неловко, — сказал он с странной улыбкой.

Я спрятала свое лицо в подушку. Потом я опять спросила, — придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет.

— Ну так поди к себе, я хочу спать, — сказала я.

— С е й ч а с, — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала.

— У тебя не будет о г н я , — сказал он.

— Нет, будет, есть целая свечка.

— Но это моя.

— У меня есть еще.

— Всегда найдутся о т в е т ы , — сказал он улыбаясь и вышел. Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться.

— Я р а з д е н у с ь , — сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода.

Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он, верно, казался мне глуп, что он сам сознает свою глупость, но она бессознательна.

Того же дня вечером.

Я сейчас вспомнила сестру[6], она осудила бы меня за поездку в Италию, но я себя не осуждаю. Какая-то страсть влечет меня путешествовать: знать, видеть, и что же, разве она незаконна? Вообще тот катехизис, который я прежде составила и исполнением которого гордилась, кажется мне очень узким. Это было увлечение, которое повело бы к ограниченности и тупости. Не есть ли, однако, это переход к тому совершенно новому и противоположному пути... Нет, тогда бы я призналась себе, ведь я же его обдумала, и притом теперь я спокойна. Я замечаю, что в мыслях у меня совершается переворот.

Федор Михайлович проигрался и несколько озабочен, что мало денег на нашу поездку. Мне его жаль, жаль отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать — не могу. Неужели ж на мне есть обязанность — нет, это вздор.

14 сентября. Турин. 1863.

Вчера мы обедали с Федором Михайловичем в нашей гостинице за table d'hôte. Обедающие были всё французы, молодые люди; один из них очень нагло посматривал на

меня, и даже Федор Михайлович заметил, что он как-то двусмысленно кивал на меня своему товарищу. Федора Михайловича взбесило и привело в затруднение потому, что ему довольно трудно в случае нужды меня защищать. Мы решились обедать в другой гостинице. После того как француз кивнул на меня своему соседу, Федор Михайлович подарил его таким взглядом, что тот опустил глаза и начал острить очень неудачно.

17 сентября. Турин. 1863.

На меня опять нежность к Федору Михайловичу. Я както упрекала его, а потом почувствовала, что неправа, мне хотелось загладить эту вину, я стала нежна с ним. Он отозвался с такою радостью, что это меня тронуло, и стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: «Вот это знакомый взгляд, давно я его не видал». Я склонилась к нему на грудь и заплакала.

Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете»[7]. <...>

Рим. 29 сентября.

Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что тут есть одна причина, которой прежде мне не приходилось высказать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя и есть некоторое поползновение. Он <не> согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, по-видимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать.

— Ты не знаешь, это не то, — отвечала я на разные его предположения.

У него была мысль, что это каприз, желание помучить.

— Ты знаешь, — говорил он, — что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться.

Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил.

— Всему этому есть одна главная причина, — начал положительно (после я узнала, что он не был уверен в том, что говорил), — причина, которая внушает мне омерзение, — это полуост<ров>[8].

Это неожиданное напоминание очень взволновало меня.

— Ты надеешься.

Я молчала.

— Теперь ты не возражаешь, — сказал он, — не говоришь, что это не то.

Я молчала.

— Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек.

— Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться, — сказала я, подумав.

— Это ничего не значит, рассудком ты можешь отвергать все ожидания, это не мешает.

Он ждал возражения, но его не было, я чувствовала справедливость этих слов.

Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя вдруг обновилась, мне в самом деле блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться.

Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю *обидную* грусть и насолить мне.

Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить все в смех, чтоб уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами.

— Нехороший ты какой, — сказала я наконец просто.

— Чем? Что я сделал?

— Так, в Париже и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?

— Это веселость досадная, — сказал он и ушел, но скоро пришел опять.

— Нехорошо мне, — сказал он серьезно и печально. — Я осматриваю всё как будто по обязанности, как будто учу урок; я думал, по крайней мере, тебя развлечь.

Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.

— Нет, — сказал он печально, — ты едешь в Испанию.

Мне как-то страшно и больно — сладко от намеков о С<альвадоре>. Какая, однако, дичь во всем, что было между мной и Сальв<адором>. Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!

Федор Михайлович опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). «Ибо россияне никогда не отступали». <...>

Париж. 22 октября.

<...> На дороге, на корабле, в самом Неаполе мы встретили Гер<цена> со всем семейством[9]. Федор Михайлович меня представил как родственницу, весьма неопределенно. Он вел себя со мной при них как брат, даже ближе, что должно было несколько озадачить Г<ерцена>. Федор Михайлович много говорил ему обо мне, и Г<ерцен> был внимателен. С молодым Г<ерценом>[10] я тоже говорила. Это какой-то отчаявшийся юноша. Я, говоря о моих заграничных впечатлениях, сказала, что везде нахожу более или менее гадость, а он доказывал, что не более и менее, а везде одинаково гадко. Во время моего разговора с ним Федор Михайлович, когда я была одушевлена, прошел мимо и не остановился, я подозвала его, он обрадовался. Молодой Г<ерцен> сказал, что зимой будет в Париже и придет ко мне, спросил мой адрес, но прибавил, что узнает его от Б<нрзбр.>. Я рассказала Федору Михайловичу, тот мне посоветовал дать адрес, чтоб таким образом больше показать внимания. При прощанье (в Ливорно) я дала Г<ерцену> адрес. Федор Михайлович провожал Г<ерцена> и был у них в гостинице. Возвратясь, он неспокойно сказал, чтобы я ему непременно написала, если у меня будет Г<ерцен>. Я обещала. Вообще он ничего не говорил со мной о молодом Г<ерцене>, но когда я первая довольно легко заговорила, он продолжал и отозвался не совсем в его пользу. Еще он мне сказал, что у Г<ерцена> увидал мою карточку, которую я дала ему с моим адресом. На ней была записана Алек<сандром> фраза отца: «С одним рассудком люди не далеко бы ушли».

В день отъезда из Неаполя мы с Федором Михайловичем поссорились, а на корабле, в тот же день, под влиянием встречи с Г<ерцецом>, которая нас одушевила, объяснились и помирились (дело было из-за эмансипации женщин). С этого дня мы уже не ссорились; я была с ним почти как прежде, и расставаться с ним мне было жаль. <...>

12 декабря, суббота.

До того все, все продажно в Париже, все противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: «Этот народ погибнет!» Лучшие умы Европы думают так. Здесь все продается, все: совесть, красота <...>

Января 7. 1864. <Париж.>

<...> Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему[11], я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом. Я отниму у него радости, я его унижу. <...>

17 февраля.

Мне опять приходит мысль отомстить. Какая суетность! Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают! Из-за чего хлопочут! О чем пишут! Вот тут у меня книжечка: шесть изданий и вышло в шесть месяцев. А что в ней? Lobulo восхищается тем, что в Америке булочник может получить несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, что шестнадцатилетний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала. <...>

2 апреля.

Назойливая тоска не оставляет меня в покое. Странное давящее чувство овладевает мной, когда я смотрю с бельведера на город. Мысль потеряться в этой толпе наводит какой-то ужас. <...>

8 мая, суббота.

<...> Что за радость смотреть и остерегаться на каждом шагу. Я и счастья, такими средствами приобретенного, не хочу. Это было бы деланное счастье... Пускай меня обманывают, пускай хохочут надо мной, но я хочу верить в людей, пускай обманывают. Да и не могут же они сделать большого вреда.

22 мая.

<...> Она[12] сказала, что есть одно зло швейцарского воспитания, что дети делаются космополитами. Лугинин начал утверждать, что это очень хорошо, что космополитизм очень хорошая вещь; не все ли равно, что желать добра русскому, что французу. Он сказал, что с большим бы удовольствием послужил бы Франции или Англии, но

остается в России, потому что знает русские обычаи и русский язык, но с русскими ничего общего не имеет, ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов. «Я гораздо более радуюсь парижским ассоциациям, чем...» Я недослышала, или он недоговорил. Я была взбешена, но молчала. Графиня тоже молчала. Вначале только она отстаивала немного патриотизм, но только со стороны привычки. Когда графиня заговорила о моем докторе, мне пришлось высказать некоторые мои мнения, противоположные ихним. Графиня мне с жаром возражала. Так вот каковы они! Нет, я не пойду с этими людьми. Я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до 15 лет и буду жить с мужиками, мне нет места в цивилизованном обществе. Я еду к мужикам и знаю, что они меня ничем не оскорбят. <...>

24 сентября.

<...> Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. <...>

1865. 17 сентября. Спа.

<...> В это время тоски и *отчаяния* я так много думала о Gault[13], и, может быть, мысль эта, уверенность в его дружбе, *сочувствии* и *понимании* спасли меня. Уверенная в ней, я чувствовала себя вне этой жалкой жизни и способной подняться выше ее. Тут только я поняла настоящую цену дружбы и уважения лиц, выходящих из общего круга, и нашла в *уверенности* этой дружбы мужество и уважение к себе. Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим убеждениям, и возвратить свою душу Богу так же чистой, как она была, чем сделать уступку, позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами, но я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом ее выношу. Боже мой, неужели всегда будет так! И стоило ли родиться!

Петербург. 2 ноября.

Сегодня был Федор Михайлович, и мы всё спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне *руку* и *сердце* и только сердит этим. Говоря о моем

характере, он сказал: если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа. Припоминая Го, я сказала, что это один человек, который не добивался *толку.* Он по обыкновенной манере сказал: «Этот Го, может быть, и добивался». Потом прибавил: «Когда-нибудь я тебе скажу одну вещь». Я пристала, чтоб он сказал: «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это; это женская черта». Это меня очень взволновало. <...>

6 ноября.

Был Федор Михайлович. Втроем, с ним и с А. О., мы долго говорили. Я говорила, что сделаюсь святой, пройдусь босиком по Кремлевскому саду в Москве и буду говорить, что ангелы со мной беседуют и проч. Я много говорила. <...>

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА»

Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале. Она всегда предается этому моциону, когда чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегает по комнате. Все в доме знают эту привычку и подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы так хотелось знать, о чем-то думает Анюта.

Хотя я по опыту знаю, что приставать к ней в это время бесполезно, но, видя теперь, что прогулка ее все не прекращается, я теряю наконец терпение и делаю попытку заговорить.

— Анюта, мне очень скучно! Дай мне одну из твоих книжек почитать! — прошу я умильным голосом.

Но Анюта все продолжает ходить, точно не слышит.

Опять несколько минут молчания.

— Анюта, о чем ты думаешь? — решаюсь я наконец спросить.

— Ах, отстань, пожалуйста! Слишком ты еще мала, чтобы я тебе все говорила, — получаю я презрительный ответ.

Теперь уже я вконец разобижена. «Так ты вот какая, ты и говорить со мной не хочешь! Вот теперь Маргарита уехала[1], я думала, мы будем жить с тобой так дружно, а ты меня гонишь! Ну, так я же уйду и любить тебя совсем, совсем не буду!»

Я почти плачу и собираюсь уходить, но сестра окликает меня. В сущности, она сама горит желанием рассказать кому-нибудь о том, что ее так занимает, а так как ни

с кем из домашних она об этом говорить не может, то за неимением лучшей публики и двенадцатилетняя сестра годится.

— Послушай, — говорит она, — если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы мои мигом высыхают; гнева как не бывало. Я клянусь, разумеется, что буду молчать, как рыба, и с нетерпением ожидаю, что-то она мне скажет.

— Пойдем в мою комнату, — говорит она торжественно. — Я покажу тебе что-то такое, что-то такое, чего ты, верно, не ожидаешь.

И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором — я знаю — хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она отпирает один из ящичков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной печатью, на которой вырезано: «Журнал «Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне Никитишне Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Круковской», и наконец подает мне письмо, исписанное крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала и перечитывала его в детстве и оно так врезалось в моей памяти, что, я думаю, я почти слово в слово могу передать его[2].

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо Ваше, полное такого искреннего и милого доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого Вами рассказа.

Признаюсь Вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам свои первые литературные опыты на оценку. В Вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того как я читал, страх мой рассеялся, и я всё более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут Ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в Вас, что я боюсь, не нахожусь ли я и теперь под их влиянием; поэтому я не

смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который Вы мне ставите: «разовьется ли из Вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу Вам: рассказ Ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же № моего журнала; что же касается Вашего вопроса, то посоветую Вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от Вас — есть в Вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но всё это мелкие недостатки, которые, потрудившись, Вы можете осилить; общее же впечатление самое благоприятное.

Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если Вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе: сколько Вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно всё это знать для правильной оценки Вашего таланта.

Преданный Вам *Федор Достоевский»*.

Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом в спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими же судьбами пишет он Анюте и что все это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.

Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась моим удивлением.

— Понимаешь ли ты, понимаешь! — заговорила наконец Анюта голосом, прерывающимся от радостного волнения. — Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница! — почти прокричала она в порыве неудержимого восторга.

Чтобы понять, что значило для нас это слово «писательница», надо вспомнить, что мы жили в деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только мы, но и все наши окружающие относились как к чему-то приходящему к нам издалека, из

какого-то неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного человека, который бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш уезд, и я помню, с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не открылось наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то проезжий журналист из Петербурга.

И вдруг теперь сестра моя — писательница! Я не находила слов выразить ей мой восторг и удивление; я только бросилась ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий вздор от радости.

Никому из остальных домашних сестра не решалась рассказать о своем торжестве; она знала, что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что она без спросу Написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы страшным преступлением.

Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в проступках, ничего не имеющих общего с литературой! И ему-то было суждено стать отцом писательницы.

Лично отец мой знал только одну писательницу, графиню Ростопчину. Он видел ее в Москве в то время, когда она была блестящей светской красавицей, по которой вся знатная молодежь того времени — и мой отец в том числе — безнадежно вздыхала. Потом, много лет спустя, он встретил ее где-то за границей, кажется в Баден-Бадене, в зале рулетки.

— Смотрю я, глазам не верю, — рассказывал часто отец, — идет графиня, а за нею целый хвост каких-то проходимцев, один другого хуже, вульгарнее. Все они кричат, смеются, гогочут, обращаются с нею запанибрата. Подошла она к игорному столу и стала швырять золотой за золотым. У самой глаза горят, лицо красное, шиньон на боку. Проиграла все до последнего золотого и кричит своим адъютантам: «Eh bien, messieurs, je suis vidée! Rien ne va plus *. Идем запивать горе шампанским!» Вот до чего доводит женщину писательство!

---

* Ну вот, господа, я опустошена! Больше ничего не будет (*фр.*).

Понятно после этого, что сестра не торопилась похвастаться ему своим успехом. Но эта таинственность, которою она должна была окружать свой первый дебют на литературном поприще, придавала ему особенную прелесть. Помню я, какой был восторг, когда несколько недель спустя пришла книжка «Эпохи» и в ней, на заглавном листе, мы прочли: «Сон», повесть Ю. О-ва (Юрий Орбелов был псевдоним, выбранный Анютой, так как, разумеется, под своим именем она печатать не могла).

Анюта, разумеется, еще раньше прочла мне свою повесть по сохранившемуся у нее черновику. Но теперь, со страниц журнала, повесть эта показалась мне совсем новою и удивительно прекрасною. <...>

Первый успех Анюты придал ей много бодрости, и она тотчас же принялась за другой рассказ, который окончила в несколько недель. На этот раз героем ее повести был молодой человек Михаил, воспитанный вдали от семьи, в монастыре, дядей монахом. Эту вторую повесть Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зрелее. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в «Братьях Карамазовых». Когда несколько лет спустя я читала этот роман по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто.

— А ведь это, пожалуй, и правда! — сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу, — но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился, — прибавил он, подумав.

Но при печатании этой второй повести дело не обошлось, однако, так благополучно, как в первый раз. Произошла печальная катастрофа: письмо Достоевского попало в руки нашего отца, и вышла ужасная история[3]. <...>

По приезде в Петербург Анюта тотчас написала Достоевскому и попросила его бывать у нас. Федор Михайлович пришел в назначенный день. Помню, с какой лихорадкой мы его ждали, как за час до его прихода уже стали прислушиваться к каждому звонку в передней. Однако этот первый его визит вышел очень неудачный.

Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.

— Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность, — напутствовал он мать, отпуская нас из деревни. — Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.

Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и наконец кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.

Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко и не по себе в этой натянутой обстановке, он и конфузился среди всех этих старых барынь, и злился. Он казался в этот день старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось.

Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своею самою светскою любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее.

Достоевский отвечал односложно, с преднамеренной грубостью. Наконец, à bout de ses ressources *, мама тоже замолчала. Посидев с полчаса, Федор Михайлович взял шапку и, раскланявшись неловко и торопливо, но никому не подав руки, вышел.

По его уходе Анюта убежала к себе и, бросившись на кровать, разразилась слезами.

— Всегда-то, всегда-то всё испортят! — повторяла она, судорожно рыдая.

---

* исчерпав все свои возможности (*фр.*).

Бедная мама чувствовала себя без вины виноватой. Ей было обидно, что за ее же старания всем угодить на нее же все сердятся. Она тоже заплакала.

— Вот ты всегда такая: ничем не довольна! Отец сделал по-твоему, позволил тебе познакомиться с твоим идеалом, я целый час выслушивала его грубости, а ты нас же винишь! — упрекала она дочь, сама плача, как ребенок.

Словом, всем было скверно на душе, и визит этот, которого мы так ждали, к которому так наперед готовились, оставил по себе претяжелое впечатление.

Однако дней пять спустя Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старые, давнишние приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивая друг друга, шутили и смеялись.

Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. «Неужели ему уже сорок три года! — думала я. — Неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!» И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок.

— Какая у вас славная сестренка! — сказал вдруг Достоевский совсем неожиданно, хотя за минуту перед тем говорил с Анютой совсем о другом и как будто совсем не обращал на меня внимания.

Я вся вспыхнула от удовольствия, и сердце мое преисполнилось благодарностью сестре, когда в ответ на это замечание Анюта стала рассказывать Федору Михайловичу, какая я хорошая, умная девочка, как я одна в семье ей всегда сочувствовала и помогала. Она совсем оживилась, расхваливая меня и придумывая мне небывалые достоинства. В заключение она сообщила даже Достоевскому, что я пишу стихи: «Право, право, совсем недурные для ее лет!»[4] И, несмотря на мой слабый протест, она побежала и принесла толстую тетрадь моих виршей, из которой Федор Михайлович, слегка улыбаясь, тут же

прочел два-три отрывка, которые похвалил. Сестра вся сияла от удовольствия. Боже мой! Как любила я ее в эту минуту! Мне казалось, всю бы жизнь отдала я за этих милых, дорогих мне людей.

Часа три прошли незаметно. Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного двора. Не зная, что у нас сидит Достоевский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.

Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. «Что бы сказал на это Василий Васильевич!» — было ее первою мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.

С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме и, ввиду того что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три-четыре в неделю.

Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала.

Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда — сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: «Стреляй!» — когда вдруг, наместо того, забил барабан и пришла весть о помиловании [5].

Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок [6]. Впоследствии я слышала другую, совсем различ-

ную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было д о р о ж е , — о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я п о ч у в с т в о в а л , — рассказывал Федор Михайлов и ч , — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые л ю д и , — продолжал о н , — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком[7]. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как замагнетизированные, совсем под обаянием

его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся.

— Не бойтесь, — сказал он, — я всегда знаю наперед, когда это приходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним действительно был жестокий припадок.

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя. Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.

Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего путешествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии, в Мюнхенской галерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки «о мировой красоте и гармонии».

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута: за минуту перед тем ничего не болело, и вдруг заноет старая рана, и ноет, ноет.

Начинает наш помещик думать и соображать: что бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.

Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды, после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку[8].

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.

— Федор Михайлович! Помилосердуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом.

Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский, только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.

Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать его очень полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него.

Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласила и Достоевского. Он долго отказывался, но маме, на свою беду, удалось-таки уломать его.

Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего «своего» общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела развесть в разные стороны.

Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять, лет блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот, подпали оскудению и обнищанию и влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами. Общего у всех этих людей ничего не было; почти все они, однако, приняли мамино приглашение и приехали на наш вечер из старой памяти, pour cette pauvre, chère Lise *.

Общество собралось у нас довольно большое, но очень разношерстное. В числе гостей была супруга и дочери одного министра (сам министр обещал заехать на

---

* ради этой милой бедняжки Лизы (*фр.*).

минутку под конец вечера, однако слова не сдержал)[9]. Был также какой-то очень старый лысый и очень важный сановник-немец, о котором я помню только, что он пресмешно чмокал беззубым ртом и все целовал маме руку, приговаривая:

— Она была очень короша, ваша мать. Никто из дочек так не короша!

Был какой-то разорившийся помещик из остзейских губерний, проживающий в Петербурге в безуспешных поисках за выгодным местом. Было много почтенных вдов и старых дев и несколько академиков, бывших приятелей моего дедушки. Вообще преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.

Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных, девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренне робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?

Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но, как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляют неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.

Но можно представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно и неловко, внутренне бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что всего

хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло вразрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она пробовала «деликатно» дать понять Достоевскому, что его поведение нехорошо. Проходя мимо, якобы не нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:

— Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.

Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.

— Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей, — сказала она очень резко и увела сестру.

Федор Михайлович совсем рассердился и, забившись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь.

В числе гостей был один, который с первой же минуты сделался ему особенно ненавистен. Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов;[10] это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков. Он считался очень блестящим молодым человеком; был и красив, и умен, и образован, и принят в лучшем обществе, — все это как следует, в меру и не чересчур. И карьеру он делал тоже как следует, не нахально быструю, а солидную, почтенную; умел угодить кому надлежит, но без явного искательства и низкопоклонства. На правах родственника он ухаживал за своей кузиной, когда встречал ее у тетушек, но тоже в меру, не так, чтобы это всем бросалось в глаза, а только давая понять, что он «имеет виды».

Как всегда бывает в таких случаях, все в семье знали, что он возможный и желательный жених, но все делали вид, как будто и не подозревают подобной возможности. Даже мать моя, оставаясь наедине с тетушками, и то лишь полусловами и намеками решалась коснуться этого деликатного вопроса.

Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую, рослую, самодовольную фигуру, чтобы тотчас возненавидеть ее до остервенения.

Молодой кирасир, живописно расположившись в кресле, выказывал во всей их красе модно сшитые панталоны, плотно обтягивающие его длинные стройные ноги. Потряхивая эполетами и слегка наклоняясь над моей сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своею несколько стереотипною, салонною улыбкой, «улыбкой кроткого ангела», как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.

Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого «немчика», этого «самодовольного нахала», а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен!

Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно.

Модною темою разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником, — параллель православия с протестантизмом. В этом русско-немецком обществе это был предмет для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. Мама, сама немка, заметила, что одно из преимуществ протестантов над православными состоит в том, что они больше читают Евангелие.

— Да разве Евангелие написано для светских дам? — выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский. — Там вон стоит: «Вначале сотворил Бог мужа и жену», или еще: «Да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак! А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек!

Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза. Лишь по прошествии нескольких секунд все вдруг сообразили всю неловкость сказанного и все заговорили разом, желая заглушить ее.

Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова.

Когда он на следующий раз опять явился к нам, мама попробовала было принять его холодно, показать ему, что она обижена; но, при ее удивительной доброте и мягкости, она ни на кого не могла долго сердиться, а всего

менее на такого человека, как Федор Михайлович, поэтому они скоро опять стали друзьями, и все между ними пошло по-старому.

Зато отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера, точно они вступили в новый фазис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны, стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое восхищение. Приходил он к нам не реже, а, пожалуй, чаще и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой.

В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и, если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось. Если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась.

На следующий день Федор Михайлович приходил уже сердитый. Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить.

Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.

— Да бросьте же шить! — скажет наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье.

Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать.

— Где вы вчера были? — спрашивает Федор Михайлович сердито.

— На балу, — равнодушно отвечает моя сестра.

— И танцевали?

— Разумеется.

— С троюродным братцем?

— И с ним, и с другими.

— И вас это забавляет? — продолжает свой допрос Достоевский.

Анюта пожимает плечами.

— За неимением лучшего и это забавляет, — отвечает она и снова берется за свое шитье.

Достоевский глядит на нее несколько минут молча.

— Пустая вы, вздорная девчонка, вот что! — решает он наконец.

В таком духе часто велись теперь их разговоры.

Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними был нигилизм [11]. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды гораздо более крайние, чем каких действительно придерживались.

— Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита! — кричал иногда Достоевский. — Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина! [12]

— Пушкин действительно устарел для нашего времени, — спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.

Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять как ни в чем не бывало.

По мере того как отношения между Достоевским и моей сестрой, по-видимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.

Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий вразрез с рутинной моралью, — сестре вдруг вздумается притвориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга — она же, нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.

— У вас дрянная, ничтожная душонка! — горячился тогда Федор Михайлович. — То ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!

Я вся краснела от удовольствия и, если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоевский не выказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как

в некотором роде измене против сестры, и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликованье каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.

Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.

— Вы воображаете себе, что очень хороши, — говорил он сестре. — А ведь сестрица-то ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!

Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотоле похвалы моей красоте.

— А ведь, может быть, это и правда, — говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль, как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский.

Мне очень хотелось знать наверное, что сама Анюта обо всем этом думает и правда ли, что я буду хорошенькой, когда совсем вырасту. Этот последний вопрос меня особенно занимал.

В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате, и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы.

Анюта, по обыкновению, стоит перед зеркалом, расчесывая свои длинные белокурые волосы и заплетая их на ночь в две косы. Это дело требует времени; волосы у нее очень густые, шелковистые, и она с любовью проводит по ним гребнем. Я сижу на кровати, уже совсем раздетая, охватив колени руками и обдумывая, как бы начать интересующий меня разговор.

— Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович! — начинаю я наконец, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— А что такое? — спрашивает сестра рассеянно, очевидно совершенно уже забыв этот важный для меня разговор.

— А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой, — говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей.

Анюта опускает руку с гребнем и оборачивается ко мне лицом, живописно изогнув шею.

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? — спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Эта коварная улыбка, эти зеленые смеющиеся глаза и белокурые распущенные волосы делают из нее совсем русалку. Рядом с ней, в большом трюмо, стоящем прямо против ее кровати, я вижу мою собственную маленькую смуглую фигурку и могу сравнить нас. Не могу сказать, чтобы это сравнение было мне особенно приятно, но холодный, самоуверенный тон сестры сердит меня, и я не хочу сдаться.

— Бывают разные вкусы! — говорю я сердито.

— Да, бывают странные вкусы! — замечает Анюта спокойно и продолжает расчесывать свои волосы.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и все еще продолжаю свои размышления по этому же предмету.

«А ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры, — думается мне, и, по машинальной детской привычке, я начинаю мысленно молиться: — Господи, Боже мой! пусть все, пусть весь мир восхищаются Анютой, — сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Однако моим иллюзиям на этот счет предстояло в ближайшем будущем жестокое крушение.

В числе тех talents d'agrément *, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До тех пор я училась игре на фортепьяно, как учатся большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Слух у меня был посредственный, но так как с пятилетнего возраста меня заставляли полтора часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к тринадцати годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочное туше и уменье скоро читать по нотам.

Случилось мне раз, в самом начале нашего знакомства, разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась: вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная,

* изящных талантов (*фр.*).

артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит их до слез [13].

Случилось, что в тот раз, когда я играла, Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь, по своему обыкновению, стал расточать мне самые преувеличенные похвалы: и талант-то у меня, и душа, и Бог знает что!

Само собою разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу и во все время нашего пребывания в Петербурге проводила каждую свободную минутку за фортепьяно, так что в эти три месяца действительно сделала большие успехи.

Теперь я приготовила Достоевскому сюрприз. Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathétique * Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, но я решилась разучить ее во что бы то ни стало и, действительно, положив на нее пропасть труда, дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился.

Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъезда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику, старому приятелю нашей семьи. Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.

Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится, — все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный, но не раздражительный, как часто бывало с ним в последнее время, а, напротив, мягкий, ласковый.

Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату; я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие.

Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так

---

* патетическую сонату (*фр.*).

поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.

Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.

Но, Боже мой, что я увидела!

Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила:

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.

Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул. <...>

Весь следующий день я провела в лихорадочном ожидании: «Что-то будет?» Сестру я ни о чем не расспрашивала. Я продолжала испытывать к ней, хотя и в слабейшей уже степени, вчерашнюю неприязнь и потому всячески избегала ее. Видя меня такой несчастной, она попробовала было подойти ко мне и приласкать меня, но я грубо оттолкнула ее с внезапно охватившим меня гневом. Тогда она тоже обиделась и предоставила меня моим собственным печальным размышлениям.

Я почему-то ожидала, что Достоевский непременно придет к нам сегодня и что тогда произойдет нечто ужасное, но его не было. Вот мы уже и за обед сели, а он

не показывался. Вечером же, я знала, мы должны были ехать в концерт.

По мере того как время шло, а он не являлся, мне как-то становилось легче, и у меня стала даже возникать какая-то смутная, неопределенная надежда. Вдруг мне пришло в голову: «Верно, сестра откажется от концерта, останется дома, и Федор Михайлович придет к ней, когда она будет одна».

Сердце мое ревниво сжалось при этой мысли. Однако Анюта от концерта не отказалась, а поехала с нами и была весь вечер очень весела и разговорчива.

По возвращении из концерта, когда мы ложились спать и Анюта уже собиралась задуть свечу, я не выдержала и, не глядя на нее, спросила:

— Когда же придет к тебе Федор Михайлович?

Анюта улыбнулась.

— Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, ты изволишь дуться!

Голос у нее был такой мягкий и добрый, что сердце мое вдруг растаяло, и она опять стала мне ужасно мила.

«Ну, как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая!» — подумала я с внезапным наплывом самоуничижения.

Я перелезла к ней на кровать, прижалась к ней и заплакала. Она гладила меня по голове.

— Да перестань же, дурочка! Вот глупая! — повторяла она ласково. Вдруг она не выдержала и залилась неудержимым смехом. — Ведь вздумала же влюбиться, и в кого? В человека, который в три с половиной раза ее старше! — сказала она.

Эти слова, этот смех вдруг возбудил в душе моей безумную, всю охватившую меня надежду.

— Так неужели же ты не любишь его? — спросила я шепотом, почти задыхаясь от волнения.

Анюта задумалась.

— Вот видишь ли, — начала она, видимо подыскивая слова и затрудняясь, — я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный! — она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце, — но как бы тебе это объяснить? Я люблю его не так, как он... ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж! — решила она вдруг[14].

Боже! Как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.

— Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою.

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое, должно быть, счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиняться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера.

Теперь уже день, назначенный для отъезда, был совсем близок. Федор Михайлович пришел к нам еще раз, проститься. Он просидел недолго, но с Анютой держал себя дружественно и просто, и они обещали друг другу переписываться. Со мной его прощанье было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил.

Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. «Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!» — наивно замечал Достоевский в конце своего письма[15].

Сердечная рана зажила тоже скоро. Те несколько дней, которые мы оставались еще в Петербурге, я все еще ощущала небывалую тяжесть на сердце и ходила печальнее и смирнее обыкновенного. Но дорога стерла с души моей последние следы только что пережитой бури.

М. А ИВАНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Лето 1866 года Ф. М. Достоевский провел в Люблине у Ивановых. Ивановы занимали большую деревянную дачу невдалеке от парка. Их большая семья летом еще увеличивалась: А. П. Иванов брал к себе на дачу гостить студентов, которым некуда было уезжать, детям разрешалось приглашать товарищей и подруг. Так как Ф. М. Достоевскому нужен был ночью полный покой (он обычно писал по ночам), а в даче Ивановых слишком было людно для этого, — то заплачет ребенок, то молодежь вернется поздно с гулянья, то встанут чуть свет, чтобы идти на рыбную ловлю, — Достоевский поселился рядом, в пустой каменной двухэтажной даче, где занял только одну комнату. К нему ходил ночевать лакей Ивановых, потому что боялись его оставлять одного, зная о его припадках. Но в течение этого лета припадок был всего один раз.

Однажды лакей, ходивший ночевать к Достоевскому, решительно отказался это делать в дальнейшем. На расспросы Ивановых он рассказал, что Достоевский замышляет кого-то убить — все ночи ходит по комнатам и говорит об этом вслух (Достоевский в это время писал «Преступление и наказание»).

Дни и вечера Достоевский проводил с молодежью. Хотя ему было сорок пять лет, он чрезвычайно просто держался с молодой компанией, был первым затейником всяких развлечений и проказ. И по внешности он выглядел моложе своих лет. Всегда изящно одетый, в крахмальной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке, Достоевский следил за своей наружностью и очень огорчался, например, тем, что его бородка была очень жидка. Этой слабостью пользовались его молоденькие племянницы и часто поддразнивали дядюшку его «бороденкой». Несмотря на большую близость с детьми

Ивановых, Достоевский все же всех их звал на «вы» и никакие выпитые «брудершафты» не помогали ему отказаться от этой привычки.

Достоевский любил подмечать слабые или смешные стороны кого-нибудь из присутствующих и забавлялся, преследуя шутками, экспромтами свою жертву. Молодежь смело отвечала ему, и между ними были постоянные веселые пикировки. Особенно весело бывало за ужином. На террасе Ивановых накрывался длинный стол, аршин в девять; за столом всегда человек двадцать и больше. На одном конце старшие Ивановы и с ними Федор Михайлович, на другом — самая юная молодежь. С своего конца Достоевский вдруг обращался к робкой молоденькой подружке Наде Алексеевой с следующим замечанием:

— Надя, как вам не стыдно, что вы мне не даете покоя и все время толкаете под столом ногой?

Надя краснела, смущалась, а подруга ее, Юля Иванова, бойко вступалась за нее:

— Вот вы считаетесь за умного человека, а не можете сообразить, что у Нади нога не в десять аршин и она достать вас не может. Это скорее признак глупости...

Старшие, чтобы оборвать пикировку, задают вопрос о том, куда компания думает отправиться гулять после ужина, и это всех отвлекает от спора.

После ужина бывало самое веселое время. Играли и гуляли часов до двух-трех ночи, ходили в Кузьминки, в Царицыно [1]. К компании Ивановых присоединялись знакомые дачники, жившие в Люблине во соседству. Во всех играх и прогулках первое место принадлежало Федору Михайловичу. Иногда бывало, что во время игр он оставлял присутствующих и уходил к себе на дачу записать что-либо для своей работы. В таких случаях он просил минут через десять прийти за ним. Но когда за ним приходили, то заставали его так увлеченным работой, что он сердился на пришедших и прогонял их. Через некоторое время он возвращался сам, веселый и опять готовый к продолжению игры. Рассказывать о своей работе он очень не любил.

У Ивановых любили играть в пословицы. Федору Михайловичу обыкновенно давали самое трудное слово. Он рассказывал в ответ на вопрос длинную историю, страницы в две, три, и угадать слово было невозможно. Часто он рассказывал по вечерам жуткие истории или предлагал присутствующим проделать такой опыт: про-

сидеть в пустой комнате перед зеркалом минут пять, смотря, не отрываясь, себе в глаза. По его словам, это очень страшно и почти невозможно выполнить.

Недалеко от Ивановых жила семья Машковцевых. Родители уехали за границу, а несколько дочерей в возрасте четырнадцати — семнадцати лет оставались под надзором немки-гувернантки. Она была чрезвычайно строга к ним и обращалась как с маленькими детьми. В девять часов укладывала спать и на всякий случай отбирала обувь на ночь, чтобы предупредить возможность тайных прогулок. Федор Михайлович терпеть не мог эту немку, звал ее «куриная нога в кринолине»[2] и жалел ее воспитанниц. Он предложил однажды вечером забрать с собой нужную обувь и отправиться поздно вечером к даче Машковцевых. Здесь он перед окном гувернантки спел пушкинский романс: «Я здесь, Инезилья...»[3] — и когда было очевидно, что гувернантка крепко спит и не просыпается на пение, то компания обошла дом кругом, помогла выбраться наружу девушкам, снабдив их первоначально нужной обувью, и взяла с собой на прогулку. Такие проказы продолжались несколько ночей подряд.

Люблино в это время принадлежало богатым купцам, Голофтееву и Рахманину. Одного из них звали Петр, другого Павел. 29-го июня, в Петров день, именинники устраивали большое торжество, с званым обедом, увеселениями и фейерверком. Съезжалось богатое московское купечество; дачники, жившие в Люблине, также получали приглашение. Такое приглашение вместе с Ивановыми получил Достоевский. Сестра Вера Михайловна очень уговаривала его пойти на обед, он отказывался, наконец согласился с условием, что скажет в качестве спича приготовленные стихи. В. М. Иванова захотела заранее знать, что он придумал, и Достоевский прочел:

О Голофтеев и Рахманин!
Вы именинники у нас.
Хотел бы я, чтоб сам граф Панин
Обедал в этот день у вас.
Красуйтесь, радуйтесь, торгуйте
И украшайте Люблино.
Но как вы нынче ни ликуйте,
Вы оба все-таки...!

На торжественный обед Достоевский не пошел, несмотря на просьбы сестры, а потихоньку сговорился с молодежью, забрав провизию, уйти гулять на весь вечер в Кузьминки, на Толоконниковы дачи. На прогулке было

очень весело, и компания вернулась в Люблино только к двенадцати часам ночи, к фейерверку. В. М. Иванова была по этому поводу очень недовольна братом.

Много веселья вносило присутствие в семье Ивановых племянника Ивановых и Достоевского, молодого доктора, Александра Петровича Карепина. Ему было двадцать шесть лет, он не был женат и отличался многими странностями. Все приключения диккенсовского Пиквика случались с ним. Несмотря на то что он окончил медицинский факультет и состоял врачом при Павловской больнице, в жизни он был почти идиотом[4]. Он был предметом неистощимых шуток и глумлений для молодой компании Ивановых. Достоевский воспел его в ряде шуточных стихотворений, которые приводятся ниже.

ОДА В ЧЕСТЬ ДОКТОРА КАРЕПИНА

Поэт

Позволь пиите дерзновенну,
О ты, достойный славу зреть,
Его рукой неизощренной
Тебя, прекрасного, воспеть!
Кому тебя мне уподобить?
Какой звезде какому богу?
Чтобы тебя не покоробить,
Зову Державина в подмогу.

Тень Державина

Ростом пигмей, лицом сатир,
Всего он скорей монгольский кумир.

Поэт

Могу ль ушам своим я верить?
Поэт Фелицы и министр,
Державин может лицемерить,
Как самый ярый нигилист!
О нет! Он ростом Геркулес,
Хоть и приземист он.

Тень Державина

Танцует, как медведь,
Поет, как филин, он.

Поэт

Такую отповедь
Не выношу я! Вон!
(Тень Державина удаляется.)

Во время прогулки по строящейся железной дороге[5] Достоевский сказал раз такой экспромт в честь Карепина:

По дороге по железной
Шел племянник мой Карепин.
Человек небесполезный
И собой велеколепен!

Карепин не был женат, но все время мечтал об идеальной невесте, которой должно быть не больше шестнадцати — семнадцати лет и которую он заранее ревновал ко всем. Он ненавидел эмансипированных женщин и говорил о том, что его жена будет далека от всех современных идей о женском равноправии и труде. В то время как раз все зачитывались романом Чернышевского «Что делать?», и Карепина дразнили, предрекая его жене судьбу героини романа. Достоевский заявил ему однажды, что правительство поощряет бегство жен от мужей в Петербург для обучения шитью на швейных машинках и для жен-беглянок организованы специальные поезда. Карепин верил, сердился, выходил из себя и готов был чуть ли не драться за будущую невесту. Достоевский предложил устроить импровизированный спектакль-суд над Карепиным и его будущей женой.

Федор Михайлович изображал судью в красной кофте сестры, с ведром на голове и в бумажных очках. Рядом сидел и записывал секретарь, Софья Александровна Иванова, и Карепины — муж и жена, подсудимые. Федор Михайлович говорит блестящую речь в защиту жены, которая хочет бежать в Петербург и учиться шить на швейной машинке.

В результате он обвиняет мужа и приговаривает его к ссылке на Северный полюс. Карепин сердится, бросается на Достоевского. Занавес закрывается, первое действие кончается. Второе — на Северном полюсе. Кругом снег из простынь и ваты. Карепин сидит и жалуется на свою судьбу. Достоевский в виде белого медведя подкрадывается и съедает его.

Подобные спектакли устраивались очень часто. Однажды в шутку разыгрывалась «Черная шаль» Пушкина. В другой раз устроена была торжественная процессия, сопровождающая Магомета II — доктора Карепина. Вся молодежь через Люблино отправилась в Кузьминки с боем в медные тазы, с свистками и пр. Вызвана эта забава была шутками Достоевского над Карепиным; Федор Михайлович начал серьезно уверять его, что он «манкирует своей карьерой», что звание доктора слишком для него ничтожно и что он мог бы занять более высокое положение. На вопрос Карепина, кем бы ему

сделаться, Достоевский предложил ему назваться Магометом II. По этому поводу был опять организован какой-то суд над Карепиным. Во время допроса Карепин показал, что ему двадцать шесть лет, по поводу чего судья — Достоевский предложил секретарю записать, что «подсудимый сбивается в показаниях», так как Магомет II, сын Магомета I, не может быть в этом возрасте. Во время этой игры Карепин сказал какую-то дерзость одной из барышень, за что был приговорен к временному повешению: его подвесили на дереве на полотенцах под руки.

Следующее шуточное стихотворение Достоевского также посвящено Карепину, которого мать, а за ней все родственники звали Саней, Санечкой:

Полночь. В Павловской больнице
Слышен храп, порой чиханье,
И не спит в своей светлице
Лишь сверхштатный доктор Саня.
Куча блох его кусает,
Но не тем лишь мучим он,
Голова его пылает,
Полна жгучих, тяжких дум.
«Обучен в университете,
Всё катары я лечил
И в больничной сей палате
Не без пользы послужил.
Только б в штатные мне место
Да холеру Бог послал,
Уж всегда б нашлась невеста,
Только сам-то будь удал!» —
Наш Карепин прокричал.
Фельдшера же все сбежались,
А больные испугались.
Вот выходит Левенталь *
С прутом длинным, длинным, длинным:
«Это ви сейчас кричаль
Таким образом бесстыдным?..»

При чтении стихотворения Карепин в этом месте не выдержал, бросился на Федора Михайловича, не дал ему продолжать и готов был начать с ним драку. Мир был заключен только после того, как Федор Михайлович прочел следующее стихотворение, утешившее Карепина:

Как бы общество ни было
Молчаливо и грустно,
Миг — печаль его уплыла,
Только Саню принесло.

---

* Доктор Левенталь, старший врач больницы. (*Примеч. М. А. Ивановой.*)

Отчего ж сие явленье,
Отчего улыбки, смех?
Саня! Ваших всех хотений
Я пророчу вам успех!

На стихотворные экспромты Достоевский был неистощим. По какому-то поводу он сказал следующее стихотворение о двух братьях Фольцах, бывших в компании Ивановых. Младший был гимназистом VII класса и почему-то был прозван «протухлой солониной», старший — студент I курса.

Когда в «протухлой солонине»
Я чувство чести возбудил
И он поклялся, что отныне
И носорогу б не спустил,
Тогда презренный Фольц собрался
Отмстить обиду впятером,
По неразвитости ж остался
Лакеем, хамом и ослом.

С юношами, бывавшими в семье Ивановых, Достоевский часто вступал в споры по поводу модного «нигилизма» и по вопросу о том, что выше: «сапоги или Пушкин». Он красноречиво отстаивал значение поэзии Пушкина[6].

Следующее стихотворение было написано Достоевским, чтобы поддразнить Марию Александровну Иванову. Она намеревалась поступить в консерваторию и должна была в известный срок подать прошение. Написать его за нее она попросила Федора Михайловича. Вечером накануне назначенного дня Мария Александровна спросила, готово ли прошение. Федор Михайлович вынул листик и подал его ей. На нем было написано:

С весны еще затеяно
Мне в консерваторию поступить
К Николке Рубинштейну,
Чтоб музыку учить.
Сие мое прошение
Прошу я вас принять
И в том уведомление
Немедленно прислать.

Когда Достоевский довольно посмеялся над рассердившейся девушкой, он вынул другой листок, на котором было написано прошение по обычной форме.

В один из приездов в Москву Достоевский был у Ивановых с Данилевским[7], долго о чем-то серьезно говорил с ним в закрытой комнате, а когда Данилевский уехал, то Федор Михайлович написал комедию под названием

«Правдивый и Шематон» *, где изображался под первым названием сам он, а под вторым — Данилевский.

Достоевский легко увлекался людьми, был влюбчив. Ему нравилась подруга Софьи Александровны Ивановой, Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, живая, бойкая девушка. Однажды, будучи в Москве у Ивановых под Пасху, Достоевский не пошел со всеми к заутрене, а остался дома. Дома же у Ивановых оставалась Мария Сергеевна. Когда Софья Александровна вернулась из церкви, подруга ей, смеясь, рассказала, что Достоевский ей сделал предложение[8]. Ей, двадцатилетней девушке, было смешно слышать его от такого пожилого человека, каким был в ее глазах Достоевский. Она отказала ему и ответила шутливо стихами Пушкина:

Окаменелое годами,
Пылает сердце старика.

(«Полтава»)

У Достоевского были необъяснимые симпатии и антипатии к людям, с которыми он встречался. Так, неизвестно почему, он невзлюбил очень хорошего человека, Василия Христофоровича Смирнова, мужа его племянницы, Марии Петровны Карепиной. Он вообразил себе, что тот должен быть пьяницей, и всюду делал надписи подобного рода: «Здесь был В. X. Смирнов и хлестал водку». Это повело к ссоре с Смирновыми. Этого Смирнова Достоевский хотел изобразить в Лужине в «Преступлении и наказании». Он часто ошибался в людях. С особенной страстной любовью говорил он о своем брате Михаиле.

Достоевский рассказывал Ивановым о своем близком, чуждом всяких этикетов знакомстве с царской семьей[9]. Молодежь, наследника он характеризовал как милых, но малообразованных людей. Про государыню говорил, что она — настоящая институтка. Однажды он долго беседовал с ней, причем она прослезилась во время разговора. В пылу беседы он не заметил, что все время по привычке держал свою собеседницу за пуговицу платья. Достоевский участвовал в придворном спектакле. Ставили «Бориса Годунова», и Достоевский играл Пимена. На репетиции этого спектакля он очень спешил однажды из Москвы, где не мог по этой причине остаться долее двух-трех дней.

* Шематон — пустой человек, шалопай.

Н. ФОН-ФОХТ

К БИОГРАФИИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО *

Познакомился я с Ф. М. Достоевским в начале 1866 года в Москве, когда мне было всего пятнадцать с половиной лет. Случилось это таким образом. В Константиновском межевом институте, где я в то время воспитывался, состоял врачом, притом единственным, статский советник Александр Павлович Иванов, прекраснейший и добродетельнейший человек, каких я редко встречал в своей жизни. Он был женат на родной сестре Ф. М. Достоевского, Вере Михайловне, от которой имел многочисленное потомство, чуть ли не девять человек детей[1]. Я был принят в семействе Ивановых как родной и очень часто ходил к ним в отпуск, а летом проводил у них все свободное от лагерей каникулярное время. Об Александре Павловиче Иванове я бы мог многое написать, но это не составляет цели настоящих воспоминаний. Скажу только одно, что в институте решительно все, и служащие и воспитанники, чрезвычайно уважали и любили А. П. Иванова, и когда он скончался, в январе 1868 года, то воспитанники несли гроб его на руках до самой могилы, отстоявшей от института на несколько верст. Вся Москва знала А. П. Иванова, и все глубоко сожалели о преждевременной его кончине.

Однажды вечером, в начале 1866 года, я был отпущен в отпуск к Ивановым, которые жили в казенной квартире на институтском дворе. У них я застал довольно много гостей, здороваясь с которыми я был представлен пожилому господину, немного выше среднего роста, с белокурыми прямыми волосами и бородой, с весьма выразительным и бледно-матовым, почти болезненным лицом.

* Все, что здесь изложено, было записано мною давно, около тридцати лет тому назад, под живым впечатлением знакомства моего с Достоевским. (*Примеч. Н. Фон-Фохта.*)

Это был Ф. М. Достоевский. Он сидел в кругу молодежи и беседовал с нею. Я с удивлением и крайним любопытством смотрел на этого человека, о котором так много слышал в семействе Ивановых и с произведениями которого был отчасти уже знаком. Мне невольно вспомнились его герои из «Мертвого дома», закованные в кандалы и одетые в серые арестантские куртки. Неужели, подумал я, руки и ноги этого благообразного человека также побрякивали кандалами, неужели и он носил арестантскую куртку? Да, все это в действительности было, все это перенес этот человек в дебрях отдаленной Сибири, в каторге, которую он так гениально изобразил в «Записках из Мертвого дома»...

В тот же вечер я узнал, что Ф. М. Достоевский решил провести предстоявшее лето в окрестностях Москвы, именно в сельце Люблино, которое было расположено в пяти-шести верстах от города по Московско-Курской железной дороге. Здесь обыкновенно проводило лето и семейство Ивановых, нанимая очень красивую, построенную в швейцарском вкусе дачу. Люблино принадлежало московским 1-й гильдии купцам Голофтееву и Рахманину и состояло из небольшого числа каменных домов, которые отдавались под дачи. В то отдаленное время Люблино представляло очень уютный и тихий уголок. Дачи были окружены прелестным старым парком, примыкавшим с северной стороны к большому проточному озеру, а с южной — парк переходил незаметно в мешаный большой лес, тянувшийся по направлению к Перервинской слободе. Вообще Люблино было окружено лесами и потому представляло весьма здоровый пункт для летнего пребывания. В озере же дачники пользовались превосходным купаньем и рыбной ловлей. Около купален было собрано множество лодок разнообразных типов, коими дачники пользовались безвозмездно. Вообще в Люблине можно было проводить лето весьма приятно, причем главное его достоинство заключалось в том, что сюда не заглядывали городские жители, не было самоваров, шарманок, акробатов и прочих удовольствий для людей средней руки и простонародья. В Люблине всегда было тихо и спокойно.

В мае месяце Ивановы переехали на дачу, а вскоре прибыл из Петербурга и Ф. М. Достоевский, который нанял для себя отдельную двухэтажную каменную дачу поблизости Ивановых. Он, собственно, занимал только одну большую комнату в верхнем этаже, которая служи-

ла ему спальней и рабочим кабинетом; остальные комнаты в доме были почти пустые, так что здесь царствовала всегда невозмутимая тишина. Это было весьма кстати для Достоевского, который тогда трудился над своим известным романом «Преступление и наказание», именно писал его вторую часть[2].

Обыкновенно Ф. М. Достоевский вставал около девяти часов утра и, напившись чая и кофе, тотчас же садился за работу, которой не прерывал до самого обеда, то есть до трех часов пополудни. Обедал он у Ивановых, где уже и оставался до самого вечера. Таким образом, Федор Михайлович писал по вечерам крайне редко, хотя говорил, что лучшие и наиболее выразительные места его произведений всегда выходили у него, когда он писал поздно вечером. Однако вечерние занятия ему были воспрещены, как слишком возбуждавшие и без того расстроенную его нервную систему. Как известно, Ф. М. Достоевский страдал припадками падучей болезни, приобретенной им во время ссылки в Сибири[3]. Здесь не могу пройти молчанием одного случая, происшедшего со мной в описываемое лето. Однажды к Ивановым приехали гости из Москвы, провели целый день в Люблине и по настоянию гостеприимного хозяина остались ночевать, с тем чтобы на другой день утром отправиться обратно. Так как гостей было довольно много, то пришлось на ночь потесниться, и я должен был уступить свою комнату одному из гостей. Ф. М. Достоевский предложил мне переночевать у него. Я, конечно, охотно согласился, и мы скоро вдвоем пришли к нему на дачу. Пожелав спокойной ночи Федору Михайловичу, я отправился в соседнюю комнату и устроился здесь весьма удобно на диване, однако заснуть никак не мог. Мертвая тишина, царствовавшая в доме, тихие шаги Федора Михайловича в соседней комнате и иногда достигавшие до меня его тихие вздохи и даже как будто какой-то шепот, раздававшийся по временам в его комнате, взволновали меня, и я при всем старании никак не мог заснуть. Мною начал овладевать даже какой-то непонятный страх, и я слышал биение своего юного сердца. Так прошло с добрый час. Вдруг шаги Федора Михайловича начали приближаться к моей комнате, затем тихо отворилась дверь, и я увидел бледную фигуру Достоевского со свечкою в руках. Я невольно вздрогнул и приподнялся на диване.

— Послушайте, — дрожащим голосом проговорил Достоевский, — если со мною случится в эту ночь

припадок, то вы не бойтесь, не подымайте тревоги и не давайте знать Ивановым.

С последними словами Федор Михайлович притворил дверь и удалился в свою комнату. Как молодому юноше, мне в ту минуту сделалось невыразимо страшно, я боялся видеть и слышать об этой болезни (у нас в институте было два-три таких случая), а тут приходилось с минуты на минуту ожидать, что вот-вот Федор Михайлович упадет, начнутся с ним конвульсии, раздадутся болезненные, совершенно особенные крики... Сон далеко отлетел от меня, и я весь обратился в напряженный, тревожный слух. Вскоре шаги прекратились, и вместо этого я стал ясно различать перелистывание страниц книги. Очевидно, Федор Михайлович начал читать. Я старался думать о чем-нибудь постороннем, но за какую бы мысль я ни хватался, фигура Достоевского со свечкою в руках постоянно возвращала меня на прежние ожидания припадка. Ужасная ночь! Вдруг я стал различать едва долетавший до моего слуха отдаленный, глухой шум. Последний быстро приближался и усиливался, наконец раздался продолжительный свисток, и я тотчас же догадался, что это проходил поезд Московско-Курской железной дороги. Я невольно и с радостью ухватился за гул удалявшегося поезда, и, по мере того как поезд все более и более удалялся, я тоже начал забываться... Когда я проснулся, яркое летнее солнце весело глядело в мою комнату, и вся бодрость разом возвратилась ко мне. Быстро одевшись, я застал Федора Михайловича уже за утренним чаем веселым и совершенно спокойным. Оказалось, что припадка с ним не было, хотя приближение такового он накануне предчувствовал.

— Я всегда предчувствую приближение припадка, — говорил он мне, — но вчера как-то благополучно обошлось. А вы, я думаю, порядочно напугались? — засмеялся он и тотчас же переменил тему разговора и начал рассказывать о своем последнем путешествии за границу[4].

Достоевский говорил медленно и тихо, сосредоточенно, так и видно было, что в это время у него в голове происходит громадная мыслительная работа. Его проницательные небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалось добродушие, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным, злобным светом, именно в те минуты, когда он касался вопросов, его глубоко волновавших. Но это проходило быстро, и опять эти глаза светились спокойно и добродушно. Но что бы он ни говорил, всегда в его речи прогля-

дывала какая-то таинственность, он как будто и хотел что-нибудь сказать прямо, откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Иногда он нарочно рассказывал что-нибудь фантастическое, невероятное и тогда воспроизводил удивительные картины, с которыми потом слушатель долго носился в уме. Одна из дочерей А. П. Иванова, уже взрослая девица и отличная музыкантша, была большая трусиха. Федор Михайлович это хорошо знал и нарочно рассказывал ей на сон грядущий такие страшные и фантастические истории, от которых бедная Мария Александровна не могла подолгу заснуть. Федора Михайловича это ужасно забавляло.

О своем пребывании в Сибири и в каторге Достоевский нам ничего никогда не рассказывал. Он вообще не любил об этом говорить. Все это знали, конечно, и никто не решался никогда возбуждать разговора на эту тему. Только однажды мне удалось, сидя у Федора Михайловича за утренним чаем, услышать от него несколько слов по поводу небольшого Евангелия, которое у него лежало на маленьком письменном столе. Мое внимание возбудило то обстоятельство, что в этом Евангелии края старинного кожаного переплета были подрезаны. На мой вопрос о значении этих подрезов Достоевский мне объяснил, что когда он должен был отправиться в ссылку в Сибирь, то родные благословили и напутствовали его этою книгою, в переплете которой были скрыты деньги[5]. Арестантам не дозволялось иметь собственных денег, а потому такая догадливость его родных до некоторой степени облегчила ему на первое время перенесение суровой и тяжелой обстановки в сибирском остроге.

— Да, — сказал с грустью Федор Михайлович, — деньги — это чеканенная свобода...[6]

С этим Евангелием Достоевский потом никогда в жизни не расставался, и оно у него всегда лежало на письменном столе *.

Ф. М. Достоевский очень любил молодежь, почти все свободное свое время от занятий он всецело отдавал этой молодежи, руководя всеми ее развлечениями. По

* Это Евангелие хранится в семье Достоевских. О нем напечатана заметка Н. Н. Кузьмина в январской книжке «Ежемесячных сочинений» 1901 г. (*Примеч. редакции «Исторического вестника».*)

счастливому стечению обстоятельств, в описываемое лето в Люблине поселилось несколько семейств, которые быстро перезнакомились между собою. Было много молодежи, несколько очень хорошеньких и взрослых барышень, так что по вечерам на прогулку нас собиралось со взрослыми до двадцати человек. Все это общество было всегда беззаботно весело, всегда царствовало во всем полное согласие, и никогда даже малейшая тень какого-либо недоразумения или неудовольствия не пробегала между нами. И душою этого общества всегда были А. П. Иванов и Ф. М. Достоевский. Что они скажут, то делали все, и взрослые, и молодежь. Конечно, каждый из нас, юношей, имел предмет своего обожания, но все это носило до такой степени невинный, идеалистический характер, что старшие только подсмеивались над нами, шутя относились к нашим вздохам и мечтаниям, не бросив ни разу зерно какого-либо недоброго подозрения. Оттого и царствовали между всеми нами дружба и полное единство. Да, счастливое было это время!

Прогулки обыкновенно заканчивались разными играми в парке, которые затягивались иногда до полуночи, если дождь ранее не разгонит всех по домам. Ф. М. Достоевский принимал самое деятельное участие в этих играх и в этом отношении проявлял большую изобретательность. У него однажды даже явилась мысль устроить нечто вроде открытого театра, на котором мы должны были давать импровизированные представления. Для сцены выбрали деревянный помост, охватывавший в виде круглого стола ствол столетней, широковетвистой липы. В то время вся наша молодежь зачитывалась сочинениями Шекспира, и вот Ф. М. Достоевский решил воспроизвести сцену из «Гамлета». По его указаниям сцена должна была быть воспроизведена в следующем виде: я и старший сын А. П. Иванова стоим на часах и ведем беседу, вспоминая о недавно появившейся тени прежнего датского короля. Во время этого разговора вдруг появляется тень короля в лице Федора Михайловича, закутанного с головою в простыню. Он проходит по сцене и скрывается, мы же, объятые ужасом, падаем. После этого медленно выступает на сцену Гамлет (молодой доктор К<арепи>н, племянник Федора Михайловича) и, увидя нас лежащими на земле, останавливается, грозным взором окидывает зрителей и торжественно произносит: «Все люди свиньи!» Эта фраза вызывала громкие рукоплескания публики, и тем сцена кончалась. В этом роде

изображались и другие сцены, и всегда в них участвовал сам Достоевский. Словом, он забавлялся с нами, как дитя, находя, быть может, в этом отдых и успокоение после усиленной умственной и душевной работы над своим великим произведением («Преступление и наказание»).

Ф. М. Достоевский очень любил музыку, он почти всегда что-нибудь напевал про себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. В этом отношении вторая дочь А. П. Иванова, Мария Александровна, ученица Московской консерватории, доставляла ему большое удовольствие своею прекрасною игрою. В одном только они расходились: Мария Александровна была большая поклонница Шопена (как и вообще все женщины), между тем как Федор Михайлович не особенно жаловал музыку польского композитора, называя ее «чахоточной». Он превыше всего ставил музыку Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и Серова, в особенности оперу последнего «Рогнеда»[7]. Относительно «Аскольдовой могилы» мы образовали два лагеря: А. П. Иванов и я были на стороне этой оперы и восторгались каждым ее мотивом, все прочие образовали противоположную партию, относились к опере равнодушно, даже насмешливо, называя музыку Верстовского собранием простых романсов, и больше ничего. Ф. М. Достоевский не высказывался определенно и скорее готов был бы поддержать А. П. Иванова, чтобы хотя чем-нибудь доставить удовольствие этому прекрасному человеку. Действительно, стоило только неодобрительно отозваться об «Аскольдовой могиле», как это просто выводило из себя Александра Павловича. Он знал эту оперу наизусть и играл ее по слуху. Со времени постановки оперы на московскую сцену А. П. Иванов не пропускал ни одного представления. Он рассказывал, что в первый год постановки «Аскольдовой могилы» она была сыграна шестьдесят раз. Тогда роль Торопки исполнял знаменитый певец Бантышев, который своим феноменальным голосом всегда привлекал в театр массу москвичей, преимущественно из купечества.

Уже раз коснувшись музыки, упомяну здесь маленькую подробность. Однажды в присутствии Ф. М. Достоевского я сыграл на рояли (я тоже играл по слуху) немецкий романс на известные стихи из Гейне:

Du hast Diamanten und Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr,
Und hast die schönsten Augen, —
Mein Liebchen, was willst du mehr?.. *[8] и т. д.

Романс этот очень понравился Федору Михайловичу, и он полюбопытствовал узнать, где я его слышал. Я ответил, что несколько раз слышал, как его играли шарманщики в Москве. По-видимому, Достоевский слышал этот романс впервые и стал частенько сам его напевать. Не смею утверждать, но, быть может, у него вследствие сего явилась мысль в 5-й главе 2-й части своего романа «Преступление и наказание» вложить в уста умирающей Катерины Ивановны Мармеладовой те же слова этого романса, которые она произносит в бреду. Необходимо припомнить, что Катерина Ивановна также ходила по улицам с шарманкой и своими детьми, заставляя последних петь и плясать перед глазеющим народом. Вторую же часть своего романа Федор Михайлович именно писал в Люблине летом 1866 года[9].

Ф. М. Достоевский почти каждую неделю ездил в Москву, в редакцию «Русского вестника», в котором печатался его роман, и всегда возвращался домой недовольный и расстроенный. Объяснялось это тем, что ему приходилось почти всегда исправлять текст или даже прямо выбрасывать некоторые места своего произведения вследствие разных цензурных стеснений. Это, конечно, было ему очень неприятно, но открыто он этого не высказывал, так что никто из нас не знал, какие места романа исчезли бесследно для читающей публики[10].

Однажды Федор Михайлович отправился в Москву пешком и для компании пригласил меня с собой. Во всю дорогу он рассказывал о последних политических событиях, весь интерес которых в то время сосредоточивался на австро-прусской войне[11]. Я, конечно, мало понимал в политике, но, читая ежедневно газеты, очень интересовался военными успехами Пруссии. Естественно поэтому,

---

* Мой свет, у тебя алмазы,
Наряды, деньги, почет
И пара прелестных глазок.
Чего же тебе еще?

С какою жадностью я вслушивался в объяснения, мнения и взгляды Федора Михайловича, который своею громадною эрудицией мог поистине увлечь каждого слушателя. От него я узнал о Бисмарке, Наполеоне III, Франце-Иосифе и других вершителях судеб Европы. Он был очень внимателен и терпелив к задаваемым мною вопросам и с полною обстоятельностью старался мне все разъяснить, чего я, по своему юношеству, не понимал. В такой беседе мы дошли до Рогожской заставы. Здесь Федор Михайлович просил меня остаться и подождать, пока он съездит в редакцию. Я присел на лавочку возле какого-то трактира средней руки и от нечего делать начал считать, сколько мимо меня провезут по шоссе покойников на Рогожское кладбище. Нужно заметить, что в описываемое лето в Москве свирепствовала холера если и не особенно сильная, а все же уносившая ежедневно немало жертв. В течение трехчасового ожидания я насчитал, что мимо меня провезли около десяти человек покойников, почти исключительно из простонародья. Какая-нибудь клячонка тащит в телеге наскоро сколоченный простой желтый гроб, и два-три человека провожатых, а то и никого. Грустная картина! Но вот вскоре показалась пролетка, и в ней знакомая фигура Федора Михайловича, искавшего меня глазами. Когда он подъехал ко мне, то сообщил прежде всего, что он очень проголодался, и предложил закусить тут же в трактире. Я был весьма доволен таким предложением, ибо и сам чувствовал голод. Таким образом, мы вошли в трактир и заняли отдельный столик, накрытый белой скатертью и усеянный скучающими мухами. Благодаря летнему времени, в трактире было почти пусто. Половые в белых рубахах и с салфеткой под мышкой уныло бродили по зале и, по-видимому, были удивлены нашим посещением, ибо мы все же были на загородном шоссе необычными посетителями.

Половой, подававший нам холодную закуску (кстати замечу, что Федор Михайлович почти ничего не пил), был очень вертлявый и услужливый человек, так что он невольно напомнил мне того трактирного слугу, который подавал обед П. И. Чичикову в гостинице города N. Когда я об этом заметил Федору Михайловичу, то привел его в самое веселое настроение. Вообще достаточно было по какому-либо поводу упомянуть о Гоголе, чтобы вызвать у Достоевского горячий восторг, — до такой степени он преклонялся пред гением этого великого писателя. Много раз, вспоминая различные места из произведений Гоголя,

он говорил, что по реальности изображаемых лиц и неподражаемому юмору он ничего высшего не знает ни в русской, ни в иностранной литературах. Например, говорил он однажды, ничего более характерного и остроумного не мог придумать ни один писатель, как это сделал Гоголь, когда Ноздрев, после тщетных усилий заставить Чичикова играть в карты и окончательно рассердившись, вдруг отдает приказание своему слуге: «Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено». Это был такой гениальный штрих в характеристике Ноздрева, который сразу выдвинул всю фигуру его и наиболее сильно очертил все внутреннее содержание этого бесшабашного человека.

К сожалению, Ф. М. Достоевский нам никогда ничего не читал, так что я не могу сказать, какое он производил впечатление своим чтением на слушателей.

Судя по тому, как он говорил, как рассказывал, нужно думать, что и читал он очень хорошо. Но все до такой степени относились к нему деликатно, так никому не хотелось его чем-нибудь утрудить, что никто и не решался предложить ему книгу для чтения вслух, без личного его к тому побуждения и желания.

В конце июля месяца я уехал вместе со старшим сыном А. П. Иванова (гимназистом 7-го класса) в их деревню, находившуюся в Зарайском уезде Рязанской губернии. Село Даровое, так называлось родовое имение Достоевских, перешло в приданое Вере Михайловне Ивановой. Прощаясь с нами, Федор Михайлович поручил нам вести дневник, в который записывать все, что будет происходить в деревне во время нашего там пребывания. Еще немного ранее уехали в ту же деревню Вера Михайловна с двумя дочерьми, так что в Даровом собралось нас небольшое общество, и мы весьма приятно проводили время, несмотря на большую глушь, куда мы заехали.

Наше путешествие не ознаменовалось ничем особенным.

Выйдя на станции Луховицы Московско-Рязанской железной дороги, мы уже далее продолжали путь на лошадях и к вечеру прибыли в Зарайск. Здесь пришлось переночевать. От нечего делать мы осмотрели город, который, как и все русские уездные города, не представлял ничего достопримечательного, за исключением разве старинной толстой стены, представлявшей остатки прежнего кремля.

Благодаря летней поре в городе было пустынно и скучно. Редко кого можно было встретить на улице из публики, и только *единственный* в городе извозчик, стоявший уныло на площади, показывал, что и в Зарайске жители не лишены стремления к удобствам передвижения. На другой день мы уже были в деревне, где нас гостеприимно принял в свои стены небольшой старинный господский дом.

Несмотря на то что кругом свирепствовала холера, в особенности в Коломне, в ста верстах от нас, мы чуть ли не с раннего утра принимались за уничтожение превосходных яблок и груш, коими изобиловал фруктовый сад при господском доме. Другим лакомым блюдом были грибы: мы их уничтожали с неменьшим усердием, не обращая никакого внимания на запрещение их есть. Грибы составляли до такой степени характерную особенность нашего стола, что мы у себя в дневнике ввели рубрику «грибных» и «негрибных» дней. По-видимому, Бог хранил нас, и никто за все время пребывания в деревне не заболел даже признаками холеры.

В средине августа мы возвратились в Люблино и еще застали здесь Ф. М. Достоевского[12]. Он прежде всего потребовал от нас дневник и торжественно прочитал его при всех. Некоторые места нашего юношеского произведения вызывали у него смех, и в общем он остался доволен и похвалил нас.

Но вот кончилось лето, все начали готовиться к переезду на зимние квартиры, выражаясь по-военному, и наше «люблинское» общество стало быстро уменьшаться. Вскоре уехал в Петербург и Ф. М. Достоевский, обещав при прощании, что будущее лето он снова проведет в Люблине. Конечно, это было для всех большою радостью, но, к сожалению, этой радости не суждено было осуществиться.

В том же году я отправился на Рождественские праздники в отпуск к своему брату в Петербург. Так как Ф. М. Достоевский, при прощании в Москве, приглашал меня его навестить, если я буду в Петербурге, то я счел долгом исполнить его желание, притом я имел маленькое поручение к нему от Ивановых. Однажды утром на праздниках я отправился к Достоевскому. Он в то время жил на углу Столярного переулка и Средней Мещанской, вместе с своим пасынком П. Исаевым, на матери которого, вдове Исаевой, Федор Михайлович женился еще в бытность свою в Сибири, но которая уже умерла незадолго

до моего знакомства с Достоевским. Эту первую супругу нашего знаменитого писателя я видел только один раз в Москве, у Ивановых, и она на меня произвела впечатление в высшей степени болезненной и нервно-расстроенной женщины.

Вход в квартиру Достоевского был из-под ворот по холодной и грязноватой каменной лестнице. Квартира помещалась, насколько помнится, во втором этаже и состояла всего из трех небольших комнат, весьма скромно меблированных. Прямо из передней — столовая, направо — кабинет и спальня Федора Михайловича, налево — комната его пасынка. Я застал Достоевского за весьма невинным занятием: он сидел за чайным столом в средней комнате и набивал папиросы. Он очень радушно принял меня, подробно расспрашивал о семействе Ивановых, вспомнил о Люблине и все повторял, что никогда в жизни не проводил так приятно лета, как прошлое, которое на него подействовало самым благодетельным образом. Между прочим он мне сообщил, что романа «Преступление и наказание» он еще не кончил, что ему предстоит теперь двойная работа, так как он непременно должен для Стелловского (известного тогда издателя) к определенному сроку написать какую-нибудь вещь [13]. Это было причиною появления в свет повести Достоевского «Игрок», написанной, главным образом, под диктовку, ввиду спешности работы.

Пробыв еще некоторое время у Федора Михайловича, я с ним затем вместе собрался уходить. Когда мы спускались по лестнице, нам навстречу попал высокий господин, с длинными волосами, в золотых очках и в фетровой шляпе с широкими полями. Ф. М. Достоевский весьма дружески с ним поздоровался и, обращаясь ко мне, произнес: «Представляю вам нашего знаменитого поэта Аполлона Николаевича Майкова!» После этого оба писателя вышли вместе на улицу, и я с ними простился.

Это было в последний раз, когда я виделся с Ф. М. Достоевским. Перед отъездом в Москву я еще раз заходил к нему, чтобы проститься, но не застал его дома. С тех пор я с Достоевским более не встречался, но память о нем всегда будет жить в моем сердце, и если я решился поделиться с читателем моими юношескими воспоминаниями об одном из эпизодов в жизни Ф. М. Достоевского, то единственно в том предположении, что все, что касается жизни этого замечательного, многострадального человека и первоклассного русского писателя, будет также дорого каждому просвещенному русскому читателю.

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ИЗ «ДНЕВНИКА 1867 ГОДА»

18 апреля.

<...> Мы наскоро собрались и пошли в галерею[1]. <...>

Наконец Федя привел меня к Сикстинской мадонне. Никакая картина до сих пор не производила на меня такого впечатления, как эта. Что за красота, что за невинность и грусть в этом божественном лице, сколько смирения, сколько страдания в этих глазах. Федя находит скорбь в улыбке Мадонны[2]. <...>

Феде нечего теперь читать, и я боюсь, что он, пожалуй, соскучится. Он видел где-то «Былое и думы» Герцена[3], и ему захотелось прочесть. Он очень сожалел, что это будет стоить два талера, но я упросила его купить. <...>

Где-то в книжном магазине нам сказали, что «Былого и дум» нет, а есть «Полярная звезда» — две книги, стоит три талера. Читать нечего, мы и купили <...>

20 апреля (2 mai).

<...> Пошли в галерею. Как только мы вошли, так мне и бросилась в глаза Мадонна Мурильо[4], стоящая в первой зале. Что это за удивительное лицо, какая нежность красок! Мне чрезвычайно понравился младенец богоматери — удивительно милое у него выражение лица! На этот раз мы только мельком оглядели галерею. Останавливались только пред картиною Тициана «Zinsgroschen»: «Христос с монетою»[5]. Эта великолепная картина, по выражению Феди, может стоять наравне с Мадонною Рафаэля. Лицо Христа выражает удивительную кротость,

величие, страдание... В другой зале есть картина Anniball'a Caracci «Спаситель в молодых годах»[6]. Эту картину очень высоко ставит и любит Федя. <...> Федя сводил меня посмотреть картины Claude Lorraine мифологического содержания[7]. Чрезвычайно хороши! Потом сходили мы опять и к Мадонне Гольбейна[8]. <...>

22 апреля (4 mai).

<...> Мы пошли по Schloßstraße искать «Полярной звезды» за 1855 год, но нигде не могли найти. В этой книжной лавке попались нам «Записки Дениса Васильевича Давыдова». Мы их купили, потому что Федя их еще не читал. <...>

24 апреля (6 мая).

<...> Мы пошли в галерею. Здесь мы долго смотрели ландшафты Рюисдаля, болото, кладбище, дорогу и пр. Картины Wouvermann'a все больше воинственного содержания: либо охота, либо турнир или война, но непременно участвуют лошади и воины, полузакрытые от зрителя дымкой. Потом мы смотрели картины Watteau. Это придворный французский живописец начала прошлого столетия. Он рисует преимущественно сцены из веселой придворной жизни, где какой-нибудь маркиз ухаживает за блестящей красавицей. Картины эти полны жизни, лица очень выразительны, и прелестно нарисована одежда. Мы долго ходили по нижней галерее, потом пошли наверх, где мы еще ни разу не осматривали <...>

27 апреля (9 мая).

<...> Сегодня утром мы вместе вышли из дому: Федя пошел в Café Français читать газеты, а я отправилась доставать адрес той библиотеки, в которой можно доставать русские книги. Я скоро узнала, что мне было нужно, и вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое я нашла в письменном столе Феди. (Конечно, дело дурное читать мужнины письма, но что же делать, я не могла поступить иначе!) Это письмо было от С.[9] Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет. Господи, не посылай мне такого несчастия! Я была ужасно печальна. Как подумаю об этом, у меня сердце кровью обольется! Господи, только не это, мне слишком тяжело будет потерять его любовь!

Я едва успела утереть слезы, как Федя пришел домой. Он очень удивился, увидя меня. Я сказала, что у меня болит желудок. (Я была уверена, что он придет сейчас домой, не знаю почему.) Я сказала Феде, что мне нездоровится, что у меня дрожь. Он хотел, чтоб я легла в постель, стал очень беспокоиться, расспрашивал, отчего это у меня. (Он меня еще любит, он сильно всегда беспокоится, когда со мной что-нибудь делается.) Говорил, что мне не надо многого есть. (От нравственных мучений вздумал лечить диетой.) Мне стало лучше, и мы пошли по данному адресу отыскивать библиотеку и скоро ее нашли. Нам подали каталог; здесь не более двух десятков книг русских, но все больше запрещенные. Мы выбрали «Полярную звезду» 1855 и 1861 года. <...>

28 апреля (10 мая).

<...> Решили идти в картинную галерею. Долго мы ходили, останавливаясь только перед нашими любимыми картинами. Потом пошли на почту, но писем еще нет. Отсюда идем на террасу обедать в Бельведер. <...> Нам наскучило сидеть на террасе, и мы пошли в Grand Jardin. Это в нашей стороне. Мы перешли Donna Platz, повернули налево, потом направо и вошли в какую-то рощу. При входе находится ресторан; здесь было много публики, все больше старики и старухи, и множество детей. <...> Возился какой-то мальчик в песке, который очень бесцеремонно веселился и оборачивался на публику. Нам он очень понравился. У Феди была конфетка, и он захотел ее подарить мальчику. Сначала звал его Францем, Фридрихом, но мальчик не подходил. Потом Федя сам подошел к мальчику, предлагая конфетку, но тот ужасно как смутился; затем Федя подошел к девочке, которая также законфузилась и отказалась взять конфетку. Этот мальчуган, поиграв немного, побежал в дом и вызвал какую-то старушку, вероятно, его бабушку, стал указывать на нас и говорил ей, что этот господин подходил к нему и давал ему Papier *. Бабушка смеялась, кланялась нам и, наконец, увела мальчика в дом. <...>

29 апреля (11 мая).

В Grand Jardin есть <...> тир для стрельбы из ружья. Какой-то немец стоял у прилавка и яростно стрелял; действительно, это был очень хороший стрелок: почти

---

* бумажку (*нем.*).

каждый раз он попадал в кружочек и заставлял железного турку подниматься из-под полу. Мы тоже подошли. Федя хотел попробовать, но я, совершенно не зная, что он когда-нибудь стрелял, сказала ему: «Не попадешь». Этим замечанием я вовсе не хотела его обидеть, а сказала спроста. Это подзадорило его, и он взял ружье. В первый же раз он попал, и какой-то гусар показался из-под полу. Он попадал почти через раз и потом с торжеством обратился ко мне: «Что?» — и прибавил, что это опять подтверждает его давнишнюю мысль, что жена есть естественный враг своего мужа. Я с ним спорила, но он не хотел согласиться и утверждал прежнее.

Мы пошли не прямо домой, а на террасу, где я пила кофе, а Федя ел мороженое и пил кофе. Посидев немного, мы подошли к решетке террасы и стали смотреть на закат солнца. Тут мы из-за заката опять поссорились, Федя меня выбранил, и мы, очень злые, пошли домой. На дороге мне сделалось так тяжело, что я не имела силы удержаться, заплакала и сказала, что я эти дни несчастлива. <...> Мы дошли до конца Moritz Allee, Федя пошел за папиросами, а я чуть не бегом побежала домой. Не успела я войти в комнату и раздеться, как пришел Федя. <...> Я немного поплакала, но потом мне стало лучше. Федя говорил, что, верно, мне скучно, что мы живем очень уединенно, что нам непременно надо уехать, что я, вероятно, раскаиваюсь, что вышла за него замуж, и прочие и прочие глупости. При этом рассказал мне сказку о двух стариках, которые, не имея детей, печалились и горевали о том, что будет с ними, если их внуки помрут. <...>

30 апреля (12 мая).

<...> В 4 часа пошли в Pachmansch'e Leihbibliothek. На дверях была надпись, что по воскресеньям она бывает открыта только до часу. На наш стук нам отворила хозяйка библиотеки; мы взяли опять три номера «Полярной звезды» и... * отдали в залог два талера. Надо было отнести книги домой. По дороге мы зашли к Courmouzi и купили у него фиников (14 Silb. Pfund), желе красносмородинного и кофе (15 Silb.). Все это мы отнесли домой и отправились на террасу обедать. <...> Обед был хорош. <...> Вышли на балкон — Федя, чтобы пить кофе и читать «Indépendance Belge». Федя непременно захотел идти вниз

* Пропуск в рукописи.

слушать музыку. Сошли, заплатили 5 Silbergrosch'ей, но только что сели, как Федя стал говорить, что лучше нам уйти, что все так дурно играют. Я насилу убедила его прослушать Schubert'а «Ständchen» *. <...>

Мая 3 (15).

<...> Я долго выбирала в библиотеке. Здесь около тридцати русских книг, не более, большею частью запрещенные. Он <библиотекарь> вынул мне еще книги, которых нет в каталоге, и я думала, что это какие-нибудь еще более интересные книги, и что же оказалось? Это были: «Грамматика для детей старшего возраста», какой-то «Дневник девочки», «Бедные дворяне» Потехина и тому подобные совершенно не запрещенные книги (еще что-то вроде путешествия вокруг света для детей). Это мне напомнило, как мы однажды пришли с Федей в одну книжную лавку, желая купить «Полярную звезду». Это лавка антикварских книг. Во-первых, мне пришлось разбудить (именно разбудить) старичка, который здесь торгует (бедный, он заснул за чтением какой-то политической газеты); он вскочил и спросонья сначала нас не мог понять. Но потом, узнав, что мы требуем русских запрещенных книг, он объявил, что у него есть *такие;* стал усиленно рыться в своих шкафах (мы все ждали) и вытащил откуда-то с таинственным видом книгу «Сергиевские серные воды» Марии Ростовской, с указанием их пользы. Мы с Федей страшно расхохотались, сказали старичку, что этого нам и даром не надо, и, смеясь, ушли из его лавки. Мой библиотекарь объявил мне, что через восемь дней у них будут новые книги, и я взяла, какие тут были. Но когда я показала принесенные книги Феде, он, просмотрев их, сказал, что в них нечего читать и что я лучше бы сделала, если б выбрала другие книги. Я вызвалась отнести их назад, но сперва хотела отобедать <...> За обедом мы сочиняли с Федей стихи вроде следующих: «Иды все нет как нет, не несет она котлет...» и другие в этом же духе. Что же касается моих похождений за книгами, то Федя объявил, что это просто водевиль: «Муж в подушках, а жена на побегушках». После обеда выпили кофею, обменивались взаимными нежными словами. Федя лег спать, сказав, чтоб я его разбудила к чаю, а я пошла опять за книгами. На этот раз я выбрала «Былое и думы», 3 части. <...>

---

* «Серенаду» Шуберта (*нем.*).

Мая 4 (16).

<...> Шла по Astra Allee, заходила в булочную и очутилась у почтамта. Я, не знаю почему, предчувствовала, что будет письмо *от нее,* и очень рада, что это случилось без Феди и что я могу его прочесть. Я заплатила за письмо 6 Silb. 6 Pf. (письмо было без марки), тотчас же узнала почерк и пошла домой, не обнаруживая особенного волнения. Но затем мне стало нехорошо. Я торопливо пришла домой, страшно в душе волнуясь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе. Я уверена, что она была сильно раздосадована женитьбою Феди и что тоном письма выразилась ее обида. (Моя догадка оправдалась: письмо было послано Федею из Дрездена.) Я два раза прочла письмо, где меня называют Брылкиной[10] (очень неостроумно и неумно). Я подошла к зеркалу и увидела, что у меня все лицо в пятнах от волнения. Потом я вынула чемодан и рассмотрела его письма, многие из них я уже читала прежде. <...>

Понедельник, 15 мая (27).

<...> Я уже потеряла всякую надежду увидеть сегодня Федю, как вдруг вдали показался он[11]. Я с минуту всматривалась, как бы не веря глазам, потом бросилась к нему и была так рада, так рада, так счастлива! Он немного изменился, вероятно с дороги. Был запылен, но все-таки мы очень радостно встретились. <...> Ида нас встретила у подъезда. Мы тотчас же спросили чаю. Я все время любовалась моим Федей и была бесконечно счастлива. За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я ему подала письмо *от нее.* Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано; потом наконец прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка *. Он ответил, что письмо не от

---

* Софья Александровна Иванова, родная племянница Федора Михайловича. (*Примеч. А. Г. Достоевской.*)

Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была или улыбка презрения или жалости, право, не знаю, но какая-то жалкая, потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чем я говорю. <...>

Вторник, 16 мая (28).

<...> Федя все время как потерянный ходил по комнате, все чего-то искал, точно он что потерял, рассматривал письма. Вообще видно было, что письмо С. его очень затронуло и оскорбило. Но мне очень, очень бы хотелось узнать его мнение об этом поступке. <...>

В четыре часа мы пошли обедать. Зашли за сигарами и папиросами и купили «Колокол». <...>

Среда, 17 мая (29).

Сегодня Федя целое утро занимался составлением письма к Каткову[12]. Я все думала, позовет ли он меня выслушать письмо или нет, но когда он написал, то позвал и спросил моего мнения. Потом мы вышли, чтобы где-нибудь пообедать; по дороге купили сигар, папирос и шляпу (2 талера, 5 Silb.) коричневую. Какой Федя еще дитя, он так и охорашивался в новой шляпе; мой отзыв, что эта шляпа ему идет, ему очень польстил. <...>

Вторник, 23 мая (4 июня).

<...> Зашли в библиотеку; здесь молодого человека не было, а была сама хозяйка, ужасно бестолковая госпожа, которая притащила нам несколько каталогов и просила выбрать. (Я прочла «Les Misérables» *, эту чудную вещь Виктора Гюго. Федя чрезвычайно высоко ставит это произведение и с наслаждением перечитывает его. Федя указывал мне и разъяснял многое в характерах героев романа. Он хочет руководить моим чтением, и я страшно этому рада!) Теперь Федя взял «Nicholas Nickleby» Диккенса. Отнесли книги домой и пошли в Grand Jardin и здесь слушали музыку. Просидели до самого конца, что никогда не случалось прежде. Сегодня играли какую-то особенно нежную мелодию, «Das Bild der Rose» ** и еще увертюру из «Vier Haymons Kinder» ***[13]. Мне было очень, очень весело в этот день.

---

* «Отверженных» (*фр.*).
** «Образ розы» (*нем.*).
*** «Четырех сыновей Эмона» (*нем.*).

Среда, 24 мая (5 июня).

<...> Сегодня весь сад ресторана Grand Jardin'a был освещен маленькими цветными фонариками; это было довольно красиво. Пришлось идти гулять по всему саду; зашли в какой-то кабачок и пили пиво. Потом гуляли под музыку и отправились домой. Я была очень весела сегодня: то прыгала, как маленькая, через несколько ступенек, то пела, то танцевала, просто Федя не знал, чему это и приписать, а я была просто счастлива. Заходили в кондитерскую купить пирожков и съели там мороженого, но когда пришли домой, у меня сильно разболелся желудок, и я должна была лечь в постель. Федя поминутно спрашивал меня: «Ну что, еще болит?» — как будто эта боль могла пройти в одну минуту. Потом мы долго сидели с ним вечером, и он просил меня рассказать ему всю историю нашей любви. Я ему долго рассказывала, какое он на меня произвел впечатление, как я вошла, как потом было. Он слушал и сказал мне, что он, женясь на мне, хоть и любил, но еще очень мало меня знал, но теперь вчетверо более меня ценит, зная, какая я простая. (Федя был ко мне очень нежен.) <...>

Понедельник, 29 мая (10 июня).

<...> В четыре часа мы пошли на почту; Федя получил два письма: первое от Паши, со вложением нескольких писем, присланных Феде со дня его отъезда. А другое было от Аполлона Николаевича Майкова[14]. Федя тут же распечатал письма. Когда он читал, то я могла тоже читать те же самые письма; я заметила, что было письмо от С.

Пятница, 2 июня (14).

<...> Пошла в галерею, много там ходила, осмотрела Рибера, видела все картины Рембрандта, Рубенса, жанровые картины Давида Теньера. В половине четвертого пришел Федя, и мы еще раз обошли галерею. Федя указывал лучшие произведения и говорил об искусстве. Какие удивительные шедевры здесь собраны! <...>

Суббота, 3 июня (15).

Зашли в Café Real. Отсюда пошли в книжный магазин покупать «Колокол». Купили за 1-е июня, чего мы не знали, потому что в последнем номере было сказано, что следующий номер выйдет 15 июня; заплатили 6 Silb. <...>

Как я подумаю, до чего изменился его характер, — это удивительно! Прежде, бывало, так раздражителен, а теперь все мне сходит с рук. Прежде, бывало, он так раздражался и кричал на своих домашних, что я просто иногда страшилась за свою будущую с ним жизнь. Я думала: если он и при мне не изменится, то жизнь моя будет — мука. Но теперь это все прошло, хотя наши обстоятельства теперь куда как не блестящи. <...>

Понедельник, 5 июня (17).

<...> Пошли в Grand Jardin. Сегодня играли произведения Моцарта: «Andante Cantabile», «Menuet», «Allegro», все удивительно хорошо. Федя был в полном восхищении; мы оба были очень рады, что нам сегодня удалось послушать такую чудесную музыку. <...>

<...> Сегодня я весь вечер читала: «Les Misérables», и когда пробило половину двенадцатого, — обыкновенное время, когда я отправляюсь спать, — то Федя погнал меня ложиться, сказав, что я могу дочитать и завтра. Я простилась с ним и отправилась в другую комнату, где и дочитала главу. В половине четвертого, не более получаса как я успела заснуть, с Федей сделался припадок. Я тотчас же вскочила, так что, как он мне после говорил, он при начале припадка видел, как я подбежала к нему. Меня на этот раз припадок очень поразил: я становилась на колени, ломала руки и все повторяла: «О несчастный, несчастный!» Действительно, его страдания были ужасны, но, по счастию, припадок продолжался недолго; потом он очнулся, но, видимо, не понимал, что с ним было, так что уже через полчаса я ему сказала, что у него был припадок. Он сделался ко мне удивительно ласков, говорил, что я добрая, что он меня любит, и умолял меня лечь в постель и заснуть. <...>

Вторник, 18 июня (6).

<...> Встал Федя ужасно разбитый, с совершенно другими впечатлениями, чем обыкновенно. Ему бывает после припадка чрезвычайно грустно, тяжело, точно он на чьих похоронах. Он страшно устал. <...>

Среда, 19 июня (7).

<...> Сегодня мы раньше пришли домой; сели читать; я просидела до половины двенадцатого, потом легла, а Федя пришел в два часа. Я, разумеется, тотчас же проснулась, и мы очень радостно попрощались

и побеседовали. <...> Я спросила, будет ли он рад рождению ребенка и что я боюсь, что он будет этим недоволен. Он с очень веселым лицом отвечал, что совершенно напротив, что он будет страшно счастлив, если у нас родится ребенок, хотя прибавил: «Тяжело оставлять детей без денег и безо всякого воспитания». Но потом несколько раз нежно поцеловал меня, и я поспешила перевести разговор на другое. Когда он сам лег в постель, то сказал, что «это будет очень хорошо», что один, даже двое детей вовсе не обременят нашу семью, а только вольют в нее новую жизнь. Я заговорила о другом, но Федя, видимо, думал о нашем разговоре и сказал: «значит, это будет в феврале»; «может быть, будет мальчишка», — прибавил он с удовольствием и сказал: «Ах ты, Анечка, Анечка!» Видимо, мысль о ребенке пришлась ему по душе; я уверена, что он полюбит ребенка, если нас Бог благословит. <...>

Пятница, 21 июня (9).

<...> Сегодня произошла такая нелепая сцена, в которой мы поступали как дети: когда мы стали подходить к Grand Jardin, то Федя захотел домой, но был в нерешимости. Я сказала: коли домой, так домой! Он ужасно рассердился и поворотил домой, но, пройдя несколько шагов, когда я ему сказала, что мне лучше бы хотелось посидеть в саду, он вдруг очень быстро поворотил к саду, но сказал, что более пяти минут в саду не просидит. Я отвечала, что если сидеть, то не пять минут, а полчаса, и в таком случае гораздо лучше идти домой. Так как он настаивал, то я сказала: лучше мы пойдем домой или я одна пойду. Так как он продолжал идти, то я поворотила домой, а он пошел в сад. Ну, зачем я это сделала? Все наши ссоры происходят оттого, что мы оба очень беспокоимся и мучаемся от неопределенности нашего положения. Господи, помоги нам выйти из него! Мы так любим друг друга и так счастливы, и если б не наши плохие обстоятельства и денежные заботы, то не было бы людей счастливее нас. А тут мы ссоримся, как маленькие ребята. Через полчаса после меня пришел и Федя. Он был очень пасмурный. Когда стали пить чай, то он сказал, что я, вероятно, назло ему придвинула стол. Я отвечала, что глупо говорить про меня, что я делаю ему назло. Потом он начал говорить насмешки, между прочим, сказал, что у него теперь нет денег, но что они у него будут и что его все-таки можно уважать. Меня это ужасно оскорбило.

Как! Подумать, что я уважаю людей только за деньги! Я отвечала, что я денег в нем вовсе не ценю, что если б я захотела быть богатой, то давно бы была уже богата, так как могла выйти замуж за Т., человека, который ко мне сватался (Федя отвечал, что давно это слышал), что я вовсе не ищу в нем богатства, а люблю его за его ум и его душу. Мне было до того больно, что я не могла удержаться и расплакалась, но потом мы скоро примирились. <...>

Воскресенье, 23 июня (11).

Пошли на почту, писем нет; отсюда в Grand Jardin обедать. <...> Дорогою Федя заговорил о моей беременности, я покраснела и просила его замолчать. Он говорил, что это очень хорошо, что я буду матерью, что он страшно счастлив, если у нас будет ребенок. Спрашивал, если будет девочка, то как ее назвать. Я сказала, что только не Анной; «так назовем ее Соней, в честь Сони романа, которая всем так нравится, и в честь московской Сони, а если мальчик — то Мишей, в честь брата». Потом он говорил, что лучше, если б родился мальчик, потому что девушке необходимо нужно приданое, а мы бедны, а мальчику нужно лишь дать образование, он и без денег обойдется. Потом говорил, что, наверно, дитя будет нашим идолом и мы будем без памяти любить его, что это вовсе не хорошо, что нужно любить в меру. Он очень мило меня поддразнивал, говорил, что мне теперь нужно есть за двоих; вообще видно, что он счастлив при мысли, что у нас будет ребенок. <...> Дома немножко посидели и отправились в Grand Jardin, но, к сожалению, пришли уже к «Menuetto» Beethoven'a; большей части его произведений и не застали; потом было что-то ужасно глупое, затем Wagner и восхитительный вальс Strauss'a. <...>

Среда, 26 июня (14).

Сегодня я стала писать письмо к нашим, прося у них денег или браслета; мне сделалось до того грустно, что я сильно-сильно расплакалась и, несмотря на все усилия, не могла перестать. <...> Федя услышал, что я плачу, подошел ко мне, обнимая меня, сказал, что меня любит, и потом, чтоб развлечь, рассказал мне историю о Vert-Vert'е. Этот попугай находился в одном монастыре, монахини которого научили говорить и петь различные священные песни и молиться; все удивлялись Vert-Vert'у, всякий хотел его видеть, и все желали слышать, как эта

умная птица умеет молиться. Таким образом, эта птица прославила весь монастырь. Монахини соседнего округа пожелали иметь эту птицу; они выпросили позволение у монахинь взять на несколько времени к себе погостить Vert-Vert'a. Эти сначала долго не соглашались, но наконец решились отпустить Vert-Vert'a. Они отправили его с обозом, который переезжал из одного округа в другой. Оказалось, что дорогою Vert-Vert научился в кругу извозчиков разным неприличным словам и ругательствам. Когда его привезли в монастырь, все собрались смотреть и слушать, как он будет петь и молиться, как вдруг Vert-Vert начал пушить монахинь такими словами, что они сами не знали, куда им деваться. Это их рассердило: они подумали, что владелицы попугая, назло им, научили его говорить им такие обидные слова. Началась переписка, пожаловались епископу. Те монахини, которым принадлежал Vert-Vert, потребовали его назад, чтоб увидеть, правда ли обвинение, и когда убедились, что их птица испорчена, то выбросили бедного Vert-Vert'a вон. Это Федя рассказал мне так мило, что я должна была расхохотаться и перестала плакать. Потом я сходила за конвертом; уходя, когда он меня спросил, на какую я иду почту, я отвечала, что на эту, чтоб он не беспокоился, что я не пойду на большую почту и не возьму его писем, что этого не будет. Он ничего не отвечал, но когда я отошла, он быстро подошел ко мне и, с дрожащим подбородком, начал мне говорить, что теперь он понял мои слова, что это какой-то намек, что он сохраняет за собою право переписываться с кем угодно, что у него есть сношения, что я не смею ему мешать. Я отвечала, что мне до его сношений дела нет, но что если б мы были друг с другом откровеннее, то я, может быть, могла бы избавиться от одной, очень скучной, переписки, которую должна была завести. Он спросил, кто мне писал; я отвечала, что одна дама[15]. Ему ужасно было любопытно узнать, кто эта о с о б а, — он, вероятно, уже догадался, кто это может быть, а потому очень обеспокоился и начал выпытывать у меня, кто она такая, не по поводу ли его брака у нас переписка и что он очень желает узнать, как меня могли оскорбить. Я отвечала уклончиво, но он мне серьезно советовал сказать ему, потому что он мог бы мне помочь в этом случае и объяснить, как сделать, что, вероятно, он помог бы мне. Я отвечала, что эта переписка особенно важного не представляет и потому я могу обойтись без его совета. Его это обстоятельство очень занимало, так

что он даже вечером и ночью говорил, что я с ним не откровенна и зачем не сказала, что получила письмо от кого-то. Потом мы пошли на почту. На этот раз было письмо от «Русского вестника», но очень тоненькое, так что Федя, распечатав его, говорил, что, вероятно, отказ. Он начал читать; писал не сам Катков, а какой-то другой, и говорилось, что Катков просит извинения (у меня просто ноги подкосились); но, по счастию, далее шло утешительное известие, что желание Феди будет исполнено. <...>

Феде, по обыкновению, сегодня ничего не нравится; то, что он прежде находил хорошим, теперь на то смотреть не хочет. Это обыкновенно у него бывает, когда после припадка изменяются все впечатления. Федя никогда не может хорошенько рассмотреть Сикстинскую мадонну, потому что не видит так далеко, а лорнета у него нет. Вот сегодня он и придумал стать на стул пред Мадонной, чтоб ближе ее рассмотреть. Конечно, я вполне уверена, что Федя в другое время ни за что не решился бы на этот невозможный скандал, но сегодня он это сделал; мои отговоры ничему не помогли. К Феде подошел какой-то служитель галереи и сказал, что это запрещено. Только что лакей успел выйти из комнаты, как Федя мне сказал, что пусть его выведут, но что он непременно еще раз станет на стул и посмотрит на Мадонну, а если мне это неприятно, то пусть я отойду в другую комнату. Я так и сделала, не желая его раздражать; через несколько минут пришел и Федя, сказав, что видел Мадонну. Федя начал говорить, что за важность, если б его и вывели, что у лакея душа лакейская и т. д.

<...> Вчера вечером мы с Федей шутили, что он самый несчастный, и мы, пародируя французскую комедию Мольера, говорили: Федор Данден (Dandin), то я говорила: George Dandin! tu l'as voulu! *[16]

Суббота, 29 июня (17).

<...> Сегодня в Grand Jardin играли D-dur Beethoven'a [17], такая удивительная музыка, что просто не наслушаешься. Федя был в восторге. <...>

---

* Жорж Данден! ты этого хотел! (*фр.*).

Вторник, 2 июля (20 июня).

Я решилась идти в галерею, чтобы попрощаться с нею, так как завтра намерены выехать. <...>

<...> Прощай, галерея, благодарю тебя за те счастливые часы, которые ты нам доставила. Может быть, никогда больше не придется тебя увидеть. Федя так говорит, что окончательно прощается с галереек»; с грустью говорит, что, вероятно, ему уже больше не придется ни разу сюда приехать. Я же уверяла его, что всего вероятнее, что мы приедем сюда еще года через три[18]. <...>

Воскресенье, 7 июля (25 июня).

<...> Проиграв все, мы с Федей вышли из залы и отправились домой[19]. Дорогой я сказала: «Жалею, что я пошла с тобой, может быть, ты без меня и не проиграл бы». Но Федя благодарил меня, говорил: «Будь благословенна ты, дорогая моя Аня; помни, если я умру, что я говорил тебе, что благословляю тебя за то счастие, которое ты мне дала»; что выше этого счастия ничего для него не может быть, что он меня недостоин; что Бог уже слишком наградил его мною, что он каждый день обо мне молится и только боится, чтобы все это как-нибудь не изменилось. Говорил, что теперь я люблю и жалею его, но когда любовь моя пройдет, то все переменится. Я же думаю, что ничего этого не будет, и мы всегда будем так же горячо любить друг друга.

Среда, 10 июля (28 июня).

<...> За чаем Федя мне рассказал свой визит к Тургеневу[20]. По его словам, Тургенев ужасно как озлоблен, ужасно желчен и поминутно начинает разговор о своем новом романе. Федя же ни разу о нем не заговорил. Тургенева ужасно как бесят отзывы газет: он говорит, что его изругали в «Голосе», в «Отечественных записках» и в других журналах. Говорил еще, что дворянство под предводительством Феофила Толстого хотело его выключить из дворянства русского, но что этого как-то не случилось. Но прибавил, что «если б они знали, какое бы этим они доставили мне удовольствие». Федя, по обыкновению, говорил с ним несколько резко, например, советовал ему купить себе телескоп в Париже, и так как он далеко живет от России, то наводить телескоп и смотреть, что там происходит, иначе он ничего в ней не поймет. Тургенев объявил, что он, Тургенев, реалист, но Федя говорил, что это ему только так кажется. Когда Федя сказал, что он в немцах только и заметил что тупость да, кроме того, очень часто обман, Тургенев ужасно как этим

обиделся и объявил, что этим Федя его кровно оскорбил, потому что он сделался немцем, что он вовсе не русский, а немец. Федя отвечал, что он этого вовсе не знал, но что очень жалеет об этом. Федя, как он говорил, разговаривал все больше с юмором, чем еще больше сердил Тургенева, и ясно выказал ему, что роман его не имел успеха. Расстались, впрочем, они дружески, и Тургенев обещал дать книгу. Странный это человек, чем вздумал гордиться, — тем, что он сделался немцем? Мне кажется, русскому писателю не для чего бы было отказываться от своей народности, а уж признавать себя немцем — так и подавно. И что ему сделали доброго немцы, между тем как он вырос в России, она его выкормила и восхищалась его талантом. А он отказывается от нее, говорит, что если б Россия провалилась, то миру от этого не было бы ничего тяжелого. Как это дурно со стороны русского — говорить таким образом! Ну, да Бог с ним, хотя я знаю, что Федю разговор с Тургеневым ужасно как рассердил и взволновала эта подлая привычка людей отрекаться от родного. <...>

Четверг, 11 июля (29 июня).

<...> Пришла Мари и принесла карточку Тургенева, который приехал в карете и, спросив ее, здесь ли мы живем, велел передать эту карточку. Вероятно, он не хотел зайти сам, чтоб не говорить с Федей, ну а долг вежливости нельзя было не отдать. Да и странно: кто делает визиты в десять часов утра — разве это только по-немецки, да и то как-то странно. <...>

Пятница, 12 июля (30 июня).

<...> Меня даже смех берет, когда я вижу, что он отправляется за покупками и приходит нагруженный свечами или сыром. Он очень любит хлопотать, заваривать чай и даже, как видно, делает это с удовольствием. Он очень, очень милый человек, мой муж, такой милый и простой, и как я счастлива. <...>

Суббота, 13 июля (1 июля).

<...> Сегодня, когда Федя много выиграл, его встречает Гончаров *, который вздумал пофанфаронить и показать, что он здесь не играет, а так только, а поэтому он спросил Федю, что такое «passe» и сколько на него берут. Ну разве можно поверить человеку, которого видали по

---

* Знаменитый писатель. (*Примеч. А. Г. Достоевской.*)

два и более часов на рулетке, что он не знает игры; ну, а нужно показать, что, дескать, «этим мы не занимаемся, а предоставляем другим разживаться таким способом». Гончаров спросил Федю, как идут его дела. Федя отвечал, что прежде проиграл, а теперь воротил, и даже с небольшим барышом, при этом показал ему полный кошелек. Гончаров, я вполне уверена, передаст это Тургеневу, а Тургеневу Федя должен или пятьдесят, или сто талеров[21], поэтому как бы я была рада, если б удалось отдать Тургеневу здесь же, не уезжая, потому что иначе каким образом Федя успеет отдать эти деньги, когда мы приедем в Россию. <...>

Четверг, 18 июля (6).

<...> Федя говорил, что два раза заходил к Гончарову, хотел ему открыться и просить сто талеров, сказав, что в месяц успеет выслать ему. Но каждый раз не заставал его дома. Потом Федя говорил о Каткове, но как к нему писать, а особенно из Бадена, — ясно, что Федя проигрался. Это нехорошо. Эх, были мы дураки, что сегодня еще утром не уехали из Бадена, когда было двадцать золотых; еще возможно было жить в Женеве. Когда мы пришли домой, мы легли на постель рядом, и Федя начал мне говорить о различных проектах, которыми мы могли бы поправить свое дело. Федя думал обратиться к Аксакову, предложить ему сотрудничество[22]. Сначала он хотел обратиться к Краевскому и просить у него денег, обещая выслать роман в десять листов к январю. Но мне казалось, что это просто невозможно. Это слишком много работы, тем более что ему не справиться с романом для Каткова. Мы долго и грустно разговаривали. Мне было тяжело на Федю смотреть. Да и с ним было тяжело; без него я могу хоть плакать, но при нем у меня совершенно нет слез: я плакать не могу, а это слишком тяжело. Мы просидели до одиннадцати часов и решили, что завтра Федя пойдет попробует на последний золотой счастья; может быть, как-нибудь и подымемся. Я ушла спать и, к счастью, заснула; Федя меня разбудил в два часа прощаться, и я была так рада, что мне удалось опять скоро заснуть. Я боялась не спать, потому что эти грустные думы так и приходят на ум и ничем мне их не отогнать. <...>

Пятница, 26 июля (14).

<...> Сегодня утром Федя ходил к Гончарову, чтобы спросить его адрес на тот случай, если нам не придется теперь ему отдать. Гончаров своего адреса не сказал, но

сказал, что этот долг такие пустяки, что не стоит и говорить, что если не здесь, то в Петербурге можно отдать как-нибудь, что вообще не стоит говорить. Тогда Федя ему сказал, что ищет теперь денег, сорок франков. Гончаров сказал, что не может их дать, потому что сам проигрался вчера ужасно, почти до последнего, хотя у него и осталось на дорогу. Разумеется, говорил он, что так как он путешествует со своими знакомыми, то всегда может спросить у них, и они ему помогут, но, во всяком случае, он теперь дать не может. Федя мне сказал, что ему кажется, что Гончаров очень сильно проигрался, что у него, пожалуй, тоже нечем даже заплатить и за отель. Как досадно, что мы не можем вернуть. Так они расстались довольно дружелюбно. <...>

Пятница, 2 августа (21 июля).

<...> Какой он, право, нетерпеливый; ведь я не браню его, когда с ним бывают припадки или когда он кашляет, я не говорю, что это мне надоело, хотя действительно это меня заставляет страдать; а вот он так не может даже снести того, что я плачу, и говорит, что это надоело; как это нехорошо, право, зачем у него такой эгоизм. Мне было очень досадно, и теперь я иногда об этом горюю, что в Феде именно встретилось то качество, которого я так боялась в моем будущем м у ж е , — это именно отсутствие семейственности. Да, это уже решено, что он положительно не хочет заботиться о своей семье. Федя скорее будет заботиться о том, чтобы Эмилия Федоровна бедная (эта глупая немка) не нуждалась, чтобы как-нибудь Федя Достоевский не так много работал, чтобы Паше ни в чем не было отказу, между тем ему положительно все равно, что бы мы оба ни чувствовали, ему все равно, что у нас того и другого н е т , — этого он даже и не замечает. Наконец, так как я его жена, следовательно, принадлежу ему, то из этого следует то, что он считает меня как бы обязанной переносить все эти мелкие неприятности и лишения. Положим, я бы ничего не сказала, если б действительно я знала, что у него у самого нет, но когда я знаю, что мы нуждаемся для того, чтоб не нуждалась Эмилия Федоровна и прочая компания, когда мой салоп закладывается для того, чтобы выкупить салоп Эмилии Федоровны, то, как хотите, очень нехорошее чувство рождается во мне, и мне ужасно больно, что в таком человеке, которого я так высоко ставлю и люблю, и в таком-то человеке оказалась такая небрежность, такая непонятливость, такое невнимание. Он говорит, что обязан по-

могать семье брата, потому что тот помогал ему; но разве Федя не обязан также в отношении ко мне, разве я не отдала ему свою жизнь, разве я не отдала ему свою душу с полным желанием и с полною готовностью страдать для того, чтобы он был счастлив; он этого решительно не ценит, это так и должно быть. Он не считает себя обязанным заботиться, чтоб жена его была спокойна, чтобы каждую минуту не тревожилась о том, что завтра нечего будет есть. Как это нехорошо, как несправедливо! Я сержусь на себя, зачем у меня такие дурные мысли против моего дорогого, милого, хорошего мужа. Верно, я злая! <...>

Суббота, 3 августа (22 июля).

<...> После обеда Федя выпил чашку кофе и в пять часов лег, прося разбудить его в половине шестого. Я тоже легла на постель и стала засыпать. Но в двадцать пять минут шестого Федя встал, подошел к моей постели и поцеловал меня, а я сказала: что ты, Федя? Он уже отошел, но потом оборотился ко мне, и вдруг с ним начался припадок. Как я испугалась. Я его хотела отвести на его постель, но не успела и прислонила его к моей постели, между кроватью и стеной, потому что у меня решительно не было сил положить его на постель, и он все время стоял, полулежа, пока с ним были судороги. И потому от этого-то у него теперь и болит так нога правая, потому что он ею упирался в стену. Потом, когда судороги кончились, Федя начал ворочаться, и как я его ни удерживала, сил у меня на столько не хватило, чтобы окончательно удержать его. Тогда я положила на пол две подушки и потихоньку опустила его на пол, на ковер, так что он удобно лег, распустив ноги. Потом расстегнула ему жилет и брюки, так что он мог дышать посвободнее. Я заметила сегодня в первый раз, что у него губы совершенно посинели и лицо было необыкновенно красное. Как я была несчастна! Он на этот раз довольно долго не приходил в память, а когда начал приходить, то как мне ни было горько и больно, но меня рассмешило, что просьбы, обращенные ко мне, были на немецком языке. Он говорил: «Was? Was doch? Lassen Sie mich» * и много еще разных немецких фраз; потом назвал меня Аней, просил прощения и решительно не мог меня понять. Потом просил денег, чтоб идти играть. Вот хорош и г р о к , — воображаю,

* Что? Что еще? Оставьте меня (*нем.*).

как бы он там играл, но мне кажется, что именно тогда бы он и выиграл, хотя его бы и обманывали, без этого не обошлось бы. Когда Федя пришел в себя, он встал с ковра и начал ходить по комнате, стал застегиваться и просил дать шляпу. Я думала, не хочет ли он куда-нибудь идти. «Куда же ты идешь?» — спросила я его. «Comme ça» *, — отвечал он. Я решительно не понимала и заставила его повторить, потому что мне послышалось, что он идет в колбасную. Потом я упросила его лечь спать, чего он решительно не хотел и даже начал браниться, зачем я его укладываю, зачем я его мучаю. Наконец он лег, но спал все урывками, не больше трех четвертей часа, просыпаясь каждые десять минут. В семь часов мы вышли из дому, но дорогой Федя вдруг захотел поцеловать мою руку и объявил, что иначе не будет считать меня своей женой; разумеется, я его отговорила, — это на улице при народе вышло бы крайне смешно. <...>

Воскресенье, 4 августа (23 июля).

<...> Третий день после припадка для меня бывает самый тяжелый день. Я знаю очень хорошо, что бедный Федя и сам готов бы был освободиться от своей тоски, да не может. Он в это время делается ужасно капризным, досадливым; так, например, он сердился, когда мы гуляли, что я часто просила сесть: говорил, что когда я одна хожу, тогда я не устаю, а когда с ним, так и усталость является. Потом бранил, зачем я иду не в ногу, потом, зачем пугаюсь, одним словом, за все, за что никогда не побранил бы в здоровом состоянии. Пошли мы с ним в Старый замок и шли довольно тихо, но когда стали подходить, то услышали вдали в вокзале хор австрийской музыки: здесь как-то особенно ясно слышно. Мы пришли наверх, где публики сегодня совсем не было. <...> Мы уселись на террасе и стали слушать музыку. <...> Мы сидели, пока не стемнело, потом пошли домой. <...> Музыка несколько развеселила Федю, так что он сделался не так скучен, как давеча. <...>

Вторник, 6 августа (25 июля).

<...> Сегодня музыка превосходная, окна открыты, и она слышна, я думаю, лучше, чем на воздухе. Играет военная. Играли увертюру «Egmont» Beethoven'a, потом «Zampa» [23], потом из «Don-Juan»'a Mozart'a. <...>

---

* Просто так (*фр.*).

Когда Федя пришел прощаться, то он был в каком-то возбужденном состоянии. Он говорил, что любит меня без памяти, что очень, очень сильно любит, что он меня недостоин, что я его ангел-хранитель, посланный ему от Бога, не знает за что, что он должен еще исправиться; что хоть ему и сорок пять лет, но он еще не готов к семейной жизни, ему нужно еще готовиться к ней, что ему иногда еще мечтается. <...> Потом говорил: вот ты во сне видала, что я отдал тебя в воспитательный дом. Ну, как я могу отдать тебя куда-нибудь, когда я жить без тебя не могу. Говорил, что, если б я велела ему броситься с башни, он непременно бы бросился для меня. <...> Ночью я его спросила, думает ли он о Соне; он отвечал, что много и часто о ней думает, и прибавил, что, может быть, это будет мальчик. Я отвечала, что кто бы ни родился, но я буду все-таки счастлива. Тут Федя прибавил: «Вот поэтому-то мне и не следует оставлять Пашу», то есть это показывает, что Федя при рождении еще больше будет заботиться о Паше, чтобы показать, что чрез это нисколько к нему не изменился. А меня уже и теперь заботит будущность нашего будущего дитяти. Поэтому-то мне нужно и самой работать, работать, чтоб ребенок имел мою помощь.

Среда, 7 августа (26 июля).

<...> Он пришел прощаться и говорил мне много хороших слов. Говорил, что меня любит теперь как-то странно, то есть ужасно беспокойно, так что это даже и самого его тревожит, что я Неточка, его счастье; что он говорит мне это не одни слова, но он говорит, что чувствует. Что если б я теперь как-нибудь ушла от него, мы бы не жили вместе или я умерла бы, то ему кажется, что он не знал бы, что ему и делать, что он просто бы сошел с ума от горя. Говорил, что только тогда и оживляется, только тогда ему и хорошо, когда он смотрит на меня, на мое «детское милое личико», как он говорит. Но боится, что все это переменится, и, может быть, через несколько времени я сделаюсь серьезной, скучной, холодной и спокойной особой и что тогда он разлюбит меня. Вообще весь этот вечер Федя был ко мне очень любезен, и видно, что он любит меня, а я его также очень люблю. Он просил меня беречь нашу Сонечку или Мишу.

Вторник, 13 августа (1 августа).

<...> В три часа ночи меня разбудил Федя, придя прощаться. <...> Наконец он лег, а мне, я не знаю отчего, может быть от крепкого чаю, не спалось. <...> В четверть

четвертого Федя меня еще что-то спросил и потом начал засыпать, как вдруг, минут через десять, начался припадок. <...> Я сейчас же вскочила с постели, но свечки у меня не было; я побежала в другую комнату и зажгла там. Федя лежал очень близко головой к краю, так что одна секунда, и он мог бы свалиться. Как потом он мне рассказал, он помнит, как с ним начался припадок: он еще тогда не заснул, он приподнялся, и вот почему, я думаю, он и очутился так близко к краю. Я стала вытирать пот и пену. Припадок продолжался не слишком долго и, как мне показалось, не был слишком сильный; глаза не косились, но судороги были сильны. <...> После припадка у него является страх смерти *. Он начал мне говорить, что боится сейчас умереть, просил смотреть на него. Чтобы его успокоить, я сказала, что приду спать на другую кушетку, которая стоит у его постели, так что буду очень близко и, если что с ним случится, сейчас же услышу и встану. Он был этому очень рад; я сейчас же перешла на другую постель. Он продолжал бояться; молился и говорил, что как бы ему было теперь тяжело умирать, расстаться со мной, не видеть Сонечки или Миши, как бы ему было это больно, и просил меня беречь Сонечку, а утром, когда проснусь, непременно посмотреть на него, жив ли он. Но я его убедила, чтобы он лег спать и ночью не боялся, обещая, пока он не заснет, сама не спать. <...>

Воскресенье, 18 августа (6 августа).

<...> Я помню, когда я ходила к нему работать, я ему не предложила ни одного вопроса. Мне казалось неделикатным спросить его о чем-нибудь. Ну пусть он сам скажет; если захочет, то и сам скажет, думала я, — настолько я была деликатна. Мне нужно что-нибудь купить, я хожу в рваном платье, в черном, гадко одетая, но я ему ничего не говорю, что мне, может быть, очень хотелось бы одеваться порядочно. Я думаю, авось он сам догадается, авось сам скажет, что вот надо и тебе купить платьев летних, они же здесь ведь так недорого стоят. Ведь о себе он позаботился и купил в Берлине и в Дрездене заказал платье, а у него тогда не хватило заботы о том, что и мне следовало бы себе сделать, что я так

* Страх смерти был всегдашним явлением после припадка, и Федор Михайлович умолял меня не отходить от него, не оставлять его одного, как бы надеясь, что мое присутствие предохранит его от смерти. (*Примеч. А. Г. Достоевской.*)

скверно одета. Если я ничего ему не говорю, так это потому, что я совещусь говорить об этом. Я думаю: авось он сам догадается, зачем ему говорить. Ну, а то, что он меня обижает, давая деньги Паше и родным, между тем как мои платья, мой салоп и мебель заложены, так мало на все это обращается внимания. Когда он Бог знает как проигрывал, не я ли первая его утешала, не я ли первая предлагала ему заложить мои вещи, нисколько не колеблясь, между тем знала, что они пропадут. Разве я когда-нибудь упрекала его в том, что он проиграл так много денег, — совсем нет, я сама утешала его и говорила, что это все пустяки и что не нужно обращать внимания на подобный вздор. Нет, этого он ничего не ценит, и вот теперь он мне говорит, что я неделикатна. Право, после этого решительно не стоит быть деликатной. Вот если б я стала кричать и браниться постоянно с ним, так тогда бы, может быть, он и припомнил бы, что я была очень деликатна с ним и что не надо было меня обижать несправедливыми упреками. <...>

Вторник, 20 августа (8 августа).

<...> Вышли погулять. Сегодня музыка оперная и военная; играли из «Трубадура»[24], прелесть что такое, так что мы с большим удовольствием прошлись несколько раз пред вокзалом. <...>

Четверг, 22 августа (10 августа).

<...> Когда Федя пришел домой этак часов в восемь, я, еще не видя его лица, спросила его о чём-то. Но вопрос был решительно некстати. Федя в страшном волнении бросился ко мне и, плача, сказал, что все проиграл, проиграл те деньги, которые я дала ему на выкуп серег. Бранить его было невозможно. Мне было очень тяжело видеть, как бедный Федя плакал и в какое он приходил отчаяние. Я его обнимала и просила, ради Бога, ради меня, не тосковать и не плакать; «ну что же делать, проиграл так проиграл, не такое это важное дело, чтобы можно было убиваться таким образом». Федя называл себя подлецом, говорил, что недостоин меня, что я не должна его прощать, и очень, очень плакал. Кое-как я могла его успокоить, и тут мы решили, что мы завтра непременно выедем. <...>

Пятница, 23 августа (11 августа).

<...> В 11 часов Федя ушел, а я осталась пришивать свой карман и писать маме письмо. Потом уложила в его чемодан все его вещи, также и мой чемодан и маленький сак[25]. <...>

Воротился Федя. Он мне объявил, что мало того, что проиграл те сорок франков, но что взял кольцо и заложил его у Moppert'a и деньги также проиграл, то есть он начал отыгрывать, выиграл деньги за кольцо и еще сколько-то, но потом все спустил. Меня это уже окончательно взбесило. Ну, как можно быть до такой степени беззаботным, — знать очень хорошо, что у меня осталось всего сто сорок франков, а мы на одну дорогу полагали сто франков, и теперь еще заложить за двадцать франков кольцо, таким образом лишиться двадцати франков. Я хотела его бранить, но он стал предо мною на колени и просил его простить; говорил, что он подлец, что он не знает себе наказания, но чтобы я его простила. Как мне ни было больно — такая потеря денег, но делать было нечего, — пришлось еще дать двадцать франков *. Но теперь, как мы стали рассчитывать, доехать с этими деньгами до Женевы было решительно невозможно, так что, пожалуй, приходилось заложить серьги не только в Женеве, как мы сначала предполагали, а даже в Базеле. <...> Эти двадцать франков, которые я ему дала, казалось, его ужасно как утешили. Федя говорил, что никогда не забудет того, что я, вовсе не имея денег, всего имея только необходимое, давала ему двадцать франков и сказала, что он может идти и проиграть их. Что он этой доброты моей никогда не забудет. <...>

Суббота, 24 августа (12 августа). Базель.

<...> Мы напились кофею довольно скоро и отправились осматривать город. <...> Мы вошли в собор; он мне очень понравился. Федя же меня поддразнивал и говорил, что этот собор не представляет особого интереса, а вот я бы посмотрела Миланский собор. <...> На правой стене находится резная дубовая кафедра, относящаяся к XIV столетию. Женщина нам ее показала, и Федя ей заметил, что это единственная хорошая вещь во всем соборе, на что она его спросила: не католик ли он? Потом мы взошли по ступеням, и она нас ввела в Salle de Conseils **, в котором собирались тайные собрания от 1431—1434 годов и где был низложен папа Евгений IV и замещен папою Феликсом каким-то. <...> На стене она показала нам снимок с картины Holbein'a, изображающей «Танец смерти», где представляется

* Вероятно, на выкуп кольца. (*Примеч. А. Г. Достоевской.*)
** Зал совещаний (*фр.*).

смерть, окруженная различными людьми. Посмотрев картину, Федя сказал: «Славны бубны за горами», то есть что про эту картину так много говорили и кричали, но, может быть, снимок оказался не Бог знает что. Тут же находилось еще несколько старинных картин Holbein'a. <...> Мы пошли к музею. <...> Здесь во всем музее только и есть две хорошие картины: это смерть Иисуса Христа, удивительное произведение, но которое на меня просто произвело ужас, а Федю так до того поразило, что он провозгласил Гольбейна замечательным художником и поэтом. Обыкновенно Иисуса Христа рисуют после его смерти с лицом, искривленным страданиями, но с телом вовсе не измученным и истерзанным, как в действительности было. Здесь же представлен он с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными ранами, распухшие и сильно посиневшие, как у мертвеца, который уже начал предаваться гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели; вообще это до такой степени похоже на настоящего мертвеца, что, право, мне казалось, что я не решилась бы остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но, право, это вовсе не эстетично и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас. Федя же восхищался этой картиной[26]. Желая рассмотреть ее ближе, он стал на стул, и я очень боялась, чтобы с него не потребовали штраф, потому что здесь за все полагается штраф. Другая картина, на которую стоит посмотреть и которая прежде была в частной галерее, это «Морской вид» Калама. Это превосходная картина, такой я еще не видывала.

Четверг, 5 <сентября> (24 <августа>) 1867[27].

Сегодня я проснулась довольно рано и принялась читать роман Бальзака «История бедных родственников» [28], который мы вчера взяли в нашей библиотеке. К стыду моему, я должна признаться, что я не читала ни одного романа Бальзака, да и вообще очень мало знакома с французской литературой. Вот теперь-то я и думаю на свободе, когда у меня нет никаких дел, приняться за чтение лучших французских писателей, особенно под руководством Феди, который, конечно, <сумеет> выбрать мне самое лучшее, и именно то, что стоит читать, чтобы не терять времени на чтение совершенно пустых вещей.

Часу в девятом я отправилась к нашим хозяйкам, чтобы поторопить их насчет кофею. Они мне начали говорить о близком приезде Гарибальди[29] и о том, что все государства решительно завидуют их свободной стране и непременно желают одолеть Швейцарию, потому что здесь уж так хорошо, что всех их берет зависть. Вообще наши старушки уверены, что лучше их Швейцарии ничего быть не может и что забота всех только в том и состоит, чтобы взять себе прекрасную гористую страну. <...>

Федя куда-то отправился, чтобы выкупить кольца и платье. Когда он уходил, я ему сказала, шутя: «Иди и не приходи больше домой». На это мне Федя ответил, что, может быть, мои слова оправдаются, что он упадет на улице и умрет. Я, разумеется, была уверена, что это не случится, но мне все-таки было досадно, зачем я это сказала. Право, я сделалась ужасно какая суеверная, начинаю верить предчувствиям, которые, разумеется, всегда меня обманывают. <...>

Наконец он пришел, и, как я и думала, оказалось, что он был в кофейной, читал русские газеты. Потом он сел писать о Б<елинском?>[30], а я читала, но у меня сегодня невыносимо болела голова, т. е. только одна часть головы, лоб, висок и глаз, а также уже несколько дней болело горло. <…>

6 <сентября> (25 <августа>).

Утром Федя сходил и наконец выкупил свое пальто и наши кольца, вчера он не мог этого сделать, потому что все было заперто. Он сегодня удивительно какой-то скучный, тосковал, говорил, что у него голова не на месте и очень боится, чтобы не случилось другого припадка. Сегодня толковал, что не миновать сумасшедшего дома, и просил, если бы с ним случилось это несчастье, то не оставить его за границей, а перевезти в Россию. Я, как могла, утешала его, но я убеждена, что это несчастье было бы слишком тяжело и что Бог сохранит нас от него.

Потом Федя сел писать, а я, чтобы не мешать ему, пошла куда-нибудь бродить, сначала зашла за книгой, а потом отправилась к старому мосту и вышла куда-то за город, в рю Délices на дорогу в Chatelaine, шла я довольно долго, все между заборами и садами, все дома закрыты ставнями, скука страшная, так что я, не зная, далеко ли это Шателен, не решилась идти

дальше, а воротилась домой и где-то под деревом на скамье сидела и читала книгу. Пришла домой еще очень рано. Постаралась не делать шума и не мешать Феде писать. <...> Я сказала Феде, что одна немка, думая мне польстить, сказала, что я похожа на немку; я, разумеется, отвечала, что я русская, но ничего не прибавила. Тогда Федя начал говорить, зачем я не сказала, что я на немку походить не желаю; мне вовсе ее не хотелось оскорбить, пусть себе она ценит немецкое, так зачем же навязывать <свои мнения?) и уверять, что немецкое все дрянь, да мне, по правде, решительно все равно. Вот на это-то Федя и напустился вдруг, назвал меня деревом, что для меня разницы не существует, а что я дерево. Я, разумеется, не желала с ним ссориться, ничего ему не отвечала, и так мы гуляли, не говоря ни слова. Но потом уж дома помирились. Право, какой-то он нынче стал, все бранится; я думаю, это оттого, что ему здесь скучно, ну вот он и развлекается тем, что бранит меня.

Сегодня и вчера по всем углам висели прокламации, извещавшие о приезде Гарибальди, приглашавшие сделать ему отличный прием. Потом извещалось о собрании конгресса мира в будущий понедельник и о ходе этого конгресса. Народа у этих афиш очень много, все <нрзбр.>, я думаю, восхищаются своей свободной страной.

7 <сентября> (26 <августа>).

Сегодня я встала довольно рано. Дочитала одну часть романа, который был взят вчера в библиотеке. День сегодня прекрасный, так что, право, будет жаль, если я просижу весь день дома. Я начала рассматривать путеводитель по Женеве и ее окрестностям и решилась сходить посмотреть столь хваленое место. Так как мне делать дома нечего, да к тому же я боюсь, что мое присутствие может помешать Феде писать, я и решилась отправиться в Pregny на берегу Женевского озера. Я спросила у нашей хозяйки, она указала мне, как идти. Федя согласился на мою прогулку, но убеждал, чтобы я поскорей пришла домой, иначе он будет беспокоиться. Я отправилась в половине одиннадцатого. Очень скоро вышла за город <...> Я спустилась вниз и вышла опять к озеру. Господи, что тут я увидела, это такое чудо, что просто и описать трудно. Озеро прекрасное, тихое, без волн, одно синее, прекрасного, чудного синего цвета, кругом горы, на горах деревушки, дачи, озеро большое,

среди него два какие-то судна с парусами, которые придают вид двукрылых. Все это было удивительно как хорошо, как-то ярко, ясно и красиво, так что просто глаза не могли оторваться. <...>

Сначала сегодня ожидали Гарибальди, но по каким-то обстоятельствам он приедет не сегодня, а завтра в 5 часов. По сторонам то и дело появляются новые афиши, извещающие о приезде Гарибальди, говорящие о его заслугах и возвещающие также, что назначено открытие конгресса мира на 9 сентября, т. е. на понедельник. Он будет продолжаться четыре дня, а в четверг будет прогулка по озеру и затем обед на <нрзбр.> частный счет *Виктора Гюго,* мне бы очень хотелось его видеть. <...>

Воскресенье, 8 <сентября> (27 <августа>).

День сегодня прекрасный, не слишком жаркий, я проснулась очень рано и читала книгу в постели. Сегодня день приезда Гарибальди и, следовательно, президента; он начался тем, что палили из пушек, потом начался барабанный бой и по городу прошлась пожарная команда, вероятно, из граждан. Все они шли очень важно, с полным достоинством, и несколько человек тоже очень важн<ых> тащили за собой две машины или лестницу; они ходят по городу в полном параде. Решительно не понимаю эти их ленточки с золотыми эполетами, разве только для параду, а мне кажется, что для дела они решительно не годятся и, вероятно, они тоже <такими?> важными шагами идут и на пожар, и пока идут на место, там успеет выгореть вся улица. Эти процессии пожарных я видела уже раза два и решительно не понимаю, что у них за польза пройтись важно по всему городу при звуке барабана и перебудить всех добрых обитателей свободной Женевы.

Обедать пошли несколько раньше и думали найти библиотеку открытой, чтобы переменить книги, потому что Федя успел уже все прочитать, но библиотека заперта. Пошли искать другую, но решили сначала пообедать, а потом вместо прогулки поискать, нет ли где-нибудь другой библиотеки. Все улицы и дома украшены разными флагами, из которых большею частью попадаются флаги из двух цветов, красного и желтого и красного и белого. Но есть флаги и иных цветов. <...>

Народ попадался толпами, все спешили смотреть на разные депутации, которые отправляются встречать Гарибальди на железную дорогу. Собраться назначено

было ровно в 5 часов. Когда мы проходили по Коратери, то нам навстречу попалось несколько депутаций со знаменами в руках, очень довольных тупых лиц. Ведь охота же людям тешить себя всеми этими процессиями. Я думаю, куда как приятно покрасоваться где-нибудь в процессии, неся какой-нибудь значок. <...>

Наконец раздалась пушка, и я увидела, как подъехал поезд. Публику особенно занимало то, когда локомотив начинал свистеть. Тут начался ужасный смех и разные глупые шутки. Однако Гарибальди довольно долго после приезда поезда не показывался, вероятно, депутации говорили ему речи, ну а он отвечал, следовательно, время-то и шло, а мы тут стой и жди его. Наконец проехала карета с багажом Гарибальди. Тут решительно нет полиции, а потому, несколько минут до приезда Гарибальди, по этой улице, занятой народом, проехали, кажется, возов пять огромных, может быть, у них не было другой дороги или они не могли подождать. Наконец показались знамена, но они долго не двигались. Наконец едва могли тронуться, так много занимал народ, который стоял перед ними, не пропуская. Наконец шествие кое-как пошло, и за депутациями ехал в открытой коляске в четыре лошади и с жокеем впереди Гарибальди. Издали, когда я увидела его лоб, мне показалось, что это Федя, так у него был похож на лоб Гарибальди. Наконец показался и он, одетый в красный камзол и в полосатом плаще, с серой шляпой, которою он махал во все стороны. Какое у него доброе, прекрасное лицо, лет ему 55, мне кажется, он с лысиной <нрзбр.>. Но что за доброе, милое, простое лицо, должно быть, он удивительно добрый и умный человек. <...>

Вторник, 10 <сентября> (29 <августа>).

Сегодня в 10 <минут> шестого с Федей сделался припадок, который был, по-моему, очень сильный, сильнее прежних, т. е. гораздо сильнее были судороги в лице, так что голова качалась, потом он довольно долго не приходил в себя, а потом если спал, то просыпался через каждые пять минут. Это припадок ровно через неделю, это уж слишком часто; мне кажется, не виновата ли тут погода, которая теперь переменилась, т. е. сегодня поутру был дождь; бедный Федя, как он всегда бледен, расстроен после припадка, но я вот что заметила, он вовсе не такой мрачный после припадка, не такой раздражительный, как был прежде дома, когда я не была еще его женой, и как было в первое время нашего брака. Сегодня

он хотел работать, но писал очень немного, вот опять четыре дня пропало для работы, потому что теперь у него сильное бывает умопомрачение после припадка, дня четыре или пять он решительно не может прийти в себя; бедный Федя, как мне его бывает жалко, просто ужас, что бы я только ни дала, чтобы с ним не было припадка, Господи, кажется, все бы отдала, лишь бы этого не было. <...>

Потом Федя отправился читать газеты, а я пошла домой и здесь читала роман Бальзака «Eugénie Grandet», превосходнейший роман, который мне очень понравился. Вечером мы отправились немного погулять, но очень немного, заходили на почту, писем не получили. <...> Сегодня Федя встретил Огарева, и тот спросил, был ли Федя на конгрессе. Федя отвечал, что он ведь не член, тот отвечал, туда пускают за 25 с. Ну, Федя сказал: «Тогда я, конечно, пойду». <...>

Среда, 30 <августа> (11 <сентября>).

<...> Сегодня я встала с больной головой, потому что пере<писыва>ла уж слишком много, потом я решилась прогуляться и хотела сначала ехать в Каруж, но потом отдумала, потому что Федя предложил идти нам послушать на конгресс мира. Но сначала мне захотелось погулять, чтобы несколько освежиться. Наши хозяйки, у которых я спросила о часе, в который начинается заседание, дали мне би<ле>т и потом сказали, что Гарибальди уже уехал сегодня утром; мне пришло на мысль, что, вероятно, они здесь что-нибудь не поладили, что он уехал, не дождавшись окончания конгресса. Я пошла и увидела на всех стенах прокламации, в которых объявлялся протест против слов, произнесенных Гарибальди, говорилось, что его слова — это оскорбление, сильнейшее оскорбление, которое нанесено было им католической церкви и папству, и что этим он оскорбил половину жителей кантона, а поэтому-то они и протестуют против него[31]. Вот тебе и раз, то встретили Бог знает с какими радостями, то вдруг протест, что, дескать, убирайся-ка, братец, туда, откуда приехал; как это все смешно, право; с этим конгрессом мира, ничего, разумеется, путного не выйдет, а они-то все толкуют. Я пошлялась по городу, потом воротилась за Федей, мы отправились в Palais Electoral *, большое здание на place Neuve. Здесь мы купили билеты,

---

* Избирательный дворец (*фр.*).

но заплатили не по 25 с, а по 50. Наконец вошли в это место, это огромное серое, вроде конюшни, высокое светлое здание, испещренное гербами кантона. Наверху хоры, посредине стоит большой цветок с <букетами> цветов, который решительно загораживал всем вид на ораторов. Тут были отдельные места для дам, где я и села, а Федя сел 3 скамьями сзади меня. Шум был страшный, а потом, когда оратор какой-то взошел на кафедру, народ долго не мог успокоиться. Ораторы говорили очень тихо, так что наполовину нельзя было расслушать, говорили несколько ораторов, но все больше громкие фразы, вроде следующих: «нужна свобода», «для злодейства свобода», «стыдно воевать», вообще все громкие фразы, которые решительно невыполнимы, и на все это были ответом страшные рукоплескания, так что просто зал дрожал от шума. Какой-то оратор прочел 10 пунктов по поводу войны, написанных какой-то немкой, ничего особенно не представляющих, вообще рассуждение о неприемлемости войны. Но все эти 10 пунктов были встречены страшными рукоплесканиями, как будто они говорили о чем-нибудь действительно новом. Потом говорил какой-то, видно, <итальянец> почти <нрзбр.>, «прочь папство», на что одни хлопали, а другие не одобряли. Президент, видно, был недоволен этим <итальянцем> и несколько раз замечал ему, чтобы тот перестал говорить. Наконец кое-как ему удалось угомонить этого глупого оратора, который так сильно жестикулировал, что он свалил стакан с водой на голову какому-то господину. Вообще речи нельзя было расслушать, потому что шумели страшно и с половины заседания стали уходить вон, да к тому же, когда только оратор начинал оканчивать фразу, его прерывали рукоплесканиями и решительно не давали дослушать, что такое он сказал. <...> Мы не подождали до конца заседания, да и не для чего было, потому что все было до такой степени глупо, что и сказать досадно. И к чему этот глупый конгресс, делать людям нечего, так они и собираются на разные конгрессы, на которых только и говорится, что громкие фразы, а дела никакого не выйдет. Право, я пожалела о том, что мы потратили силы там[32]. <...>

Я думала, что мой день окончится мирно, как вдруг под вечер случилась у нас ссора, и вот каким образом: мы пошли немного погулять, хотели зайти на почту. Когда мы проходили мимо дома почты, я вспомнила, что я не взяла своей записи с нашими именами, а без записей

спрашивать письма было неловко, потому что он не может запомнить имена и тогда требуют визитную карточку. Я сказала Феде, что у меня записей своих нет, тогда он посмотрел в своем кармане, вынул какую-то маленькую бумажку, на которой было что-то написано карандашом. Мне захотелось знать, что это было именно, и я схватила записку; вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки; мне не хотелось выпустить записки, и мы так ее дергали, что разорвали на половины, и я свою половину бросила на землю, Федя со своей сделал то же; это нас и поссорило, он начал бранить, зачем я вырвала записку, меня это еще больше рассердило, и я назвала его дураком, потом повернулась и пошла домой. Это я сделала для того, чтобы поднять остатки бумажки и знать, что такое она содержала. Я ужасно дрянной человек! У меня раздражение, подозрительность и ревность, мне сейчас представилось, что это очень новая записка, а главное, что эта записка одной особы, с которой я ни за что на свете не желала бы, чтобы сошелся снова Федя[33].

Когда Феди не стало видно, я подбежала к тому месту, где была брошена бумажка, подняла три или четыре клочка, с которыми и побежала домой, чтобы прочитать. В каком я шла домой волнении, так это и описать трудно. Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел ее, что она не желает со мной видеться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? Но вот этого-то я решительно не могла к себе допустить. Мне нужно было знать это непременно, я не хотела, чтобы меня обманывали. Они думали, что я ничего не знаю, смеялись бы надо мной, нет, этого никогда не будет, я слишком горда, чтобы позволить над собой смеяться, да смеяться, должно быть, особе, которая меня и не стоит, потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это, должно быть, и очень дурно, но что делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его. Да простит меня Бог за такой, должно быть, низкий поступок, что я хочу шпионить моего мужа, к которому я по-настоящему не должна была бы иметь недоверия. Но дело в том, что Федя сам не хочет мне много доверить,

ведь, например, он не сказал мне ни слова о известном дрезденском письме[34] и вообще сохраняет на этот счет полнейшее молчание. Так разве я могу быть спокойна. Нет, пусть даже это будет нечестно, но я постоянно буду наблюдать, чтобы не быть обманутой. Я просто бежала и плакала дорогой, так я боялась, чтобы мне не узнать чего-нибудь дурного из этой записки. Я прибежала домой раньше Феди, я желала поскорее прочитать разорванную записку, а тут как назло наша хозяйка начала мне <надоедать?> с вопросами, и я ее выпроводила из комнаты. Начала старательно складывать записку, кое-как сложила, прочитала rue Rive, Mr Blanchard dessous *, записочка мне показалась написанной рукой этой особы, совершенно ее почерком, положим, что это может быть и неправда, потому что таких почерков может быть бездна, да вот, например, у Андреевой решительно такой почерк, но это меня еще больше взволновало. Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, ходит к ней, что вот она дала ему свой адрес, а он, по своему обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне. Особенно меня поразило то обстоятельство: зачем ему было так вырывать от меня записку, если он не боялся мне показать эту записку. Значит, ему не хотелось показать записки, значит, ее не следовало мне показать. Меня это до такой степени поразило, что я начала плакать, да так сильно плакала очень редко, я кусала себе руки, сжимала шею, плакала и просто не знала, боялась, что сойду с ума. Мне было до такой степени больно подумать, что вот человек, которого я так сильно люблю, и этот человек вдруг изменяет мне. Я решилась непременно завтра идти, идти по адресу и узнать, кто живет именно там, и если бы я узнала, что там живет известная особа, то я непременно бы сказала об этом Феде, тогда, может быть, мне бы пришлось уехать от него. Но до завтра еще оставалось довольно много времени, я ужасно как мучилась. Я плакала Бог знает как и страдала невыносимо. Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не любит, что она способна нарочно ему отдаться, для того чтобы только насолить мне, зная, что это будет для меня горько, и вот теперь, должно быть, это действительно и случилось, и вот они оба считают,

---

* внизу (*фр.*).

что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну. <...>

Потом, когда мы на другой день помирились, то Федя мне объяснил, что мы поссорились оттого, что ходили на конгресс мира. Да и вообще на этом мирном конгрессе гораздо больше было ссор и провозглашали все ораторы не мир, а войну. Ночь я спала дурно, ночью проснулась и думала: что-то решит завтрашний день, неужели завтра будет для меня несчастье, неужели она здесь, неужели все мое счастье рушилось? Господи, я, кажется, умру, если это так будет. <...>

Пятница, 13 <сентября> (1).

<...> Сегодня я была целый день почти больна, но вовсе не физически, а морально, так было тяжело, все казалось грустно и мертво, так что, должно быть, я окончила бы физической болезнью, если бы вдруг не решилась успокоиться. Я положила, что это все сочинила сама, что вовсе не следует печалиться, ничего не узнав, но все-таки я решилась следить за Федей, чтобы знать, неужели он мне изменяет. Когда он после обеда пошел в читальню, я высмотрела, как он действительно туда вошел. Потом я отнесла домой книги и поспешила через другой мост в <Английский?> парк, из которого было очень хорошо видно, если бы он вышел, но дожидаться там, пока он прочитает все газеты, было бы, право, глупо, потому что иногда он читает часа два, а стоять на одном месте два часа очень тяжело, потому я решилась тихонько пройтись мимо кофейни, вполне уверенная, что он меня и не заметит. Так и случилось, я прошлась и увидела, что он смирнешенько сидит себе у стола и читает газету, так что тут мои подозрения решительно рушились. Я решила больше его не наблюдать и отправилась глазеть по магазинам. <...> Вечером мы немного гуляли и потом сели писать. Я очень рада, что Федя начал мне диктовать, по крайней мере работа теперь пойдет скорей и, может быть, мы скоро сможем отправить к Бабикову эту статью. Я с большим удовольствием писала, мне все вспоминалось прежнее время, когда я была еще его невестой. <...>

Четверг, 19 <сентября> (7).

Сегодня день превосходный, я постаралась пораньше окончить мое писание, и так как у меня довольно сильно болела голова, то я и решилась куда-нибудь пойти погулять. Федя остался писать, а я отправилась. <...>

Пришла домой, Федя еще продолжал писать. Он говорит, что эта статья ему не даром досталась, что она ему так трудна, что писать ему не хочется ее, так что он ужас как теперь мучается. <...>

Вторник, 24 <сентября> (12).

Так как я легла вчера довольно рано, то несколько раз в ночь <просыпалась> и нисколько и не спала. Так без 25 минут 5 часов я проснулась и еще не совсем могла прийти хорошенько в себя, как вдруг услышала, что с Федей припадок. Право, Бог, вероятно, услышал мои молитвы о том, чтобы Сонечка или Миша могли родиться здоровыми; потому что я несколько раз уже замечала, что я или не сплю, или только что проснулась, или не испугалась, когда с ним бывает припадок, так что ребенку моему через это ничего не будет дурного. Я тотчас вскочила, зажгла свечу и села к нему на постель. Припадок, по моему мнению, был не слишком сильный, потому что Федя даже не очень кричал и довольно скоро пришел в себя, но потом у него лицо было до такой степени в эти мгновенья страшное, что я просто его испугалась (или я, может быть, сделалась такая, что на меня нападает страх). Право, мне до сих пор ни разу не случалось пугаться его, когда с ним это сделается, но сегодня до крайней степени страшное, такое страдающее лицо, что я побоялась за него. К тому же вдруг у него похолодело совершенно лицо, и главное, нос. Мне вдруг представилось, что он умрет. Как мне это было больно и как я молилась, чтобы припадок поскорее кончился! Федя довольно скоро очнулся и узнал меня. Он назвал мое имя, но я не расслышала, и чтобы знать, может ли он назвать имя мое, спросила, как меня зовут, и он, еще хорошенько не придя в себя, сказал мне, что меня зовут Анна. Потом он как будто бы пришел в себя. <...> Он все говорил, что боится так страшно умереть, и просил, чтобы я посматривала за ним, я уверена, что с ним ничего не будет, да к тому же я не буду и спать, буду все слушать, если с ним что-нибудь случится. Он называл меня множеством хороших имен, называл ангелом своим, что он меня очень любит и благодарит, что я за ним хожу, и сказал: «Да благословит тебя Бог за это». Я была очень тронута его словами. Мне казалось, что он меня действительно любит. Потом он лег спать. Я дала ему заснуть до половины 10-го, потому что он очень мало спал ночью. <...>

Четверг, 26 <сентября> (14).

<...> Взял он сегодня читать «Corricolo» Александра Дюма, и уже когда читал, то ужасно как хохотал, т. е. я, кажется, еще ни разу не видела, чтобы он мог так сильно хохотать. После каждого хохота он обыкновенно рассказывал мне, что именно тут было смешного, и даже несколько раз читал мне. Вообще я начала замечать, что Федя нынче очень часто рассказывает мне, что такое он прочитал в книге ли или в газетах, особенно в газетах, потому что я не читала сама, ну так он мне почти всегда рассказывает, что такое он там вычитал. Меня это ужасно как радует. <...>

Сегодня Федя занимался пересмотром своей статьи и очень много что вычеркнул или переменил, так что после обеда он предложил мне переписать по крайней мере двадцать страниц. Просил, чтобы это было готово к завтра, потому что он думает завтра послать статью в Москву. Уж, право, давно пора это сделать. Ведь деньги были взяты в январе, а теперь уж сентябрь месяц, может быть, этот человек не может без этой статьи издать свой сборник, может быть, он терпит убытки, так что мне, право, ужасно как перед ним совестно. Я переписала несколько страниц, но остальное оставила до завтра, а сама весь вечер читала «Corricolo». Вообще Федя нынче со мной очень нежен и добр, у нас всегда так мирно: иногда мы ругаемся, особенно я называю его дураком, но сейчас расхохочусь, так что и он, понимая, что я его не желаю обидеть, тоже рассмеется и в ответ тоже как-нибудь обругает. У Феди страшно болит левая рука, так что он решительно не знает, что с нею и делать. Сегодня пять месяцев, как мы уехали из России.

Пятница, 27 <сентября> (15).

Погода несколько переменилась, и хотя совершенно не тепло, но все-таки не такая дурная, как вчера. Сегодня утром я опять пошла на почту, но, по обыкновению, ничего не получила. <...> Когда я воротилась домой, то стала переписывать то, что меня Федя просил переписать вчера, но оказалось, что надо было даже переписать и больше. Федя ужасно спешил, уверяя, что вот из-за меня не придется послать, что мы так давно не посылаем, и решительно свалил беду на меня, как будто я была виновата в том, что он больше чем полгода не мог написать статью, а тут один день для него стал такой

важный, что непременно нужно было окончить сегодня. Я ужасно как торопилась и дописала, но зато мы пошли часом позже обедать и нам подали кушанья почти совершенно холодные. Отсюда мы пошли за конвертами, заходили в несколько магазинов, но такой величины конвертов достать не могли; наконец, после долгих исканий, нашли в каком-то магазине желаемой величины конверты, но зато такие тонкие, что пришлось положить в два конверта, адресованные на имя мамы, прося ее передать Аполлону Николаевичу, а он уж перешлет в Москву. Отнесли на почту, и там пришлось нам заплатить 6 франков 75 с. Это ужасно как много, да, я думаю, и бедной мамочке придется еще приплатить. <...> Потом Федя проводил меня домой, а сам отправился читать. Я все время поджидала его и ужасно жалела, что отпустила читать, потому что сегодня мне говорили, что у него даже днем чуть было не случился припадок. Но он довольно скоро воротился. Он сегодня такой веселый, как и вчера, и я этому очень рада. Вечером он был очень добр ко мне и весел, так заботлив, все укрывал меня одеялами. Милый Федя, право, я его ужасно как люблю. <...>

Вторник, 1 октября (19 <сентября>).

<...> Сегодня он начал программу своего нового романа; записывает он его в тетради, где было записано «Преступление и наказание» [35]. После обеда, когда Феди нет дома, я всегда прочитываю, что он такое записал, но, разумеется, ни слова не говорю ему об этом, потому что иначе он бы на меня ужасно как рассердился. Зачем его сердить, право, мне не хочется, чтобы он прятал от меня свои тетради, лучше пусть он думает, что я решительно ничего не знаю, что такое он делает. Понятно, что человеку очень неприятно, если читать то, что он написал нагрязно. Когда мы пришли домой, то Федя сказал, что мы довольно хорошо живем друг с другом, что он даже не ожидал такой спокойной жизни, как здесь, что мы очень редко ссоримся, что он счастлив. Вечером, когда он прощался, то сказал, что если он умрет, то чтобы я его вспоминала хорошим и думала о нем. Я просила его не говорить так, потому что это меня всегда ужасно как беспокоит. Тогда он сказал: «Нет, зачем умирать, разве можно оставить такую жену, нет, для нее нужно жить непременно». Он нынче меня называет «М-те Достоевская», и я очень люблю это слушать, когда он это говорит. Потом вечером у нас обыкновенно идут разговоры; так,

вчера мы говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго. Меня всегда радует, когда он со мной говорит не об одних обыкновенных предметах, о кофее да о сахаре, а также когда он находит меня способной слушать его и говорить с ним и о других, более важных и отвлеченных предметах. Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне, и толковал, что ей непременно следует поставить памятник. Не знаю, за что только? Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет.

Среда, 2 <октября> (20 <сентября>).

<...> Пошли обедать, потом Федя пошел в кофейню, а я воротилась домой и отдыхала. Федя принес мне книгу «Последний из могикан», великолепную вещь Купера, которого я еще совершенно ни одного романа не читала. <...>

Понедельник, 7 <октября> (25 <сентября>).

Утро сегодня тревожное, я решительно никак не могла дождаться, когда наконец придет 10 часов, чтобы я могла идти его встречать[36]. <...> Ровно в 10 часов вышла из дому, но пришла на машину все-таки рано. Пришлось ждать с полчаса. Наконец поезд пришел. Я стояла у двери и смотрела, не идет ли Федя. Давно народ уже прошел, так что я почти была уверена, что Федя сегодня не приехал, как вдруг он показался у двери с страшно расстроенным лицом. Я сейчас поняла, что это значит полнейшая неудача. Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и расстроен, сначала он меня не видел, но потом приметил и с радостью подал мне руку. Мы вышли, и я начала его утешать. Он мне говорил: «Вот беда-то какая, вот беда. Видишь, что у меня даже пальто нет, там оставил, хорошо, что еще теперь тепло, а я бы мог простудиться». Мы вышли из вокзала и пошли, он держал меня за руку. Я стала его утешать, но он говорил: «Нет, ведь у меня было 1300 франков, в руках было третьего дня, я велел себя разбудить в 9 часов, чтобы ехать на утреннем поезде, подлец лакей не думал меня будить, и я проспал до половины двенадцатого. Потом пошел в вокзал и в три ставки все проиграл. Потом заложил свое кольцо, чтобы расплатиться в отеле. Потом на остальные тоже проиграл. Потом узнал на железной дороге, в котором часу пойдет поезд, сказали в пять, нужно остановиться ночевать в Лозанне, а у меня всего

было 12 франков, разве возможно было ехать, я отыскал какой-то пансион. Там заложил свое пальто за 13 франков, мне предложили у них остаться, дали мне маленькую скверную комнату, где я всю ночь не мог уснуть, потому что в соседней комнате какая-то собака визжала и выла все время, и ее били; потом в 4 часа меня разбудили и я отправился в Женеву». Он сказал, что даже во второй раз, когда он пошел с деньгами, полученными от заложенного пальто, и тогда он отыграл даже 70 франков, но потом опять стал ставить по 5 франков, и в несколько ударов все кончилось. Он был в страшном отчаянии, мне было тоже горько, и хотя я его и утешала, но мне было так тяжело, что я просто не знаю готова была что сделать. Я даже почти не слушала его, не могла понять, что он такое говорит, так меня это поразило. Ведь вот, подумала я, давалось счастье в руки, сам виноват, если не мог привезти домой выигранного. (Я про себя вполне уверена, что лакей его разбудил вовремя, что ему самому не захотелось приехать. Тут явилась мысль, что вот, дескать, я непременно выиграю не только что одну какую-нибудь тысячу, а уж наверно 10 тысяч, чтобы облагодетельствовать всех, ну, разумеется, дикие мысли пошли, вдруг разбогатеть, вот и пошел и в три удара все проиграл. Я спросила его: «Я ведь писала тебе, чтобы ты прислал мне 200 франков, а там на остальное мог бы рисковать сколько угодно, почему ты этого не сделал?» Федя и тут нашелся сказать, будто бы там почта заперта утром, потому он не мог отправить.) Но это тоже неправда. Я этому ни капельки не придаю веры, больше ничего, пошел, чтобы было с чем б*о*льшим играть. Нет, я этого решительно не понимаю. Как! Знать, что дома всего-навсего 40 франков, что следует неизвестно откуда достать деньги, что достать решительно нельзя, и вдруг, выиграв так много денег, не послать 200, 300 франков, зная, что это меня сильно как успокоит и вообще даже в случае проигрыша может нам очень помочь. Мне нисколько, право, не досадно и проигрыш 1000 франков, но ужасно больно за те 300 или 200 франков, которые я просила прислать. Господи! Как я много на них надеялась. Во-первых, что для меня главное, не следовало бы посылать мне письмо к маме, опять ее бедную, несчастную беспокоить и тревожить, прося, чтобы она нам непременно отослала хоть сколько-нибудь денег, 125 рублей. Боже мой, что бы только я ни дала, чтобы не просить ее, не беспокоить моего бедного ангела, мою бедную старушку.

Как мне это больно, как я и представить себе не могу, так мне это тяжело. Во-вторых, надо опять будет писать и клянчить у Каткова, человека, который нас так много обязал и просить которого теперь от меня, несмотря на то, что я его решительно не знаю, очень грустно и тяжело. Таким образом, как я уже сказала, я ушла домой с ним под руку и решительно ничего почти не слушала, что такое он говорил. Я была так сильно поражена, что только и думала, как бы нам дойти домой и мне сесть в постель, уткнуться головой в подушки, чтобы как-нибудь да забыться. <...>

Воскресенье, 13 <октября> (1).

<...> Нынче он каждый день что-нибудь да пишет, составляет план романа, а когда его дома нет, то я все это прочитываю, потому что мне ужасно как интересно знать, что такое он пишет, как это у него выходит. Сказать же об этом, что я читаю, было бы ужасно как глупо, потому что тогда бы он стал непременно прятать от меня все написанное. Вообще он не любит, чтобы смотрели то, что он написал еще начерно, да, я думаю, никакой человек не любит, а поэтому говорить не для чего.

Я ужасно как рада моему ребенку; когда он у меня долго не шевелится, то я начинаю думать: «Что это моя Сонечка не бьется», и в это мгновенье она начинает сильно биться, т. е. особенно коленями, как будто желая мне сказать: «Полно, мама, ведь я здесь, ведь я не ушла, не беспокойся обо мне». Я забыла сказать, что вчера, когда Федя ходил на почту, он получил там письмо от Майкова[37] и когда пришел домой, то предложил мне его прочесть. Федя нынче дает мне прочесть все, что он получает, и меня это ужасно как радует, такая доверенность, потому что это избавляет меня от необходимости читать стороной его письма, даже без всякого согласия. (Ведь не могу же я оставаться равнодушной к тому, что делает мой муж.) <...>

Понедельник, 14 <октября> (2).

<...> Вечером мы отправились с Федей гулять, он мне долго рассказывал то, что прочитал в газетах, именно историю Ольги Умецкой[38], бедной девушки, как мне ее было жаль, что за твердый характер: сказала, что я поджигала, да так и стояла на этом, хотя никто того не подтвердил, она могла бы отказаться от своего показа-

ния. Несчастная девушка два раза хотела броситься в окно, один раз повеситься, уж с веревки сняли, так ей было хорошо дома жить, а эти подлые отец и мать, это не люди, а какие-то звери, когда приходится родить, отправляются в другую деревню, там родят, потом забрасывают детей до семи-восьми лет, чем хотите, тем и питайтесь, а сами богатые люди, сами имеют состояние и хвастаются им. Как это этих людей ничем не наказали. Если бы мне дали волю, я бы, кажется, повесила их, так мне они отвратительны. Своих родных детей, несчастных, матери мучают; заставлять работать, не давать есть, это подло. И как это их Бог не накажет. И Бог дает таким зверям детей. Господи! Как это тяжело даже подумать, какие бывают еще люди, да еще из благородного сословия. Меня этот разговор ужасно как возмутил. И неужели эта несчастная девушка опять попадется им в руки, они, бедную, ее опять замучают, будут мстить за ее жалобы на их обращение. Вечером Федя мне говорил, что он жалеет, что нет в живых брата, как бы он тебя любил, ценил и уважал. Я ведь у тебя что у Христа за пазухой, так ты меня бережешь. Разговаривали мы много о Сонечке, он ее очень любит, говорит, что еще больше будет любить. Он хотел со мной пошутить и нечаянно ударил меня довольно больно по лицу. Ему сделалось так больно это, что он стал на колени и с четверть часа стоял, прося прощения и говоря, что вовсе не думал так сильно меня прибить, так меня обидеть, говорил, что очень меня любит, ужасно, ужасно. И Сонечку тоже. Я вполне уверена, что когда он ее увидит, то еще больше полюбит, еще больше нами будет дорожить. Он всегда только горюет, что у нас денег нет, что у нас слишком мало денег, а нужно довольно много для родни и для Сонечки. Вижу я во сне постоянно Сонечку и то, как она у меня родилась, но именно бывают всегда какие-то странные обстоятельства; право, даже смешно видеть, что это за чепуха.

Вторник, 15 <октября> (3).

Сегодня опять разбудила Федю попозже, чтобы он мог выспаться. Он все жалуется, что у него сердце останавливается и мешает ему дышать. Мне это ужасно как грустно слушать, право, если он разболеется. Утром мы растопили печку, и я начала стирать и гладить платки, потому что и у него, и у меня сильный насморк, а отдавать прачке, во-первых, дорого, а во-вторых, она не ходит раньше недели. Кончив мою работу, я принялась читать,

а Федя сел опять писать. Нынче он пишет и вечером, все составляет план романа. Господи, как я ему от души желаю, чтобы роман вышел очень хороший. Это мое единственное и самое искреннее желание. Я постоянно об этом молилась, хотя вовсе не считаю, чтобы мои молитвы могли бы тут сколько-нибудь действовать. После работы он написал письмо к Moppert, у которого в Бадене заложены мои серьги и брошка, и предлагает ему 150 франков, чтобы только он подождал еще месяц. Не знаю, согласится ли тот. Но мне будет до такой степени горько, если эти вещи пропадут. Во-первых, и память дорога об этих серьгах, а к тому же других ведь у меня не будет, хотя Федя и говорит, что он мне непременно купит. Но ведь у нас так много других расходов, других издержек, что покупать решительно нет никакой возможности. <...>

Вечером Федя сел писать, а я легла полежать, да немного и заснула. Так у нас было хорошо в нашей комнатке, право, что, может быть, так хорошо никогда и не будет. Тепло, тихо, Федя работает, так светло и так приятно лежать. Он также такой ласковый, милый. Правда, я заметила, что он немного стал раздражительный в последнее время, и я думаю, что это решительно происходит от климата, потому что уж климат слишком дурной и страшно переменчивый. <...>

Теперь расскажу про 3 октября прошлого года, день, в который я была удивительно как счастлива[39]. Это был понедельник, день, в который я обыкновенно ходила учиться стенографии, т. е. в это время приезжала диктовать, потому что я довольно уж сильно тогда писала. Было 6 часов вечера, когда я пришла в 6-ю гимназию, урок еще не начинался, и я уселась на свое место, раскладывала свои тетради, приготовившись писать. Вдруг ко мне подошел Ольхин, попросил подвинуться, потому что сказал, что имеет со мной много поговорить.

— Не хотите ли вы получить стенографическую работу, — сказал он мне. — Мне поручена одна работа, и я думаю, что, может быть, вы согласитесь принять ее.

— Я еще не знаю, довольно ли я сильна в стенографии, чтобы взять на себя какой-нибудь труд.

Он сказал, что это не потребует больше двухсот букв, а вы совершенно хорошо пишете, чтобы успевать писать под диктовку и чтобы вполне надеяться, что я могу взять на себя эту работу. Я спросила, в чем суть.

— Это работа у одного писателя, Достоевского, который пишет теперь роман и которому нужно писать под

диктовку всего 7 листов, и за работу просил я 30 рублей. Ну так вы знаете, необходимо условие насчет платы, от труда 10%, которую я должен получить за отыскание работы.

Я отвечала, что я решительно не буду нисколько на этот счет спорить. Потом он сказал, что у него есть две ученицы, которые желают догнать его курс, и что думает, что я могла бы их приготовить, а получу я за них по 5 рублей, т. е. по два урока, вероятно, мне это не мало. Я согласилась, он вынул из кармана небольшую записку, адрес Достоевского: «Столярный переулок и Малая Мещанская, дом Алонкина, кв. № 13. Спросить Достоевского». Я решительно не знала, кто именно писал эту записку, Федя или Ольхин, вероятнее всего, что Федя, потому что он дал этот адрес. Я взяла его и сейчас спрятала, ужасно боясь, как бы мне его не потерять. Потом он прибавил, что мне непременно следует быть там в половине двенадцатого, ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда он мне назначил. Потом он отошел, потому что класс должен был скоро начаться, и оставил меня в ужасной радости. <...>

Урок кончился, я подошла к Ольхину спросить его, на какой бумаге, какого формата и какие оставлять поля. Он отвечал, что это он уж предоставляет Достоевскому, потом прибавил, что он надеется, что я буду очень внимательна к работе, тем более что это первая, постараюсь приходить вовремя и, потом, что, вероятно, мне придется идти раз десять, не больше. «Это чрезвычайно угрюмый господин, ужасно мрачный, я решительно не знаю, как вы с ним сойдетесь». Я отвечала, что это меня нисколько не заботит. Да и действительно, что мне было за дело до характера человека, я ведь вовсе не для замужества с ним пришла, а для работы, следовательно, исполни я только верно свою работу, и я могу быть уверена, что буду жить в ладу с ним. <...>

У меня постоянно, всю мою жизнь было одно только страстное желание, это иметь свой кусок хлеба, иметь возможность не обременять мою семью, а быть самой ей полезной, стать самой на ноги и в случае нужды суметь найти себе деньги. Теперь я могу помогать маме. Какая это была чистая радость! Право, навряд ли у меня будет в жизни много таких прекрасных часов, как были эти. Эта мысль, что я теперь полезна, она так меня радовала и так меня восхищала, что я бы, кажется, меньше радовалась, если бы узнала, что получила наследство в 500 рублей, чем этим трудовым, *своим,* своим трудом заработанным 30 рублям. <...>

Среда, 16 <октября> (4).

Встала я довольно рано, напилась весело кофею и тотчас принялась за осмотрение моего черного шелкового платья и кофты и кое-что зачинила. Мне хотелось явиться как можно приличнее, чтобы не быть в глазах его нищей; мне вообще хотелось оставаться в независимом положении, стать на ровную ногу. В половине десятого я уже вышла из дому. Мама провожала меня до низа, и здесь мы встретили Ольгу Васильевну, которой тоже рассказали, что я получила работу. Я села в дилижанс и отправилась в Гостиный двор и, доехав до лавки Морозова, вышла из дилижанса. Здесь я выбрала себе зонтик черный <коленкоровый> за рубль серебром с очень хорошей деревянной красивой ручкой; купила потому, что подумала, пойдет дождь, а мне вовсе не хотелось приходить на работу в мокром виде. Заходила я себе купить калоши или башмаки, но было довольно мало времени, и потому я отложила покупки до другого раза. <...>

Было тогда 11 часов, я отправилась потихоньку по Большой Мещанской, поглядывая на часы, не желая прийти ни раньше половины двенадцатого да не прийти и позже <...> на первый раз хотелось выказать как можно больше точности и деловитости. Наконец, оставалось всего 10 минут. Я вошла в Столярный переулок, принялась отыскивать дом Алонкина. В этом переулке я была всего только первый раз в жизни; дом я скоро нашла, это был очень большой каменный дом, выходящий на Малую Мещанскую и Столярный переулок, с трактиром и с постоем извозчиков, с несколькими пивными лавочками. <...> Ворота находились по Малой Мещанской, я вошла, здесь было очень много извозчиков и попадались довольно неприличные хари. Я прошла в глубь двора, увидела дворника и спросила, где живет Достоевский. Он отвечал, что в 13-м номере, первый подъезд направо. Я поднялась во второй этаж по довольно грязной лестнице, на которой тоже мне попались несколько человек очень неприличных и два или три жида. Я позвонила, через минуту мне отворила дверь девушка, довольно смазливая, но страшно растрепанная и с ужасно хитрыми, как мне показалось, злыми черными глазами, с черным в клетку платком, накинутым на голову. Я спросила, тут ли живет Достоевский, и на ее утвердительный ответ просила сказать ему, что пришла стенограф от Ольхина и что он уж знает. В эту самую минуту,

когда я входила в дверь в передней, в другой комнате, прямо против двери, выскочил какой-то молодой человек в туфлях и с открытой грудью, выскочил, но, увидев незнакомое лицо, тотчас спрятался. Я тотчас заключила, что это, должно быть, его сын. Федосья проводила меня в следующую комнату и попросила меня сесть, сказав, что сейчас выйдет. (Я забыла сказать: дорогой и весь вечер я себе представляла его, мне казалось, что это непременно будет или просто небольшого роста человечек с брюшком и лысой головой, очень веселый и смешливый, или, наконец, задумчивый, суровый, угрюмый господин, как его обрисовал Ольхин, высокого роста, бледный, худой. Тут я много припомнила его сочинений, то, что читала: «Неточка Незванова», «Униженные», «Мертвый дом», «Бедные люди», одним словом, все, что я читала и чем я восхищалась.) Я села, сняла шляпу, свои черные перчатки, распустила платок, при этом мне пришлось взглянуть на часы, которые висели прямо над диваном; было уж с лишком половина двенадцатого, и я была ужасно как довольна, что пришла так ровно, как мне назначено. Прошло, мне кажется, с пять минут, как я села, а между тем никто не входил; в это время я осматривала комнату, которая показалась мне очень невзрачной, довольно мещанской комнатой. Все стены были заставлены шкафами, у самых дверей находится какой-то деревянный безобразный сундучок. В комнате было три двери: одна, в которую я вошла, вторая левая, откуда выскочил растрепанный молодой человек, а третья направо, вероятно, в гостиную, подумала я, но я видела только часть комнаты, именно цветок с каким-то вьющимся растением. Около двери направо стоял комод, покрытый белой салфеткой, по-мещански. На нем стояли два старых подсвечника <на полке> и лежала щетка. У окна стоял обеденный складной стол и несколько стульев. Вообще по комнате мне показалось, что здесь живет довольно небольшая семья, и мне вдруг представилась вся его жизнь. Мне показалось, что это вроде Ушинского, у которого Ваня раз был и рассказывал, что у него очень и очень бедно[40]. Мне почему-то показалось, что Достоевский непременно женат, что вот вместо него выйдет его жена, что у него есть дети, что я непременно услышу сейчас где-нибудь детские крики или шумную детскую возню. Вообще эта комната как-то не оправдывала то, что я ожидала встретить. Федосья просила подождать, сказав, что сейчас *идут.*

Так прошло минут с десять, как вдруг, теперь не припомню из которой именно комнаты, но кажется, что из кухни (вероятно, Федя был в это время в кабинете и через кухню возвратился в квартиру), явился Федя. Я раскланялась, и он пригласил меня пройти в следующую комнату; сам он поворотил в Пашину комнату; я, не зная ничего, пошла за ним, но он показал, что не в эту, а в его кабинет, куда я и вошла. Вторая комната была значительно лучше первой, больше, высокая, длинная, с двумя окнами, но какая-то мрачная, хотя довольно было дневного света; но это, вероятно, происходило от обоев. В глубине комнаты стоял диван, покрытый какой-то клетчатой материей, перед ним стол, покрытый красной салфеткой, на столе лампа и лежали два или три альбома. Над диваном висел портрет какой-то дамы в черном чепчике, вероятно, его жены. Это, вероятно, жена его, подумала я, как-то взглянув наверх. Кругом стола стояли стулья, покрытые той же темной <клетчатой?> материей, довольно уже поношенной. На <первый> раз комната все-таки казалась довольно светлой, но в другой день она производит ужасно тяжелое впечатление, как-то в ней слишком тихо, слишком сумрачно и даже тяжело. Между двумя окнами стояло зеркало в черной ореховой раме, но простенок был значительно шире зеркала, и потому оно стояло как-то криво, несимметрично; мне же, привыкшей к симметрии, это показалось несколько странно; у одного окна стоял цветок, тот самый, который виделся из первой комнаты, перед ним столик, какая-то шкатулка. На окнах были две прекрасные китайские вазы, прекрасной формы; у другого окна стояло два стула (замечательные потому, что на них-то произошло объяснение), на один-то из них я и положила свой портфель и шляпу, когда вошла. Тут я заметила в углу стол, заваленный разными бумагами, и небольшой еще столик, на котором была какая-то шкатулка с черепаховой крышкой и с отличной инкрустацией. У входной двери стоял огромный диван зеленого сафьяна, очень удобный, и около него столик с графином воды. Среди комнаты, ближе к стене, стоял письменный, довольно обыкновенный стол, а перед ним деревянное кресло, на котором я потом очень много раз сидела, когда диктовали. Я сидела уж несколько времени в комнате и могла ее хорошо рассмотреть (на первый взгляд она мне показалась довольно порядочной, особенно в сравнении со столовой), как снова вошел Федя; он выходил, вероятно,

чтобы что-нибудь приказать Федосье. Чтобы чем-нибудь начать разговор, он меня спросил, давно ли я занимаюсь стенографией. Я стояла у окна; но подошла к столу и сказала, что уж учусь с полгода (действительно, 4 апреля начала в первый раз уроки, а 4 октября уже начала работать, т. е. ровно через полгода, а Ольхин между тем говорил мне, что работать нельзя иначе как через два года). На его вопрос, много ли учеников, я отвечала, что было 150, начало-то много, а что теперь осталось всего 25, потому что все думали, что это очень легко, а как увидели, что в один раз и в несколько недель ничего не сделаешь, то и побросали стенографию. Он сказал, что это бывает, как и во всяком деле, многие принимаются, а больше половины и оставляют, потому что видят, что надо трудиться, а трудиться кому же хочется.

Странным мне показался этот человек! Довольно старообразный с первого взгляда, но потом сейчас кажется, что ему не более тридцати семи лет; среднего роста, какое-то изм<ученное> болезн<енное> лицо, с светлыми, слегка даже рыжеватыми волосами, сильно напомаженными и как-то странно зачесанными, точно в парике; в довершение всего у него было в это время два совершенно различных глаза (тогда он лечился у Юнге от раны в глаз и один зрачок у него был положительно расширен), один прекрасного цвета черный, а другой зрачок как-то странно расширен, что придавало его физиономии решительно какое-то странное выражение и не позволяло увидеть выражение его глаз. Вообще он мне показался похожим на педагога, и лицо его показалось мне довольно злым. Одет он был в синей куртке, довольно уж засаленной (он говорит, что носит ее шесть или семь лет), и в серых панталонах, но в очень чистом белье. В этом нужно было ему отдать справедливость, я его никогда не видала ходящим в грязном белье. Лицо его носило удивительно какое-то странное выражение, и, право, он даже мне не понравился сразу.

Через пять минут после моего прихода вошла Федосья и принесла два больших стакана с чаем, чрезвычайно крепким, почти черным; на подносе лежали две булки. Я взяла один стакан и булку, и хотя решительно не хотела пить, было даже почти жарко, но, чтобы не обидеть, я взяла и начала пить. Я сидела на стуле противоположного письменного стола около двери. Мы начали разговаривать, он сидел за письменным столом. Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, уби-

тым, изнеможенным, больным, тем более что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падучей. Он то сидел, то расхаживал по комнате, куря папиросы, причем предложил и мне, но я отказалась, сказав, что никогда не курю. «Может быть, вы это из учтивости не хотите курить?» Но я отвечала, что даже не люблю смотреть, когда дамы курят. Да, он мне показался чрезвычайно странным. Я тут припомнила слова Ольхина, назвавшего его очень угрюмым человеком. Мне даже показалось, что наше дело расстроится, что мне даже не придется у него писать, потому что он говорил: «Мы посмотрим, как это сделать, мы увидим, возможно ли это, попробуем». Потом он спросил меня, как мое имя, я сказала: «Анна Григорьевна», впоследствии он несколько раз забывал его и снова выспрашивал, как меня зовут.

Мы довольно долго разговаривали, я уж несколько досадовала, что мы не принимаемся за дело; наконец он для пробы попросил меня написать ему что-нибудь, он стал мне диктовать что-то из «Русского вестника», сказав, чтобы я ему точно потом перевела на обыкновенное письмо. Начал он диктовать ужасно скоро, но я тотчас его остановила, сказав, что я так скоро не привыкла писать, он начал реже. Потом я тотчас села переписывать ему это, а он начал опять ходить по комнате. Я из всех наших стенографов читаю скорее всех, даже гораздо скорее Ольхина, то, что я написала, и потому я сейчас переписала это. Но он заметил, что я это довольно долго делаю. Вообще он был какой-то странный, не то грубый, не то уж слишком откровенный. Потом он начал сверять и нашел, кажется, два пропуска в предлогах и чрезвычайно грубо заметил мне об этом. Вообще с первого взгляда он мне не понравился. Он как бы был уж слишком расстроен и, кажется, даже не мог собраться с мыслями. Несколько раз он принимался ходить, как бы забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чем-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать. Наконец он мне сказал, что теперь диктовать не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему эдак сегодня вечером часов в восемь. Я сказала, что приду, надела шляпу, взяла свой портфель и распрощалась с ним. Когда я уходила, то мне сказал: «Знаете, я даже рад был, когда Ольхин мне сказал, не может ли он ко мне прислать даму, а не мужчину работать; вы, вероятно, удивитесь этому, вы спросите, почему; вероятно, это

показалось вам странным. А потому, что мужчина непременно запьет, уж наверно запьет, а вы, я надеюсь, не запьете». Я отвечала, что в этом он может быть уверен.

Он проводил меня до дверей своей комнаты. Я вышла в переднюю, и когда девушка стала застегивать мне платье, то я дала ей 20 копеек. Надо сказать, что на первый взгляд он мне как-то даже очень не понравился, мне было даже отчего-то очень неприятно. Мне казалось, что все это ни к чему не приведет, что я не сойдусь с ним в работе и что, может быть, моя мечта заработать деньги окончится просто пустяками. Мне это было тем более больно, что я вчера и милая мамочка так сильно радовались. Было, я думаю, больше двух часов, когда я вышла от него и дошла пока к Сниткиным, потому что возвратиться домой мне не хотелось, во-первых, потому, что во всяком случае нужно будет сегодня вечером снова идти, а во-вторых, мне хотелось похв<али>ться перед Сниткиными, что вот и я под конец получила себе работу, чтобы они не думали, что я только задаром живу и ем мамин хлеб, они всегда намекали на это, что я ничего не делаю, а только лишняя обуза для мамы, и, вероятно, в душе смеялись над стенографией и над тем, что я учусь; по их мнению, это были совершенные пустяки и решительно не стоило тратить времени на то, чтобы учиться такой вещи. По дороге я зашла в какой-то магазин подержанных вещей (у меня есть такая страсть к дешевым покупкам) и спросила, нет ли у них сита серебряного, но у них не было; день был прекрасный, очень ясный. Пришла я к ним (жили они тогда в доме Воронина в Фонарном переулке и на углу Глухого переулка) и сказала, что буду у них обедать, потому что вечером отправляюсь к Достоевскому писать (всю дорогу к ним я шла очень печальная, с каким-то особым тяжелым чувством, с совершенно противоположным настроением, с каким давеча шла работать; мне все казалось, что мы не сойдемся и что работа от меня будет отнята). <...> Так прошел день. Я с нетерпением дожидалась восьми часов, когда мне назначено было прийти, и я нарочно постаралась не опоздать к нему.

Мне довольно было неприятно входить в этот дом, потому что тут всегда так много народу. К тому же я четыре раза никак не могла сначала отыскать его и принуждена была разыскивать по всем четырем углам. Мне отворила Федосья, и я ей с улыбкой сказала: «Вот я опять к вам». Она помогла мне раздеться (она мне

давеча была ужасно как благодарна за те 20 копеек, которые я ей дала). Она пошла сказать, что я пришла. Я подождала с минуту в столовой и уж вошла вслед за нею. Он сидел за письменным столом. Я опять раскланялась и села на мое обыкновенное место у двери. Но он мне предложил переместиться за его письменный стол, сказав, что мне там будет гораздо удобнее писать, чем за маленьким столом. Я пересела; он же сел на мое место у двери и там начал разговаривать. Он снова спросил, как меня зовут, и захотел узнать, не родственница ли я тому писателю Сниткину, который недавно умер[41]. Я отвечала, что нет, что это однофамилец. Потом спросил, есть ли у меня отец и мать. Я отвечала, что отец мой умер в апреле этого года и что я по нему ношу траур, что у меня есть мать-старушка, сестра замужем за цензором и брат, который учится в Москве[42]. Потом спросил про мое воспитание, где я училась, давно ли занимаюсь стенографией, чем хочу выйти и пр. На все эти вопросы я отвечала очень просто и серьезно; вообще я держала себя очень сдержанно, хотела поставить себя на такую ногу, чтобы он не мог мне сказать ни одного лишнего слова, ни одной шутки. Мне казалось, что такое поведение было самое лучшее, потому что ведь я пришла работать, я вовсе не знакома, следовательно, зачем же пустые разговоры, гораздо лучше и приличней было держать себя серьезно; Федя впоследствии мне рассказывал, что он был истинно поражен, как я умела себя держать, как я отлично себя вела, так что в нем ни в <каком случае?> не могло <явиться?> ни одного вольного слова, так заставил молчать мой хороший серьезный тон; я, кажется, даже ни разу не засмеялась; Федя говорил мне, что это умение держать себя ему очень понравилось, что умение поставить себя сразу в почтительные отношения; он же привык так много раз видеть нигилисток и, вероятно, ожидал, что и я буду такая. Когда мы разговаривали, Федосья приготовила в другой комнате чай, внесла его к нам и подала по целой булке. Принесла на блюдечке и лимон. Я стала пить. Тут Федя опять спросил, не хочу ли я курить, я отвечала, что никогда не курю. Потом он встал, подошел к окну, где у него в бумажном мешке лежали груши, вынул их две и просто из рук подал мне одну. Мне показалось это несколько странным, такая бесцеремонность, ведь мог бы он положить ее хотя бы на тарелку. Я преспокойно взяла и без всякой церемонии съела.

Он начал рассказывать про себя, говорил о том, как он четверть часа стоял под боязнью смертной казни и как ему оставалось жить только пять минут, наконец он доживал минуты, и как ему казалось, что не пять минут осталось, а целых пять лет, пять веков, так ему было еще <долго?> жить. Разделены они были на три разряда по трое, он был во втором ряду; первых уже подвели к столбу, одели в рубашки, через минуту они были бы расстреляны, а затем была бы и его очередь. Как он желал жить, Господи Боже мой! Как ему казалась долгой жизнь, сколько доброго и хорошего можно сделать; тут припомнилась вся прежняя жизнь, ее не совсем хорошие употребления, и так захотелось все испытать, так захотелось еще пожить много, много. Но вдруг послышался отбой, тут он ободрился. Затем троих приговоренных отвязали и всем прочитали смягчение приговора, его же на четыре года в каторгу в Омск. Как он был счастлив в тот день, он такого и не запомнит другого раза. Он все ходил по каземату (в Алексеевском равелине) и громко пел, все пел. Так он был рад дарованной жизни. Потом допустили прийти брата проститься[43] и накануне Рождества Христова отправили в <Сибирь?>. У Феди сохранилось письмо, написанное в тот день, в день прочтения приговора, к брату Мише[44] (он его недавно достал от своего племянника). Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен. Казалось бы, этот такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал все с такими подробностями и так искренно и откровенно, что даже странно становилось смотреть. Мне же это ужасно как понравилось, эта доверенность и откровенность.

Мне несколько досадно было то, что он так долго не начинает мне диктовать; становилось поздно, а мне сегодня приходилось ехать домой, потому что маму я не видела с самого утра, а обещала между тем прийти сейчас после работы; к Сниткиным ночевать мне не хотелось идти. Мне даже хотелось об этом ему заметить, но наконец он сам предложил начать диктовать; я опять очинила свои карандаши (самое мое любимое занятие было очинка карандашей, и таким образом у меня руки были постоянно ужас<но> как гряз<ные>, все в грязи). Он ходил по комнате довольно быстро из одного угла в другой, от печки к двери, куря папиросы и быстро их меняя, окурки же бросал в папиросницу у меня на столе. Дикто-

вал он мне очень медленно, потому что диктовал изустно, так что у меня оставалось очень много времени, чтобы сидеть, ничего не делая, и смотреть на него или рассматривать что-нибудь в его комнате. Продиктовав немного, он предложил мне прочитать написанное и с первых его слов меня остановил. Вначале были слова «Мы были в Париже», или что-то вроде того. «Как в Париже? Разве я вам сказал: в Париже? Не может быть. Я вам сказал: в Рулетенбурге». Я отвечала, что мне сказали «в Париже», иначе с какой бы я стати это написала; он меня просил переправить.

В этот вечер он мне рассказал всю свою историю со Стелловским[45], какой это мошенник, как он не хотел ему уступить, какая ему решительная необходимость успеть написать роман к первому ноября непременно, а между тем, говорил, у меня решительно еще не составился план, что такое писать, я решительно не знаю, что это будет за роман; знаю только, что ему следует быть в 7 печатных листов Стелловского, а в каком это будет роде, решительно не знаю; потом мы очень много говорили о разных литераторах, например о Майкове, которого он называл как самого лучшего человека, как одного из прекраснейших людей и литераторов. Потом о Тургеневе, про которого он говорил, что тот живет за границей и решительно забыл Россию и русскую жизнь[46]. Потом про Некрасова, которого он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в колясках на рысаках, и вообще много-много говорили о различных литературных знаменитостях[47].

Когда пробило 11 часов, я сказала, что мне пора идти, он спросил, куда именно, где я живу, я отвечала: «На Песках», он отвечал, что никогда ему в жизни не приходилось там бывать, что решительно не знает, где это; но я сказала, что на этот раз я пойду ночевать к моим родственникам Сниткиным, которые живут очень недалеко отсюда. Он меня просил переписать продиктованное завтра к 12 часам. Я обещала непременно быть. Одела шляпу и вышла; когда мы выходили из его кабинета в столовую, то он меня ужасно как поразил своей бесцеремонностью: «Какой вы большой шиньон носите, разве не стыдно носить чужие волосы». Я этому ужасно как удивилась и сказала, что у меня решительно небольшой шиньон и что это мои собственные волосы. На этот раз он меня проводил до передней и сказал

Федосье посветить мне на лестнице. Когда я сходила, то спросила ее, как зовут барина, она отвечала: «Федор Михайлович». Я знала хорошо, что его зовут Федором, но не знала его отчества.

Было больше 11 часов, когда я вышла в Столярный переулок. Было ужасно как пуст<ынно>, проходили только разные пьяницы из рабочих, и мне было довольно страшно идти в этих местах. <...>

Четверг, 17 <октября> (5) <18> (66).

Встала я довольно рано, был хороший день, я напилась поскорее кофею и принялась писать, но оказалось, что письма гораздо больше, чем я думала, и потому я едва могла окончить переписывание к 11 часам, тем более что к нам приходили жильцы и все мне мешали. Так что вместо того, чтобы идти пешком, как я располагала, мне пришлось ехать на извозчике, и то, кажется, я опоздала на 20 минут. Когда я вошла к нему, он мне заметил, что думал, что я уж не приду к нему, потому что опоздала; я спросила, почему; он отвечал, что, может быть, работа показалась слишком трудной, невыполнимой, а потому и не явилась; а я как назло не знаю вашего адреса. Это многие так делают, и со мной бывало: возьмутся работать, а потом видят, что силы нет сделать, так и бросают. Я отвечала, что в этом случае непременно известила его, а не поставила бы его в ложное положение. Он взял принесенное мною и начал читать и поправлять, и тут заметил мне, что я не так написала, как было нужно мне это сделать. (Он мне дал бумагу, по которой обыкновенно пишет, с небольшими линейками.) Я села напротив него и стала читать газету, но потом спросила, не мешает ли ему шелест газеты; он отвечал: «Какая вы щепетильная».

Мы много разговаривали с ним; Федосья снова принесла кофей, потом я стала писать; диктовал он мне немного и снова просил прийти сегодня вечером. Хотя мне это было немного и неприятно, потому что ночью довольно страшно идти, но я отвечала, что приду, что же тут было делать; я в это время даже немного подосадовала на Ольхина, зачем он не условился с ним, когда приходить, а самой мне замечать было неловко. Мне было даже немного странно подумать, что неужели он сам не понимает, что приходить два раза в день очень затруднительно и что мне гораздо выгоднее было больше продиктовать, но зато только один раз прийти. (Вчера он

меня спросил, что это будет стоить, чтобы мы потом не стали спорить, чтобы мне не было обидно. Я отвечала, что так, как условлено с Ольхиным, т. е. 30 рублей, и что он может быть уверен, что я потом не стала бы спорить.) Просидела я у него, кажется, два часа и потом пошла к Сниткиным, у них обедала и просидела до вечера; у них же и переписала; Маша Сниткина читала начало и из него заключила, что роман наш никуда не годится; право, такая дура. Когда пробило 8 часов, я поспешно пошла, чтобы опять не опоздать. На этот раз пришла, кажется, пятью минутами раньше, так что даже похвасталась своей точностью. Его Федосья, кажется, должна была разбудить, потому что когда я пришла, то на диване у него лежала белая подушка и одеяло. На этот раз у нас было тоже больше разговоров, чем диктовки; положим, хотя мне эти разговоры и были приятны, но, право, было несколько досадно, зачем мы не диктуем и что у нас это дело так слабо подвигается. Опять при моем приходе принесли чай и он подал грушу, но сегодня я почему-то ее не съела. Он меня расспрашивал, почему я занимаюсь стенографией, разве я бедна, я отвечала, что у матери имеется два дома и мы получаем около двух тысяч, но есть и долги, а что если теперь у нас и есть чем жить, то, может быть, случится, в будущем того не будет, а следовательно, работать следует приняться заранее. Потом говорила ему, что хочу самостоятельности, потому-то и хочу работать.

Он мне много рассказывал про заграницу, про свои путешествия, как он играл на рулетке, как проигрался и как должен был заложить свой чемодан в Гомбурге. Потом спросил меня, хочу ли я ехать за границу. Я отвечала, что это мое самое задушевное желание и что я, может быть, даже и поеду. Он спросил, что же я хочу там смотреть; я отвечала, что природу, горы, наконец, произведения искусства, хочу поучиться. Он вдруг мне сказал: «Поедемте на будущее лето вместе за границу, я вот поеду, вы бы согласились ехать, вас бы отпустили?» Я отвечала, что я того решительно не знаю, отпустили бы меня или нет. Потом много разговаривали про разных литераторов, про свою прежнюю жизнь, и как-то зашел у нас разговор об имени Анна. Он сказал, что как-то ему случалось постоянно видеть, что Анны бывают нехороши; я отвечала: «Да, это правда, я сама знаю, что я нехороша собой». Он ужасно как удивился и сказал: «Неужели вы могли подумать, что я мог бы вам сказать,

что вы нехороши. Я совсем не то хотел сказать, я хотел сказать, что характером они бывают нехороши, холодные, скрытные, сдержанные и пр.». Он несколько раз повторил, что не понимает, как я могла подумать, что он способен прямо мне сказать, что я нехороша собой. Что меня опять поразило, так это его страшная откровенность со мной, его откровенные рассказы о своих несчастьях. Вот, думала я, какой это странный человек, он меня решительно не знает, а между тем как сильно откровенен; впрочем, мне это очень нравилось.

Пришла я к Сниткиным поздно, очень плутала по улицам и вышла на Канаву вместо того, чтобы выйти на Вознесенский проспект. У Сниткиных я сказала, что <он> велел меня проводить девушке, потому что иначе им бы показалось это странным, а ему сказала, что у моих родственников, которые живут на Фонтанке, ждет меня человек, который проводит меня до дому. У Сниткиных я много разговаривала про него, про его разговоры и рассказы, и они очень интересовались узнать о нем. Тогда я еще не знала, за что он был сослан, а Сниткины начали меня уверять, что он сослан был за убийство кого-то, а кажется, что за убийство своей жены[48]. Но не знаю, почему все время мне было ужасно как грустно: эта ли беспорядочная жизнь, т. е. что я очень часто и по целым дням не бываю дома, решительно не знаю, а это меня начало ужасно как тяготить. <...>

Пятница, 18 <октября> (6).

<...> Вечером читали «André»[49], какой это мне показался скучный роман, право, хотя Федя говорит, что это один из лучших ее романов, удивительно скучный; и, должно быть, причина этого заключается в том, что у меня на душе тоска и что мне жизнь не очень-то сладка, вот от того-то все это кажется дурно. Право, я только и желаю, хотя бы день сегодня прошел, думаю я, вот еще бы день, да только поскорей, пока какие-нибудь денежки придут и мы не станем так сильно нуждаться; потом напились чаю, вытопили печку, которая у нас очень нагрела комнату. <...>

Сегодня в кофейне он видел Огарева и собирался с ним <поговорить> насчет того, куда бы нам переехать. Тот сказал, что в Vevey, например, очень хорошо, и что туда бы можно, и что если мы хотим, то он может даже там кому-то написать, чтобы приискали квартиру. Федя сказал, что теперь он еще не думает переезжать, потому

что не при деньгах, а что разбогатеет через месяц. На это тот отвечал: «Ну, если уж переезжать, то следует переезжать теперь, не позже, потому что, вероятно, квартиры возьмутся».

6 число <октября> 1866.

Сегодня я пошла к Феде стенографировать от Сниткиных и постаралась, так как это очень близко, то прийти в назначенное время, а не как прежде, опоздать на целый час. Когда я условливалась (я ходила всегда в черном шелковом платье), то он меня спросил: «А вы опять-таки в одном и том же платье?» Меня это ужас как удивило. (Вот странный вопрос, подумала я, а почему он знает, может быть, у меня только одно это платье и есть.) Я спросила, что ему кажется странным. Он сказал: «Да вы все приходите в шелковом, я думал, что вы наденете попроще». Я отвечала, что это мое обыкновенное платье, что я его всегда ношу.

— А вы ведь меня вчера обидели, — сказал он.

— Чем это?

— Да я дал вам грушу, а вы ее не съели; зато я ее съел и сегодня вам не дам.

Я отвечала, что сделала это, вовсе не желая его обидеть, а просто потому, что забыла съесть ее. Пока он поправлял, я просила позволенья посмотреть его карточки и села к столу и стала рассматривать, но, чтобы ему не помешать, старалась сидеть очень смирно. В этот раз он меня выбранил за то, что я забыла поставить на одном листочке №. Сначала сказал, что это забывать нельзя, а потом понес разную чепуху насчет того, что женщина ни на что не способна, что женщина не может нигде служить, ничем заниматься, хлеб себе зарабатывать, что она вечно испортит и пр. и пр., так что мне под конец даже стало это несколько обидно, его бесцеремонность, и я даже одну минуту подумала: «Нет, зарабатывать хлеб тоже иногда приходится горько, когда начинают говорить такие неприятности, и это даже один из лучших людей, а что будет у других, менее развитых людей. Нет, уж лучше выйти за кого-нибудь замуж, чтобы не подвергаться этим неприятностям». Наконец он кончил, а во мне осталось ужасно какое неприятное впечатление, какая-то незаслуженная обида, несправедливость. Потом он меня спросил, не хочу ли я получить от него теперь деньги, что, может быть, мне теперь они нужны, а что потом, пожалуй, у него и у самого их не

будет. Я отвечала, что покамест мне не надо, потому что ведь я могу же обмануть его, и что я никогда не беру заранее за то, что еще не сделала. <...>

8 октября 1866.

Я помню, в этот день я была утром по обыкновению у Феди, и так как уж два дня не случалось приходить вечером, то на этот раз нельзя было ничем отговориться и я обещала непременно прийти, чтобы диктовать. Утром от него я отправилась к Сниткиным, у которых осталась обедать, а после обеда принялась писать, чтобы вечером отнести продиктованное. <...> Когда пробило 8 часов, отправилась к Феде. В комнате у него было полутемно по обыкновению, потому что две свечи, стоявшие на его письменном столе, не могли вполне осветить ярко всей комнаты; но мне по вечерам эта комната удивительно как-то нравилась, или потому это было, что уж и Федя начинал мне тогда нравиться и мне было <всегда?> приятно говорить с ним. Он сидел за письменным столом и тотчас встал, когда я вошла; я села на свое обыкновенное место за его стол, а он поместился напротив меня, и мы начали разговаривать. В этот вечер диктовали мы очень мало, а все больше говорили, и все о разных, разнообразных предметах; опять были рассказы о загранице, о разных наших литераторах, бранил он Петра Великого, которого просто считал своим врагом, и теперь винил его в том, что он ввел иностранные обычаи и истребил народность. Потом толковали о том, что у него в жизни будет три случая: или он поедет на Восток, или женится, или же, наконец, поедет на рулетку и сделается игроком. Я сказала, что если уж что выбирать, то, конечно, пусть женится.

— А вы думаете, что я не могу еще жениться? Вы думаете, что за меня никто не пойдет?

Я отвечала, что этого решительно не думаю, а скорее думаю, что решительно напротив.

— Скажите же, какую же выбрать: умную или добрую?

Я отвечала, что возьмите умную.

— Нет, если уж взять, то возьму добрую, чтобы любила меня.

Опять много очень расспрашивал про меня, про мою семью и очень часто во всю эту неделю повторял разные вопросы, на которые я ему уж несколько раз отвечала, но так как у него очень плохая память, то он скоро это забыл и потом снова меня спрашивал. Рассказал о своих

долгах, о неблагодарности семейства своего брата, как оно рассказывает, что будто бы дядя промотал их состояние, что у них было оно большое, а все пропало через дядю; как жених, дочь и мать собирали совет, желая отстранить его от дела, а когда он сам отстранился, то мать же пришла просить, чтобы он ее не оставил, а опять начал бы помогать, как это было и прежде. Говорил, что он после смерти брата начал один издавать журнал и положил на него 10 тысяч рублей, которые взял от тетки, назначенные ему по завещанию, а когда журнал не пошел, то деньги его лопнули и ему пришлось еще взять на себя ужасно много журнального долга и долга его брата[50]. Что в 63-м году, когда он принужден был заключить этот контракт с Стелловским (по которому он и обязался написать этот роман), то из полученных за это трех тысяч отдал за долги две тысячи, потом в продолжение зимы отдал еще долг на 1000 рублей, а теперь еще осталось у него тысяч на десять долгу; но именно из них он намерен сделать <нрзбр.> 2-е издание своего нового романа «Преступление и наказание», рассказал он про Корвин-Круковскую[51], говорил, что это очень прекрасная девушка, что она недавно уехала, теперь за границей, и он недавно получил от нее письмо. Рассказал о Москве, о своих многих родственниках, о Сонечке, Мусиньке, Юлиньке и о Елене Павловне, которую он представил за ужасную страдалицу и за удивительно нежную и добрую и <умную?> (потом, когда мне пришлось увидеть ее, она мне вовсе не показалась такой, так что я решительно думаю, что он это придумал)[52]. Рассказывал про каторгу, про Петропавловскую крепость, про то, как он переговаривался с другим<и> заключенным<и> через стенку, и про очень, очень многое. Тут он мне в первый раз сказал, что он был женат и что жена его умерла, что она была страшная ревнивица, и показал мне ее портрет. Право, она мне очень не понравилась, какая-то старая, страшная, почти мертвая. Правда, он говорил, что она снималась за год до своей смерти и потому такая страшная. Мне она ужасно как не понравилась, и мне по первому взгляду показалось, что, должно быть, она очень злая была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив. Но в это время говорит о своих изменах ей; если бы уж любил ее, то ничего не стал бы изменять, а что это за любовь, когда при ней возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких.

Вечер для меня прошел удивительно как приятно, так что, мне кажется, он останется навсегда в моей памяти, как один из самых лучших и хороших дней в моей жизни. Диктовали мы действительно уж слишком мало, а все больше толковали так дружно, так хорошо, что мне просто уходить не хотелось. <...>

9 октября прошлого года.

<...> Хотя я и обещала Феде быть к нему сегодня, но так как было уже 5 часов, я была ужасно уставши, то я и решилась на этот раз не ходить; мне так хотелось посидеть и поговорить с мамой, поговорить о нем. Не знаю почему, но мне казалось, что он на мне непременно женится, я даже почему-то боялась, чтобы он даже вчера мне не сделал предложения, таким он мне показался странным; я не знаю, как бы я тогда на это и ответила, мне кажется, я бы сказала, что слишком мало его знаю, чтобы выйти замуж, но что пусть он даст пройти несколько времени и когда я его несколько узнаю, то, может быть, и пойду за него. Какой я тогда провела вечер с милой мамочкой, как она мне была рада и как я была рада ей, Господи Боже мой, и теперь припомнить, так как-то радостно на душе станет. <...>

Четверг, 24 <октября> (12).

<...> Когда мы шли с почты, нам попался Огарев. Мы уже давно собирались спросить у него русских книг, но Федя как-то все забывал, я сегодня и спросила. Он отвечал, что с удовольствием даст, кое-какие там выберет, что непременно даст. Вчера когда Федя его видел там с каким-то поляком в кофейной, то как-то заговорил о своем романе. «Какой такой роман?» — спросил Огарев. <...> Он просил Федю принести ему его роман, и Федя принес ему сегодня в кофейную 1-ю часть [53]. <...>

Пятница, 25 <октября> (13).

<...> Часа в три пошли обедать, и когда шли, то разговаривали о том, как Федя опять хочет ехать попытать счастья. Я сказала ему на этот раз, что я бы вовсе этого не желала, что прежде я всегда хотела и одобряла это, а теперь говорю, что все это пустяки и что ехать решительно не следует. Это значит, что к огромному числу золотых, похороненных там, положить еще 100 или больше франков, к чему это? Ведь это решено, что нам выиграть решительно невозможно, не такого

мы характера, нам необходимо нужно иметь тысячи, а никогда мы не будем довольны двумя- или тремястами франков. Федя отвечал, что, несмотря на это, он непременно поедет, потому что хочет еще раз попытать счастья. Он говорит, что если будет хорошая погода, то можно будет и мне ехать, что это будет стоить только 20 франками лишних, т. е. за мой проезд. Но что он мне даст 20 франков золотом, пусть я их разменяю на двухфранковики и начну играть и, вероятно, выиграю то, что проезжу. Решительно тем, что он хочет меня взять с собой, он хочет меня задобрить, чтобы я согласилась и не говорила, что дурно, что он едет. Может быть, это так и будет, потому что ведь если я теперь не поеду, то я всех мест и не увижу, ведь когда же мы иначе соберемся отправиться в Chillon и в те места. <...> Придя домой, я сейчас села за письмо к Вере Михайловне и Сонечке[54] и думала его дописать, когда пришел Федя и позвал гулять, сказав, что одному скучно. Он принес стихотворения Огарева[55], который видел его в кофейной и дал ему эту книгу; а насчет других книг обещал непременно к нам прислать. Он говорил, что прочел половину романа и, как кажется, он ему очень понравился. <...> Весь вечер мы с Федей были ужасно как дружны, под вечер я заснула: мне обыкновенно бывает ужасно как приятно поспать в это время, когда он садится работать перед чаем, свеча горит на столе, или я ее потушу и сплю. Это до того приятно, что, право, пробуждаться не хочется. Он был ко мне очень ласков, и когда я стала ложиться спать, то мы как-то заговорили о Сонечке или Мише. Он мне сказал и говорил, что это искренно, что будет рад появлению как одного, так и другого, что появление Миши совершенно его утешит, уж не менее Сонечки. Потом он говорил, что я славная, говорил, что любит меня ужасно, очень, очень, а боится только, чтобы я его не разлюбила, говорил, что я его живой ангел. Я тоже была чрезвычайно ласкова с ним, я ведь очень его люблю. Видела во сне сегодня всю ночь Майкова, но какого-то чрезвычайно грозного, будто бы меня за что-то карающего; потом видела, что Яновский прислал нам деньги. Вот это уж очень дурной знак, вероятнее всего, как говорит Федя, что он нам откажет[56]. Господи! Как это будет ужасно, право, чем мы тогда будем жить, особенно если и Катков решительно ничего не пришлет? Ведь это значит, мы просто погибли, нас тогда уж никто не выручит. Мне

даже и подумать об этом страшно. Господи, помоги нам, дай нам возможность как-нибудь поправиться, встать на ноги. <...>

Прошлый 1866 год.

Я не помню хорошенько, как прошла эта неделя; я каждый день ходила к нему, но уж только по одним утрам, а от вечеров отказалась, да и ему самому надо было работать вечером. Приходила я с большим удовольствием, но почему-то вечно опаздывала, так что приходила не в двенадцать, а в час и даже в два и сидела у него до четырех, так что после меня он тотчас собирался ехать обедать. Сначала, когда я приходила, то он принимался перечитывать принесенное мной, я в это время брала кофей (очень густой, и мне почти никогда не нравился) и потом читала его газеты; но потом он перестал перечитывать, а сначала мы долго говорили, а потом уж принимались за диктовку.

Он каждый день меня допрашивал, как я думаю, успеем ли мы кончить к первому ноябрю. Я его успокаивала, что нам еще много остается и что кончить, разумеется, непременно успеем; мы тогда пересчитали, сколько у нас написано листков, и ужасно радовались, когда число их прибавлялось. Мы очень много говорили между собой, он мне рассказывал про свою жизнь и про житье в Москве, про Сонечку, про Елену Павловну, говорил, кого он прежде любил и пр. и пр. Мне было тогда чрезвычайно приятно его слушать, и я очень любила к нему приходить. Но не знаю почему, мне, когда я возвращалась домой, становилось удивительно как грустно, решительно я этого даже и понять не могу, и дома было отчего-то очень грустно. Мне и тогда уж казалось, что он мне непременно сделает предложение, и я решительно не знала, принять ли мне его или нет. Нравился он мне очень, но все-таки как-то пугала его раздражительность и его болезнь. Он очень часто кричал при мне на Федосью, которая его трепещет и, кажется, ужасно боится, но она здесь нерадива, ее почти никогда нет в передней, вечно у кого-нибудь в соседях, в лавочке, а в кухне оставляет свою дочку Клавдюшку. Впрочем, несмотря на свои очень нехорошие глаза, она, может быть, и хорошая женщина. Пашу я решительно почти не видела, он в кабинет не входил, а слышала иногда, как он там шаркает в передней. Я здесь всегда боялась, чтобы кто-нибудь к нему не пришел в это время. Пожалуй, кто-нибудь

и подумает, что я вовсе хожу не для диктовки. Но вот в это-то время у нас ни разу не было разговору ни о любви, ни одного нескромного слова. Он иногда меня называл голубчиком, доброй Анной Григорьевной, милочкой, но я принимала эти слова тогда очень равнодушно, даже как-то строго. Иногда мне он казался очень странным. Так, раз заметил мне, когда у меня была на голове Андреевой шляпка: «Какая у вас старомодная шляпа», — хотя это была совершенно новая и модная зимняя шляпа. Я отвечала, что он, вероятно, ничего в этом не понимает, а шляпа это модная. Потом как-то спросил меня, когда я надену зимний салоп; как это было странно, почему он знает, может быть, я так бедна, что у меня салопа и нет. Я отвечала, что не скоро и что я даже зимой салопа не ношу, потому что не люблю носить, а что это чрезвычайный груз. Спрашивал, отчего я не выхожу замуж, я отвечала, что потому, что еще никого не люблю, а хотела бы непременно выйти замуж по любви.

Как-то раз, когда мы сидели и диктовали, в наших дверях показался Майков, в шляпе и пальто. Вероятно, он не нашел Федосьи в кухне и вошел, чтобы узнать, дома ли Федя. Увидев меня, он ужасно как-то смутился. Я решительно не понимаю, может быть, он что-нибудь дурное и подумал. Федя тоже как-то ужасно сконфузился, я уж не знаю тоже почему; вероятно, тоже боялся, чтобы Майков что-нибудь про него не подумал. Майков уж хотел воротиться, как Федя пригласил его в комнату, представил ему меня; он сказал: «Вот это Анна Григорьевна Сниткина, стенографистка, а это Аполлон Николаевич Майков». Он и я протянули друг другу руки, и я сказала ему, что я очень рада его видеть и что уж знаю его по его произведениям. Он меня спросил, не родственник ли мне какой-то Сниткин, я отвечала, что нет. Потом они стали ходить по комнате в столовой, а я принялась переписывать. Майков хотел сейчас уйти, чтобы не помешать нам, но я ему сказала, что я могу в это время заняться перепиской и время для меня не пропадет. Они ходили эдак минут с пятнадцать, потом Майков опять вошел в комнату, чтобы проститься со мной. Вдруг ему вздумалось попросить Федю подиктовать мне, сказав, что для него это чрезвычайно любопытно видеть. Федя начал диктовать, я написала и тотчас прочитала написанное. Майков посмотрел, посмотрел, заметил, что вот он так тут ничего не прочитает. Потом подал мне руку, раскланялся и ушел. Я была рада его увидеть, потому что

никогда еще до сих пор этого не случалось. Федя как-то потом приосанивался; мне, право, было ужасно на него и досадно и смешно, что он так сконфузился, точно мы какое-то дурное дело делали. Федя говорил, что Майков про меня выразился очень хорошо, сказал, что нашел чрезвычайно хорошую девушку, что я правда ему очень понравилась, чрезвычайно хорошо умею держать себя, вообще я на него произвела хорошее впечатление. <...>

Воскресенье, 27 <октября> (15).

<...> Федя все эти дни называет меня *женой-мечтательницей,* говорил, что только и делаю, что мечтаю, спрашивает, зачем я все задумываюсь, и вообще очень беспокоится этим. Любит он меня очень, я это вижу, всегда меня укрывает, чтобы мне не было холодно; сегодня вечером он писал, когда я легла спать, я с ним и не простилась, он, услышав, что я легла, оставил писать и пришел проститься, упрекал меня, зачем я с ним не хотела проститься. Потом, когда я спала, я проснулась от того, что Федя стоял подле моей постели на *коленях* и много-много целовал меня. Как меня это поразило, мне было от того так хорошо; он с такой любовью стоял подле меня, просто я не знаю, как мне и выразить, как я счастлива. Говорил мне, что если я умру, то он будет очень плакать, что ничем не утешится. Говорил, что он счастлив со мной, что большего счастья ему и не нужно. Вообще, несмотря на недостаток денег, мы с ним живем очень и очень дружно, он меня любит, а я его так просто без памяти. Сегодня было восемь месяцев, как мы женаты, мы это вспомнили и решили, что мы очень хорошо живем друг с другом.

Понедельник, 28 <октября> (16).

<...> Вечером, когда Федя пришел из кофейной, он сказал, что кельнер кофейной предложил ему подождать, пока придет кто-то, кажется, Огарев, который принес книги и хочет Феде отдать их. Но Феде не хотелось ждать, и потому он ушел. Когда мы пошли вечером гулять, Федя опять заходил в кофейную, но там ему сказали, что Огарев уже ушел. Так как мне очень не хотелось заходить в библиотеку с ним, то я просила Федю зайти и взять для меня что-нибудь. Он взял «Эдинбургскую темницу» Walter Scott, потом еще «Les dames vertes» * Georges Sand. Когда я прочитала, то мне ночью,

---

* «Зеленых дам» (*фр.*).

когда я проснулась, представилось, что вся комната в каком-то зеленом свете. Вот как на меня теперь все действует.

Вторник, 29 <октября> (17).

<...> Он принес с собой четыре книги *«Былое и думы»,* которые получил от Огарева. <...>

28 октября 1866.

В этот день я тоже была у Феди, чтобы писать, мы в это время уже доканчивали нашу повесть и очень спешили, так что мне пришлось у него пробыть часов до четырех вечера, все диктуя. За все это время мы особенно с ним подружились, мы иногда, впрочем, не так много диктовали, как говорили, он мне рассказывал о своей жизни прежде, расспрашивал меня, как я живу, кто мне нравится, отчего я не иду замуж, мы много спорили, и я чрезвычайно как весело и счастливо проводила время. Он меня несколько раз называл голубчиком, милой Анной Григорьевной, а мне такие слова были донельзя приятны, и каждый раз, когда я приносила к нему несколько новых исписанных листков, он клал их в большую тетрадь на столе и спрашивал меня потом: «Как вы думаете, а мы поспеем или нет?» Я его уверяла, что, вероятно, поспеем, чтобы он только не горевал, что нам остается еще довольно дней и что, по моему мнению, мы наверно успеем все сделать. Как-то он мне сказал, что это будет ужасно как жаль, что после нам не придется больше нигде увидеться, потому что где же он меня увидит? Я отвечала: «Приезжайте к нам». Он отвечал, что очень рад, что я приглашаю его, и он непременно воспользуется случаем, чтобы приехать ко мне. Он сейчас спросил мой адрес и прибавил, что адрес тем более ему нужен, потому что я могу заболеть или что-нибудь со мной сделается и я не приду, а он между тем даже моего и адреса не знает. Я ему сказала, и он записал его в своей синей тетрадке. Сказал, что у него есть такая тетрадь для записывания адресов, но потому-то он в нее и не записывает, потому что она для того пред<на>зн<ачена>, этот адрес цел и до сих пор у него в синей книжке.

Я помню, он всегда один; когда я к нему приходила, то он иногда продолжал еще писать, но потом обыкновенно шел ко мне навстречу. Тут я стала замечать, что при моих быстрых и маленьких шажках, как он их называл, он вставал поскорей с места и встречал меня; иногда

я замечала, что у него кусок <яйца> на лице, когда я войду. Глаз у него начинал поправляться, но все еще по-прежнему был расширен, и при моем приходе он постоянно начинал мазать глаз кисточкой, как будто бы без меня того сделать не мог. Меня это ужасно забавляло. Он говорил, что по окончании романа обещал устроить обед для своих приятелей и что он думает, что я, вероятно, не откажусь также присутствовать на его обеде, и спросил, обедала ли я когда-нибудь в ресторане, я отвечала, что нет, но что, вероятно, буду у него. Сама же я решилась наверно не быть, потому что ведь в самом деле это было бы очень дурно, если бы я на это согласилась. <...>

Понедельник, 11 <ноября> (30 <октября>).

Сегодня день рождения Феди, хотя он это совершенно забыл. Я встала сегодня довольно рано для того, чтобы иметь время пойти и купить ему пирог. Я заметила, что он чрезвычайно как любит сладкий пирог за чаем вечером и потом утром за кофеем. Вот мне и хотелось теперь сделать ему этот небольшой подарок. Я забыла сказать, что в субботу я ходила в магазин, чтобы отыскать ему подарок, и выбрала бронзовую папиросницу в форме кадочки, не то чтобы уж важн<ая>, но вместе с тем довольно красив<ой> <золоченой?> бронзы, я думала, что такая вещь может стоить не больше четырех франков, но оказалось, что стоит девять, потому что. он уверял, что это золочение не парижское, которое скоро сходит, а венское, которое будто бы целый век продержится. Я все-таки выторговала у него один франк и отдала ему 8 франков. Было у меня еще намерение купить ему кашемиру на кашне, но так как я еще тогда не знала, получим ли мы деньги от Каткова или нет, то тратить деньги мне вовсе не хотелось, а то они бы вышли, а потом я бы и не знала, какие деньги дать под видом залога белья.<...>

Было довольно еще рано, когда я пришла в булочную купить пирог, он стоил один франк, небольшой, но свежий и чрезвычайно вкусный, облитый каким-то розовым веществом, булочница мне сказала, будто бы этот пирог есть произведение Женевы, но мне что-то не верится, вероятно, такой же пирог отличный можно найти и везде. Я успела прийти домой еще до того времени, пока Федя проснулся, потом в 10 часов я его разбудила, заварила кофей, и он встал. Встал он довольно весело, и когда сел за стол, то хотя и заметил пирог, но ничего мне не сказал,

а говорит, что подумал: «К чему это она так раскутилась, денег мало, а она пирог покупает». Тут я ему сказала, что разве он не знает, что он сегодня рожден, он сначала мне не поверил, а потом сказал, что ведь и в самом деле это так. Я сказала ему, что так как он мне недавно говорил, что в день рождения у него всегда был пирог с клубникой, то мне хотелось, чтобы и в этот день был у нас пирог. Он, кажется, с большим удовольствием ел его, потому что он действительно был вкусный. Стали мы рассчитывать, сколько ему теперь лет, родился он в 22-м году[57], следовательно, сорок пять, а он тогда в Москве, сердя Машеньку, говорил, что ему всего только сорок три года, та ужасно как на него сердится и бранит, зачем он себе уменьшает года. Так мы завтракали, я ему папиросницу не показала, а поставила ее на стол, чтобы он мог сам ее увидеть, потому что чт*о* мне было лезть с таким незначительным подарком вперед. Когда он начал зажигать печку, то зачем-то подошел к своему столу и, увидев папиросницу, сказал: «Что это такое? Это что значит?» Я отвечала, что это ему подарок. Он снял, стал смотреть, сказал, что это хотя не так хорошо сделано, но что все-таки очень хорошо, и в заключение поцеловал край папиросницы. «Где же ты взяла деньги, ведь это дорого стоит?» Я отвечала, что деньги прислала мне мама, еще 3 рубля исключительно на подарок, как я у нее и просила. «Ах ты подлая, ах ты п о д л а я , — продолжал он меня ругать , — ведь надо же было подарить». Вообще видно было, что ему было очень приятно, что я ему подарила. Мне вовсе не хотелось ничего не подарить ему, потому что он постоянно говорит, что ему в именины и рождения обыкновенно Марья Дмитриевна дарила разные вещи, ну а почему же я-то отстану от того обычая. Он несколько раз назвал меня подлой, но, разумеется, чрезвычайно ласково и добро. Вообще утро у нас прошло чрезвычайно дружно. <...>

31-е число прошлого года, понедельник.

В этот день я пришла последний раз и принесла Феде конец повести, продиктованной вчера, так что сегодня мы уж не диктовали, а только разговаривали. Он был еще любезней и милей со мной, чем всегда; когда я вошла, я видела, что он вдруг поднялся с места и даже краска показалась на его лице. Мне это показалось, что, значит, он меня любит, что, может быть, даже очень любит меня. Говорили мы с ним сегодня очень много. Я нарочно, не

знаю почему — кажется, что шла на именины, — надела свое лиловое шелковое платье, так что была очень недурна в этот день, и он нашел, что ко мне цвет платья удивительно как идет, это случилось в первый раз, что он видел меня не в черном платье.

Показал он мне сегодня письмо Корвин-Круковской, где она называла его другом своим. Потом показал мне портрет Сусловой. Она мне показалась удивительной красавицей, так что я сейчас это и выразила. Он отвечал, что она уж изменилась, потому что этому портрету лет шесть, не меньше, и что его просили назад, а он не хочет с ним расстаться и отдать его. Потом он меня расспрашивал, сватаются ли ко мне женихи и кто они такие, я ему сказала, что ко мне сватается один малоросс, и вдруг он начал с удивительным жаром мне говорить, что малороссы люди все больше дурные, что между ними очень редко когда случается хороший человек. Вообще видно было, что ему очень не хотелось, чтобы я вышла замуж. Потом я говорила про доктора, который ко мне сватается, и сказала, что, может быть, за него выйду замуж, потому что он меня любит, и хотя я его не так сильно люблю, но только уважаю, но все-таки думаю, что буду за ним счастлива.

Не помню хорошенько, в который раз Федя мне сказал, что как жаль, что вот скоро у нас работа кончится и тогда он меня никогда не увидит. Я ему сказала, что если он хочет, то я буду очень рада видеть его у нас. Он тогда поблагодарил меня за приглашение и сказал, что он непременно воспользуется этим случаем и придет к нам. Вот сегодня, так как это был уже последний раз, когда я к нему прихожу работать, то он и просил меня назначить, когда к нам приходить. Я сказала ему, чтобы он приходил к нам в четверг, хотела назначить раньше, но потом так и отложила до четверга, и он сказал, что непременно придет и будет даже с нетерпением ждать того дня. Вообще в этот день мне показалось, что Федя меня очень любит, с таким он жаром говорил со мной, видно было, что ему так хотелось со мной говорить.

Я сидела у него уж часа с два, как пришла Эмилия Федоровна, это было в первый раз, как я ее видела. Он представил меня ей, и, что меня сильно поразило, она как будто с каким-то презрением и с удивительной холодностью приняла меня, так что меня это просто даже обидело. Меня еще до сих пор никто не принимал так холодно и презрительно, как будто бы она делала мне честь, что удостаивала своего знакомства; меня просто это

рассердило, вероятно, она меня считала за какую-нибудь авантюристку, и мне это было ужасно обидно, так что она на меня произвела удивительно неприятное впечатление. Он начал с нею разговаривать о разных делах своих, рылся в бумагах и ничего не находил. Я забыла сказать, что сегодня ему вдруг пришло на мысль показать мне свой паспорт, чтобы я могла узнать, в каких науках он сделал самые большие успехи. Он долго еще отыскивал паспорт и ужасно удивлялся и твердил, что вот я потерял такую важную вещь, как мой паспорт, наконец нашел, и мы вместе с ним читали его, и я могла видеть, как много паук он произошел.

Прошло эдак с полчаса, я уже собиралась идти домой, как вошел Аполлон Николаевич Майков. Он вошел в комнату, раскланялся, но, видимо, не узнал меня, вероятно, потому, что я была в светлом платье. Он несколько раз прошелся по комнате и спросил у Феди, кончен ли роман; так как тот был занят в это время разговором с Эмилией Федоровной, то я отвечала, что мы вчера окончили и что я вот сегодня принесла окончание. Тут-то он меня припомнил и, поклонившись, извинился, что не узнал меня, сказав, что он ужасно как близорук, а следовательно, и не рассмотрел меня хорошенько. Он спросил моего мнения о романе, я сказала, что, по моему мнению, роман очень хороший. Я посидела еще несколько минут и потом поднялась, сказав Феде, что мне пора идти домой. Майков и Эмилия Федоровна остались в кабинете, а Федя пошел меня провожать. Когда я одевалась, он как-то уж очень страстно прощался со мной и завязал мой башлык. Он мне говорил: «Поедемте со мной за границу». Я отвечала, что нет, я поеду лучше в Малороссию. «Ну, так поедемте со мной в Малороссию». Я отвечала, что если поеду, то с малороссом, но, вероятно, лучше останусь в Песках. Он отвечал: «Да, действительно, Пески лучше». Тут он мне еще раз повторил, что непременно придет к нам в четверг и что ждет с нетерпением того дня. Очевидно, я ему очень тогда нравилась, и он был уж очень тогда страстный. Мне показалось, что <он> меня очень любит. Пока мы с ним с четверть часа разговаривали в передней, пришел Миша[58], племянник его, но я его видела только мельком, когда он прошел в комнату, и только впоследствии могла разглядеть несколько лучше.

Ушла я домой хотя счастливая, но поэтому-то ужасно грустная, до того грустная, что просто тоска берет припоминать это. Так грустно прошел весь этот конец дня,

что мне почему-то даже больно было припоминать, что вот он наконец придет к нам. Мне казалось, что когда он будет бывать у нас, ему будет скучно, ну кто может у нас его <занять>, и если у него теперь есть ко мне хоть небольшая любовь, то она исчезнет, а мне казалось, что я начинаю его любить, и потому мне было бы ужасно больно, если бы небольшая его привязанность ко мне совершенно исчезла. <...>

Пятница, 15 <ноября> (3).

<...> Вечер прошел у нас с Федей в разговорах о его будущей поездке в Саксон[59], и я сегодня намекала ему, что, может быть, можно было бы поездку и отложить, но, видимо, это уж ему не понравилось, и я уж настаивать на этом не стала, потому что он и так сегодня заметил, что вот если бы ему возможно было остаться в Саксон несколько дней, то, конечно, он стал бы выигрывать каждый день понемножку и в несколько дней у него было бы порядочное число денег. Смешно мне было его даже и слушать, потому что ведь вот в Бадене было так возможно поступить, так отчего там так проиграл, а выиграть ничего не могли. Все это пустяки, но отговаривать его не стану, потому что иначе скажет, что вот я служу ему помехой в том, что он может выиграть. Решено, что поедет послезавтра, а не завтра. Я было хотела попросить, чтобы он меня взял с собой, потому что мне ужасно бы хотелось посмотреть виды на Женевском озере, но так как это все-таки стоит не меньше 20 франков на одну меня, то я решилась отказать себе в этом удовольствии.

3 ноября 1866.

Эту ночь <...> я ночевала у Стоюниной и вот нарочно встала пораньше, чтобы поспеть поскорее домой. <...>

Дома я нашла маму в большой уборке, все было убрано и прибрано, потому что неприятная вообще наша квартира приняла очень хороший вид. Я разложила масло, яблоки и варенье на тарелки и стала с большим нетерпением дожидать вечера, когда он придет. <...> Прошло 6, 7 часов, а его все нет как нет, я переходила от одного окна к другому, смотрела в форточку, решительно никто не приезжал, так что мне под конец решительно пришло в голову, что, может быть, он или позабыл про свое обещание приехать, или потерял адрес. Так прошло, кажется, до половины восьмого, Я до такой степени была в волнении, так сильно устала, что прилегла на наше

кресло у окна и заснула. Не успела я хорошенько вздремнуть, как мама сказала, что какая-то линейка подъехала к дому и что это, вероятно, он приехал. Я сейчас вскочила с места, вытерла поскорей глаза, чтобы не казаться такой сонной, вышла в переднюю, но он все не шел, потому что прежде всего заходил спросить в лавочку, тут ли живут Сниткины. Наконец-то он приехал и, войдя в переднюю, начал снимать шинель и калоши. Первые мои слова были:

— Как это вы нашли нас?

— Вот странный *вопрос*, — сказал он *мне*, — просто я могу подумать, что вы очень недовольны, что я приехал, потому что сказали это таким тоном, как будто бы даже ожидали, что я не найду вас и не при<е>ду.

Он вошел в залу, и тут я познакомила его с мамой, он раскланялся, пожал руку и начал снимать очки. (В это время он ходил в очках, потому что глаз все не поправлялся, и ему было запрещено выходить на улицу без очков. Они к нему удивительно не шли, потому что совершенно скрывали глаза, а глаза у него хорошие, особенно хорошо выражение глаз, следовательно, скрывать их грех.) Я просила его садиться, и он начал свой рассказ о том, как он долго не мог нас найти, как он ездил решительно по всем улицам в околотке, везде спрашивал Костромскую улицу, и везде ему отвечали, что такой улицы здесь нет, так что он под конец начал думать, что не вздумала ли я ему дать неточный адрес, не желая, чтобы он пришел к нам. Я ему отвечала, что, во-первых, того бы ни за что не сделала, чтобы заставить человека проискать напрасно и потерять несколько часов, а во-вторых, я ужасно рада его видеть. Мама вышла хлопотать с чаем, потому что мне хотелось, чтобы он мог поскорей согреться. Сидели мы в зале против картины, которая изображает какой-то сельский вид и на первом плане <нрзбр.> <село>. «Откуда у вас эта картина?» — спросил он. Я отвечала, что эта картина у нас с незапамятных времен и что я помню ее с самого моего детства. Тогда он сказал, что точно такую картину он помнит у одной <госпожи>, у которой был в детстве вместе со своей матерью, а этому было уже лет тридцать. Потом, увидев рояль, он спросил: «А вы играете?» Я отвечала, что играю, но очень дурно и только для себя. «Сыграйте мне что-нибудь, хотя бы даже дурно». Мне не хотелось показаться перед ним чопорной, заставлять себя упрашивать, поэтому я села за рояль и сыграла не знаю что-то

такое, но на этот раз без ошибок. Он меня выслушал, сказал, что у него есть две племянницы, которые отлично как играют[60], и потом объявил мне, что играю я довольно плохо. «Право, какой он откровенный, — подумала я, — хотя бы скрыл свое мнение, ведь я могла бы даже и обидеться, когда так откровенно говорят, что я дурно играю».

Потом мама нас позвала в другую комнату пить чай. Стол был накрыт, и я села разливать чай, кажется, в первый раз. Он сначала не хотел сесть в кресло, но я усадила его, говоря, что там гораздо мягче. За чаем мы много разговаривали о разных разностях, он мне рассказал, как он привез нашу рукопись к надзирателю и сдал под расписку, потому что отдать прямо Стелловскому в руки не пришлось[61]. Потом рассказал, где был, что делал в эту неделю. Говорил, что был недавно, кажется во вторник, у Милюкова, своего знакомого, и там был один господин, который вздумал читать свою повесть, но так монотонно и скучно читал, что решительно никто не мог вынести его чтение и что под конец Федя предложил заменить его, начал читать, но автор остался недовольным его чтением и сам принялся читать самым похоронным тоном. Потом много рассказ<ыва>л о заграничной жизни, говорил с мамой, которой он очень понравился. Потом он сказал мне, что без меня скучал это время, и говорил, что нам непременно следует работать, потому что без меня он никак не может написать своего «Преступления и наказания» 3-ю часть, так как для него переписка решительно запрещена.

Когда мама вышла из комнаты, он просил меня прийти к нему в гости, просто в гости, я отвечала, что, может быть, и приду к нему условиться о работе. Я ему сказала, как я провела всю неделю. Потом он смотрел мои книги и просил меня прочитать ему стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», желая знать, как я читаю. Я просила его избавить меня от чтения, он настаивал, но так как я ужасно дурно читаю, то я решительно отказалась и как-то сумела свести разговор на другой предмет, и чтение было оставлено до другого раза.

Когда мама вышла, я сказала ему:

— А знаете, что я такое сделала, ко мне обещала прийти одна моя знакомая, а я сказала ей, что вы у нас вчера были и что сегодня не будете, только для того, чтобы она ко мне не приходила.

— Для чего вы это сделали? — спросил он.

— Потому что я боялась, чтобы она на вас не произвела слишком хорошего впечатления, а мне этого бы вовсе не хотелось.

Это ему ужасно понравилось, показало ему, что он мне нравится. Потом он мне рассказал о своей двоюродной сестре, которая сгорела[62], и еще несколько рассказал.

Просидел он у нас, кажется, часов до девяти. Наконец поднялся, чтобы уходить. У него был нанят извозчик на весь вечер, потому что он боялся не найти от нас дорогу. Наконец мы распрощались, я обещала когда-нибудь прийти к нему, он дружески простился с мамой и ушел. <...>

Суббота, 16 <ноября> (4).

Как я уже сказала, поездка Феди отложена до завтра[63], но это, право, жаль, потому что погода сегодня восхитительная и, вероятно, виды по дороге прелестные, а почему знать, может быть, именно завтра будет прескверная погода. <...> Потом я уложила ему в саквояж все вещи, нужные для него в дороге, взяли мы из библиотеки книги, я взяла себе «Uscoque» Жорж Занд, а он «Процесс <об убийстве герцогини?> Praslin»[64]. Федя мне сказал, что он решительно обдумал и решил, что больше как до вторника ни за что не останется, что бы там ни было, потому что уверен, что станет ужасно как беспокоиться о мне и думать, что со мной и невесть что случилось. Вообще мы с ним были большие друзья в этот вечер и в весь день. <...>

Воскресенье, 17 <ноября> (5).

Наша старушка по нашей просьбе постучала нам в дверь в 7 часов утра, и мы тотчас встали и оделись, я тоже, потому что пойду Федю провожать. Когда он одевался, ему все как-то не удавалось, так что он ужасно как бранился и призывал чертей. Даже наша старушка, которая всегда удивительно как скоро делает нам кофей, и та сегодня что-то замешкалась, так что утро у нас было ужасно какое бурное. Наконец мы собрались и, кажется, в половине девятого вышли и через десять минут пришли на железную дорогу. <...> Мы скоро распрощались с Федей, и он отправился садиться в вагон, а я вышла на двор смотреть, как пойдет поезд, так, чтобы и Федя мог меня видеть. День сегодня великолепный, просто чудо, так что я просто завидовала Феде:

ему придется видеть прелестные виды во всю дорогу, право, счастливый он, а я-то решительно ничего не видела, ничего не знаю. Через пять минут поезд пошел, и Федя мне раскланивался долго из окна вагона. <...>

Понедельник, 18 <ноября> (6).

Сегодня я встала довольно рано и тотчас принялась за шитье, мне хотелось, чтобы, если бы Федя приехал даже и сегодня, пальто было бы готово, если не все, то хотя бы наполовину. Но когда я посмотрела на пальто, то оно оказалось до такой степени грязное, что решительно не стоило ставить его на подкладку; вычистить же не было никакой возможности. Мне пришло в голову отдать его в стирку, но, во-первых, это заняло бы время, а во-вторых, главное, надо было бы непременно заплатить франка два, а у нас франков-то ведь ужасно мало. Вот я и решилась, несмотря на то, что мало силы, выстирать его пальто. <...> На почте я получила письмо от Феди[65], он извещал, что только что приехал, сходил на рулетку, сначала все было проиграл, но потом как-то отыгрался и даже выиграл лишних 100 франков, хотел было их послать мне, да подумал, что мало, а что если у него будет хотя еще сто, то непременно пришлет мне. «Ну, — подумала я, — это все пустяки, больше ничего, ничего ты, батюшка, мне не пришлешь, это известное дело». Потом я пришла домой, пообедала и опять принялась за шитье, так что пальто сильно подвинулось. Потом, после 5 часов, видя, что Федя не приехал, я понесла на почту мое письмо к нему на тот случай, если бы ему случилось там остаться, то чтобы он не был в беспокойстве, что такое со мной. Спросила там, нет ли письма, отвечали, что нет. <...>

6 ноября 1866.

<...> Было эдак часа два, и я сидела в зале и играла, несмотря на страшный холод, на рояле, и вдруг мама прибежала мне сказать, что приехал Федор Михайлович. Я выбежала поскорей в переднюю и увидела, что он входит в дверь. Он несколько времени стоял у двери, не зная, как быть, потому что казачка не заметил. (Припоминаю теперь, что у меня были на ногах прескверные башмаки и я быстро побежала их переменить.) Я раскланялась с Федором Михайловичем и сначала увела его в зал<у>. Когда мы входили в нее, он мне сказал:

— Знаете, что я такое сделал?

— Что такое? — спросила я.

— Да я вот был у вас в четверг, да и сегодня приехал.

— Ну, это решительно *ничего*, — отвечала я. — Я опять очень рада, что вы приехали.

— Но ведь это неловко, бывать так часто, что из того можно много вывести.

Я отвечала, что мы люди простые и это решительно ничего не может значить в глазах наших. В зале было уж слишком холодно, чтобы сидеть, мы просили его в столовую, и там мы уселись, я у окна, закутавшись в башлык, а он у стола. Хотя я несколько обрадовалась его приходу, но, не знаю почему, меня это очень смутило, и я решительно не знала, что такое говорить с ним, как его занять. (Вообще надо заметить, что я почти совсем не умею разговаривать днем, вечером у меня всегда является большая живость и большое желание разговаривать.) Так у нас очень не вязался разговор, и, как мне казалось, я ему в этот день решительно не нравилась, и это очень возможно, потому что я была страшно неловка и страшно как-то путалась в разговорах. Между прочим, он мне сказал, что нам непременно следует опять начать писать, я отвечала, что я еще решительно не знаю, позволит ли Ольхин мне принять эту работу, так как он мне ее доставил. Тот отвечал, что ведь это скорее зависит от него, потому что если он уж привык ко мне, то зачем переменять, но что совсем другое дело, если я сама того не хочу, тогда нечего и говорить. Потом он мне сказал, что он говорил с одной дамой и спросил ее, что значит, если девушка нарочно постаралась сделать так, чтобы другая не могла прийти, дама отвечала, что это доказывает, что мне был дорог он и что вообще это очень много значит. Потом рассказал, что когда рассказал Милюкову, что был у нас, то Милюков сказал: «Ну, вот видите: значит, вы должны быть мне благодарны, что вы с нею познакомились, вот вы теперь к ним и ездите». Но как я уж сказала, разговор наш очень не вязался, я ему, видимо, в этот день не нравилась. В комнате у нас было страшно холодно, и он это сильно ощущал.

Когда он меня спросил, как я думаю провести этот день, я отвечала, что должна отправиться сегодня на обед к моей родственнице, спросил, в какую сторону, и когда узнал, что в Коломну, то предложил меня довезти. Сначала мне не хотелось ехать с ним, потому что что могли сказать наши жильцы, но потом, чтобы как-

нибудь переменить его о мне мнение, я согласилась, он предложил мне одеться, и я просила его выбрать, какое мне надеть платье, потом довольно быстро оделась и вышла к нему, а он все ходил по комнате и повторял: «Как у вас холодно, как у вас холодно». Наконец мы распрощались с мамой и вышли. Он и на этот раз взял извозчика, должно быть, на все время. Это ему очень дорого стоило, потому что извозчик был рысак и стоил, кажется, полтора или два рубля. Мы сели, и лошадь очень быстро помчалась. Когда мы проехали наш переулок, Феде вздумалось поддержать меня, хотя мне это было и не совсем приятно, потому что он несколько раз меня сильно к себе притянул. Дорогой он меня расспрашивал, что со мной, что я такая нелюбезная и сумрачная и все прячусь в башлык. Он мне говорил, что все утро сегодня думал, ехать ли ко мне или нет, решил, что ехать ужасно рано и неловко, что решительно не поедет, вышел из дому с твердым намерением не быть у нас, но, выйдя, тотчас нанял извозчика и приехал к нам. Я отвечала, что очень хорошо это сделал. Когда мы проезжали Песками, то Федя мне говорил, что никогда еще не бывал в этих местах, и сказал, что тут где-то недалеко живет Краевский, я отвечала, что Краевский живет вот в этой улице.

«И все-то она знает», — говорил он, прижимая меня к себе. Мне, наконец, сделалось несколько досадно на него, и я ему сказала, что пусть он меня не придерживает, потому что я, вероятно, не свалюсь. <...> Мне вовсе не хотелось, чтобы у нас были с ним короткие отношения, тем более что если бы мне потом пришлось ходить к нему писать, то всего лучше было бы сохранить прежние чрезвычайно строгие и почтительные отношения, в которые я с первого раза поставила. Слова мои его ужасно обидели, он быстро выдернул свою руку и отвернулся от меня. Я, желая переменить разговор, сказала ему, что вот дом Краевского, но он ничего не отвечал, а говорил, что желал бы, чтобы я вывалилась из саней за мое упорство. Потом он был опять ласков со мной и спросил, как меня зовут уменьшительным именем, когда я сказала, то он отвечал, что имя Анна ему не нравится, а что он когда-нибудь будет меня называть *Аня,* Анечка. Потом он меня очень просил непременно прийти к нему во вторник, сначала я не хотела, но так как мне вовсе не хотелось, чтобы он снова так неожиданно приехал, как в этот раз, и так как у него дома я чувствовала себя гораздо свободней, чем у нас, как-то легче

говорилось, то я ему и обещала, он меня довез до Кокушкина моста и хотел везти дальше, но я просила меня высадить и не согласилась, чтобы он меня проводил до Александры Павловны[66]. На мосту мы простились, он очень страстно, и просил меня дать честное слово, что я непременно при<е>ду к нему во вторник. Так мы расстались. <...> Дома мне было очень тоскливо, мне казалось, что или я ему совершенно теперь не нравлюсь, или все-таки у нас будет свадьба. Вообще на меня этот день произвел ужасно тягостное впечатление, хотя я теперь все-таки припоминаю его с нео(быкновенны)м удовольствием.

Вторник, 19 <ноября> (7).

Сегодня я встала опять очень рано, чтобы докончить Федино пальто, но потом видела, что уже часов девять, и, не зная хорошенько, в котором часу приходит машина, я оставила пальто, как оно было, и отправилась на железную дорогу встретить его. Какой-то поезд только что пришел, и я, не видя в числе прибывших Федю, уже заключила, что его не будет, но мне как-то вздумалось спросить у носильщика, в котором часу приходит поезд из Сион, и мне отвечал, что еще придет через час <...> но Федя не приехал, и я с машины пошла на почту, вполне уверенная, что непременно получу от него письмо с просьбой о высылке денег и с извещением, что все проиграл и без денег приехать домой не может. Право, я удивительная угад<ывательн>ица: как я себе сказала, так и случилось. Письмо, по обыкновению, было отчаянное, говорилось, что это в последний раз, что теперь все будет лучше, что он заслужит мое уважение и пр. и пр., и в заключение просилось прислать теперь же, не теряя времени, 50 франков для выезда, причем он писал, что все-таки ему приехать раньше четверга нельзя[67]. <...>

Среда, 20 <ноября> (8).

Я встала довольно рано и отправилась на почту, чтобы получить от Феди письмо, и, действительно, получила, он опять повторяет свою просьбу о присылке денег[68]. На <вокзал?> я уж не пошла, вполне уверенная, что сегодня никоим образом приехать не может. На почте я получила письмо с утешением, с просьбой не печалиться, он говорил, что все хорошо устроится и что, следовательно, горевать особенно нечего. Право, я не особенно и горевала, я так это приняла философски хладнокровно,

потому что того ожидала и заранее приучила себя к мысли, что все будет проиграно. Потом я опять принялась за шитье его пальто, хотя не очень торопилась, так как мне оставалась еще целая половина суток. Потом пообедала и читала какую-то книгу.

Было около 7 часов, и я только что собиралась идти на почту, думая, не пришлет ли он еще письмо, как услышала свисток, который здесь означает пожар и служит для того, чтобы собрать пожарных граждан. Я подошла к окну и несколько времени стояла, потом пошла, чтобы одеть пальто, как вдруг послышался звонок и быстрые Федины шаги в коридоре. Я бросилась к дверям и страшно обрадовалась, увидев Федю. Он меня выбранил, зачем я сейчас стояла у окна, он делал мне различные знаки, кланялся, а я ничем ему не ответила. А на самом деле я решительно никого и не видела и его не приметила. Несмотря на то что я была очень спокойна и очень терпеливо дожидалась его приезда, я была ужасно как рада и просто от радости бегала по комнате. Федя был тоже очень рад. <...>

Четверг, 28 <ноября> (16).

Федя видел Огарева и просил у него денег, хотел спросить 300 франков, но тот даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме; наконец сказал, что, может быть, даст франков шестьдесят, но не раньше как послезавтра, да и то не наверно, так что, может быть, даже и не принесет. <...>

Суббота, 30 <ноября> (18).

<...> Вечером был у нас Огарев; Феди не было дома, так он со мной сидел и много разговаривал о разных разностях. Потом пришел Федя и затопил печь. Огарев дал ему 60 франков. Мы обещали воротить через две недели. <...>

Воскресенье, 22 декабря (10).

<...> Начал диктовать новый роман, старый брошен[69].

В. В. ТИМОФЕЕВА (О. ПОЧИНКОВСКАЯ)

ГОД РАБОТЫ С ЗНАМЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ

(Посвящается памяти Федора Михайловича Достоевского)

...Не вдруг мы поняли его,
Но он учить не тяготился
И с нами братски поделился
Богатством сердца своего...

Некрасов. «Несчастные» [1]

На мою долю когда-то выпало редкое счастье — в течение целого года не только часто видеть и слышать Федора Михайловича Достоевского, но и работать с ним вместе за одним и тем же столом, при свете одной и той же типографской лампы. Мне довелось не только читать в двух корректурах «Дневник писателя» 1873 года, но иногда *присутствовать* при самом его воспроизведении, так как многие страницы этого «Дневника» писались при мне, в разговорах со мною...

Бывают воспоминания, которые, как талисман, предохраняют душу от охлаждения, зачерствения, измельчания и отчаяния. Таковы мои воспоминания об этой поре моей совместной работы с Федором Михайловичем. В течение многих лет хранила я эти воспоминания в их полной неприкосновенности, но от предания их гласности меня удерживала до сих пор чистосердечная неуверенность, что я сумею это сделать *как следует.* В этом я не уверена и теперь. Но там, где недостает, быть может, искусства, сохранилась все-таки *правда,* а ведь в ней-то вся суть.

I

«Двадцатого декабря (1872 года) я узнал, что уже всё решено и что я редактор «Гражданина» — так начинает Федор Михайлович свое «Вступление» («Дневник писателя» 1873 г.).

И в тот же самый день, вечером, я увидала его впервые в типографии Траншеля, где я читала тогда корректуру этого журнала [2].

Как сейчас помню я этот вечер!

Это было воскресенье, канун выхода нумера, и я держала последние корректуры, с трудом следя за смыслом их содержания. В самую эту ночь умерла моя мать, в страшных муках, и мне все еще виделась эта бессонная ночь в гинекологическом отделении у Красовского, на Надеждинской, — картина предсмертных страданий, священник, читавший отходную, толпа любопытных больных и сиделок со свечами в руках, последние слова и благословения умирающей и... мое полное одиночество в едва знакомом мне, чужом Петербурге... Не до статей «Гражданина» мне тогда было. Но я считала нечестным *манкировать* и старалась их понимать.

В конторе я сидела одна, как всегда в воскресенье. Машины, наборные — все это было далеко, за несколько комнат. Кругом меня была — или мне так казалось — тишина, как в могиле. За окнами и в трубах выла метель. Хлопья мокрого снега по временам ударяли в темные стекла. В конторе было и сыро и холодно. Лампа тускло освещала одно только бюро между окон, за которым я работала. И было уже поздно, часов около десяти, когда за наружной дверью, на лестнице — как раз у меня за спиною — раздался тихий, как бы робкий звонок. В эти часы по воскресеньям заходил иногда издатель журнала, читать свою «передовую», — но он звонил иначе: нетерпеливо и резко. Минуту спустя звонок повторился. Сторожа при дверях у Траншеля не было. Отворяли мы сами. И я готовилась уже встать, когда из комнаты литографщика, направо от меня, вышел сонный Herr * Крейтенберг и, надевая по дороге сюртук, прошел мимо меня — открыть дверь.

Не помню, как он впустил этого позднего посетителя. Вероятно, он указал ему на соседнюю дверь на лестнице — в квартиру содержателя типографии. Но помню, что, возвращаясь к себе за перегородку, он сказал, проходя мимо меня:

— Достоевский пришел!

«Достоевский!» — как эхо отозвалось у меня в душе. До сих пор мне не приходилось еще встречаться ни с одним *настоящим,* большим писателем. И сколько мыслей и образов, сколько мучительно-сладких минут пробудило теперь во мне это мимоходом произнесенное

---

* господин (*нем.*).

имя! Для меня это имя не было пустым звуком. Одно сознание, что Достоевский где-то тут, подле меня, и я, быть может, его сейчас увижу, уже согревало мне душу и наполняло ее безотчетной надеждой на более светлое будущее. Слова «литература», «писатель» означали тогда для меня: *жизнь, мысль, свет, упование...*

С трепетным замиранием сердца ждала я. Вот-вот, сейчас, сию минуту войдет сюда знаменитый автор «Бедных людей» и «Мертвого дома», творец «Раскольникова» и «Идиота», войдет — и что-то случится со мной небывалое... новое, *после* будет совсем уж не то, что теперь.

Но никто не входил. И уже долго спустя, когда я почти перестала думать об этом, из комнат слева вышел Траншель вместе с невысоким, среднего роста, господином в меховом пальто и калошах, и оба остановились подле меня у бюро, разговаривая между собою, то есть один задавал короткие и отрывистые вопросы, а другой так же коротко отвечал на них.

Господин в пальто говорил тихим, глухим, как бы расслабленным голосом. Он спрашивал, когда здесь бывает князь М<ещерский>, когда выходит нумер и когда приступают к набору следующего.

Один раз я решилась поднять на него глаза, но, встретив неподвижный, тяжелый, точно неприязненный взгляд, невольно потупилась и уже старалась на него не смотреть. Я угадывала, что это Достоевский, но все портреты его, какие я видела, и мое собственное воображение рисовали мне совсем другой образ, нисколько не похожий на этот, действительный, который был теперь предо мною.

Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ — никаких движений, ни одного ж е с т а, — только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне

солдат — из «разжалованных», — каких мне не раз случалось видать в моем детстве, — вообще напомнило тюрьму и больницу и разные «ужасы» из времен «крепостного права»... И уже одно это напоминание до глубины взволновало мне душу...

Траншель провожал его до дверей; я смотрела им вслед, и мне бросилась в глаза странная походка этого человека. Он шел неторопливо — мерным и некрупным шагом, тяжело переступая с ноги на ногу, как ходят арестанты в ножных кандалах.

— Знаете, кто это? — сказал мне Траншель, когда захлопнулась дверь. — Новый редактор «Гражданина», знаменитый ваш Достоевский! Этакая гниль! — вставил он с брезгливой гримасой.

Мне показалось это тогда возмутительно грубым, невежественным кощунством. Из всех современных писателей Достоевский был тогда для меня самым мучительным и самым любимым. Но мне, конечно, было известно, что о нем ходили тогда разные толки. В либеральных литературных кружках и в среде учащейся молодежи, где были у меня кое-какие знакомства, его бесцеремонно называли «свихнувшимся», а в деликатной форме — «мистиком», «ненормальным» (что, по тогдашним понятиям, было одно и то же).

Это было время только что замолкнувшего процесса Нечаева и романа «Бесы» в «Русском вестнике». Мы, молодежь, читали речи знаменитых защитников в «Голосе» и «С.-Петербургских ведомостях», и новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии...[3] А то, что автор «Бесов» принял редакторство в «Гражданине», окончательно восстановило против него многих из прежних его почитателей и друзей.

Но ведь тот же Достоевский так волшебно и сладостно расширял нам сердце и мысли!.. И кто знает, — думалось мне теперь, под впечатлением первой встречи с знаменитым писателем, — может быть, именно он *вывел* нас всех *из нормы* и до того пронизал нам душу любовною жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам сделалось тесно в семье и все больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно, как свое! А если так, не все ли равно, как его называют другие?! Он с полным правом мог ответить этим другим, как Торквато Тассо — врачу, присланному лечить его:

Geheilt will ich nicht sein!
Mein Sinn ist kräftig,
Da wär'ich ja, wie And're, niederträchtig! *[4]

Я надеялась, что при более близком знакомстве с Ф. М. Достоевским мне удастся лучше понять его и, может быть, разрешить все эти загадочные для меня противоречия.

II

Снова увидеть Федора Михайловича мне привелось уже после праздников.

Войдя утром в контору, я застала его сидящим в углу, подле дверей, у стола, за которым обыкновенно работал корректор типографии, и бывший тут же Траншель, как настоящий «cavalier galant» ** (он был полуфранцуз-полунемец, из обруселых), представил меня Федору Михайловичу:

— Позвольте вас познакомить: это ваш корректор, В. В. Тимофеева. Редактор «Гражданина» — Федор Михайлович Достоевский.

Федор Михайлович встал и, слегка поклонившись, молча подал мне руку. Рука у него была холодная, сухая и как бы безжизненная. Да и все в нем в тот день мне казалось безжизненным: вялые, точно через силу движения, беззвучный голос, потухшие глаза, устремленные на меня двумя неподвижными точками.

Он просидел тогда около часа за чтением корректуры и во все это время не проронил ни звука. Даже перо его бесшумно двигалось по бумаге. Быть может, благодаря этой мертвенной тишине я вдруг почувствовала какую-то неестественно гнетущую меня робость. Я тоже работала, но присутствие его бессознательно смущало меня. Все время, пока он сидел, мне чувствовалось что-то строгое, властное, *высшее,* какой-то контроль или суд над всем моим существом. И я буквально не смела пошевельнуться, боялась оглянуться в его сторону и вздохнула свободно, только когда он ушел, сдав мне с рук на руки прочитанную им корректуру.

С тех пор я часто стала видать Достоевского в типографии, но свидания наши в первое время ограничивались

---

* Лечиться не хочу!
Будь ум мой светел,
Я б был ничто, как все на этом свете! (*нем.*).

** галантный кавалер (*фр.*).

только взаимными приветствиями при входе и выходе или краткими замечаниями его мне по поводу той или другой корректурной поправки. Я ссылалась тогда на грамматику, а он раздражительно восклицал:

— У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика... Мне нет никакого дела до чужих правил! Я ставлю запятую перед *что,* где она мне нужна; а где я чувствую, что не надо перед *что* ставить запятую, там я не хочу, чтобы мне ее ставили!

— Значит, вашу орфографию можно только угадывать, ее знать нельзя, — возражала я, стараясь лучше понять, чего от меня требуют.

— Да! *Угадывать.* Непременно. Корректор и должен *уметь* угадывать! — тоном, не допускавшим никаких возражений, сердито сдвигая брови, решал он.

Я умолкала и старалась, насколько умела, угадывать, но внутренно испытывала что-то вроде разочарования. Ни повелительный тон, к которому я совершенно тогда была непривычна, ни брюзгливо-недовольные замечания и раздражительные тревоги по поводу какой-нибудь неправильно поставленной запятой никак не мирились с моим представлением об этом писателе-человеке, писателе-страдальце, *писателе-сердцеведе.*

Вначале же почти все раздражало его. То — зачем поставили в статье его твердый знак на конце слова *однакожъ,* когда у него стоит мягкий — *однакожь.* То — зачем вводное предложение *может быть* поставлено в запятых, вместо того чтобы — как у французов и в «Русском вестнике» — поставить с черточкой посредине. То, наконец, зачем *к нему* в «Гражданин» прислали статью о введении звуковой методы в сельские народные школы, когда он слышать равнодушно не может об этой методе...

— Не хочу я, чтобы наших крестьянских детей обучали по этой методе! — с непонятным еще мне тогда ожесточением говорил он. — Это не человеческая метода, а попугайная. Пусть обучают *они* по этой методе обезьян или птиц. А для людей она совсем не годится. *Бб! вв! сс! тт!..* Разве свойственны людям такие дикие звуки? У людей должно быть человеческое название каждой букве. У нас есть свои исторические предания. То ли дело наша старинная азбука, по которой все мы учились! *Аз, буки, веди, глаголь, живете, земля!* — с наслаждением выговаривал он. — Сейчас чувствуешь что-то живое, осмысленное, как будто физиономия есть своя у каждой отдельной буквы. И неправда это, будто по звуковой они легче

выучиваются. Задолбить, может быть, скорей задолбят. Но никакого *просвещения* от этого не прибавится. Все это одни выдумки! Никогда не поверю.

То же было и с частыми напоминаниями о непреложности его авторских и редакторских корректур. И наконец, он до того запугал меня этою «непреложностью», что я не решилась даже исправить однажды уже несомненную описку его, и полемическая статья Федора Михайловича так и вышла с ошибкой: *«Кто виноват?» Чернышевского* (вместо «Что делать?»)[5]. И это вызвало потом упреки автору в незнании «даже заглавия» произведения, по поводу которого он полемизировал.

— Почему же вы не поправили, если знали? — укоризненно заметил мне Федор Михайлович, когда я выразила ему мое сожаление, что допустила эту ошибку.

— Я не смела исправить сама. Вы столько раз говорили мне, что «все должно оставаться так», как стоит у вас в корректуре. И я подумала, что вы могли и *умышленно* сделать эту описку...

Федор Михайлович подозрительно взглянул на меня и не промолвил ни слова. Может быть, он из этого понял, что и самый дух его «Дневника» остался мне чужд и антипатичен. И он отчасти был прав. У меня в то время была уже самостоятельная работа — я вела бытовую хронику в «Искре», — моим руководителем в этой работе был сотрудник «Отечественных записок» Н. А. Демерт, и, когда я читала теперь в корректуре статьи Достоевского, мне зачастую вспоминались совсем другие взгляды, другие мысли и настроения. С «Гражданином» меня связывала только необходимость в заработке, — по духу же я и сама еще не знала, к какому принадлежу я «лагерю».

Мы искали тогда — и в книгах и в людях, вообще *на чужбине,* вне нас самих — *самого лучшего «лагеря»* — не призрачного, не фальшивого и не противного сердцу, такого, где правда была бы не на словах, а на деле, где справедливость царила бы *всюду, всегда* и *для всех.*

Но такого лагеря не существовало нигде. Или мы не знали его.

III

Как-то раз — в конце уже марта — мы работали поздно вдвоем с Федором Михайловичем. Он сидел, как всегда, в углу за столом, а я — рядом с ним, за бюро.

Я сверяла его поправки и, прочитывая отдельные полосы, передавала ему на просмотр и на подпись.

Его «Дневник» в этом нумере был отчасти философского содержания и особенно интересен был для меня потому, что в нем говорилось о выставке картин новой русской школы, которую я только что перед тем ходила смотреть с знакомыми литераторами. Но Федор Михайлович, говоря о некоторых картинах, находил в них совсем не то, что находили эти знакомые мне литераторы[6].

Они, например, восхищались известной картиной Ге — «Тайная вечеря» — за ее «реализм», за то, что изображаемое в ней событие носит характер такой *обыкновенности,* как будто дело происходит в наши дни, в Петербурге, где-нибудь на Подьяческой, за ужином в складчину, тайком от полиции, в кухмистерской Митрофанова; за то, что все апостолы на картине — как будто современные «социалисты», Христос — по-нынешнему — «хороший, добрый человек, с экстатическим темпераментом», а Иуда — самый обыкновенный шпион или agent-provocateur *, получающий по таксе за каждый донос...

А Достоевский говорил о той же картине: «Где же тут восемнадцать веков христианства? Где идея, вдохновлявшая столько народов, столько умов и сердец? Где же Мессия, обетованный миру Спаситель, — где же Христос?!»

Они говорили о действительности, *как она есть...* А Достоевский говорил, что такой действительности «совсем и не существует»... *Они* хвалили новую школу за то, что она «свободна от идеальничанья, от фальши, лганья»... А Достоевский доказывал, что именно тут-то и кроется фальшь и самое жалкое рабство пред «направлением», так как *сути вещей* нам знать не дано и во всем, что мы ни изображаем, мы выражаем только самих себя и наши идеи о мире вещей и явлений...[7]

Все это были вопросы, над которыми с особенной жадностью останавливались тогда мои мысли. Христос, христианство — об этом давно уже не говорили в известных слоях нашего общества, по крайней мере в Петербурге. Это напоминало *реакцию,* «Переписку» Гоголя[8], вообще «мистицизм», которого страшились тогда, как «жупела»...

Достоевский говорил и о *них,* то есть о том круге людей и понятий, в котором жила я тогда и который он определял с язвительной складкой на губах — «либералами».

---

* агент-провокатор (*фр.*).

Статья была написана страстно — он, впрочем, все писал страстно, — и эта горячая страстность невольно сообщалась и мне. Я впервые тогда почувствовала на себе неотразимое обаяние его личности. Голова моя кипела в огне его мыслей. И мысли эти казались мне так понятны, они так проникали меня насквозь, что казалось, они — мои собственные. Было в них что-то и еще мне особенно близкое: эти слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать — женщину пламенной веры, когда-то страдавшую за мое «неверие»... и я точно возвращалась теперь из Петербурга *домой,* и этот *дом* мой были *христианские* мысли Ф. М. Достоевского.

И вдруг, сама не знаю почему, меня неудержимо потянуло на него оглянуться. Но, повернув слегка голову, я невольно смутилась. Федор Михайлович пристально, в упор смотрел на меня с таким выражением, как будто давно наблюдал за мною и ждал, чтобы я оглянулась...

И когда — далеко уже за полночь — я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту пытливо всматривался в меня, точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного, точно спрашивал меня: что же я думаю? поняла ли я что-нибудь?

Но я стояла перед ним как немая: так поразило меня в эти минуты его собственное лицо! Да, вот оно, это *настоящее* лицо Достоевского, каким я его представляла себе, читая его романы!

Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, — оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти... Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло... И я бессознательно, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась «живая картина» с загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем, чем все его статьи и романы. Это было лицо *великого человека,* историческое лицо.

Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой

глубины и величия, действительно *гений,* которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он все угадывал и все понимал каким-то особым чутьем. И эти догадки мои о нем много раз оправдывались впоследствии.

— Измучились вы сегодня! — с нежной, точно родственной лаской заговорил он, провожая меня до дверей и помогая мне надеть верхнее платье. — Поезжайте скорее домой, выспитесь хорошенько, Христос с вами! Да возьмите непременно извозчика, не идите пешком. Еще обидит вас какой-нибудь пьяный нахал.

Он сам запер за мной двери на ключ, так как все кругом уже спали, и я вышла на улицу в каком-то экстазе. Извозчиков близко не было, да и хотелось пройтись после десятичасового сидения, согнувшись над корректурами. Я шла, всю дорогу вспоминая его лицо и тот новый, внезапно раскрывшийся предо мною его внутренний облик... «Какой он умный! Какой он добрый! Какой необыкновенный он человек! — восторженно думала я. — И как *они* совсем не понимают его!»

Я не чувствовала ни малейшего утомления и, придя домой в три часа, села записывать только что пережитые впечатления. Точно в них заключалось какое-то удивительное сокровище, которое надо было сберечь на всю жизнь. Но мне казалось тогда, что эти впечатления со временем вырастут во что-то *большое* и *важное,* что будет нужно и мне и другим.

IV

Мне приходилось не раз присутствовать при разговорах Достоевского с заходившими в типографию, чтобы видеть его, писателями. Из них помню Н. Н. Страхова, А. Н. Майкова, Т. И. Филиппова, А. У. Порецкого и однажды — Погодина. Помню также Всеволода Соловьева, «милого и замечательного юношу», как называл его заочно Федор Михайлович, пророча ему «блестящую будущность». На меня, впрочем, этот юноша произвел впечатление не «милого», но скорее очень занятого собой и своей «блестящею будущностью». Он держал себя чопорно, сидел не снимая перчаток, говорил звонким, высокопарным голосом и смотрел все время куда-то вверх, улыбаясь восторженно-счастливой улыбкой, как будто думал при этом о всех присутствующих в типографии: «Какие они счастливые! — *видят меня, и так близко!..»*

Со всеми, кто бы ни приходил при мне к Федору Михайловичу, он всегда знакомил меня, прибавляя с улыбкой: «Наш корректор», но разговаривать со мною он начал только после той памятной ночи, когда мы впервые поздно работали с ним вдвоем и мне впервые раскрылась духовная личность писателя.

Заговорил он со мной совершенно неожиданно и при самых удручающих для меня обстоятельствах.

Это было в следующее за тем утро, когда мы только что начинали новый нумер, и Федор Михайлович сидел в типографии, беседуя с Т. И. Филипповым о значении письма вселенского патриарха[9]. В контору при них зашел некто NN [10]. Впоследствии мне приходилось встречать его имя в печати. Он поместил даже — не помню где — свои воспоминания о Достоевском, но тогда это был просто юркий молодой человек, довольно смазливой наружности, очень незлобивый и... очень недалекий. Не знаю, зачем он, состоя в кандидатах на судебную должность, посещал типографию Траншеля. Быть может, бедняк просто заходил туда отогреться или в надежде заполучить какой-нибудь заработок. По крайней мере, он часто жаловался тогда на свою нужду и однажды обратился ко мне, умоляя «спасти его от голодной смерти» — просмотреть написанный им рассказ и попросить Г. К. Градовского напечатать его в «Гражданине». Рассказ этот был помещен тогда же «в виде субсидии человеку с высшим образованием», как ответил мне тогдашний редактор журнала. С тех пор этот NN возымел обыкновение — чуть не ежедневно — по дороге в Окружной суд заходить к Траншелю, и непременно со связкой соленых сушек из булочной Филиппова, которые тут же при нас и съедал в виде завтрака, болтая с корректором и со мною.

Корректора в этот день не было — «запил», — и NN с мешком сушек и с обычной своей болтовней подсел ко мне. Напрасно показывала я ему глазами на Достоевского и Филиппова, которым болтовня его очевидно мешала разговаривать, так как Федор Михайлович поминутно оглядывался на нас, а Филиппов иронически улыбался, — ничто не помогало.

— Кто это рядом с вами? — быстро зашептал вдруг NN. — Скажите, пожалуйста, кто? — не отставал он, не обращая никакого внимания на все мои мины и пантомимы.

Я оторвала чистый клочок от корректурного листа и написала ему: *Достоевский.*

Он вытаращил глаза:

— Да-а?! Не может этого быть!..

И, прежде чем я успела перевести дух, он, набросив pince-nez *, уже подлетел прямо к Федору Михайловичу.

— Мсьё Дост*о*евский? — развязно проговорил он, заглядывая ему в лицо.

Федор Михайлович встал с вопросительным недоумением и торопливо застегивая свой длинный черный английский сьют.

— Достое*е*вский! — поправил его Федор Михайлович. — К вашим услугам. Что прикажете?

— Очень приятно познакомиться! Я — N N. — И он так же развязно, сияя добродушным самодовольствием, первый протянул руку. Федор Михайлович молча подал ему свою — и тем кончилось дело.

Я не знала, куда деваться от стыда, — так это вышло неуместно, нелепо, смешно. Одна мысль, что меня могут заподозрить в близком знакомстве с этим развязным господином, доводила меня до отчаяния. Этот NN вообще был для меня каким-то кошмаром. Он же торчал тут подле меня, когда Писемский диктовал мне вставки в корректуру своей комедии «Подкопы»[11] и в благодарность за этот труд на прощанье пожелал мне с улыбкой «хорошего женишка»... Теперь опять улыбается Филиппов и хмурится Федор Михайлович... И все из-за этого глупого, бестактного болтуна! Мне думалось тогда, да и теперь тоже думается, что в присутствии такого писателя, как Достоевский, не только нельзя было говорить пустяков или пошлостей, но даже думать о чем-нибудь вздорном было стыдно, грешно; а NN, торопливо глотая сушку за сушкой, как ни в чем не бывало бормотал мне с умильными взглядами:

— Что это какая вы нынче сердитая? И разговаривать не хотите. Делать нечего, я уйду... Ух, какие у вас сегодня руки горячие! Что это у вас, лихорадка, должно быть?..

Терпение мое истощилось, и я со злостью и заикаясь почти прокричала ему:

— Оставьте меня в покое, пожалуйста! Разве вы не видите, что вы мне работать мешаете?!

NN благополучно исчез.

— Какой красивый молодой человек! — не без коварства пустил ему вслед Филиппов.

---

* пенсне (*фр.*).

— Пренахальненький человечек! — заметил Федор Михайлович, как бы в подтверждение моему восклицанию.

И когда Филиппов ушел и мы остались вдвоем в ожидании корректуры, Федор Михайлович встал и, пододвинув свой стул к бюро, за которым я работала, обратился ко мне с вопросом:

— Ну скажите мне, что вы здесь делаете? Знаете вы, зачем вы живете?

В первую минуту я растерялась от неожиданности, но, кое-как овладев собой, я отвечала, что приехала в Петербург учиться.

— Чему же вы здесь хотите учиться? И где?...

— Хочу высшего образования... А учусь с помощью книг. Я хожу в Публичную библиотеку.

— Но зачем вам это высшее образование? Думали вы об этом?

И в голосе и в лице у него было при этом что-то язвительное: он не только как будто допрашивал, но и судил, обличал...

Я молчала. Сказать ему, что высшее образование дает высшее счастье — он скажет: «А думали вы, что такое счастье?» Я думала, но не сумела бы ответить, и все ответы казались мне теперь непроходимо глупыми, особенно после этого глупого приключения с NN. Но в конце концов я все-таки ответила и даже сказала самую сокровенную мою мысль.

— Я хочу писать... заниматься литературой, — робко пролепетала я. И — к удивлению — Федор Михайлович не засмеялся.

— Вы хотите писать? Во-от что! — протянул он. — О чем же вы хотите писать? То есть что именно: роман, повесть или статью какую-нибудь?

— Я люблю психологическое... внутреннюю жизнь, — бормотала я, боясь взглянуть на него и чувствуя себя совершенною идиоткой.

— А вы думаете, это легко: изображать внутреннюю жизнь?

— Нет, я не думаю, что это легко. Я потому и учусь... и готовлюсь.

— Писательниц во всем мире только одна, достойная этого имени! — значительно продолжал он. — Это Жорж Занд! Можете ли вы сделаться чем-нибудь вроде Жорж Занд?

Я застыла в отчаянии. Он отнимал у меня всякую надежду на будущность... И, не помня себя, точно во сне, я бессмысленно повторяла ему:

— Я хочу писать!.. Я чувствую потребность... Я только этим живу!

— Вы только этим живете? — серьезно переспросил о н . — Ну, если так, что ж, и пишите. И запомните мой завет: никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок! Никакое воображение не придумает вам того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь! Уважайте жизнь!

V

Федор Михайлович не раз потом возвращался к той же теме. Он то указывал мне, *как не надо* писать *эссенциями,* как пишут современные писатели-народники, то предлагал мне сюжеты для повести или романа.

— Никогда народ не говорит так эссенциями. Народ говорит таким же языком, как и мы. И может быть, на дюжину слов скажет одно забористое. А у *них* сплошь вся речь такими словами усеяна. И выходит фальшиво, ни на что не похоже [12].

— Хотите, я вам дам чудесный сюжет? — с увлечением говорил о н . — Я сейчас встретил одну мою старую знакомую — девицу лет тридцати — и просто не узнал ее: помолодела, цветет и так вся и сияет. «Я, говорит, замуж на днях выхожу!» Вот вам богатый сюжет. Займитесь психологией старой девушки — из бедных гувернанток... Вечная зависимость от других, посторонних, вечная забота о куске хлеба — и вдруг такое счастье: свой собственный угол, свое хозяйство, свои дети... полная свобода... Словом, совершенно новая жизнь!

Но меня совсем не манил такой сюжет, и мне хотелось писать по своим собственным сюжетам. Да и сам Федор Михайлович высказывал потом иные взгляды на эту якобы «полную свободу».

— Брак для женщины всегда р а б с т в о , — говорил он мне о д н а ж д ы . — Если она «отдалась», поневоле она уж раба. Самый тот факт, что она *отдалась,* — уже рабство, и она в зависимости навсегда от мужчины.

— Будьте историком! — советовал он в другой р а з . — Ни одной еще женщины не было. Сколько славы!

— Хотите вы быть истинно образованной женщиной? — спросил он меня однажды, как всегда внезапно (мы читали с ним в это время корректуру статьи Н. Н. Страхова о «Философии истории» Целлера) [13].

— Конечно, хочу!

— Идите в Публичную библиотеку, спросите себе «Отечественные записки» 1840—1845 годов. Там вы найдете ряд статей по истории наблюдений над природой. Это — Герцена. Хотя он потом, когда стал материалистом, отказался от этой книги, но это — лучшая его вещь. Лучшая философия не только в России, — в Европе. Сделайте, как я вам говорю, — вы будете мне потом благодарны[14].

Я сделала, как он меня научил, и, конечно, была ему благодарна.

С тех пор — я не могла не заметить — Федор Михайлович видимо занялся моим «просвещением».

— Подождите, — говорил он, — вот настанет опять зима, я познакомлю вас с моими друзьями-литераторами, и мы будем устраивать литературные, поэтические вечера...

Он хотел теперь знать, что я читаю, с кем видаюсь, какого держусь «направления».

— Что это вы все носитесь с «либералами»? — с иронией указывал он на книжку «Отечественных записок», только что взятую мной по дороге из библиотеки. — Читайте лучше Погодина, Карамзина, Соловьева...

— Всё начиняете себя чужими мыслями! — ядовито восклицал он опять, заглядывая в книгу, которую я читала. — Ну, что тут хорошего — жевать эту жвачку, хотя бы разлиберальную?! Возьмитесь-ка лучше за математику, да и прите годика три! Думать по-своему станете, — уверяю вас.

Ничто не проходило для него бесследным и незамеченным — раз обратил он на вас внимание. И по временам мне казалось, что я нахожусь как бы под непрестанным надзором его художнической проницательности. И не скажу, чтобы это было всегда приятно... Художник-наблюдатель смахивал иногда на духовника-инквизитора.

Так, по крайней мере, мне казалось тогда.

Даже костюм мой подвергался его строгому обзору и осуждению. Так я помню, как он, насмешливо вертя в руках мою лаковую «Wienerhut» *, допрашивал меня, «какое *направление* доказывают эти шляпы современных девиц».

---

* венскую шляпу (*нем.*).

— Что это, знамя, что ли, у вас? Или пароль?

Шелковый дождевой зонтик мой казался ему непростительным щегольством и подозрительным образом и мыслей и жизни.

— Шелковый, настоящий! — с упреком восклицал он. — Откуда вы деньги берете? Я всю жизнь мечтаю о таком зонтике — и все купить никак не могу. А вы щеголяете, точно у вас ренты какие! Разве есть у вас ренты? — Он пристально, строго смотрел на меня, выжидая ответа.

— Нет, Федор Михайлович, никаких рент у меня нет. Но что же мне делать, если я люблю изящное?.. Я лучше несколько дней обедать не буду, а уж бумажного зонтика не куплю.

— А я вот купил. Тяжелый он, правда... Вам, пожалуй, его и не снести, — уже смягчаясь, снисходительно прибавлял он.

Раз, помню, я опоздала.

Н. А. Демерт, Н. С. Курочкин и Г. И. Успенский взяли меня с собой смотреть встречу персидского шаха [15] из окон редакции «Петербургского листка» (на Казанской площади). Всем нам было удивительно весело. Писатели острили и над шахом, и над встречей, и над самими собой. Редактор «Листка», Соколов, ребячился, как маленький: сделал из бумаги огромнейшее знамя, — вроде змея, которого запускают уличные мальчишки, — и, разрисовав его персидскими львами и солнцами, вылез на крышу и все время махал там без устали, распевая персидский марш и «Боже, царя храни». В результате я попала в контору в четыре с половиной — вместо трех, как назначил мне Федор Михайлович. Вхожу и вижу — Федор Михайлович сидит на моем месте и читает за меня первые корректуры.

Я начала извиняться. Он не дал мне договорить до конца.

— Пари держу, что смотрели, как шаха встречают! То есть голову даю на отсечение... Признавайтесь!

— Грешна, Федор Михайлович, — смотрела, как встречают!..

— Ну, я так и знал! Я был уверен, что и вы сейчас побежали туда!.. Ну, и как вам не стыдно? Чего там смотреть?.. Разве можно интересоваться подобными пошлостями? Стыдитесь! А еще хотите Жорж Зандом сделаться! Никогда вы не сделаетесь Жорж Зандом!

Федор Михайлович отлично знал, что я не хотела «сделаться Жорж Зандом», но это была его манера казнить меня.

VI

Преследуя меня всякого рода допросами, Федор Михайлович сам не любил никаких о себе вопросов.

Однажды он описывал мне то удивительное состояние, которое он испытывает всегда перед наступлением падучей, а я — наивно до глупости, хоть и с сочувствием, — перебила его:

— У вас падучая? Неужели? Отчего это?..

— Ну, об этом я не стану теперь разговаривать, — это совсем уж другой вопрос! — раздражительно оборвал он и, помолчав, прибавил с укором:

— Ничего-то вы не понимаете, как я вижу! А еще писателем быть хотите!

И так и не рассказал мне всего, что хотел рассказать. Я хорошо запомнила этот урок и с тех пор никогда уже ни о чем его не расспрашивала.

Так же, как «писательством», долго язвил он меня моим мнимо польским происхождением. И это только потому, что, прожив в ранней юности несколько лет в нашем Западном крае, я с увлечением описывала ему однажды живописные окрестности литовского города и красоты поэм Мицкевича.

— А все-таки, — перебил он меня, — ваш хваленый Мицкевич воспевал Валленрода, то есть изменника и лгуна[16]. А истинный поэт не должен никогда воспевать ни изменников, ни лгунов. *Ни-ко-гда!* — с желчной страстью повторил он, прищуривая глаза и язвительно кривя губы.

И с тех пор мне не раз приходилось выслушивать от него:

— Да ведь вы не можете этого понимать! Вы ведь не настоящая русская... Вы — полька!

Раз он указывал мне какой-то мой недосмотр в корректуре и уронил на пол листок рукописи, который я ему подняла.

— Ах, матушка, извините, пожалуйста! — вскричал он и сейчас же оговорился: — Что это я, однако, «матушкой» вас назвал, когда сам гожусь вам в отцы!

— Что же тут дурного, Федор Михайлович! Это любимое наше народное слово.

— Да ведь вы не можете понимать истинного значения этого народного слова. Вы ведь не настоящая русская...

И так было всегда и во всем. Ничего вполовину. Или предайся во всем его Богу, веруй с ним одинаково, йота в йоту, или — враги и чужие! И тогда сейчас уже злобные огоньки в глазах, и ядовитая горечь улыбки, и раздражительный голос, и насмешливые, ледяные слова...

Не раз он ворчал на меня за мою — тоже мнимую — «леность» и «нерадивость» только потому, что я не помнила иногда содержания статьи, помещенной в только что вышедшем нумере, и вообще не выказывала интереса к тому, что печаталось в журнале, который он редактировал. Но больше всего донимал меня Федор Михайлович за недосмотры мои в статьях, подписанных таинственными инициалами «ZZ», принадлежавших перу высокопоставленного законоведа-администратора [17]. И тут, я помню, однажды я решилась заметить ему:

— Как же это вы такой психолог — и не хотите понять, что именно потому я и пропускаю ошибки в этих статьях, что смертельно боюсь что-нибудь пропустить. Помните, как ваш князь Мышкин боялся вазу разбить — и разбил. Да и сами вы недавно рассказывали, как перед сном вы боялись, что коробка со спичками вспыхнет ночью на столике, и как она потом действительно вспыхнула... Ну, вот то же самое теперь и со мною. Тут, должно быть, какой-то закон психологии...

Федор Михайлович снисходительно улыбался.

— Вот оно что! Закон психологии! А я и не знал! Впервые слышу. Это прелюбопытно, однако ж. Значит, сам же я виноват. Ну хорошо, хорошо. Больше не буду.

И он действительно с тех пор никогда не делал мне замечаний за мои корректорские недосмотры, хотя число их от этого едва ли значительно сократилось. (Увы! тут кроме «психологии» было слишком много других причин, и из них самые главные — торопливость журнальной работы, недостаток отдельного помещения, необходимость работать без перерыва и по ночам.) Только раз, в конце года, когда снова печаталась статья «Z», Федор Михайлович не стерпел и надписал наверху корректурного оттиска:

«Многоуважаемая Варвара Тимофеевна (вместо: Васильевна).

Особенно прошу Вас поправить * эту статью, сообразно с моими поправками. Как только дело касается этого

* То есть наблюсти, чтобы верно исправил наборщик. (*Примеч. В. В. Тимофеевой.*)

автора, так тотчас у Вас неразобранные слова, выкидки целых фраз или повторения двух фраз сряду и проч. Вы мне сделаете особое удовольствие, если исполните мою просьбу.

Ваш *Достоевский*».

Случилось так, что эту корректуру я отправляла ему на дом сама, так как новый фактор Траншеля, немец, не умел правильно надписать его адрес и попросил это сделать меня. Но, взяв перо, я невольно остановилась: как же мне ему написать, неужели, *как всем:* Его Высокоблагородию, Высокородию и пр.? Мне показалось это решительно невозможным, и я надписала на конверте, как пришло тут же в голову:

«Федору Михайловичу Достоевскому, знаменитому русскому писателю, с детства любимому, дорогому и незабвенному».

— Уже запечатав снова пакет, заметил я эту надпись, — рассказывал мне потом Федор Михайлович. — И сейчас же подумал: что же это я делаю? На милые такие слова отвечаю вдруг грубостью, брюзжу, как старая баба, пишу бранные замечания! Распечатал типографский пакет и спрятал его себе на память. А корректуру с замечанием положил в новый конверт и отослал в типографию. Дескать, милые слова пусть останутся милыми словами, а дело делом.

Но все эти «бранные» замечания, упреки и выговоры напоминали скорее журьбу отца, учителя или старшего возрастом друга. Начальнически-редакторского тона я от него никогда не слыхала.

VII

С началом лета, с отъездом семьи в Старую Руссу, Федор Михайлович стал чаще ходить в редакцию, — в квартиру князя М<ещерского>, на Николаевской, и мы теперь часто встречались на Невском. (Федор Михайлович жил тогда, кажется, в Гусевом переулке, а я — в Гончарной.) И вот однажды, встретившись таким образом, он стал мне жаловаться на «скуку редакторства» и на полное свое одиночество. И лицо у него при этом было такое унылое и болезненно-удрученное, что мне невольно захотелось его развлечь.

— А вы ходите чаще к нам в типографию. Мы будем вас занимать! — простодушно, чисто по-женски предложила я.

Федор Михайлович улыбнулся детски-добродушной улыбкой.

— То есть кто же это *мы*? Это вы с Траншелем и этот — как его? — «запивающий» корректор?

— И я и корректор — все мы!

— Да ведь вот я теперь туда иду, а вы оттуда уходите. Как же вы будете меня занимать? Я встаю поздно, — я работаю всегда по ночам, — и раньше двух редко выхожу из дому. Вот если бы вы там оставались, ну, хоть до трех — тогда дело другое.

Я обещала ему никогда не уходить раньше трех и переменить час обеда и занятий моих в Публичной библиотеке.

С тех пор Федор Михайлович начал ходить в типографию ежедневно, а иногда приходил и утром и вечером. И так как от двенадцати с половиной до трех типография замирала — все расходились кто завтракать, кто обедать, — на мою долю выпадала вся честь и радость делить с Федором Михайловичем его скуку и одиночество.

Мы размещались обыкновенно теперь таким образом. Я уступала ему мое место за конторкой, заменившей бюро, а сама пересаживалась с корректурой к окну — и нам так очень удобно было переговариваться, ему меня спрашивать, а мне — отвечать...

Работы, в сущности, было немного, но она распределялась так неравномерно и так зависела от настроений редактора и издателя, что никогда нельзя было знать заранее, свободна я или нет. Иногда мне случалось раза два в день заходить в типографию, чтобы услышать от метранпажа:

— Ничего еще нет. Жду от князя статью, а он где-то теперь на обеде... Всю ночь придется работать.

И я приходила в третий раз и работала целую ночь.

Таким образом, времени пропадало много. Я всегда поэтому запасалась книгами и читала их там в свободные промежутки.

И вот раз Федор Михайлович застал меня за чтением «Торквато Тассо» Гете, которого я тогда изучала. Мельком взглянув на страницы, он прочел наизусть весь монолог Торквато, особенно подчеркивая некоторые слова. Читал он нараспев и возвышенной декламацией:

...Нет места на земле, где б мог
я унижаться, где спокойно
Я мог бы оскорбление снести!..[18]

— А этот Антонио, — с презрительным выражением губ вставил Федор Михайлович, — Антонио тут ничего и не понял!

Его порыв поэзии увлек!..[19]

Эти статс-секретари всегда так думают, что поэзия это так, один только порыв, и ничего более. Ведь Гете в душе сам был такой статс-секретарь, вроде Антонио. И конечно, Тассо, *как поэт,* гораздо выше Гете, хоть Гете и относится к нему свысока...

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон... —

с тихим пафосом, медленно начал он глухим низким голосом; но когда дошел до стиха:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...[20] —

голос его полился уже напряженно-грудными высокими звуками, и он все время плавно поводил рукою по воздуху, точно рисуя и мне и себе эти волны поэзии.

В типографии Федор Михайлович теперь не только читал корректуру, но и просматривал и исправлял весь свой редакционный материал и тут же писал свои «Дневники». Иногда он предварительно рассказывал мне их содержание, как бы проверяя на мне будущие впечатления «в публике». Иногда громко читал какую-нибудь отдельную фразу, не дававшуюся ему, и требовал, чтобы я немедленно подсказала нужное ему слово.

— Ну, скорей! Говорите скорее, какое тут надо слово! — И он нетерпеливо при этом топал ногой, торопя меня еще более.

Иногда мне удавалось удачно подсказывать, — и тогда он улыбался, одобрительно кивая мне головой. А если я слишком медлила или подсказывала вовсе не то, что ему было нужно, Федор Михайлович так же нетерпеливо просил меня «не мешать».

Когда он писал разговоры, он всегда, прежде чем написать, несколько раз повторял их шепотом или вслух, делая при этом соответствующие жесты, как будто *видел* перед собой изображаемое лицо.

Раз, читая в корректуре какой-то рассказ или повесть (кажется, автор была Крапивина), где описывалось, как в одной бедной семье, в ложной надежде на выигрыш банкового билета, устроили целый банкет, и подробно изображались все приготовления к чаю[21], Федор Михайлович обратился ко мне и сказал:

— Так это у нее хорошо тут описано, как они собираются чай пить, что мне даже самому захотелось. Просто слюнки текут!..

А читая письмо Кохановской о голоде в Малороссии[22], Федор Михайлович говорил с добродушной усмешкой:

— Наивно это немножко. Но ничего. Зато пафосу много. И пафос у этой почтенной старушки не чета нынешнему: настоящий, невыдуманный. Теперь это — большая редкость. И это непременно произведет впечатление. А если произведет впечатление — значит, и помогут голодному-то народу.

VIII

Один разговор особенно памятен мне. Было это в самом начале июня, когда, благодаря заботливости Федора Михайловича, мы гораздо раньше кончали работу, и в этот раз кончали ее вдвоем с метранпажем: Федор Михайлович гостил у семьи.

Траншель тоже уехал на дачу, и в конторе по этому случаю распивали пиво и ели колбасу Herr Крейтенберг с своей Амалией и другими приятелями, а меня переместили по этому случаю в литографскую, поближе к наборной. Туда и зашел на минуту ко мне Н. А. Демерт — с приглашением ехать с ними в большой компании на тоню, встречать восход солнца. Сборный пункт был назначен всем на Фонтанке, у Г. И. Успенского, и меня обещали ждать до одиннадцати.

Вечер был чудный, теплый и ясный, небо безоблачное, и я была вне себя от восторга и благодарности, но затем — уж не знаю, как это вышло, — после взаимно приятных, дружеских слов разговор наш принял вдруг характер какой-то словесной дуэли. Вероятно, я отозвалась с сочувственным увлечением о «Дневнике» Достоевского, а Демерт почему-то принял это за личное оскорбление не только себе, но и тому журналу, в котором писал в составе его постоянных и непостоянных сотрудников. Мое сочувствие известным идеям и настроениям Достоевского принято было Демертом как измена с моей стороны их взглядам и их направлению. Такое уж было время тогда! Все делились на овец и козлов, все казались взаимно «опасными», «подозрительными»... А с моей стороны подозрительным являлось одно уже то, что

я *читала* — хотя бы только в корректуре — журнал *не их* направления...

Сначала я пробовала отшучиваться, смеяться. Но что дальше, то было хуже. Демерт начинал уже мрачно смотреть исподлобья куда-то в пространство и говорить мне ядовитые колкости...

— Да ведь это, собственно, что же? — угрюмым басом говорил он, одной рукой теребя свою бороду, а другой тыча в мою корректуру. — Ведь это *для вас тут* может казаться какой-то диковиной, что *он тут* пишет... А для меня тут решительно ничего нового нет. На таких Федюш из Тетюш я на своем веку, слава Богу, предостаточно нагляделся... Да, я думаю, в Чухломе, в любом медвежьем углу, такие Федюши и по сию пору не вывелись. Крестами побрякивают, на церкви молятся, лбом оземь стукают, бормочут: «Исусе, Исусе!» Известно, что бабы, а преимущественно старые девки, куда как любят таких. Вдогонку, видал я, за ними бегают... «Христосик! Юродивый! На копеечку! На копеечку!..»

Он представлял это в лицах и говорил уже не басом, а истерическим бабьим визгом.

Я пыталась остановить его:

— О чем это вы, Николай Александрович? Я — о статьях Достоевского, а вы о каких-то юродивых! Что же это за разговор в самом деле!..

— Да и я ведь о том же! И я о статьях Достоевского!.. — Онзахохотал.

Меня это возмутило. Только тут я впервые почувствовала «тиски» *направления;* только тут вполне поняла, почему Достоевский язвительно кривит губы, когда произносит слова: «они», «либералы»...

— Ах, так, по-вашему, он — юродивый! — говорила я. — Ну, а по-моему, это глубочайший талант! Всё тут у него сущая правда. И как горячо!.. И вы не хотите этого признать только потому, что это не в вашем журнале!..

— Да уж чего горячее Аскоченского! — не слушая меня, говорил в то же время Демерт. — Прямо в белой горячке из сумасшедшего дома! А ведь говорят, будто тоже «талант»!..

Неизвестно, чем бы кончился тогда этот нелепый диалог, но в эту минуту мне подали новую корректуру, и Демерт ушел, чтобы не мешать.

Когда он распахнул дверь в контору, я на минуту остолбенела: в конторе, подле самых дверей, сидел только один Достоевский.

Крейтенберг с своими гостями удалился куда-то в другое место, в комнаты Траншеля. Федор Михайлович сидел, наклонившись к столу, и перелистывал какую-то рукопись. На конторке лежал его мягкий кожаный портсигар и листки почтовой бумаги с начатой статьей. Очевидно, он давно уже был тут и сидел подле нас. «И непременно все слышал!» — с волнением думала я.

Но когда я подошла к нему, он поздоровался со мной, как всегда, и я узнала, что он сейчас вернулся из Старой Руссы. Он заметно отдохнул и поправился. Лицо у него в тот вечер было такое кроткое, ясное и спокойное, какого я еще никогда у него не видала. «Ничего не слыхал!» — говорила я себе с облегчением.

— Куда же это вы так спешите? — остановил он меня, когда, окончив работу, я взялась за шляпу. — Ведь еще рано, десяти еще нет. Посидите со мной, пока нет корректуры.

Как ни прельщала меня прогулка по взморью, сознание, что Федор Михайлович желает моего общества, было слишком могущественно. Я послушно села опять на прежнее место к окну, впервые не чувствуя ни робости, ни смущенья в его присутствии.

Он пересел поближе ко мне, за конторку, и несколько минут молча курил и, казалось, о чем-то думал.

У меня опять тревожно забилось сердце при мысли, что он слышал мой разговор с Демертом. «Хорошо, если слышал мою защиту, — думала я, — а если он слышал одну только брань?!»

— Ну, куда же вы теперь? — заговорил Федор Михайлович. — День работали, а вечером... Что вы делаете по вечерам?

— Живу!..

— А что значит, по-вашему, это «живу»? Есть у вас какие-нибудь определенные идеи? Есть у вас какой-нибудь идеал или цель жизни? Или так и живете — «без тоски, без думы роковой»?[23]

— Нет, и с думой, и с тоской, и с идеалом — живу! — с увлечением проговорила я, разгоряченная моим спором.

— И с идеалом? — оживленно переспросил Федор Михайлович. — С каким же, например, идеалом? Ну, расскажите же мне!

И потому ли, что я все еще была под впечатлением «идейного» спора с Демертом и на душе у меня накипело, или голос его, тихий и ласковый, подействовал на меня, — я, не смущаясь, ответила ему горячим и смелым призна-

нием. Я говорила ему о моих мечтах и надеждах, об усилиях создать самостоятельно любимую деятельность, добиться заветной цели,— и о том, что женщине это особенно трудно...

И вероятно, он поверил моим словам, потому что слушал все время не прерывая и в свою очередь поразил меня нежданным признанием:

— А знаете, какой я вам сейчас скажу комплимент? Уж наверное вы такого ни от кого не слыхали. — И, помолчав, он прибавил: — Вы мне чрезвычайно напоминаете мою первую жену. Я ведь женат вторично, и от второй жены у меня уже двое детей. А впервые я женился еще в Сибири. И первая жена — вы и лицом и фигурой удивительно на нее похожи, — она, бедная, умерла от чахотки.

(Об этом сходстве он уже говорил при мне как-то Страхову: «Не правда ли, она ужасно похожа на Марью Дмитриевну?» Я не поняла тогда, кто это Марья Дмитриевна, но и Страхов тогда подтвердил: «Да, пожалуй... несколько напоминает».)

— Комплимент вам тут, конечно, не потому, что это была жена моя,— продолжал Федор Михайлович,— что же это за комплимент! — а потому, что была это женщина души самой возвышенной и восторженной. Сгорала, можно сказать, в огне этой восторженности, в стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова — да! — и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок. Хотя, когда я женился на ней, у нее был уже сын[24]. Я женился уже на вдове. Ну, что же, довольны вы моим комплиментом? — закончил он тоном шутки.

— Очень довольна, Федор Михайлович, только боюсь...

— Чего вы боитесь?

— Что вы во мне ошибаетесь, и я недостойна такого сравнения. Я не всегда такая.

— А вы будьте *всегда*, — внушительно, строго сказал он. — Стремитесь всегда к самому высшему идеалу! Разжигайте это стремление в себе, как костер! Чтобы всегда пылал душевный огонь, никогда чтобы не погасал! Никогда!

— Ну, а вы мне все-таки не сказали, какой же у вас идеал? — снова начал он, помолчав. — Идея-то ваша какая?

— Идеал один... для того, кто знает Евангелие...

— А вы его знаете? — недоверчиво спросил он.

— В детстве я была очень религиозна и постоянно читала его.

— Но с тех пор, конечно, вы выросли, поумнели и, получив образование от высших наук и искусств...

На углах его губ появилась знакомая мне «кривая» улыбка. Но в этот раз она меня не смутила.

— Потом, — продолжала я тем же тоном, — под влиянием науки религиозность эта стала принимать другие формы, но я всегда и думала и думаю, что лучше и выше Евангелия ничего у нас нет!

— Но как же вы понимаете Евангелие? Его ведь разно толкуют. Как по-вашему: в чем вся главная суть?

Вопрос, который он задал мне, впервые пришел мне на ум. Но сейчас же точно какие-то отдаленные голоса из глубины моей памяти подсказали ответ:

— Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей...

— И только? — тоном разочарования протянул он.

Мне самой показалось этого мало.

— Нет, и еще... Не все кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная — только ступень... в иные существования...

— К мирам иным! — восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо.

— И какая это дивная, хотя и трагическая, задача — говорить это людям! — с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукою. — Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много... Много мучений, но зато — сколько величия! Ни с чем не сравнимого... То есть решительно ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя!

— И как трудно осуществить эту задачу! — робко вставила я, думая *о своем.*

Он взглянул на меня с блеском в глазах.

— Вы говорите, что хотите писать. Вот вы и пишите *об этом!*

И, как бы в благословение на этот путь, Федор Михайлович подарил мне тогда три чистых листка оставшейся у него почтовой бумаги в осьмушку, на которой всегда писал он свои статьи.

— Вот вам *от меня!* — с ударением сказал он, передавая их мне.

Они живы у меня до сих пор — эти три листка, пожелтевшие, гладкие и простые.

Мы простились в тот вечер, как еще никогда не прощались: точно мы были с ним равные друг другу, взаимно преданные друзья.

После этого разговора мне уже не хотелось ехать на взморье, слушать о каких-то «юродивых Федюшах в Тетюшах», и, вместо того чтобы идти на Фонтанку, как мы условились с Демертом, я долго бродила где-то по улицам, «разжигая душевный костер»...

IX

И вдруг, сейчас же после таких восторженных слов и возвышенных настроений, день или два спустя, мне пришлось быть свидетельницей той самой сцены — по поводу непомещенной статьи, — которую приводит бывший метранпаж «Гражданина» М. А. Александров в своих «Воспоминаниях» («Русская старина», 1892, апрель, с. 184—185)[25]. Но в рассказе г. Александрова сцена эта производит совсем не то впечатление, какое произвела она на меня тогда и как она в тот же вечер была записана у меня в тетрадях.

Это было 12-го июня, вечером, накануне выхода нумера, когда журнал уже печатался. Дело происходило в конторе при мне и при Крейтенберге.

— Воля ваша, — говорил Федору Михайловичу метранпаж, — но только поместить эту статью я теперь никак не могу. Иначе придется весь набор вынимать с машины, снова верстать — и мы опоздаем.

Но Федор Михайлович требовал, «чтобы без всякой переверстки *вошло* »!

Метранпаж усмехнулся:

— То есть как же это без всякой переверстки? Ведь в листе-то печатном определенное количество букв: куда же я втисну новый набор, когда лист у меня заполнен сполна?

— Знать ничего не хочу! — по-барски крикнул Федор Михайлович, и глаза его надменно сузились, все лицо помертвело, губы задергала судорога. Пристукивая по столу крепко зажатыми пальцами, он хрипло, растягивая слова, произнес: — Хоть на стене, хоть на потолке, а чтоб было мне напечатано!

— Ну, от таких чудес я отказываюсь! — с спокойным достоинством ответил М. А. Александров. — Я не Бог. Я на потолке или на стене верстать не умею. Воля ваша!

— А не умеете, так я себе другого метранпажа найду, который сумеет!

— И потрудитесь найти другого! А я не могу! — говорил, уходя, г. Александров.

А Федор Михайлович, задыхаясь от волнения, кричал ему вслед:

— И найду! и найду! Мне нужно людей, готовых на все для меня, преданных мне собачьею преданностью... таких, на которых я могу всегда положиться... А это ни на что не похоже! Какой-нибудь метранпаж и вдруг смеет указывать мне, редактору, что можно и чего нельзя!.. Я этого никогда не позволю! Я редактор, я распорядитель журнала. Он обязан исполнять мои приказания! Где Траншель? — уже исступленно кричал он. — Позовите сюда содержателя типографии! Пусть он даст мне сейчас нового метранпажа!

Но Траншель был на даче, и Федор Михайлович, взяв бланковый листок, тут же написал, что просит дать ему другого метранпажа, «так как этот грубит и отказывается работать».

Записку эту, не запечатанную и даже не сложенную, Федор Михайлович вручил мне для передачи Траншелю.

— Вы передадите это Траншелю от меня, — отрывисто произнес он, устремляя на меня испытующий взгляд, точно желая видеть насквозь, что я теперь о нем думаю.

Мне хотелось и успокоить его, и сказать ему, что он не прав. Но, подняв на него глаза, я не решилась сказать ни слова: так исказилось его лицо, и так оно было неумолимо и до жестокости строго, и так страшно напряжено, что, казалось, вот-вот, сейчас с ним сделаются корчи от бешеной злобы или он разрыдается, как больной и несчастный ребенок, от сознания, что он виноват...

Молча приняв от него записку, я только выражением лица старалась показать ему, что я не сочувствую такому его образу действий, и мы сухо, безмолвно расстались.

Страшно тогда поразил меня этот барственный крик и эти слова о «собачьей преданности»...

— Вот, барышня, — говорил мне тут же Herr Крейтенберг, — вот вы всегда заступаетесь за вашего Достоевского... говорите, что он — *совсем не такой,* не станет кричать на людей, как кричит князь М<ещерский>. А вот и выходит — совсем такой. Все они такие! Все люди для них собаки. О, я уж их много видал — этих писателе», — я их очень хорошенько знаю! Все точно такие, mein liebes Fräulein! * Служи им все, как собака, — ну, тогда они ничего... не кусаются...

---

* моя милая барышня (*нем.*).

Долго не могла я освободиться от тягостного впечатления этой сцены. Писательство представлялось мне тем же богослужением, писатель — тем же апостолом, литература — сокровищницей всех святынь, дорогих человечеству, — и вдруг!.. И вдруг самый ревностный из ее жрецов, самый глубочайший и пламенный истолкователь ее назначения — автор «Униженных и оскорбленных» — и сам оскорбляет и унижает зависящих от него людей, требуя от них чего-то «собачьего»!.. Что же это в самом деле такое? Как он может об этом писать и как все это может мириться, — этого я решительно не могла понять и опять возвращалась к прежним взглядам на Достоевского — к чужим взглядам, — и мне казалось в эти минуты, что *они* были правы, обвиняя его в «слащавой чувствительности» и «чудовищном эгоизме»...

Некоторое время потом я была постоянно настороже, как бы и от меня не потребовали чего-нибудь вроде «собачьей преданности», но все опасения быстро рассеялись. Федор Михайлович умел иногда одним словом, одним изменением голоса совершенно изгладить всякое к себе недоверие. Лучшим доказательством этого служат «Воспоминания» о нем самого якобы «оскорбленного и униженного», то есть того же М. А. Александрова.

Не прошло и двух дней, как все дела у нас опять шли по-старому.

X

Свой дневник *«о вранье»* (т. I, 1873, с. 147 — «Нечто о вранье»)[26] Федор Михайлович писал в типографии, и весь этот день он пытал меня вопросами, *как бы я поступила* в случаях, которые он приводил. Прежде чем писать, он рассказывал мне последовательно все содержание и затем прочел только что им написанное:

«Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека — решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на

что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества... Дома, про себя, — «Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника».

Федор Михайлович положил перо и с иронической улыбкой проницательно посмотрел на меня.

— Как вы думаете? Когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два высекли? — Без сомнения, думал, — отвечал он за меня. — А было ли ему стыдно? — Без сомнения, нет. Я убежден, что поручик этот в состоянии был дойти до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно *трагичен* образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце, не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего!

Записав все только что сказанное, Федор Михайлович закурил папиросу и снова обратился ко мне.

— Ну, а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано, — вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более никто не узнает)?

Эти слова в его «Дневнике» были обращены лично ко мне, и я ответила на них тогда горячим и негодующим голосом:

— Какой ужас! Ни за что бы не вышла!

Федор Михайлович опять улыбнулся — тонко и ядовито.

— Вы бы, может быть, и не вышли. А я вам ручаюсь — девяносто девять из ста не задумались бы ни на минуту. И потому я все-таки напишу: «Увы! непременно бы вышла».

— Ну, теперь я увековечил этот наш разговор, — говорил он, посыпая песком написанное. — Теперь уж это останется навсегда, как воспоминание нашего сотрудничества у Траншеля. Послушайте! — он повернулся ко мне лицом, — дайте мне слово, что вы это снова прочтете —

вам сколько теперь? лет двадцать есть? Ну, так вот, годам к сорока, лет через двадцать — пятнадцать, вы должны это снова прочесть. Тогда вам это понятнее будет.

— Я и раньше прочту, Федор Михайлович.

— Нет, раньше не нужно. Но через пятнадцать лет, обещайте мне, что вы это снова прочтете.

Поздно вечером, в этот день, когда мы с ним прочитывали в корректуре ту же статью, Федор Михайлович, отпуская меня домой, сказал, вынимая кошелек из кармана:

— Сделайте мне божескую милость, возьмите вот этот рубль и купите мне где-нибудь по дороге коробочку папирос-пушек, если можно Саатчи и Мангуби или Лаферм, и спичек тоже коробочку, и пришлите все это с мальчиком.

Я купила ему папиросы и спички и, кроме того, на последние свои два двугривенных (я получала по десяти рублей каждую неделю по выходе нумера) купила пяток апельсин, так как Федор Михайлович перед тем только что жаловался, что ему страшно хочется пить, — и снова поднялась по мосткам * в типографию, чтобы передать покупки и сдачу. И может быть, думала я, он возьмет мои апельсины!.. Мысль об апельсинах очень занимала меня. Забавно и радостно было думать, что вот именно я, какая-то никому не известная «корректорша»... и угощаю знаменитого на всю Россию писателя... на последние два двугривенных!

Федор Михайлович все еще сидел за конторкой и тем же ласковым голосом поблагодарил меня «за внимание». Тогда я решилась предложить ему мешок с апельсинами.

— Что же это вы жертвы мне приносить начинаете? Чем это я заслужил? За что именно? — шутил он.

— Ни за что, Федор Михайлович. Просто вспомнила, что вы пить хотели.

— Пить я действительно очень хочу. И потому, так уж и быть, пару возьму с удовольствием. А я вот вам *за*

---

* Дом, где помещалась тогда типография Траншеля (теперь ресторан Палкина), тогда перестраивался, и лестницы уже не было. И Федора Михайловича и меня спускали и поднимали тогда рабочие на руках. И однажды ночью, спускаясь таким образом, с фонарями и на руках, я увидела на тротуаре толпу любопытных, которые с волнением спрашивали друг у друга: «Что это значит? Похищение, что ли? Или пожар?» — «Никакого пожара нет, — отвечали рабочие, — барышня здесь газету печатает...» (*Примеч. В. В. Тимофеевой.*)

это комплимент по адресу нынешних женщин пишу, — полушутя, полусерьезно прибавил он. — Никогда еще современную женщину не хвалил. А теперь вот хочу похвалить.

И на другой день, утром, я прочла в корректуре приписанный им в мое отсутствие конец «Дневника писателя»:

«...А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине всё это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее,* чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб *казаться.* Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»

Два дня спустя после этого Федор Михайлович пришел в типографию с мешком дорогих французских дюшес.

— Сегодня у меня гости, поэтому разорился, но вот вас первую хочу угостить, — сказал он мне, подавая мешок. — Возьмите, попробуйте. Дюшесы хорошие. Я всегда у Эрбера покупаю.

В такой деликатной форме отплатил он мне за мое простодушное угощение апельсинами.

XI

В конце августа типографию перевели в собственный дом Траншеля на Стремянной (№ 12); но так как новое здание, выстроенное на дворе, еще красили и штукатурили и ходить туда по лесам, особливо в ненастную погоду, не всегда бывало удобно, мне предложили на время читать корректуру в мезонине деревянного домика *, выходившего на Стремянную, где помещался сам Траншель

* В 1903 году этот деревянный домик уже заменен новым каменным зданием. (*Примеч. В. В. Тимофеевой.*)

с семейством. Мезонин этот, помнится, состоял из двух комнат, из которых первая, полутемная, была загромождена разной рухлядью — макулатурой, негодными литографскими станками, ящиками с старым шрифтом и картонками со старыми шляпками m-me Transchel. А в другой, крохотной комнатке, поставили для меня маленький рабочий столик и один-единственный соломенный стул.

Словом, далеко не веселое помещение.

Помню, что в первый вечер, — вечера уж были осенние, темные, — мне как-то жутко было даже одной на этой вышке, вдали от людей, от привычного шумного оживления рабочих часов и от незабвенных бесед с Федором Михайловичем. Мне казалось, я точно в изгнании или в ссылке. С Федором Михайловичем мы не виделись уже несколько дней. Он был болен, корректуры посылались ему на дом, нумер только что начинался, и никто не ждал его в типографию, тем более что накануне у него был припадок и корректуру принесли от него обратно нечитанною.

И вдруг, в первый же вечер моего унылого новоселья, когда я сидела там одна за работой, я услыхала где-то в глубине его голос:

— Где вы?.. Здесь так темно, что я ничего не могу разобрать!..

Я бросилась к нему навстречу, и мне пришлось вести его за руку через всю комнату, между всякого хлама.

— Вот вы где! — как-то особенно выразительно и тепло сказал он. Точно убогая обстановка, в которой мне приходилось работать одной, возвысила меня в его мнении и придала мне новую цену...

Пришел вслед за тем и М. А. Александров с корректурами и расчетом статей для нумера. Принесли снизу, от Траншеля, другой стул — для Федора Михайловича. Но работать в этот вечер он так и не мог. Руки его дрожали от слабости, когда он взялся за перо; он то и дело проводил рукой по лицу с выражением полного изнеможения и наконец вынужден был сознаться, что совсем не в силах читать.

— Нет, уж я лучше уйду! — слабым голосом сказал он, вставая. — Голова кружится, не вижу ничего. Дня два посижу еще, а кончать приду сюда к вам, на чердак.

Он стал было надевать пальто и не мог справиться с его тяжестью. Я помогала ему.

— Вы точно сестра милосердия со мной возитесь, — говорил он, и при этом опять неверно назвал меня по

отчеству, сейчас же сам заметил ошибку и стал бранить себя за «гнусную, отвратительную рассеянность».

— Ах, да не все ли равно, Федор Михайлович! — заметила я с желанием успокоить его. Но вышло еще хуже.

Федор Михайлович выпрямился, глаза его гневно вспыхнули, и голос поднялся знакомым мне раздражением:

— Как «не все ли равно»! — вскипел о н . — Никогда не смейте больше так говорить! Никогда! Это стыдно! Это значит не уважать своей личности! Человек должен с гордостью носить свое имя и не позволять никому — слышите: *ни-ко-му!* — забывать его...

Я должна была торжественно обещать, что никому больше не позволю, и, попросив его присесть на минутку на ящик с макулатурами, побежала вниз позвать когонибудь, чтобы проводили Федора Михайловича домой на извозчике. И с ним поехал тогда «Соловей», старик-батырщик типографии, всегда носивший ему корректуры. А в конце недели, как всегда, в воскресенье, часу в девятом, Федор Михайлович, уже бодрый и крепкий, слегка только покашливая, опять поднимался ко мне на «чердак», как он прозвал этот мезонин Траншеля.

— Скучно мне дома о д н о м у , — признавался он м н е , — с утра до ночи все один да один. Тянет сюда. Как день не побываю, будто чего-то недостает.

То же чувствовала и я. Наша работа и наше одиночество невольно сближали нас.

В этот вечер он был особенно оживлен. Каким-то вдохновением веяло от него. И только что вошел — начал «перестраивать» комнату.

— Нам сегодня придется с вами долго р а б о т а т ь , — оживленно говорил о н , — поэтому давайте устроим все поудобнее. И прежде всего переставим стол этот так — поперек стены, а не вдоль. Так будет нам обоим лучше, просторнее. Сядем друг против друга. Лампу поставим сюда, посредине. Ну-с, хорошо. Теперь надо подумать о чае. Кого-нибудь надо послать в т р а к т и р . — Он вынул деньги. Я сходила вниз к Траншелю, оттуда послали в трактир, и нам принесли пару стаканов, огромный трактирный чайник кипятку, чаю и сахару. И мы с Федором Михайловичем пили чай «по-братски» и «как товарищи».

Мы проработали с ним вдвоем всю ночь — вплоть до рассвета. И эта ночь запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Этот «чердак», общий умственный труд, полное

уединение с глазу на глаз с таким писателем, как Достоевский, — во всем этом была для меня какая-то особенная духовная красота, какое-то ни с чем не сравнимое упоение.

Шторы были спущены. Жестяная лампа с картонным колпаком освещала только нашу работу и наши бледные, усталые и в то же время разгоряченные лица. Все остальное было в тени, как на картинах Рембрандта. И весь мир — где-то на другом полушарии... Мы сидели друг против друга за маленьким столом, где было так тесно и неудобно работать, но где мы с увлечением и работали и говорили. Собственно, говорил он один, а я только с жадностью слушала и внимательно запоминала каждое его слово. Он курил, — он всегда очень много курил, — и мне видится до сих пор его бледная и худая рука, с узловатыми пальцами, с вдавленной чертой вокруг кисти, — быть может, следами каторжных кандалов, видится, как рука эта тушит докуренную толстую папиросу, — и жестяная коробка из-под сардинок, доверху наполненная окурками его «пушек». Мне видится, как лампа начинает постепенно меркнуть, и бледный утренний свет заливает всю комнату, и как Федор Михайлович, положив ногу на ногу, охватив колено руками, — точь-в-точь на портрете Перова, — пытливо глядит мне прямо в лицо и говорит своим напряженно-глухим грудным голосом:

— Вот мы с вами сидим тут, на этом чердаке, работаем до белого дня, а сколько людей теперь веселятся, беспечно жуируют вокруг нас! И в голову им даже никогда не придет, что вот вы — молодая, а не променяете вашей жизни на их... Ведь не променяете ни за что вы этой трудной вашей жизни на их — легкую и веселую?

— Не променяю!..

— Ну, вот видите! Значит, правда! Значит, есть нечто высокое, благородное и святое в этой жизни труда? — все так же напряженно, с тихим жаром говорил он, точно доказывая кому-то истину своих мыслей.

— Есть! — откликнулась я с волнением. Меня волновал его голос и волновали слова. Сколько раз я думала то же самое! Но теперь я думала не о себе, а о нем — о красоте душевной этого человека... Знаменитый писатель, больной — и по доброй воле делил теперь со мной эту тяжелую жизнь, чтоб облегчить хоть на миг для меня ее гнетущую тяжесть... Он внушал мне в эти минуты благоговение и любовь без границ. И это было такое могучее, радостное чувство подъема и веры в себя и в людей

и благословения — этой трудной, тяжелой, но истинно человеческой жизни!..

— И вот представьте теперь себе, — с возрастающим воодушевлением продолжал между тем Федор Михайлович, — представьте, что с вами случилось что-нибудь в таком роде... Я недавно узнал такой случай. Нынче весною — вот как теперь, на рассвете — возвращались с ужина после акта трое юношей — правоведы. Но не были пьяны — отнюдь! — все были трезвы и даже вели между собой возвышенный разговор и читали стихи... Ну там, декламация из Шиллера, гимн Радости и Свободе...[27] Самые чистые и возвышенные слова говорили, как подобает юности с идеалом в душе. И вот на Невском, где-то тут, подле нас, подле церкви Знамения, попалась им навстречу женщина, — из тех, которые ночью гуляют, потому что это их промысел, они только этим и существуют... И вот эти юноши — в возвышенном настроении и *с идеалом в душе* (любимое выражение Федора Михайловича, которому он придавал различные значения посредством оттенков голоса), — почувствовав необычайное омерзение к этой женщине, истасканной, набеленной и нарумяненной, торговавшей собою... такое вдруг почувствовали к ней омерзение и такую свою необыкновенно высокую чистоту, что плюнули ей — все трое — в лицо. И были за это все трое привлечены в участок, к мировому. Я их там видел и слышал — еще розовые и почти без усов. И вот там они, в камере мирового судьи, не желая платить штраф за бесчинство и личное оскорбление, красноречиво, по всем правилам высших наук защищали свое *«законное право»* поступить именно так, как они поступили, в порыве благородного негодования «на эту истасканную продажную тварь»...

Он замолчал, как будто припоминая, что было дальше, потом слегка наклонился ко мне и сказал, выразительно растягивая слова, чтобы дать мне почувствовать всю их силу:

— Каковы же должны быть у этих людей понятия о «возвышенных идеалах», если могли они совершить такую пошлость и низость!.. И потом еще защищать свое законное право на основании высших наук!.. Ну, а если б ошиблись они! Если б не эту женщину они встретили, а если б это вы им попались навстречу и ваше утомленное работой и бессонной ночью лицо показалось бы им развратно-изношенным, — и они *вам* плюнули бы в лицо!..

Я невольно вздрогнула при этих словах и на минуту закрыла лицо рукою.

— Вы только представьте это себе! — возбужденно продолжал он, как бы электризуясь моим волнением. — Вы, гордая, чистая девушка, труженица, усталая и измученная, после целых суток труда, — вы идете одна — и вдруг вам плюнут в лицо, потому что оно *показалось* недостаточно чисто или свежо!..

— А знаете, — закончил он вдруг с своей судорожно-измученной и как будто жестокой улыбкой, — знаете, я бы даже хотел, чтобы это *с вами* случилось. Какую бы я вам тогда в защиту речь написал! Как бы я их *испотрошил* тогда, этих возвышенно-благородных идеалистов, плюющих на женщину, декламируя Шиллера после ужина у Дюссо!..

XII

Это было последнее наше ночное сотрудничество с Федором Михайловичем. Осенью, с возвращением семьи, он и реже стал заходить в типографию, и не так уже долго засиживался там. Да зачастую, когда он заходил в рабочие часы, ему негде бывало даже присесть в тесной и душной каморке, служившей в одно время и корректорской, и канцелярией фактора, и конторой самого Траншеля, где он принимал своих многочисленных заказчиков.

Федор Михайлович приходил теперь чаще всего по вечерам, в последние дни недели, после восьми, когда типография затихала и оставались только мы, «журнальные»; проработав со мной за одним столом часа два или три, он поручал мне потом сверку своих поправок, всякий раз прибавляя при этом:

— Так уж я на вас надеюсь!..

Теперь он редко принимал в типографии и знакомых ему сотрудников. По крайней мере, за всю эту зиму, я помню, приходил раза два только Александр Устинович Порецкий, с которым Федор Михайлович познакомил тогда и меня и много рассказывал мне про его «несравненную душевную чистоту и истинно христианскую веру».

— К этому человеку я питаю особенное доверие, — признавался мне Федор Михайлович, — во всех тяжелых, сомнительных случаях моей жизни я всегда обращаюсь к нему и всегда нахожу у него поддержку и утешение.

Если в конторе кроме меня и М. А. Александрова был хоть один человек, Федор Михайлович угрюмо молчал и оставался непроницаемо-недоступен для всех.

И иногда мне случалось быть невольной свидетельницей забавно-драматических положений, когда, например, приходили разного рода заказчики и, не подозревая, кто этот угрюмо-молчаливый «субъект», выкладывали начистоту перед ним свою «психику».

Так было однажды с одним беллетристом[28], только что вернувшимся перед тем из ссылки за «увлечение» — в виде растраты каких-то не своих сумм — и печатавшим у Траншеля первое «Собрание» своих сочинений. При прежней редакции в «Гражданине» часто помещались его статьи, стихи и рассказы самой разнообразной «художественности» — то строго пуристические, в назидательном жанре, то «откровенные» до того, что их противно было читать в корректуре. Кроме того, эти ultra-художественные произведения иногда были написаны (или — для типографии — переписаны) на оборотной стороне каких-то любовных посланий, из которых, помню, одно начиналось: «Глубокоуважаемая княгиня, дорогая Annette»; помню особенно потому, что наборщик, приняв это тоже за «оригинал», набрал и вставил в середину статьи статистического обзора рыбной промышленности в нашем северном крае.

«Художественный» роман этого беллетриста, печатавшийся в «Гражданине» прежней редакции, так и остался там неоконченным, потому что Федор Михайлович решительно воспротивился помещению его окончания.

И вот этот самый беллетрист, очевидно не знавший в лицо Федора Михайловича, не подозревая, кто это сидит рядом со мной за столом, на соломенном стульчике, согнувшись над корректурою, битый час, захлебываясь, хвастался перед нами своей необычайною «знаменитостью», как его «хвалят и величают» в газетах, как им «восторгаются» и дамы и барышни в салонах и будуарах, как его «чествуют» в разных обществах и кружках, и даже в каком-то клубе какой-то соус был назван заглавием его «знаменитых» рассказов...

— Одним словом, — не переводя духа, рассказывал он, — я теперь в Петербурге то же, что лорд Редсток. Приглашения нарасхват. Не успеваю везде бывать. Одни зовут на обед, другие — на раут, третьи — чтоб я им прочел или стихи, или прозу... Одним словом, я уже теперь всех наших светил обогнал, начиная с Тургенева и кончая самим Достоевским!..

И можно представить себе эффект, когда вслед за тем в контору к нам вошел метранпаж Александров с какою-то рукописью и, обращаясь к Федору Михайловичу, назвал его громко по имени:

— Как вы желаете, Федор Михайлович, куда поместить эту статейку, — *после князя* * или после «Иностранных событий»?

Федор Михайлович невозмутимо заговорил с метранпажем, а «знаменитый» беллетрист как ошпаренный бросился со всех ног из конторы.

Когда разошлись все «лишние», Федор Михайлович поднял голову и заметил с улыбкой:

— А прелюбопытные экземпляры иногда бывают у Траншеля.

Лично для меня посещения Федора Михайловича были единственным светлым лучом в этом «темном царстве» [29]. С радостным трепетом заслышишь, бывало, его шаги в наборной... Потом нетерпеливо ждешь его появления... И когда увидишь в дверях слегка сутулую фигуру в пальто и калошах и бледное, измученное, всегда полное мысли, *писательское* лицо, с тревогой, бывало, следишь за ним, пока он раздевается тут же в углу, и по тому, *как* он снимает пальто и калоши, как он кашляет и вздыхает, как взглянет впервые, — стараешься угадать, *какой* он пришел: *добрый* или *сердитый?* Если сердитый и раздражительный, знаешь, что лучше молчать и «не трогать его», то есть делать вид, что не замечаешь его присутствия. А если добрый — можно и улыбнуться и пошутить. Тогда он сам начнет разговаривать и подшучивать над тем, как я сижу, как читаю...

— Точно сзади вас гувернер строгий-престрогий с розгой стоит...

Тогда, как искры, полетят от него разнообразные интонации, слова, замечания, то сравнения, то стихи, то воспоминания...

И часа два или три промелькнут как минуты. Забудешь и духоту и усталость... И вдруг придет в голову: «А ведь никто и не знает, с кем я тут сижу, разговариваю... *с Достоевским!..»*

XIII

Если в конторе не было посторонних, Федор Михайлович по-прежнему писал вслух свои «Дневники». Иногда он рассказывал свои впечатления, события дня. Именно

---

* Типографский жаргон, то есть после *«статьи* князя». (*Примеч. В. В. Тимофеевой.*)

в это время, помню, рассказывал он мне «историю» своей встречи с известным автором «судебных рассказов» А. Шкляревским. Встреча эта произвела на Федора Михайловича такое болезненно-тяжелое впечатление, что он, по-видимому, долго не мог от него освободиться.

Дело было так. Шкляревский летом однажды зашел к Достоевскому и, не застав его дома, оставил рукопись, сказав, что зайдет за ответом недели через две. Федор Михайлович, просмотрев рукопись, сдал ее, как всегда, в редакцию, где хранились все рукописи — и принятые и непринятые. О принятии рукописи известить автора Федор Михайлович не мог, так как Шкляревский, будучи всегда в разъездах и не имея в Петербурге определенного места жительства, адреса своего не оставлял никому.

Прошло две недели. Шкляревский заходит к Федору Михайловичу — раз и два — и все не застает его дома. Наконец в одно утро, когда Федор Михайлович, проработав всю ночь, не велел будить себя до двенадцати, слышит он за стеной поутру какой-то необычайно громкий разговор, похожий на перебранку, и чей-то незнакомый голос, сердито требующий, чтобы его «сейчас разбудили», но Авдотья, женщина, прислуживавшая летом у Федора Михайловича, будить отказывается.

— И наконец они такой там подняли г а м , — рассказывал мне Федор Михайлович, — что волей-неволей я вынужден был подняться. Все равно, думаю, не засну. Зову к себе Авдотью. Спрашиваю: «Что это у вас там такое?» — «Да какой-то, говорит, мужик пришел — дворник, что л и , — бумаги чтобы сейчас ему назад, требует. Сердитый такой — беда! Ничего слушать не хочет. И ждать не хочет. Непременно чтобы сейчас бумаги ему отдали». Я догадался, что это кто-нибудь от Шкляревского. Скажи, говорю, чтобы подождал, пока я оденусь. Я сейчас к нему выйду. Но только стал одеваться и взял гребенку в р у к и , — слышу, рядом, в гостиной, опять ожесточеннейший спор. Авдотья, видимо, не знает, что отвечать, а посетитель, видимо, дошел до белого каления, потому что не так же я уж долго одевался и причесывался, а он, слышу, кричит на весь дом: «Я не мальчишка и не лакей! Я не привык дожидаться в прихожей!..» А у меня, надо вам с к а з а т ь , — пояснил Федор Михайл о в и ч , — мебель в гостиной на лето составлена в кучу и покрыта простынями, чтобы не пылилась, потому что летом некому ее убирать. Ну вот, услыхав, что мою гостиную принимают за прихожую, я не выдержал, поин-

тересовался узнать, кто именно, и приотворил слегка дверь. Вижу: действительно, не мальчишка, человек уже пожилой, небритый; одет как-то странно: в пальто и ситцевой рубахе, штаны засунуты в голенища, в смазных сапогах. Я все-таки почтительно ему кланяюсь, извиняюсь и говорю: «Не кричите, пожалуйста, на мою Авдотью, — Авдотья тут решительно не виновата ни в чем... Я запретил ей будить себя, потому что работал всю ночь. Позвольте узнать, что вам угодно и с кем имею удовольствие?..» — «Скажите прежде всего вашей дуре кухарке, что она не смеет называть меня «мужиком»!.. Я слышал сейчас собственными ушами, как она назвала меня «мужиком». Я не мужик, я — писатель Шкляревский, и мне угодно получить мою рукопись!» — «Великодушно прошу извинить Авдотью за то, что она по костюму приняла вас не за того, за кого следовало... А относительно рукописи я вас прошу обождать пять минут, пока я оденусь. Через пять минут я к вашим услугам...» И представьте себе, он не дал мне даже договорить! — с удрученным видом продолжал Федор Михайлович. — Кричит свое: «Я не хочу дожидаться в прихожей! Я не лакей! Я не дворник! Я такой же писатель, как вы!.. Подайте мне сейчас мою рукопись!» — «Вашу рукопись, — говорю ему, — вы получите в редакции «Гражданина», куда она сдана уже две недели назад с отметкой, что пригодна для напечатания...»[30] — «Я не желаю иметь дело с вашей редакцией «Гражданина»! Я отдал рукопись вам, а вы заставляете меня дожидаться в прихожей!.. Как вам не стыдно после всего, что вы написали!.. Вы — ханжа, лицемер, я не хочу больше иметь с вами дело!» Я было начал его просить успокоиться, — вижу, человек не в себе, — вышел следом за ним на лестницу. «Еще раз прошу извинения! — говорю ему вслед. — Не виноват же я, в самом деле, что вы мою гостиную принимаете за прихожую. Честью вам клянусь, у меня лучшей комнаты нет, я всех гостей моих в ней принимаю!..» Что же вы думаете? Он бежит бегом по лестнице и грозит мне вот так кулаком! «Подождите вы у меня! Я вас за это когда-нибудь проучу!.. Я это распубликую! Я вас разоблачу на весь свет!..»

Федор Михайлович взволнованно перевел дух и закончил уже с тонкой улыбкой:

— Странное самолюбие бывает иногда у людей! Писатель одевается для чего-то, как дворник, и сердится, когда его принимают за «мужика»! «Разоблачить» меня

собирается!.. Вот уж чего бы никогда не подумал, — что мне можно поставить в вину, что, гостиная моя напоминает прихожую, что швейцаров я не держу на подъезде!..

— Непременно этот Шкляревский из духовного звания. Сын дьячка или пономаря, — говорил мне опять Федор Михайлович день или два спустя. — У этих господ какой-то особый *point d'honneur* *. Помните вы эти стихи Добролюбова:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен...
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен...
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою;
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею...

Как по-вашему: есть тут нечто высокое? Возвышенное чувство или идея какая-нибудь особенная, моральный подъем? — И тут же за меня ответил с презрительной складкой на искривленных губах: — Не говоря уже о том, что это совсем не поэзия, — не только все это обыденно-пошло, но и совсем это не умно. Сейчас происхождение-то вот и сказалось! Только попович ведь и мог отмочить себе такую предсмертную эпитафию:

...Оттого, что был я честен...

Нашел чем хвалиться! Как будто честность — какая-то особенная доблесть, а не прямая обязанность каждого мало-мальски порядочного человека! И что это за *стезя* такая?..

«Шествуй тою же стезею»... Что же это — взяток, что ли, не брать «благословляет» он «милого друга»? А если милый-то друг его — тоже из духовного звания, к примеру сказать, — в сане хотя бы протодиакона или даже протоиерея, — тогда как же ему поступать? За требы, что ли, денег не брать? Ну, уж за это-то он непременно возьмет! — протянул он с неподражаемым юмором. — Да и нельзя ему не брать при теперешнем положении духовенства. Жить ему нечем будет, если не брать. Ну, и врожденный инстинкт тоже велит ему брать. Тут уже, так сказать, рок, с этим ничего не поделаешь. Вот и выходит, что все эти «благословения» — фальшь, пустая риторика, если не самохвальство.

Вероятно, и этот Шкляревский в таком же вот роде. А что попович — уж несомненно!

---

* гонор (*фр.*).

Впрочем, виноват, — мельком взглянув на меня, саркастически вставил он, — я, кажется, сейчас оскорбил ваши чувства... Вы, может быть, как *они,* за праведного мученика его почитаете, а я вдруг кощунствую!.. я с таким непочтением о *«господине — бове»*!.. Ну, что делать! А я все-таки иначе думать о нем не могу[31].

Я была поражена. Он решительно угадывал мысли! Даже не мысли, а какое-то безотчетное, неуловимое ощущение, именно «оскорбленное» чувство истины. Впервые, слушая Достоевского, я внутренно не соглашалась с ним, именно с тем, что он сказал мне о Добролюбове. Эти стихи его, которые Достоевский ядовито назвал «эпитафией», «самохвальством» и «фальшью», казались мне тогда самой искренней правдой. А в тоне и словах самого Достоевского мне впервые послышалось что-то *личное,* как будто отголосок давнишних его распрей с враждебными лагерями.

Мне хотелось скрыть от него невольное впечатление этих почти бессознательных выводов, — я не смела еще признаться в них самой себе, — а он уже все подметил и все разгадал!

И голос его сейчас же как будто оледенел, лицо подернулось тенью, — он весь точно замкнулся на ключ.

Впоследствии, отдавая себе отчет в этих впечатлениях, я не могла не сознаться, что, в сущности, «личное» говорило не в Достоевском, а во мне — не «чувство истины» оскорблялось во мне его словами — оскорблялась любовь к *моим* мнениям и пристрастиям. Вообще личная жизнь моя как бы заслоняла от меня мир его чувств, интересов и мыслей. Да и молодость тоже мешала воспринимать все как следует — глубоко и устойчиво. Иногда мне казалось даже, что он «увлекается», и я делала попытки ему возражать.

Так однажды, помню, он говорил мне за работой:

— *Они* там пишут о нашем народе: «дик и невежествен... не чета европейскому...» Да наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения — юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки — и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для *нашего* народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка, — и больше ничего. И эту-то «цивилизацию»

хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с н и м и , — не уступлю.

— Но ведь не *эту* же именно цивилизацию хотят перенести к нам, Федор Михайлович! — не вытерпела, помню, вставила я.

— Да непременно все ту же самую! — с ожесточением подхватил о н . — Потому что другой никакой и нет. Так было всегда и везде. И так будет и у нас, если начнут *искусственно* пересаживать к нам Европу. И Рим погиб оттого, что начал пересаживать к себе Грецию... Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением...

— Так как же тогда жить народам? Что же, строить китайскую стену?

Федор Михайлович сумрачно взглянул на меня исподлобья и отрывисто произнес:

— Ничего вы еще не понимаете! — и в этот день больше не хотел со мной говорить. Но прошел еще день, опять мы с ним остались одни, и опять он мне поверял свои мысли. Он, видимо, страдал своим духовным одиночеством, тем, что его не понимали и перетолковывали, и отводил себе душу, не сомневаясь в моих сочувствиях всему, что бы он ни сказал.

А между тем мне все трудней и трудней становилось сочувствовать и порой даже понимать его мысли. И иногда мне стоило труда сдержать невольную усмешку в ответ на его «прорицания»...

Со стыдом вспоминаю, как «дико» показалось мне, когда он однажды, читая корректуру своей статьи о Пруссии, о Бисмарке и папе [32], — заговорил вдруг тоном... тем самым тоном, над которым так зло, но и так остроумно смеялись знакомые мне «либералы»...

— *Они* и не подозревают, что скоро конец всему... всем ихним «прогрессам» и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился... и *идет!* — Он произнес это с таким выражением и в голосе и в лице, как будто возвещал мне страшную и великую тайну, и затем, окинув меня быстрым взглядом, строго спросил:

— Вы мне верите или нет? Я вас спрашиваю, отвечайте! Верите или нет?

— Я вам верю, Федор Михайлович, но я думаю, что вы увлекаетесь и потому невольно преувеличиваете...

Он стукнул рукой по столу, так что я вздрогнула, и, возвысив голос, прокричал, как мулла на своем минарете:

— Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близко, — ближе, чем думают!

Это показалось мне тогда почти «бредом», галлюцинацией эпилептика... «Мания одной идеи... марот... *» — слышалось мне, как отголосок кем-то сказанных слов... Ну, как поверить в конец мира и приближение антихриста, когда только что начинаешь мыслить и жить, когда видишь перед собой неисчерпаемый рудник разного рода познаний, когда будущее — Бог его знает почему! — представляется какой-то лучезарной дорогой прямо на солнце!..

И я сидела против него с моей нелепо-иронической усмешкой... А может быть, — кто знает! — может быть, именно в эту ночь ему *виделся* дивный «Сон смешного человека» или поэма «Великого инквизитора»!..

XIV

После этого разговора Федор Михайлович как-то вдруг замолчал и с каждым разом становился мрачнее и раздражительнее. И мы просиживали теперь рядом или друг против друга целые вечера, не обменявшись ни единым словом. «Здравствуйте!» — «Прощайте!» — говорил он, подавая мне опять безжизненно-вялую, сухую и холодную руку.

Раза два я пробовала заговорить с ним сама; но он или делал вид, что не слышит, или отвечал ледяным голосом «да...», «нет...». И порой мне начинало казаться, что он умышленно подчеркивает эту перемену в наших отношениях, чтобы дать мне живее почувствовать беспредельную разницу между мною и им. «Знаменитость свою мне доказывает!» — с иронией думала я тогда о нем. Но потом взглянешь, бывало, на его худые, бледные, точно *святые* какие-то руки, с этим желобком вокруг кисти, всегда напоминавшим мне цепи и каторгу, и снова поймешь, что он не может сделаться похожим на всех «знаменитых», которых я видывала до сих пор в моей жизни... «Просто занят он чем-нибудь... Думает, пишет. Или болен, и не может писать и страдает от этого», — думала я о нем и тоже молчала.

Не знаю, что переживал в это время Федор Михайлович, но именно в это мрачно-молчаливое время он

---

* одержимость, мономания (от *фр.* marotte).

только раз обратился ко мне, поднял на минуту глаза от корректуры «Иностранных событий»[33] и проговорил холодным, отрывистым голосом:

— А как это хорошо у Лермонтова:

Уста молчат, засох мой взор.
Но подавили грудь и ум
Непроходимых мук собор
С толпой неусыпимых дум...[34]

Это из Байрона — к жене его относится, — но это не перевод, как у тех, — у Гербеля и прочих, — это Байрон живьем, как он есть. Гордый, ни для кого не проницаемый гений... Даже у Лермонтова глубже, по-моему, это вышло:

Непроходимых мук собор!

Этого нет у Байрона. А сколько тут силы, величия! Целая трагедия в одной строчке. Молчком, про себя... Одно это слово «собор» чего стоит! Чисто русское слово, картинное. Удивительные это стихи! Куда выше Байрона! Я про этот стих один говорю...

И опять замолчал надолго.

Так и прошла вся зима — вплоть до Нового года. На Новый год Федор Михайлович прислал мне в подарок — с М. А. Александровым — экземпляр своего «Идиота», с собственноручною надписью. Не помню в точности, что́ именно он мне тогда написал, так как эту книгу — первый том с автографом — у меня потом вскоре украли, но помню, что надпись эта неприятно поразила меня своею шаблонностью. От такого человека, как Достоевский, невольно ждалось всегда чего-то особенного, необыкновенного, не похожего на других. Да и после всех наших бесед и дружеских излияний я считала себя вправе ожидать чего-то иного. Мне даже почудилось, что этой чопорной надписью он хотел меня уколоть, как он колол иногда, чем-нибудь недовольный мною, поручая сверку своих корректур метранпажу «помимо корректора». Книгу свою он обещал подарить мне давно, когда я заслуживала, вероятно, больше внимания моим безмолвным соглашением со всем, что бы он ни сказал. А теперь я вдруг начала «бунтовать» — спорить с ним, отстаивать *свои* взгляды и впечатления, даже скептически улыбаться, — и ему захотелось меня *наказать...*

Но, не чувствуя себя ни в чем перед ним виноватой, я не желала чувствовать себя и «наказанной», и в первый раз, как только увиделась с ним в типографии, я вместе

с благодарностью откровенно высказала ему мои впечатления от его подарка.

— Но что же вам показалось неприятно и оскорбительно? — с *напускным* изумлением спросил он. И я поняла, что я не ошиблась: он хотел «уколоть» и теперь был доволен, что *попал в цель.*

— А то, что вы написали мне «фразу». А вы ведь никогда не говорите и не пишете фраз. За что вы можете *меня* «глубоко уважать»? Вы меня вовсе не знаете. Написали бы просто: «В. Т. — Достоевский», — я бы осталась больше довольна.

Федор Михайлович молча смотрел на меня — точно впервые заметил, что я сижу перед ним.

— Во-от гордость-то! Не ожидал! — проговорил он с улыбкой скорее одобрения, чем порицания, и начал доказывать, почему это «вовсе не фраза».

— Вы женщина-труженица, вы живете, ни от кого не завися, на свой собственный труд, — как же я могу вас не уважать, и даже именно «глубоко уважать»...

И потом, когда сама я уже позабыла эту невольную вспышку чувства особенно свойственного ему щекотливого самолюбия, — он сам напомнил о ней еще раз:

— Да, вот еще, чуть было не забыл! — заговорил он среди работы, — я читал вчера Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и нашел там одно место, — рассказ Мавры Тимофеевны, — совершенно про вас:

...Я потупленную голову,
Сердце гневное ношу![35]

Федор Михайлович прочел это с большой энергией и опять повторил:

— Совсем это про вас сказано. Я так вчера и подумал, что это про вас.

XV

Спустя несколько дней Федор Михайлович пришел раньше обыкновенного, часов в семь, с таким оживленным лицом, какого давно я уже у него не видала, — и только что сел — обратился ко мне со словами:

— Сейчас придет сюда князь М<ещерский>. Мне надо с ним объясниться с глазу на глаз. Оставьте, пожалуйста, нас вдвоем. Побудьте пока хоть в наборной. Скажите и фактору от меня — пусть нам не мешает. Я скоро с ним кончу, — всего каких-нибудь десять минут, не более.

Когда князь ушел и я снова вернулась на прежнее место, Федор Михайлович объявил мне, что он, «слава Богу, скоро уж не будет больше редактором «Гражданина» [36].

— И я так этому рад, что вы и представить себе не можете. Точно камень с души у меня свалился. Свободы хочу. *Свое* писать начал. Теперь я жду сюда Александра Устиновича (Порецкого). Нам нужно сегодня с ним к Майкову. Так уж я надеюсь на вас! — прежним дружеским тоном заключил он.

Порецкому Федор Михайлович с первых же слов радостно возвестил ту же новость. При этом он как-то внезапно преобразился. Исчезла вся его строгость и замкнутость. Он шутил, рассказывал анекдоты, литературные воспоминания давних лет... И тут я впервые подробно услышала, как их, «петрашевцев», привозили на Семеновский плац, ставили к столбу и читали над ними приговор к смертной казни. И как потом, сидя в крепости, он получил от брата Библию и началось в нем «духовное перерождение». И он вполголоса, с мистическим восторгом на лице, тут же прочел тогда свои «любимейшие» стихи Огарева:

Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка... [37]

За Огаревым последовали другие. Федор Михайлович встал, вышел на середину и с сверкающими глазами, с вдохновенными жестами — точно жрец пред невидимым жертвенником — читал нам «Пророка» сначала Пушкина, потом Лермонтова.

— Пушкина я выше всех ставлю, у Пушкина это почти *надземное,* — говорил о н , — но в лермонтовском «Пророке» есть то, чего нет у Пушкина. Желчи много у Лермонтова, — его пророк — с бичом и ядом... Там есть они!

И он прочел с желчью и с ядом:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья, —
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...

И когда дошел до стиха:

Глупец — хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами! —

Федор Михайлович покосился на меня, как бы желая поймать — опять! — «дурную», скептическую улыбку.

Корректурные оттиски, сырые и пропитанные скипидаром, лежали перед нами на столе, но мы их не читали... Вихрь поэзии, так неожиданно налетевший на Достоевского, захватил и нас вместе с ним.

...Сладкой жизни мне немного
Провожать осталось дней;
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей...[38] —

мрачным, как бы умирающим голосом читал он и под конец опять сказал то же лермонтовское — из Байрона:

...Непроходимых мук собор... —

на этот раз сказал всю пьесу с начала до конца, и с такой выразительностью, точно это было не из Байрона или Лермонтова, а из самого Достоевского, его собственное признание... которое лицу постороннему, пожалуй, неловко было и слушать.

До сих пор стоит у меня в ушах, как он два раза повторил:

Лишь знаю я — и мог снести! —
...И мог снести! —

и как голос его вдруг оборвался и жалобно дрогнул, как будто заглушенный рыданием, когда он шептал:

Прости! прости!..

— Однако в каком вы сегодня поэтическом настроении, Федор Михайлович! — заметил Порецкий.

Замечание это подействовало на Федора Михайловича как ушат холодной воды. Он сразу нахмурился и умолк, потом взглянул на часы и заторопился к Майкову.

— Помните, я вам как-то давно обещал литературные вечера? — сказал он, прощаясь со мною. — Ну, так сегодня пусть это будет первый — в задаток будущих!

Как-то вскоре потом, встретившись у знакомых с одним из «тонких ценителей всех изящных искусств», покойным М. А. Кавосом, я стала рассказывать ему, как «чудно» читает пушкинские стихи Достоевский, но Кавос сделал гримасу, невольно напомнившую мне Траншеля.

— Грешный человек, — сказал он, — не верю я, что он может хорошо прочесть Пушкина. Вот свои «Записки из подполья» он, пожалуй, прочтет хорошо. Не любитель я его лазаретной музы, а это и я бы послушал.

Я не читала этих «Записок» — и призналась в своем невежестве.

— У-у! Самый ужасающий мрак и зловоние больничной палаты. Но сильно! Самая сильная вещь, по-моему. Советую прочитать! — изрек мне тогда этот меценат и любитель «прекрасного».

И я впервые тогда прочла этот ад и пытки самобичевания, самоказни, — и впечатление было особенно тяжело для меня потому, что сначала я никак не могла разъединить в моем сознании личность автора от героя «Записок» — и благоговение к «пророку Достоевскому» невольно сменялось то восторгом к художнику-психологу, то отвращением к чудовищу в образе человека, то ужасом от сознания, что это чудовище дремлет в каждом из нас, — и во мне, и в самом Достоевском...

Помню, что не спала целую ночь и, встретившись в то же утро с Федором Михайловичем в типографии, я не выдержала, — заговорила впервые сама о его сочинениях:

— Всю ночь сегодня, — сказала я, — читала ваши «Записки из подполья»... И не могу освободиться от впечатления... Какой это ужас — душа человека! Но и какая страшная правда!..

Федор Михайлович улыбнулся ясной, открытой улыбкой.

— Краевский говорил мне тогда, что это — мой настоящий chef d'oeuvre * и чтобы я всегда писал в этом роде, но я с ним не согласен. Слишком уж мрачно [39]. Es ist schon ein überwundener Standpunkt **. Я *могу* написать теперь более светлое, примиряющее. Я пишу теперь одну вещь... [40]

XVI

С тех пор и уже до конца Федор Михайлович не изменял своих отношений ко мне, — разве стал еще добрее и проще. По временам он опять расспрашивал, где я бываю, что делаю, — и я без смущения рассказывала ему как учителю-другу. И однажды, помню, передавая ему мои наблюдения и беседы с наборщиками (он советовал мне записывать их), я сообщила ему между прочим, что один наборщик, из дворян-однодворцев, служивший перед тем писарем в главном штабе, второй год уже состоит под судом за «покушение на оскорбление действием дежурного офицера при исполнении им служебных обязанностей».

---

* шедевр (*фр.*).

** Это уже преодоленная точка зрения (*нем.*).

— Я не заметил, как он в о ш е л , — рассказывал мне этот н а б о р щ и к, — не встал и не отдал чести. Офицер этот и раньше ко мне всегда придирался. А тут, ни слова не говоря, хотел прямо в зубы! Я только вытянул р у к у , — защищался р у к о й , — я, говорю, дворянин, вы не имеете права! — и дотронулся слегка рукой до его погона... Свидетелей не б ы л о , — я был один в канцелярии... Ну, он сейчас закричал... Созвали команду... «Взять под стражу! Отвесть на гауптвахту!..» Я понял, что я погиб: моим показаниям никто бы не поверил. Оставалось одно — прикинуться сумасшедшим, изобразить аффект. Я стал бросаться на конвойных... Одного искусал... Назначили суд. На суде я говорил как будто в бреду, а между прочим, все мотивы им выложил... Отдали под судебно-медицинский надзор; на тринадцатой версте целый год состоял под этим надзором. Два раза освобождали, и еще одно испытание предстоит...

И несчастный боялся, что в третий раз, пожалуй, не выдержит.

— Или останусь навсегда в сумасшедшем доме, или сиделка донесет, что обманываю... и тогда расстреляют.

Мне было страшно его жалко, и по временам он мне казался действительно душевнобольным — с манией оскорбленного в своем достоинстве человека...

— Посоветуйте е м у , — сказал Федор М и х а й л о в и ч , — пусть он почаще трет себе лоб. Это все сумасшедшие делают. Первый признак мозгового расстройства. Скажите ему: пусть вот так, почаще трет себе лоб...

И Федор Михайлович показывал мне жестом, *как* надо это делать.

В свою очередь и Федор Михайлович опять стал посвящать меня в свои думы и планы. Я узнала тогда от него, что он пишет большой роман с героем в образе «ростовщика, который мстит этим обществу»... И однажды он попросил меня даже узнать «как-нибудь» у знакомых мне сотрудников «Отечественных записок», найдется ли для такого романа свободное место в их журнале в будущем году.

С этим вопросом я обратилась тогда к Г. З. Елисееву на одном из собраний так называемого «Итальянского клуба» * в ответ на его вопрос:

— Ну, что поделывает ваш Достоевский? Все с «Гражданином» нянчится?..

---

* Литературно-артистические вечера в складчину в одной частной квартире на Малой Итальянской улице[41]. (*Примеч. В. В. Тимофеевой.*)

Узнав, что Федор Михайлович пишет новый роман, Григорий Захарович сказал мне самым доброжелательным голосом:

— Пусть, пусть присылает. Место для него у нас всегда найдется.

Я сообщила эти слова Федору Михайловичу. Он, видимо, остался доволен, и роман его «Подросток» был напечатан в 1875 году в «Отечественных записках».

В это же время, помню, случилось мне раз читать при нем в типографии «Les Misérables» * Виктора Гюго. Он занят был исправлением в корректуре какой-то статьи, а я дочитывала последние страницы — кажется — второго тома, как вдруг услыхала его насмешливый, но и ласковый голос:

— Над чем это вы так убиваетесь, что даже не замечаете моего присутствия?.. А я сейчас должен уйти!..

Я дочитала и подала ему книгу. Он долго и с любопытством ее перелистывал.

— Представьте, что я этого никогда не читал![42] — проговорил он, видимо заинтересованный. — И какое чудесное издание: лондонское, — значит, без пропусков. Как это вы достали его?

— У знакомых взяла на несколько дней. Вот и тороплюсь теперь — читаю где ни попало.

— А что, если б я взял у вас эту книгу на одну только ночь? Завтра же возвращу вам ее обратно. На одну только ночь. Я книг никогда не зачитываю! — резко прибавил он, пристально глядя мне прямо в глаза. Я, разумеется, поспешила уверить его, что хотя книга и не моя, но лицу этому будет приятно, если он возьмет ее почитать. И Федор Михайлович, очень довольный, унес с собой этот, кажется, второй том «Les Misérables», историю Фантины (Fantine). Но в тот же самый день с ним произошел известный «казус», о котором я узнала *только неделю спустя* от самого Федора Михайловича.

— Знаете, где я все эти дни пропадал? — прошептал он мне «по секрету», как только мы остались вдвоем в конторе. — Под арестом сидел на Сенной, на гауптвахте. За пустяки!.. Так, один маленький редакторский грех...[43] И все это время я там читал вашу книгу, — смеясь, рассказывал он. — Книга эта как была у меня в кармане пальто, так меня с ней и засадили туда. И, благо-

* «Отверженных» (*фр.*).

даря этим «мизераблям», мне было превесело там. Не шутя говорю, — очень было мне там хорошо. Офицер там дежурный — преумнеющий. О романе моем «Преступление и наказание» говорил и вообще разговаривал со мной по душе. Навещать меня туда приходили, и кормили даже отлично. А кроме того, еще этот роман. Я читал его с наслаждением. Я вам теперь эту книгу принес, в доказательство, что я не имею привычки зачитывать, но — сказать вам по правде? — мне ужасно хотелось бы оставить ее совсем у себя. Эта книга мне будет теперь всегда напоминать мой арест... и как мне было там хорошо!

— Послушайте! — с детской улыбкой и увлечением заговорил он, беря меня за руку, — спросите, пожалуйста, этого вашего знакомого, не согласится ли он на обмен?.. Скажите, — я уже выписал себе точно такое издание, — но не может ли он оставить мне именно эту книгу. Скажите, что я очень его об этом прошу, что он сделает мне этим, ну, величайшее, величайшее одолжение!.. Попросите его, пожалуйста!

Собственник книги (Михаил Альбертович Кавос) «с величайшим удовольствием», хотя и не без удивления и, конечно, без всякой замены, согласился исполнить это «странное» желание Достоевского, и, по свидетельству Вс. С. Соловьева, Федор Михайлович «до последних дней своих восхищался этою книгой»... *

XVII

В конце марта (или начале апреля) 1874 года Федор Михайлович сложил с себя наконец тяготившее его редакторство. Сообщая мне это, он не скрыл от меня, что вряд ли я «уживусь» с новым редактором.

Ожидание этих перемен, в связи с другими, чисто личными моими невзгодами, отражалось, должно быть, у меня на лице. И в самый последний вечер нашей совместной работы Федор Михайлович шутливо сказал мне с своей милой, доброй улыбкой:

— Ну, что вы в таком унынии? Или жизнь прожить — не поле перейти?

Я намекнула ему, что у меня впереди — нечто очень тяжелое.

---

* «Исторический вестник» 1881 г., т. IV, март, с. 616. «Воспоминания о Ф. М. Достоевском»[44]. (*Примеч. В. В. Тимофеевой.*)

— И исхода нет?

— Без исхода.

— И кто виноват?

— Преступление и наказание! Ведь, по-вашему, так? — с невольной горечью вырвалось у меня.

— Кто виноват? — снова повторил он, не отвечая.

— Без вины виноватые, — в тон ему ответила я.

— Коварство и любовь виноваты? — подсказал он.

Я молчала; он вопросительно смотрел на меня.

— И эпилог, как у Стебницкого, — «Некуда»?

— Что делать!

Федор Михайлович рассмеялся.

— Однако, замечаете, — сказал он, — мы с вами говорим все время заглавиями литературных произведений? Это прелюбопытно! Все время — одними только заглавиями[45].

И он опять весело рассмеялся. Смех у него всегда был отрывистый и короткий, но в высшей степени искренний, добродушный. И он очень редко смеялся.

На прощанье Федор Михайлович выразил желание и надежду снова увидеться и работать вместе. И он так тепло говорил мне об этом, что я невольно ободрилась и, провожая его до лестницы через всю наборную, обещала ему, что, когда мне удастся написать что-нибудь достойное его внимания, я принесу ему на показ, *как учителю...*

Он уже спускался по лестнице — и вдруг, подняв голову, остановился, как бы желая что-то сказать. Но в эту минуту внизу распахнулась дверь, кто-то посторонний стал подниматься по ступеням мимо Федора Михайловича, и он успел мне только сказать:

— Ну... до свидания!..

Я не предчувствовала тогда, что это было наше *последнее* свидание, последний разговор мой с Федором Михайловичем.

Судьба присудила иное.

Предсказания Федора Михайловича сбылись вполне: с новой редакцией я «не ужилась». Осенью того же года журнал «Гражданин» вместе с метранпажем его, М. А. Александровым, перешли в типографию князя Оболенского. И когда Федор Михайлович зашел туда с каким-то заказом, он, по словам г. Александрова, «спросил» и обо мне. Но я осталась работать у Траншеля. Потом, год спустя, когда Федор Михайлович снова печатал у Траншеля отдельным изданием роман свой «Подросток», меня уже не было у Траншеля, и мне только передавали, что он опять «спрашивал» обо мне...

На этом и оканчиваются все личные отношения мои к Федору Михайловичу. И я скоро почувствовала, чего я лишилась с прекращением этих отношений...

Есть люди, которых оценишь вполне только после того, как утратишь. Вблизи они слишком захватывают и иногда подавляют своим обаянием, своей силой. Нельзя безнаказанно смотреть открытым глазом прямо на солнце — блеск его нестерпим, можно ослепнуть. Нужны темные стекла времени, чтобы увидеть светило своими собственными глазами...

К таким именно людям принадлежал и Федор Михайлович Достоевский.

На расстоянии сгладились все беспокойные и резкие черты, и мягко засияла неугасимо ровным, любящим светом эта пламенно-нежная, объединенная в своей высшей сложности, устремленная к одной высшей цели, многострадальная и глубокая личность писателя.

XVIII

Только два раза удалось мне потом издалека увидеть Ф. М. Достоевского. Оба раза это были для меня решающие эпохи моей духовной жизни, и точно яркие маяки стоят они в веренице моих воспоминаний.

Первый раз это было 9 марта 1879 года, на литературном вечере в пользу «Общества нуждающихся литераторов и ученых» [46]. На программе стояли имена Салтыкова, Полонского, Потехина, Достоевского и Тургенева. Я пошла на этот вечер, чтобы видеть и слышать одного Тургенева, а ушла с него под впечатлением одного Достоевского.

Салтыков начал вечер своей «Современной идиллией». Желчным, вяло-брюзгливым и монотонным голосом прочел он о том, как пришел Глумов и сказал, что «надо погодить», — и они начали пить водку, играть в карты, набивать папиросы и терять свою «образованность» в обществе нового друга их — околоточного, пока не обрастут когтями и шерстью.

Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворенной улыбкой. Все понимали, что значит это глумовское «надо погодить». Это значило: надо закупориться в мурье и не высовывать носа за дверь, так как тут же, сейчас, его могут у вас оторвать, а быть может, и вовсе лишить живота. Закупориться и ждать перемены

обстоятельств, благоприятной атмосферы для безопасного пребывания мирных обывателей вне мурьи на свободе, то есть на любой петербургской улице, не только на немощеной, но даже и на покрытой торцом и асфальтом. А доколе обстоятельства не переменятся, обывателям оставалось только играть в карты, пить водку и терять «образованность»... Ибо нельзя оставаться людьми и жить человеческой жизнью при современном порядке вещей...[47]

Потом еще что-то читали: потом был антракт. А после антракта первым вышел на эстраду Ф. М. Достоевский.

Глубокое волнение охватило меня, когда я увидела снова эту фигуру и это лицо, когда услыхала этот давно не слышанный голос. Разом вспомнилось все: наша работа за одним столом, ночные беседы «на чердаке», филиппики против «либералов» и таинственные возвещения об антихристе...

Он читал главу из «Братьев Карамазовых» — «Рассказ по секрету»[48], но для многих, в том числе и меня, это было чем-то вроде откровения всех судеб... Это была мистерия под заглавием: *«Страшный суд,* или *Жизнь и смерть»...* Это было анатомическое вскрытие больного гангреною т е л а , — вскрытие язв и недугов нашей притупленной совести, нашей нездоровой, гнилой, все еще крепостнической жизни... Пласт за пластом, язва за язвой... гной, смрад... томительный жар агонии... предсмертные судороги... И освежающие, целительные улыбки... и кроткие, боль утоляющие слова — сильного, здорового существа у одра умирающего. Это был разговор *старой* и *новой* России, разговор братьев Карамазовых — Дмитрия и Алеши.

Мне слышались под звуки этого чтения две фразы, всё объяснявшие мне и в Достоевском, и в нас самих. Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешептывались между собою:

— Маниак!.. Юродивый!.. Странный...

А голос Достоевского с напряженным и страстным волнением покрывал этот шепот...

— Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает *великая мысль*!

И этот проникновенный, страстный голос до глубины потрясал нам сердца... Не я о д н а , — весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал

сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий. И как наконец загремели эти рукоплескания...

Все хлопали, все были взволнованы. Эти внезапные рукоплескания, не вовремя прервавшие чтение, как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились все громче, все продолжительнее. Тогда он поднялся, как бы с трудом освобождаясь о сладкого сна, и, сделав общий поклон, опять сел читать. И опять послышался таинственный разговор на странную, совсем не «современную», даже «ненормальную» тему.

Верь тому, что сердце скажет!
Нет залогов от небес![49] —

говорил один с ядовитой и страстной иронией. А другой отвечал ему с такой же страстной, исступленною лаской: «Я не мстить хочу! Я простить хочу!..»

Мы слушали это с возраставшим волнением и с трепетом сердца тоже хотели «простить»! И вдруг все в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту... Нельзя потому, что каждый миг нашей жизни приближает нас к вечному сумраку или к вечному *свету*, — к евангельским идеалам или к зверям. А неподвижной середины не существует. Нет точки незыблемой в мире вечно текущих, сменяющихся явлений, где каждое мгновение есть производное *предыдущего*, — нет остановок для мыслящего ума, как нет покоя для живущего сердца. Или — «чертова ахинея»[50] и укусы тарантула, или «возьми свой крест и иди за Мной!». Или «блаженны алчущие и жаждущие правды» — и тогда «не убей», «не укради», «не пожелай!»...[51] Или — ходи по трупам задавленных и рви кусок из чужого рта, езди верхом на других и плюй на всяческие заветы! А середины не существует, и живое не ждет.

...Он кончил, этот «ненормальный», «жестокий талант»[52], измучив нас своей *мукой*, — и гром рукоплесканий опять полетел ему вслед, как бы в благодарность за то, что он вывел нас всех из «нормы», что идеалы его стали вдруг нашими идеалами, и мы думали его думами, верили его верой и желали его желаниями...

И если это настроение было только минутным для одних его слушателей, — для других оно явилось переворотом на целую жизнь и послужило могущественным толчком к живительной работе самосознания, неиссякаемым источником веры в божественное происхождение человека и в великие судьбы его всемирной истории. И эти слушатели имели право назвать Достоевского своим *великим учителем,* как это было написано на одном из его надгробных венков.

В последний раз я встретилась с Достоевским на улице в самом начале 1881 года, кажется — накануне Крещенья. В типографии Гоппе, где я тогда занималась, в этот день было мало работы, мне нездоровилось, и меня отпустили домой раньше обыкновенного. На Вознесенском только что начали зажигать фонари. Вокруг, на улицах, была обычная шумная сутолока и обычные лица попадались навстречу — торговый, рабочий люд, мастеровые, нищие, разного рода и вида *падающие* и *упадшие...* От этих улиц на меня всегда как будто веяло пороком и преступлением. В этих огромных и грязных домах-муравейниках, казалось, все было грязно: и стены снаружи, и люди — внутри... Этот воздух отбросов и плесени отравлял как будто и душу и тело... И нездоровые страсти, и губительные мечты должны были зарождаться здесь, на этих улицах нищеты, порока и преступления.

Вся эта местность — Сенная, Мещанские и Большая Садовая — всегда напоминала мне самые мрачные страницы из мрачных романов Достоевского. На праздниках, на свободе, я прочла его «Кроткую», этот рассказ, который он назвал «фантастическим», хотя сам считал его «в высшей степени реальным», — и мне как-то особенно думалось теперь об этой «Кроткой» и о самом Достоевском...[53] И вдруг, за несколько шагов перед собой, в этой убогой, невзрачной толпе, я различила знакомую фигуру — тщедушную и широкоплечую — в недлинном меховом пальто. Та же мерно тяжелая, неспешная поступь, как будто с кандалами на ногах... То же единственное в своем роде лицо, лицо — точно ткань из душевных движений... Те же глаза, неподвижно устремленные на меня...

Я внутренно вздрогнула. «Неужели это Достоевский? И неужели он узн*а*ет меня? И сейчас остановится и заговорит, как, бывало, на Невском!..»

Он остановился подле ярко освещенной витрины с детскими книгами; но, рассматривая книги, он, как мне показалось, искоса оглядывался назад, точно выжидая, когда я к нему подойду.

Я подошла к витрине с нотами — рядом, в другом окне, и украдкой взглянула в его сторону, все еще не уверенная, что это был он.

Он повернулся ко мне лицом, — и сомнения больше не было: это был Федор Михайлович. И он смотрел на меня с легкой улыбкой, как бывало, когда мы встречались на Невском, между Лиговкой и Владимирской.

Мне так хотелось подойти к нему, услышать опять его голос, сказать ему, *как* глубоко я теперь его понимаю и как много он мне сделал добра... Я чувствовала себя его ученицей, обязанной ему моим нравственным миром, моей духовной свободой!.. Но робость и гордость точно заковали меня. И я прошла мимо него, не сказав ни слова.

А три недели спустя после этой встречи мне привелось прочесть *в корректуре,* что Достоевского уже нет в живых! Не хотелось даже верить глазам — так это было нежданно! Я рвалась на первую панихиду, чтобы взглянуть еще раз на дорогие черты... Но я была в то время очень больна, не выходила из дому, — и ни видеть усопшего, ни проводить его до могилы мне так и не удалось.

С тех пор прошло много лет. Многое с тех пор изменилось. Изменились не только понятия, но и слова. Никто не называет теперь Достоевского ни «юродивым», ни «свихнувшимся»... Но Достоевского обвиняют теперь в притворной религиозности, в лицемерном идеализме, в том, что он учил — чему сам не верил; что трагедией его жизни была неизбежная необходимость «являться к людям *в мундире...* христианской морали»; что он, как Ницше, наедине с собою жестоко смеялся над обманутыми им простаками...

Так обвиняют теперь его... И читая и слушая подобные обвинения, я всегда вспоминаю один рассказ, который мне довелось случайно услышать от почтенной старушки, вдовы священника, часто встречавшей Ф. М. Достоевского в Знаменской церкви.

Вот ее подлинные слова:

— Он всегда к заутрене или к ранней обедне в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже

уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это — Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его. Не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет.

Вот здесь, мне думается, и была его истинная трагедия. Величайшая, какая может быть на земле, — трагедия неугомонной и неподкупной религиозной совести, в которой палач и мученик таинственно сливаются иногда воедино... Но тайны этой трагедии навеки унес с собою искренний, страстный поборник евангельской правды, дивный художник ее — Федор Михайлович Достоевский. И у людей, признающих святую свободу совести, нет даже права разгадывать эти тайны.

Вс. С. СОЛОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

I

Человек только что опущен в могилу. Смерть застигла его почти внезапно, застигла в периоде полного развития умственных и нравственных сил, среди кипучей и плодотворной деятельности. Он не ждал ее, не догадывался об ее приближении, или, вернее, он всю жизнь ждал этой смерти и привык к этому ожиданию. Он угас, не договорив своего слова, но он говорил и долго и много, и дело его жизни нельзя назвать начатым и неоконченным: он сделал свое дело, оставил по себе яркий, осязательный след, который не может стереться и забыться.

Человека только что опустили в могилу — и нежданная смерть его у всех на устах, память о нем так свежа, всем хочется говорить о нем, о значении только что понесенной утраты. Но как же можно говорить теперь о нем — в эти первые, печальные дни? Теперь больше, чем когда-либо, он, уже навеки отсутствующий, должен сам говорить о себе своими многочисленными творениями — ведь он весь заключается в них, в этих горячих творениях, которые долго, слишком долго были плохо понимаемы, плохо ценимы. Но последние годы его трудовой, тяжелой жизни озарились таким счастьем, на которое он уже переставал рассчитывать: его слово наконец достигло до сердца тех, к кому оно обращалось. Он договаривал это слово, окруженный всеобщим сочувствием, признательностью, восторгом.

Он уж ничего больше не прибавит к тому, что им было сказано, и вспоминать о нем — значит вспоминать каждое его слово, вдумываться в него, уразумевать каждую мысль его, значение каждого поэтического образа, им созданного. Но такие воспоминания о художнике-мыслителе могут быть плодом только верной, беспристрастной критической оценки его творений. Скоро ли

дождется такой оценки память Достоевского — это сказать трудно при крайне печальном состоянии нашей критики. И во всяком случае не теперь, не в эти печальные первые дни, время для попыток критики: она должна быть спокойна, беспристрастна, к ней не должно примешиваться личное чувство, вызванное нежданной смертью нашего дорогого писателя. Серьезная оценка его деятельности и знаменательного значения этой деятельности для русского общества — предстоит будущему.

Но всем, кто лично знал его, кто потерял в нем не только одного из самых видных и влиятельных литературных и общественных деятелей, но и близкого человека, теперь с тоскою думается уж не о вдохновенном писателе, а о Федоре Михайловиче, которого никогда больше не увидишь, которому больше никогда не пожмешь руку. Так будто и слышится его то раздраженный, то ласковый голос, так и мелькают во всех подробностях все те мелочи, совокупность которых составляет и внешний и внутренний образ человека и которые начинаешь особенно ценить, когда человека не станет...

Я знал Федора Михайловича не просто как знакомого — он был моим учителем и исповедником. Особенные обстоятельства помогли моему с ним сближению с первой же минуты нашей встречи, и сближение это относится именно к тому периоду его жизни, когда он был почти одиноким и поддерживал сношения только с ограниченным кружком своих старых друзей. В то время Достоевский имел на меня решительное влияние и я придавал большое значение почти каждому сказанному мне им слову. Поэтому я имел обычай тогда же записывать многие наши разговоры, его рассказы, и по преимуществу рассказы о себе самом. Я храню некоторые его интересные письма. Все это дает мне теперь возможность сразу и легко разобраться в моих воспоминаниях, не боясь ошибок моей памяти. Мне только жаль, что я не могу в настоящее время рассказать всего, что у меня записано и что я помню — я не хочу обвинений в нескромности, не хочу много говорить о живых еще людях, и потому мне остается представить только отрывки из моих воспоминаний о Федоре Михайловиче. Жаль мне еще и то, что, говоря о нем, я неизбежно должен говорить и о себе; но самое свойство и форма личных воспоминаний должны в этом оправдать меня перед читателями.

II

Достоевский сделался любимейшим моим писателем с той самой поры, когда я прочел первую из повестей его, попавшуюся мне под руку, а это случилось в самые ранние годы моего отрочества. Всякий художник-писатель тогда легко овладевал моей душой, увлекал и заставлял переноситься в мир своих образов и фантазий. Но, выходя из-под этого обаяния, я сейчас же и отрезвлялся. Не то было со мной при чтении Достоевского.

Это чтение составляло для меня высочайшее наслаждение и в то же время муку. Страстный, страдающий автор с первой же страницы схватывал меня и уносил против воли в свое мрачное царство, где он собирал все, что только есть темного, больного, мучительного и безобразного в нашей общественной и личной жизни, где светлые и здоровые образы являются как исключение. Я чувствовал, что он вскрывает такую глубину человеческого я и освещает в ней такие явления, что становилось страшно. Он находил выражение самым неуловимейшим ощущениям и мыслям. Это был какой-то горячечный сон — яркий, мучительный, потрясающий. Грезилось что-то огромное, сложное. Все перепутано, все кружится, несется в страстном вихре, и над всем этим царит одно томительное, давящее и необычайное, сильное ощущение. И вдруг этот мрак, этот ужас озаряются кротким светом, раздается голос любви, прощения, примирения. Страх отходит, из глубины души поднимаются тихие слезы...

Чтение окончено, но впечатление его остается надолго. Нервы потрясены, мысль работает. Этот горячечный сон, в котором почти всегда такая путаница образов, положений, в котором все сбито в одну кучу, часто пригнано в одно место, к одной минуте, несмотря на всю свою видимую фантастичность, оказывается полным самой живой, самой глубочайшей жизненной правды.

Этот мучительный мир, эти стоны и вопли страждущей, загрязненной души человеческой, порывающейся из своей грязи, ищущей правды и света и спасаемой любовью, — были всегда близки и понятны даже полуребенку, не знавшему жизни. Но время шло, и то, что сначала воспринималось только инстинктивно чуткими нервами, с каждым годом сознательнее и яснее запечатлевалось в мысли.

Появление «Преступления и наказания» было для меня огромным событием. Я читал эту книгу дни и ночи;

кончал и опять перечитывал. Я очень много пережил в то время и вышел из этой школы совсем измененным.

Потом каждого нового романа Достоевского я дожидался с лихорадочным волнением. Но я дожидался не одного романа, а и его автора, потому что этот автор выступал из-за каждой строки, и я, никогда не видав его, был уже с ним близко знаком и горячо любил его.

Все, что можно было узнать о нем, об его *жизни*, — я узнавал, но этого оказывалось очень мало: я не встречался с людьми, хорошо его знавшими... Еще прошли года, и именно те года первой юности, которые играют такую важную роль в жизни каждого человека, когда идет такая неугомонная внутренняя работа. Изменялись мысли, взгляды, вкусы, многое переделывалось — оставалось, однако, неизменным влияние творчества Достоевского и его собственного нравственного образа, запечатленного в его творениях.

Я кончил университетский курс, переехал из Москвы на житье в Петербург, только что начинал знакомиться с самостоятельной жизнью. У меня не было никаких знакомств с литературными кружками, и хотя Алексей Феофилактович Писемский дал мне, перед моим отъездом из Москвы, несколько рекомендательных писем к его петербургским приятелям-литераторам — я не воспользовался этими письмами. Я печатал где приходилось лирические пьески без своей подписи, и этим все ограничивалось.

В самом конце 1872 года я прочел в газетах объявление об издании журнала «Гражданин» под редакцией Достоевского. Я думал, что он все еще за границей; но вот он здесь, в одном городе со мною, я могу его видеть, говорить с ним. Меня охватила радость, волнение. Я был ужасно молод и не стал задумываться: сейчас же отправился в редакцию «Гражданина» узнать адрес нового редактора. Мне дали этот адрес. Я вернулся к себе, заперся и всю ночь напролет писал Достоевскому. Мне любопытно было бы прочесть теперь письмо это. Может быть, в нем было очень много лишнего, но, во всяком случае, я сказал ему все, что мог сказать человеку, которого любил так долго и который имел на меня такое влияние.

На следующее утро я послал это письмо по почте и ждал. Прошло три, четыре дня — никакого ответа. Но я нисколько не смущался, я был совершенно уверен, что Достоевский не может мне не ответить.

Наступил новый, 1873-й год. Первого января, вернувшись к себе поздно вечером и подойдя к письменному столу, я увидел среди дожидавшихся меня писем визитную карточку, оборотная сторона которой была вся исписана. Взглянул — «Федор Михайлович Достоевский».

С почти остановившимся сердцем я прочел следующее:

«Любезнейший Всеволод Сергеевич,

Я всё хотел Вам написать; но откладывал, не зная моего времени. С утра до ночи и ночью был занят. Теперь заезжаю и не застаю Вас, к величайшему сожалению. Я дома бываю около 8 часов вечера, но не всегда. И так у меня спутано теперь всё, по поводу новой должности моей, что не знаю сам, когда бы мог Вам назначить совершенно безошибочно.

Крепко жму Вам руку.

Ваш *Ф. Достоевский».*

Я чувствовал и знал, что он мне ответит; но эти простые и ласковые слова, это посещение незнакомого юноши (в письме своем я сказал ему года мои) — все это тронуло меня, принесло мне такое радостное ощущение, что я не спал всю ночь, взволнованный и счастливый. Я едва дождался вечера. Я замирал от восторга и волновался, как страстный любовник, которому назначено первое свидание. В начале восьмого я поехал. Он жил тогда в Измайловском полку, во 2-й роте. Я нашел дом № 14, прошел в ворота и спросил — мне указали отдельный флигелек в глубине двора. Сердце так и стучало. Я позвонил дрожащей рукою. Мне сейчас же отворила горничная, но я с минуту не мог выговорить ни слова, так что она несколько раз и уже с видимым недоумением повторила: «Да вам что же угодно?»

— Дома Федор Михайлович? — наконец проговорил я.

— Дома-с, а барыни нету — в театре.

Я взобрался по узкой, темной лестнице, сбросил шубу на какой-то сундук в низенькой передней.

— Пожалуйте, тут прямо... отворите двери, они у себя, — сказала горничная и скрылась.

Я прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете. Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в которой жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо,

у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг... старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим репсом, бросился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде... Затем несколько жестких стульев, еще стол — и больше ничего. Но, конечно, все это я рассмотрел потом, а тогда ровно ничего не заметил — я увидел только сутуловатую фигуру, сидевшую перед столом, быстро обернувшуюся при моем входе и вставшую мне навстречу.

Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с негустой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни. Замечалось в нем и много болезненного — кожа была тонкая, бледная, будто восковая. Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах — это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты. Потом я скоро привык к его лицу и уже не замечал этого странного сходства и впечатления; но в тот первый вечер оно меня так поразило, что я не могу его не отметить...

Я назвал себя. Достоевский ласково, добродушно улыбнулся, крепко сжал мою руку и тихим, несколько глухим голосом сказал:

— Ну, поговорим...

III

Он усадил меня на стул перед столом, сел рядом со мною и начал набивать толстые, большие папиросы, часто поднимая на меня тихие, ласковые глаза.

Он, конечно, сразу же заметил, что перед ним совершенно смущенный и взволнованный юноша, и сумел так

отнестись ко мне, что через несколько минут моего смущения как не бывало. Мы встретились, будто старые и близкие знакомые после непродолжительной разлуки. Он рассказывал мне о своих делах и обстоятельствах по поводу новой его должности редактора «Гражданина», передавал свои планы, надежды, которые он возлагал на это дело.

— Только не знаю, не знаю, как справлюсь со всем этим, как разберусь... вот у меня есть сюжет для повести, хороший сюжет; я рассказал М<ещерскому>, и он умоляет меня написать для «Гражданина»; [1] но ведь это помешает «Дневнику», не могу же я два дела разом, никогда не мог, если писать разом две различные вещи — обе пропали... ну вот и не знаю сам, на что решиться... нынче всю ночь об этом продумаю...

Насколько мог, я отстаивал «Дневник», особенно на первое время.

— Ведь *это*, — заметил я, — такая удобная форма говорить о самом существенном, прямо и ясно высказаться.

— Прямо и ясно высказаться! — повторил *он*, — чего бы лучше, и, конечно, о, конечно, когда-нибудь и можно будет; но нельзя, голубчик, сразу, никак нельзя, разве я об этом не думал, не мечтал!.. да что же делать... Ну и потом, есть вещи, о которых если вдруг, так никто даже и не поверит. Вот хоть бы о Белинском (он раскрыл номер «Гражданина» с первым своим «Дневником писателя»), разве тут я все сказал, разве то я мог бы сказать! И совсем-то, совсем его не понимают. Я хотел бы просто привести его собственные слова — и больше ничего... ну, и не мог.

— Да почему же?

— По непечатности.

Он передал мне один разговор с Белинским, который действительно напечатать нельзя и который вызвал с моей стороны замечание, что ведь от слова до дела еще далеко, у каждого человека могут быть самые чудовищные быстролетные мысли, и, однако, эти мысли никогда не превращаются в дело, и только иные люди, в известные минуты, любят с напускным цинизмом как бы похвастаться какой-нибудь дикой мыслью.

— Конечно, конечно, только Белинский-то был не таков; он если сказал, то мог и сделать; это была натура простая, цельная, у которой слово и дело вместе. Другие сто раз задумаются, прежде чем решиться, и все же никогда не решатся, а он нет. И знаете, теперь, вот

в последнее время, все больше и больше разводится таких натур: сказал — и сделал, застрелюсь — и застрелился, застрелю — и застрелил. Все это — цельность, прямолинейность... и, о, как их много, а будет и еще больше — увидите!..[2]

Я не замечал, как шло время. Переходя от одного к другому, мы начали сообщать друг другу сведения о самих себе. Я жадно ловил каждое его слово. Он спросил меня о годе и дне моего рожденья и стал припоминать:

— Постойте, где я был тогда?.. в Перми... мы шли в Сибирь... да, это в Перми было...

Он рассказал, между прочим, об одном человеке, который имел на него самое сильное влияние. Это был некто Шидловский. Через несколько лет, когда я просил Федора Михайловича сообщить мне некоторые биографические и хронологические сведения для статьи о нем, которую я готовил к печати, он говорил мне:

— Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради Бога, голубчик, упомяните — это был *большой* для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало... [3]

Шидловский, по рассказам Достоевского, был человек, в котором мирилась бездна противоречий: он имел «громадный» ум и талант, не выразившийся ни одним писаным словом и умерший вместе с ним; кутеж и пьянство — и пострижение в монахи. Умирая, он сделал Бог знает что: он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандал он сделал себе кольцо, носил его постоянно и, умирая, — *проглотил* это кольцо...

Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни — падучей, которою, как я слышал, страдал Достоевский, но, конечно, я не мог решиться даже и издали подойти к этому вопросу. Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. Он сказал мне, что недавно с ним был припадок.

— Мои нервы расстроены с юности, — говорил он. — Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь[4]. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот, право — настоящая смерть приходила

и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири и никогда потом я ее не испытывал — я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен... Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, *слышал*, — я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать всё сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц...

Он рассказал мне о своей недавней, второй, женитьбе, о детях.

— Жена в театре, дети *спят*, — в следующий раз увидите... да вот — карточка моей маленькой дочки, ее я зову — Лиля. Она тут похожа.

Видя, что карточка мне нравится, он сказал:

— Возьмите ее себе.

Потом говорил о четырех последних годах своей жизни за границей, об русских людях, превратившихся в европейцев и возненавидевших Россию, и главным образом об одном из них, хорошо всем известном человеке... [5] говорил о страсти к рулетке, о всякой страсти, о любви... Он меня исповедовал...

— Нет, кто любит, тот не *рассуждает*, — знаете ли, как любят! (и голос его дрогнул, и он страстно зашептал): если вы любите чисто и любите в женщине чистоту ее и вдруг убедитесь, что она потерянная женщина, что она развратна — вы полюбите в ней ее разврат, эту гадость, вам омерзительную, будете любить в ней... вот какая бывает любовь!..

Было поздно, я стал прощаться. Он взял меня за руку и, удержав, сказал, что ему бы хотелось непременно ввести меня в тот литературный кружок, к которому он теперь принадлежит.

— Вы там встретите очень интересных, очень, очень умных и хороших людей... [6].

— Нисколько в этом не сомневаюсь, только я-то буду самым плохим приобретением для этих людей. Знаете ли, что я удивительно неловок, конфузлив до болезни

и иногда способен молчать как убитый... Если я сегодня, с вами, не таков, то ведь это потому, что я много лет ждал сегодняшнего вечера, тут совсем другое...

— Нет, вас непременно нужно вылечить — ваша болезнь мне хорошо понятна, я сам страдал от нее немало... Самолюбие, ужасное самолюбие — отсюда и конфузливость... Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека, вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами — и непременно ошибаетесь: впечатление произведено непременно другое; а все это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть; люди несравненно мельче, простее, чем вы их себе представляете...

Я должен был с ним согласиться, дал слово исполнить его желание, и мы условились, что через несколько дней он вывезет меня в литературный свет...

IV

Прием, сделанный мне Достоевским, и этот вечер, проведенный в откровенной с ним беседе, конечно, способствовали нашему скорому сближению. Я спешил к нему в каждую свободную минуту, и если мы не виделись с ним в продолжение недели, то он уж и пенял мне.

По привычке, он работал ночью, засыпал часов в семь утра и вставал около двух. Я заставал его обыкновенно в это время в его маленьком, мрачном и бедном кабинетике. На моих глазах, в эти последние восемь лет, он переменил несколько квартир, и все они были одна мрачнее другой, и всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться. Он сидел перед маленьким письменным столом, только что умывшись и причесавшись, в старом пальто, набивая свои толстые папиросы, курил их одна за другою, прихлебывая крепчайший чай или еще более крепкий кофе. Почти всегда я заставал его в это время в самом мрачном настроении духа. Это сейчас же и было видно: брови сдвинуты, глаза блестят, бледное как воск лицо, губы сжаты.

В таком случае он обыкновенно начинал с того, что молча и мрачно протягивал мне руку и сейчас же принимал такой вид, как будто совсем даже и не замечает моего присутствия. Но я уж хорошо знал его и не об-

ращал на это внимания, а спокойно усаживался, закуривал папиросу и брал в руки первую попавшуюся книгу.

Молчание продолжалось довольно долго, и только время от времени, отрываясь от набивания папирос или проглядывания газеты, он искоса на меня поглядывал, раздувал ноздри и тихонько крякал. Я ужасно любил его в эти минуты, и часто мне очень трудно бывало удержаться от улыбки. Он, конечно, замечал, что и я на него поглядываю. Он выжидал, но мое упрямство часто побеждало. Тогда он откладывал газету и обращал ко мне свое милое, изо всех сил старавшееся казаться злым лицо.

— Разве так делают порядочные люди? — сквозь зубы говорил о н , — пришел, взял книгу, сидит и молчит!..

— А разве так порядочные люди принимают своих посетителей? — отвечал я, подсаживаясь к н е м у , — едва протянул руку, отвернулся и молчит!

Он тоже улыбался и каждый раз, в знак примирения, протягивал мне свои ужасные папиросы, которых я никогда не мог курить.

— Вы это читали? — продолжал он, берясь за газету.

И тут начинал высказываться о каком-нибудь вопросе дня, о каком-нибудь поразившем его известии. Мало-помалу он одушевлялся. Его живая, горячая мысль переносилась от одного предмета к другому, всё освещая своеобразным ярким светом.

Он начинал мечтать вслух, страстно, восторженно, о будущих судьбах человечества, о судьбах России.

Эти мечты бывали иногда несбыточны, его выводы казались парадоксальными. Но он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию.

После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясенными нервами, в лихорадке. Это было то же самое, что и в те годы, когда, еще не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое-то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша.

Приходя к нему вечером, часов в восемь, я заставал его после только что оконченного им позднего обеда, и тут уж не приходилось повторять утренней сцены — молчания и незамечания друг друга. Тут он бывал обыкновенно гораздо спокойнее и веселее. Тот же черный

кофе, тот же черный чай стояли на столе, те же толстые папиросы выкуривались, зажигаясь одна об другую.

Разговор обыкновенно велся на более близкие, более осязательные темы.

Он бывал чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо. В таком настроении он часто повторял слово «голубчик». Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевным, таким милым.

— Постойте, голубчик! — часто говорил он, останавливаясь среди разговора.

Он подходил к своему маленькому шкафику, отворял его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол и усиленно приглашал хорошенько заняться этими вещами. Он был большой лакомка, я не уступал ему в этом. И во время дальнейшего разговора мы не забывали жестянку и корзиночки.

Часто, по средам, просидев часов до десяти, мы отправлялись с ним в тот литературный кружок, в который он ввел меня. Это было довольно далеко, но шли ли мы или ехали, он почти всегда упорно молчал дорогой, и я даже замечал, что он действительно не слышит обращенных к нему вопросов.

Он появлялся в кабинете хозяина, где уж обыкновенно были налицо некоторые из более или менее замечательных литературных и общественных деятелей, появлялся как-то сгорбившись, мрачно поглядывая, сухо раскланиваясь и здороваясь, будто все это были его враги или по меньшей мере очень неприятные ему люди. Но проходило несколько минут, и он оживлялся, начинал говорить, спорить и почти всегда оказывался центром собравшегося общества.

Он был самым искренним человеком, и потому в словах его, мнениях и суждениях часто встречались большие противоречия; но был ли он прав или неправ, о чем бы ни говорил, он всегда говорил с одинаковым жаром, с убеждением, потому что высказывал только то, о чем думал и во что верил в данную минуту.

Его редакторская деятельность, на которую он возлагал такие надежды в первое наше свидание, оказалась не вполне удачной, что, впрочем, можно было сразу предвидеть, зная характер его и обстоятельства[7]. Репутация журнала была уже составлена, против него уже резко

и даже неприлично высказалась почти вся тогдашняя журналистика. На нового редактора со всех сторон посыпались насмешки, глупые и пошлые. Автора «Преступления и наказания» и «Записок из Мертвого дома» называли сумасшедшим, маньяком[8], отступником, изменником, приглашали даже публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского, работы Перова, как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишенных[9].

По своей натуре болезненный, раздражительный, нервный и крайне обидчивый, Достоевский не мог не обращать внимания на этот возмутительный лай. Как ни уговаривали его, между прочими и я, просто не читать этой неприличной брани, не пачкаться ею, он покупал каждый номер газеты, где о нем говорилось, читал, перечитывал и волновался. Но, конечно, ни одного малейшего шага, ни одного слова он себе не позволил для того, чтобы поправить свои дела перед расходившейся прессой. Торговаться и уступать, где дело касалось его убеждений, хотя бы и ошибочных, но всегда искренних, он не был способен: это было не в его честной натуре.

Он мечтал в первое время заставить общество слушать себя и своих единомышленников посредством редактируемого им журнала; но скоро убедился, что это крайне трудно, почти невозможно. Журнал начался слишком односторонне, и хотя к его редакции примыкало несколько умных и талантливых людей, но их было очень мало, и, имея другие обязанности, они не могли отдавать журналу все свои силы. Затем, у журнала были слишком небольшие материальные средства, случайные сотрудники были так плохи, что выбирать из них было почти нечего. Наконец, Достоевский не был вполне самостоятелен как редактор; но если бы он и оказался самостоятельным, полноправным хозяином и собственником журнала, то все же вряд ли бы этот журнал пошел. Достоевский был художник-романист, горячий и искренний публицист-мыслитель, но он всегда был непрактичным человеком, плохим администратором; он не годился в редакторы. При этом надо принять во внимание и то, что он был человек порыва, увлечения...

Один раз я его застал с какой-то книгой в руке; он находился в возбужденном состоянии.

— Что это? что вы читаете?

— Что я читаю?! — сейчас же отправляйтесь и купите эту книгу — это повести Кохановской.

— Я их знаю… читал… очень милые повести; не особенно сильный, но оригинальный и симпатичный талант.

— Стыдитесь! — закричал *он*, — как вы судите, да знаете ли вы, понимаете ли, что это за повести? я сейчас бы отдал самые лучшие мои вещи, отдал бы «Преступление и наказание», «Записки из Мертвого дома», чтобы только подписаться под этими повестями… Вот это какая книга! Да я не знаю, где у нас лучшие, есть ли они?! Кто так пишет!..[10]

Противоречить ему, доказывать, что он сам фантазирует на тему автора и восхищается плодами своей фантазии, было невозможно.

А на следующий же день, именно на следующий день, он говорил:

— Нет, наши женщины совсем не умеют писать; вот, например, Кохановская, у ней есть талант, есть чувство, даже кой-какие мысли, но как она пишет, как пишет… разве можно так писать?!

— Помилуйте, Федор Михайлович, да не вы ли вчера с жаром объявляли, что готовы отдать все свои романы, чтобы подписаться под ее повестями! — невольно крикнул я.

Он остановился, сердито взглянул на меня и сквозь зубы проговорил:

— Никогда ничего подобного я не мог сказать… я не помню.

И я убежден, потому что хорошо знал его, что он действительно не помнил сказанного. Он мог забыть что угодно, но как накануне, так и теперь он был совершенно искренен. Это было впечатление минуты…

Да, он забывал многое; он слишком увлекался. Но во всю жизнь не забыл и не изменил он своих заветных убеждений, именно всего того, что ему предназначено было сказать нового, истинного и прекрасного, за что он боролся и что, наконец, принесло ему славу. Это доказывает вся его литературная деятельность, все его произведения, проникнутые единым духом, одним чистым чувством и одной высокой мыслью.

V

Он выдержал год своего редакторства и оказался крайне утомленным. Не то чтобы дела было много, но он очень медленно работал, и работа была не по нем. А главное, явилось убеждение, что из дела, на которое

возлагались такие большие надежды, не может выйти ожидаемого результата. Наконец, он не мог разом работать две работы. Он все собирался писать новый роман и не находил времени, а между тем матерьялу накопилось достаточно, пора было высказаться в образах, в широкой картине [11].

В начале 1874 года он стал мне все чаще и чаще жаловаться на свое положение и наконец объявил, что дотянет только до лета и летом освободится. Тут именно, весною 74-го года, по различным моим обстоятельствам, я видался с ним реже. Как-то он заехал ко мне и, не застав меня, оставил записку, в которой, между прочим, объявлял, что через несколько дней должен засесть на гауптвахту в качестве редактора «Гражданина» [12].

Утром 22 марта пришел ко мне Аполлон Николаевич Майков.

— А я к вам знаете откуда? — сказал о н , — от узника: сидит наш Федор Михайлович... ступайте к нему, он ждет вас.

— В каком же он настроении?

— В самом лучшем; непременно отправляйтесь.

Мы побеседовали несколько минут, и я поехал в известный уголок Сенной площади. Меня тотчас же пропустили. Я застал Федора Михайловича в просторной и достаточно чистой комнате, где, кроме него, в другом углу был какой-то молодой человек, плохо одетый и с самой бесцветной физиономией.

Федор Михайлович сидел за маленьким простым столом, пил чай, курил свои папиросы, и в руках его была книга. Он мне обрадовался, обнял и поцеловал меня.

— Ну, вот и хорошо, что п р и ш л и , — ласково заговорил он, — а то вы совсем пропали в последнее время. Я собирался даже писать вам кой о чем, потому что вы мне что-то начинаете не нравиться. Скажите, отчего вы пропали? или на меня сердитесь?.. но я думал, думал... вам не за что на меня сердиться.

— Да я и не думаю сердиться, действительно не за что; напротив, я сколько раз к вам собирался, но вот никак не мог собраться: я нигде не бываю; по целым дням сижу дома.

Он задумался.

— Да, вот я так и решил, так оно и есть... вот об этом мы и поговорим, голубчик.

Я оглянулся на молодого человека, бывшего в комнате.

Федор Михайлович стал стучать пальцем по столу, что в известные минуты было одною из его привычек.

— Не обращайте внимания, — шепнул он, — я уж его всячески пробовал; это какое-то дерево, может, и разберу, что такое, только нечего его стесняться.

И действительно, мы сейчас же и позабыли о присутствии этого свидетеля.

— Видите, что я хотел вам сказать, — заговорил Достоевский, — так у вас не может продолжаться, вы что-нибудь с собою сделайте... и не говорите, и не рассказывайте... я все знаю, что вы мне хотите сказать, я отлично понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме, но, в сущности, то же самое. Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал — мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал «Маленького героя» — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше. О! это большое для меня было счастие: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу! [13]

Это было сказано до такой степени горячо и серьезно, что я не мог не засмеяться и не обнять его.

— Федор Михайлович, за что же меня на каторгу?! или вы мне будете советовать, чтобы я пошел да убил кого-нибудь?!

Он сам улыбнулся.

— Да, конечно... ну придумайте что-нибудь другое. Но знаете, ведь это было бы для вас самым лучшим.

— И не в одной Сибири каторга, — сказал я, — ее можно найти и здесь, но я все же себе этого не желаю, хотя то, что вы называете моей нервной болезнью, меня очень мучает и тревожит за будущее; меня действительно начинает одолевать невыносимая апатия, и хотелось бы из нее выхода.

— Так придумайте... придумайте, решитесь на какой-нибудь внезапный, отчаянный шаг, который бы перевернул всю жизнь вашу. Сделайте так, чтобы кругом вас было все другое, все новое, чтобы вам пришлось работать, бороться: тогда и внутри вас все будет ново, тогда вы познаете радость жизни, будете жить как следует. Ах! жизнь хорошая вещь; ах, как иногда хорошо бывает жить! В каждой малости, в каждом предмете, в каждой вещице, в каждом слове сколько счастья!.. Знаете ли, мне вот хорошо сегодня: эта комната, это сознание, что я заперт, что я арестант, мне столько напоминает, столько такого хорошего, и я вот думаю: Боже мой! как я мало тогда еще ценил свое счастие; я тогда научился наслаждаться всем; но вернись теперь то время, я бы еще вдвойне наслаждался...

Он еще долго говорил на эту тему, а потом вдруг схватил книгу, за которой я застал его, и сказал:

— Вот чем я теперь зачитываюсь: это вещь замечательная, великая вещь!.. прочтите ее непременно.

Книга была — «Les Misérables» Виктора Гюго [14]. И горячая похвала этой книге, даже восторг перед нею оказался не капризом, не минутным впечатлением. Достоевский, до последних дней своих, восхищался этой книгой. Тщетно я говорил ему, что хотя в «Les Misérables» есть большие достоинства, но есть и большие недостатки, что местами растянуто и чрезвычайно сухо, что автору «Преступления и наказания» совсем уже нечего преклоняться перед «Les Misérables»; он продолжал восхищаться и всегда находил в этой книге то, чего в ней нет...

Между тем нам пора было расстаться. Да он и сам торопил меня съездить к его жене, успокоить ее, сказать, что он совсем здоров и вообще прекрасно себя чувствует.

— Только вы, голубчик, пожалуйста, тихонько, чтобы как-нибудь прислуга не услышала; а то ведь как узнают, что я сижу, так сейчас же подумают, что я украл что-нибудь...

VI

Достоевский осуществил свое желание — освободился от редакторства «Гражданина» и следующую зиму прожил в Старой Руссе, приготовляя к печати новый роман — «Подросток».

В начале 1875 года он приехал на несколько дней в Петербург и навестил меня. Я встречал его совсем в новой обстановке, среди новых забот и занятий, которые стряхнули с меня так озабочивавшую его мою апатию. Нам было о чем поговорить, и я чрезвычайно обрадовался его посещению. Но сразу, только что он вошел, я уже по лицу его увидел, что он до крайности раздражен и в самом мрачном настроении духа.

Он сейчас же и высказал причину этого раздражения.

— Скажите мне, скажите прямо — как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? — проговорил он, поздоровавшись со мною и пристально глядя мне в глаза.

Я, конечно, очень бы удивился такому странному вопросу, если бы не знал его; но я уж давно привык к самым неожиданным «началам» наших встреч и разговоров.

— Я не знаю, завидуете ли вы ему, но вы вовсе не должны ему завидовать, — отвечал я. — У вас обоих свои особые дороги, на которых вы не встретитесь, — ни вы у него ничего не можете отнять, ни он у вас ничего не отнимет. На мой взгляд, между вами не может быть соперничества, а следовательно, и зависти с вашей стороны я не предполагаю... Только скажите, что значит этот вопрос, разве вас кто-нибудь обвиняет в зависти?

— Да, именно, обвиняют в зависти... И кто же? старые друзья, которые знают меня лет двадцать...

Он назвал этих старых друзей.

— Что же, они так прямо вам это и высказали?

— Да, почти прямо... Эта мысль так в них засела, что они даже не могут скрыть ее — проговариваются в каждом слове[15].

Он раздражительно заходил по комнате. Потом вдруг остановился, взял меня за руку и тихо заговорил, почти зашептал:

— И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь... Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить... Господи, и всю-то жизнь!.. Вот я недавно прочитывал своего «Идиота», совсем его позабыл, читал как чужое, как в первый раз... Там есть отличные главы... хорошие сцены... у, какие! Ну вот... помните... свидание Аглаи с князем, на скамейке?.. Но я все же таки увидел, как много недоделанного там, спешного... И всегда ведь так — вот и теперь: «Отечественные записки» торопят,

поспевать надо... вперед заберешь — отрабатывай, и опять вперед... и так всегда! Я не говорю об этом никогда, не признаюсь; но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделывать каждую свою вещь, а это большая штука — когда вещь полежит уже готовая и потом перечтешь ее и исправишь. Вот и завидую... завидую, голубчик!..

— Конечно, все это т а к , — сказал я, — и все это очень грустно. Но обыкновенно на подобные рассуждения замечают, что необходимость работать — большая помощь для работы, что при обеспеченности легко может явиться лень.

— И это бывает, конечно, но если кто заленится и ничего не скажет, так, значит, ему и нечего сказать!

Он вдруг успокоился и сделался кротким и ласковым.

Такие внезапные переходы бывали с ним часто.

Это свидание мне особенно памятно потому, что наш дальнейший разговор больше, чем когда-либо, убедил меня в его искреннем ко мне участии. Советы, которые я в тот день получил от него, принесли мне немало пользы и долго служили большою нравственной поддержкой. Но все это уже мое личное дело, и я ограничиваюсь только приведенным выше разговором о «зависти». Я счел себя вправе передать его, потому что он указывает на печальную сторону деятельности многих наших писателей, и по преимуществу деятельности Достоевского.

Я знаю, в какую тоску, в какое почти отчаяние приводили его иногда отсутствие денежных средств, забота о завтрашнем дне, о нуждах семьи. Он почти всю жизнь не выходил из денежных затруднений, никогда не мог отдохнуть, успокоиться.

Все это тяжело отзывалось на его произведениях, и почти ни одним из них он не был доволен. Он работал всегда торопясь, часто не успевая даже прочитать им написанного. А между тем ведь он писал не легкие рассказы. У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты выливались глубоко поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе. Но этого было мало: у него бывали глубокие психологические задачи, в его голове мелькали оригинальные и замечательные решения серьезных нравственных вопросов. Тут минут горячего вдохновения оказывалось недостаточно, требовалась спокойная работа мысли, а обстоятельства не давали его мысли спокойно работать. Потому-то в его романах так много неясного,

запутанного, потому-то его романы, и в особенности последние, широко задуманные, в общем производят впечатление только богатейшего матерьяла для настоящих романов...

Больной, измученный, он уставал больше и больше; но уставал не мыслью, не чувством, а просто уставал физически. Ему трудно становилось работать, и он работал медленно. Он заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало. По мере развития романа являлась необходимость изменять то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности — то, что нужно было изменить и переработать, оказывалось уже напечатанным. Таким образом, являлись великолепные эпизоды, но в общем роман представлял довольно бесформенное и, во всяком случае, невыдержанное произведение[16].

Он сам отлично сознавал это, и подобное сознание для художника являлось горьким мучением. Он сознавал, и в то же время ему болезненно хотелось, чтобы другие не замечали того, что он сам видит. Поэтому всякая похвала доставляла ему большую усладу: она его обманывала. Поэтому замечаемое им в ком-либо понимание его промахов раздражало его, оскорбляло, мучило...

Но я свидетельствую, что сам он, в иные откровенные, теплые минуты, признавался в своих промахах и скорбел, что судьба ставила его в невозможность вовремя исправлять их. Это было горе, горше которого не может и быть для творца-художника! И передо мною так и стоит бледное, изнеможенное лицо его в минуты этих мучительных признаний.

Я помню один случай. Говоря в одной из газет о «Подростке», указывая на прекрасные эпизоды и многие достоинства этого романа, я все же должен был сказать и об его недостатках. Через несколько дней я пришел к Достоевскому. Он встретил меня как человека, глубоко его оскорбившего, и между нами произошел настолько крупный разговор, что я взял шляпу и хотел уходить. Но он удержал меня, запер двери своей рабочей комнатки и начал оправдываться, доказывать мне, что я ошибался в статье моей[17].

Дело было в старике Макаре Ивановиче, одном из самых любимых им действующих лиц «Подростка».

Он стал объяснять мне Макара Ивановича. И конечно, теперь я уж не могу взять на себя беспристрастного суждения о «Подростке»: я знаю этот роман не таким, каков он в печати, а таким, каков он был в замысле автора.

Достоевский говорил часа два, пожалуй, еще больше, и я мог только сожалеть о том, что не было стенографа, который бы записывал в точности слова его. Если бы то, что он говорил мне тогда, появилось перед судом читателей, то они увидели бы один из высочайших и поэтических образов, когда-либо созданных художником.

— Так вот что такое Макар! — сказал Достоевский, заканчивая свою горячую речь и мгновенно ослабевая. — И неужели вы теперь не согласитесь, что вы написали совсем не то, что вы меня обидели и я имел полное право на вас сердиться?!

Мне тяжело было говорить ему, что сегодняшний Макар не тот, о котором я говорил, судя по напечатанному тексту... Я испугался того впечатления, которое произвели на него слова мои: он сделался вдруг таким страдающим, таким жалким. Он сидел несколько мгновений неподвижно, опустив голову, сжав брови — и вдруг поднял на меня глаза, в которых не было и тени ни недавнего раздражения, ни недавнего восторга. Эти глаза были кротки и очень печальны.

— Голубчик! — сказал он, особенно задушевно выговаривая свое любимое ласкательное слово, — я знаю, что вы правы, и вы знаете, что я люблю то, что вы пишете, потому что вы пишете всегда искренно; но мне было так тяжело, что именно вы дотронулись до самого больного места!.. А теперь забудьте, что я наговорил, и я тоже забуду... Довольно... довольно!..

Он предложил мне вместе пройтись; но на улице был так мрачен, молчалив и раздражителен, что мне стало тяжело, и я с ним простился.

VII

Окончив «Подростка», то есть высказав любимые мысли, воплотив образы, давно мелькавшие в воображении, Достоевский не мог тотчас же приняться за подобную же работу — за новый роман. А между тем работать было нужно по двум причинам: во-первых, всякий день выставлял новые явления общественной жизни, которые живо

затрогивали мыслителя-психолога, о которых хотелось сказать ему свое слово; во-вторых, работа требовалась для жизни, для содержания семьи, для окончательного устройства запутанных дел, которые наконец мало-помалу начинали распутываться. Необходимо было решиться на какую-нибудь работу. О новом редакторстве нечего было и думать — оно надоело и в его успех, в его пользу уже не верилось.

Снова стала приходить мысль, начавшаяся было осуществляться еще в «Гражданине», но затем позабытая. Достоевский подумывал об ежемесячном издании своего «Дневника писателя».

Осенью 1875 года, опять переселясь в Петербург из Старой Руссы, он мне говорил об этом, но только еще как о предположении. Он не решался, боялся неудачи. «Подросток» не произвел сильного впечатления. Будет ли достаточно подписчиков у «Дневника писателя», не придется ли пережить новую неудачу, новое оскорбительное разочарование — их уже и так было немало!..

В декабре у него заболели дети скарлатиной, и во все продолжение шестинедельного карантина я не мог с ним видаться, опасаясь за своего ребенка. Но мы переписывались в это время. В конце декабря он объявил в газетах о подписке на «Дневник писателя»[18]. Решился — но опасения все же его не покидали. «Что выйдет — не знаю,— писал он м н е . — Все зависеть будет от 1-го №, который выдам в конце января»[19].

Я пророчил ему успех, рассчитывая, что необычная, оригинальная форма издания на первых порах заинтересует публику, а затем заинтересует уже сам автор. Но не такого мнения были литературные и журнальные кружки. На вечере у Якова Петровича Полонского[20], у которого обыкновенно можно было встретить представителей всевозможных редакций, людей самых различных взглядов, я выслушал с разных сторон заранее подписанный приговор «Дневнику писателя». Решали так, что издание непременно лопнет, что оно никого не заинтересует. Говорили:

— Он, наверное, начнет опять о Белинском, о своих воспоминаниях[21]. Кому это теперь нужно, кому интересно?!

— Ну, а если он начнет о вчерашнем и сегодняшнем дне? — спрашивал я.

— В таком случае еще того хуже... что он может сказать?! он будет бредить!..

Но и после этого всеобщего приговора я не переставал рассчитывать на успех. С его жаром, с его искренностью,

обращаясь прямо к обществу, в форме простой беседы — разве мог он не заинтересовать? Ведь он сам — интереснейшее лицо среди самых интересных лиц его лучших романов — и, конечно, он будет весь, целиком в этом «Дневнике писателя»! Любопытно только, с чего он начнет...

Январь 1876 года уже наступил, а карантин в его доме все еще продолжался; я не мог его видеть; но он сам вывел меня из неизвестности: 11 января, между прочим, он писал мне:

«В 1-м № будет, во-первых, самое маленькое *предисловие,* затем кое-что о *детях* — о детях вообще, о детях с отцами, о детях без отцов в особенности, о детях на елках, без елок, о детях-преступниках... Разумеется, это не какие-нибудь строгие этюды или отчеты, а лишь несколько горячих слов и указаний... Затем о *слышанном* и *прочитанном,* — всё или кое-что, поразившее меня лично за месяц. Без сомнения, «Дневник писателя» будет похож на фельетон, но с тою разницею, что фельетон за месяц естественно не может быть похож на фельетон за неделю... Тут отчет о событии, не столько как о новости, сколько о том, чт*о* из него (из события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей. Наконец, я вовсе не хочу связывать себя даванием отчета... Я не летописец; это, напротив, совершенный *дневник* в полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня заинтересовало л и ч н о , — тут даже каприз...

Сам не знаю... выйдет ли что-нибудь путное, порой кажется, что напрасно взялся; а впрочем, что Бог пошлет, только (между нами это) почти ни одной строки еще не написано! Матерьялов же (на 1-й №) собрано и *записано* более чем на 4-е печатных листа...»[22]

В назначенный день первый номер вышел и сразу произвел сильное впечатление, раскупался нарасхват. Даже газеты позабыли о «сумасшедшем», «маньяке», «изменнике» и заговорили в благоприятном тоне — ничего другого им не оставалось[23]. Подписка превзошла все ожидания. Успех наконец начал улыбаться измученному труженику.

Я не стану останавливаться на постепенном усилении того влияния, которое горячая, искренняя речь Достоевского получала над умами его читателей, и по преимуществу над умами молодого поколения. Но и среди успеха бывали тяжелые минуты. Смелые, вдохновенные мысли, пророческий тон Достоевского его противники старались-таки осмеивать.

Время было горячее, тревожное; «восточный вопрос» снова стоял на очереди, сербская война, Черняев,

добровольцы... чувствовалась неизбежность, необходимость великой борьбы... Достоевский говорил смело, оригинально, по-своему; выставлял неожиданные вопросы и неожиданно освещал их, вдохновенно пророчествовал. Заветные мысли и чувства истинно русского и искреннего человека были многим не по душе, а этот человек вдобавок имел уже большое влияние — и снова поднялись насмешки.

«Парадоксы!» — кричали газеты — и опять эти крики раздражительно действовали на Достоевского[24].

В июле 1876 года он писал мне из Эмса, куда обыкновенно уезжал для лечения:

«Я уехал, не порешив и с некоторыми собственными, самыми необходимыми делами. Но теперь здесь, в скуке, на водах, Ваше письмецо решительно оживило меня и дошло прямо к сердцу, а то я стал было и очень уж тосковать, так как, не знаю почему, как попадаю в Эмс, сейчас начинаю тосковать мучительно, с ипохондрией, иногда почти беспредметно. Уединение ли тому причиною среди восьмитысячной многоязычной толпы, климат ли здешний — не знаю, но тоскую здесь, как никто. Вы пишете, что Вам нужно меня видеть; а мне-то как желалось Вас теперь видеть.

Итак, июньская тетрадь «Дневника» Вам понравилась. Я очень рад тому и имею на то большую причину. Я никогда еще не позволял себе в моих писаниях довести *некоторые* мои убеждения до конца, сказать *самое последнее* слово. Один умный корреспондент из провинции укорял меня даже, что я о многом завожу речь в «Дневнике», многое затронул, но ничего еще не довел до конца и ободрял не робеть. И вот я взял да и высказал последнее слово моих убеждений — мечтаний насчет роли и назначения России среди человечества, и выразил мысль, что это не только случится в ближайшем будущем, но уже и начинает сбываться. И что же, как раз случилось то, что я предугадывал: даже дружественные мне газеты и издания сейчас же закричали, что у меня парадокс на парадоксе, а прочие журналы даже и внимания не обратили, тогда как, мне кажется, я затронул самый важнейший вопрос. Вот что значит доводить мысль до конца! Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и comme il faut *; доведите же иное рискованное слово до конца,

* благопристойно (*фр.*).

скажите, например, вдруг: «вот это-то и есть Мессия», прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово. А впрочем, с другой стороны, если б многие из известнейших остроумцев, Вольтер например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, вдруг решились бы высказать всё, чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность с в о ю , — то, поверьте, и десятой доли прежнего эффекта не стяжали бы. Мало того: над ними бы только посмеялись. Да человек и вообще как-то не любит ни в чем последнего слова, «изреченной» мысли, говорит, что:

Мысль изреченная есть ложь[25].

И вот, сами судите, дорого ли мне или нет, после всего этого, Ваше приветливое слово за июньский №. Значит, Вам понятно было мое слово, и Вы приняли его именно так, как я мечтал, когда писал статью мою. За это спасибо, а то я был уже немножко разочарован и укорял себя, что *поторопился.* И если таких *понимателей* найдется в публике еще немного, то цель моя достигнута и я доволен: значит, не пропало высказанное слово. А тут как раз и обрадовались: «парадоксы! парадоксы!»... и это говорят именно те, у которых никогда ни одной мысли *своей* не бывало в голове...

Я же пробуду здесь до 7-го августа (нашего стиля). Пью здесь воды, но никогда бы не решился на муку жить здесь, если б эти воды не помогали мне действительно. Описывать Эмс нечего, нечего! Я обещал августовский «Дневник» в двойном числе листов, а между тем еще и не начинал, да и скука, апатия такая, что на предстоящее писание смотрю с отвращением, как на предстоящее несчастье. Предчувствую, что выйдет сквернейший №. Во всяком случае, черкните мне сюда, голубчик...»[26]

VIII

По зимам 76—77 и 77—78 годов мы продолжали довольно часто видаться. И хотя мы жили на двух противоположных концах города, Достоевский иногда проводил у меня вечера.

Отмечу здесь одно обстоятельство, конечно, случайное, в котором нет ничего веселого, но которое между

тем подавало повод к довольно комичным сценам. Он приезжал ко мне почти всегда после своих мучительных припадков падучей болезни, так что некоторые наши общие знакомые, узнавая, что у него был припадок, так и говорили, что его нужно искать у меня.

Бедный Федор Михайлович имел достаточно времени привыкнуть к своим припадкам, привыкали к ним и их последствиям и его старые знакомые, которым все это уже не казалось страшным и считалось обыкновенным явлением. Но он бывал иногда совершенно невозможен после припадка; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях.

Придет он, бывало, ко мне, войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его... Все-то у меня ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, — то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно... Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил, — ему подают пиво вместо чая! нальют слабый — это горячая вода!..

Пробуем мы шутить, рассмешить его — еще того хуже: ему кажется, что над ним смеются...

Впрочем, мне почти всегда скоро удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых его тем. Он мало-помалу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить. Через час он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное его состояние. Но если случайно в подобный день он встречался с посторонними, незнакомыми людьми, то дело усложнялось.

Один раз, во время одного такого его вечернего посещения, к жене моей приехали две дамы, которые, конечно, читали Достоевского, но не имели о нем никакого понятия как о человеке, которые не знали, что невозможно обращать внимания на его странности.

Когда раздался звонок их, он только что еще осматривался и был ужасен; появление незнакомых лиц его еще больше раздражило. Мне, однако, кой-как удалось увести его к себе в кабинет и там успокоить. Дело, по-видимому, обошлось благополучно; мы мирно беседовали. Он уж улыбался и не находил, что все не на месте. Но вот

пришло время вечернего чая, и жена моя, вместо того чтобы прислать его прямо к нам в кабинет, вошла сама и спросила: где мы желаем пить чай — в кабинете или в столовой?

— Зачем же здесь! — раздражительно обратился к ней Достоевский, — что это вы меня прячете? нет, я пойду туда, к вам.

Дело было окончательно испорчено. И смех и горе!.. Нужно было видеть, каким олицетворением мрака вошел он в столовую, как страшно поглядывал он на не повинных ни в чем дам, которые продолжали свою веселую беседу, нисколько не заботясь о том, что́ можно при нем говорить и чего нельзя.

Он сидел, смотрел, молчал, и только в каждом его жесте, в каждом новом позвякивании его ложки об стакан я видел несомненные признаки грозы, которая вот-вот сейчас разразится. Не помню по поводу чего, одна из приехавших дам спросила, где такое Гутуевский остров?

— А вы давно живете в Петербурге? — вдруг мрачно выговорил Достоевский, обращаясь к ней.

— Я постоянно здесь живу, я здешняя уроженка.

— И не знаете, где Гутуевский остров!.. Прекрасно! это только у нас и возможно подобное отношение к окружающему... как это человек всю жизнь живет и не знает того места, где живет?!

Он раздражался больше и больше и кончил целым обвинительным актом, который произвел на преступницу и слушательниц самое тяжелое впечатление. Мы же, хозяева, не знали, что и делать. По счастью, наша гостья, сначала вследствие неожиданности сильно озадаченная, скоро поняла, что обижаться ей невозможно, и сумела, продолжая оставаться веселой, и его мало-помалу успокоить...

Я рассказал этот маленький случай, потому что говорить о Достоевском и не упомянуть об его странностях — значило бы недорисовать его образ. О странностях его передается много рассказов, и находятся люди, которые эти странности ставят ему в большую вину. Такие обвинения приходится слышать даже теперь, уже после его смерти...

Конечно, он не был создан для общества, для гостиной. От человека, жившего почти всегда в уединении, проведшего четыре года на каторге, десятки лет работавшего и боровшегося с нуждой, от человека, нервная

система которого была совершенно потрясена страшной, неизлечимой болезнью, невозможно было требовать уменья владеть собою. Для такого человека — и вовсе не в силу того, что он был замечательный писатель, один из знаменитых людей русских, а просто в силу всех обстоятельств его жизни, в силу исключительного болезненного состояния его организма — нужны были особенные мерки. Его странности могли возмущать не знавших его людей, людей, которым до него не было никакого дела, но все близко его знавшие ничуть не смущались и не могли смущаться этими странностями. Мы знали его ум, его прекрасный талант, его доброту и благородство, разнообразнейшие свойства его яркой, богато одаренной природы. Болезненные странности давали пищу только для добродушных, веселых рассказов о тех импровизированных водевильных сценах, в которых он играл грустно-комическую роль.

И теперь, когда его нет, эти бедные странности вспоминаются как нечто дорогое и милое, с грустной улыбкой, — и больно, что все это прошло. Вместе с этими странностями нежданная могила унесла столько тепла, столько света...

IX

Теперь я расскажу об одном обстоятельстве, которое произвело на Достоевского сильное впечатление, чему я был свидетелем, и о котором пока знают очень немногие.

В конце 1877 года, в ноябре, я заехал к нему по обыкновению около двух часов и застал его, что случалось нечасто в эти часы, в хорошем, даже веселом настроении духа. Его ничто не раздражало, он любил всех и всё, проповедовал снисходительность...

Просидев часов до четырех, я уже собрался уезжать, как вдруг он остановил меня и спросил:

— Да, вот чуть было не забыл, — вы знаете гадалку-француженку Фильд?

— Знаю, а что?

— Мне говорил про нее ваш брат; рассказал много интересного. Вы как ее знаете?

— Несколько лет тому назад, — отвечал я, — одна моя знакомая старушка, жившая тогда в Москве, упросила меня побывать у этой Фильд, показать ей ее фотографический портрет, выслушать то, что она скажет, и затем сообщить ей. Старушка уверяла меня, что Фильд эта

никак не может назваться обыкновенной гадалкой, что это замечательная предсказательница; при этом она передала мне много интересных случаев ее сбывшихся пророчеств. Я мало заинтересовался этими рассказами, но, желая исполнить обещание, данное мною почтенной старушке, приехав в Петербург, сейчас же отправился с ее портретом к этой француженке.

— Ну и что же? Какое она произвела на вас впечатление? — живо и с видимым интересом спросил Достоевский.

— Странное, — это маленькая, живая старушка с какими-то особенными, черными глазами и необыкновенным даром слова. Она меня совсем заговорила и заинтересовала, потому что очень верно и определенно описала характер моей знакомой, с портретом которой я явился...

— Неужели вы ее ничего относительно себя не спросили?

— Спросил. Она предсказывала мне больше часу, наговорила много вздору, но в числе этого вздора сказала и такие вещи, которые, как мне тогда казалось, никаким образом не могли случиться и которые тем не менее случились со мною во всех мельчайших подробностях, ею предсказанных. Я был у нее еще раз, и она опять говорила мне много вздору и много правды. Во всяком случае, это интересная женщина и, мне кажется, у нее бывают минуты вдохновения.

— Ну вот, да, все это именно то, что я уж не раз про нее слышал. Видите ли, не верить в возможность предсказаний нельзя, никак нельзя... это вздор! уж не говоря о том, что в истории сохранилось многое в этом роде, но почти каждый человек на себе знает. Все верят, и если не признаются, то единственно из малодушия, которого в нас так много. Сам верит, верит, может быть, даже больше, чем бы следовало, — и в то же время смеется, глумится над искренним человеком, который так прямо и скажет, что верит... Вы знаете ее адрес? пойдемте сейчас же, я хочу знать, что она мне скажет!..

— Пойдемте, если она только живет там же, где я был у нее в последний раз; это недалеко — в Басковом переулке.

Мы отправились. Фильд жила в том же доме и приняла нас.

Федор Михайлович был очень серьезен. Он попросил ее, чтобы она предсказывала ему в моем присутствии. Но

француженка решительно отказалась — это было не в ее правилах.

— В таком случае делать нечего, — шепнул он мне, — но я даю вам слово, не утаив, рассказать вам все, что она мне скажет.

Я остался ждать в крохотной гостиной и проскучал больше часу.

Наконец Достоевский вышел. Он был взволнован, глаза его блестели.

— Пойдемте, пойдемте! — таинственно шепнул он мне.

Мы вышли и отправились пешком. Он несколько минут шел молча, опустив голову. Потом вдруг остановился, схватил меня за руку и заговорил:

— Да, она интересная женщина, и я рад, что мы к ней отправились. Может, она и наврала, но я давно не испытывал такого сильного впечатления. О, как она умеет обрисовывать людей! Если б вы знали, как она рассказала мне мою обстановку!

— Что же она вам говорила? Ведь вы дали мне слово рассказать все без утайки!

— И расскажу, только не распространяйте этого между посторонними до времени, может, все наврала, глупо выйдет...

Он передал мне все, что она говорила ему о различных его семейных обстоятельствах. Потом оказалось, что больше половины не сбылось, но кой-что и сбылось. Она сказала ему, между прочим, что весною у него будет смерть в доме. И хотя в подробностях этого предсказания было много вздорного, но смерть действительно случилась тою же весною: умер его маленький сын, внезапная кончина которого сильно потрясла его. Но дело не в этом, а в других предсказаниях. Не догадываясь, кто он, и не умея определить его деятельность, Фильд предрекла ему большую славу, которая начнется в скором времени.

— Она сказала, — говорил он, — что меня ожидает такая известность, такой почет, о которых я никогда не мог и мечтать. Поверить ей, так меня на руках будут носить, засыпать цветами — и все это будет возрастать с каждым годом, и я умру на верху этой славы... Но вот, голубчик, может быть, она врунья, только интересная... интересная врунья! А ведь я все-таки же теперь и буду ждать этой славы, и уж это утешительно!

— Хорошо, что она предсказала вам славу, — заметил я, — но ведь вот же она предсказала и семейное горе...

— Да, и я теперь так и думаю, что оно наверное будет. Я вам говорю: она произвела на меня очень сильное впечатление. Ведь другие говорят общими местами, более или менее ловко; но сейчас же и замечаешь шарлатанство, каждое предсказание можно повернуть так или иначе — ну, а у нее все ясно, определенно. Интересная женщина!..

Мы стали припоминать исторические факты сбывшихся предсказаний; но он то и дело возвращался к словам Фильд, повторял каждую ее фразу.

Я оставил его в очень возбужденном состоянии[27].

Вернувшись домой, я застал у себя моего брата, в тот же вечер у меня был Аполлон Николаевич Майков, и так как они оба были близки **с** Федором Михайловичем и я знал, что сообщенное им не будет распространено, то и решился рассказать им подробности предсказания, сделанного француженкой.

Потом и сам Федор Михайлович сообщил кой-кому об этом предсказании.

Ему не долго пришлось дожидаться его исполнения — всеобщее сочувствие, горячее поклонение молодежи пришли внезапно, усиливаясь с каждым днем, выражаясь шумными овациями, подносимыми венками и цветами. Достоевский достиг такой популярности, какая еще никогда не выпадала на долю русского писателя... И он скончался на верху этой славы, что достаточно доказали его знаменательные похороны.

В последние дни жизни этому вечному труженику, так долго плохо ценимому, улыбнулось счастие... улыбнулась слава. Он успел взглянуть на эту улыбку, что удается не многим даже из самых знаменитых деятелей.

И хорошо, что «интересная» француженка не могла предсказать, что ему так мало остается жить, хорошо, что смерть пришла внезапно и застала его среди планов, надежд, среди мыслей о жизни... Печальное утешение — но все же он умер хорошей для него смертью.

X

Вспоминается мне еще одно из наших свиданий. Мне нужны были для статьи биографические сведения о Федоре Михайловиче, и я обратился к нему за ними[28]. Он охотно вызвался сообщить мне все, что о себе помнил. Начал, ограничиваясь перечнем чисел и фактов,

но скоро, по своему обыкновению, увлекся, стал рассказывать:

— Эх, жаль, что вы не можете поместить в статью свою очень много интересного из моей жизни, но все же запомните, может быть, потом кому-нибудь и скажете. Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй, что были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано! Слушайте, когда я вернулся в Петербург, после стольких-то лет, меня многие из прежних приятелей и узнать не захотели, и потом всегда, всю жизнь друзья появлялись ко мне вместе с успехом. Уходил успех — и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно... Я узнавал о степени успеха новой моей работы по количеству навещавших меня друзей, по степени их внимания, по числу их визитов. Расчет никогда не обманывал. О, у людей чутье, тонкое чутье! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... а потом и опять все схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три человека!..

А друзья были так нужны, жилось тяжело, кредиторы за горло хватали, тюрьмой грозили. И это на первых-то порах моей новой семейной жизни!.. Четыре года я протосковал за границей, а вернуться боялся — опять то же, опять кредиторы и заключение за долги. За границей не раз бедствовать приходилось — не будь Каткова, который всегда выручал, просто пропадать пришлось бы!.. Ну, стоит мне теперь получить большой успех, большую популярность — столько друзей явится, что и не оберешься. Будут и искренние — о, конечно! — только как же их распознаешь?! Успех — это, знаете ли, какая вещь — это величайший соблазн, тут всякое чувство меры теряется, человек вдруг слепнет и делается слабым, проводи его кто хочет, надувай самым грубым манером — всему поверит, все примет за чистую монету...

Успех, — продолжал он, больше и больше оживляясь, — успех одного служит успехом для многих. На чужом успехе многие строят свои планы и достигают коечего: и им перепадает кусочек... Стоит человеку получить большой, решительный успех, популярность настоящую, с которой уж нельзя спорить, которую уж никакими

хитростями не уничтожишь, не уменьшишь, — и смотришь: за этим человеком непременно хвостики... хвостики! «Возле видного человека и меня, дескать, заметят». О, сколько в таких случаях можно сделать интересных наблюдений! только тот, за кем эти «хвостики», таких Наблюдений не сделает, ибо вдруг теряет чувство меры... Да, только что же об этом — поживете, много такого увидите!..

Он замолчал и стал стучать пальцем по столу, хмуря брови.

XI

В последние два года жизни Достоевского я почти с ним не видался. Я провел эти два года в Царском Селе, приезжая в Петербург только по делам, окончив которые всегда спешил обратно домой. Дела, работы, семейное горе, неудобство сообщения — все отдалило меня на это время от старых знакомых. Мне не удалось и в самые последние месяцы жизни Федора Михайловича с ним видеться, хотя я снова переселился в Петербург: долгий карантин, начавшийся у меня в доме, был тому причиной.

За все это последнее время, за эти краткие годы предсмертных успехов Достоевского и его славы многие, конечно, могут сообщить об нем интересные сведения. Он вел уже не прежнюю уединенную жизнь, он был окружен ежедневно прибывавшими ценителями. Говорят, он получал много писем от совсем даже неизвестных ему людей из различных мест России и отвечал на эти письма. Все это, конечно, интересно.

За это время могут говорить о нем и его старые друзья и знакомые, которые продолжали с ним видеться, и его новые ценители, которым удалось узнать его, сблизиться с ним в его предсмертные годы и, может быть, искренно полюбить его. Наконец, могут говорить о нем за это время и те, кого он называл «хвостиками». Я же пока должен ограничиться этими отрывками моих воспоминаний. Мне хотелось только помянуть, употребляя его же выражение, «большого» для меня человека, который принес мне много нравственной пользы...

Он умер, оплаканный так, как у нас до сих пор еще не оплакивали почти ни одного общественного деятеля. Его объявили учителем русского молодого поколения, представители которого в великом множестве шли за его

гробом с выражением самой искренней печали. Остается только желать и чтобы нравственный образ учителя и его вдохновенное слово не забылись и проникли в жизнь тех, кто назвал его учителем[29].

Остается скорбеть, что этот учитель отошел от нас так рано, в черные, безобразные дни, которые мы переживаем[30].

Именно теперь, в эти черные дни, он был бы так нужен. Он не мог бы, конечно, одной своею силою рассеять тот мрак, который нас окутывает, и указать нам прямую дорогу. Для такого подвига недостаточно сил одного человека. Но можно смело сказать, что Достоевский, по свойству своего таланта, по силе своей честной мысли, всегда прямой и искренно, страстно любивший Россию, только и думавший о ее великой *будущности*, — сумел бы поднять самые неотложные, самые существенные вопросы. И уж одно это было бы теперь немалой заслугой.

Г. К. ГРАДОВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
«РОКОВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ. 1878—1882 гг.»

На дело Засулич, в пятницу 31-го марта 1878 года, можно было попасть только по билетам, а добыть их было трудно. Зала заседания уголовного отделения невелика. Все места за судьями были тесно заняты высшими представителями администрации и суда. В обычных местах для публики, внизу и наверху, трудно было дышать. Виднелось много дам избранного общества. Впереди, в самой зале, было устроено несколько загородок для чиновников, адвокатов, стенографов и представителей печати. Их было не более десяти — двенадцати лиц; между ними Ф. М. Достоевский, с своим страдальческим, желчным лицом. А страдать приходилось много, не только от духоты и тесноты, но и от всего, что было узнано и перечувствовано при разбирательстве этого дела.

Председательствовал А. Ф. Кони; присяжные в большинстве были из чиновников. Защищал присяжный поверенный Александров, нервный, правдивый, смелый, с истерическими нотами в голосе. Представитель прокуратуры не выдавался, но был приличен (в юридическом смысле) и держался деловито, не преувеличивая и не умаляя своей роли [1].

Напоминаю все эти подробности потому, что среди молчания «обузданной» печати разнузданная реакционная журналистика утверждала, будто в суде по делу Засулич находился какой-то сброд и неистовствовала толпа нигилистов. В эту мнимую толпу жрецы и прислужники реакции включили всех и вся: судей, присяжных, защитника, литераторов, представителей высшей администрации и общества. Можно уверенно сказать, что в судебной зале не было ни одного «нигилиста», ни одного студента. Учащаяся молодежь не могла проникнуть без билетов даже во двор судебного здания. Сильный наряд полиции охранял все входы. Серый люд

и учащуюся молодежь не пускали далее противоположного тротуара. С раннего утра густая толпа занимала Литейный проспект, между старыми пушками артиллерийского управления и арсенального здания. Накрапывал дождь, было сыро; но молодые люди упорно, стоически ожидали исхода процесса, кутаясь в пледы, без пищи, следя за счастливцами, попадавшими в двери суда, по предъявлении дозволительного билета, и хмуро, терпеливо ожидали решения присяжных, представителей общественной совести. Эта толпа, отстраненная и топтавшаяся в уличной слякоти, одним своим видом упреждала, что в суде совершается нечто незаурядное, предрешаются важные события. Но разгадка превзошла ожидания. <...>

Рассказ Засулич тронул все сердца; но когда начались показания свидетелей, когда присутствовавший в зале «весь Петербург» узнал, что проделал Трепов в предварительной тюрьме над беззащитным человеком[2], как грубо оскорбил его и жестоко истязал; когда мы услышали стоны и крики негодования всей тюрьмы, вопиявшей о защите и тщетно протестовавшей против насилия, которому так же легко и безнаказанно мог подвергнуться каждый заключенный, всем стало тяжело, стыдно. Тяжело, как от пытки, стыдно от сознания, что подобные варварства могут совершаться над русским народом, в столице Петра, у самого здания суда «правды и милости», да еще во время войны за освобождение братских народов от турецкого ига! Довольно, не надо подобных безобразий, пора положить предел беззаконию и создаваемому им недовольству. Таковы чувства и мысли, набегавшие и накоплявшиеся во время судебного следствия.

Но вот оно выстрадано и закончено. От общей картины произвола надо возвратиться к частному случаю поступка этой девушки, на себе испытавшей политику ссылок и административных расправ. Проходит прокурорская речь, и раздается слово защиты. Это была громовая речь, построенная на обвинении тех, кто привел эту девушку на скамью подсудимых. Оправдание заключалось в обличении обвинителей. Взрыв рукоплесканий приветствовал вдохновенное слово защиты, мужественно и честно выполнившей свой гражданский долг. У многих на глазах были слезы. Звонок председателя и его беспристрастное, ясное резюме, произнесенное с обычным красноречием, вносят успокоение в высоко приподнятое настроение судебной залы. Не могу теперь припомнить, сказала ли что-нибудь подсудимая; но когда присяжные

получили вопросный лист и. удалились, когда настал томительный перерыв заседания, Ф. М. Достоевский, сидевший возле меня, высказал приведенное уже свое мнение[3]. Оно предрешало судьбу подсудимой, но великий писатель придал своему мнению своеобразный отпечаток. Осудить нельзя, наказание неуместно, излишне; но как бы ей сказать: «Иди, но не поступай так в другой раз».

— Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, — добавил Достоевский, — а чего доброго, ее теперь возведут в героини.

Мне казалось, что Достоевский опасается, как бы Засулич не впала в рецидив. На это я заметил, что оправданные присяжными *случайные* преступники никогда не повторяют своих преступлений, а рецидивы в большинстве случаев возникают от излишества и несовершенства уголовных кар. Для такой девушки, как Засулич, достаточно уже тех страданий, какие она пережила после покушения, во время следствия и суда. Достоевский промолчал. Мы протиснулись и вышли из залы отдышаться в коридор. Не прошло и получаса, как раздался электрический звонок. Совещание присяжных длилось недолго. Шумною толпою, обгоняя друг друга, все бросились в залу. На свое место трудно было попасть, и я остановился у двери. Почти все стояли, так что судебному приставу не было надобности возглашать свое обычное приглашение. Вошли судьи, медленно потянулись один за другим присяжные к своим креслам. Все замерло, все притаили дыхание. Совершает свои переходы вопросный лист. А. Ф. Кони просматривает и спокойно возвращает решение старшине присяжных. Слышится медленное чтение обвинительного вопроса. Все глаза обращены к представителю суда совести; все угадывают, чувствуют, *что* будет произнесено, но все боятся ошибиться. Напряжение общего внимания достигает крайнего предела. Вдруг вся зала точно ахнула, все лица просияли; казалось, будто электрическая искра пробежала по этому сборищу истомленных людей и оживила всех. Разразился гром рукоплесканий, послышались рыдания, истерические голоса женщин. Председатель усиленно звонит, призывает к порядку. «Нет, невиновна», — произнес старшина присяжных. «Нет, невиновна», — механически повторили многие, и вся зала, едиными устами и единым сердцем, подтвердила: «Нет, невиновна!»

А. Ф. КОНИ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Весною 1845 года начинающий, впоследствии очень известный, писатель Григорович взял у своего сотоварища по воспитанию в Инженерном училище рукопись его первого литературного труда и отнес ее к Некрасову, собиравшему материалы для «Петербургского сборника».

Чтение рукописи привело их в восторг и вызвало у сдержанного вообще Некрасова слезы. С известием об этом впечатлении, самым ранним утром, Григорович поспешил к автору, а затем вместе с Некрасовым отправился к знаменитому русскому критику. «Белинский! — вскричал один из них, входя, — новый Гоголь народился!»

«Эк у вас Гоголи-то как грибы растут», — сурово ответил Белинский, однако взял рукопись, а вечером в тот же день пришел к ним сказать, что совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым задушевным образом и, так сказать, благословил на дальнейшую писательскую деятельность [1]. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось «Бедные люди», в котором затронутые Гоголем душевные переживания скромного труженика, «унижаемого и оскорбляемого» и людьми и судьбой, изображены с гораздо большей широтой и берущей за сердце глубиной.

Гейне говорит, что человек в разгаре своей деятельности похож на солнце. Чтобы его рассмотреть как следует, надо видеть его при восходе и при закате [2]. То же следует сказать и про деятельность выдающегося человека. Восход и закат Достоевского, как писателя, были яркие и приковывавшие к себе общее внимание, но разгар его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и отсутствия справедливости в отношении к нему критики. Улыбнувшись ему и даже вскружив ему голову блестящим успехом, судьба повела

его затем тяжким и тернистым путем, сначала на Семеновский плац, заставив пережить муки ожидания смертной казни, потом по долгой «Владимирке» в сибирскую каторгу и оренбургские линейные батальоны[3]. После «Бедных людей» талант его, как это встречается у многих писателей, стал как будто постепенно слабеть, гаснуть и, под влиянием материальной нужды, грозить разменяться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в «Мертвом доме» не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из каторги примиренным с жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последней. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях он сумел найти признаки человечности. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого *отсутствия уединения* и *насильственного одиночества*[4]. Любовь к страждущим и сострадание к людям стали затем господствующей и несмолкающей нотой в его творчестве.

В его «Мертвом доме» далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга встала в живых образах и со всеми своими сторонами, не превзойденная никакими последующими описаниями, хотя бы и очень талантливыми. Как бледны и односторонни наряду с «Мертвым домом» прославленные страницы «Моих темниц» Сильвио Пеллико[5] и какой верой в лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской «Citta dolente»![6]

По возвращении к обычной жизни ему пришлось писать свои сочинения, созревшие в чуткой и «взыскующей града» душе в тягостных условиях. Создавая свой удивительный по богатству и глубине содержания роман «Преступление и наказание», он писал своему брату: «Работа из-за денег задавила и съела меня. Эх, хотя бы один роман написать, как Толстой или Тургенев, — не наскоро и не наспех»[7]. И так пришлось ему работать всю жизнь, испытывая высокомерное к себе отношение некоторых из редакторов влиятельных журналов, — оценку своего таланта как «жестокого» и упреков в «мучительстве» читателя[8] (как будто совесть — «незваный гость, докучный собеседник, заимодавец лютый»[9], — которую пробуждал Достоевский в читателе, не бывает жестокая?). Не даром тонкий ценитель его дарования, Вогюэ, называет его «собирателем русского сердца, умевшим окунуться

в скорбь жизни»[10]. Эта скорбь чувствуется даже в названиях его произведений: «Мертвый дом», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Бедные люди», «Записки из подполья» и т. д., и в его языке, тревожном, неровном, страстном, напоминающем перебои больного сердца, и, наконец, в частом возвращении к одним и тем же картинам, заставляющим вспомнить слова поэта: «О память сердца! ты сильней — рассудка памяти печальной»[11].

Нужно ли говорить о смелости созданных им образов, с их глубокими сомнениями и их восторженной верой, о переходах от описаний умиляющих душевных проявлений к изображению страстей и пороков в их крайнем развитии, причем он идет к павшим, погрязшим и несчастным с чувством жалости, не брезгая ими и не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной беллетристике, с холодным любопытством в увеличительное стекло.

В январе 1866 года я зашел к А. Н. Майкову, с которым познакомился еще в Москве, во время моего студенчества, когда он посещал небольшой кружок студентов Петербургского университета, перешедших в Москву после закрытия последнего[12] и группировавшихся вокруг филолога Н. Н. Куликова — милого, доброго и разностороннего человека[13]. Занятые лекциями и даванием уроков, мы собирались обыкновенно по субботам и засиживались до поздней ночи в оживленной беседе о всяких «злобах дня». Никого из десяти членов этого кружка, кроме меня, нет уже в живых. Бывая в Москве, Майков любил заходить пить скромный студенческий чай на наши субботние сборища и охотно читал нам свои новые, еще не напечатанные произведения. Так, между прочим, нам пришлось слышать в его мастерском и одушевленном чтении «Смерть Люция» в первоначальной редакции, которая оставляет далеко за собою позднейшую[14].

Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только что вышедшей книжке «Русского вестника» первой части «Преступления и наказания». «Послушайте, — сказал он мне, — что я вам прочту. Это нечто удивительное!» — и, заперев дверь кабинета, чтобы никто не помешал, он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением, оживает во мне испытанное тогда

и ничем не затемненное и не измененное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Великий художник с первых слов захватывает в ней своего читателя, затем ведет его по ступеням всякого рода падений и, заставив его перестрадать их в душе, мирит его в конце концов с падшими, в которых сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованные с любовью и горячей верой вечные черты несчастного *брата.* Созданные Достоевским в этом романе образы не умрут, не только по художественной силе изображения, но и как пример удивительного умения находить «душу живу» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру Божию.

Критика того времени, однако, не благоволила к Достоевскому. Его роману не было посвящено, сколько мне помнится, ни одного серьезного разбора [15], в то время как произведениям «идейных беллетристов», имена которых ныне «Ты, Господи, веси», оказывалось милостивое внимание. В некоторых пренебрежительных отзывах о романе даже указывалось, что это «клевета на молодое поколение», которое будто бы воплощено в Раскольникове, представляющем из себя простого убийцу для грабежа [16]. Находились даже люди, с развязностью утверждавшие, что Достоевский написал «донос на молодежь». Но «il tempo — e un galantuômo» *, — говорят итальянцы, — и оно поспешило действительными событиями жизни подтвердить творческий вымысел автора «Мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных». 12 января 1866 г., когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет («Русский вестник» всегда выходил со значительным опозданием), в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку [17], — а через тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг [18]. Это умышленное и злостное непонимание глубокого смысла «Преступления и наказания», которому лишь в восьмидесятых годах пришлось наконец быть оцененным по достоинству не только у нас, но в западноевропейской литературе, — в

---

* время — честный человек (*ит.*).

то время чрезвычайно волновало мою молодую и еще не приглядевшуюся к житейской несправедливости душу и было даже однажды причиною резкого спора с одним из грубых и невежественных порицателей «доносчика», спора, едва не окончившегося у барьера *.

Через много лет, в начале семидесятых годов в бытность мою прокурором окружного суда в Петербурге, сестра моего друга Куликова, лично знакомая с Достоевским[19], написала мне, что Федор Михайлович находится в крайне затруднительном положении. Он был в это время редактором «Гражданина», имевшего другой характер, чем позднейшая постыдная газета того же имени, и допустил напечатание в нем сведения о путешествии государя, не испросив на то предварительного разрешения министра двора, как то требовалось цензурными правилами, вследствие чего суду пришлось приговорить его к аресту на две недели на гауптвахте[20]. Приговор, войдя в законную силу, был обращен к исполнению. Между тем предпринятое Достоевским лечение и разные другие обстоятельства личного характера делали для него это кратковременное лишение свободы до крайности неудобным именно в то время, когда приговор подлежал осуществлению. Отвечая Куликовой, я просил ее передать Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это по своим соображениям удобным. За любезным письмом Достоевского, с выражением благодарности[21], последовало его посещение, отвечая на которое я убедился воочию, в какой скромной и даже бедной обстановке жил, мыслил и творил один из величайших русских писателей. При этом нашем свидании он вел довольно долгую беседу, очень интересуясь судом присяжных и разницею в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных.

15 октября 1876 г. в Петербургском окружном суде слушалось дело крестьянки Екатерины Корниловой, которая, будучи беременной на четвертом месяце, раздраженная упреками своего мужа и замечаниями, что первая

---

* Достаточно упомянуть, как сильно отразилось «Преступление и наказание» на приемах и содержании некоторых произведений Габриэля Д'Аннунцио и Поля Бурже, — указать на критические отзывы Вогюэ, на разбор его в социально-криминологических очерках Ферри, на лекциях французского судебного деятеля Аталена, говорящего своим слушателям: «Читайте, читайте Достоевского» и т. п. (*Примеч. А. Ф. Кони.*)

его жена была лучшею «хозяйкою», выбросила, назло ему, из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, каким-то чудом оставшуюся живою и отделавшуюся лишь крайним испугом. Дело это чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В удивительных по глубине психологического анализа, по знанию природы русского человека и по возвышенному и вместе трезвому взгляду на задачи суда строках своего «Дневника писателя» он выразил сомнение во вменяемости Корниловой ввиду частых ненормальностей в душевных движениях и порывах беременных. Рисуя, со свойственным ему знанием народного быта, сцену предстоящего расставания отца уцелевшей девочки с приговоренной на каторгу женой с новорожденным младенцем на руках, он спрашивал: «А неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка...» Вместе с тем он стал горячо хлопотать о таком смягчении и бывать для этого у меня в министерстве юстиции. Конечно, ему было мною обещано всевозможное содействие в смысле выработки и направления представления о помиловании Корниловой или о значительном смягчении ей наказания. Но давать ход этому представлению не пришлось. Решение присяжных было кассировано Сенатом, и при вторичном рассмотрении дела, с вызовом компетентных врачей-экспертов, она была оправдана[22].

Замечательно, что через двадцать лет Л. Н. Толстой в своем романе «Воскресение» в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, «присмолившейся» впоследствии к мужу[23].

Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем «Дневнике писателя», дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет жизнь: в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. О каждом из таких больных Достоевский сказал свое человечное веское слово в высокохудожественных образах. Едва ли найдется много научных изображений душевных расстройств, которые могли бы затмить их глубоко верные

картины, рассыпанные в таком множестве в его сочинениях. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психической области — галлюцинации и иллюзии. Стоит припомнить галлюцинации Раскольникова после убийства закладчицы или мучительные иллюзии Свидригайлова в холодной комнате грязного трактира в парке. Провидение художника и великая сила творчества Достоевского создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что, вероятно, ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни.

Вскоре после дела Корниловой Достоевский снова появился в стенах министерства юстиции. Он в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь и на всякого рода «униженных и оскорбленных», без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во вторых. К нему шли за советом, утешением, нравственною помощью, — ему поверяли свои сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущенную душу... Некто А. Бергеман — добрая и отзывчивая на людское горе женщина — обратилась к нему в декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения одиннадцатилетней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить «стало невмоготу». Старик посылал девочку собирать милостыню, сам поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и озябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более что мать, работавшая на бумагопрядильной фабрике, разысканная госпожою Бергеман, рассказала ей, что муж уже обесчестил ее старшую внебрачную дочь и хвастался, что сделает то же и с бедной Марфушей (так звали девочку), когда она «поспеет»... Достоевский и за это дело принялся горячо и с сосредоточенною настойчивостью, доставляя мне необходимые справки и присылая полученные им сведения. Помочь ему и госпоже Бергеман в их благородном беспокойстве за девочку было довольно трудно, так как в то время ничего подобного «Обществу защиты детей от жестокого обращения» не существовало. После личных сношений с прокурором и с градоначальником дело кончилось, однако, тем, что девочка была освобождена от своего мучителя и развратителя. Попечением

госпожи Бергеман она была помещена сначала в Елисаветинскую детскую больницу, а после того, как немного укрепилась, в детский приют[24].

Достоевского очень интересовала колония для малолетних преступников на Охте, за пороховыми заводами, и по его желанию я свез его туда в один из летних дней 1877 года[25].

В первоначальном устройстве колонии, открытой в конце 1871 года, было немало недостатков. Она разделялась на собственно колонию (земледельческую) и на ремесленный приют. Первое время каждое из этих учреждений было вверено особому лицу в качестве совершенно самостоятельного руководителя. Связующего и объединяющего звена между ними не было, и каждый из двух весьма известных педагогов, поставленных во главе приюта и колонии, расходясь друг с другом во взглядах, проводил в жизнь *свою* теорию воспитания. Вследствие этого образовались две пограничные области, разделенные, сколько помнится, лишь небольшим ручьем или канавкой, резко различные по своему устройству и порядку управления. В *одной* малолетние почти не чувствовали над собой твердой власти и, образуя нечто вроде маленького, своеобразного суда присяжных, сами определяли в случае проступков товарищей их виновность (и, надо сказать, почти всегда справедливо и всегда строго); в *другой* существовала осязательная дисциплина и наказания налагались руководителем. В одной уборка комнат, топка печей и все хозяйственные работы исполнялись питомцами, старшим из которых разрешалось к у р е н и е, — в другой эти работы исполнялись наемными слугами и курение было воспрещено безусловно. В одной господствовали руководительство и наставление, в другой — указание и приказание. Можно себе представить, какую неустойчивость представляло при этом воспитание питомцев, постоянно входивших и даже вводимых в общение между собою. И тем не менее, по идее своей, колония была прекрасным учреждением, и открытие ее составляло один из первых шагов благородной деятельности русского общества по исправлению и постановке на путь честного труда тех несчастных, к которым, вследствие грустных условий их детской жизни, уже успело привиться преступление. В создание колонии вложил массу труда, хлопот, затрат и самой горячей любви известный юрист-практик и один из составителей Судебных уставов сенатор Михаил Евграфович Ковалевский[26]. Он принимал

непосредственное, живое участие в устройстве колонии, в горестях и радостях ее пестрого населения. Библиотека, мастерские, отдельные домики и красивая в своей простоте церковь — все это устроено первоначально под его руководством и надзором. Колония, где все его знали и любили, относясь к нему доверчиво и просто, долго была предметом его постоянной заботы, местом его отдыха и его любимым детищем. В свободное время он проводил там целые дни, изучал характеры отдельных «колонистов», вводил и обсуждал разные хозяйственные меры. Когда в колонии устраивался на праздниках домашний театр или какое-нибудь развлечение для детей, сдержанный и с виду холодный судебный сановник, окруженный шумливою толпою питомцев колонии, радовался детскою радостью и бывал счастлив, когда кто-нибудь приезжал ее с ним разделить... Ковалевский сам сознавал недостатки в устройстве колонии и непригодность двойственности последнего, но, с одной стороны, он не хотел обидеть твердой критикой ни одного из двух педагогов, руководивших делом, к которому они относились с любовью и увлечением, — а с другой — он находил, что торопливость реформы может не дать проявиться поучительным плодам вполне выясненного опыта. Впоследствии двоевластие в колонии выразилось в таких крайних разногласиях между «соправителями», что на место их пришлось призвать новое лицо — на началах единовластия. Оно исподволь стало водворять новые порядки, но при посещении колонии Достоевским старый строй был, во многих отношениях, еще в силе.

Достоевский внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, задавая вопросы и расспрашивая о мельчайших подробностях быта питомцев. В одной из больших комнат он собрал вокруг себя всю молодежь и стал расспрашивать ее и беседовать с нею. Он давал ей ответы то на пытливые, то на наивные вопросы, но мало-помалу эта беседа обратилась в поучение с его стороны, глубокое и вместе вполне доступное по своему содержанию, проникнутое настоящею любовью к детям, которая так и светит со всех страниц его сочинений, говорящих о «малых сих»... Его иногда прерывали и вступали с ним в спор, но слушали, конечно даже и не подозревая, кто он, с напряженным вниманием, дав раза два подзатыльник одному из шаловливых и нетерпеливых слушателей. Он произвел сильное впечатление на всех собравшихся вокруг него, — лица многих, уже хлебнувших отравы большого города, стали серьезными и утратили напускное

выражение насмешки и того молодечества, которому «на все наплевать»; глаза некоторых затуманились.

Когда мы вышли, чтобы пойти осмотреть церковь, все пошли гурьбою с нами, тесно окружив Достоевского и наперерыв сообщая ему о своих житейских приключениях и о проделках и взглядах на порядки колонии своих товарищей. Чувствовалось, что между автором скорбных сказаний о жизни и ее юными бессознательными жертвами установилась душевная связь и что они почуяли в нем не *любопытствующего* только посетителя, но и скорбящего *друга.*

Церковь, довольно обширная, с простыми деревянными, ничем не обделанными стенами внутри, была обильно снабжена иконами. Ковалевский выпросил для нее образа, похищенные или почему-либо отобранные у старообрядцев, хранившиеся много лет без востребования или возвращения, в качестве вещественных доказательств, в кладовых упраздненных судебных мест старого устройства. С икон, развешанных по стенам, смотрели коричневые лики и тощие условные фигуры старого письма, в одеждах «празелень» и с бородами «до чресл», окруженные неправдоподобными горами, среди которых ютились не менее странные города и обители. Но иконостас был новый, расписанный красивыми традиционными изображениями во вкусе итальянской школы.

Когда мы поехали назад в город, Федор Михайлович долго и сосредоточенно молчал, а затем мягко сказал мне: «Не нравится мне эта церковь. Это музей какой-то! К чему это обилие образов? Для того чтобы подействовать на душу входящего, нужно лишь несколько изображений, но строгих, даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина. Да и напоминать они должны мальчику, попавшему в столичный омут и успевшему в нем загрязниться, далекую деревню, где он был в свое время чист. А там в иконостасе обыкновенно образа неискусного, но верного преданиям письма. Тут же в нем все какая-то расфранченная итальянщина. Нет, не нравится мне церковь... Да и еще не нравится,— прибавил о н ,— эта искусственная и непонятная детям из народа манера говорить им *вы,* — оно, быть может, по-нашему, по-господскому, и вежливей, — но холоднее, гораздо холоднее. Вот я им говорил всем *ты,* а ведь проводили они нас тепло и искренно. Чего им притворяться? Да и непритворны они еще пока — ни в добром, ни в злом...» И действительно, «колонисты» провожали его шумно и доверчиво, окружив извозчика, на которого мы садились,

и крича Достоевскому: «Приезжайте опять! Непременно приезжайте! Мы вас очень будем ждать...»

В 1880 году в Москве состоялось давно жданное открытие памятника Пушкину, совпавшее с наступлением временного просвета во внутренней политике[27]. По оживлению населения, по восторженному настроению представителей литературы, искусства и просветительных учреждений, в большинстве входивших в состав разных депутаций с хоругвями и венками, по трогательным эпизодам, сопровождавшим это открытие,— оно представило незабываемое событие в памяти каждого из сознательно при нем присутствовавших[28].

Три дня продолжались празднества, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно, с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим «Как весенней раннею порою» и декламирующим пушкинского «Пророка», нельзя было предвидеть того полного преображения, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собою руку и как бы держа в ней что-то, сказал дрожащим голосом: «И сердце трепетное вынул!» Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского собрания, пред нервно настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение «властителя дум» и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непререкаемою славой русско-

го народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его «судьбой отсчитанных дней» пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжелых страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно... Так, вероятно, в далекое время умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться публикой и, назвав только что слышанную речь «событием», заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже и иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в Парижском университете, Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме «au Maître» *, то есть Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с дарованием Достоевского.

---

* Мэтру, Учителю (*фр.*).

После Пушкинских дней популярность Достоевского достигла своего апогея, и каждое его появление на эстраде в благотворительных концертах и чтениях сопровождалось горячими и бесконечными овациями. Он завоевал, думается мне, как никто из пишущей братии до него, симпатии всех слоев общества...

30 января 1881 г. был назначен в зале дома Кононова вечер в пользу Литературного фонда и в память Пушкина. На нем должен был читать и Федор Михайлович[29].

Придя в этот день в окружной суд, где я был председателем, я пригласил одного из моих секретарей, молодого правоведа Лоренца, сына главного врача психиатрической больницы «Всех скорбящих» на девятой версте Петергофского шоссе, начать доклад вновь поступивших бумаг и стал писать на них свои резолюции. Вскоре Лоренц стал запинаться, голос его дрогнул и он внезапно замолчал на полуслове. Я поднял голову и вопросительно взглянул на него. Глаза его были полны слез, и рот кривила судорога сдерживаемого плача. «Что с вами? Вы больны?!» — воскликнул я. «Достоевский, Достоевский умер!» — почти закричал он, поражая меня этим неожиданным известием, и залился слезами. И таково было в большей или меньшей степени впечатление и настроение всей обширной судебной семьи, работавшей в этот день в с у д е, — и преимущественно младших ее членов. Мысль о том, что мы обязаны принять участие в отдании последнего долга усопшему, зародилась сразу у всех и не допускала ни колебаний, ни возражений. В этот и в ближайшие за тем дни Достоевский был в полном смысле «властителем дум» почти всего общества, как, в значительной степени, был им в два последние года своей жизни, особенно после появления «Братьев Карамазовых».

Я поехал поклониться его праху. На полутемной, неприветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечного переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направлявшихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя и комната с тою же скудной и неприхотливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило — это

лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: «Nolite flere, non est mortuus, sed dormit» *. Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной, лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: «Ну да! Это так — я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я *знаю...*»

Вблизи гроба стояла девочка, дочь покойного, и раздавала цветы и листья со все прибывавших венков, и это чрезвычайно трогало приходивших проститься с прахом человека, умевшего так тонко и с такой «проникновенной» любовью изображать детскую душу.

Достоевский скончался в один день с Пушкиным и Карлейлем — 29 января[30]. Вечер в память Пушкина состоялся, но вместо Достоевского вышел Орест Федорович Миллер и сказал теплое слово, а затем на эстраду вынесли и поставили сделанный углем, поразительный по сходству, набросок Репина с умершего[31]. В антракте портрет хотели унести, но присутствовавшие запротестовали — и он остался... Весь антракт стояла перед ним, в благоговейном молчании, масса народу, охваченная одним чувством. Так память о Пушкине, которому поклонялся Достоевский, — слилась, в этот вечер, с полной скорбного волнения памятью о нем самом.

Весть о его смерти быстро облетела весь Петербург, и на его квартиру началось настоящее паломничество. У его гроба сошлись, позабыв различие направлений и всякие злобы дня, — все, кто не мог не чтить в усопшем не только высоко талантливого творца «Униженных и оскорбленных», но и горячего их заступника, друга и — нередко — утешителя. Его праху поклонились все, кто испытал на себе хоть однажды то чувство бесконечной жалости к несчастию, то чувство всепрощающей и всепонимающей любви к страдающему, к скорбящему и болезненно возбужденному, которым были проникнуты лучшие из сочинений замолкнувшего навек художника-мыслителя. Он умер среди разгара противоположных мнений, им вызванных, — умер, готовясь наносить и получать полемические удары от лиц, несогласных с его политическими идеалами. Но в эти

---

* Не плачьте, — он не умер, он только спит (*лат.*).

печальные и трогательные минуты никто не мог думать и говорить об этих спорах. И они, и данные, их вызвавшие, были еще слишком близки, слишком еще мало было по отношению к ним спокойствия и беспристрастия, создаваемого временем, которое одно, развернув туманное будущее, могло показать, насколько верно смотрел на призвание и свойства своей родины глубоко и горячо любивший ее покойный. Живучесть его политических идеалов была еще вся в будущем, в нем — их сила или слабость, но образы, им созданные, — уже жили полной жизнью, вылившись из «жаждавшей и алкавшей правды» души своеобразного и несравненного мастера. Эти образы, невидимо, но понятно для окружающих, возникали вокруг его гроба и указывали на тяжесть и значение понесенной утраты. Они, вероятно, двигались вереницею в уме каждого, подходившего к нему, и напоминали ту негодующую скорбь и те слезы дрогнувшего сердца, которыми для многих сопровождалась умственная встреча с ними. Ими переполнены были страницы его произведений. Было ясно, что и трогательный в своей нежной любви Макар Девушкин, со своею оборвавшеюся пуговкою вицмундира, — и «бледненькая, худенькая, со слабеньким голоском» Соня Мармеладова, и сам Мармеладов, «образа звериного и печати его», — и истерзавшийся Раскольников, и его мать, и карамазовский штабс-капитан с «мочалкою», — и «вечный муж», и все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так умел описывать Достоевский, — не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омраченной, в самой озлобленной душе задатки любящего примирения. И для всех искателей этого — Достоевский образец и великий учитель. У него надо изучать и приемы тончайшего, проникающего в самую глубину, анализа душевных движений натур усталых, ослабевших, надломленных в житейской борьбе, — и изумительного изображения тонких и сложных психических состояний, свойственных людям, находящимся на границах действительности и целого мира грез и болезненной игры фантазии. Со страниц его сочинений всегда будет звучать призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его — общая с великим английским романистом Диккенсом — всегда будет бросать особый свет на его произведения. Уметь так просто, правдиво

и задушевно описать волнения и страсти «маленького героя» и порывы негодования ребенка при виде истязуемой *лошади*, — уметь создать «Ильюшечку» и написать его сцену с оскорбленным и поруганным отцом — мог только художник, носивший в груди умеющее нежно любить, чутко отзывчивое сердце.

Если бы нужно было охарактеризовать одним словом общее чувство всех бесчисленных посетителей, приходивших ко праху Достоевского, я сказал бы, что это была «осиротелость», едкая почти до боли и тем более тяжелая, чем неожиданней она налетела. Андреевский совершенно верно выразил это чувство, сказав в своем стихотворении «У гроба Достоевского»:

Кто повторит слова любви
Несчастным, падшим, маловерным?
Кто им, в пылу нелицемерном,
Подымет взоры от земли?!
Туманный день, больной и хмурый,
Как скорбный склад его ума,
Весь заслонен его фигурой...
И жизнь печальна, как тюрьма,
Куда вносил он утешенье...
Прими немое поклоненье
За жизнь страданья и заслуг,
Разбитых душ любимый друг!

Похороны Достоевского — настоящее общественное событие — были чем-то в таком размере дотоле невиданным. Полное отсутствие полицейских «мероприятий» — и полный порядок непрерывного громадного шествия, поддерживаемый цепью из учащихся, — трогательное пение многочисленных импровизированных *хоров*, — воспитанники и воспитанницы средних учебных заведений, стоящие шпалерами на *пути*, — бесконечные венки с трогательными надписями, несомые особыми *депутациями*, — и свободно выливавшаяся из души торжественность настроения у участников и зрителей — придавали процессии величественный вид и незабвенный характер. Тут сказывались — единство идеи и общность потери, сплотившие самых разнообразных по своим взглядам, положению и деятельности людей. В то время когда гроб выносили из квартиры Достоевского, первая группа депутатов с венками была уже на Знаменской площади, на пути к Александро-Невской лавре. Шествие длинной и широкой лентой растянулось по Владимирской и Невскому, и грустная гармония всего происходившего ничем не была нарушена. Пред выносом между

участниками депутаций раздавался листок с воспроизведением на нем автографа покойного[32], а первыми, взявшимися за ручки гроба, который всю дорогу затем несли, окруженные широкою гирляндою цветов, укрепленных на шестах, постоянно сменявшиеся желающие, — были Пальм и Плещеев, за тридцать два года перед тем вместе с усопшим возведенные на эшафот на Семеновском плацу для выслушания приговора по делу Петрашевского. В день похорон вышел первый номер «Дневника писателя» за 1881 год, начинавшийся словами: «Господи, неужели и я, после трех лет молчания, выступлю, в возобновленном «Дневнике» моем...» Этот номер был последним словом Достоевского русскому обществу.

Обычное у нас временное забвение не коснулось Достоевского. О нем не пришлось напоминать. Интерес к его трудам и взглядам не ослабел, — они, напротив, стали все больше и больше привлекать к себе вдумчивость критиков и мыслителей — и отзывчивость работников в области изучения острых проявлений душевной жизни.

Быть может, не далеко время, когда у нас образуется особое литературное общество имени Достоевского, подобно недавно еще существовавшему Пушкинскому и ныне действующим Толстовскому и Тургеневскому.

М. А. АЛЕКСАНДРОВ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ ТИПОГРАФСКОГО НАБОРЩИКА В 1872—1881 ГОДАХ

I

Знакомство мое с Федором Михайловичем Достоевским началось со времени вступления его в редакторство «Гражданина», тогда еще еженедельного журнала, на котором я работал в качестве метранпажа. О вступлении Федора Михайловича в это редакторство издатель «Гражданина» оповестил читателей неожиданно и, для того времени, несколько оригинально. В последнем номере «Гражданина» за 1872 год, от 25-го декабря, обычное место передовой статьи, на 2-й странице, явилось занятым следующим лаконическим извещением, напечатанным крупным шрифтом во всю довольно объемистую страницу журнала: *«С 1-го января 1873 года редактором журнала «Гражданин» будет Ф. М. Достоевский».*

Рано полюбив родную литературу, еще в отроческие годы знал биографию Ф. М. Достоевского или, точнее сказать, страдальческую часть его биографии и читал некоторые главы его «Записок из Мертвого дома», печатавшиеся в журнале «Время», которого некоторые номера случайно попадались в мои руки; знал я также, что произведения Федора Михайловича вообще делают большую честь русской литературе и что он, во всяком случае, писатель первоклассный, знаменитый; знал, что наши критики еще спорят об этом, но у меня на этот счет уже было составлено собственное убеждение, — поэтому естественно, что, ввиду предстоявшего личного знакомства с Федором Михайловичем, интерес к нему во мне возрос до энтузиазма. Выполняя набором вышеприведенное оригинальное извещение о нем, я внутренно радовался тому, что скоро буду иметь личные сношения с одним из знаменитых писателей, и с нетерпением стал ожидать появления Федора Михайловича в типографию.

Ожидать пришлось недолго. Спустя всего несколько дней по выходе последнего номера «Гражданина» за 1872

год Федор Михайлович привез в типографию свою рукопись для первого номера 1873 года[1]. Это была первая статья «Дневника писателя», впоследствии сформировавшегося в самостоятельное периодическое издание, много способствовавшего популярности своего знаменитого автора. Меня вызвали из наборной в контору, где хозяин типографии * и представил меня Федору Михайловичу как метранпажа, а мне назвал его имя; я сделал легкий поклон Федору Михайловичу, на который он ответил едва заметным движением головы и в то же время, с едва уловимым вниманием, оглядел меня одним быстрым взглядом. Затем Федор Михайлович приступил к передаче мне рукописи своего «Дневника».

Между прочим, как неоднократно и впоследствии мне приходилось наблюдать, Федор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса.

— Хорошие ли у вас наборщики? — спросил меня Федор Михайлович таким искусственно напряженным голосом, в котором, однако, нетрудно было заметить старческую надтреснутость. С этими словами он разложил передо мною на столе рукопись на почтовых листках малого формата. — Разберут ли они мою рукопись-то?

Я взглянул и увидел, что рукопись могли читать довольно свободно даже посредственные наборщики, не только хорошие, ибо то был не черняк, а переписанное набело рукою Федора Михайловича.

— Рукопись разборчивая, — ответил я, — наши наборщики свободно прочитают ее.

— Ну, то-то, разборчивая... смотрите! Вы всегда говорите, что разборчивая, а как наберете, так и не разберешь, что такое вышло, — бессмыслица какая-то!.. Или наставите запятых чуть не к каждому слову, или совсем без запятых... Вы имейте в виду, что у меня ни одной лишней запятой нет, всё необходимые только; прошу не прибавлять и не убавлять их у меня. Да, вот поймете ли вы мои знаки... у меня тут есть один знак... Посмотрите-ка.

Я перевернул несколько листков и, не найдя ничего непонятного, не попросил никаких разъяснений, а сказал только, что без ошибок при наборе обойтись нельзя,

---

* *А. И. Траншель,* ныне уже покойный. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

особенно при спешной работе, но что для исправления ошибок у нас в типографии предварительно читается корректура, и только по исправлении ее оттиск с набора посылается автору.

— Вот то-то и плохо, что наборщики всегда надеются на корректора... А у вас хороший корректор?.. Кто у вас корректор?

Я указал Федору Михайловичу на сидевшую тут же за столом и читавшую какую-то корректуру В. В. Тимофееву, с честью подвизающуюся на скучном корректорском поприще чуть ли не по сие время;[2] хозяин отрекомендовал ее как корректоршу хорошую, и Федор Михайлович, позабыв объяснить мне свои знаки, перевел свои увещания относительно исправления корректуры на нее, прося главным образом не испещрять его статей запятыми. Затем он осведомился у меня о составе номера «Гражданина», долженствовавшего выйти в свет уже за его подписью, сказал, что составлять номера будет по-прежнему издатель[3], а ему, Достоевскому, мы должны будем присылать для подписи лишь корректуры сверстанных листов, за исключением его и некоторых статей издателя, которых, по его усмотрению, понадобится присылать предварительно корректуры в гранках. Наконец, осведомившись о времени присылки ему корректуры его «Дневника», Федор Михайлович ушел из типографии.

При всем желании угодить знаменитому писателю и тем зарекомендовать себя перед ним на первых порах мы набрали его статью совсем не так, как он желал. Произошло это оттого, что Федор Михайлович, отвлекшись постоянно озабочивавшим его вопросом о корректоре, забыл объяснить мне один свой условный знак, состоявший в том, что для более отчетливого обозначения каждого нового периода речи, начинающегося обыкновенно с новой строки, Федор Михайлович ставил росчерк в виде *глаголя,* то есть буквы *г,* в лежачем положении.

На основании принятых понятий о корректурных, а следовательно, и рукописных знаках вообще, знак этот был понят всеми нами совершенно в обратном смысле, то есть был сочтен за знак соединения периодов речи или, иначе сказать, за знак уничтожения новых строк — абзацев, по типографской терминологии. Так как знаки эти стояли у каждого нового периода, то вся первая глава, вследствие обратного толкования знака, очутилась в наборе состоящею из одного длинного периода. И мне,

и корректорше нашей это обстоятельство показалось несколько странным, однако ж смысл знака для всех нас был так ясен, что мы не посмели умничать над текстом столь опытного писателя и в таком виде послали ему оттиск на корректуру.

Обратно корректуру эту Федор Михайлович привез в типографию сам.

— Вот, вы говорили мне, что у вас наборщики хорошие, — заговорил Федор Михайлович, обращаясь ко мне, тоном, как мне показалось, более мягким, чем в первый его приезд в типографию. — Как вы мою статью-то набрали, на что похоже?.. Ведь совсем никуда не годится, надо все снова набирать!.. Смотрите, — продолжал он, разложив привезенную корректуру на столе. — Там, где у меня были поставлены знаки, что текст должен начинаться с новой строки, вы всё слили вместе и набрали сплошь... Ну, что вы теперь с этим будете делать? Ведь этого, я думаю, поправить нельзя, придется набирать все снова?

Я объяснил Федору Михайловичу причину недоразумения.

— Я тридцать лет пишу так, и в типографиях, где я печатал свои сочинения, всегда понимали мои знаки как надо... У вас, стало быть, совсем по-другому, так вы скажите мне, какой у вас принято ставить знак в таких случаях, тогда я, уж делать нечего, буду делать знаки по-вашему.

На это я возразил, что знаки у нас в типографии общепринятые, а если данный знак понимали где-нибудь иначе, чем у нас, то это делалось условно, что легко достижимо и у нас, так как с этого раза и мы будем понимать его знаки как надо, и что поэтому ему совсем не нужно изменять своей привычки в писании оригинала для нашей типографии.

— Вот то-то и есть! Ведь я говорил вам, что к моей рукописи примениться надо, а вы говорили, что она разборчивая, ну, вот вам и разборчивая! Исправляйте теперь как знаете!

Я обнадежил Федора Михайловича в том, что знаки его мы теперь понимаем и что корректура будет исправлена тщательно. Он наконец успокоился и уехал. Точным исполнением обещания на этот раз я внушил Федору Михайловичу доверие к себе и на последующее время.

Позднее, когда я припомнил Федору Михайловичу рассказанный случай, он признался мне, что и в других

типографиях, на первых порах, не понимали его знака новой строки, из-за чего корректура первого набора всегда почти бывала огромная.

Со вступлением в редакторство «Гражданина» Федора Михайловича я ожидал для себя, как метранпажа этого журнала, усложнений в производстве дела, увеличивавшихся еще тем обстоятельством, что новый редактор жил далеко от типографии * (Федор Михайлович жил тогда в Измайловском полку), а я предвидел, что разве лишь немногие статьи обойдутся одною редакторскою корректурою, посылаемою *для подписи,* большинство же из них, прежде чем быть подписанными, пропутешествуют не один раз из типографии к редактору и обратно, да иной раз завернут и к издателю, так как большинство-то статей «Гражданина» принадлежало перу его издателя. Ожидания эти оправдались потом, но в первое время дело шло очень гладко: на корректуру редактору набранные статьи по-прежнему посылались в сверстанном уже виде, просматривал он эту корректуру скоро, марал в ней очень мало и подписывал ее к печати в тот же раз, то есть довольствовался одною корректурою, чего впоследствии редко бывало достаточно... Затем дело скоро начало усложняться: Федор Михайлович немногое подписывал с одной корректуры; чаще и чаще он стал бывать в типографии, то для того, чтобы сказать мне, чт*о* и чт*о* прислать ему на предварительную корректуру в гранках, то для того, чтобы, за неимением времени для пересылок, прочесть корректуру там же. Недели через две Федор Михайлович переехал поближе, на угол Лиговки и Гусева переулка, в дом № 21—8, после чего экскурсии его в типографию участились; кроме того, и я стал довольно часто бывать у него для улаживания различных затруднений, возникавших при составлении номеров журнала.

II

Первое впечатление, произведенное на меня Федором Михайловичем, было похоже на те впечатления, какие он первоначально производил на большинство людей,

---

* Типография *А. И. Траншеля,* где печатался тогда «Гражданин», находилась на углу Невского проспекта и Владимирской улицы, в помещении, занимаемом ныне рестораном Палкина. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

имевших с ним дело впервые, и при каких оставались те из этих людей, которым не пришлось сойтись с Федором Михайловичем покороче... С первого взгляда он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым; но так как я знал, что вижу перед собой интеллигента, и притом интеллигента высокой степени, то меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности, причем маленькие руки его, хотя, разумеется, и чистые и мягкие, но с уродливыми ногтями на некоторых пальцах, представлявшими собою следы грубого, тяжелого труда, еще более усиливали последнее впечатление, а голос и манера говорить довершали его... При всем этом, одетый в легкую выхухолевую шубку, худощавый, с впавшими глазами, с длинной и редкою русо-рыжеватою бородою и такими же волосами на голове — Федор Михайлович напоминал своею фигурою умного, деятельного промышленника-купца, но такого, однако ж, купца, который походил на думного боярина времен допетровской Руси, как их пишут наши художники на исторических картинах; это последнее сходство в наружности Федора Михайловича тотчас же смягчило во мне впечатление о грубоватости. Впоследствии, из долгих сношений с Федором Михайловичем, я составил себе определенное понятие об обращении его: оно было твердое и потому казалось грубоватым; нередко оно бывало нетерпеливым и потому как бы брезгливым, что случалось под влиянием нервного расстройства — последствия пережитых тяжких испытаний, напряженного умственного труда по ночам и страшной болезни его — эпилепсии.

Между прочим, под влиянием первых впечатлений, я находил, что Федор Михайлович был человек *мнительный,* недоверчивый. Так, например, я заметил, что он, говоря со мною, пытливо смотрел мне прямо в глаза или вообще в физиономию и, нисколько не стесняясь встречных взглядов, не спешил отрывать своего взгляда или переводить его на что-либо другое; становилось неловко под влиянием этого спокойно-пытливого взгляда. Впоследствии, когда Федор Михайлович узнал меня короче, он уже не употреблял этого приема в разговоре со мною, и хотя по-прежнему смотрел прямо в лицо, но это уже был взгляд просто спокойный, а отнюдь не испытующий.

Из только что приведенного личного опыта и из последующих неоднократных наблюдений над этою ха-

рактерною чертою Федора Михайловича я составил себе следующее заключение. Он был недоверчив к людям, мало известным ему вообще... Где-то, в своих сочинениях, он сам признается, что очень неохотно заводит сношения с незнакомыми ему людьми, предвидя неизбежные в будущем, может быть, очень даже близком будущем, столкновения с этими самыми людьми, с которыми только что начинаешь знакомиться... В отношении же к неизвестным ему простолюдинам он был недоверчив в особенности. Насчет последнего обстоятельства, на основании слышанных отзывов и моих личных наблюдений, я составил себе следующее объяснение. Вступая в сношение с незнакомым простолюдином, будучи сам известным ему, Федор Михайлович мог рассчитывать, что простолюдин этот знает поверхностно историю его ссылки, то есть знает, например, что Федор Михайлович был в каторге, но не знает или, что одно и то же, не понимает как следует, за что он был в каторге, и потому, чего доброго, благодаря своей невежественности, так вот и смотрит на него, как на бывшего каторжника, и, сообразно этому своему взгляду, пожалуй, и относиться к нему станет как к таковому. Ввиду этого Федор Михайлович считал нужным быть строго-серьезным в обращении с субъектами, образ мыслей которых был ему совершенно неизвестен, и только уже потом, вполне убедившись в отсутствии грубого предубеждения к себе, начинал относиться к исследованному таким образом субъекту с доверием, степени которого бывали, однако ж, различны. Ко мне, например, впоследствии он относился с полным доверием потому, что не имел поводов сомневаться в искренности моего уважения к нему, и обращался со мною как равный с равным, то есть попросту, потому что не рисковал наткнуться на неожиданную грубость или даже дерзость, как это нередко бывает в сношениях деловых, какими по преимуществу были мои сношения с Федором Михайловичем; тогда как с другими, тоже нужными ему, лицами в типографии обращение Федора Михайловича было всегда строго-сдержанным, а каких-либо отношений к ним, например денежных счетов по изданиям, даже совсем избегал, имея возможность поручать эти дела своей супруге.

Верно ли это объяснение данной черты характера Федора Михайловича — предоставляю решить лицам, лучше меня знавшим этого знаменитого, но некогда униженного и оскорбленного человека, — повторяю, что

объяснение это — мое собственное и держалось оно во мне постоянно, подтверждаемое, как я уже сказал, наблюдениями при случаях и постепенным изменением к лучшему отношений Федора Михайловича ко мне лично.

III

Насколько чуток и как постоянно был настороже Федор Михайлович в охране не только своей личности, но даже своего чувства от малейших оскорблений, может иллюстрировать нижеследующий маленький анекдот из моих с ним деловых сношений, имевший место спустя почти год от начала нашего знакомства, стало быть, когда доверие его ко мне было давно упрочено.

Федор Михайлович как-то раз, накануне выпуска номера в свет, пришел в типографию позже обыкновенного; корректура давно ожидала его; корректорша, я и дежурные наборщики скучали от бездействия, не имея права уйти из типографии, так как дело наше было еще не вполне окончено. Принимаясь за чтение корректуры, Федор Михайлович попросил меня набрать принесенный им небольшой клочок текста, заключавший в себе какое-то иностранное известие. В то время он сам вел иностранный отдел в журнале под рубрикою «Иностранные события»[4], поэтому, зная хорошо содержимое отдела, тотчас же указал и место в сверстанном листе, где требовалось вставить данное известие. Набрать клочок можно было очень скоро, но чтобы поместить его в указанном месте, надо было переверстать целый лист (восемь страниц по два столбца в странице), чтобы вместить посредством так называемого сжатия набора, так как Федор Михайлович не находил ничего такого в тексте, что не жалко было бы выбросить наместо вставки. Известие, о котором шла речь, было ничтожно по своему значению и отличалось только новизною; очевидно было, что Федору Михайловичу хотелось только придать им свежести завтрашнему номеру. Между тем, принимая во внимание, что после переверстки должна следовать опять корректура, для проверки произведенной переверстки, я предвидел затяжку дела в *долгую,* как говорится, очень спешить и все-таки с риском опоздать выпуском номера газеты. Я поставил Федору Михайловичу на вид свои соображения с целью склонить его или на отмену вставки, или на облегчение ее посредством вымарки соответственной величины.

— Оно, конечно, можно бы обойтись и без вставки — известие не важно, — но все-таки лучше было бы для журнала поместить его, чтобы хоть что-нибудь свежее было, а то ведь у нас ничего нового нет, — ответил мне Федор Михайлович.

— Извините мне, Федор Михайлович, — возразил я, — но ведь всех новостей вы все-таки не поместите, множество их все-таки останется непомещенным, так велика ли важность, если одним известием будет у нас больше или меньше, а аккуратный выход номера для журнала очень важен... Если вы требуете этого, то, конечно, я обязан исполнить ваше требование, но если можно обойтись без усложнения дела, то я прошу вас, Федор Михайлович, обойтись.

Федор Михайлович отменил тогда вставку и вообще в тот раз, вопреки своему обыкновению, скоро отчитал корректуры и ушел из типографии, сухо попрощавшись со мною. По уходе его В. В. Тимофеева, сидевшая с ним за одним столом в корректорской комнате, рассказала мне, что, когда я, после вышеописанного разговора, вышел из корректорской в наборную, Федор Михайлович обратился к ней и сказал:

— А какой он, однако ж, ядовитый, этот господин Александров; как он это зло сказал сейчас про то, что что-нибудь да останется... Я совсем не предполагал в нем ничего такого![5]

IV

В первые дни 1873 года, находясь еще под влиянием первого впечатления, произведенного на меня манерою обращения Федора Михайловича, меня немало беспокоила его привычка объясняться всегда лично, а не путем записок, что иногда было бы удобнее для нас обоих. Бывало, приедет в типографию, когда меня там нет, и волнуется, волнуется в ожидании меня, чтобы переговорить о деле лично, вместо того чтобы сесть да написать мне о том, что ему надо... Великий писатель не любил изъясняться посредством писем или записок, считал писание их вообще делом трудным и не однажды признавался в этом не только многим знавшим его, а в том числе и мне, но даже печатно, в своих сочинениях.

Но как бы то ни было, а без записок и даже писем дело, разумеется, не обходилось; Федору Михайловичу пришлось-таки писать их ко мне, особенно после того, как он убедился, что я их понимаю и толково исполняю по ним. Все его записки ко мне я сохранил, начиная

с первой, так что собрание их, числом свыше шестидесяти, представляет теперь для меня вдвойне драгоценное собрание автографов знаменитого писателя в памятниках личных отношений его ко мне, и я не могу отказать себе в удовольствии привести здесь некоторые из них, так как они, между прочим, характеризуют знаменитого автора с такой стороны, с которой он наименее известен читающему миру, а именно со стороны его обращения и вообще отношений — знаменитого писателя к человеку простому и совсем уже маленькому, чт*о*, главным образом, имеет в виду и все мое настоящее повествование.

Вот первая записка Федора Михайловича ко мне, писанная в начале января 1873 года и посланная из типографии ко мне на квартиру:

«Г-н Александров, прошу Вас, потрудитесь *сейчас же*[6] прийти на минутку в типографию. Я и секретарь редакции * Вас дожидаемся. Без Вас нельзя решить.

Редактор *Ф. Достоевский.*

Суббота 3 ½ ч. пополудни».

Вторая записка в том же тоне:

«Г-ну метранпажу.

Прошу Вас прислать сейчас набор ** (и оригинал) моей статьи («Дневник писателя»). Уведомляю тоже, что окончания *не будет* и что статью *надо вынуть* ***. Если это может произвести затруднения, то прошу немедленно прийти в редакцию лично для переговору.

Достоевский».

Спустя несколько месяцев тон записок становится несколько мягче, например:

«Любезный Александров,

В моей статье вышло 650 строк или даже немного более, сократить не могу. Прилагаю письмо к N и прошу его, чтобы сократил свое «Петербургское обозрение» на

---

* В. Ф. Пуцыкович, впоследствии, после Федора Михайловича, редактор, а затем, с 1877 г., собственник «Гражданина». (*Примеч. М. А. Александрова.*)

** То есть оттиск с набора. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

*** То есть исключить из номера журнала, в состав которого она должна была войти по предварительному расчету. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

150 строк. Письмо поручаю Вам и прошу Вас доставить ему *немедленно* и, если можно, лично.

В «Последней страничке» * я *отчеркнул* 2 анекдота (24 строки). Это значит их выбросить. Если пойдете к N, сообщите ему. Я тоже и об этом ему писал.

Теперь ¼ 8-го утра. Буду спать до 2-х часов. Сверстку подпишу мигом, но раньше 2 не приносите.

Доставьте же письмо.

Ваш *Достоевский»* [7].

Еще несколько месяцев спустя:

«Любезный Александров, вместо 250 строк я написал, кажется, до 500. Уменьшить *ничего* не могу. Как же быть? Непременно надо найти место и решить поскорее. Выбросить статью всегда можно, но можно ли при этом сохранить и прежнее расположение? Вынув, например, «Железные дороги»?

Если же нельзя, то есть: «Еженедельная хроника», «Иностранные события», «Петербургское обозрение» и т. д., то нельзя ли мою или П<уцыковичеву> статью пустить в другом месте?

Одним словом, поймите, что я *непременно* должен Вас видеть. Приезжайте на извозчике, я заплачу. Как хотите, нельзя иначе.

Ваш *Достоевский.*

15 сентября».

Спустя год, в январе 1874 года, он писал мне:

«Любезнейший Михаил Александрович, я корректуру «Сельских школ» отсмотрел, но если есть хоть какая-нибудь возможность выбросить эту статью теперь, то выбросьте. Избавьте меня от нее. N отдал, не читая сам, я знаю. Завтра (в пятницу) Вы уж, конечно, получите что-нибудь от N, да и сам он, может быть, приедет **. Тогда набирайте его роман вместо этой статьи, или посылаю Вам на всякий случай «Корреспонденцию из Корфу» (если будет еще время набрать). Хотя эта «Корреспонденция из Корфу» вовсе не хороша, но все-таки в 100 раз лучше «Сельских школ». Я, впрочем, желал бы

---

* Так назывался один из отделов «Гражданина». (*Примеч. М. А. Александрова.*)

** В Петербург, из Твери. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

не набирать Корфу. В самом крайнем случае можно было бы пустить «Сердечный метод», если он не разобран, но только в самом крайнем случае. Но если уж никак нельзя, то пустите «Сельские школы», только я буду болен от этого *.

Достоевский».

Еще позднее, во время издания «Дневника писателя», то есть в 1876 и 1877 годах, тон писем и записок перешел почти в дружеский. Из этой поры, наиболее обильной письмами, приведу здесь на выдержку три письма, не требующих особых пояснений и разнящихся по приветственным обращениям. Все три письма писаны в 1876 году. Вот записка с городской квартиры:

«28 апреля 6 часов утра.

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Вот Вам подписанная корректура первого листа и *окончательный* текст: «За умершего», 3½ полулистка, 7 страниц. Больше ничего не будет. Заметьте, что это *моя рука,* то есть вместо 7 выйдет наверно 9 страниц прежнего письма **. Теперь вопрос: как Вы справитесь? (то есть не с печатанием: всё доставлено вовремя, и я не опоздал), а с числом листов? Ясное дело, что более 1-го листа и ¾-й; *пусть будет два листа,* но как Вы их разместите, не останется ли пустой страницы? Об этом обо всём очень желал бы поговорить лично, но до сих пор я Вас не мог застать, а в понедельник всё у Вас было заперто. Я сидел всю ночь и проснусь разве в третьем часу пополудни. К 5 буду в типографии. Но если надо быть раньше, дайте знать, и если надо меня разбудить, то пусть разбудят. На письмах ужасно тяжело объясняться.

Ваш *Ф. Достоевский».*

Письмо из Старой Руссы от 21-го июня 1876 г.:

«Старая Русса, 21-го июня. Понедельник.

Почтеннейший Михаил Александрович,

Посылаю Вам текст 1-й главы июньского «Дневника писателя» для набора. Десять полулистков, значит, не более или немного более полулиста. Всего же в июньском

---

* Я исполнил желание Федора Михайловича, не поместив тогда в номер досаждавшую ему статью о сельских школах, которая так после того и не была напечатана в «Гражданине». (*Примеч. М. А. Александрова.*)

** Писанного под диктовку Федора Михайловича А. Г. Достоевскою. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

№ будет полтора, и никак не более. Велите набрать и пошлите к цензору, но особенно прошу и умоляю продержать тщательно корректуру. (............ *между нами сказать* ....) [8] Сам я буду в Петербурге не раньше 28-го июня (но 28-го наверно). Но до этого времени постараюсь хоть что-нибудь выслать, хоть еще пол-листа. Боюсь, что письмо это как-нибудь заблудится и долго не дойдет до Вас. Печатать будем в 6000-х экземплярах по-прежнему. Адрес мой здесь (на всякий случай): В Старую Руссу, Новгородской губернии, Ф. М. Достоевскому.

До свидания же, жму Вам руку. Ваш *Ф. Достоевский».*

Оттуда же через два месяца:

«Любезнейший и многоуважаемый Михаил Александрович, вот Вам начало «Третьей главы» (июль-августовского №). Набирайте. Но корректуру уж не присылайте, так как намереваюсь отсюда выехать в Петербург 26-го (стало быть, могу 27-го уже быть в типографии). Но еще до приезда моего надеюсь опять что-нибудь выслать.

Мы написали *Печаткину,* чтоб в типографию было доставлено 38 стоп бумаги, но сомневаемся в том, что поставили плохой адрес, так что письмо к Печаткину могло и не дойти. Итак: если Вы в типографии еще не получили бумагу и не получите до понедельника, то пошлите в понедельник к Печаткину напомнить там и объяснить. Опять-таки насчет цензора... Впрочем, к тому времени я сам буду. Вся беда в том, успеем ли справиться, а я здесь всё нездоров.

До свидания, жму Вашу руку.

Ваш *Ф. Достоевский.*

21 августа. Суббота».

Параллельно изменению тона писем и записок соответственно изменялся и тон личного обращения Федора Михайловича со мною.

V

И однако ж, несмотря на казавшуюся грубоватость Федора Михайловича, я, на самых еще первых порах, подметил в нем нечто такое, что мне тогда же внушило смелость обратиться к нему с просьбою; просьба была,

конечно, о предмете малозначащем, но для меня все же это была просьба, подобной которой я и до, и после того весьма и весьма редко дозволял себе в отношениях с лицами, которым мне приходилось оказывать некоторые услуги в области моей скромной профессии.

В то время самым новым из крупных произведений Федора Михайловича был роман «Бесы», незадолго пред тем вышедший в свет отдельным изданием и еще волновавший русский читающий мир. Мне очень хотелось прочесть этот роман, который, как мне было известно, очень бранили все именовавшие себя тогда русскими либералами. Объемистое издание стоило 3 р. 50 к. — цена недоступная для меня, — и вот я решился попросить *сердитого,* как у нас в типографии называли Федора Михайловича, дать мне роман этот для прочтения, не находя все-таки приличным просить книгу в подарок, по недавности нашего вполне случайного знакомства. Выслушав мою просьбу, Федор Михайлович вполне просто и естественно, то есть не переменяя интонации голоса, сказал мне:

— В редакции «Гражданина» есть «Бесы»... ведь вы бываете в редакции? *

— Бываю, Федор Михайлович, и даже часто, — ответил я.

— Ну, так вот, там и возьмите себе экземпляр; скажите, что я вам велел. Возьмите себе совсем — я вам дарю его.

Я поблагодарил Федора Михайловича и спросил, не даст ли он записки для получения книги.

— На что записку? — возразил он. — Ведь вас знают в редакции, если вы там часто бываете. Спросите моим именем; а я, когда буду в редакции, скажу там, что велел вам взять себе экземпляр.

Я опять поблагодарил его. Я знал, что в конторе редакции «Гражданина» «Бесы» имелись для продажи подписчикам этого журнала по пониженной цене, и в тот же день получил книгу беспрепятственно.

Таким образом, я, на первых порах знакомства, получил уже от Федора Михайловича подарок. Впоследствии,

---

* «Редакция», то есть внешние, видимые атрибуты, а в том числе и вывеска редакции журнала «Гражданин», во время редакторства *Ф. М. Достоевского* помещалась сначала в квартире издателя, а потом в квартире секретаря редакции, В. Ф. Пуцыковича. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

когда у него выходило в свет новое издание какого-либо из его сочинений, мне уже не приходилось просить: Федор Михайлович сам дарил мне по экземпляру каждого из них, снабжая их при этом своими автографами.

VI

Между тем Федор Михайлович с усиливавшимся упорством преследовал принятое им на себя трудное дело приведения «Гражданина» к общепринятым литературным формам, которые этот журнал до него игнорировал, — и в этой нивелировке я принимал косвенно, конечно, и невольно, но тем не менее деятельное участие. Но чтобы быть понятым, я должен, хотя вкратце, очертить положение дела.

В первые годы своего существования «Гражданин» отличался от прочих своих собратий — периодических изданий — гораздо б*о*льшими, чем впоследствии и теперь, претензиями на оригинальность и эксцентричность. Особенностей у него было много, но перечислять их все было бы здесь неуместно, поэтому я упомяну лишь о тех из них, которые имеют отношение к настоящему моему повествованию.

Одною из главных его особенностей, неудобных для типографии вообще, а для метранпажа в особенности, было отсутствие необходимой для периодического издания стройности в организации ведения дела; по раз заведенному порядку никогда почти в нем ничего не делалось; сначала это происходило оттого, что издатель не желал стеснять себя какими бы то ни было правилами, а потом оттого, что у журнала очутилось двое хозяев или, вернее, ни одного хозяина при двух распорядителях-редакторах — неофициальном, NN, и официальном, Ф. М. Достоевском, у которых хотя и была одна и та же задача, но каждый употреблял для ее разрешения различные средства, вследствие чего соглашение между ними достигалось с большим трудом. Вот эта-то трудность соглашения руководителей журнала естественным путем отражалась, между прочим, и на типографской части дела, главным органом которой в данном случае являлся метранпаж, руководитель наборщиков.

Главною моею заботою каждую неделю было добиться вовремя составления номера, — и сколько, бывало, надо мне было около них обоих походить, чтобы добить-

ся этого составления номера!.. Имеется, например, между прочим материалом, данная статья: один одобряет ее, другой бракует![9] И как, бывало, ни удачно скомпануешь номер, благодаря беготне от одного к другому, от другого к первому, на предварительном реестре, а при выполнении этого реестра непременно случится какое-нибудь замешательство: то которая-нибудь из предположенных статей не явится вовсе, то та или иная из них явится длиннее или короче предположенного; в результате опять беготня и искание соглашения редакторов, а в конце концов несвоевременная и потому спешная, беспорядочная работа.

Вспоминая теперь об этих перипетиях, мне припомнилось одно маленькое словцо Федора Михайловича о «Гражданине», которое, кстати, и приведу здесь.

Однажды как-то после длинного совещания о составе текущего номера у меня невольно вырвалось нижеследующее замечание:

— Ведь вот этот «Гражданин», — говорил я, — и сам по себе журнал небольшой, а ведь сколько с ним возни и хлопот у нас бывает!.. Иной раз так просто досада берет на него!

— Не велик, да удал! — ответил на это Федор Михайлович и засмеялся.

Приближалось лето.

В первый год своего издания «Гражданин» в летние месяцы не выходил еженедельными выпусками; вместо них выдано было подписчикам две книги сборников статей, особо для того составленных и напечатанных и озаглавленных также «Гражданином»;[10] такой способ удовлетворения некоторых исключительных читателей «Гражданина» был, конечно, очень удобен для его редакции, но у него были и обыкновенные подписчики, которым способ этот не понравился; поэтому редакциею было решено со второго года и летом выпускать еженедельные номера в несколько уменьшенном объеме, но зато с обычною строгою регулярностью выхода их в свет по понедельникам... Надо заметить, что эти сроки выхода «Гражданина» по понедельникам составляли тоже одну из отличительных особенностей его в ряду не только еженедельных журналов русских, из которых по этим дням не выходил ни один, но даже ежедневных газет, не выходивших в то время во все дни, следовавшие за праздниками и вообще днями неприсутственными. Эти выходы «Гражданина» по понедельникам мне — метранпажу его — бы-

ли всего неприятнее из всего неприятного в нем, по той простой причине, что, благодаря им, наиболее сложная работа типографии приходилась на воскресенье. Но с этим поделать ничего было нельзя; дилемма: хочешь — работай, не хочешь — охотники найдутся, давно была мною решена. Не раз и Федору Михайловичу я объяснял это неприятное обстоятельство для нас, рабочих людей, ничем особо не вознаграждаемых за праздничную работу; он вполне соглашался с моими доводами, но не мог ничем помочь нам. Однако ж летом, когда, чередуясь с издателем отдыхом, он оставался полным распорядителем журнала, нам, обоюдными усилиями, удавалось сокращать воскресную работу на целую половину суток, то есть, вместо того чтобы кончать в обычные три часа ночи на понедельник, мы кончали в два-три часа дня воскресенья; Федор Михайлович кончал, конечно, еще раньше нас, и потому, благодаря этому сокращению рабочего времени, он мог в воскресенье же уезжать к своему семейству, которое летом жило в Старой Руссе, где с некоторого времени Федор Михайлович приобрел небольшой дом[11]. Приезжал он оттуда, для составления номера, в четверг, и таким образом еженедельный номер «Гражданина» мы делали в три дня. Затем наступала очередь N, со вступлением которого в отправление редакторских обязанностей наступали на несколько недель вакации для Федора Михайловича, а у нас в типографии дело поворачивало на старый лад, то есть работа накануне выпуска номера затягивалась до ночи.

VII

Незадолго до того времени усилившаяся в нашем отечестве потребность народного образования вызывала в периодической печати 1870-х годов массу разнородных толков о начальном образовании, о народных школах, об учителях для этих школ и тому подобном. Можно сказать, что тогда это был главный внутренний русский вопрос времени.

Под влиянием этих всеобщих толков печати я в конце лета 1873 года задумал написать свои воспоминания о моем школьном учении и о моем учителе, прекрасном как человеке и идеальном как народном школьном учителе. Довольно большая статья у меня написалась легко и скоро, относительно, разумеется, так как писал я, по

обыкновению, урывками, — точно вылилась. Написав эту статью, я рассудил отступить на этот раз от своего обычая носить свои статьи в иллюстрированные журналы, а решился наперед показать свое новое произведение Федору Михайловичу, — не найдет ли он возможным напечатать его в «Гражданине»...

Но прежде чем решиться на это, я несколько поколебался: как-то он посмотрит на мою притязательность на литераторство; после оказалось, что опасения мои были напрасны: узнать меня с новой хорошей, именно с литераторской, стороны для Федора Михайловича было неожиданностью, приятно его поразившею.

Понес я к Федору Михайловичу свою статью не нарочно, а захватил ее, отправляясь к нему на обычный визит по делам журнала. Во время разговора Федор Михайлович несколько раз взглядывал на свернутую в трубочку и завернутую в газетную бумагу рукопись мою, о которой я все еще ничего не говорил ему; наконец, кончив об общем деле, я сказал о своем и подал ему рукопись. Федор Михайлович взял ее и при этом видимо преобразился: серьезное, даже несколько угрюмое лицо его просияло тихим удовольствием, которое тотчас же и выразилось его доброю улыбкою. Держа рукопись в своих руках и еще не развертывая ее, он проговорил:

— Это вы, Михаил Александрович, написали?.. Вы сами?

— Да, Федор Михайлович, я сам писал.

— Прочту, прочту!.. Это должно быть интересно... С удовольствием прочту... Сегодня же и прочту.

Я чувствовал некоторую неловкость, а потому тотчас же попрощался с Федором Михайловичем и ушел от него.

В следующий визит к Федору Михайловичу, по нашим общим делам, я, между прочим, спросил его и о своей статье.

— Я ее прочел,— ответил мне Федор Михайлович, — в тот же вечер и прочел, как вы мне ее принесли...

Я молчал и вопросительно смотрел ему в лицо, ожидая, не скажет ли он своего мнения о ней. Федор Михайлович, должно быть, понял мое вопросительное молчание, потому что вслед за тем он прибавил:

— Ее можно в «Гражданине» напечатать, если хотите.

— Годится, значит?

— Да. Она написана очень литературно, так что и поправлять нечего... Можно так целиком и напечатать.

Довольный таким приговором редактора, я возымел смелость узнать мнение Федора Михайловича о моей статье с критической точки зрения. Серьезное, во все время этого разговора, лицо его при этом приняло хорошо уже знакомое мне добродушное выражение.

— Очень простодушна, — сказал он и улыбнулся.

— Как это простодушна, Федор Михайлович?

— Да так; вышел простодушный рассказ... По-моему, когда уж знаешь, о чем писать, так можно и побольше сказать.

— Гм! Это как же... смелее, что ли, надобно?

— Да, разумеется, чего ж стесняться-то?

Затем Федор Михайлович осведомился у меня, показывал ли я свою статью (издателю) N, и, узнав, что не показывал, возвратил мне ее, сказав, чтоб я передал ее N, «так как все рукописи для журнала исходят от него», и сказал ему, что он уже прочел ее. Я медлил отдавать статью N, пока наконец тот сам не спросил у меня ее, что означало, что Федор Михайлович сказал ему о ней *.

После только что описанного эпизода, радикально укрепившего за мною благорасположение Федора Михайловича, он неоднократно напоминал мне, что я «сам литератор». Во всех случаях, когда ему, вследствие его обычной заботливости, приходилось обращаться ко мне с просьбою об исполнении какого-нибудь экстраординарного поручения — чаще всего о наблюдении за тщательностью исправления более или менее значительных авторских или редакторских корректур независимо от проверки этих исправлений корректорами, — он в заключение говаривал:

— Вы сами литератор, поэтому лучше кого другого можете судить, как важно для статьи выправить всё именно так, как показано в корректуре; вы лучше корректора можете понять, как именно требуется исправить.

Иногда же подобное обращение он употреблял в конце своего увещания, в виде прибавки для вящей убедительности:

— Ведь вы же сами литератор, Михаил Александрович, поэтому вам должны быть близки интересы автора.

---

* Статья, о которой здесь шла речь, напечатана в №№ 19, 20, 21 и 22 журнала «Гражданин» за 1874 год, под заглавием «Из воспоминаний простого человека. Мой учитель», с посвящением учителям народных школ. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

Однажды я возразил Федору Михайловичу:

— Вы шутите, Федор Михайлович! Какой я литератор, если написал две-три статьи, да больше и не пишу.

— Но вы можете писать... Вы литератор... Я вам говорю это!..

— Ваше признание мне очень лестно, Федор Михайлович, им гордиться бы можно, да только...

— Что только?.. Отчего вы не пишете? Пишите, вы можете писать.

Не раз и впоследствии осведомлялся у меня Федор Михайлович, не пишу ли я чего, не написал ли что-нибудь; ответ мой, за весьма редкими исключениями, бывал отрицательный.

— Не до писанья, Федор Михайлович, — отвечал я однажды. — Жизнь осложнилась; есть насущные житейские нужды, так что в заботе да в работе все время идет.

На это Федор Михайлович сказал приблизительно следующее:

— Забота — да, конечно, обстоятельство неблагоприятное для писанья, но работа — ничего, работать всегда надо, а писание ведь тоже работа, и писать надо, кто может. Работать и писать — вот тогда и самая жизнь станет лучше!.. А вы можете писать, не оставляйте этого! — прибавил Федор Михайлович в заключение.

VIII

Писание и самому Федору Михайловичу обходилось нелегко, даже, можно сказать, далеко не легко... Недаром он говорил, что писание есть работа! Ниже я буду еще иметь случай сказать об этом, что́ знаю, а теперь скажу лишь несколько слов о писательской деятельности Федора Михайловича в «Гражданине».

Говоря вообще, деятельность эта была невелика. Его «Дневник писателя» печатался всего в пятнадцати номерах, так что даже эта небольшая журнальная, но все же еще чисто литературная работа в то время обременяла его... Но *писать было надо,* потому что писательство было и стихиею, и единственным средством существования Федора Михайловича с семьею, так как редакторского гонорара его было недостаточно для этого. Поэтому, оставив «Дневник», Федор Михайлович попробовал свои силы в иной области литературы: с осени 1873 года он стал писать политический обзор иностранных событий

и сначала был очень доволен, что ему и в этой области работа удалась вполне.

Однако ж составление политических обозрений являлось работою хотя и более простою, чем «Дневник», но зато еще более срочною, чем писание «Дневника», план которого, как известно, был таков, что совсем не обязывал автора давать подробный отчет за все прожитое время и, благодаря этому, допускал возможность откладывать и даже совсем пропускать многие явления общественной жизни, чего нельзя было делать, ведя политическое обозрение иностранных событий. Эта срочность работы была крайне тяжела для Федора Михайловича, она изнуряла его и нравственно и физически; притом знаменитый романист не мог, конечно, не сознавать, что если будет работать так постоянно, то он никогда не будет в состоянии создать крупного произведения, так как на эту мелочь, то есть на эту заказную работу, он разменивал свой колоссальный талант... В совокупности все эти обстоятельства расстроили и без того хрупкое здоровье Федора Михайловича... Он ощущал как бы давление тяжелого кошмара, освободиться от которого ему представлялось действительным одно-единственное средство — сложить с себя редакторство «Гражданина», хотя бы уж по тому одному, что журнал этот был прежде всего еженедельный.

Так Федор Михайлович и решился сделать. В конце 1873 года он попросил увольнения от редакторства «Гражданина»... Как водится, вместе с заявлением об этом было подано в Главное управление по делам печати и прошение об утверждении редактором-издателем нового лица *, после чего Федор Михайлович стал ждать своего увольнения с большим нетерпением и перестал окончательно писать для «Гражданина», поместив последнее свое политическое обозрение в первом его номере за 1874 год. Но ждать пришлось довольно долго: только в апреле месяце состоялось утверждение нового редактора, а следовательно, и увольнение Федора Михайловича.

За исключением писания, во все время ожидания своей отставки, Федор Михайлович продолжал по-прежнему отправлять свои редакторские обязанности, и потому

---

* *В. Ф. Пуцыковича,* бывшего до этого секретарем редакции «Гражданина», помещение которой с некоторого времени было в его квартире. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

я по-прежнему ходил к нему для переговоров по делам ведения журнала, причем каждый раз я у него спрашивал — не будет ли его статьи, и каждый раз получал отрицательный ответ. По поводу такой его писательской бездеятельности я однажды как-то выразил ему свое недоумение, на которое он ответил мне, что писать для «Гражданина» у него нет времени, так как ему предстоит писать для «Складчины».

Эта «Складчина», для которой тогда собирался писать Федор Михайлович, была знаменательным явлением в русской литературе того времени. Это был колоссальный литературный сборник, объемом до 700 страниц большого формата in 8°, изданный в 1874 году в пользу пострадавшего от неурожая населения Самарской губернии. Для составления и издания его соединились в даровом труде на нейтральной почве благотворительности пятьдесят лучших русских писателей и все редакции периодических изданий в Петербурге, до этого ведшие междоусобную войну из-за направлений, одиннадцать лучших петербургских типографий бесплатно набрали и напечатали его, а значительнейшие петербургские бумажные фабрики с большою уступкою поставили для него бумагу. Таким образом, самые ценные лепты были даны писателями, из коих каждый дал сборнику по новому, еще нигде до того не печатавшемуся произведению (поэты дали по нескольку новых стихотворений), и типографиями. Коснувшись предмета своей лепты в «Складчине», Федор Михайлович, между прочим, сказал:

— А ведь туда, вы знаете, скоро не напишешь, потому что написать надо хорошо... Понимаете... И притом что-нибудь небольшое, в лист, в полтора, не больше; и непременно надо вещь цельную, законченную — отрывок давать неловко, не годится!.. А соединить эти три условия: небольшое, да цельное и хорошо написанное — очень трудно!

И Федор Михайлович написал для «Складчины» художественную, достойную его пера вещь, под заглавием «Маленькие картинки (В дороге)», объемом в печатный лист с небольшим [12].

Наконец маленькое редакционное сообщение в № 16 «Гражданина» известило читателей, что Федор Михайлович, «по расстроенному здоровью, принужден сложить с себя обязанности редактора, не оставляя, впрочем, по возможности своего постоянного участия в журнале...» [13]. Обещанное участие было чисто и исключительно мораль-

ное, поэтому Федор Михайлович после этого сообщения вздохнул свободно от всегда ненавистного ему обусловленного труда. Он глядел в это время проясненным взором, а по лицу блуждала блаженная улыбка с оттенком тихой грусти...

— Теперь-то вы наконец отдохнете, Федор Михайлович, — сказал я, глядя на его сиявшее тихим удовольствием лицо. — Кстати, скоро и лето.

— Нет, Михаил Александрович, теперь-то я и начну работать!.. Знаете, летом я могу и люблю работать более, чем зимою... Отдохнуть-то я отдохну, конечно, да и здоровье тоже поправить надо; может быть, за границу съезжу, в Эмс — Эмс мне всегда помогал, — оттуда в Старую Руссу, а там и за работу! — проговорил Федор Михайлович с выражением особенного одушевления на последней фразе, из которого ясно было видно, что любимому, независимому труду он готов с наслаждением отдать все свои силы. — Много отдыхать я не буду... А осенью опять в Петербург, непременно, несмотря на его дожди, грязь и туманы! — прибавил он.

— Роман, вероятно, будете писать, Федор Михайлович? — полюбопытствовал я, но он на это ответил неопределенно.

— Может быть, и роман... Но у меня есть кое-что в виду и другое, — прибавил он с таинственным видом.

Присутствовавшая при этом разговоре супруга Федора Михайловича, Анна Григорьевна, сказала мне — тут же при нем, — что Федор Михайлович действительно давно задумал роман, писать который он был не в силах при своих редакторских обязанностях в «Гражданине», но что теперь, отдохнувши и поправивши наперед здоровье, он намерен приняться за него[14].

Но, несмотря на это сообщение своей супруги, Федор Михайлович продолжал обращаться ко мне все-таки с таинственным видом.

— А мы с вами ненадолго расстаемся, Михаил Александрович... Мы опять с вами что-нибудь будем печатать, и, может быть, скоро... У меня есть кое-что в виду.

— Не думаете ли свой журнал издавать, Федор Михайлович? Вам бы можно и следовало бы даже, — сказал я.

— Журнал не журнал, а что-нибудь в этом роде... Ну, посмотрим. Я думаю, что скоро; может быть, у Траншеля же и будем печатать... Увидимся!.. Я ведь непременно к вам приду.

Загадка эта разрешилась только через полтора года: Федор Михайлович говорил о своем намерении продолжать «Дневник писателя» и печатать его в виде самостоятельного периодического издания. При осуществлении этого намерения Федор Михайлович сдержал свое слово и относительно меня.

IX

В следовавшие засим полтора года я виделся с Федором Михайловичем не много раз у *В. Ф. Пуцыковича* (в редакции «Гражданина»), которого он не оставлял своею моральною, а впоследствии даже и посильною материальною поддержкою... При этих-то свиданиях он и осведомлялся о моей литераторской деятельности... Сам же я, не имея прямо деловых отношений, не бывал за это время у Федора Михайловича ни разу.

В начале 1875 года в «Отечественных записках» уже печатался его новый роман «Подросток», а в конце того же года роман этот печатался отдельным изданием в типографии Траншеля (издавал его книгопродавец Кехрибарджи); но меня там в это время уже не было: с самого начала 1875 года я, вместе с «Гражданином», перешел в типографию князя В. В. Оболенского.

В конце же 1875 года в газетах появилось объявление об издании с наступающего 1876 года «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского [15]. Вскоре после появления этих публикаций в контору типографии кн. В. В. Оболенского, помещавшуюся в подвальном этаже дома № 8 по Николаевской улице, вошел Федор Михайлович и сказал, что желает видеть меня. Это было в обеденное время, и потому меня в типографии не было, но в конторе кроме служащих был сам владелец типографии князь *В. В. Оболенский.*

На заявленное Федором Михайловичем желание видеть меня ему ответили, что я буду в типографии от 4-х до 9-ти часов вечера. При этом князь В. В. Оболенский напомнил ему, что он с ним встречался на четверговых литературных вечерах у князя В. П. Мещерского, и потому несколько знаком с ним *. Потом, упомянув о появив-

---

* Князь *В. В. Оболенский* незадолго до того занял в периодической литературе довольно видное положение рядом своих статей по земским вопросам, сначала под псевдонимом *«Земца»*. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

шемся в газетах объявлении о «Дневнике писателя», предложил услуги своей типографии по печатанию этого издания, на что Федор Михайлович ответил, что он для этого-то и пришел сюда, «но не потому, — примолвил при этом он, — что считаю вашу типографию за очень хорошую, а потому, что тут у вас находится дорогой для меня человек — Михаил Александрович Александров, и вот с ним-то я желал бы иметь дело».

Князь В. В. Оболенский был дилетант-любитель типографского дела, чего ради только и держал типографию. Он объяснил Федору Михайловичу, что я, согласно его желанию, могу вести его предполагаемое издание, но что я буду вести его лишь как метранпаж, то есть сделаю набор, исправлю корректуры, приготовлю набор к печати, и только, относительно же всего остального, как-то: чтения корректур, печати, денежных расчетов и проч., ему, Федору Михайловичу, придется иметь дело с конторою типографии, с которой он может обо всем условиться теперь же. На это Федор Михайлович возразил, что никаких условий он заключать не намерен, потому что не любит их и считает излишними в сношениях между людьми, хорошо знающими друг друга. Князь поспешил разъяснить Федору Михайловичу, что под словом «условиться» он разумеет не какие-либо формальности нотариальные, а просто предложение осведомиться о ценах работы и о порядке сношений с типографиею. На это Федор Михайлович согласился. Давая при этом необходимые для составления сметы сведения, он сказал, что образцом формата и вообще внешнего вида своего «Дневника» он избрал издание Гербеля («Европейские классики в переводе русских писателей»), но более крупным шрифтом и с бóльшими промежутками между строк. Однако ж для окончательного переговора обещал прийти вечером, когда буду в типографии я.

В назначенное время Федор Михайлович пришел в типографию вторично. Князь В. В. Оболенский был опять там, поджидал его. Меня вызвали в контору. Поздоровался со мною Федор Михайлович очень приветливо, по-дружески. Я, разумеется, был рад чрезвычайно этому свиданию, сопровождавшемуся столь определенно засвидетельствованным — как мне лично, так и окружавшим меня в типографии лицам — вниманием ко мне знаменитого писателя.

После кратких приветствий мы стали говорить о предстоявшем деле. Тут к нам присоединились князь-типограф и его конторщик со сметою, которая уже была-таки составлена и, как всегда в этой типографии, от-

личалась умеренностию. Но Федор Михайлович мало интересовался сметою. Он был очень возбужден, и из первых же его фраз было видно, что его в то время озабочивало определение внешнего вида его издания; все же прочее, в общих чертах, уже было обдумано и взвешено им ранее. Поэтому я предложил ему к завтрашнему же дню изготовить примерно заглавную страницу и страницу текста. Предложение это заметно убавило его возбужденность. Он признался, что его особенно озабочивает заглавная страница, но видно было, что забота эта была приятною ему. «Как-то будет она выглядеть? хорошо ли, красиво ли будет?» — говорил Федор Михайлович и убедительно просил меня отнестись к набору заголовка с особенным вниманием и тщанием, постараться подобрать для него «шрифты пооригинальнее, похарактернее, и не так, чтобы очень мелкие, а повиднее, поярче!». Я, разумеется, обещал постараться, причем сказал ему, что ведь если что и выйдет неудачно с первого раза, то у нас достаточно есть времени переделать несколько раз, и попросил его дать нам полный оригинал заголовка, который он тут же и написал. И как потом заголовок этот был набран и, по его указанию, изменен в одной лишь детали, так впоследствии он и оставался без изменений; при двукратном возобновлении «Дневника писателя»[16] Федор Михайлович требовал в точности копировать шрифты первоначального заголовка.

Затем мы стали говорить об организации дела (в типографском отношении); говорили об объеме издания, о времени присылки в типографию оригинала и о сроках выхода издания в свет, о корректоре нашей типографии, который, по его обыкновению, тоже очень озабочивал его, о бумаге, о переплетчике, о цензуре и проч. и проч.

Я должен сказать, что Федор Михайлович все, что делал, делал заботливо и, насколько хватало его физических сил, старался делать аккуратно; поэтому, как было договорено им в тот раз на словах, так, за малыми отступлениями, и повелось потом дело во все последовавшие за тем два года издания «Дневника писателя»; а велось оно следующим образом.

X

Выходил «Дневник писателя», как известно, один раз в месяц, выпусками или номерами, в объеме от полутора до двух листов in quarto (по шестнадцати страниц в ли-

сте), и весь, за исключением, разумеется, объявлений, принадлежал перу Федора Михайловича. Вначале Федор Михайлович выпускал свой «Дневник» в свет в последнее число каждого месяца, аккуратно, рано утром, «как газету», по его собственному выражению, и относительно точности выполнения этих сроков он, во время предварительных переговоров, просил от нас честного слова, а меня, кроме того, особо увещевал «не жертвовать им «Гражданину» в тех случаях, когда выпуски обоих изданий сойдутся в один день или близко по времени один с другим. При всем том он не скрывал ни от себя, ни от нас своих опасений за себя, ввиду удручающего влияния на него срочности предстоявшей ему литературной работы; он просил меня выручать его при случае, то есть наверстывать в типографии могущие случиться за ним просрочки в присылке оригинала, и мне неоднократно приходилось исполнять эту просьбу... Начинать упомянутую присылку оригинала Федор Михайлович обещал 17—18 числа каждого месяца, а кончать ее условлено было за три дня до выхода выпуска в свет, — и вот тут-то и приходилось *наверстывать* в типографии, так как Федор Михайлович именно окончанием-то присылки и опаздывал нередко; тогда как соблюдение сказанного условия было необходимо ввиду того обстоятельства, что «Дневник писателя», во все время его издания, выходил под предварительною цензурою, поэтому типографии надо было иметь время на набор, корректуру типографии, корректуру автора, после которой Федор Михайлович только и допускал посылку корректуры к цензору, которого торопить, как известно, не полагается, верстку и затем опять корректуру автора и корректуру типографии и наконец печатание.

Главное управление по делам печати, разрешая Федору Михайловичу издание «Дневника писателя», предлагало ему выпускать «Дневник» без предварительной цензуры, под установленной законом ответственностию его как редактора, и притом, в виде особого для него исключения, на льготных условиях, а именно — без обычного залога, обеспечивающего ответственность, но Федор Михайлович отказался от этого, не находя ничего для себя заманчивого в том, чтоб «Дневник» его выходил без предварительной цензуры; он дорожил тем относительным покоем, на пользование которым он мог вполне рассчитывать при отсутствии, в цензурном отношении, ответственности. Притом он твердо был уверен, что цен-

зура вообще совсем не будет иметь влияния на направление его «Дневника»... И действительно, цензор Николай Антонович *Ратынский,* цензуровавший «Дневник» почти все время его издания, говаривал Федору Михайловичу в шутку, что он не цензурует его, а только поправляет у него слог. Это значило, что иногда, вместо того чтобы вымарывать что-либо неудобное просто цензорскою властью, он заменял одно слово другим и тем смягчал выражение фразы[17].

Объясняя мне свое нежелание выходить «без предварительной цензуры», Федор Михайлович сказал, между прочим, что, выходя без цензора, надо самому быть цензором для того, чтобы *цензурно выйти,* а он по опыту знает, как трудно быть цензором собственных произведений.

Однако Федору Михайловичу, как автору, доводилось-таки, хотя и редко, испытывать неприятности по поводу более или менее крупных цензорских помарок. Бывало и так, что цензором запрещалась целая статья, и тогда начинались для Федора Михайловича хлопоты отстаивания запрещенной статьи: он ездил к цензору, в цензурный комитет, к председателю главного управления по делам печати — разъяснял, доказывал... В большей части случаев хлопоты его увенчивались успехом, в противном же случае приходилось уменьшать объем номера, так как статьи «Дневника», хотя, по-видимому, и разные, имели между собою органическую связь, потому что вытекали одна из другой, и поэтому на место запрещенного у Федора Михайловича обыкновенно не имелось ничего подходящего, писать же вновь не было времени. Таким образом, во всех случаях типографии приходилось оканчивать номера «Дневника писателя» лишь накануне их выхода, и притом так, что последний лист всегда почти печатался ночью. Совсем *«как газета»*!

Хозяйственную часть издания, то есть все расчеты с типографиею, с бумажною фабрикою, с переплетчиками, книгопродавцами и газетчиками, а также упаковку и рассылку издания по почте с самого начала «Дневника писателя» приняла на себя супруга Федора Михайловича, Анна Григорьевна, приобревшая хорошую подготовку к этой деятельности ранее, в практике ведения изданий отдельных сочинений Федора Михайловича, которые с некоторого времени он издавал сам, вместо того чтобы по-прежнему продавать право на их издание книгопродавцам, и Анна Григорьевна вела принятое на себя дело

все время с уменьем и аккуратностью, достойными опытного в этих делах человека, и вдобавок с неутомимым трудолюбием, всегда отличавшим достойнейшую супругу Федора Михайловича. Благодаря этому столь любимая Федором Михайловичем аккуратность ведения дела достигалась вполне, причем сам он имел полную возможность спокойно устраняться от всех хозяйственных забот и посвящать себя исключительно работе литературной и вообще идейной [18].

Такова была немногосложная организация маленького самостоятельного журнала Федора Михайловича...

XI

До появления «Дневника писателя» в свет объявления о нем вызывали у некоторых из публики иронические улыбки, а в некоторых органах печати раздались грубые насмешки, с одной стороны, и порицания и укоризны маститому писателю — с другой. Одни, например, говорили, что Достоевский затеял издание своего «Дневника» потому, вероятно, что *весь исписался* и ничего лучшего создать уже не может; другие порицали его за гордое самомнение о себе, доведшее его до дерзости выдавать публике свой «Дневник» за литературное произведение, достойное ее внимания [19]. И многие тогда думали, что маленькому журналу Федора Михайловича суждено бесследно затеряться в массе периодических изданий того времени. Но вышло совсем напротив.

Первый выпуск «Дневника писателя» печатался всего в двух тысячах экземпляров. Он расходился довольно быстро, потому что интересовал публику, вследствие упомянутых резких о «Дневнике» выходок периодической печати, как оригинальная, во всяком случае, новинка. Однако ж скоро, из первого же выпуска, все увидели, что «Дневник писателя» совсем не похож на дневники, какими их привыкли видеть все читающие люди. Увидели, что это не хроника событий, а глубоко продуманное, авторитетное, руководящее слово веского общественного деятеля по поводу таких явлений текущей жизни, значение которых понятно только высшим умам, и тогда принялись читать его с возрастающим все более и более интересом.

С выходом в свет второго, февральского, выпуска возобновился спрос на разошедшийся, по подписке и в продаже, первый выпуск. С выходом второго выпуска

«Дневник писателя» был окончательно признан и публикою и печатью солидным членом отечественной журналистики; газеты цитировали его и брали из него выдержки, а одна газета перепечатала из него даже целую статью — известный фантастический рассказ под заглавием «Мальчик у Христа на елке», поместив его в виде фельетона[20]. Этот второй выпуск разошелся в публике в течение нескольких дней, так что набор его стоял еще в типографии неразобранным, когда понадобилось второе издание в том же количестве экземпляров, как и первое; первый же выпуск был набран вновь и также напечатан вторым изданием.

Подписка на «Дневник писателя» хотя и принималась с самого начала издания, но она никогда не была относительно велика; он расходился главным образом в розничной продаже; в Петербурге большинство читателей его предпочитало простую покупку выпусков подписке потому, что купить новый выпуск у торговцев газетами всегда можно значительно ранее, чем получить его по подписке, чрез почту, несмотря на то, что покупка обходилась дороже подписки (подписная цена за год была два рубля, а в продаже ежемесячный выпуск стоил тридцать копеек). Это обстоятельство, между прочим, довольно наглядно показывает, с каким нетерпением ждали выпусков «Дневника» читатели его.

Как я уже сказал выше, «Дневник писателя» выходил в свет аккуратно рано утром в известные дни, поэтому в эти дни, одновременно с ежедневными газетами, у газетных торговцев всегда можно было видеть «Дневник», особенно выставляемый ими на вид как интересная новинка.

С последовавшими выпусками «Дневника» интерес к нему публики все более и более увеличивался, так что до наступления лета «Дневник» печатался уже в количестве шести тысяч экземпляров. Таким образом, успех его очень скоро стал для всех очевидно несомненным. Федор Михайлович радовался этому успеху, но не удивлялся ему, хотя на всякий случай и соблюдал осторожность в назначении количества печатавшихся экземпляров.

Контингент читателей «Дневника писателя» составлялся главным образом из интеллигентной части общества, а затем из любителей серьезного чтения всех слоев русского общества. К концу первого года издания «Дневника» между Федором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспримерное у нас на Руси:[21] его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за

доставление прекрасной моральной пищи в виде «Дневника писателя». Некоторые говорили Федору Михайловичу, что они читают его «Дневник» с благоговением, как Священное писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешать их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени. И Федор Михайлович любовно принимал этих своих клиентов и беседовал с ними, читал их письма и отвечал на них... Особенною искренностью отличались в этом отношении читатели провинциальные; многие из них, когда им случалось бывать в Петербурге, считали своим долгом лично изъявить свое почтение уважаемому писателю, а иные пользовались подобными случаями для того, чтобы посмотреть на знаменитого писателя-«оракула» и послушать его... Только упорные русские «западники» были недовольны «Дневником» Федора Михайловича и выражали свое недовольство, между прочим, цитированием едкого изречения одного из своих вожаков, гласившим, что «от Достоевского стало сильно деревянным маслом пахнуть», — это значило, что он сделался святошею.

XII

Во время издания Ф. М. Достоевским «Дневника писателя» я вновь стал бывать у Федора Михайловича, потому что опять начались у меня сношения с ним... Сношения эти были не столь часты, как прежде, но зато более интимны, так что я имел возможность, между прочим, присмотреться ближе к его образу жизни.

Жил в то время Федор Михайлович на Греческом проспекте, в доме, стоящем между греческою церковью и Прудками. Дом этот был такой же старый, как и тот, в котором он жил перед тем на Лиговке, на углу Гусева переулка. Квартира его находилась в третьем этаже и очень походила расположением приемных комнат на прежнюю; даже окнами эти комнаты выходили в одну и ту же сторону, именно на восток... Замечу кстати, что и следующая квартира Федора Михайловича была в старом же доме. Одно время меня занимал вопрос, отчего это Федор Михайлович предпочитает старые дома новым, представляющим гораздо более удобств и опрятности, и пришел к следующему заключению. Федору Михайловичу нужна была настолько объемистая квартира, что наем таковой в новом, комфортабельном доме

не согласовался с его средствами... Он жил чисто литературным трудом *исключительно,* а существовать на заработок от такого труда, даже при таком колоссальном таланте и непомерном трудолюбии, каковыми отличался Федор Михайлович, у нас на Руси если иногда и можно, то пока лишь довольно скромно.

Кроме обычных кухни и прихожей, число комнат в виденных мною первых двух квартирах было не менее пяти, а именно: зала, служившая вместе и гостиною, маленькая столовая, такой же маленький кабинет, детская, всегда по возможности отдаленная от кабинета, и, наконец, комната Анны Григорьевны. Обстановка всех комнат была очень скромная; мебель в зале-гостиной была относительно новая, но так называемая рыночная; в остальных комнатах она была еще проще и притом старее.

Особенною простотою отличался кабинет Федора Михайловича. В нем и намека не было на современное шаблонное устройство кабинетов, глядя на которые обыкновенно нельзя определить — человеку какой профессии принадлежит данный кабинет...

Кабинет Федора Михайловича в описываемое мною время (1876 г.) была просто его *комната,* студия, келия... В этой комнате он проводил б*о*льшую часть времени своего пребывания дома, принимал коротко знакомых ему людей, работал и спал в ней. Площадь комнаты имела около трех квадратных сажен. В ней стояли: небольшой турецкий диван, обтянутый клеенкою, служивший Федору Михайловичу вместе и кроватью; два простых стола, какие можно видеть в казенных присутственных местах, из коих один, поменьше, весь был занят книгами, журналами и газетами, лежавшими в порядке по всему столу; на другом, большом, находились чернильница с пером, записная книжка, довольно толстая, в формате четвертки писчей бумаги, в которую Федор Михайлович записывал отдельные мысли и факты для своих будущих сочинений, пачка почтовой бумаги малого формата, ящик с табаком да коробка с гильзами и ватою — более на этом столе ничего не б ы л о , — все остальное необходимое для письма находилось *в столе,* то есть в низеньком выдвижном ящике, помещавшемся, по старинному обычаю, под верхнею доскою стола. На стене над этим столом висел фотографический портрет Федора Михайловича; перед столом стояло кресло, старое же, как и остальная мебель, без мягкого сиденья. В углу стоял небольшой шкаф с книгами. На окнах висели простые

гладкие сторы... Вот и все убранство кабинета Федора Михайловича во время издания «Дневника писателя». Кроме небольшого количества книг, ничего в нем, как видите, не было такого, что принято считать располагающим к кабинетным размышлениям и занятиям, и так было потому, я полагаю, что Федор Михайлович не нуждался в искусственных вспомогательных средствах для возбуждения своего вдохновения или своей деятельности, ибо имел неиссякаемый источник вдохновения в собственном духовном существе своем, богато одаренном пониманием высших интересов жизни человеческой, за которою он всегда чутко следил, деятельность же литературная была потребностью его жизни, его стихиею...

Не знаю кому как, но мне только что описанный мною кабинет Федора Михайловича внушал большое уважение к себе, и я полагаю, что эта строгая, почти бедная, простота его обстановки отражала собою характер своего хозяина вернее и лучше, нежели та, которая похожа на обстановки всех кабинетов вообще. И я очень жалею, что не могу живописно воспроизвести этот характеристичный кабинет знаменитого писателя.

XIII

Одно было безусловно необходимо Федору Михайловичу для писания его произведений — это тишина. Поэтому он писал очень часто по ночам. Вследствие этого он приобрел привычку поздно ложиться спать, а потому и поздно вставать. Когда он писал ночью, то вставал затем обыкновенно во втором часу дня, случалось, и позже... Само собою разумеется, что такое неестественное распределение сна и бодрствования, при вообще болезненном состоянии, не могло не иметь вредных последствий на нервную систему Федора Михайловича. Так оно и было на самом деле. Между тем жизнь семейства текла вполне нормально: все вставали довольно рано, и много нужно было любящей заботливости и такта Анне Григорьевне, чтобы, при двух малолетних детях и двух прислугах женского пола, соблюсти в доме тишину, без которой Федор Михайлович не мог ни работать, ни спать, несмотря даже на утомление за ночною работою — так был чуток, нервен сон его.

Нормально пробудившись от сна, Федор Михайлович тотчас же вставал, умывался и одевался в просторный и длинный пиджак из черного сукна — свою постоянную

домашнюю одежду (халата и туфлей он не носил), и принимался за ожидавший его чай. Чай Федор Михайлович пил крепкий и сладкий, по несколько стаканов, сидя за своим письменным столом, ходя за каждым стаканом через залу в столовую, где стоял самовар и чайный прибор, и наливая его себе сам. Сидя за чаем, Федор Михайлович или пробегал газеты, или набивал себе папиросы-пушки из желтой маисовой бумаги... Курил он довольно много и тем, конечно, усиливал и без того большую деятельность своей нервной системы. Затем он принимал посетителей, если они бывали. Часа в три в столовой для него сервировался маленький сухой завтрак... Придя однажды к Федору Михайловичу во время его завтрака, я видел, как он употреблял простую хлебную водку: он откусывал черного хлеба и прихлебывал немного из рюмки водки, и все это вместе пережевывал. Он говорил мне, что это самое здоровое употребление водки. После завтрака Федор Михайлович выходил на прогулку, во время которой заходил в типографию, когда это было нужно. В шестом часу он обедал с семейством, которому и посвящал время до тех пор, пока дети не уходили спать, после чего Федор Михайлович принимался писать. Чаще же бывало, что после обеда он ехал к кому-нибудь из своих знакомых, которых у него было много, и притом все это были лица почтенные, а некоторые так даже и высокопоставленные, — вообще люди выдающиеся в высших сферах общества и литературы.

Таков бывал нормальный день Федора Михайловича.

Но горе ему было, если пробуждение происходило ненормально, то есть если он бывал разбужен преждевременно, вследствие, например, нечаянного стука или шума в квартире или просто потому, что, засидевшись за работою долее, чем рассчитывал, бывал разбужен в обычное время и, таким образом, вставал не выспавшись, как следовало. В таких случаях первое время по пробуждении Федор Михайлович бывал удрученно-серьезен и молчалив. В общем, вид его бывал в таких случаях как-то мучительно сдержан... Раза два или три видел я его в таком положении, и каждый раз на меня этот его вид производил гнетущее впечатление. В таких случаях он избегал разговора с кем бы то ни было; домашние, конечно, знали это и потому никого к нему в это время не пускали, и только для меня делалось исключение, так как меня, приходившего к нему в такое время только ради близкого его душе дела и притом по его же письменному приглашению, он интересовался видеть... Указывая мне движением головы на диван в своем кабинете, он кратко говорил:

— Садитесь.

И потом так же кратко спрашивал:

— Хотите чаю?

Я соображал, что утвердительный ответ в данном случае лучше отрицательного, потому что утвердительный ответ отдалял деловой разговор, который начинать ему, очевидно, было тяжело, и поэтому отвечал, что хочу. Тогда он шел в столовую, находил второй стакан, наливал в него такого же, как и себе, крепкого чаю и приносил мне его.

— Курить хотите? — спрашивал он спустя несколько минут.

Из выше приведенных соображений я опять отвечал утвердительно, и Федор Михайлович подвигал к себе ящик с табаком и гильзами, набивал папиросу и подавал ее мне. Таким образом, я не нарушал молчания до тех пор, пока он сам не начинал говорить о деле, за которым звал меня.

Подобное описанному состояние Федора Михайловича иногда переходило в раздражительность: он легко сердился и при этом говорил резкости. Тогда-то он, на посторонний взгляд, казался груб и деспотичен даже с близкими ему людьми; но я по опыту знаю, что ни грубости его вообще, ни деспотизма его в особенности не ощущали на себе те близкие ему существа, к которым относились эти казавшиеся грубость и деспотизм.

Но только что описанные проявления болезненности Федора Михайловича были ничтожны в сравнении с припадками главной его болезни — эпилепсии, которою он начал страдать, как некоторые говорят, еще перед ссылкою в Сибирь[22]. Я никогда не видел этих припадков, но мне рассказывала о них Анна Григорьевна. Она говорила, между прочим, что обыкновенно Федор Михайлович за несколько дней предчувствовал приближение их. При появлении известных предвестников принимались всевозможные предосторожности: так, между прочим, Федор Михайлович несколько дней не выходил из дома; днем домашние, то есть главным образом Анна Григорьевна, следили за ним, а на ночь возле его постели на диване стлалась другая постель на полу, на случай припадка во время сна. Благодаря этим предосторожностям, опасные последствия припадков предупреждались и тем самым смягчались, иначе легко могло случиться, что Федор Михайлович мог в припадке упасть на улице и разбиться

о камни. При всем том, эти припадки так измучивали и обессиливали Федора Михайловича, что он потом оправлялся от каждого из них три-четыре дня; в эти дни он уже ничего не мог делать и никого не принимал, кроме Анны Григорьевны, которая одна в таких случаях умела ухаживать за ним; чрез нее же он и сносился с имеющими до него какое-либо дело, а равно и со мною. Вообще Анна Григорьевна умело и с любящею внимательностию берегла хрупкое здоровье своего мужа, держа его, по ее собственному выражению, постоянно *«в хлопочках»,* как малое дитя, а в обращении с ним проявляла мягкую уступчивость, соединенную с большим, просвещенным тактом, и я с уверенностию могу сказать, что Федор Михайлович и его семья, а равно и многочисленные почитатели его обязаны Анне Григорьевне несколькими годами его жизни.

XIV

Если правдиво выражение, употребляемое некоторыми писателями, что они *писали* свои произведения *своею кровью,* то выражение это как нельзя более применимо к Федору Михайловичу Достоевскому и его произведениям, ибо на произведениях своих этот писатель действительно, а не на словах, скоротал свою жизнь, растратив на них свое физическое здоровье, на которое сравнительно менее, чем они, повлияла даже каторга...

Я не знаю, легко ли писал Федор Михайлович свои романы и большие повести, но знаю, что статьи для «Дневника писателя» писались им с большою натугою и вообще стоили Федору Михайловичу больших трудов. Первою и самою главною причиною трудности писания для Федора Михайловича было его неизменное правило: обработывать свои произведения добросовестно и самым тщательным образом; второю причиною было требование сжатости изложения, а иногда даже прямо определенные рамки объема журнальных статей; наконец, третьею причиною была срочность писания подобных статей... Следствием всего этого было то, что, несмотря на огромную опытность Федора Михайловича в литературной технике, редкие из его манускриптов обходились без одного или даже двух черняков, которые потом, для сдачи в типографию, непременно переписывались или самим

Федором Михайловичем, или Анною Григорьевною, писавшею под его диктовку с черняков.

Принимая во внимание трудность, с которою давались Федору Михайловичу его произведения, станет понятною и та заботливая бережность, которая употреблялась им в отношении своих рукописей, предназначенных для печати и приготовленных для сдачи в типографию. В видах особой сохранности этих дорогих рукописей Федор Михайлович чаще всего сдавал их в типографию лично, и притом прямо в руки метранпажа, иногда для этого он пользовался моими посещениями или же поручал их для доставки в типографию своей супруге, но никогда не присылал их в типографию со своею прислугою. Мне удалось, однако ж, уговорить Федора Михайловича сдавать иногда рукопись (оригинал, по-типографски) рассыльному типографии, когда тот приходил за нею к нему с моею запискою или по предварительному каждый раз уговору о том между мною и Федором Михайловичем; но это бывало очень редко, только в экстренных случаях или по утрам, когда оригинал писался ночью.

Вообще Федор Михайлович если не самолично передавал мне оригинал, то *всегда* снабжал его запискою ко мне.

После сказанного понятно будет и то, что летом, когда Федор Михайлович отсутствовал из Петербурга, — а это бывало каждое лето, — присылка оригинала в типографию озабочивала его чрезвычайно. К тому, в этих случаях, он бывал лишен возможности столь необходимых ему личных переговоров с метранпажем, то есть со мною. Приготовив оригинал, Федор Михайлович рассчитывал по особому, употреблявшемуся им, способу — по количеству не букв, как рассчитывают обыкновенно оригинал в типографии, а слов — сколько из отсылаемого оригинала выйдет печатных строк и затем страниц; но так как, судя по-прежнему, расчеты эти никогда не бывали точны, а только приблизительны, то он оставался в сомнении до получения корректур. Приготовив таким образом оригинал к отсылке, Федор Михайлович писал ко мне письмо, в котором обстоятельно излагал свои соображения относительно посылаемого оригинала и некоторые инструкции мне. Затем то и другое посылалось *страховою корреспонденциею* в Петербург, в типографию, на мое имя. Так делалось раза три или четыре в течение одного выпуска «Дневника писателя».

XV

Каковы были заботы Федора Михайловича в подобных случаях — можно видеть из нижеследующих писем его, которые, ради хронологического порядка к приведенным мною выше, беру из следующих за ними по времени. Вот, например, три письма, относящиеся к одному и тому же выпуску «Дневника писателя», — именно за июль — август 1876 года, из коих первое писано в ответ на мое письмо.

«23 августа 1876 г.

Многоуважаемый Михаил Александрович,

Напрасно Вы так говорите. Уезжая, я Вам дал полномочие (словесно) на всё, и уже, разумеется, и печатать.

За бумагой, если не получили, надо сходить к Печаткину (Красносельская фабрика Константина Петровича Печаткина) и потребовать 38 стоп. Прошу Вас печатать и не терять времени.

«1876 г.
Июль — август»

Это так, но ведь и об этом мы с Вами уговорились, именно об этом самом заголовке и еще до поездки моей в Эмс, я это очень хорошо помню.

А что же я Вам напишу насчет цензурных вымарок, если я их не видал? Нечего делать, печатайте как есть без меня. И не грех Вам не написать мне, что именно вымарано? Вы пишете: часть главы, но которая? И много ли? Теперь, до приезда в Петербург, и день и ночь буду думать, как на угольях. А всего-то стоило написать полстрочки.

Я приеду, как и обещал, не 26-го, а 27-го августа, да и то в самом удачном случае. Я выеду 26-го, но здешние дороги не от меня зависят.

Перед выездом вышлю Вам еще тексту.

А пока Вам преданный *Ф. Достоевский*».

Следующее письмо:

«25 августа / 76. Старая Русса.

Многоуважаемый Михаил Александрович, посылаю Вам еще тексту. Вся беда моя в том, что не знаю, что именно запрещено цензурою, в какой главе и какой

номер. И потому очень прошу Вас вникнуть в нижеследующее.

Если цензор вычеркнул из «Главы второй» и именно об «Идеалисте-цинике» и «Постыдно ли быть идеалистом» (то есть 1 и 2 малые главы), то надо выкинуть их вовсе, а взамен того к «Главе второй» *пристегнуть* две маленькие главы из «Главы третьей» (1. «Русский или французский язык?» 2. «На каком языке говорить отцу отечества?»), переменив, разумеется, соответственно только номера маленьких глав (то есть вместо 1 и 2 «Русский или французский язык?» и т. д. поставить 3 и 4 №№). А затем «Главу третью» начать уже с того, что я Вам теперь (с этим письмом) высылаю, то есть со слов: «Эмс я описывать не буду» (листок 10), и №№ маленьких глав опять переменить соответственно, то есть вместо 3 и 4 поставить 1 и 2, а продолжение я уже Вам сам привезу *.

Выезжаю я отсюда не в четверг 26-го августа, а в пятницу, 27-го. В субботу, вероятно, увидимся. Думаю *наверно,* что 31-го августа *не* успеем выйти. В таком случае, приехав в Петербург, объявлю в газетах, что по независящим обстоятельствам № июль — август выйдет 4-го сентября. Очень может быть, что провозимся до этого срока, но надобно иметь в виду, чтоб уж никак не позже 4-го сентября. А впрочем, всё решится при нашем свидании. Пока набирайте и делайте, что возможно.

До свидания.

Ваш весь *Ф. Достоевский».*

---

* На самом деле вымарано было не то и не другое из мнившегося Федору Михайловичу, а именно 4 малая глава большой второй главы, то есть конец из до того времени полученного мною текста, вследствие чего я, вероятно, и не счел необходимым точно обозначить в письме своем к Федору Михайловичу содержание запрещенного, так как пропущенного цензором текста было достаточно, чтобы сверстать и напечатать первый лист выпуска; второй же лист, по моим расчетам, предстояло верстать уже по приезде Федора Михайловича в Петербург, так что предвиделось время для отстаивания запрещенного. В 1886 году, перебирая свои бумаги, я нашел между ними рукопись всего выпуска «Дневника писателя» за июль—август 1876 г., которую тогда же и передал А. Г. Достоевской, печатавшей в то время 2-е издание «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского». По этой рукописи восстановлена малая глава большой четвертой главы, озаглавленная «Земля и дети», первоначально и затем в 1-м издании «Полного собрания сочинений» напечатанная с значительными пропусками, составлявшими в свое время *цензурные исключения;* запрещенная же цензурою целиком глава, о которой в приводимых письмах идет речь, по некоторым соображениям не вошла и во 2-е издание. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

Следующая записка уже с городской квартиры:

«29 августа 76.

Многоуважаемый Михаил Александрович,

К Ратынскому письма не прилагаю, но зато исправил всё по его желанию и указанию *. Если надо будет, то поеду к нему сам.

Дальнейшую рукопись (глава четвертая, III и IV) при сем прилагаю: семь полулистков. Но будет еще V-я малая глава «Главы четвертой». А затем «Post scriptum». Окончание главы четвертой, то есть V-ю малую главу, постараюсь доставить завтра же, 30 августа. А «Post scriptum», как сказано, 1-го сентября.

А засим весь Ваш *Ф. Достоевский.*

Надеюсь, завтра увидимся».

Нижеследующие три письма, для полноты характеристики этого рода писем, беру из 1877 года, лето которого Федор Михайлович также проводил вне Петербурга. Все три письма относятся также к одному и тому же выпуску «Дневника писателя» и также двойному, именно за май — июнь 1877 года.

«Малый Прикол, 20 июня / 77.

Многоуважаемый и любезнейший

Михаил Александрович,

Пишу Вам из усадьбы Малый Прикол, в 10 верстах от заштатного города Мирополье, Суджинского уезда Курской губернии. Посылаю «Главу первую» «Дневника» за май — июнь, всего 21 полулисток. Глава первая тут *кончена;* но листа печатного еще не будет. Тут всего 13 или 13½ наших страниц. С обычным нашим объявлением на первой странице будет всего 14 или 14½ страниц. *Опоздал и опоздаю.* Решил, что в срок, то есть к 30-му июня, *никак не выйдем.* Выйдем же 5-го или 7-го июля. Я прибуду в Петербург не ранее как ко 2-му июля. Но всё же начните набирать (№ двойной, озаглавлен май — июнь по примеру прошлого года за июль—август, и не менее будет *трех* листов). Очень скоро, то есть дня через три, вышлю Вам еще оригиналу, и потом еще. Полагаю, вышлю всё до моего еще приезда. Когда наберется полный лист, то печатайте так, как мы уговаривались. Остальные же листы, то есть 2-й и 3-й, вероятно, успею сам прокоррек-

---

* Это говорится о статье под заглавием «Земля и дети». (*Примеч. М. А. Александрова.*)

тировать. Теперь же полагаюсь во всем на Вас; ради Христа, отдержите корректуру тщательнее *.

На первых страницах пойдет латинский текст. Напечатайте *не петитом,* а обыкновенным шрифтом, и непременно через строчку латинского с русским, точь-в-точь так, как увидите в оригинале. Латинский текст переведен *подслоено,* то есть под каждым латинским словом соответствующее русское. Надо так и набирать и печатать.

NB. (самое главное). Ради Бога, дайте прокорректировать латинский текст кому-нибудь знающему латинский язык.

Кроме того, еще самое важнейшее: надо непременно снести цензору Ратынскому и попросить отцензуровать. Боюсь только, чтоб он куда не уехал, как в прошлом году! П<уцыкови>ч обещался в таком случае похлопотать о назначении мне цензора. Напишу ему.

Надеюсь, что писано довольно разборчиво.

Итак, буду присылать беспрерывно по мере накопления. Вас же, голубчик Михаил Александрович, попрошу *в случае чего-либо у Вас необыкновенного,* то есть в типографии, или в случае отсутствия Ратынского, написать мне сюда: В город Мирополье, Курской губернии, *Фед. Мих. Достоевскому.*

И напишите, не рассчитывая, дойдет или не дойдет или что я уже выеду к тому времени. Если же ничего не будет особенного, то не уведомляйте.

Итак, пока до свидания. Если придется печатать первый лист, то печатайте всего 7000, а не 8000 экземпляров (NB. Как Вы обойдетесь без моей подписи? Впрочем, приеду — подпишу).

Во всяком случае, будете ли или не будете начинать *печатать* до меня, но всё же, *по мере получения* оригинала, набирайте и несите к цензору.

В следующую почту еще напишу Вам, что теперь забыл.

А пока Вам душевно преданный

Ф. Достоевский».

Второе письмо:

«24 июня/77. *Малый Прикол.*

Многоуважаемый и любезнейший Михаил Александрович, посылаю Вам еще 19 полулистков, от 22 по 40-й включительно. Здесь «Глава вторая». В следующий раз вышлю «Главу третью».

---

* То есть чтобы я прочел корректуру после корректора сам, об этом Федор Михайлович просил меня, уезжая. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

Что делать: опоздаем, и опоздаем ужасно. Может быть, выйдем к 10-му лишь июля. Но Вы набирайте, и что можно, то и *отпечатывайте,* процензуровав. Здесь, я полагаю, будет 12 или 13 страниц. Так что всего, с «Главою первой», будет уже на 28 или на 29 страниц и еще остается мне Вам выслать *лист с двумя* или 3-мя страницами.

Сам я постараюсь приехать к 1-му или ко 2-му июля.

Если можете, то уведомьте меня о чем-нибудь сюда: Курской губернии в город Мирополье. Ф. М. Достоевскому.

Теперь,если Вам ничто не помешает, то, полагаю, Вы могли бы набрать и отпечатать уже 1½ листа. Если будете *до меня* отпечатывать, то печатайте не 7000 экз., как я писал Вам в последний раз, а 7½ тысяч *(семь с половиною тысяч).*

Во всяком случае, голубчик Михаил Александрович, на Вас вся надежда, не запоздайте, и по возможности, всё вперед да вперед. Но, ради Бога, корректуру! Помарок у меня много, но ведь все-таки разборчиво! Ради Бога, наблюдите, чтоб не было, по крайней мере, позорных ошибок.

До свидания, Михаил Александрович, крепко жму Вам руку.

Ваш весь *Ф. Достоевский».*

Третье письмо:

«29 июня/среда. *Малый Прикол.*

Многоуважаемый и любезнейший

Михаил Александрович,

Посылаю Вам «Главу третью» (еще недокончена), 14 полу листков. Надо думать, что тут *девять* или 10 печатных страниц. Остальное пришлю отсюда или привезу сам. Будет всего 3 листа. Отсюда думаю выехать 2 июля, буду в Петербурге или 4-го, или 5-го июля. Теперь присланное немедленно набирайте и к цензору. Если всё благополучно и цензор пропустит, то, пожалуй, печатайте (у Вас уже далеко за два листа). То-то и есть, что не знаю, благополучно ли все, есть ли цензор и всё прочее. *Если у Вас нет бумаги, то потребуйте у Печаткина* (в типографии знают, где мы берем). Ну, до свидания. Как-то свидимся в Петербурге!

Ради Бога, позаботьтесь о корректуре! Не погубите!

Ваш весь *Ф. Достоевский».*

Дня за три до выхода выпуска «Дневника» в свет он приезжал в Петербург и поселялся на эти дни одиноко в своей городской квартире, довольствуясь малыми услугами жены дворника, так как прислуги при квартире не оставлялось. Само собой разумеется, как все это страшно беспокоило Федора Михайловича, а его болезненность, в особенности его падучая болезнь, неизбежно должна была внушать его близким очень серьезные опасения за его жизнь в таком одиночестве.

Но, выпустив номер своего «Дневника», Федор Михайлович несколько дней отдыхал душою и телом, ободрялся, наслаждаясь успехом его, который, как я выше говорил и как это видно из приведенных писем, был так значителен, что действительно мог ободрять дух своего автора, заставляя его на время забывать мучительную для него трудность литературной работы к сроку. Затем он принимался за составление и писание нового номера... Так дело шло месяц за месяцем, с осени до лета, когда Старая Русса или Эмс должны были, *при непрерывающейся* почти работе писателя, восстановлять его расшатанное здоровье, с тем чтоб оно потом расстроилось опять за месяцы осени, зимы и весны, вследствие той же непрерывности труда, как у большинства тружеников из-за насущных нужд своей семьи.

XVI

Со времени возобновления отношений Федора Михайловича ко мне по случаю возникновения «Дневника писателя» отношения эти все время оставались неизменно хорошими, полными взаимного уважения и доверия, и все еще продолжали улучшаться... Когда я бывал у него не в критические дни рождения номеров или выпусков «Дневника писателя», а в более свободное время, к нашим разговорам присоединялась Анна Григорьевна, и вот при ее-то участии они уже оба стали интересоваться моими личными делами и моим семейным положением: расспрашивали меня о семействе моем вообще и о детях в особенности. Когда они узнали, что моей старшей дочери уже восемь лет и что она уже учится в Рождественской прогимназии (теперешней гимназии того же имени), то стали просить меня, чтобы я познакомил мою Маню с Лилечкою, — их тоже старшею дочкою, на год с небольшим моложе моей; я,

разумеется, с удовольствием изъявил свою готовность исполнить их желание и в ближайшее воскресенье свел свою дочку с нянею к ним. Федор Михайлович сам занялся сближением детей, и они очень скоро, под его руководством, подружились. После этого разговор о детях не раз возобновлялся. В разговорах этих мы касались воспитания и образования детей, причем Федор Михайлович высказал свой взгляд на то и другое. Он говорил, что лучшее воспитание есть воспитание домашнее, а гимназическое образование он считал самым нормальным для девицы и своей дочери намерен был дать образование именно в женской гимназии. Иногда говорили о детских нравах, причем однажды Федор Михайлович рассказал, как он иногда забавляет свою маленькую дочь чтением библейских рассказов и русских былин и как она хорошо понимает их; читал он детям иногда отрывки из своих произведений и при этом замечал подтверждение своих догадок, что в его сочинениях есть-таки места, доступные даже детскому пониманию... Это обстоятельство надоумило его заняться когда-нибудь, на досуге, выборкою таких отрывков и издать их отдельною книжкою; но мысль эту он не успел привести в исполнение; особым изданием эти выдержки явились после его смерти, под редакциею Ореста Федоровича Миллера и потом, другое издание, под редакциею В. Я. Стоюнина[23]. Читал Федор Михайлович мастерски даже чужие произведения, и потому не мудрено, что он увлекал своим чтением даже детей, о чем с удовольствием и рассказывал сам.

Нередко мы беседовали и на литературно-критические темы, причем мне доводилось слышать оригинальные суждения Федора Михайловича о некоторых из наших литературных знаменитостей и об их, а также и о некоторых своих произведениях.

Насколько верны были эти суждения маститого писателя, я мог отчасти заключить из того, что еще в то время, когда беллетристическая деятельность известного в то время К. В. М. [24] была в своем зените, так что некоторые романы его в самое короткое время выдерживали по два и даже по три издания, Федор Михайлович предсказывал давно уже сбывшуюся недолговечность этого успеха.

На мой вопрос, почему так будет — Федор Михайлович объяснил, что так будет потому, что К. В. М. пишет свои романы с маху, то есть не обрабатывая идейную и не отделывая литературно-техническую сторону их.

— Так писать нельзя, — заключил Федор Михайлович. — Теперь он пока в моде, потому и держится... Продержится еще лет пять, шесть, а там и забудут его... А жаль будет, потому что у этого был несомненный талант.

О другом современном литераторе, писавшем уже чрезвычайно литературно — и прозою и стихами, — не знаю почему, Федор Михайлович составил себе пренебрежительное мнение, которого неизменно держался постоянно...[25]

Еще во время редактирования «Гражданина», когда этому литератору симпатизировал издатель «Гражданина», радушно открывший еще в первый год издания страницы этого журнала его произведениям (что, к слову сказать, не помешало помянутому литератору впоследствии инсинуировать его), составляя однажды с издателем номер журнала, Федор Михайлович, по поводу продолжения довольно объемистого произведения помянутого изящного литератора, начатого печатанием еще до его редакторства, высказался за изгнание его со страниц журнала совсем или, по крайней мере, до более свободного места.

— Но ведь это такая милая, такая литературная вещь, — возразил издатель.

— Не понимаю, что вы находите хорошего в литературном произведении, где только и речи, что: были мы там-то, потом поехали туда-то, там пробыли столько-то времени и видели то-то и прочее в таком роде, без идеи, даже без мысли, — проговорил Федор Михайлович с оттенком легкой досады и заходил по кабинету издателя, где этот разговор происходил.

Издатель едва заметно пожал плечами, улыбнулся и более не возражал.

Так начатое произведение *изящного* литератора и осталось недоконченным в «Гражданине»... После оно было напечатано целиком в журнале диаметрально противоположного «Гражданину» направления, а затем оно вышло в свет особым изданием. Впоследствии литератор этот стяжал себе довольно значительную и относительно прочную известность, благодаря которой в 1877 году он получил от одной большой петербургской газеты предложение отправиться на театр войны в качестве ее специального корреспондента, но Федор Михайлович относился к его писанию по-прежнему, и когда однажды в разговоре я сослался на его корреспонденцию с театра войны, Федор Михайлович нахмурился мгновенно и сказал:

— Ну, уж этого-то лучше бы вовсе не читать!

По поводу кончины Н. А. Некрасова Федор Михайлович высказал свой взгляд на поэзию его[26]. Он сказал, что, несмотря на шероховатость и неблагозвучность некоторых стихов Некрасова, он тем не менее поэт истинный, а отнюдь не стихослагатель; что стихи его не деланные, не искусственные, а вылившиеся сами собою прямо из души поэта, и в этом отношении он ставил Некрасова выше всех современных поэтов. В ближайшем после смерти Некрасова выпуске «Дневника писателя» Федор Михайлович посвятил его памяти много искренних строк как из своего личного сочувствия, так и в оправдание его личности от нападок и порицаний, слышавшихся тогда в печати и в обществе... Между прочим, он доказывал, что в писателе необходимо различать две личности, причем следует разделять личность человека от личности писателя и судить писателя по его произведениям.

В начале 1874 года, когда Федор Михайлович выпустил в свет новое издание романа «Идиот», беседуя однажды втроем о текущей русской литературе, он вспомнил, что еще не подарил мне этой книги, и тотчас же попросил Анну Григорьевну принести экземпляр ее, на котором написал несколько строк, в которых, кроме обычных в таких случаях слов, есть чрезвычайно лестные для меня слова, которые привести здесь запрещает мне самая элементарная скромность...

Сколько я мог заключить из слов Федора Михайловича, сказанных им в тот раз об этом романе, я вывел заключение, что между своими произведениями он отводил «Идиоту» весьма почетное место. Вручая мне его, он с чувством проговорил:

— Читайте! Это хорошая вещь... Тут все есть!

Впоследствии, когда «Идиот» был уже давно мною прочитан, однажды в разговоре коснулись И. А. Гончарова, и я с большою похвалою отозвался об его «Обломове», Федор Михайлович соглашался, что «Обломов» хорош, но заметил мне:

— А мой «Идиот» ведь тоже Обломов.

— Как это, Федор Михайлович? — спросил было я, но тотчас спохватился: — Ах да! ведь в обоих романах герои — идиоты.

— Ну да! Только мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот — мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот — благороден, возвышен[27].

И с этим, конечно, нельзя не согласиться, признавая за произведением И. А. Гончарова иные весьма крупные до-

стоинства. А ведь раньше мне — да и многим, вероятно, — и в голову не приходило проводить какую бы то ни было параллель между этими двумя произведениями отечественной литературы.

Когда в 1877 году Федор Михайлович выпустил в свет четвертое издание романа «Преступление и наказание», он подарил мне экземпляр и этого романа, и также с автографом своим. При этом случае он опять с чувством в голосе и одушевлением в лице сказал мне:

— Это тоже очень хорошая вещь!..

— Про это я уже и сам знаю, Федор Михайлович, — прервал я его на паузе, — много похвал этому вашему произведению слышал и читал.

— А знаете ли, — продолжал он, — что, когда этот роман появился в печати впервые, меня благодарили за него; благодарили люди почтенные, солидные — люди, высоко стоящие на государственной службе... Благодарили!

Графа Л. Н. Толстого Федор Михайлович считал безусловно знаменитейшим из современных русских писателей[28].

XVII

Припоминается мне нижеследующая характеристическая сценка, имевшая место в 1877 году, в начале русско-турецкой войны, иллюстрирующая, между прочим, тогдашнюю популярность Федора Михайловича и его «Дневника писателя».

Придя к Федору Михайловичу в первом, не то во втором часу дня, я сидел в его кабинете, на его клеенчатом диване, vis-à-vis с хозяином, сидевшим у своего стола на стуле, и, разговаривая с ним о ходе дела по предстоявшему выпуску «Дневника», попивал его крепкий чай и покуривал папиросу его собственной набивки, когда к нам вошла Анна Григорьевна и сказала Федору Михайловичу, что его желает видеть г. Л<ивча>к, известный изобретатель наборной машины, о котором незадолго перед тем говорили газеты.

— Гм... Да чего же ему у меня-то нужно, ведь у меня нет типографии? — возразил Федор Михайлович.

Анна Григорьевна отвечала, что г. Л<ивча>к не объявляет причины своего визита, но говорит только, что ему очень нужно видеть Федора Михайловича и говорить с ним. Федор Михайлович с неохотою поднялся со своего стула, вышел в залу к ожидавшему его г. Л<ивча>ку

и с первых же слов попросил его к себе в кабинет, где и усадил его на диван, рядом со мною, причем тотчас же спросил, не желает ли он чаю. Тот попросил. Подали. Г. Л<ивча>к между тем продолжал очень бойко начатое им еще в зале изъяснение своего изобретения нового способа печатания, который будто бы скоро произведет радикальный переворот в типографском производстве.

— Может быть, но ведь я в этом деле ровно ничего не понимаю и потому не могу судить правильно о вашем изобретении, а вот, кстати, у меня здесь сидит типографщик, метранпаж, который это дело знает очень хорошо, — рекомендую, Михаил Александрович Александров, — вот вы с ним и поговорите, а я послушаю.

Нелишним считаю заметить здесь, что в то время моим излюбленным рабочим костюмом была простая холстинковая блуза, которую я носил без кушака, тогда как большинство метранпажей и даже наборщики постарше носили сюртук или пиджак. В излюбленном костюме я ходил и ко всем заказчикам типографии по своим обязанностям метранпажа... Впоследствии, в силу обстоятельств, характеризующихся пословицею «По платью принимают, по уму провожают», мне пришлось-таки переменить блузу на жакет и пиджак, тогда же я еще не находил этого нужным, так как в мнении своих почтенных клиентов я, по-видимому, ничего не терял, и по молодости, можно сказать, рисовался своим костюмом, который, не помню, кто-то назвал в шутку «прудоновским», хотя я носил его не столько из-за того, что он был «прудоновский», сколько ради его удобства, чистоты и дешевизны. И вот вследствие этой-то непредставительности моего костюма, вероятно, выслушав предложение Федора Михайловича поговорить со мною, изобретатель посмотрел на меня с едва скрываемым недоверием и неудовольствием и, хотя протянул мне руку и назвал себя, однако ж, затем продолжал обращать речь о своем изобретении непосредственно к Федору Михайловичу, игнорируя рекомендованного им собеседника, то есть меня. Между прочим, он сказал, что все наши типографщики — рутинеры и не могут принять его изобретения уже по тому одному, что введение его сопряжено с коренным изменением всех существующих приемов типографской техники и что выгоды его изобретение обещает главным образом издателям, чрез удешевление производства.

— Да ведь я уже сказал вам, что ничего не понимаю в этом деле, — возразил Федор Михайлович, — а опреде-

лить степень пригодности вашего изобретения — дело специалистов, которые одни могут быть посредниками между вами, как изобретателем, и издателями... Вот поэтому-то я и предлагаю вам поговорить с Михаилом Александровичем, он специалист этого дела и в настоящем случае может быть нашим посредником.

На это изобретатель заметил, что для правильной оценки его изобретения недостаточно быть техником-специалистом, но нужно также быть ученым политико-экономистом, однако ж стал обращаться ко мне и принялся излагать сущность своего изобретения. Выслушав его, я осведомился о знакомстве его с современным состоянием типографской техники, причем узнал, что знакомство это — как у многих других изобретателей наборно-типографских машин — было поверхностно; я заметил ему это; он сознался, но не вполне; он сказал, что два, три первые года его труда по изобретению пропали бесплодно, именно по недостатку его сведений по этой части, но теперь он находит свои познания достаточно полными. Стоя на своей точке зрения, я стал критиковать его способ по частям, начав с главных. Произошел краткий, но оживленный диспут, излагать который здесь я считаю неуместным, так как для большинства читателей он был бы непонятен; скажу только, что в затронутых мною частях изобретение г. Л<ивча>ка не выдержало критики, как не выдержало оно ее вообще со стороны собравшихся для оценки его специалистов-типографов в Петербурге спустя около пяти лет после описываемого разговора... Такова, впрочем, участь всех вообще наборно-типографских машин до сего времени.

Но г. Л<ивча>к очень скоро прервал диспут неожиданным заявлением, что главная цель его визита к Федору Михайловичу совсем не по поводу наборно-типографской машины, которая к тому же у него не доведена еще до совершенства, а по поводу нового его изобретения, имеющего в данную минуту гораздо больший интерес для русского общества, чем пресловутая машина, и касающегося начавшейся войны, и именно предстоявшей тогда переправы русских войск через Дунай...

Ст*о*ит припомнить, какую жгучую тему для разговоров, во всех слоях русского народа, представляла собою эта переправа русской армии через Д у н а й, — в то время когда армия эта уже несколько недель стояла на левом берегу этой реки, в виду вполне приготовившегося встретить ее неприятеля, и никто не знал, когда и как она будет

через нее переправляться, — чтобы понять, что трудно было, выслушав сообщение г. Л<ивча>ка, воздержаться от любопытства узнать подробности его. Федор Михайлович не составил исключения в этом случае и спросил-таки г. Л<ивча>ка, в чем состоит его изобретение.

Г. Л<ивча>к помялся несколько, но не заставил себя упрашивать и, может быть, именно из патриотизма, как он выразился, не счел нужным скрывать своего секрета не только перед Федором Михайловичем, но даже передо мною — «также русским человеком».

Я не считаю себя вправе излагать здесь слышанное мною описание изобретения г. Л<ивча>ка, хотя, конечно, и краткое, но довольно понятное, и скажу только, что г. Л<ивча>к придумал военный мост, изготовление, перемещение и наведение которого, по его расчетам, было бы несравненно менее сложно, более удобно и гораздо быстрее, чем в существующей системе понтонных мостов.

Сообщение свое г. Л<ивча>к заключил выражением своего желания оказать посильную патриотическую услугу правительству и русскому народу возможным сохранением его армии, «так как, по отзывам специалистов военного дела, говорил г. Л<ивча>к, все известные способы переправы через большую реку стали немыслимыми для русской армии, потому что она упустила все благоприятные моменты для того», поэтому он надеялся на содействие Федора Михайловича, как патриота, пользующегося уважением даже в высших сферах русского общества, в проведении его изобретения к цели.

— А вы знаете, что о переправе русской армии через Дунай теперь даже запрещено и говорить-то? — возразил Федор Михайлович.

— Запрещены, может быть, праздные разговоры, а ведь у меня, как вы видите, серьезное дело, — с живостью сказал г. Л<ивча>к. — У меня вполне выработанная система; имеются обстоятельные чертежи и вычисления по научным правилам, которые я могу представить кому следует.

— Когда и как будет переправляться русская армия через Дунай — это секрет главного штаба; вот вы бы туда и обратились с вашим изобретением, а я какое же вам могу оказать содействие в таком деле, о котором совсем нельзя говорить в печати, — ответил Федор Михайлович.

Г. Л<ивча>к намекнул Федору Михайловичу на его связи с некоторыми высокопоставленными лицами, к которым он желал бы получить от него рекомендательные

письма; но от этого Федор Михайлович уклонился, сказав, что у него совсем нет таких связей и что с таким, как у него, делом ему нетруден доступ даже к самому военному министру, без всяких рекомендательных писем. Г. Л<ивча>к возразил было на это, по Федор Михайлович так и не склонился на его просьбу...

А вскоре после описанного разговора совершилась и всем известная переправа русской армии через Дунай — вплавь, на легких судах.

XVIII

Об отношениях Федора Михайловича к миру типографских тружеников, за исключением описываемых мною его отношений ко мне, как одному из них, я имею сказать очень немногое...

Отношения эти, как у большинства крупных наших писателей, были поверхностные, обусловливаемые лишь самою крайнею необходимостью в их сношениях с типографиями... Но, мне кажется, Федору Михайловичу более, чем кому-нибудь другому из писателей, коллеги мои должны извинить это, приняв во внимание, что хотя Федор Михайлович, конечно, и знал бытовую народную жизнь и, без сомнения, интересовался ею, но он не был изобразителем ее в своих произведениях... В его сочинениях, полных идей и психологических анализов, за исключением «Записок из Мертвого дома», очень мало бытовых картин и сцен вообще, а потому ничего нет странного в том, что из типографского мира их и совсем нет... Этому отчасти мешала его мнительность, о которой я говорил выше, и его житейская непрактичность.

О том, как иногда наивен был великий психолог в практической жизни, может отчасти иллюстрировать нижеследующий случай.

В первый год издания «Дневника писателя», перед праздником Рождества, Федор Михайлович вручил мне десять рублей для раздачи, в виде подарка, наборщикам и при этом сказал:

— Я хотел было дать им несколько десятков экземпляров «Дневника», чтобы они продали их и деньги взяли бы себе; но потом мы с Анною Григорьевною рассудили, что так не годится, а лучше будет дать им прямо деньгами.

На это я ответил Федору Михайловичу, что последнее, конечно, целесообразнее и что так обыкновенно

и делается всеми, желающими подарить наборщикам деньги, подарок же экземпляров для продажи совсем неудобен для наборщика, потому уже, что превращение их в деньги могло бы причинить ему неприятности, в виде, например, объяснений принадлежности ему бо*ль*шего или меньшего количества этих экземпляров.

Федор Михайлович сказал, что именно эти соображения он сначала и упустил из виду.

В другом случае, имевшем место по поводу моих представлений Федору Михайловичу о невозможности исполнить для него что-то экстраординарное за отсутствием наборщиков, разошедшихся из типографии по домам за окончанием рабочего времени, он выразил свой идеальный взгляд на типографию, как мировое учреждение, долженствующее состоять на непрерывной службе у человеческого общества, не входя в обсуждение, как это сделать, чтобы при этом самые слуги остались людьми, а не превратились в автоматов.

— Эх вы, — шутливо-добродушным тоном сказал Федор Михайлович, — нельзя. Как нельзя? — типография все должна мочь сделать, что от нее требуется!

— Да мы и делаем вам все, что надо; случается, что и ночь напролет работаем... А в настоящем случае такой необходимости нет, ведь до выпуска еще далеко!

— Необходимости, положим, нет, но она может быть... экстренная, так сказать, необходимость, которой предвидеть нельзя. Да нет, уж вы как свою типографию ни защищайте, а она у вас не настоящая!

— Почему же не настоящая, Федор Михайлович?

— Потому что у вас дело поставлено не так, как должно.

— А как же должно-то?

— А вы знаете, как ведется дело в типографиях, где есть ежедневные газеты?

— Как не знать, Федор Михайлович, знаю. Ну, так что же там?

— Там работа идет беспрерывно, день и ночь.

Тут я стал излагать Федору Михайловичу, что так только кажется на незнакомый с делом взгляд, на самом же деле работа организована иначе... Полный состав наборщиков, например, и на газетах работает лишь до известного часа вечера, а затем они уходят по домам, оставляя на ночь пятую или шестую часть состава в качестве дежурных, которые, в свою очередь, тоже работают до известного лишь часа ночи, когда набор сдается

в печать, то есть в руки других рабочих, к тому времени лишь приходящих на работу, следовательно, тоже могущих исполнить лишь *известное количество работы,* и притом только *для газеты,* для которой эта ночная работа организована, а отнюдь не для какого-либо иного издания, работающегося в той же типографии, так как работа всех иных изданий идет иным порядком, обходясь без ночного для того времени, за редкими исключениями, делающимися при окончании некоторых из них, как, например, периодических или принятых с условием окончить к сроку.

— Ну, и такая постановка работы тоже неправильна... По-моему, типография, как сама жизнь человеческая, должна работать беспрерывно, — ответил на это Федор Михайлович.

— А ведь ночной труд, да еще в типографии, чрезвычайно тяжел и вреден, Федор Михайлович, — как это вы не против него! — возразил я.

— Против этого я ничего не могу сказать, я только говорю, как должно быть, а уж как это устроить, — я и сам не знаю, — сказал в заключение Федор Михайлович.

Зато известное отношение Федора Михайловича к так называемому женскому вопросу отразилось и в типографии, ибо если он чем интересовался, то тем уж интересовался постоянно, и не в печати только, а везде.

Заметив однажды в наборной типографии трех не то четырех работавших наборщиц, Федор Михайлович, когда мы были одни, заговорил со мною по этому поводу. Прежде всего он осведомился — замужние они были или девушки. Я сказал, что все девушки.

— А есть ли замужние наборщицы? — спросил он.

— Есть, но мало... Да наборщиц и вообще-то немного. Недавно стали прививать женщинам эту профессию, и плохо что-то прививается к ним она, — отвечал я.

— Да едва ли и привьется, то есть прочно-то, — заметил Федор Михайлович.

— Вы, Федор Михайлович, почему именно так полагаете? — полюбопытствовал я.

— Я нахожу, что ваше занятие неестественно для женщин... Ведь у вас все делается стоя на ногах, а естественное, то есть анатомическое, сложение женщины, и главным образом устройство так называемого таза у нее, требует более сидячего положения, нежели стоячего.

— А вот эмансипаторы-то наши этих особенностей женщин, кажется, совсем и знать не хотят; они очень

усердно стараются навязать типографский труд женщинам именно потому, что находят его очень подходящим для них.

Федор Михайлович улыбнулся на это мое замечание и продолжал расспросы.

— А кроме вот того процесса набирания, который обыкновенно видишь у вас тут, какого-нибудь более тяжелого труда в вашем производстве нет или есть?

— Есть... Приходится, например, выставлять из реалов формы набора и переносить их на стол, для правки корректур. Но этот труд от них может быть отстранен формальным образом, а пока наборщицы обыкновенно довольно легко отстраняют его от себя сами, так как всегда найдется кто-нибудь из наборщиков сделать за них это небольшое дело... Но надо заметить, что редко за них что-либо делается из человеколюбия или из простого снисхождения к их физической слабости; обыкновенно же помощниками руководят эгоистические побуждения известного свойства.

— А я видел, одна что-то нагнувшись делала, как бы над столом, причем она, кажется, упиралась в него грудью... Что это она делала?

— Это правка корректуры. От этого они еще легче могут быть отстранены. В таком положении приходится иногда править только авторские или редакторские корректуры, за которые полагается особая плата и которые поэтому можно давать тому или другому наборщику, свою же, то есть так называемую первую корректуру, в которой каждый правит лишь свой набор, можно править иначе, не нагибаясь над целою формою и не упираясь в нее грудью, а беря каждую гранку к себе на кассу, и там исправлять ее.

— Да вот разве так-то; а то ведь этакое положение для груди вредно; а строение груди у женщин тоже ведь разнится от мужской... Для груди, впрочем, уже и самый воздух типографии вреден, я полагаю; у вас ведь тут все свинец, краски... Воздух всегда такой тяжелый.

— А главное — пыль и грязь обыкновенные, соединенные с пылью и окисями металлическими, а также поташем, скипидаром, масляною краскою, ламповою копотью и, наконец, плевками и харкотинами рабочих прямо на пол, в большинстве типографий никогда почти не моющийся; при всем этом скученность рабочих вследствие тесноты помещений — вот главные бичи нашего здоровья, — пояснил я.

— Да, да, тяжело!.. А для женщин и подавно: женщина по природе — существо хрупкое, слабое; настоящее-то ее место в семье, в домашнем хозяйстве или при детях... Ну, конечно, есть некоторые ремесла и вообще некоторые служебные занятия, которые и они могут исполнять, но только не в типографии, типографский труд им не под силу.

— Действительно тяжело, то есть в смысле обстановки и воздуха; но ведь легких занятий сравнительно немного, а женщин, и в особенности девушек, так много теперь, вследствие того что современный склад жизни и житейской мудрости так настойчиво исключает для мужчин необходимость законного брака, что им поневоле приходится искать для себя новых областей труда для добывания средств для сколько-нибудь независимого честного существования.

На этот довод мой Федор Михайлович сказал, что положение женщин действительно пока безвыходно и что крайность, конечно, заставит делать и непосильное, но так не должно быть.

Таковы были те немногие личные взгляды Федора Михайловича на типографский мир, которые были известны мне. В печати же об этом предмете он никогда не говорил.

XIX

Несмотря на блестящий успех «Дневника писателя», несмотря на постоянное желание Федора Михайловича участвовать в общественной жизни в качестве публициста, он, во второй половине 1877 года, нашелся вынужденным отказаться от продолжения издания «Дневника» в будущем году. Причиною тому была все та же удручающая срочность литературной работы, которая заставила его в 1873 году отказаться от участия своим пером в «Гражданине».

Несомненно, Федор Михайлович был трудолюбивый писатель, но условия журнальной работы были, так сказать, не в характере его музы... Он не любил скользить по поверхности избранного предмета, а всегда углублялся внутрь его, желая проникнуть до дна, чего, конечно, нельзя делать к известному сроку... Да не сродны были эти условия и самому таланту его, прежде всего беллетристическому. Он лишь принуждал себя к журнальной работе — и только. В «Гражданине» он часто вынужденным находился откладывать статьи своего «Дневника»

из-за того, что сам он не был доволен сделанною работою. Там это было можно, так как всегда были в запасе статьи разных авторов, из которых всегда можно было что-нибудь выбрать для замещения пустого места в номере. Теперь же, когда «Дневник писателя» выходил в свет самостоятельным изданием и от начала до конца писался одним автором, Федор Михайлович, в силу добросовестных отношений к своим обязательствам перед читателями своими, не мог позволить себе какого-либо манкирования выпусками его, и когда их приходилось отсрочивать,— а иногда-таки приходилось это делать, — то, как это видно из вышеприведенных писем, эти отсрочки стоили Федору Михайловичу больших нравственных страданий, а если прибавить к ним известную постоянную болезненность Федора Михайловича, его мнительность и нервную раздражительность, то можно представить себе, какое удручающее влияние имела на Федора Михайловича его журнально-публицистическая деятельность, и станет понятною его новая решимость прекратить, хотя на время, свой «Дневник».

Об этом прекращении «Дневника», равно как и о причине его, то есть о расстройстве своего здоровья, Федор Михайлович заявил своим читателям, сначала особою статьею в «Дневнике»[29], а потом объявлениями в начале каждого выпуска его, гласившими, что подписка на «Дневник писателя» на 1878 год *не принимается.* В ответ на заявление Федор Михайлович получил множество писем от своих читателей и почитателей с просьбами продолжать «Дневник», нисколько не стесняясь сроками выхода его выпусков в свет, объемом и даже числом их в год, но он решительно отказался от этого, ссылаясь на необходимость поправить свои расстроенные силы и здоровье полным спокойствием и обещаясь возобновить «Дневник» опять, года через два.

Один литературный антрепренер, издававший в Петербурге захудалую газету, узнав о причине прекращения «Дневника писателя», приехал к Федору Михайловичу с предложением услуг страниц своей газеты для его «Дневника», мотивируя свое предложение якобы желанием избавить его от хлопот издательства; но Федор Михайлович, понимая истинную цель антрепренера, отверг его предложение с негодованием.

В разговоре с Федором Михайловичем, по поводу прекращения «Дневника писателя», он, как при выходе своем из редакции «Гражданина», опять высказал мне

надежду сойтись, года через два, и работать вместе. Опять он отдыхать собирался недолго.

— Отдохну немного, — говорил он, — а там опять за работу... Есть идея, которая давно уж занимает меня... Хочу разработать ее... А при «Дневнике» это невозможно.

— Роман это будет, Федор Михайлович? — спросил я.

— Да, пожалуй, и роман, если хотите! — с улыбкой ответил он.

Эта новосозревавшая в голове Федора Михайловича идея, через два года после того, явилась в свет в виде нового капитального творения его, под заглавием «Братья Карамазовы».

С прекращением «Дневника писателя» совпало прекращение деятельности типографии князя В. В. Оболенского, закрывавшейся не в силу каких-либо неблагоприятных обстоятельств, а просто согласно воле своего дилетанта-владельца... Последний выпуск «Дневника» предполагалось напечатать до закрытия типографии, но ликвидация дел происходила так быстро, что я не видел возможности приличным образом закончить издание Федора Михайловича и потому посоветовал ему отдать последний выпуск в какую-либо другую типографию. Он отдал этот выпуск в новооткрытую типографию В. Ф. Пуцыковича, тогда уже фактического издателя-редактора «Гражданина». После Федор Михайлович жаловался мне, что печатание этого последнего выпуска причинило ему много хлопот и неприятностей и что выпуск очень запоздал выходом[30], а в техническом отношении он вышел очень плохим.

XX

После прекращения «Дневника писателя» я не виделся с Федором Михайловичем более двух лет... В этот промежуток времени он написал свой последний, колоссальный роман «Братья Карамазовы», который в 1880 году уже печатался в «Русском вестнике» и возбуждал в публике большой интерес к себе и к своему знаменитому автору, а возросшая за последние годы под влиянием впечатления, произведенного изданием «Дневника писателя», популярность Федора Михайловича привела, между прочим, к избранию его в вице-председатели Славянского благотворительного общества в Петербурге[31]. Вообще

в этот год — увы! последний в жизни Федора Михайловича — популярность его возрастала особенно быстро и в дни открытия памятника Пушкину, состоявшегося в том году, достигла апогея.

В то время в Петербурге нередко давались литературные вечера с благотворительною целью — большею частию в пользу недостаточных из учащейся молодежи, и Федор Михайлович принимал в них самое живое участие, которое главным образом привлекало на эти вечера публику. Одним из таких вечеров воспользовался я, чтобы посмотреть и послушать, хотя со стороны, любезного душе человека. Это было в апреле 1880 года, в Фомино воскресенье...[32] Достойно замечания, что, несмотря на то что дело было в заключительный день пасхальных увеселений, стояла прекрасная погода, которая, заодно с только что наступившими белыми петербургскими ночами, манила на прогулку на открытом воздухе, зала Благородного собрания у Полицейского моста к началу вечера, то есть еще засветло, была буквально переполнена публикою...

Когда по программе дошла очередь до выхода на эстраду Федора Михайловича, в зале водворилась необыкновенная тишина, свидетельствовавшая о напряженном внимании, с которым присутствовавшие устремляли свои взоры на эстраду, где вот-вот появится автор «Братьев Карамазовых», писатель давно знаменитый, но недавно признанный таковым... И вот, когда этот момент наступил, среди напряженной тишины раздался взрыв рукоплесканий, длившийся, то чуть-чуть ослабевая, то вновь вдруг возрастая, около пяти минут. Федор Михайлович, деловою поступью вышедший из-за кулис и направлявшийся к столу, стоявшему посредине эстрады, остановился на полдороге, поклонился несколько раз приветствовавшему его партеру и продолжал, тою же деловою поступью, путь к столу; но едва он сделал два шага, как новый взрыв рукоплесканий остановил его вновь. Поклонившись опять направо и налево, Федор Михайлович поспешил было к столу, но оглушительные рукоплескания продолжались и не давали ему сесть за стол, так что он еще с минуту стоял и раскланивался. Наконец, выждав, когда рукоплескания несколько поутихли, он сел и раскрыл рукопись; но тотчас же, вследствие нового взрыва рукоплесканий, должен был снова встать и раскланиваться. Наконец, когда рукоплескания стихли, Федор Михайлович принялся читать. Читал он в тот вечер не напечатанные в «Русском вестнике» главы из «Братьев Карама-

зовых». Чтение его было, по обыкновению, мастерское, отчетливое и настолько громкое или, вернее, внятное, что сидевшие в самом отдаленном конце довольно большой залы Благородного собрания, вмещающей в себе более тысячи сидящих человек, слышали его превосходно.

Нечего и говорить, что публика горячо аплодировала чтению Федора Михайловича, когда он кончил назначенное по программе, и просила его еще что-нибудь прочесть. Несмотря на продолжительность только что оконченного чтения, Федор Михайлович чувствовал себя настолько бодрым, что охотно исполнил эту просьбу. Перед многочисленным собранием публики он чувствовал себя так же хорошо и держал себя так же свободно, как бы в дружеском кружке; публика в свою очередь, чутко отличая искренность в его голосе, относилась к нему так же искренно, как к давно знакомому своему любимцу, так что, в отношении тона, овации публики Федору Михайловичу существенно отличались от оваций какой-нибудь приезжей знаменитости из артистического мира вообще.

На этот раз перед чтением вне программы Федор Михайлович сказал следующее маленькое вступление, полное характеристичности и остроумия:

— Я прочту стихи одного русского поэта... истинного русского поэта, который, к сожалению, иногда думал не по-русски, но когда говорил, то говорил всегда истинно по-русски!

И Федор Михайлович прочел «Власа» Некрасова[33] — и как прочел! Зала дрожала от рукоплесканий, когда он кончил чтение. Но публика не хотела еще расстаться с знаменитым чтецом и просила его еще что-нибудь прочесть. Федор Михайлович и на этот раз не заставил себя долго просить; он сам, видимо, был сильно наэлектризован энтузиазмом публики и не ощущал еще усталости. Он прочел маленькую поэму графа А. К. Толстого «Илья Муромец» и при этом очаровал своих слушателей художественною передачею полной эпической простоты воркотни старого, заслуженного киевского богатыря-вельможи, обидевшегося на князя Владимира Красное Солнышко за то, что тот как-то обнес его чарою вина на пиру, покинувшего чрез это его блестящий двор и уезжавшего теперь верхом на своем «чубаром» в свое родное захолустье, чрез дремучий лес. Когда Федор Михайлович читал финальные стихи поэмы:

И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...[34] —

одушевление его, казалось, достигло высшей степени, потому что заключительные слова «и смолой и земляникой пахнет темный бор...» были произнесены им с такою удивительною силою выражения в голосе, что иллюзия от истинно художественного чтения произошла полная: всем показалось, что в зале «Благородки» действительно запахло смолою и земляникою... Публика остолбенела, и, благодаря этому обстоятельству, оглушительный гром рукоплесканий раздался лишь тогда, когда Федор Михайлович сложил книгу и встал со стула.

Что касается до меня, то на меня этот вечер произвел впечатление неизгладимое.

Летом того же 1880 года состоялось открытие памятника А. С. Пушкину в Москве. На торжестве, происшедшем по этому случаю, Федор Михайлович сказал известную свою знаменитую речь о значении Пушкина для русского народа, произведшую до того сильное впечатление на все русское образованное общество, что она тогда была названа *событием.* Речь эта еще более увеличила популярность Федора Михайловича. Со времени ее для него начался ряд настоящих триумфов со стороны большинства русской интеллигенции, ареною которых были литературные вечера, дававшиеся после празднеств открытия памятника Пушкину особенно часто в Петербурге. В это время каждое появление Федора Михайловича на этих вечерах, в качестве непременного участника, сопровождалось поднесениями ему лавровых венков.

Наделавшая тогда столько шума речь эта была издана Федором Михайловичем в виде единственного за тот год выпуска «Дневника писателя».

XXI

Осенью и зимою того же 1880 года мне довелось видеться и сноситься с Федором Михайловичем несколько раз. Предлогом для первого из них послужило следующее, лично меня касавшееся, дело.

В октябре того года, в типографии издателя журнала «Дело», Г. Е. Благосветлова, открылась вакансия на место соединенных обязанностей метранпажа упомянутого журнала и вместе с тем фактора типографии. Это-то место я желал занять; но так как я не был лично известен Г. Е. Благосветлову, то я должен был добыть какую-либо рекомендацию. За лучшее мне советовали достать рекомендацию кого-либо из старых солидных литераторов, и вот с этою-то целью я и отправился к Федору Михайловичу.

Жил тогда Федор Михайлович в Кузнечном переулке, на углу Ямской улицы, на последней в его жизни квартире... Замечу мимоходом, что и эта квартира находилась в старом, но довольно хорошо реставрированном доме. Сколько известно, в то время материальное положение его было, сравнительно с прежним, наилучшее; это было заметно и по квартире, более обширной, и по обстановке ее... Слава его в это время, более чем когда-либо прежде, была признана: в образованном обществе его чуть не на руках носили, в сочувственной ему части периодической печати ему курили фимиам, а во враждебной части ее говорили о нем с уважением, и, однако ж, при всех этих благоприятных обстоятельствах, здоровье Федора Михайловича не только не поправилось, но, напротив, по-видимому, еще более ухудшилось; не только два с половиною года назад, когда я с ним расстался, но даже весною того года, когда я видел его на литературном вечере, он был гораздо крепче и бодрее, чем в это мое свидание с ним.

Придя к Федору Михайловичу, я был принят Анною Григорьевною, по обыкновению бывшей на стороже возле своего болезненного мужа. Побеседовав со мною несколько минут, она пошла к Федору Михайловичу, чтобы сообщить ему обо мне, и тогда он вышел из своего кабинета к нам в гостиную. Отнесся ко мне Федор Михайлович по-прежнему внимательно и с добротою, но притом и с серьезностью, которую я по опыту признал в нем следствием удручающего недуга.

Когда я объяснил Федору Михайловичу причину моего к нему визита, то оказалось, что он сильно антипатизировал тому литературному лагерю, к которому принадлежал Г. Е. Благосветлов, что меня, впрочем, не особенно удивило, так как мне известна была резкая противоположность литературных направлений обоих лагерей.

— Я ведь с ними... давно уж не знаюсь, — сказал Федор Михайлович, выслушав мою просьбу, — так что уж и не знаю, могу ли я быть вам в этом случае полезен-то.

— Так как же быть-то, Федор Михайлович? — проговорил я, отчасти-таки озадаченный его заявлением. — А мне *там* дали понять, что ваш отзыв обо мне имел бы вес.

— Я напишу, если хотите, то, что о вас знаю, ни к кому собственно не обращаясь.

Я согласился; тогда Федор Михайлович попросил Анну Григорьевну, присутствовавшую при этом, тотчас же принести бумагу и чернила и писать под его диктовку.

— А я подпишу, — добавил он и стал диктовать свой отзыв обо мне, иногда поправляя продиктованное.

Отзыв этот, долженствовавший иметь значение рекомендации, вышел у Федора Михайловича, по обыкновению, оригинальным и потому весьма мало похожим на все подобного рода документы.

Вот это дорогое для меня свидетельство знаменитого писателя и человека:

«Михаила Александровича Александрова, как метранпажа, знал в течение нескольких лет и был всегда как нельзя более доволен его усердием, аккуратностью и, смело могу сказать, талантливостью; к тому же Михаил Александрович сам литератор.

Федор Достоевский.

20-го октября 1880 г.
С.-Петербург».

Я было заметил Федору Михайловичу, что прибавка о моем литераторстве излишня и, чего доброго, скорее вредна для меня, нежели полезна, но он возразил, что он этого не находит, тогда я не стал более противоречить ему.

Получив рекомендацию, я, между прочим, сказал Федору Михайловичу:

— Вот, Федор Михайлович, если поступлю на это место, я, вероятно, буду настолько самостоятелен, что буду в состоянии предложить вам свои услуги по печатанию ваших изданий без риска скомпрометироваться пред вами.

— Вы думаете... Нет... а я вам вот что скажу — новость: кружок из нескольких лиц, во главе с N *, собирается открыть типографию. Вот туда бы вам хорошо поступить-то... А? Как вы думаете?.. Вот там и я буду печатать.

* Бывшим издателем «Гражданина». (*Примеч. М. А. Александрова.*)

— Я бы не прочь, Федор Михайлович, но ведь меня туда не приглашают.

— Я там сегодня буду и скажу о вас. Хотите?

— Но ведь N меня сам хорошо знает и потому, я думаю, если б находил соответственным своим видам...

— Да ведь дело-то пока в идее, понимаете, N поэтому и нет еще причины приглашать вас. Но очень вероятно, что идея эта осуществится. Я там сегодня буду и узнаю... И о вас поговорю.

Я поблагодарил Федора Михайловича, и мы скоро расстались.

Приняв к сведению, как говорится, сообщенную Федором Михайловичем новость, я благоразумно дал ход полученной от него рекомендации, передав ее протежировавшему мне лицу, близкому к Г. Е. Благосветлову, которому я лично все еще не представлялся, так как он заболел своею предсмертною болезнью, простудившись на похоронах фактора-метранпажа своей типографии *А. А. Королькова,* и потому, кроме близких ему людей, никого не принимал.

На другой день, когда я пришел с работы домой обедать, меня ожидала записка от N, присланная со слугою; в записке этой он приглашал меня, в своеобразных своих выражениях, «явиться к нему» в тот же день. Я догадался, разумеется, что это было последствие вчерашнего свидания Федора Михайловича с N, и понял, в чем дело. В тот же день я побывал у N. Прежде всего он просил меня не ходить к Г. Е. Благосветлову, а подождал бы немного их типографии, имеющей скоро открыться. Тут же он дал мне несколько поручений навести справки о ценах и составить сметы стоимости заведения и содержания типографии. В результате несколько моих дней труда, хлопот и потери рабочего времени пропали даром, ибо, в конце концов, оказалось, что N в этом предприятии не был самостоятелен, с компаниею же я не сошелся в условиях, и на этом водевиль наш кончился. После я узнал, что вскоре и N устранился от этого предполагавшегося предприятия; Федор же Михайлович и прежде еще предполагал принять в нем участие лишь как заказчик.

Между тем обстоятельства так сложились, что потеря около недели времени не оказала вредного влияния на мое искательство места в типографии Г. Е. Благосветлова; отчасти так было потому, что болезнь владельца типографии осложнилась, отчасти потому, что несмотря на то, что Федор Михайлович давно уже не знался «с ними», однако ж, отзыв его обо мне

имел «у них» решающее значение для того, чтобы остановить на мне свой выбор.

Меня ждали, и я, наконец, пошел в помещение редакции журнала «Дело». Меня принял — теперь также уже покойный — *Н. В. Шелгунов,* главный сотрудник Григория Евлампьевича по редакции журнала.

Узнав, с кем имеет дело, Николай Васильевич произнес со свойственною ему живостью:

— Так это вы самый и есть господин Александров.

— Я самый, — отвечал я.

Засим Николай Васильевич с нескрываемым любопытством, но в то же время и с обычным своим добродушным видом принялся оглядывать меня с головы до ног, как некую диковину, так что я невольно улыбнулся, глядя ему в лицо.

— Вам смешно, что я вас так подробно исследую? — проговорил Николай Васильевич также с улыбкою.

— Да!

— Нельзя иначе; ведь я должен дать о вас отчет Григорию Евлампьевичу, который поручил мне переговорить с вами.

— Ну так как же вы меня находите?

— Да на меня вы тоже произвели хорошее впечатление... О вас Федор Михайлович Достоевский очень хорошо отзывается...

— Да, он меня довольно хорошо знает... имел довольно долго со мною дела.

Затем он спросил меня об условиях, на которых я желал бы поступить в их типографию; я сказал. Обстоятельство, что я желал занять две должности, как их занимал покойный А. А. Корольков, было препятствием к немедленному поступлению на одну из них, именно метранпажа, поэтому, а главное опять же по причине болезни Григория Евлампьевича, переговоры со мною прервались недели на три.

XXII

До только что описанного стечения обстоятельств я работал в качестве метранпажа в типографии «Нового времени», куда я поступил в апреле того же 1880 года. Когда стало известно, что Федор Михайлович намерен возобновить свой «Дневник писателя» с января 1881 года, управляющий этою типографиею, *А. И. Неупокоев,* зная, что я хорошо знаком с Федором Михайловичем, попросил меня побывать у него в качестве агента типографии

и предложить ему услуги ее по печатанию его издания. Ввиду того что переговоры мои с Благосветловым, с одной стороны, и с N — с другой, ни к чему существенному не привели, мне оставалось продолжать занятия на прежнем месте; я согласился поэтому исполнить поручение управляющего и, взяв с собою смету типографии, отправился к Федору Михайловичу.

Выслушав от меня предложение, Федор Михайлович не сразу меня понял.

— Да ведь вы, Михаил Александрович, кажется, хотели поступить в типографию Благосветлова; что же, разве не поступили? Как вы очутились в «Новом времени»?

Я рассказал о своих недавних перипетиях и пояснил, что вел их, находясь в типографии «Нового времени». Выслушав мой рассказ, он, с оттенком пренебрежительности в тоне, сообщил мне свои сведения о судьбе пресловутого проекта типографии под фирмою N и К°, после чего стал говорить со мною как с представителем типографии «Нового времени», предлагавшей ему свои услуги. Предложение имело успех; Федор Михайлович принял его тем с б*о*льшим удовольствием, как он это высказал мне, что вести издание его в типографии буду непременно я.

В это же самое свидание наше, совершенно случайно, Федор Михайлович поручил мне миссию, исполнение которой произвело эпизод, не лишенный значения в истории нашей современной литературы. Случилось это следующим образом.

После переговора по поводу предложения услуг типографии «Нового времени» Федор Михайлович продолжал беседовать со мною об этой типографии и при этом спросил, какие в то время издания в ней печатались; когда я, отвечая на этот вопрос, сказал, что, между прочим, верстаю там «Еженедельное Новое время», в котором в то время печатался наделавший в свое время много шума роман — теперь также уже покойного — *Н. К. Лебедева* «Содом», под его всегдашним псевдонимом Н. Морского *, Федор Михайлович сказал, обращаясь ко мне и к Анне Григорьевне:

— А вы знаете, ведь это очень большой талант — этот Лебедев... Вот этот может действительно создать

* Роман этот первоначально начат был печатанием в фельетонах ежедневного «Нового времени», но после двух или трех фельетонов он там был прекращен; спустя же некоторое время он был целиком напечатан в «Еженедельном Новом времени». (*Примеч. М. А. Александрова.*)

что-нибудь. Его романы очень и очень недурны. Но у него есть некоторые не совсем хорошие стороны... очень немногое, впрочем; он легко может исправиться; только сам он, очевидно, этих недостатков не замечает... Надо ему указать их... Мне очень хотелось бы с ним поговорить об этом, я бы сказал ему. Вообще я бы мог ему сказать кое-что полезное для него... Скажите-ка вы ему, Михаил Александрович, чтоб он пришел ко мне когда-нибудь; ведь вы, вероятно, видаетесь с ним?

— Нет, Федор Михайлович, не виделся еще ни разу, но могу найти предлог увидеться, так как имею с ним кое-какие сношения, то есть получаю от него оригинал, посылаю ему корректуры, по поводу которых возникает иногда переписка.

— Ну и прекрасно, найдите же, Михаил Александрович, такой предлог и, когда вы с ним увидитесь, скажите ему, пусть-ка он побывает у меня... если хочет... Скажите ему, что я хочу с ним поговорить.

Я, разумеется, с удовольствием принял на себя это лестное поручение и дня через два, захватив с собою корректуры, которые, надо заметить, я мог бы по-прежнему, без ущерба для дела, послать с рассыльным, отправился к Н. К. Лебедеву, жившему тогда в Графском переулке.

Николай Константинович *Лебедев* произвел на меня впечатление человека серьезного, хорошо владеющего собою и чрез это кажущегося спокойным. Как метранпажа журнала, в котором печатается его произведение, он принял меня вежливо и во все продолжение моего визита относился ко мне предупредительно. Усадив меня против себя у круглого стола, стоявшего посреди комнаты, он спросил, курю ли я, и, получив утвердительный ответ, положил передо мною папиросы и закурил папиросу сам.

Когда разговор собственно о предмете, послужившем мне предлогом для моего визита к Николаю Константиновичу, довольно скоро истощился, так как говорить о нем в сущности было почти нечего, а я уходить еще мешкал и, чувствуя некоторую неловкость своего положения — все вследствие искусственности предлога для своего визита, искусственности, которую, мне казалось, я плохо маскировал, — не успел еще оправиться, Николай Константинович, вероятно, заметил это и деликатно выручил меня, наведя разговор, не помню, на какую-то банальную тему. Скоро, однако ж, я оправился и твердо приступил к исполнению порученной мне Федором Михайловичем миссии, откровенно сказав Николаю Кон-

стантиновичу, что для нее-то, главным образом, я и пришел к нему.

Выслушав меня, Николай Константинович приятно удивился, изменил при этом своему спокойному положению и еще более увеличил внимательность свою ко мне. Он с интересом расспрашивал меня о моих отношениях к Федору Михайловичу, вероятно желая сделать по ним оценку приглашению, получаемому чрез меня, и сообщениями моими об этом, очевидно, был удовлетворен, потому что в заключение нашей беседы он несколько раз благодарил меня за передачу приглашения, говорил, что оно для него очень приятно и что он непременно и вскоре воспользуется им. И действительно он не мешкал: не прошло после описанного и трех месяцев, как Федора Михайловича не стало в живых, а между тем он успел лично одобрить Николаю Константиновичу его произведения, ободрить его на дальнейшую деятельность, дать ему полезные советы и высказать ему столь лестные слова, что он, Федор Михайлович Достоевский, надеется видеть в нем своего прямого преемника в разработке известных литературных задач.

О только что рассказанном мною эпизоде упоминается в краткой биографии Н. К. Лебедева, напечатанной в журнале «Нива» (см.: «Нива» 1888 г., № 16, с. 418). Между прочим, там есть место, на первый взгляд противоречащее моему рассказу, каковое противоречие я нахожу нужным объяснить. На самом деле противоречия никакого нет, и все произошло от крайней сжатости текста в этом журнале. Дело в том, что там сказано, что Ф. М. Достоевский пожелал познакомиться с Н. К. Лебедевым после появления романа последнего «Аристократия Гостиного двора», но не говорится, когда это знакомство состоялось. Действительно, высказывая мне упомянутое желание в то время, когда романа «Содом» печаталась еще первая четверть, Федор Михайлович очевидно составил себе понятие об авторе его не по этому роману, а по предыдущим; последним же в то время и наиболее крупным из таковых был именно роман «Аристократия Гостиного двора»[35].

XXIII

Около недели спустя после описанного эпизода, 7-го ноября 1880 г., последовала кончина Г. Е. Благосветлова, а еще с небольшим неделю спустя я получил записку от

вдовы его, Е. А. Благосветловой, приглашавшей меня возобновить прерванные переговоры. Я принял приглашение, и возобновленные переговоры на этот раз привели к положительным результатам: несмотря на искусные торги новых советников, окруживших вдову, мне удалось отстоять все заявленные мною прежде пункты условий; вдове-наследнице в этом случае пришлось уступить членам редакции, старым советникам покойного мужа, Н. В. Шелгунову, Н. Ф. Бажину и К. М. Станюковичу, остановившим на мне свой выбор из многих кандидатов, главным образом, конечно, вследствие вышеупомянутой письменной рекомендации, данной мне Федором Михайловичем, и я 1-го декабря 1880 года занял вакантное место премьера в типографии весьма солидного в то время журнала «Дело».

Спустя после этого еще с неделю времени я пошел к Федору Михайловичу сообщить ему о своем перемещении и еще раз поблагодарить его за рекомендацию. Когда я пришел, Федора Михайловича не было дома, но принявшая меня Анна Григорьевна сказала, что он скоро будет домой, так как вышел лишь на прогулку. В ожидании его мы побеседовали об общественных успехах Федора Михайловича, причем я полюбовался несколькими лавровыми венками, поднесенными ему публикою на последних литературных вечерах, дававшихся в Петербурге в память Пушкина, в устройстве которых он принимал самое живое участие... Между тем вернулся домой Федор Михайлович; он был ужасно утомлен и, может быть именно от этого, очевидно не в духе. Когда он успокоился и обратился ко мне, я сделал свое сообщение, высказал ему свою благодарность и выразил свою готовность послужить ему теперь уже в качестве типографщика более самостоятельного, чем только метранпаж, каким я служил ему прежде, то есть предложил ему свои услуги по печатанию его изданий. Последнее я сделал из простого чувства вежливости, ибо на успех предложения я не рассчитывал, зная, как мало было на это шансов, и все-таки ответ его поразил меня. Он сказал следующее:

— Нет уж, я-то к *ним* не пойду! Да и вас не поздравляю с поступлением туда!..

Можно себе представить, какое впечатление должны были произвести на меня эти слова человека, которого я считал по меньшей мере проницательным! Присутствовавшая при этом Анна Григорьевна проявила ко мне живое участие; она несколько раз повторила, что Федор

Михайлович выразился чересчур сильно, говорила, что мое дело совсем другое и что поэтому пугать меня не следует.

Оправившись от первого впечатления приведенных слов, я спросил Федора Михайловича о причине его предубеждения и в ответ на это услышал следующее:

— Прежде я имел с ними дело... давно уж... заплатил им неустойку — и, Бог с ними, больше иметь с ними никакого дела не хочу!..[36]

— Но ведь прежнее кончилось, Федор Михайлович, — возразил я, — теперь там другие люди, и потому все должно пойти по-другому.

— Вы думаете? — добродушно уже и с улыбкою возразил Федор Михайлович, — а я так думаю, что ничего не кончилось и никаких других людей нет, все по-старому останется.

Озадаченный таким категорическим заявлением Федора Михайловича, я не возражал ему более.

— Ну, а, однако ж, как же там-то, в «Новом-то времени», без вас-то я буду? — спросил Федор Михайлович после коротенькой паузы. — Как вы думаете, можно мне будет там печатать свой «Дневник»-то?

Я ответил на это утвердительно, сказав, что на этот счет он может быть вполне спокоен, так как типография эта во всех отношениях хорошая и знающих свое дело людей там довольно.

— Да, знающие-то люди, без сомнения, есть; но я не про то; я вас спрашиваю о том, каковы там люди-то вообще?

— И людей хороших довольно, так что и на этот счет можете быть покойны.

— Вот это самое главное... Вам известно, кто там будет вести мой «Дневник»?

На этот счет я также успокоил Федора Михайловича, так как еще раньше, уходя из типографии «Нового времени», высказал управляющему свои соображения о том, что нужно для того, чтобы Федор Михайлович остался типографией доволен.

После этого мы расстались с Федором Михайловичем.

Прощаясь со мною в этот раз, Анна Григорьевна вернулась к давешним сильным словам Федора Михайловича и опять старалась смягчить их, говоря, что мои отношения существенно разнятся от отношений, бывших у Федора Михайловича с Благосветловым. Однако ж к тому, что я и сам знал, поступая на новое место, то есть, что я, хотя и косвенно, и пассивно, все же буду принадлежать к лиге считавшихся *неблагонадежными,* сложил

в сердце своем и сказанное мне Федором Михайловичем, и потому решился быть особенно осторожным; но я долгом считаю добавить к этому, что скоро убедился в необходимости принятого решения только относительно некоторых новых советников своей хозяйки, что же касается до отношений моих к упомянутому мною выше триумвирату литераторов, составлявших редакцию журнала «Дело», под главенством Н. В. Шелгунова, ставшего после смерти Благосветлова ответственным редактором, то принятые мною предосторожности оказались ненужными, так как все они были прекрасные люди, так что из общения с ними я вынес одни только добрые воспоминания.

XXIV

Только что описанное свидание мое с Федором Михайловичем было последним... 26-го января 1881 года я виделся с метранпажем, верставшим возобновившийся «Дневник писателя», и от него узнал, что Федор Михайлович болен; на расспросы мои о степени болезни, а также о ходе дела он рассказал мне, что когда он за день до того был у Федора Михайловича, то тот принял его лежа в постели... «Ну, что скажете, барин?» — спросил Федор Михайлович, прозвавший в шутку своего нового метранпажа «барином» и не оставлявший этой шутки на одре болезни.

Метранпаж ответил, что пришел переговорить о заключении 1-го выпуска «Дневника писателя», ввиду приближавшегося срока выхода его в свет.

— А я вот заболел... видите...

— Вижу, Федор Михайлович... Что же с вами случилось?

— У меня кровь из горла идет; доктор говорит, что у меня где-то внутри жилка порвалась и из нее-то течет кровь... уж две рюмки, говорят, вытекло.

После я узнал, что заболел Федор Михайлович 26-го января от разрыва артерий в легких, вследствие чего открылось кровотечение горлом, — болезнь, не особенно опасная для организма более крепкого и менее нервного; на другой день он исповедался и причастился и, почувствовав значительное облегчение, между прочим, занимался чтением корректур 1-го выпуска своего «Дневника», долженствовавшего выйти в свет по-прежнему в последнее число оканчивавшегося месяца; но увидеть этот вы-

пуск начисто отпечатанным ему было не суждено: 28-го января положение его ухудшилось, и в тот же день он тихо, постепенно слабея от истечения крови, скончался...

Вместе с любезными мне воспоминаниями о личности незабвенного писателя, которого я привык уважать с первого дня знакомства, запечатлелись в памяти моей и последовавшие затем знаменательные события, связанные с его кончиною.

...Вокруг праха писателя произошло необычайное движение образованного русского общества, во главе которого стал тогдашний министр внутренних дел граф *М. Т. Лорис-Меликов,* по представлению которого ныне в Бозе почивающий император Александр Николаевич поспешил, между прочим, утешить осиротевшую семью прославившего свое отечество писателя, лишившуюся своего кормильца, обеспечением материального существования ее чрез назначение ей пожизненной пенсии из государственных средств. Великие князья, министры и масса иных высокопоставленных лиц приезжали поклониться праху мыслителя, много пострадавшего в своей жизни, и тут, возле его гроба, смешивались с разношерстною толпою еще, конечно, более многочисленных простых смертных почитателей его... Провинция принимала участие в выражении соболезнования к большой утрате присылкою множества телеграмм.

Никогда Кузнечный переулок, где находилась квартира почившего, не видал у себя столь блестящих съездов и вообще такого многолюдства, как в эти дни! Квартира эта сделалась общественным достоянием и с утра и до поздней ночи не затворялась.

На другой день по кончине Федора Михайловича, утром, знаменитый наш портретист, ныне также покойный, *И. Н. Крамской* нарисовал карандашом большой портрет с почившего; прекрасный портрет этот в тот же день был выставлен на устроенном в память Пушкина, по случаю 44-й годовщины его смерти, литературном вечере, в котором Федор Михайлович при жизни, по обыкновению, обещал участвовать; затем он поступил в собственность Анны Григорьевны Достоевской *.

Небольшая плеяда наших лучших писателей составила из себя комитет распорядителей похорон, с Д. В. Григоровичем во главе, который и принял на себя все хлопо-

---

* Превосходная фототипия с этого портрета помещена во втором издании «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского» [37]. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

ты по этому предмету, освободив от них расстроенную вдову покойного.

31-го января вышел в свет «Дневник писателя» и в тот же день был весь распродан. На другой день появилось второе издание его, с траурною рамкою вокруг первой страницы.

Все почитатели Федора Михайловича, приходившие поклониться его праху, получали на память листки среднего книжного формата, на которых, в густой траурной рамке, воспроизведено было литографиею факсимиле писателя: «Федор Достоевский».

1-го февраля 1881 г. Петербург был свидетелем необычайного похоронного шествия с останками писателя — частного человека, проводить которого в последнее жилище — на кладбище Александро-Невской лавры — собралась более чем десятитысячная толпа интеллигентного люда всех слоев общества. Несколько десятков депутаций от разных учреждений, петербургских и иногородных, с колоссальными венками, прикрепленными к шестам, были расставлены впереди печального кортежа; они заняли собою более полуверсты протяжения. Затем следовали певчие и духовенство, за которыми должна была следовать колесница с гробом; но гроб с телом Федора Михайловича совсем не пришлось ставить на колесницу, так что она ехала позади, гроб же всю дорогу несли на плечах почитатели его, во множестве теснившиеся вокруг и наперерыв добивавшиеся сменить кого-либо из утомившихся доброхотных носильщиков, состоявших также из представителей всех классов общества. Этой чести удостоился и я... одновременно со мною, в числе носильщиков, я встретил *П. В. Быкова,* известного поэта, в то время состоявшего еще ответственным редактором журнала «Дело», с которым обменялись несколькими замечаниями по поводу совершавшегося... В числе несших гроб долго видел я князя *В. П. Мещерского.* За колесницею шло множество частных лиц и воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений. Шествие, по обыкновению, замыкалось вереницею пустых карет, так что все оно растянулось более чем на версту. Простой люд, останавливавшийся полюбоваться на эту грандиозную картину, разумеется, прежде всего осведомлялся о том, кого хоронят, и с удивлением узнавал, что то был не генерал или иной большой начальник, не знатный вельможа, а всего только писатель, то есть сочинитель нескольких книг.

— Стало быть, книги-то хороши сочинил? — заключал свои расспросы уяснивший наконец себе простолюдин, что такое *писатель,* сочинитель.

— Стало быть, так! — заключал объяснявший.

С каждым шагом процессии по направлению к Лавре толпа, сопровождавшая ее, становилась многолюднее. Во всех высших и в большинстве средних учебных заведениях были прекращены уроки, и собравшиеся на них студенты и воспитанники колоннами направлялись к Невскому проспекту и примыкали к процессии. В продолжение всего пути в группах студентов, примкнувших к своим официальным депутациям, раздавалось стройное пение «Святый Боже».

Некоторые учебные заведения, находившиеся неподалеку от пути следования процессии, не прекращая уроков на весь день, выходили на Невский проспект в полном составе своем, с преподавателями или преподавательницами, чтобы встретить, поклониться и проводить глазами останки «великого учителя» *. К числу таких учебных заведений принадлежало и то, где училась моя дочь, о которой я однажды упоминал здесь... Теперь она была предметом общего внимания прогимназии, случайно в этот день узнавшей от нее, что она бывала в семействе Ф. М. Достоевского.

Между тем процессия подвигалась очень медленно и лишь около двух часов дня достигла места назначения. Перенесенные таким образом останки Ф. М. Достоевского были поставлены в церкви Св. Духа, самое же погребение состоялось 2-го февраля [38].

Отправляясь на другой день на погребение, я принужден был взять с собою и свою маленькую дочку, упросившую меня об этом. Не предвидя этого, я запасся всего одним билетом для входа в церковь и вследствие этого встретил некоторые затруднения относительно пропуска малютки туда; девочка готова была заплакать от неудачи, как, на наше счастье, к этой сцене подошел Д. В. Григорович и, узнав, в чем дело, приказал пропустить нас, заметив мне только, что мне трудно будет охранять ребенка от тесноты. В церкви было очень многолюдно, однако особенных затруднений нам не представилось, благодаря, разумеется, самой публике, соблюдавшей строгий порядок и благопристойность.

---

* Одна из многих надписей на огромных венках, несомых впереди процессии. (*Примеч. М. А. Александрова.*)

Зато, когда последовал вынос тела из церкви на кладбище и публика с билетами смешалась с публикою без билетов, предостережение оказалось вполне основательным, и мне, с риском остаться вдали от центра, оставалось только защищать свою малютку от ринувшейся и заметавшейся в разные стороны толпы. Однако ж, по какой-то счастливой случайности, мы очутились в такой близости от могилы, что слышали довольно отчетливо почти все, что над нею говорилось...

Наступали сумерки, когда мы уходили из Лавры, а возле свежей могилы Ф. М. Достоевского оставалось еще очень много почитателей его, разделившихся на группы и, одни тихо, раздумчиво, другие горячо и шумно, беседовавших о незаменимой утрате...

Х. Д. АЛЧЕВСКАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ

Достоевский всегда был одним из моих любимых писателей. Его рассказы, повести и романы производили на меня глубокое впечатление. Но когда появился в свет его «Дневник писателя», он вдруг сделался как-то особенно близок и дорог мне. Кроме даровитого автора художественных произведений, передо мною вырос человек с чутким сердцем, с отзывчивой душой, — человек, горячо откликавшийся на все злобы дня, и я написала ему порывистое письмо[1]. Он ответил мне следующее:

«Петербург 3 марта/76.

Глубокоуважаемая Христина Даниловна!

Позвольте мне поблагодарить Вас за Ваш искренний и радушный привет. Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более в *самом деле.* Итак, благодарю Вас, и если несколько опоздал ответом, то потому, что уж очень работал над февральским выпуском и едва поспел к сроку.

Примите уверение самого глубокого к Вам уважения.

Ваш слуга *Федор Достоевский».*

Переписка моя с Достоевским, однако, на этом не прекратилась, и на второе мое письмо[2] он написал следующее:

«Петербург. 9 апреля/76.

Глубокоуважаемая Христина Даниловна!

Очень прошу Вас извинить, что отвечаю Вам не сейчас. Когда я получил письмо Ваше от 9 марта, то уже сел за работу. Хоть я и кончаю работу примерно к 25-му

месяца, но остаются хлопоты с типографией, затем с рассылкой и проч. А нынешний месяц к тому же заболел простудой, да и теперь еще не выздоровел.

Письмо Ваше доставило мне большое удовольствие, особенно приложение главы из Вашего дневника; это прелесть; но я вывел заключение, что Вы одна из тех, которые имеют дар «одно *хорошее* видеть».

Про приют г-жи Чертковой я, впрочем, ничего не знаю (но узнаю при первой возможности); я верю, что всё так и есть, как Вы написали, но, может быть, рядом есть и что-нибудь нежелательное, — *этого Вы не хотели заметить.* Всё это рисует характер, и я слишком Вас уважаю за эту самую черту. Кроме того, вижу, что Вы сама — из новых людей (в добром смысле слова) — деятель, и хотите действовать. Я очень рад, что познакомился с Вами хоть в письмах. Не знаю, куда меня пошлют на лето доктора: думаю, что в Эмс, куда езжу уже два года, но, может быть, и в Ессентуки, на Кавказ; в последнем случае хоть, может быть, и крюку сделаю, а заеду в Харьков, на обратном пути. Я давно уже собирался побывать на нашем юге, где никогда не был. *Тогда,* если Бог приведет и если Вы мне сделаете эту честь, познакомимся лично.

Вы сообщаете мне мысль о том, что я в «Дневнике» разменяюсь на мелочи. Я это уже слышал и здесь. Но вот что я, *между прочим,* Вам скажу: я вывел неотразимое заключение, что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой. Victor Hugo, которого я высоко ценю как романиста (за что, представьте себе, покойник Ф. Тютчев на меня даже раз рассердился, сказавши, что «Преступление и наказание» (мой роман) — выше «Misérables» *), хотя и очень иногда растянут в изучении подробностей, но, однако, дал такие удивительные этюды, которые, не было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру. Вот почему, готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение — не действительности собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем — современная русская семья, которая,

---

* «Отверженных» (*фр.*).

я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад. Но есть и еще многое кроме того.

Имея 53 года, можно легко отстать от поколения при первой небрежности. Я на днях встретил Гончарова, и на мой искренний вопрос: понимает ли он всё в текущей действительности или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое перестал понимать. Конечно, я про себя знаю, что этот *большой ум* не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с ¼ слова[3]), он, разумеется, — не то что не понимает, а не хочет понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни, прибавил он, я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались, а штудировать этих (он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте) мне обременительно потому, что на них пойдет мое дорогое время...» Не знаю, понятно ли я Вам это выразил, Христина Даниловна, но меня как-то влечет еще написать что-нибудь с полным знанием дела, вот почему я, некоторое время, и буду штудировать и рядом вести «Дневник писателя», чтоб не пропадало даром множество впечатлений. Всё это, конечно, идеал! Верите ли Вы, например, тому, что я еще не успел уяснить себе форму «Дневника», да и не знаю, налажу ли это когда-нибудь, так что «Дневник» хоть и два года, например, будет продолжаться, а всё будет вещью неудавшеюся. Например: у меня 10—15 тем, когда сажусь писать (не меньше); но темы, которые я излюбил больше, я поневоле откладываю: места займут много, жару много возьмут (дело Кронеберга, например), №-ру повредят, будет неразнообразно, мало статей; и вот пишешь не то, что хотел. С другой стороны, я слишком наивно думал, что это будет *настоящий* дневник. Настоящий дневник почти невозможен, а только показной, для публики. Я встречаю факты и выношу много впечатлений, которыми очень бываю занят, — но как об ином писать? Иногда просто невозможно. Например: вот уже три месяца как я получаю отовсюду очень много писем, подписанных и анонимных, — всё сочувственные. Иные писаны чрезвычайно любопытно и оригинально, и к тому же всех возможных существующих теперь *направлений.*

По поводу этих всех *возможных* направлений, слившихся в общем мне приветствии, я и хотел было написать статью, и именно впечатление от этих писем (без обозначения имен). К тому же тут мысль, всего более меня

занимающая: «в чем наша *общность,* где те пункты, в которых мы могли бы все, разных направлений, сойтись?» Но, обдумав уже статью, я вдруг увидал, что ее, *со всею искренностью,* ни за что написать нельзя; ну, а если без искренности — то стоит ли писать? Да и горячего чувства не будет.

Вдруг, третьего дня, утром, входят ко мне две девицы, обе лет по 20. Входят и говорят: «Мы хотели с Вами познакомиться еще с поста. Над нами все смеялись и сказали, что Вы нас не примете, а если и примете, то ничего с нами не скажете. Но мы решили попытаться и вот пришли, такая-то и такая-то». Их приняла сначала жена, потом вышел я. Они рассказали, что они студентки Медицинской академии, что их там женщин уже до 500 и что они «вступили в академию, чтоб получить высшее образование и приносить потом пользу». Этого типа новых девиц я не встречал (старых же *нигилисток* знаю множество, знаком лично и хорошо изучил). Верите ли, что редко я провел лучше время, как те два часа с этими девицами. Что за простота, натуральность, свежесть чувства, чистота ума и сердца, *самая искренняя серьезность* и самая искренняя веселость!

Через них я конечно познакомился со многими, такими же, и признаюсь Вам, — впечатление было сильное и светлое. Но как описать его? Со всею искренностью и радостью за молодежь — невозможно. Да и личность почти. А в таком случае, какие же я должен заносить впечатления?

Вчера вдруг узнаю, что один молодой человек, еще из учащихся (где — не могу сказать), и которого мне показали, будучи в знакомом доме, зашел в комнату домашнего учителя, учившего детей в этом семействе, и, увидав на столе его *запрещенную книгу,* донес об этом хозяину дома, и тот тотчас же выгнал гувернера. Когда молодому человеку, в другом уже семействе, заметили, что он *сделал низость,* то он этого *не понял.* Вот Вам другая сторона медали. Ну как я расскажу об этом? Это личность, а между тем тут не личность, тут характерен был особенно, как мне передавали, тот процесс мышления и убеждений, вследствие которых он *не понял,* и об чем можно было бы сказать любопытное словцо.

Но я заболтался, к тому же я ужасно не умею писать писем. Простите и за почерк, у меня грипп, болит голова и нынешний день — лом в глазах, потому пишу, почти не видя букв.

Позвольте пожать Вам руку и сделайте мне честь считать меня в числе многих глубоко уважающих Вас людей.

Примите в том мои уверения.

Ваш слуга *Федор Достоевский».*

Вот что отвечала я на это письмо:

«Глубокоуважаемый Федор Михайлович!

Я так была счастлива Вашим письмом, что несколько дней сряду никакие житейские неприятности, которых у каждого довольно, как-то не действовали на меня и были бессильны замутить эту радость. Затем наступило грустное раздумье на тему, что я не стою Вашего письма: в жизни моей я никогда ничему не училась, никогда не работала над собой, всегда отдавалась тому только, что мне нравилось, что влекло меня к себе в данную минуту; за чт*о* же это хорошее, почти дружеское письмо, за чт*о* Вы говорите со мною, как с человеком вполне образованным, разумным и серьезным? Мне просто кажется, что я украла у Вас это письмо, что оно относится не ко мне, а к кому-то другому, кто лучше меня, что оно попало ко мне по ошибке или же я представила себя совсем другою, в ложном свете в своем прошлом письме к Вам. Но нет, — не может быть: я знала людей, которые очень строго относились ко мне, даже враждебно, и находили во мне много недостатков, но преднамеренной фальши никогда! Отгоню же я это раздумье и останусь только с одной своей радостью. Первое место в этой радости занимает мысль — лично познакомиться с Вами, — об этом до сих пор я как-то запрещала себе и мечтать, настолько это казалось мне несбыточным. В Ессентуки необходимо ехать через Харьков, и вот мы будем иметь счастие видеть Вас у себя. Я говорю — *мы,* так как муж мой — один из самых искренних поклонников Вашего таланта, хотя и возражал на нашем последнем вечере чтения на Вашу заметку о банках[4]. В чем состоял его протест, я не сумею Вам передать, так как ровно ничего не понимаю в его банковых делах и нахожу их настолько скучными, что удаляюсь обыкновенно в другую комнату, когда заходит речь о банках. В этот же вечер я очень была огорчена тем, что один наш знакомый офицер (превосходно читающий за Вронского в «Анне Карениной») испортил своим слишком громким, мерным, военным голосом Ваш рассказ «Столетняя», и он не произвел

должного впечатления. Я никак не могла простить себе, что не читала сама, а поручила ему читать, думая, не прочтет ли он лучше меня; между тем, когда читала я («Мальчик на елке у Христа» и «Мужик Марей»[5]), многие не могли слушать без слез, а этот рассказ нашли гораздо слабее, тогда как, по-моему, он очень тепел и симпатичен. Позвольте разъяснить Вам, что значит «читал за Вронского». Видите ли: на наших литературных вечерах читается также каждый раз по получении «Анна Каренина», и читается так: я читаю главы, в которых говорится об Анне Карениной, дядя мой (превосходный чтец) — о Левине и Облонском, этот офицер — о Вронском, и одна барышня — о Кити. Чтение выходит чрезвычайно оживленное. Каждый из нас приготовляется к этому чтению; я так обыкновенно знаю наизусть свои главы.

Как мне интересно было бы знать, какого Вы мнения об этом романе, но не смею спрашивать, так как отвечать на этот вопрос коротко невозможно. Остается надеяться, не скажете ли Вы чего-нибудь об этом в Вашем «Дневнике». Роман этот настолько всех занимает, что Вам следовало бы высказаться на его счет, тем более что, читая «разборы» его, так и хочется сказать: «но как же критика *хавроньей* не назвать»[6]. Как странно, что в наш век скептицизма, анализа и разрушения нет ни одного порядочного критика, это просто какая-то насмешка судьбы! Не одна критика, впрочем, богата «хавроньями», ими богато и общество: «почему, видите ли, Толстой не описывает студентов, не описывает народ?!» Точно можно художнику, подлаживаясь под ходячие требования, писать по заказу, точно Айвазовского, положим, можно упрекнуть за то, что он рисует море и небо, а не мужика и студента, и как сметь требовать от писателя романа по известному шаблону и отрицать его значение, если он ему не соответствует. Ввиду всех этих разноречий, почему бы Вам не высказаться? Положим, «критический взгляд на роман» не подойдет, кажется, ни под одну рубрику Вашего «Дневника». Но ведь Вы сами же их настроили, стало быть, можете и расстроить. Вообще я не знаю, зачем Вам стеснять себя какими бы то ни было рамками; между тем Вы говорите: «Места займет много, будет не разнообразно, мало статей». Что ж за беда! Если бы, предположим, «Дело Кронеберга», этот chef d'oeuvre Вашего «Дневника» (по признанию самых строгих судей)[7], заняло бы целый номер, не оставив места рассказу и проч., что ж такое? И не дает ли оно обществу нравст-

венного удовлетворения, даже больше, чем отрывочные впечатления, вызываемые разнообразными случайностями? Я знаю людей, которые придают огромное значение этой статье. Они говорят: «Пройдет несколько лет, забудется дело Кронеберга, забудется все, что писалось и говорилось по этому делу, все фразистые фельетоны, все слащаво гуманные речи, одна только *эта* статья никогда не утратит своего значения и будет служить живым укором и обществу, и адвокатуре, и всем нам». Да, по-моему, каждое произведение человека, в которое он вложил частичку своей души, бессмертно, и вдруг мы лишились бы этой статьи из-за того, что «места займет много, будет не разнообразно, мало статей!». Ведь Вы сами творец Вашего «Дневника», кто же имеет какое бы то ни было право требовать от Вас во что бы то ни стало известных рубрик, да и у кого в обществе сложился взгляд: «чем должен быть «Дневник писателя»?» Когда я в первый раз прочла объявление о «Дневнике», я никак не могла представить себе, что именно это будет: раздумье ли Ваше о прошлом и настоящем, анализ ли текущих взглядов, направлений, событий, биография ли Вашей собственной жизни или вымышленного лица — писателя. Я уверена была только, зная Вас по всем Вашим другим произведениям, что это будет умно, тепло, интересно, искренно, и радовалась этой счастливой мысли писать «Дневник».

Когда получен был первый номер, мне показалось, что именно таким он и должен быть и другим быть не может, — одним словом, *«солнцем без пятен»*. Впрочем, Вы, вероятно, отнесете это к моему дару «одно хорошее видеть». Но об этом после, а теперь еще о «Дневнике». С величайшим интересом прочла я о цели, во имя которой Вы взялись за него, и заблаговременно предвкушаю мысленно наслаждение от будущего длинного романа. В памяти еще живы впечатления «Подростка» — «Пансион Тушара», «Смерть Оли» и других художественных сцен, которые мне также приходилось читать громко в обществе. Одно меня смущает за Вас, — это *обязательность срока* (я говорю о «Дневнике»): мне кажется, это должно быть крайне неприятно и обременительно; но если это неприятно, зато как хорошо то, что «Дневник писателя» является делом вполне самостоятельным, независимым. Извольте подделываться под тенденции какой-нибудь редакции и иметь их в виду, принимаясь писать (это своего рода цензура), а тут сам себе господин, — превосходно.

Почему доктора посылают Вас в Ессентуки, а не в Крым? У нас, в Харькове, есть превосходный доктор, Франковский, — это человек идеально честный, правдивый, много учившийся, много читавший, много видевший, долго живший. Он бывал везде — и за границей, и на Кавказе, и в Крыму — и находит, что ничто не может сравняться полезностью с приморским воздухом, морскими купаньями и виноградным лечением для каждого организма, чем бы он ни страдал. Между тем в Ессентуках страшная сырость, грязь, отсутствие каких бы то ни было удобств к жизни, — все, бывшие там в прошлом году, страшно роптали и никто не поправился, а Крым просто творит чудеса. Мы жили там в прошлом году и видели воочию такие превращения из умиравших в здоровых, что трудно поверить, не бывши свидетелем. Кроме того, роскошная, сказочная природа, всевозможные удобства к жизни — все это способствует поправлению.

Но, может быть, прежде, чем Вы поедете в Ессентуки, я буду в Петербурге (это зависит от банковых дел мужа, так как меня обыкновенно везут туда при оказии) и, если позволите, явлюсь представиться Вам и супруге Вашей, которой прошу Вас потрудиться передать мое почтение. Чтобы обрисовать Вам, насколько я до смешного интересуюсь всем, касающимся Вас, расскажу следующее происшествие: услышавши, что один из хорошо знакомых мне книгопродавцев, Куколевский (сосед наш по магазину, — у нас чайная торговля, которою я заведую), получил деловое письмо от Вашей жены, я просила его дать мне почитать это письмо, чт*о* он, разумеется, исполнил с удовольствием. Конечно, это было обыкновенное деловое письмо, и я ничего не могла ждать от него, — но все-таки мне как-то приятно было, что это пишет близкий Вам человек — Ваша жена. Вообще, я должна предупредить Вас, что во мне очень много такого смешного, институтского, несмотря на то, что я никогда не была институткою и что это «и не к лицу и не по летам», так как мне 35 лет и я мать 4-х детей.

Что же касается до моего дара — «одно хорошее видеть», то это не совсем так: у меня всегда крайности — или одно хорошее, или одно дурное; так, например, в немецких школах, в Вене и Берлине, я видела только одно дурное и никак не могла принудить себя видеть хотя что-нибудь хорошее, между тем как школа m-me Pape-Carpentier (автора многих детских книг), в Париже, привела меня в такой восторг, что я не заметила в ней ни

пятнышка. Так и относительно людей — или люблю безгранично, или терпеть не могу. Мать у меня была молдаванка — дочь, нет, внучка господаря Молдавии — Гика, сделавшая mésalliance *, женщина холерического темперамента, и вот я, опять член случайного семейства, «Подросток»[8], унаследовала все ее отрицательные качества: порывистость, нетерпимость, вспыльчивость, нервность, впечатлительность — все то, что мешает человеку спокойно и беспристрастно смотреть на мир Божий. И понимаю, что это дурно, да не умею переделаться.

Глубоко уважающая Вас

Х. Алчевская.

19 апреля 1876 года».

Обменявшись этими письмами, я решилась ехать в Петербург.

Недавно, пересматривая свои дневники, я нашла следующее описание встречи моей с Достоевским:

20 мая 1876 года.
Петербург.

Вчера мы приехали в Петербург. Цель моей поездки была свидание с Достоевским. Мысль не застать его в Петербурге так мучительно преследовала меня, что я совсем расстроила себе нервы, и стоило мне подумать об этой встрече, я тотчас же начинала плакать. Устраивать свидание в таком виде я считала невозможным, чувствуя, что, как только увижу его, расплачусь, и я не позволила себе писать к нему вчера. Заснувши тем крепким сном, каким люди засыпают в уютной постели после дорожных коек, железнодорожной неурядицы, требования билетов среди ночи и проч. и проч., я проснулась отдохнувшая, успокоившаяся и веселая. Несмотря на это, однако, когда посыльный пришел с ответом на мою записку к Достоевскому, у меня забилось сердце. Было двенадцать часов дня. «Почивают, — докладывал мне между тем посыльный, — встанут в три часа, тогда им отдадут».

В три часа! До трех часов так много времени — куда девать его, чтобы оно показалось короче, да и, кроме того, он только встанет в три часа, а ответ должен быть

* неравный брак (*фр.*).

позднее — в 4, в 5 часов. Я пошла в Гостиный двор и беспрестанно останавливала себя у красивых магазинов, стараясь парализовать тревожную мысль об ответе. Я накупала игрушки детям, письменные принадлежности, почти ненужные, почти нежеланные, и все-таки, когда вновь в голове вспыхивала мысль: «а что, если он встанет раньше обыкновенного, что, если он вздумает приехать и не застанет меня дома?» — кровь бросалась мне в голову, и мне казалось, что, если это случится, все в жизни для меня будет потеряно. В половине 3-го я возвратилась домой. Ответа не было ни в 3, ни в 4, ни в 5. В 5½ мы сели обедать за табльдот. С нами обедал Б. Я очень люблю его за большой, светлый, острый ум, но на этот раз мне нужно было силою заставлять себя слушать его. После супа мальчик-швейцар подошел поспешно к нашему столу и сказал вполголоса: «Господин Достоевский вас спрашивает».

С быстротою молнии бросилась я из столовой, не сказавши собеседникам ни слова, опрометью взлетела по лестнице и очутилась у дверей своего номера лицом к лицу с Достоевским. Передо мною стоял человек небольшого роста, худой, небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие, потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию, морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенес. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле. Когда мы уселись близко, vis-à-vis, и он начал говорить своим тихим, слабым голосом, я не спускала с него глаз, точно он был не человек, а статуя, на которую принято смотреть вволю. Мне думалось: «Где же именно помещается в этом человеке тот талант, тот огонь, тот психологический анализ, который поражает и охватывает душу при чтении его произведений? По каким признакам можно было бы узнать, что это именно он — Достоевский, мой кумир, творец «Преступления и наказания», «Подростка» и проч.?» И в то время когда он своим слабым голосом говорил об отсутствии в нашем обществе стойких самостоятельных убеждений, о сектах, существующих в Петербурге для разъяснения будто бы Евангелия[9], о нелепости спиритизма и интеллигентного кружка, дошедшего до вывода, что это нечистая сила[10],

о деле Каировой [11], о своей боязни отстать от века и перестать понимать молодое поколение или диаметрально противоположно разойтись с ним в некоторых вопросах и вызвать его порицания, об анонимных письмах, в которых за подписью «Нигилисты» говорится: «Правда, вы сбиваетесь в сторону, делаете промахи, погрешности против нас, но мы все-таки считаем вас нашим и не желали бы выпустить из своего лагеря» [12], о тех ошибках и перемене взглядов на вещи, которых он не чужд до сих пор; в то время как он говорил это не только не с надменностью замечательного ума, психолога и поэта, а с какою-то необыкновенной застенчивостью, робостью и точно боязнью не выполнить данного ему жизнью поручения честно и добросовестно, мне вдруг показалось, что передо мною вовсе не человек. Таковы ли люди, —все те люди, которых знаю я? Все они так реальны, так понятны, так осязаемы, а здесь передо мною дух непонятный, невидимый, вызывающий желание поклоняться ему и молиться. И мне непреодолимо захотелось стать перед ним на колени, целовать его руки, молиться и плакать. Может быть, человеческой природе присуще чувство обоготворения и желание поклоняться и молиться чему-то высшему, недосягаемому, непостижимому и, утратив веру ходячей религии, он ищет в человеке идеала, кумира. Желание это было так непреодолимо, что, может быть, я и привела бы его в исполнение, если бы не почувствовала вдруг на себе взгляда душевного анатома этих почти потухших глаз. Он тоже все время разговора так же пристально, точно какой-нибудь неодушевленный предмет, рассматривал меня, но вот какая была разница в моем и в его пристальном взгляде: в моем — было благоговение и поклонение, он же, вероятно, привык на каждого человека смотреть как на материал, пригодный для изучения; так, между прочим, он мне говорил: «Не правда ли, есть люди, в жизни вполне воплощающие известный тип», — и назвал несколько фамилий, между прочим Надеина, бывшего богатого барина, из принципа сделавшегося книгопродавцем. «Нет, — отвечала я под влиянием этого анатомирующего взгляда, — я думаю, что когда перед человеком, не одаренным психологическим анализом, проходят эти типы, они кажутся ему ничем не выдающимися, заурядными людьми; я двадцать раз, например, видела Надеина, и мне никогда в голову не приходило, что это *тип;* человек же, который привык

выворачивать человеческую душу, в каждом отдельном индивидууме может найти особенный интерес». Я говорила это, и мне даже как будто немножко обидным начинал казаться его пристальный взгляд. Странно вот что: по-видимому, все, что я говорила ему, я говорила очень спокойно и даже складно, я чувствовала это, но внутри страшно волновалась и постоянно ощущала биение сердца и даже головокружение.

Точно будто для подтверждения моей догадки он сказал мне так просто и спокойно, точно доктор своему пациенту: «Пожалуйста, повернитесь больше к свету, вот так, чтобы мне было виднее. Я никак ничего не пойму в вашем лице — с одной стороны, этот жгучий, полный жизни юношеский взгляд, эти красные, яркие, как в двадцать лет, щеки (тут только я почувствовала, что щеки и голова горят у меня, как в огне) и тут же седые волосы, как это красиво! Вначале я думал, что они напудрены. Сколько вам лет? — Четырнадцать лет замужем, четверо детей — ничего не понимаю!» — «Тридцать пять», — отвечала я и очень длинно распространилась о том, что физической моложавости я, пожалуй, была бы рада, если бы таковая оказалась, но меня убивает моя душевная недозрелость, и очень часто я чувствую себя смешною в своих увлечениях и поступках, которые и не к лицу, и не по летам.

— Знаете ли, — продолжал Достоевский, утешая, — что ничего не может быть отраднее душевной свежести и что это ничуть не смешно. Я не воображал вас такою красивою; между тем я часто угадываю заранее внешность человека, зная его заочно.

Слова эти не звучали нимало комплиментом, это было продолжение той анатомии, которая несколько сердила меня и парализовала желание молиться.

Он заговорил о наших литературных вечерах, о которых я писала ему. Он находит, что это явление весьма приятное и в Петербурге нет ничего подобного. Коснулись «Анны Карениной». «Знаете ли, — сказала я, — человек, бранящий «Анну Каренину», кажется мне как будто моим личным врагом». — «В таком случае я замолкаю!» — отвечал Достоевский и, как я ни упрашивала, ни за что не захотел высказать своего взгляда. Мне было ужасно досадно на себя.

Просил он меня к себе, говоря, что он дает себе отдых каждый день от трех до пяти часов. Затем принимается за работу и работает до семи часов утра — всю ночь. В семь часов ложится спать и поэтому встает в три часа. Я обещала быть, но не хочу злоупотреблять этим позволением

и не буду более одного или двух раз. Мне даже кажется, что впечатление этого первого раза так полно, так жгуче, что и не следовало бы видеться больше; другое дело, если бы возможно было сблизиться, стать родным, почти необходимым ему человеком; минутами мне кажется, что это было бы так, если бы не нами ворочала судьба, а мы судьбою. В эту минуту мне даже приятно думать о том, что я служила бы ему сырым материалом для анатомирования души. Когда я останавливаюсь мысленно на всех мельчайших подробностях разговора и между ними над вопросом, почему я показалась ему моложавой, я думаю, что бывают минуты такого возбужденного душевного состояния, когда человек действительно может показаться красивее и моложе на десять лет. Недаром потом после его ухода я почувствовала через час, через два страшное утомление и, увидевши себя случайно в одном из многочисленных зеркал гостиницы «Демут», была удивлена смертельной бледностью лица.

Резче всего запечатлелась у меня в памяти следующая черта, выдающаяся в Достоевском, — это боязнь перестать понимать молодое поколение, разойтись с ним. Это просто, по-видимому, составляет его idée-fixe *. В этой idée-fixe вовсе нет боязни перестать быть любимым писателем или уменьшить число поклонников и читателей, нет, на *расхождение* с молодым поколением он, видимо, смотрит как на *падение* человека, как на нравственную смерть. Он смело и честно стоит за свои задушевные убеждения и вместе с тем как бы боится не выполнить возложенной на него миссии и незаметно для самого себя сбиться с пути. Все это выходит у него необыкновенно искренно, правдиво, честно и трогательно.

На вопрос его, как относится Харьков к «Дневнику писателя», я отвечала, что первые три номера были встречены хорошо, но последний вызвал протест, и я указала ему на место, где сказано, что демос наш доволен, а со временем ему будет еще лучше [13]. «А много этих протестующих господ?» — спросил он. «Очень много!» — отвечала я. «Скажите же им, — продолжал Достоевский, — что они именно и служат мне порукой за будущее нашего народа. У нас так велико это сочувствие, что действительно невозможно ему не радоваться и не надеяться».

---

* навязчивую идею (*фр.*).

25 мая. Вторник.
Петербург.

Сегодня я позволила себе быть у Достоевского. Решительно убеждаюсь, что я для него не человек, а материал. Он все время заставлял меня говорить, поощряя беспрестанно замечаниями: «Ах, как вы хорошо, образно рассказываете! Просто слушал бы, слушал без конца!» или: «Трудно решить, что вы лучше — пишете или говорите? И пишете прекрасно, и говорите прекрасно!»

Рассказала я ему историю преступления К., говорила о своей жизни в Харькове, о харьковском обществе вообще и его отношениях ко мне. Он слушал все с таким интересом, с таким вниманием, что поневоле говорилось очень много.

На столе лежал «Русский вестник».

— Скажите же мне, Бога ради, что вы думаете об «Анне Карениной», — попытала я вновь счастья.

— Ей-богу, не хочется говорить, — отвечал Достоевский. — Все лица до того глупы, пошлы и мелочны, что положительно не понимаешь, как смеет граф Толстой останавливать на них наше внимание. У нас столько живых насущных вопросов, грозно вопиющих, что от них зависит, быть или не быть, и вдруг мы будем отнимать время на то, как офицер Вронский влюбился в модную даму и что из этого вышло. И так приходится задыхаться от этого салонного воздуха, и так натыкаешься беспрестанно на пошлость и бездарность, а тут берешь роман лучшего русского романиста и наталкиваешься на то же!

— Не должен же романист описывать людей, каких нет, он должен брать жизнь и показывать ее с художественной правдивостью, как она есть, и ваше дело выводить из всего этого résumé, — возразила я.

— Совсем не то вы говорите, — продолжал Достоевский с обычной нетерпимостью в споре, которая выходит как-то совсем необидною; чувствуется, что это результат не самомнения, а искренней уверенности в изложенной мысли, — совсем не то: неужели же наша жизнь только и представляет Вронских и Карениных, это просто не стоило бы жить.

— А Левин, — возразила я вновь, — разве не волнуют его самые животрепещущие вопросы? Разве не симпатичен он?

— Левин? По-моему, он и Кити глупее всех в романе. Это какой-то самодур, ровно ничего не сделавший в жизни, а та просто дура. Хорош парень! За пять минут до свадьбы едет отказываться от невесты, не имея к тому ровно никаких поводов. Воля ваша, а это даже ненату-

рально: сомнения возможны, но чтобы человек попер к невесте с этими сомнениями, — невозможно! Одну сцену я признаю вполне художественною и правдивою — это смерть Анны. Я говорю «смерть», так как считаю, что она уже умерла, и не понимаю, к чему это *продолжение* романа. Этой сцены я и коснусь только в своем «Дневнике писателя», и расхвалю ее, а браниться нельзя, хоть и хотелось бы, — сам романист — некрасиво![14]

Нетерпимость в споре еще более выказалась у Достоевского, когда речь как-то нечаянно коснулась национальностей: он находит, что серб, малоросс и т. д., сочувствующий родному языку, родной литературе, положительно *зловредный* член общества, и тормозит работу всеобщего просвещения, всеобщей великорусской литературы, в которых все спасение, вся надежда[15]. Он тормозит ход цивилизации, созданной одним великорусским народом, сумевшим создать величайшее из государств. Один великоросс великодушно и честно смотрит на все национальности, без всякой злобы и преднамеренности, тогда как малоросс, например, вечно держит камень за пазухой и не может отнестись к великороссу иначе, как с враждой.

— Вы говорите, что в Малороссии существует независимость личности, что взрослый женатый сын выбирается на хозяйство, что на женщину не смотрят как на скотину, что часто она орудует в доме, что семья живет особняком. Что ж тут хорошего: женится сын, обособляется и тотчас делается врагом. Хозяйство делится по клочкам, интересы идут врозь, — вот вам и начало нищенства. Между тем как великорусская семья представляет собою общинное начало. Что за беда, если старика уважают в семье. Это не деспот, в нем для семьи олицетворяется известный идеал, он не потому властвует, что ему так вздумалось, — нет, он точно выполняет должность, назначенную ему природой, а все остальные вполне естественно подчиняются ему. Чувствуется близость, общность интересов, разделение труда, и взамен всего этого вы предлагаете обособленность, вражду.

Разумеется, я ничего этого не предлагала и потому горячо спорила; он же, с своей стороны, дошел до такой крайности:

— Я знаю, мы все куда как сочувствуем чужим национальностям. Недавно Пашков, этот известный проповедник, принял к себе в дом, отделил помещение и окружил всеми удобствами — кого бы вы думали? — двух полек, выпущенных из крепости. Черт знает что такое — мало ли русских вешается с голоду, а он — полек!

Я видела, что Достоевский дошел до такого раздражения, что спорить с ним больше невозможно, и замолчала. Разговор от Пашкова перешел на религию. Достоевский искренно и глубоко верит в Бога, — настолько искренно, что не допускает, так сказать, неподдельного неверия.

— Знаете ли, — говорит он, — всем им, этим неверующим, следует сказать, что прежде это считалось признаком ума, а теперь даже и этого нет — не считается, авось они перестанут говорить эти глупости!

Спрашивал меня, верую ли я.

Я отвечала, что никогда и никому не даю ответа на этот вопрос. Он смутился.

— Значит, не верите! — решил он через несколько мгновений. — Нехорошо! Надо будет нам серьезно поговорить об этом!

28 мая. Пятница.

Достоевский обещал быть у нас на днях вечером. Вторник и среду я безвыходно сидела дома. В четверг в десятом часу муж мой уговорил меня пойти погулять, заверяя, что уже поздно и он не может прийти. Я согласилась. Когда мы возвращались в одиннадцать часов из Летнего сада, швейцар мне подал карточку. «Федор Михайлович Достоевский». Мне показалось в эту минуту, что я потеряла все, что было дорогого и желанного в жизни; несколько времени я сидела молча, в немом отчаянии, мне думалось: «Если бы возле меня было что-нибудь такое, что можно было бы выпить или понюхать и прекратить эту бесцельную, глупую, безынтересную жизнь, я непременно выпила бы и понюхала».

Состояние это было очень тяжелое. Затем я начала плакать, так плакать, что грудь точно рвалась на части, виски стучали и все тело дрожало, точно в лихорадке. Я плакала так, пока не заснула тяжелым, тревожным сном, полным каких-то мучительных грез. Утром я встала измученная и больная — голова болела, грудь болела, глаза болели. Горе притупилось, но все как-то ныло, что-то болело в душе. Я поехала к Достоевскому, не застала его дома и оставила письмо [16]. Что будет — неизвестно.

29 мая 1876 года. Суббота.

Сегодня я получила следующее письмо от Достоевского:

«Суббота, 29 мая 76 г.

Многоуважаемая и дорогая Христина Даниловна!

Как только получили третьего дня Ваше письмо, тотчас же с Анной Григорьевной положили ехать к Вам

опять в тот же вечер. Но случилось столько бед с «Дневником» (исчезновение метранпажа, закрытие типографии и проч.), что я до первого часу ночи *прохлопотал,* а потом с часу до шести утра я работал, пересчитывал строчки (Вы этой глупейшей мудрости не знаете, счастливая Христина Даниловна!). Наконец, в субботу, положили ехать к Вам наверно, но в 7 часов утра я лег, а в одиннадцать меня разбудили — беда! — 165 строк лишних надобно выкинуть или дать еще двести с лишком строк оригиналу, чтоб было или 1½ листа, или 1¾ листа. Вскочил, оделся, побежал в типографию, просидел до 5 часов пополудни, ждал оттисков и наконец-то, режа по живому телу, нашел возможность выбросить 165 строк. Иду домой; думаю, теперь пообедаем — и к Вам. И вдруг новость — присылают из типографии известие, что исчез мой цензор, уехал из Петербурга, так «что теперь делать?». Не пообедав и не отдохнув, беру оттиски, бросаюсь к другому цензору, Лебедеву, у Исакиевского собора (с которым не знаком), и — не застаю дома. Сажусь у него и начинаю описывать ему мое положение в письме, оставляю корректуры, и, однако, голова уже кружится. Еду в типографию, там с метранпажем рассчитываем каждую оставшуюся минуту, насколько потерпит выход № от промедления, — слава Богу, есть надежда, что выйдет в понедельник. Домой воротился в ½ девятого, *пообедали* — половина десятого, подумали-подумали и решили с женой *не ехать:* и поздно, и, может быть, опять какое-нибудь известие из типографии. (Но так и всегда в самом конце каждого месяца.) Решился написать Вам всё это, дорогая и добрейшая Христина Даниловна, — завтра от 5 до 7 часов *у Вас будем,* пожалуйста, не осудите, поверьте, что едва на ногах стою. Ваше доброе расположение к нам нас с женой трогает, как если бы Вы были наша дорогая, родная сестра или еще гораздо больше, так мы Вас оба любим и ценим. Не беспокойтесь, я Вас два раза видел и слушал и составил уже о Вас твердое мнение. Вы редкое, доброе и умное существо. Такие, как Вы, везде теперь нужны. А мы с женой именно Вас любим по-родственному, как правдивое и искреннее *умное* сердце.

Но довольно. Отнесите тоже к нервам и расстройству. Крепко жму Вам руки. Жена Вам кланяется. Алексею Кирилловичу мой глубокий поклон.

Ваш весь *Ф. Достоевский».*

30 мая 1876 года.

И действительно, Достоевский был у нас, долго сидел, много говорил...

1 июня 1876 года.
В дороге.

Перебирая в воспоминании разговор с Достоевским, я останавливаюсь на том обстоятельстве, что он советовал мне писать, горячо заверяя, что у меня положительно талант писать и что письмо к нему — это chef d'oeuvre, доказывающий присутствие этого таланта: в нем так много жизненности, мысли, искренности, огня, не говоря уже о прекрасном слоге, что из-под моего пера положительно мог бы выйти прелестный роман.

Я слышу это не от одного Достоевского, и, право, мне это странно: какой роман может написать малограмотная женщина, как узок должен быть ее кругозор, как мизерно миросозерцание. Куда ни кинь — все клин! В политике — ни бельмеса, в истории тоже, в судебных, земских и других общественных делах — то же самое! Хорош бы был мой герой романа! Нет, это заблуждение! И все те, которые говорили это сгоряча, под впечатлением какого-нибудь моего удачного письма, не давали себе труда задуматься над этим и взвесить степень моего невежества. Не знаю, — винить ли себя, что я самостоятельно не завоевала себе в жизни хоть какого-нибудь образования, как завоевала грамоту, которой меня никто никогда не учил; была ли это распущенность и лень с моей стороны? Я думаю, что нет — практическая жизнь, заработок, потом дети, потом школа настолько захватывали меня всю, что когда же было учиться? А теперь? Теперь жизнь почти пройдена, и не к чему дразнить себя мыслью о присутствии таланта, зарытого в землю. И если он в самом деле таится во мне, то я горда, я счастлива, что безраздельно посвятила его народу! В дни юности знатоки признавали во мне большой драматический талант. Если это действительно верно, то я опять-таки горда и счастлива, что отдала его не праздной, сытой толпе, а мужицкой хате, в которой во время моего чтения «Грозы» Островского слышались громкие рыдания, как на похоронах.

Л. Х. СИМОНОВА-ХОХРЯКОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

<...> Глубоко уважая покойного как писателя и зорко следя за его произведениями, я имела счастие знать его и как человека, как прекрасного семьянина, обожаемого детьми и супругою — этим добрым гением Достоевского, оберегавшим каждый волос на голове его, подстерегавшим каждый его вздох.

Федор Михайлович был человек до чрезвычайности впечатлительный, нервный, крайне раздражительный, но добрый, чистосердечный и отзывчивый на каждое искреннее чувство. Быстрые переходы от чрезвычайной ласковости и дружелюбия к взрывам раздражения объясняются его болезненно-потрясенным организмом (вследствие каторги и припадков падучей болезни). Но если в минуты раздражения являлось лицо, искренно преданное ему, с словами чистой приязни и участия, то хотя бы лицо это предстало перед Достоевским в первый раз в жизни, все равно оно делалось тотчас же его другом, на него изливал он всю глубину своей любви к человеку, ему открывал всю горечь, накипевшую в душе. Тут, конечно, и речи не могло быть о церемонных поклонах и избитых речах первого визита. До такой степени он был доверчивым человеком, что к нему можно было прямо прийти и сказать: «Федор Михайлович, я вас ценю и уважаю потому-то и потому-то». Он непременно дружески протянет руку и ответит: «Спасибо! и я люблю вас, потому что уж если вы пришли и сказали мне это так просто и чистосердечно, то, стало быть, вы человек добрый и прямодушный». Много людей познакомилось таким образом с Достоевским, особенно женщин. Их тянула к нему сила его слова и глубина мысли. А теперь я расскажу о своем первом посещении и дальнейшем знакомстве моем с Федором Михайловичем, тем более что при

этом часто приходилось беседовать с ним о вопросах, близких нашему духовенству.

Очень многие из произведений Достоевского заставляли меня переживать такие минуты, какие пережило наше общество, слушая речь знаменитого писателя в Москве, во время Пушкинского юбилея. Много раз хотелось мне взглянуть на человека, который умеет так потрясать сердцами людей, и убедиться, таков ли он запросто, в своей домашней обстановке, каким кажется в романе или дневнике, то есть автор и человек составляют ли в нем одно и то же. Решаясь пойти к нему, я ужасно волновалась и много раз отступала, зная, что он человек нервный. Однако в апреле 1876 года, с страшно бьющимся сердцем, в сознании всей нелепости своего поступка, я робко вступила в его кабинет.

Он жил тогда на Песках, у Греческой церкви, занимая скромную квартирку в третьем этаже. Как теперь вижу его кабинет, маленький, в одно окно; меблировку составляли кожаный диван, письменный стол, заваленный газетами и книгами, несколько плетеных стульев да небольшой столик у стены. Неизменными атрибутами этого столика были стакан холодного чая да пузырьки с какими-то лекарствами.

Сам он в то время был худой, желтый, кашлял, жаловался на одышку и говорил сиплым голосом, почти шепотом. Не помню, как я объяснила причину своего посещения, да и объяснила ли ее? Ему не нужно было объяснений, он часто с одного взгляда угадывал все, что творилось внутри человека. Помню только, что он взял меня за руку обеими руками, посадил подле себя на диван, просил успокоиться и заговорил о своих «Дневниках» (их тогда вышло три). Узнав, что я их все читала, он остался доволен и стал жаловаться на то, что у нас нет критиков, серьезно и беспристрастно относящихся к делу, что рецензенты наши избрали странный метод для разбора книг, что они не прочитывают сочинений, а слегка пробегают их и высказывают свои мнения или в виде шутки, или в виде брани, относящейся более к личности автора, чем к его произведению.

— Вот мои романы «Идиот» и «Подросток» тоже до сих пор не *поняты*, — сказал он между прочим.

Тут я вспомнила, что в «Подростке» меня поразила мысль, высказанная им об атеизме. Мысль эта настолько замечательна и оригинальна, что отрывки, дающие понятие о целом, можно привести и здесь.

Речь шла о людях, потерявших веру в Бога.

«И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Осиротевшие люди тотчас стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь одни составляют всё друг для друга... Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга, каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого»[1] и пр.

Напомнив ему это место «Подростка», я выразила свое удивление по поводу того, что его атеисты напоминают собою идеальнейших христиан.

— Д а , — ответил о н , — мне бы хотелось, чтобы они были такими, но это мечта. Они без Бога перегрызут горло друг другу, и больше ничего.

Вскоре после того он добавил:

— А ведь и эту мысль *они* назовут парадоксом.

Кто *они?* Я тогда не знала, но потом, вслушиваясь в частое повторение того же местоимения в связи со смыслом фразы, догадалась, что под этим словом он подразумевает современных ему рецензентов.

Я помню, что старалась успокоить его, и высказала мысль, что публика, несмотря ни на какие рецензии, ценит его, что молодежь его любит, что женщины особенно зорко следят за ним, читают его и глубоко вдумываются. На мысли о женщинах он остановился.

— Я давно слежу за н и м и , — сказал о н , — многие были у меня подобно вам, от других я получил письма.

Он начал говорить каким-то нерешительным, задумчивым тоном, но мало-помалу явилась сперва теплота, потом горячность в суждении, и симпатичные речи о женщинах полились рекою[2].

Разумеется, я не буду распространяться о всех подробностях знакомства, а перейду прямо сперва к тому свиданию, в котором Федор Михайлович *испытывал* меня, а затем приведу его мнение по вопросу о второбрачии духовенства. Две эти сцены тогда же мне показались настолько характерны, что я, по приходе домой, тотчас же записала их, а потому имею возможность довольно верно воспроизвести слова Федора Михайловича.

В конце лета того же 1876 года я начала писать уже известный читателям «Церковно-общественного вестника» рассказ «Испорченный»[3] и вздумала поделиться этою новостью с Федором Михайловичем[4]. Он был в то время за границею на водах. Долго я ждала ответа, но ответа

не было. Я начала думать, что он просто не удостоивает меня письмом. В сентябре уже кончила рассказ, как вдруг получаю следующую записку с выговором:

«Ваше письмо застало меня в Эмсе на самом выезде. Прибыв в Старую Руссу, я хворал и писал августовский №. Цензура выбросила печатный лист, надо было написать еще лист в самые последние дни, затем переезд из Старой Руссы (дней 10 назад) и искание Вашего адреса. Вы, по дамскому обыкновению, не выставляете Вашего адреса при каждом письме: дескать, он должен знать. Но наизусть знать нельзя, а тетрадка с адресами может затеряться (как и случилось). А потому пишу по первому старому, очень неопределенному адресу и не знаю, дойдет ли?

Про здоровье мое я ничего не могу сказать: кажется, плохо, а больше ничего не знаю. Если придете, то, конечно, переговорим. А теперь очень занят и спешу кончить. Итак, приходите.

Весь Ваш *Ф. Достоевский».*

Дав время выйти августовскому «Дневнику»[5], я отправилась к Федору Михайловичу. На вопрос мой о здоровье он ответил:

— Плохо. Совсем плохо. За границей не поправился, а еще хуже стало.

И действительно, он страшно изменился. Казался бледным и истомленным. Говорил совсем шепотом, задыхался более прежнего и сильнее кашлял. И по лицу видно было, что он близок к концу — и совсем плох. Мне даже вдруг пришла мысль, что он не доживет до зимы, и эта мысль уколола меня до боли. Чтобы не дать ему понять того, что происходило внутри меня, я по возможности равнодушным тоном сказала:

— Вы, верно, простудились.

— Да, простудился, — сказал он и вдруг на меня рассердился, именно рассердился. Должно быть, за этот равнодушный тон и за такую пустую причину болезни, которую я выставила в виде предположения.

— Да, простудился, — повторил он резко, — давно простудился, и теперь простужаюсь, и потом буду простужаться. Вся жизнь простуда. А теперь вот дошел до того, что не могу по лестнице ходить, одышка страшная.

— Так вот причины-то, вызывающие болезненные явления, и нужно устранять,— сказала я, — это полезнее лекарств.

— То есть какие же тут причины вы видите? — спросил он уже спокойно.

— Да вот первым делом квартиру нужно переменить, чтобы не было этой лестницы.

— А я не хочу, — перебил он меня, — не хочу и не хочу,— и снова рассердился. — Пусть борьба. Мне трудно взбираться, а я нарочно буду — значит, я борюсь. Мне вот нынче трудно выходить, да я почти никуда и не хожу, а вот что — это, должно быть, годы старости подходят — все хочется прилечь, отдохнуть, а после обеда и соснуть, а я борюсь и нарочно, в это-то самое время, вот эти самые ноги, которые не хотят двигаться, заставляю ходить, — и он указал на свои ноги, обутые в довольно узкие сапоги.

Эти фразы звучали болезненно-раздражительно и производили тяжкое впечатление. Мне так и хотелось его донельзя прилично одетую фигуру тут же облечь в халат, туфли и уложить в постель, но я об этом и заикнуться не смела, понимая, что и домашние его, при таком раздражительном настроении его духа, ничего не могли бы поделать. Я поняла, что, идя таким путем, он мучает себя, издевается над собою и наблюдает, насколько у него хватит сил, хотя при этом и сознает, что вследствие непосильной борьбы наступит конец.

— Ну, а вы что написали? — спросил он меня наконец.

Я ответила и, подавая рукопись, просила его прочитать и высказать свое мнение.

Он взял рукопись, взглянул на нее мельком и засунул на своем письменном столе под кучи бумаг.

— Хотите, я вам сейчас скажу свое мнение? — проговорил он как-то ядовито и стал пристально смотреть на меня. — Ваша повесть *скверно* написана, непременно *скверно* (и на слове «скверно» он делал ударения). Теперь все скверно пишут, — продолжал он с ожесточением, — даже наши знаменитые романисты, ни один ничего порядочного не написал, а напротив, все до единого скверно, и когда спрашивают моего мнения, я так и говорю: *скверно*! И этим я много врагов себе наживаю. Один известный писатель лет пять тому назад дал мне для прочтения свою повесть, и тогда я сказал, что это скверно. Он сделался заклятым врагом моим. Так у всех самомнение развито, и хотя я потом и похвалил его следующую повесть, только для того, чтобы его утешить, но уж ничто не помогло. Та же повесть, которую я назвал скверною, имела успех, но он все-таки на меня смотрел как на врага и вот недавно еще сказал мне: «А ведь сознайтесь, что вы тогда ошиблись?» — «Нет, говорю, не ошибся, и хоть повесть ваша и имела успех, а все-таки

скверная повесть». Он и теперь пишет еще слабее того, но имеет успех. Это, знаете, у них по инерции. Угодил раз публике, а потом и пойдет и пойдет катиться и долго будет катиться. Вот совсем дрянненькая газета, а идет по инерции и еще лет шесть катиться будет. Да и все газеты наши дрянь — воры. Меня положительно обкрадывают. Что ни скажу — говорят: парадокс, а потом, смотрю, мою мысль подцепят и раскрикивают, да еще целиком мои мысли выписывают.

Я слушала и молчала; видела, что человек на всех и на всё озлоблен, и возражать ему в чем бы то ни было или спрашивать объяснений было невозможно, да и не хотелось. Напротив, хотелось лучше весь мир выбранить, только бы успокоить его, а он продолжал:

— И меня они — совсем никто не понимает. Им понятно только то, что у них па глазах совершается, а заглянуть вперед они не только сами по близорукости не могут, но и не понимают, как это другому могут быть ясны, как на ладони, будущие итоги настоящих событий. Да вот еще меня нынче цензура обрезала, статью, где я Петербург по отношению к России Баден-Баденом назвал, целиком вычеркнула, да о восточном вопросе тоже почти всю, а что я о распределении земли говорил, сказали — социализм и тоже не пропустили. А ведь мне это горько, потому что дневники я издаю с целью высказать то, что давно гнездится в голове моей. А вы еще что-нибудь думаете писать? — вдруг обратился он ко мне.

Я отвечала, что начала писать повесть из народного быта, понятным для народа языком и имею целию заставить ею русского простолюдина иначе взглянуть на отношения его к своей женщине, что я думаю издать эту повесть отдельной брошюркой на свой собственный счет, а затем, смотря по тому, как она пойдет, увижу, продолжать дело или нет.

Федор Михайлович пристально посмотрел на меня исподлобья своими светящимися, испытующими глазами и проговорил ядовито:

— Ничего из этого не выйдет, потому что вы и в духе народном не напишете и сбыта не найдете. Все вы какие-то неумелые.

Кто все мы? Я этого не понимала; он продолжал:

— Вот я бы написал, я бы попал в ту точку, в которую требуется, да и напечатал бы двадцать тысяч экземпляров, и все бы тотчас же с руками оторвали. Знаете что? ведь вы нечаянно мою мысль высказали, я еще лет пять тому назад задумал этот план.

— Отчего же вы не привели его в исполнение?
— Не имел времени.
— А теперь?
— А теперь опоздал, потому что вот у вас явилась та же идея.
— Полноте, да разве это может быть помехой?
— Я и теперь не имею времени. Вот связался с этими дневниками, просто закабалил себя. Работы много, а вознаграждение плохое. А я бы сразу мог состояние составить, в короткий срок двадцать пять тысяч капиталу приобрел бы, а теперь вот связан, дневника бросить нельзя, новая полугодовая подписка началась.
— Да неужели писание дневника отнимает у вас все время?
— Все время, — ответил он отрывисто, — едва успеваю.
Я поняла, что он *испытывает* меня, что он предположил во мне то корыстолюбие, которое будто бы от себя высказывает, и думает поддразнить меня. Я замолчала и стала наблюдать за ним.
— У меня вот приятель есть в Москве, — продолжал он, — издатель народных книжек, миллионер, он бы у меня по двадцати тысяч экземпляров за раз брал[6].
Федор Михайлович замолчал и долго смотрел на меня испытующим взглядом, а я наблюдала его.
— Кроме того, — заговорил он снова, — я и другие пути знаю, а вы ведь, верно, никакого не знаете?
И светящийся проницательный взгляд его снова остановился на выражении моих глаз. Я назвала то лицо, к которому мне советовали обратиться.
— Из этого ничего не выйдет, — проговорил он решающим тоном, серьезным и спокойным. — Этот человек у вас ни одной книжки не купит. Он возьмет на комиссию сколько хотите, а потом при учете и возвратит вам непроданные экземпляры все истрепанными, так что их девать будет некуда. Он так с моим дневником поступил.
Вдруг лицо его засветилось насмешкой, и поддразнивающим тоном он сказал:
— А я знаю секрет, по которому народные книжки сейчас бы разошлись... да нет, к чему свои идеи и планы другим сообщать!
И он сделал вид, как будто бы он хотел наконец высказать мне эти пути, этот секрет, чуть-чуть было не проговорился и вдруг спохватился вовремя и раздумал. Как будто бы я затем и пришла, чтобы выведать у него какие-то пути к приобретению капитала. Я поняла,

что он в воображении своем создал какую-то сцену и играл в ней главную роль. Ему казалось, что он судья, а я подсудимая. Но как ни был проницателен Федор Михайлович, а не догадался, что в то время я составляла только публику. Вероятно, это произошло потому, что он наблюдал меня не такою, какова я была, а с точки зрения, им же мне приписанной. Он продолжал говорить странные вещи о своем корыстолюбии и алчности, бросая этим по-прежнему камешки в мой огород, то есть продолжая меня испытывать. А чем резче и ядовитее он говорил, тем мне становилось все более и более жаль его, жаль до боли, до слез. Не знаю, долго ли бы это продолжалось и чем бы кончилось, но я не могла более сносить этой мистификации и встала, чтобы проститься, но при прощанье у меня как-то сорвалось с языка:

— Что это с вами сделалось, Федор Михайлович? Что это вы напустили на себя сегодня? Ведь я этому ничему не верю, и вы все тот же! Сбросьте эту гадкую скорлупу, которую вы на себя накинули.

— Нет, нет! не доспрашивайте м е н я , — отвечал он.

И вдруг ласково-ласково улыбнулся; выражение лица стало доброе, мягкое, глаза засветились прежнею широкою любовью. Он крепко потряс мою руку, близко наклонился ко мне и заговорил торопливым прерывистым шепотом:

— А вы странный человек! И мне ужасно хочется узнать, такова ли вы в самом деле, какою кажетесь? И какой вы судебный следователь! И еще, знаете что? Мне кажется, что мы с вами скоро поссоримся и что с вами легко поссориться.

— Да за что же?

— А вот за этого самого вашего «Испорченного». Вы знаете, чтобы сохранить друзей, никогда не нужно читать их сочинений и высказывать им своих мнений.

— Так выбросите мне мой рассказ назад, а я буду думать, что вы его прочли и что он скверен. Так на том и порешим.

— Нет-нет! Теперь уж он у меня там, далеко лежит, и я уж прочту, прочту непременно.

Провожая меня, он вышел было на площадку сеней. Я втолкнула его назад в прихожую и порекомендовала туфли, халат и диван.

— К чему? Борьба — борьба! — отвечал он.

После этого свидания я дня два мучилась мыслью, что обеспокоила человека больного, раздражительного и занятого прочтением моего рассказа, да еще в рукописи, как будто он не мог прочесть его в печати, если бы сам того захотел. Мысль эта мне до того не давала покоя, что на третий день вечером я отправилась к Федору Михай-

ловичу с целию взять рассказ непрочитанным. Я нашла его лучше прежнего. Хотя цвет лица и был по-прежнему зеленый, но одышки не было заметно и вообще выглядел он бодрее. На мою просьбу возвратить рассказ он молча подал мне рукопись, молча поклонился, а потом укоризненным, но мягким тоном заметил:

— Вы ведь хотели прийти за рассказом в пятницу, а пришли в среду; вы застали меня врасплох.

Мне показалось, что слово «врасплох» означало: «рассказ не прочитан», и, нисколько не удивясь этому, я стала прощаться. Он проводил меня в прихожую, молча смотрел, как я надевала калоши и тальму, и вдруг, когда я взялась за ручку двери, проговорил раздражительно:

— А вы именинница сегодня!

Я остановилась перед ним и не знала, что делать от удивления.

— Да, именинница, на вашей улице праздник, а я в дураках!

Я сказала, что ничего не понимаю.

— Да-да, не понимаете, — сказал он недоверчиво, — вы отлично выдержали, я бы так не сумел. Именинница, поздравляю, а я в дураках. Дескать, наплевать тебе...

И вдруг каким-то умоляющим голосом, протянув ко мне обе руки, заговорил:

— И за что вы меня так обижаете, что я вам сделал, за что выказали вы мне такое пренебрежение?

Теперь я догадалась, в чем дело, и страшно испугалась.

— Ведь я прочел, всю ночь просидел за «Испорченным», — продолжал он, — а вы? дескать, знать не хочу и плюю на твои мнения. И вы выдержали характер, а я в дураках.

Я сбросила калоши и тальму, взяла его за руку, и мы рука об руку прошли через гостиную, вошли снова в кабинет и остановились у письменного стола. Я высказалась, как умела, и старалась его успокоить. Он же очень волновался и говорил как бы торопясь. Рассказ он похвалил и начал разбирать сцену за сценой, улавливая такие мельчайшие черты в характерах действующих лиц, что я была поражена и сама только тогда знакомилась с своим же произведением, так как многое, на что он указывал, вылилось просто нечаянно, инстинктивно. Он много говорил, и чем далее шел, тем более увлекался. Причем все время не выпускал руки моей. В то время когда он от самого рассказа перешел к вопросу, составляющему суть «Испорченного», к вопросу о второбрачии духовенства, в кабинет вошел какой-то господин во фра-

ке и с цилиндром в руках. Господин этот совершенно бесцеремонно подошел к Федору Михайловичу и перебил его.

— А, это вы? — проговорил ему ласково Федор Михайлович и протянул руку, а потом вдруг сухим, резким тоном добавил:

— Ведь вы видите, что мы заняты, и неужели не могли подождать в гостиной? Покорнейше прошу туда.

Здесь хозяин повернулся к своему гостю спиною и стал продолжать высказываться:

— Второбрачие,— заговорил он с прежним жаром,— насущный вопрос духовенства, и вопрос этот вопиет о скорейшем разрешении. Но напрасно, напрасно вы взяли эту тему. Труд ваш даром пропал. Это глас вопиющего в пустыне! Меня тоже просили сказать об этом в дневнике, но я не скажу, потому что не хочу бросать горох в стену. Ничего из этого не выйдет. А почему? почему? — приставал он ко мне,— вы знаете, почему?

И сам же ответил на свой вопрос, расставляя и отчеканивая каждое слово:

— Потому — что — для — разрешения — этого — вопроса — нужно — чтобы — собрался — вселенский — собор. А разве это может быть теперь? Там, может быть после, со временем, когда-нибудь, а теперь тут ни Синод и никакая власть ничего не могут поделать! Вот видите ли? Апостол Павел заповедал иметь одну жену. Они из этого и вывели ошибочное, ложное заключение. А разве апостол Павел был злой человек?

Он остановился и как бы ждал моего ответа. Я молчала.

— Я вас спрашиваю, скажите же: апостол Павел был добрый или злой человек?

— Добрый! — ответила я тоном школьника.

— Ну конечно! Конечно добрый,— заговорил горячо Федор Михайлович,— он эти слова сказал ввиду идолопоклоннического многоженства, то есть чтобы они не имели двух или трех жен одновременно, а вселенский собор этого не принял во внимание и ограничил в этом отношении наше духовенство, поставив его тем в безвыходное положение[7].

Вошла горничная с докладом о дожидавшемся господине.

— Ах, Боже мой! Не мешайте, пусть подождет,— сказал нетерпеливо Федор Михайлович, но к теме уже не возвращался, а отнесся лично ко мне с следующими словами:

— Да! — я все-таки не знаю, добрый вы или злой человек? Вы для меня ужасно странный человек! А теперь знаете что! Я вспомнил, что моя жена давно желала познакомиться с вами.

Он вышел в домашние комнаты и вывел за руку Анну Григорьевну, а потом взял за руку меня и соединил наши руки, как соединяет отец или мать жениха с невестой. Сам же, отойдя шага на два, с улыбкою смотрел на нас, весь сияя добротою и любовию.

Вот каков был Федор Михайлович!

А теперь я перейду к тому свиданию, где мне пришлось быть свидетельницею одного переворота, совершившегося с ним и уж конечно отразившегося на дальнейшей его деятельности в литературе.

Федор Михайлович был единственный человек, обративший внимание на факты самоубийства; он сгруппировал их и подвел итог, по обыкновению глубоко и серьезно взглянув на предмет, о котором говорил. Перед тем как сказать об этом в «Дневнике», он следил долго за газетными известиями о подобных фактах, — а их, как нарочно, в 1876 году явилось много, — и при каждом новом факте говаривал: «Опять новая жертва, и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (то есть медики) не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и от прямолинейности взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие».

Следует добавить, что Федор Михайлович грустил о каждом самоубийце, как бы о близком ему человеке. И вот он вдумывается в положение самоубийцы, глубоко проникает в психическое состояние несчастного, рассматривает самые сокровенные изгибы его сердца и все это. выливает в IV статье I главы октябрьской книжки «Дневника» за 1876 год, озаглавленной «Приговор»[8]. Для того чтобы читатель понял то состояние души Федора Михайловича, о котором я буду говорить и которым закончу свои воспоминания о нем, я должна привести несколько извлечений из «Приговора». Некоторым из читателей эти извлечения будут, может быть, совсем новыми, другим же напомнят давно пережитое впечатление. «Приговор», одно из выдающихся произведений своего пера, Федор Михайлович изложил от лица человека, решившегося на самоубийство, человека, разумеется, не верующего ни в промысл Божий, ни в загробную жизнь, но и вместе с тем человека образованного, не только понявшего, но и уяснившего себе, разумеется по-своему, задачу жизни.

«...В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих

вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал. Я сознающий, стало быть страдающий, но я не хочу страдать. Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом, а я должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание и согласиться жить. Сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Счастливы те, которые похожи на животных по малому развитию их сознания. Они живут охотно для того, чтобы пить, есть, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Я же не могу быть счастлив даже при самой высшей и непосредственной любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. А под условием завтра грозящего нуля я не могу принять счастья. Планета наша не вечна, и человечеству такой же миг, как и мне. В этой мысли заключается глубочайшее неуважение природы к человечеству, глубоко мне оскорбительное и невыносимое, так как тут нет виноватого. Наконец, если бы даже предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях возможною и поверить грядущему счастью людей, то уж одна мысль о том, что природе необходимо было по каким-то там косным законам ее истязать человека тысячелетия, прежде чем довести до счастия, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к этому, что той же природе, допустившей человека наконец до счастья, почему-то необходимо обратить все это в нуль. И главное, нисколько не скрывая этого от моего сознания. Невольно приходит в голову одна забавная, но невыносимо грустная мысль: ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет? Так как при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупою, то и присуждаю эту природу вместе со мною к уничтожению. А так как природу я истребить не могу, то я истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».

Прочитав октябрьскую книжку «Дневника», а «Приговор» несколько раз, я поехала к Федору Михайловичу за объяснением.

— Откуда вы взяли этот «Приговор», — сами создали или извлекли суть его откуда-нибудь? — спросила я его.

— Это мое, я сам написал, — ответил он.

— Да вы сами-то атеист?

— Я деист, я философский деист! [9] — ответил он и сам спросил меня: — а что?

— Да ваш «Приговор» так написан, что я думала, что все вами изложенное вы пережили сами.

Я стала говорить о том ужасном впечатлении, которое может производить «Приговор» на читателя. Я сказала ему, что иной человек если и не помышлял о самоубийстве, то, прочтя «Приговор», дойдет до этой идеи; что читатель, сознав необходимость уничтожения или разрушения, может шагнуть еще дальше и прийти к убеждению не только покончить с собою, но и порешить с другими, близкими ему, дорогими людьми и что он не будет в этом виноват, так как в смерти близких желал только их счастья.

— Боже, я совсем не предполагал такого исхода, — сказал он, вскочив с места.

Он начал быстро ходить по комнате, почти бегать, волновался до того, что дошел до какого-то исступления, и то ударял себя в грудь, то хватался за волосы.

— И ведь это не вы первая, — сказал он, остановившись передо мною на одну секунду, — мне уж говорили об этом, и, кроме того, я получил письмо.

И снова забегал, чуть не проклиная себя.

— Меня не поняли, не поняли! — повторял он с отчаянием, потом вдруг сел близко ко мне, взял меня за руку и заговорил быстрым шепотом:

— Я хотел этим показать, что без христианства жить нельзя, там стоит словечко: ergo *; оно-то и означало, что без христианства нельзя жить. Как же это ни вы, ни другие этого словечка не заметили и не поняли, что оно означает?

Потом он встал, выпрямился и произнес твердым голосом:

— Теперь я даю себе слово до конца дней моих искупать то зло, которое наделал «Приговором» [10].

Последние произведения Федора Михайловича действительно носили на себе до такой степени религиозный характер, что недруги Достоевского, глумясь над ним, прозвали его ханжой. Но Достоевский не был ханжой...

---

* следовательно (*лат.*).

В. Г. КОРОЛЕНКО

ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА»

ПОХОРОНЫ НЕКРАСОВА И РЕЧЬ ДОСТОЕВСКОГО НА ЕГО МОГИЛЕ

В конце 1877 года умер Некрасов. Он хворал давно, а зимой того года он уже прямо угасал. Но и в эти последние месяцы в «Отечественных записках» появлялись его стихотворения. Достоевский в своем «Дневнике писателя» говорит, что эти последние стихотворения не уступают произведениям лучшей поры некрасовского творчества[1]. Легко представить себе, как они действовали на молодежь. Все знали, что дни поэта сочтены, и к Некрасову неслись выражения искреннего и глубокого сочувствия со всех сторон. <...>

Когда он умер (27 декабря 1877 г.), то, разумеется, его похороны не могли пройти без внушительной демонстрации. В этом случае чувства молодежи совпадали с чувствами всего образованного общества, и Петербург еще никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9 часов утра, а с Новодевичьего кладбища огромная толпа разошлась только в сумерки. Полиция, конечно, была очень озабочена. Пушкин в «Поездке в Эрзерум» рассказывал, как на какой-то дороге, на границе Грузии и Армении, он встретил простую телегу, на которой лежал деревянный гроб. «Грибоеда *везем*», — пояснили ему возчики-грузины[2]. Тело самого Пушкина, как известно, было выволочено из Петербурга подобным же образом, бесчестно и тайно[3]. Эти времена давно прошли, и власти были уже не в силах удержать проявление общественных симпатий. Некрасова хоронили очень торжественно и на могиле говорили много речей. Помню стихи, прочитанные Панютиным[4], потом говорил Засодимский[5] и еще несколько человек, но настоящим событием была речь Достоевского.

Мне с двумя-тремя товарищами удалось пробраться по верхушке каменной ограды почти к самой могиле. Я стоял на остроконечной жестяной крыше ограды, держась за ветки какого-то дерева, и слышал все. Достоевский говорил тихо, но очень выразительно и проникновенно. Его речь вызвала потом много шума в печати[6]. Когда он поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, кое-кому из присутствующих это показалось умалением Некрасова.

— Он выше их!.. — крикнул кто-то, и два-три голоса поддержали его.

— Да, выше... Они только байронисты[7].

Скабичевский со своей простоватой прямолинейностью объявил в «Биржевых ведомостях», что «молодежь тысячами голосов провозгласила первенство Некрасова». Достоевский отвечал на это в «Дневнике писателя»[8]. Но когда впоследствии я перечитывал по «Дневнику» эту полемику, я не встретил в ней того, что на меня и многих моих сверстников произвело впечатление гораздо более сильное, чем спор о первенстве, которого многие тогда и не заметили. Это было именно то место, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим, как мне казалось, голосом назвал Некрасова последним великим поэтом из «господ». Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...[9]

— Правда, п р а в д а ! .. — восторженно кричали мы Достоевскому, и при этом я чуть не свалился с ограды.

Да, это казалось нам таким радостным и таким близким... Вся нынешняя культура направлена ложно. Она достигает порой величайших *степеней* развития, но *тип* ее, теперь односторонний и узкий, только с пришествием народа станет неизмеримо полнее и потому выше[10].

Достоевский, разумеется, расходился в очень многом и очень важном со своими восторженными слушателями. Впоследствии он говорил о том, что народ признает *своим* только такого поэта, который почтит то же, что чтит народ, то есть, конечно, самодержавие и официальную церковь. Но это уже были комментарии. Мне долго потом вспоминались слова Достоевского именно как предсказание близости глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории.

В эти годы померкла даже моя давняя мечта стать писателем. Стоит ли, в самом деле, если даже Пушкины,

Лермонтовы, Некрасовы знаменуют собою только крупные маяки на старом пройденном пути. Я никогда не увлекался писаревщиной до отрицания Пушкина [11] и помнил, что Некрасов как поэт значительно ниже и Пушкина и Лермонтова, но... придет время, и оно, казалось, близко, когда станет «новое небо и новая земля» [12], другие Пушкины и другие Некрасовы. Содействовать наступлению этого пришествия — вот что предстоит нашему поколению, а не повторять односторонность старой культуры, достигшей пышного, но одностороннего расцвета на почве несправедливости и рабства.

Я писал как-то о том, что у меня с юности была привычка облекать в слова свои впечатления, подыскивая для них наилучшую форму, не успокаиваясь, пока не находил ее. В этот период моей жизни привычка эта если не исчезла, то ослабела. Господствующей основной мыслью, своего рода фоном, на котором я воспринимал и выделял явления, стала мысль о грядущем перевороте, которому надо уготовить путь... <...>

Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1880 год

Пятница, 10 октября.

Днем был Достоевский; они приехали 7-го [1]. Он все еще сильно кашляет, но вообще смотрит лучше; был очень мил с мама и Олей [2]. Говорит, что освободился на неделю от «Карамазовых» и отдохнул бы, да ворох неотвеченных писем не дает покоя; их штук тридцать.

— Ничего, — утешаю его, — вы только подумайте о радости тех, которые получат от вас письмо; как они будут с ним носиться и хвастать им.

— Вот вы всегда выдумаете такое что-нибудь неожиданное в утешение, — возразил он мне. — Да разве я буду на них отвечать! Разве есть возможность отвечать на них! Вот, например: «Выясните мне, что со мной? Вы можете и должны это сделать: вы психиатр, и вы гуманны...» Как тут отвечать письмом, да еще незнакомой? Тут надо не письмом писать, а целую статью. Я и напечатал просто, что не в силах писать столько писем [3].

— А прежде писали же?

— Писал, когда был глуп, да и их было меньше [4].

Сказал мне комплимент и очень обрадовался своей прыти и находчивости. Он очень запыхался, поднимаясь по нашей лестнице.

— Трудно вам? — спрашиваю.

— Трудно-то трудно, — отвечает. — Так же трудно, как попасть в рай, но зато потом, как попадешь в рай, то приятно; вот так же и мне у вас.

Сказал это и развеселился окончательно. «Вот, мол, какие мы светские люди, а Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым!» [5] От нас пошел он обедать к графине С. А. Толстой... <...>

Среда, 15 октября.

Вчера был наш вторник. Гости оставались до трех часов. Обыкновенно у нас до трех часов не засиживаются, но тут было нечто особенное, чтение сменяло пение,

и никто не заметил, как прошло время. Читали: Достоевский, Маша Бушен, Загуляев, Случевский и Аверкиев; пела княгиня Дондукова под аккомпанемент сестры своей Лядовой, которая была у нас в первый раз...

Достоевский прочел изумительно «Пророка». Все были потрясены, исключая Аверкиевых; впрочем, шальные люди в счет не входят. На них теперь нашла такая полоса, что они всё бранят Достоевского. Затем прочел он «Для берегов отчизны дальной», свою любимую «Медведицу», немного из Данта и из Буньяна[6].

Причудливый и тонкий старик! Он сам весь — волшебная сказка, с ее чудесами, неожиданностями и превращениями, с ее огромными страшилищами и с ее мелочами.

Иногда сидит он понурый и злится, злится на какой-нибудь пустяк. И так бы и оборвал человека, да предлога или случая не находит, а главное, не решается, потому что гостиная ему все еще импонирует. Этого не хотят признать, а это правда, гостиные ему импонируют, и он еще чувствует в них себя не совсем удобно. Сидит он тогда и точно подбирается, обдумывает, как бы напасть, или борется сам с собой. Голова его опускается, глаза еще больше уходят вглубь, и нижняя губа не то отвисает, не то просто отделяется от верхней и кривится. Он сам тогда не заговаривает, а отвечает отрывисто. И удастся ему в такое время в свой ответ или замечание впустить хоть каплю ехидства, то моментально, точно чары снимутся с него, он улыбнется и заговорит, все, значит, прошло, иначе целый вечер может он так хохлиться, с тем и уйдет. Кто его знает, он ведь очень добрый, истинно добрый, несмотря на все свое ехидство, может дать волю дурному расположению духа своего, он и раскаивается потом и хочет наверстать любезностью. Вчера, например, что-то покоробило его, едва он вошел, и он тотчас же съежился и насупился. Разносили чай, и я шепнула Дуне подать ему кресло; он сидел на стуле и, съеженный, казался особенно жалким. Услышал мои слова Пущин и сам поспешил исполнить мое желание. Достоевский хоть бы кивнул ему, хоть бы глазом моргнул, и не пересел, конечно, а только сделал движение поставить на мягкое бархатное кресло стакан с чаем. «Это, спрашивает, для стаканов?» — «Нет, говорю, не для стаканов, а для вас поставил Иван Николаевич». Удовольствовавшись столь малым на этот раз, он тем не менее тотчас словно очнулся, с улыбкой поблагодарил Пущина и начал говорить про новую книгу Н. Я. Данилевского (она еще не

вышла), в которой Данилевский доказывает, что все творения обладают даром сознания, не одни только люди, но и животные и даже растения[7].

Сосна, например, тоже говорит: «Я есмь!» Но сосна не может этого говорить постоянно, ежечасно и ежеминутно, как мы, люди, а лишь на протяжении времени века, столетия, один раз. «Сознать свое существование, мочь сказать: я есмь! — великий дар, — говорил Достоевский, — а сказать: меня нет, — уничтожиться для других, иметь и эту власть, пожалуй, еще выше».

Тут Аверкиев, которого с некоторых пор точно укусила какая-то враждебная Достоевскому муха, сорвался с места и говорит: «Это, конечно, великий дар, но его нет и не было ни у кого, кроме одного, но тот был Бог». Достоевский стал ему возражать. Загуляев также, но он никого не слушал и продолжал хрипеть, что, кроме Христа, никто не уничтожается для других. А он сделал это без боли, потому что был Бог. В это время приехала Маша Бушен и прервала разговор, но Аверкиев продолжал один хрипеть свое.

Между тем это надоело. Аверкиев не давал никому молвить слова, а его никто слушать не хотел. Заметив это, жена его вызвалась уговорить Достоевского прочесть что-нибудь. Аверкиева сама иногда бестактна, шумлива, резка и для многих просто несносна и смешна, но она прекрасная женщина, а относительно мужа редкая жена.

Подошла она к Достоевскому с самоуверенностью хорошенькой женщины, которой в подобных просьбах не отказывают, и потерпела фиаско. Долго, впрочем, она с ним возилась, но он опять задумал ломаться. Наконец она рассердилась и бросила его. Но когда она отвернулась от него и пошла к своему месту, я заметила в его взгляде, которым он ее провожал, недоумение и сожаление: «зачем, дескать, ты рано отошла, не дала мне еще немножко поломаться? Я бы ведь согласился».

Обратились к княгине, и она тотчас же стала петь. Когда она кончила, Аверкиева, со словами: «Вот, просят, прочту уж, пожалуй, «Сцену у фонтана», шепнула мне попросить Загуляева читать царевича. Он не заставил себя долго просить. Он читал недурно, лучше Аверкиевой, но оба они читают не тонко. Впрочем, эту вещь очень трудно читать, если вдуматься в нее. Обыкновенно в нее не вдумываются, оттого она и излюблена так салонными дилетантами. Аверкиева читает вообще не

тонко, но у нее очень хороший для декламации голос, здоровая грудь, и, как бывшая актриса, она умеет владеть своим голосом, повышать и понижать его и придавать ему разные выражения, как умеет, например, плакать, хохотать и падать со всего размаху, не сгибая колен; или глазами выражать печаль, страсть, гнев, недоумение, ужас, любовь и прочее. Но так как она не дает себе времени ни вдуматься, ни почувствовать, то все эти движения, в сущности заученные и внешние, являются у нее часто невпопад. Между тем чтица она страстная и при одном намеке на возможность чтения приходит уж в волнение, глаза загораются у нее и руки холодеют.

Дослушав «Сцену у фонтана», Маша Попова говорит Маше Бушен: «Попробуем-ка мы уломать Достоевского», — и отправились вдвоем. Он опять было принялся за прежнее, но мне надоели эти проволочки, время уходило, и становилось уже поздно. Я сунула ему в руки том Пушкина и говорю: «Я нездорова, доктор запретил меня раздражать и мне противоречить, читайте!» Он не возразил ни слова и немедленно стал читать «Пророка», а затем и другие вещи, и заэлектризовал или замагнетизировал все общество. Вот этот человек понимает тонко и без всяких вспомогательных средств — вроде шепота, и выкрикиваний, и вращения глаз, и прочего — слабым своим голосом, который — не понимаю уж, каким чудом, — слышался всегда в самых отдаленных углах огромной залы, он проникает не в уши слушателей, а, кажется, прямо в сердце. Если читать стихи Пушкина про себя — наслаждение, то слушать их передачу и чувствовать между ними и ею полную гармонию, без единой фальшивой ноты, во всей их красоте, — еще большее.

Оттого все, самые равнодушные, пришли в какое-то восторженное состояние [8].

Казалось, разных мнений насчет его чтения нет, но что же! Не успел он уехать, как Аверкиевы на него напали за «Пророка», между прочим. Не так его, видите ли, надо читать. И все, конечно, обрушились на них. <...>

Воскресенье, 19 октября.

Сегодня были опять все наши и еще Бестужева и Достоевская с детьми. Дети играли и резвились, а большие не резвились, но тоже играли в карты в моей комнате, чтобы не мешать детям. Мы, то есть Соня, Маша [9], Оля и я, сидели с Анной Григорьевной. И отвела же она наконец свою душу. Сестры слушали ее в первый раз и то

ахали с соболезнованием, то покатывались со смеха. Действительно, курьезный человек муж ее, судя по ее словам. Она ночи не спит, придумывая средства обеспечить детей, работает, как каторжная, отказывает себе во всем, на извозчиках не ездит никогда, а он, не говоря уже о том, что содержит брата и пасынка, который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом, еще первому встречному сует, что тот у него ни попросит.

Придет с улицы молодой человек, назовется бедным студентом, — ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращен Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, — двенадцать рублей даются. Нянька старая, помещенная в богадельню, значит, особенно не нуждающаяся, придет, а приходит она часто. «Ты, Анна Григорьевна, — говорит он, — дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять». И это повторяется не один раз в год и не три раза, а гораздо, гораздо чаще[10]. Товарищ нуждается или просто знакомый просит — отказа не бывает никому. Плещееву надавали рублей шестьсот; за Пуцыковича поручались и даже за м-м Якоби. «А мне, — продолжала изливаться Анна Григорьевна, — когда начну протестовать и возмущаться, всегда один ответ: «Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!» «Будут, будут!» — повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слезы; а сестры меняли смех на ахи!

«Вот получим, — всхлипывая, говорила она, — от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за «Карамазовых», и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает! Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но он ведь и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей. Вот так мы и живем. А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие! Ведь пенсии нам не дадут!»

И в самом деле ее жаль, трудно ей в самом деле. Но как не удивляться ему и не любить его? А еще говорят, что он злой, жестокий. Никто ведь не знает его милосердия, и не пожалуйся Анна Григорьевна, и мы бы не знали. Я слышу все это, и еще гораздо больше, не в первый раз; она часто жалуется мне в этом роде и плачет.

Сегодня, 19 октября, лицейский день. Литературный фонд давал сегодня литературное утро [11] в такой зале, где трудно читать и где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он, едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!

Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет.

Сегодня вызывали его много раз, и хотя публика была иная, не студенты и не студентки, но, вызывая, и стучали и кричали, выражая одобрение и даже восторг.

И вспомнилось мне, как лет двадцать тому назад, когда впервые возникли литературные вечера в Пассаже и читали на них Достоевский и Шевченко, только что получившие право жить в Петербурге, как принимала их публика [12]. Шевченку осыпали, оглушали рукоплесканиями и самыми восторженными овациями, однажды довели его ими до обморока. Достоевскому же не выпадало на долю ничего! Его едва замечали и хлопали заурядно, как всем, меньше, чем всем. Как это объяснить и согласить с тем, что происходит ныне, и правы ли те, которые его успех и его все возрастающую популярность хотят приписать каторге? Достоевский был в каторге четыре года и двенадцать лет в Сибири [13], Шевченко не был ни на каторге, ни в Сибири, он был в солдатах. Я себе все это объясняю, но желала бы знать, как объясняют и другие, если помнят, что происходило двадцать лет тому назад. Я думаю, что у Шевченки была тогда своя партия в университете, с Костомаровым во главе, среди студентов. Сепаратистические идеи были тогда в большом ходу, а идея самостоятельности Малороссии в особенности; ведь и Чубинский, горячий поборник ее, был тогда в Петербурге, и малороссийский журнал «Основа» издавался, малороссы выносили, вероятно, Шевченку, а у Достоевского партии не было [14]. Публика же мало знала и мало помнила и об одном и о другом.

Славу же Достоевскому сделала не каторга, не «Записки из Мертвого дома», даже не романы его, по крайней мере не главным образом они, а «Дневник писателя».

«Дневник писателя» сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодежи, да

и не одной молодежи, а всех мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми [15].

Вот как это можно объяснить и согласить с тем, что происходит ныне.

И ведь началась его слава недавно, именно два-три года тому назад, когда стал он издавать «Дневник писателя». Каторга же и его прочие произведения только усиливают ее, но не они ее причиной.

Его значение учителя так еще ново, что он и сам его не вполне сознает, да и вообще оно в сознание еще не вошло, а только входит, и дай Бог ему здоровья и веку. Продли, Господи, его жизнь! Много может он сделать добра, установить пошатнувшееся, расчистить и указать путь к правде. Главное, к нему сами идут, хотят его слушать, жаждут его слова, жаждут его, измученные, потерянные. А тогда, хотя он и явился с каторги и читал из «Униженных и оскорбленных», люди остались холодны.

Теперь к нему льнут. Стоит ему появиться, чтобы его окружили, чтоб все глаза устремились на него и прошел бы шепот: «Достоевский! Достоевский!» А тогда, бывало, сидит он у нас, а молодежь — много бывало у нас тогда студентов — пляшет себе или поет и играет и никакого внимания не обращает на него. У нас тогда, после выхода студентов из крепости [16], часто танцевали. Его племянница, Марья Михайловна [17], хорошенькая девушка и отличная музыкантша, интересовала тогда всех молодых гораздо более, нежели он.

Передала нам вчера, между прочим, Анна Григорьевна, что Федор Михайлович объявил ей, что будет у нас играть на сцене и привезет к нам Смирнову, писательницу, жену Сазонова, и большую любительницу сцены [18]. Мне он этого еще не говорил. Но вот-то все сойдут с ума, и вот-то разыгрался наш учитель. <...>

Среда, 12 ноября.

Анну Николаевну Энгельгардт вызвал в Петербург Стасюлевич в качестве сотрудницы для новой своей газеты [19]. С самых первых дней появления Анны Николаевны в Петербурге, когда она только что вышла за Энгельгардта и он развозил свою молоденькую и умненькую жену по своим знакомым, все привыкли видеть ее всегда в черном. Теперь на ней было тоже черное фуляровое платье, но с желтыми цветами и парижским шиком.

А Достоевский ничего не заметил. Но он ведь и не тонок по этой части. Помню, в какой восторг привела его

тогда на представлении «Каменного гостя»[20] Маша Бушен своим костюмом Лауры, который, сказать по правде, приличием тоже не отличался, потому что был слишком короток. Я даже тогда чуть не вскрикнула, увидав на сцене ее толстые ноги и толстые же обнаженные руки, а он ничего не заметил и только всем восхищался. И не то чтобы неприличное ему нравилось, как Шульцу, например, но он одно от другого просто плохо различает. Он знает все изгибы души человеческой, предвидит судьбы мира, а изящной красоты от пошлой не отличит. Оттого ему и не удаются женские лица, разве одни только мещанские. Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского, не пошлого, нет, пошл он никогда не бывает, и пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель[21].

Теперь он часто бывает в аристократических домах и даже в великокняжеских[22] и, конечно, держит себя везде с достоинством, а все же в нем проглядывает мещанство. Оно проглядывает в некоторых чертах, заметных в интимной беседе, а больше всего в его произведениях. И знакомство с большим светом все-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставрогиной в «Бесах» он, верно, в этом отношении не пойдет, равно как для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей.

Вот что я о нем написала, а ну как он скажет: «Покажите-ка мне ваш дневник». Вчера и то обмолвилась, что пишу его, и он очень одобрил, и что пишу про него — также.

Анна Николаевна нравится ему давно. Он даже говорил мне, что глаза ее как-то одно время его преследовали, лет восемь тому назад. Встретившись с нею у нас, он отвел меня в сторону и спросил, указывая на нее: «Кто эта дама?» — «Да Энгельгардт, говорю, и ведь вы же ее знаете». — «Да, да, знаю, — отвечает. — И знаете, что я вам скажу, она должна быть необыкновенно хорошая мать и жена. Есть у нее дети?» — «Есть». — «А муж где?» — «Сослан или, вернее, выслан». Он в тот же вечер возобновил с нею знакомство и был у нее, чем она немало гордилась, к великой зависти Трубниковой и компании[23]. Потом в Москве, в Пушкинские дни, он то

и дело заходил к ней[24] и вчера, увидав ее, говорит: «А ведь я предчувствовал, что встречу вас здесь. Объясните мне, как это могло быть. Иду сюда и думаю: увижу Анну Николаевну. А ведь я даже не знал, что вы вернулись из Парижа...»

Даже посмеются над проницательностью Достоевского за то, что он в Анне Николаевне углядел необыкновенно хорошую мать и жену. Она действительно нежная мать и была заботливая, даже слишком... Что же касается мужа, то он сам виноват в охлаждении. Да и, наконец, не могла она последовать за ним в деревню, когда надо было жить в городе для воспитания детей и, кроме того, для заработка. Сношений с ним она никогда не прерывала и даже из своих скудных средств постоянно посылала ему туда лакомства, закуски, вино, а сама жила очень скромно.

А во-вторых, если бы Федор Михайлович и ошибся в ней, то я, вглядываясь в него, думаю, что это с ним может всегда случиться. Он постиг высшую правду, как очень метко выразилась его жена. Он знает душу человеческую вообще, но насчет Ивана и Петра, при своей нервности и впечатлительности, он всегда может ошибаться. Мало того, один и тот же человек может показаться ему сегодня таким, а завтра иным.

В этом отношении даже такой рассеянный и не от мира сего человек, как Полонский, смотрит трезвее.

Достоевский может вдруг заметить в вас какую-нибудь черту и верно определить ее место в душе вашей, но общее явление, обстановка, при которой вы являетесь перед ним, могут произвести на него неверное впечатление. Впечатлительность его и незнание света — не людей, а именно того, что зовется *светом*, — имеют в этом отношении большое значение. Полонский лучше его знает свет, и потому, несмотря на его характер, его труднее обмануть.

Полонский был также в числе гостей, и были Трубникова и Мордвинова. Боюсь, не разочаровал ли в этот вечер Достоевский Трубникову, в качестве дочери декабриста наследственную поклонницу Запада и Французской революции. Очень уж он мрачными красками рисовал их и будущее Европы.

Не могу не отметить с удовольствием, что с некоторого времени, с прошлого года уже, кажется, Достоевский заметно изменился к лучшему. Уж он теперь очень, очень редко набрасывается на кого-нибудь, не

сидит насупившись и не шепчется с соседом, как бывало. А у бедного был опять припадок шесть дней тому назад, и он еще чувствовал его последствия, туман в голове и тоску в сердце, угрызения совести, как он выражается, как и написал в последней части «Карамазовых». Но, слава Богу, припадки бывают у него теперь реже, раза три в год, и менее тяжелые. Только после последнего он не отдыхал достаточно, должен был спешить с работой, и потому так долго чувствует себя нехорошо. С гордостью и радостью, которые меня даже и удивили и порадовали в то же время, рассказал он мне, что получил от Страхова в подарок письмо к нему Л. Н. Толстого, в котором он пишет Страхову в самых восторженных выражениях о «Записках о Мертвом доме», и называет это произведение единственным, и ставит его даже выше пушкинских[25].

О ДОСТОЕВСКОМ

Странная вещь, возвращение с каторги и из ссылки Достоевского прошло совершенно незаметно в Петербурге!

С Шевченкой носились гораздо больше, чем с ним. Как, например, приняли Шевченку, когда выступил он в первый раз перед публикой в зале Пассажа, и как принимали Достоевского? Шевченко чуть в обморок не упал от оваций, а Достоевскому еле хлопали. И вот и я даже не внесла в дневник точного времени, когда в первый раз явился он к нам. Помню только, что бывал он почти каждую субботу, когда принимали мы внизу, то есть до 1861 года, и в 1861 году, когда гостиная была уже наверху, в бывшей детской. Рассказывал и говорил он очень интересно и тогда уже, но того впечатления, какое производил в последние годы своей жизни, тогда не производил. Не могу себе этого разъяснить. Может быть, общество, выйдя на путь цивилизации и прогресса, еще было сыто тогда и имело еще при себе большой запас духовного хлеба. А пройдя двадцатилетний путь и в 70-х годах очутившись в пустыне и без хлеба, взалкало.

Он много рассказывал о Сибири, о каторге, о поселении, но передать его рассказы уж не могу, не припомню теперь, да и перепутались они с «Записками из Мертвого дома» и кое-чем из «Дневника писателя». Но один рассказ как-то врезался в память, а именно о том, как

счастлив он был, когда, отбыв каторгу, отправлялся на поселение. Он шел пешком с другими, но встретился им обоз, везший канаты, и он несколько сот верст проехал на этих канатах. Он говорил, что во всю свою жизнь не был так счастлив, не чувствовал себя никогда так хорошо, как сидя на этих неудобных и жестких канатах, с небом над собою, простором и чистым воздухом кругом и чувством свободы в душе.

В 1862 году мы покинули Петербург и переехали в Ивановку, где с небольшими наездами на Святки в столицу прожили до 1866 года включительно. Туда к нам Достоевский не приезжал, и мы встречались с ним редко у Полонского и других. Он овдовел и женился вторично и уехал за границу. В начале 70-х годов он вернулся, и тогда Михаил Павлович Покровский, его большой поклонник, узнав, что Достоевский некогда бывал у нас, уговорил меня возобновить с ним знакомство[26].

Жили Достоевские где-то далеко, и жили бедно и в каком-то странном доме. Не припомню теперь, какой он был, каменный или деревянный, но помню, что к ним вела какая-то странная лестница и потом открытая галерея. Кто-то заметил, что Достоевский всегда любил квартиры со странными лестницами и переходами; такова была и та. Я робела, а встретил он меня в высшей степени ласково, даже более того, точно я ему оказала какую-то честь своим посещением, познакомил со своей женой и сказал, что помнит и меня и всех нас и помнит даже, в каких платьях я ходила десять лет тому назад, и что рад возобновить знакомство.

И вот мы его возобновили благодаря Покровскому и уже не прерывали, сходясь все ближе и ближе, до самой смерти Федора Михайловича.

Удивительный то был человек. Утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили.

Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену, ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно.

Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на

других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы.

Иногда он был даже более чем капризен, он был зол и умел оборвать и уязвить, но быть высокомерным и выказывать высокомерие не умел.

Был у нас мастер высокомерия другой, тоже знаменитый писатель и европейская известность — Тургенев.

Тот умел смотреть через плечо, и хотя никогда не сказал бы женщине *, наведующейся о его здоровье: «Вам какое дело, вы разве доктор?» — но самым молчанием способен был довести человека до желания провалиться сквозь землю. Помню один вечер у Полонского, когда у него был он и известный богач, железнодорожник; было еще несколько молодых людей не из светской или золотой молодежи, а из развитых, которых Тургенев боялся и не любил и перед которыми все-таки расшаркивался. Чтобы показаться перед ними, он весь вечер изводил железнодорожника надменностью и брезгливостью, невзирая на то что тот был гостем его друга и что поэтому Полонский весь вечер был как на иголках. А железнодорожник и пришел для Тургенева и, не понимая происходящей игры, вполне вежливо и искренно несколько раз обращался к Тургеневу с разговором. И каждый раз Тургенев взглядывал на него через плечо, отрывисто отвечал и отворачивался.

Нам всем было неловко и тяжело, и все невольным образом выказывали к жертве выходок Тургенева больше внимания, чем бы то делали при других обстоятельствах.

А потом узнали, что в Париже, где нет «развитых» молодых людей, Тургенев целые дни проводит у этого богача-железнодорожника. Таких тонкостей в обращении, что в одном месте надо с человеком обращаться так, а в другом иначе и одного можно обрывать, а другого нельзя, Достоевский совсем не знал.

---

* Анне Павловне Философовой. (*Примеч. Е. А. Штакеншнейдер.*)

Вообще великий сердцевед, как его называют, знал и умел передавать словами все неуловимейшие движения души человеческой, а людей, с которыми ему приходилось сталкиваться, угадывал плохо.

Желание Покровского исполнилось, он стал ездить ко мне и в первое же свое посещение, за ужином, разговорился и очаровал всех. Слово «очарование» даже не вполне выражает впечатление, которое он произвел. Он как-то скорее околдовал, лишил покоя.

Говорили, вероятно, о какой-нибудь злобе дня, но он в предмет углубился, обобщил его и нарисовал такую поразительную и так мастерски картину настоящего и истекающего из него будущего — дело было в начале. 70-х годов — и так зловеще осветил ее, что все были потрясены, и, как потом оказалось, ни я, ни Покровский, ни бывший при этом Загуляев всю ночь не сомкнули глаз.

Но и говорил Достоевский не всегда. Иногда какое-нибудь слово, вроде вопроса, например, о здоровье его, его оскорбит, и он промолчит весь вечер.

Меня всегда поражало в нем, что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости, природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности, в нем тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выражалась на его л и ц е , — я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видаясь. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала не что именно, но что-то злое воспоследует. Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда обыкновенно он делался сумрачным, умолкал, был не в духе.

И в сущности, все это было пустяками; и все выходки его, про которые кричали, были сущими невинными пустяками. Их считали нахальными, потому что смотрели на него с каким-то подобострастием, не как на равного, не как на обыкновенного человека, а как на высшего и необыкновенного.

Чем больше я думаю о Достоевском, тем больше убеждаюсь, что значение его среди современников вовсе не в литературном его таланте, а в учительстве.

Как сравнить его как романиста с Тургеневым? Читать Тургенева — наслаждение, читать Достоевского — труд, и труд тяжелый, раздражающий. Читая Достоевского, вы чувствуете себя точно прямо с утомительной дороги попавшим вдруг в незнакомую комнату, к незнакомым людям. Все эти люди толкутся вокруг вас, говорят, двигаются, рассказывают самые удивительные вещи, совершают при вас самые неожиданные действия. Слух ваш, зрение напряжены в высшей степени, но не глядеть и не слушать невозможно. До каждого из них вам есть дело, оторваться от них вы не в силах. Но они все тут разом, каждый со своим делом; вы силитесь понять, что тут происходит, силитесь присмотреться, отличить одного от другого людей этих, и если при неимоверных усилиях поймете, что каждый делает и говорит, то зачем они все тут столклись, как попали в эту сутолоку, никогда не поймете; и хоть голова осилит и поймет суть в конце концов, то чувства все-таки изнемогут.

А читая Тургенева (даже «Дым», но, конечно, не «Новь»), точно пьешь живую воду. А между тем в этой сутолоке романов Достоевского разбросаны такие перлы, какие и не снились Тургеневу. И вот чем велик Достоевский!

Только эти перлы должны быть отнесены не к его призванию романиста, а к призванию учителя. Они разбросаны еще больше в «Дневнике писателя», разбросаны по его письмам; не тем письмам, что писал он Майкову, Пирогову и бар. Врангелю, а тем, которые он писал к разным неизвестным, алчущим и жаждущим правды людям[27].

Его называют психологом. Да, он был психолог. Но чтобы быть таким психологом, не надо быть великим писателем, а надо уметь подходить к душе ближнего, надо самому иметь душу добрую, простую, глубокую и не умеющую презирать.

Надо иметь не гордую душу, а мягкую, склоняющуюся, которая может нагнуться, умалиться и пройти в душу ближнего; а там уже видно, чем больна эта душа и чего ей нужно, можно понять ее. Вот его психология и психиатрия, и это к писательству не относится, хотя он умеет об этом писать. Лучше сказать, к таланту романиста не относится.

Что говорят о его Пушкинской речи! Его глава в «Дневнике писателя» о Некрасове разве не перл? Кто из поклонников и панегиристов Некрасова сказал о нем то, что сказал о нем Достоевский? И сказал, не превознося его, не хваля, не выставляя его добродетель и умаляя пороки[28].

Приведу несколько анекдотов в подтверждение вышесказанного.

Раз, во время нашего обеда, значит, часу в шестом, раздался звонок, и явился Достоевский. Он никогда не приходил в этот час, и все удивились. Я вышла к нему. «Я, говорит, гулял и зашел к вам на минутку посмотреть, что вы делаете». А погода была адская, настоящая ноябрьская. Сели, заговорили о том о сем, вдруг он спрашивает: «Скажите, за что меня Покровский не любит, он даже кричит на меня». — «Да что с вами, говорю, Покровский вас не любит? Покровский кричит? Да Покровский один из самых искренних и горячих поклонников ваших». — «Он сейчас был у меня, — перебил меня Достоевский, — и что я ни скажу, он все перечит, все не так. Нет, он меня за что-то не любит». — «Удивляюсь, говорю, как вы, при вашей проницательности, не видите Покровского! Ведь лучше, добрее, честнее и умнее человека трудно найти, и вас он почти боготворит. Если бы вы знали, как он вас понимает, как глубоко чтит. Ваши произведения для него выше всего; Пушкин и вы — вот его кумиры. Солгите вы — он вам поверит; напишите чепуху — он сломает себе голову, доискиваясь в ней глубокого смысла. Нет, тут что-то не так, вы в чем-то ошибаетесь». — «Ну да, ну да», — перебил он меня вторично и замолк, опустив голову. Потом поднял ее. «Вы, говорит, обедаете, я вам помешал, пожалуйста». И ушел. При первом же свидании с Покровским спрашиваю его: «Как это ты кричал на Достоевского?» — «Я, говорит, кричал?! Неужели он это сказал тебе? Жаловался на меня?» — «Жаловался». — «Ишь ведь... Эзоп!» — хотел Покровский, верно, сказать и не договорил. Так он обыкновенно бранил простых смертных, которых любит, но своего кумира заочно так назвать не мог и продолжал: «Ведь поверишь мне, если я скажу, что было как раз обратное и что не я, а он на меня кричал, только Достоевскому мог я позволить такое обращение со мной». Конечно, я поверила от всей души, слишком я знала Покровского, да и Достоевского знала. Не Покровский ли и меня научил поклоняться Достоевскому, так сказать, открыл мне его и в его произведениях открывал такие горизонты, которые без него были бы для меня совершенно недоступными? Не ради ли него я возобновила и знакомство с Достоевским? И он повторил мне весь свой разговор с ним и не мог прийти в себя от удивления, как сам он нагрубил и в самую адскую погоду и в самый неурочный час пошел, вернее сказать, забежал вперед, чтобы себя оправдать, но перед

кем же и для чего? Мы оба ведь его любили и простили бы ему и не то еще. Но он чувствовал себя виноватым.

Ну, разве эта выходка, — не то, что он Покровского оборвал, а то, что забежал ко мне, торопясь опередить со своей жалобой Покровского, — была выходка человека нахального и самомнящего, а не выходка невыдержанного ребенка? И к кому поторопился забежать? Ко мне! Эка важная я птица! И того в своей торопливости не размыслил, что так я и поверю, что Покровский на него кричал, а не он на него.

А вот другая история. У сестры Маши родился ребенок, и в одну из наших суббот говорили об этом только что совершившемся событии. Достоевский молчал, сидя, по обыкновению, возле меня. Вдруг я вижу, что губы его заиграли, а глаза виновато на меня смотрят. Я сейчас догадалась, что подкатился шарик. Хотел его проглотить наш странный дедка, да, видно, не мог. «Это у вдовы-то родился ребенок?» — тихо спросил он и виновато улыбнулся. «У нее, говорю, и видите: она ходит по комнате, а другая сестра моя, не вдова, лежит в постели, и рядом с нею ребеночек», — говорю и смеюсь. Он видит, что сошло благополучно: и себя удовлетворил, и меня не рассердил и не обидел, — и тоже засмеялся, уже не виновато, а весело.

Эта выходка вот что значила. За несколько дней перед тем он поссорился с Олей. Был литературный вечер в одной из женских гимназий. Достоевский на нем читал, а я с Олей разливали чай для действующих лиц. Надо сказать, что насчет чая Достоевский был так капризен, что сама Анна Григорьевна не могла на него угодить и отступилась наконец от делания для него чая: дома он всегда наливал его себе сам; на этом же литературном вечере пришлось — Оле. Раз шесть он возвращал ей стакан, то долей, то отлей, то слишком много сахару, то слишком мало, то слабо, то крепко. Оля и скажи: «Какой вы капризный! Анна Григорьевна оттого вам и не наливает, что вы ужасно капризный». — «А у вас, — отвечал он Оле, — дурной характер, у вашей сестры Ляли (это я) хороший, а у вас дурной». На это еще что-то сказала Оля, и он еще что-то, и, слово за слово, они друг другу что-то наговорили. Я не слыхала сама, но Оля мне передала весь разговор в тот же вечер. Вот он и затаил против Оли маленький зуб и, услыхав про ребенка, воспользовался случаем кольнуть ее, бедную вдову. Конечно, я всем нашим рассказала об этой новой выходке, и все потом смеялись, и никто не сердился; и с Олей он был потом как ни в чем не бывало.

Раз прихожу я к Достоевским и в первой же комнате встречаю его самого. «У меня, говорит, вчера был припадок падучей, голова болит, а тут еще этот болван Аверкиев рассердил. Ругает Диккенса; *безделюшки,* говорит, писал он, детские сказки. Да где ему Диккенса понять! Он его красоты и вообразить не может, а осмеливается рассуждать [29]. Хотелось мне сказать ему «дурака», да, кажется, я и сказал, только, знаете, так, очень тонко. Стеснялся тем, что он мой гость, что это у меня в доме, и жалел, что не у вас, например, у вас я бы прямо назвал его дураком». — «Покорно благодарю нас. И очень рада, что дело обошлось без нас и кончилось благополучно. Совсем я не желала, чтобы наших гостей называли прямо дураками».

Он засмеялся, и, по-видимому, головная боль его прошла тут же. Мы сели. Я, как всегда, на диван, он в кресло, спиной к окну.

«Знаете, — решилась я сказать, — если б вы могли читать Достоевского, вам, может быть, менее нравился бы Диккенс». Я не комплимент хотела ему сказать. Между Диккенсом и Достоевским мне всегда виделось большое сходство; но один был европеец, другой русский. Оба громоздили в свои романы лица и характеры («Наш общий друг», например), которых удержать в памяти читателю всегда трудно; а главное, часто читатель недоумевает, как, с чего все эти лица столкнулись между собой, очутились, как по щучью веленью, в данном месте. Положим, и дюжинные романисты выводят часто множество лиц, но не множество характеров, и тогда читателю и трудиться над ними не приходится. Разница между Достоевским и Диккенсом, мне кажется, в том, что Диккенсу и не снились те глубины и те вышины, которые прозревал Достоевский. У Диккенса больше законченности, оттого его произведения, самые безотрадные, не мучительные. У Достоевского, горизонт которого безграничен, не могло быть законченности, а та, которая могла бы быть, часто не давалась ему, потому что он вечно писал наспех. В страшное же по безграничности, куда с головой кидался Достоевский, русский, европеец Диккенс кидаться и не мог; он захлебнулся и задохся бы там и не вынырнул бы. Так нырять способен только русский. И я думаю, что Аверкиев и имел это в мыслях, называя Диккенса детским писателем, но, может быть, выразился грубо и неясно. Сам же Достоевский приучил нас дышать в каком-то безвоздушном пространстве или там, где носил Люцифер Каина. А кстати бы сравнить

разговор Люцифера и Каина[30] с великим инквизитором Ивана Карамазова. И выйдет, что Диккенс может сказать Байрону: в России, друг Байрон, есть писатели, о которых и не снилось нашим английским поэтам, да и прозаикам также.

Вошла Анна Григорьевна, и Достоевский не успел мне ничего возразить; разговор перешел на другое, а там явились еще гости.

Любимым писателем Достоевского был Диккенс; но еще любил он и не раз рекомендовал мне прочесть «Жиль Блаза»[31], «Martin l'Enfant trouvé» * Сю. «Жиль Блаза» я одолеть не могла. «Мартена» прочитала; и тогда-то и подумала, что он ему так нравится оттого, что он самого себя, то есть Достоевского, читать не может. У Сю тоже есть сходство с Достоевским. Все трое они, то есть Диккенс, Сю и Достоевский, певцы униженных и оскорбленных, но все трое различны. Достоевский не боится выходить за границы, Диккенс из границ не выходит, а Сю выходит и — теряется, теряет чувство меры. Тяжелое чувство производит Елизавета Смердящая[32], но у Сю, в «Мартене», есть одна работница[33], перед которой Елизавета Смердящая может показаться отрадным явлением, потому что чувствуешь, что как ни искажен в ней лик человеческий, все же он в ней есть; чувствуешь, что автор ясно видит ее перед собой, видит все ее унижение, всю грязь и сквозь все это — душу; он не забыл сказать, что она незлобива, что она отдает ребятишкам копеечки и хлеб, видишь ее всю и чувствуешь правду и нежелание автора ни скрыть весь ужас, ни дразнить этим ужасом читателя. Сю же именно дразнит. Его работница — скот, животное, человеческого в ней ни одной черты, и чувствуешь, что тут неправда, что автор что-то проглядел или скрыл или нарочно хочет терзать, рвать за душу читателя, злить его. И читатель злится; может быть, автор именно и хочет, чтобы читатель злился на среду, в которой возможны подобные работницы, не знаю, может быть; знаю только, что я злилась не на среду, а на самого автора, потому что чувствовала неправду; чувствовала, что он лжет, что что-то скрыл или не умел сказать. Но это неумение сказать, когда переступлены известные границы условного, свойственно французам или европейцам вообще. Оттого умные и осмотрительные англичане известных границ и не переходят, а у французов тотчас же за границей является сентиментальность или свинство, или свинство и сентиментальность вкупе.

---

* «Мартен-найденыш» (*фр.*).

А. П. ФИЛОСОФОВА и М. В. КАМЕНЕЦКАЯ

А. П. ФИЛОСОФОВА

<О ДОСТОЕВСКОМ>

На одном из литературных вечеров, которые устраивались в пользу, кажется, курсов или Общества дешевых квартир, я познакомилась с Ф. М. Достоевским. Я помню, как я счастлива была его видеть! На другой день он ко мне приехал, а затем мы часто видались. Как много я ему обязана, моему дорогому, нравственному духовнику! Я ему все говорила, все тайны сердечные поверяла, и в самые трудные жизненные минуты он меня успокаивал и направлял на путь истинный. Я часто неприлично себя с ним вела! Кричала на него и спорила с неприличным жаром, а он, голубчик, терпеливо сносил мои выходки! Я тогда не переваривала романа «Бесы». Я говорила, что это прямо донос. Я вообще тогда была нетерпима, относилась с пренебрежением и запальчивостью к чужим мнениям и орала во все горло.

С Тургеневым я тоже познакомилась на одном из литературных вечеров. Он был совсем европеец. Я его меньше уважала, чем Достоевского. Федор Михайлович на своей шкуре перенес все беды России, он выстрадал и вымучил все свои убеждения, а Иван Сергеевич испугался и сбежал и всю жизнь из прекрасного далека нас критиковал. Я как-то ему написала дерзкое письмо о Базарове, его ответ ко мне напечатан в собрании его писем [1] и в оригинале находится у моих детей.

Никогда в жизни я не забуду одного вечера в зале Кононова [2]. Оба они должны были участвовать. Тургенев почти накануне приехал в Петербург из Парижа, был у меня и обещал принять участие в этом вечере. Зала была битком набита. Публика ждала Тургенева. Все поминутно оглядывались на входную дверь... Вдруг входит в зал Тургенев!.. Замечательно, точно что нас всех

толкнуло... все, как один человек, встали и поклонились королю ума![3] Мне напомнило эпизод с Victor Hugo, когда он возвращался из ссылки в Париж и весь город был на улице для его встречи[4]. Накануне этого вечера я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из «Преступления и наказания». Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне:

— А я вам прочту лучше этого.

— Что? что? — приставала я.

— Не скажу.

С невыразимым нетерпением я ждала появления Федора Михайловича. Тогда еще не были напечатаны и никто еще не имел понятия о «Братьях Карамазовых», и Достоевский читал по рукописи... Читал он то место, где Екатерина Ивановна является за деньгами к Мите Карамазову, к зверю, который хочет над нею покуражиться и ее обесчестить за ее гордыню. Затем постепенно зверь укрощается, и человек торжествует: «Екатерина Ивановна, вы свободны!»[5]

Боже, как у меня билось сердце... я думаю, и все замерли... есть ли возможность передать то впечатление, которое оставило чтение Федора Михайловича. Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть, и когда на другой день пришел Федор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

— Хорошо было? — спрашивает он растроганным голосом. — И мне было хорошо, — добавил он.

Для меня в этот вечер Тургенев как-то стушевался, я его почти не слушала. Потом мы часто виделись и часто бранились.

М. В. КАМЕНЕЦКАЯ

<ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ>

Ф. М. Достоевского я, разумеется, помню хорошо, но лишь последние два-три года его жизни, то есть когда мама и он были близкие друг другу люди, много пережившие вместе. Где они познакомились, не знаю, но помню, что мама была при смерти сына Федора Михайловича от падучей[6]. Если не ошибаюсь, это был первый припадок у мальчика, но настолько сильный, что он его убил. На Федора Михайловича эта смерть произвела неизглади-

мое впечатление... У мамы Федор Михайлович бывал на моей памяти «по мере надобности», в смысле не только общего какого-нибудь дела, но главным образом поделиться впечатлениями, порассказать, послушать. Расскажу, что помню, из личных встреч с ним.

Я как-то изнывала в своей ученической комнате, — мне было лет четырнадцать — пятнадцать, — над «остроумной» арифметической задачей о зайце и черепахе, когда меня осенила блестящая мысль: пойду-ка я к маме, там пришел преподаватель математики в Морском корпусе Горенко, он мне поможет. Кроме Горенко у мамы сидело еще несколько человек, и, как иногда бывает, всем загорелось гонять моего зайца. Вдруг входит Ф. М. Достоевский. «В чем дело?» И стал тоже придумывать разные комбинации, но непременно хотел, чтобы черепаха пришла раньше зайца. «Она, бедная, не виновата, что ее так Бог создал. А старается изо всех сил, а это лучше, чем заяц: прыг-скок и уже поспел!»

Через несколько дней Федор Михайлович опять пришел к нам, как оказалось, по делу. Когда мама бывала дома, то к нам «на огонек» обыкновенно приходило пять-шесть человек самых иногда разнообразных по position sociale *, по виду, по убеждениям. Сидели мы в таких случаях в ее небольшом будуаре, и мама сама разливала нам чай из bouillotte'ки **, которую на переносном столике приносил лакей во фраке. И по поводу «серебра», и по поводу «фрака» не раз бывали дебаты с той публикой, которая этим смущалась или возмущалась. Но в тот раз, о котором я упоминаю, разговор вел некий Александр Александрович Навроцкий, служивший в военном суде. Автор популярного «Утеса», который студенчество того времени усердно распевало, и многих поэм и стихотворений[7]. В тот вечер он говорил на тему о Мировой Душе, Мировом Разуме (с большой буквы), говорил, что в данную минуту все это сосредоточено на нашей планете, которая, однако, скоро замерзнет, как луна (я, разумеется, уже застыла от этих слов, стоя за креслом, которое я придвинула Достоевскому), и т. д. Под конец он обращался почти к одному Федору Михайловичу. Последний молчал, потом обернулся неожиданно ко мне и, точно хватаясь за соломинку, сказал: «Манечка, а черепашка-то добежала, как вы думаете?» — и столь же

---

* положению в обществе (*фр.*).
** чайничка (*фр.*).

неожиданно повернулся к маме и стал ей излагать мотив своего прихода. Надо было выручать кого-то...

Помню я Федора Михайловича на большом благотворительном концерте у мамы. Он вышел из залы, где было уж очень жарко, сел где-то в углу, но был тотчас же окружен молодежью, хотя и не любил, чтобы его «интервьюировали» (тогда еще не было этого слова), редко доводил до серьезных тем, да и уставший он часто бывал донельзя. Но я помню его споры с мамой. Они оба спорить абсолютно не умели, горячились, не слушали друг друга, и тенорок Федора Михайловича доходил до тамберликовских высот[8]. Особенно часто мама с ним спорила по поводу его «православного Бога» (тогда Достоевский издавал свой «Дневник писателя»). Однажды в азарте мама ему говорит: «Ну, и поздравляю вас, и сидите со своим «православным Богом»! И отлично!» Услыхав такие «дамские доводы», как говорил Федор Михайлович, он вдруг громко и добродушно засмеялся: «Ах, Анна Павловна! и горячимся же мы с вами, точно юнцы!»

Я очень любила, исполняя мамино поручение, что есть духу пробежать всю анфиладу комнат, с заворотом в большую полутемную переднюю нашей казенной квартиры. Лечу я однажды таким образом, а было мне уже шестнадцать лет и гимназию я кончила, — и налетаю в дверях на Федора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь, и вдруг поняла, что не надо. Стоит он передо мной бледный, пот со лба вытирает и тяжело так дышит, скоро по лестнице шел: «Мама дома? Ну, слава Богу!» Потом взял мою голову в свои руки и поцеловал в лоб: «Ну, слава Богу! Мне сейчас сказали, что вас обеих арестовали!» [9] Это было незадолго до нашей поездки в Висбаден. По возвращении оттуда я попала с моим отцом на его похороны, а маме и этого не удалось: она все еще не могла вернуться...

Е. Н. ОПОЧИНИН

ИЗ «БЕСЕД С ДОСТОЕВСКИМ»

ДОСТОЕВСКИЙ

(Мои записки 1879—1881 гг. в С.-Петербурге)

19 декабря 1879 года.

Федор Михайлович Достоевский. Наружность незначительная: немного сутуловат; волосы и борода рыжеваты, лицо худое, с выдавшимися скулами; на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль. В разговоре временами взор загорается, а иногда и грозит (разговор о Тургеневе). «Он всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал».

Потом дальше: «Он (то есть Иван Сергеевич), по самой своей натуре, сплетник и клеветник. Знаете, в помещичьем кругу такие бывали: воспитывались они среди наушничества угодливых лакеев и приживальщиков, и обо всех, кто на них не был похож, судили злобно и враждебно. Довольно было, чтоб человек был лучше того, кто о нем судил, чтобы на него упала целая стена клеветы. А этот, кроме всех унаследованных качеств этого круга людей, еще и безмерно мелкодушен: ему надо всем нравиться, надо, чтобы все его хвалили и превозносили — и у нас, и за границей. Для этого и к Флоберу пролез, и ко многим другим. Ну, а для публики такая дружба хороший козырь. «Я-де европейский писатель, не то что другие мои соотечественники, — дружен, мол, с самим Флобером». А посмотрел бы я и послушал, как он с газетчиками и журналистами заграничными разговаривает! Чего, чего на себя не напускает: и простодушия-то и н е з л о б и в о с т и, — «никого, мол, я судить не могу и не умею; я, мол, сама искренность и неисчерпаемая доброта». Какая, подума-

ешь, купель добродетели! А в душе-то на самом деле гнездится мелкая злоба и страшное высокомерие.

У таких людей нет суда вровень с собой для человека. Они не могут судить по правде, а лишь *снисходят,* обидно и оскорбительно снисходят. Они никого не любят, а если говорят кому, что любят, то врут и притворяются. На самом деле они только стараются показать, что любят: нате, мол, смотрите, я снизошел до любви. И делают это они лишь напоказ, ибо знают, что любовь красива и вызывает сочувствие, а оно им необходимо. По-настоящему, у них и родины, отечества нет; они космополиты, граждане вселенной. Может быть, это и высоко, и х о р о ш о , — только не надо бы им сюсюкать над родиной напоказ. А послушать, как распоется такой вселенский гражданин, так какое хочешь черствое сердце тронет: тут тебе и ширь, и даль синяя, и леса, и степи... И все это со вздохом, со слезой. Или мужиков станет описывать: милее какого-нибудь Калиныча для него и на свете нет. А маменька его (Ивана Сергеевича), чай, не мало раз порола этих Калинычей, и Хорей, и Ермолаев и драла с них по семи шкур [1]. Да и сам-то Тургенев не отказался бы от этого у д о в о л ь с т в и я , — только положение его не таково, нельзя себе этого было позволить, когда и можно было «гулять на всей барской воле».

А талантом его Бог не обидел: может и тронуть, и увлечь. Но все-таки даже и в самых молодых и как будто бы искренних его вещах чувствуется как бы преднамеренность, какая-то холодная снисходительность. Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра одна актерская: «смотрите, мол, как я умею чувствовать». Даже и слезами иногда разольется» [2].

Кто-то пришел, и разговор мой с Федором Михайловичем прекратился.

Все, что сейчас дома записал я под свежим впечатлением, Федор Михайлович говорил, сильно нервничая, то двигая как бы непроизвольно руками, то передвигая бумаги на столе. Только под конец, несмотря на произносимые едкие слова, он говорил довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая усмешка. В это время он чертил или рисовал что-то на довольно больших обрывках бумаги. Клочки эти я подобрал со стола, когда Достоевский встал со мной проститься, и, оборвав лишнюю бумагу, положил в карман.

— Куда вам эта дрянь? — улыбаясь, спросил меня Федор Михайлович. <...>

23 декабря.

На нашей Офицерской, за площадью (где театры), встретил Федора Михайловича. Оказывается, он шел от М<илюкова>. Увязался я за ним, впрочем спросив предварительно — пойдет он пешком или поедет.

— Пойдем,— говорит.— На улицах теперь *хорошо*, — большое оживление. Особливо люблю я, когда елки продают. Детям это какая же радость! Ведь Рождество-то по преимуществу детский праздник. Это так и быть должно. Детей, даже и самых маленьких, надо в эти дни всячески радовать: пусть они в радости своей встретят родившегося в мир Христа.

Шли мы с Федором Михайловичем и дошли до Гостиного двора. Дорогой разговор не клеился: на тротуарах толкотня, да и говорить на ходу не очень-то удобно, особенно Федору Михайловичу: он скажет несколько слов — и задыхается, будто одышка у него.

В Гостином дворе, у выставки игрушек магазина, кажется, Дойникова, увидали мы мальчугана. Он всецело был погружен в восторженное созерцание выставленных в огромном окне чудес. Мальчик, видимо, из бедной семьи, в жалком пальтишке, худенький, даже скорее испитой и бледный.

— Посмотрите-ка! — кивнул на него Федор Михайлович. — Что он теперь думает? Какие замки строит? А спросите — ничего не скажет! И вопросы-то ваши примет враждебно... Вот оттого-то всё, что о детях *пишут*, — вздор и вранье. А иные еще подсюсюкивают под детей. Это уже просто подлость: в детской душе большая глубина, свой мир, особливый от других, взрослых, и такая иной раз трагедия, что в ней и гению не разобраться... Вот попробуйте, опишите его (Федор Михайлович кивнул на мальчика), наврите на него «с три короба», наклевещите, — только и всего, что внесете в литературу лишнюю ложь. А если он и сам расскажет вам всю подноготную своих *мечтаний*, — и это не будет правдой, ибо он расскажет это только для *вас*, — но свое, правдивое, истинное оставит у себя.

— Так, стало быть, и дети всегда лгут? — попытался я спросить.

— Ах, как вы это не понимаете! — раздражительно обернулся ко мне Федор *Михайлович*. — Ведь открывать душу свою, делиться мечтами — и для взрослых-то людей дело как бы стыдное, и не всякий это может, а ребе-

нок — он по-настоящему целомудрен. Он мира своего никому не откроет. Его правду один Бог только слышит.

Так прошли мы, беседуя (довольно обрывисто), до Владимирской, а там и до дому Федора Михайловича. Я хотел было поворотить к себе домой, но он удержал меня, пригласив «зайти на минутку».

Дома Федор Михайлович на этот раз был неразговорчив. Ушел из кабинета куда-то в другую комнату и там о чем-то переговаривался с кем-то из своих, а когда вернулся и я попытался навести речь на Тургенева, он посмотрел на меня подозрительно и как-то холодно сказал:

— Что ж Тургенев? — Это человек, каких немного... Талант блестящий и огромный... Жаль, правда, что талант этот вмещен в таком себялюбце и притворщике; ну, да ведь и солнышко не без пятен...

Разговор на этот раз не клеился. Я посидел еще минутку и отправился к себе домой, за Литовский замок.

<...> Наконец застал я Федора Михайловича дома. Был он отчего-то хмурый и все потирал лоб.

— Голова, — говорит, — что-то побаливает.

Я было собрался уходить.

— Нет, — говорит, — мне лучше будет, если посидите.

Стали разговаривать, но беседа как-то не вязалась, так что и передать точно то, что говорил Федор Михайлович, я не могу. Помню, речь зашла о преступлениях и о трудности для человека сознаться в том, что он сделал.

— Бывает, — сказал, между прочим, Федор Михайлович, — что человек и от себя-то самого скрывает: сделает какую-нибудь подлость, что сверх всякого стыда, да и боится признаться себе, что сделал, подыскивает себе оправдание, причины и поводы придумывает, сваливает вину на «силу обстоятельств». Эх, уж эта «сила обстоятельств»! Разобрать, так вся самая темная, страшная каторга полна ею.

Дальше, не помню в каких выражениях, Федор Михайлович говорил вообще о трудности сознания, безусловного и правдивого, в своих преступлениях и проступках.

— Обидит человек своего ближнего, погубит, и чаще всего не только не раскаивается, а еще и возненавидит обиженного, всю свою вину на него же сложит. Особенно убийцы: они почти всегда ненавидят убитых ими. Переда-

вал мне на каторге один из таких убийц, — рассказывал, между прочим, Федор Михайлович. — Он, случилось, убил из-за денег старика на дороге, где-то около Барнаула. Тот, по словам убийцы, даже и «рукой не поворошил», когда он его кончал, а свалился под ударом, как гнилой пень. «Ну, — говорит, — прикончил я его, деньги взял — и всего-то оказалось два с чем-то рубля — и пошел прочь. А как отошел да подумал о том, как он у меня под ножом, словно теленок, стоял, и такая меня злоба взяла, что вернулся к нему... Поглядел — лежит навзничь, не шелохнется. Ну, кончать тут уже нечего, так я хоть оплевал его со злости, да и потом-то долго злобился».

Свою речь Федор Михайлович закончил заключением, что «всего труднее для человека сознаться в содеянном перед самим собою. А такое сознание, откровенное и полное, есть первая ступень к покаянию и перед Богом. Не переступив ее, нельзя рассчитывать и на примирение с совестью и Богом».

В этот же раз Федор Михайлович по какому-то поводу завел речь об отношениях между полами. Из особой горячности, с какой он говорил об этих отношениях, я вижу, что он как будто очень интересуется ими. Всего сполна не буду записывать: пожалуй, уж слишком откровенно... Между прочим, он говорил:

— Тут (то есть в отношениях между мужчиной и женщиной) одна из сторон непременно терпит, непременно бывает обижена, особенно если оба молоды: или юноша сходится с недостойной, часто даже прямо с негодной, женщиной и этим роняет и обижает себя, или, наоборот, негодяй, из поздних ранний, обманывает и обижает доверчивую женщину с чистой душой. Бывает, что дело становится и непоправимым. Бывает, что и прекрасный цветок обольют скверными помоями. Это уж всего хуже, а случается на каждом шагу. Вы знаете ли, что даже проститутку, вот такую — настоящую панельную проститутку, рублевую, мужчине легко обидеть, ибо в нем всегда больше извращенности. <...>

Два раза был у Федора Михайловича, и все неудачно. В первый раз было у него несколько человек, а во второй не застал дома. Наконец сегодня застал, да и предлог хороший: он в последний раз говорил, что даст мне какую-то тетрадку, чтобы передать П. В.[3]

Застал я Федора Михайловича сильно не в духе. Он даже не говорил почти, а как-то брюзжал. Видимо, и чувствовал он себя неважно, в лице были утомление и болезненность. А тут еще и проклятая тетрадка не находилась. Федор Михайлович, в поисках ее, разбросал бумаги на столе, скомкал какой-то листок и со злостью бросил его на пол... Я и раньше решил не засиживаться у Достоевского, а тут, видя овладевшую им раздражительность, собрался уходить и стал прощаться.

— Ну, вот уж, сейчас и бежать! — остановил меня Федор Михайлович. — Куда вам торопиться-то? — посидите. И я пока отдохну. Чаю не хотите ли?

От чая я отказался, а посидеть остался.

— Вот скажите-ка: читали вы такое стихотворение, — из запрещенных оно (хотя за границей, наверно, было напечатано):

Возможно ль, чтоб цвела страна,
Где царство власти, не рассудка...

Как там дальше — не помню...

И Федор Михайлович вопросительно посмотрел на меня.

— Где все зависит ото сна
И от сварения желудка, —

продолжал я и дочитал до конца все стихотворение (оно было записано в одной из тетрадок моего отца) [4].

Федор Михайлович слушал внимательно, но с пренебрежительной улыбкой.

— Экая память-то у вас! — заметил он, когда я кончил. — Даже позавидовать можно. Только охота же вам запоминать всякую дребедень... Мало того, что содержание плохо и слабоумно, и стишонки-то дрянь, беззвучные какие-то. Впрочем, в свое время ими многие увлекались. Даже и я... — замялся Федор Михайлович, — читывал их, да едва ли и наизусть не помнил, хоть и сознавал, что дрянь.

Вот хоть бы это взять... Как он там о вере и Боге говорит?

— Где недостатка нет в попах,
Но веры не было от века,
Где Бог в одних лишь образах, —
Не в убежденьи человека... —

процитировал я.

— Ведь вот подите же! — горячо и стремительно начал Федор Михайлович. — Ведь все ложь и клевета, а читали и читают еще и сейчас. Уж очень падки люди на ложь. Ну, можно сказать, что у нас «от века не было веры»?! Вера-то настоящая у нас одних и была и есть, в народе, разумеется. И вера притом простая, без умствований и углублений, как Бог ее на душу положил. Только он-то, этот паршивый стихотворец, никак понять этого не мог, да и знать не мог, ибо не жил среди народа, не проникал мысленно в душу его... Вот оттого-то и говорит он, издеваясь: «Бог в одних лишь образах, — не в убежденьях человека». Где же понять ему, что Бог должен быть в душе и в сердце (там именно он и есть у нашего народа), что человек должен быть с ним единен, а не убежден только в существовании Бога, ибо такое убеждение еще не вера. Ведь никто не может быть не убежден в существовании Бога. Я думаю, что даже и атеисты сохраняют это убеждение, хотя в этом и не сознаются, от стыда, что ли? — уж я и не знаю.

А вот тут же говорит этот стихотворец: «Бог в одних лишь образах...» — То-то, что не в одних образах! Он не умел постигнуть того, что уж если народ, целый народ — заметьте, может чтить Божий образ, то есть слабое, а у нас иногда и уродливое изображение Бога, Христа или Богородицы, то насколько же больше чтит он и любит самого Бога! У народа Богу всегда первое место — передний угол; там у него божница, боговня. Ему надо иметь у себя святыню, видимую, как отображение Божества. Здесь, в этом почитании, сказывается трогательная целокупность духа и сердца. Надо веровать, устремляться к невидимому Богу, но и почитать его на земле простым сродным обычаем. Мне сказать могут, что такая вера слепа и наивна, а я отвечу, что вера такой и быть должна. Не всем же ведь богословами стать. Вон семинаристы хоть — возьмите: они богословие-то как изучают! — Всех отцов церкви творения проходят, да еще всякие там патристики, пропедевтики, герменевтики, — а из них выходят самые злые атеисты, а то так и просто кощуны. И никто так сложно и совершенно кощунствовать не умеет, как семинаристы. В этом я сам когда-то убедился, да и от Николая Герасимовича слышал (от Помяловского). Тот рассказывал о них такие вещи, что волосы станут дыбом. Он (то есть Николай Герасимович) знал всякие кощунственные молитвы, многие возгласы, гнусные пародии богослужений. И говорил он при этом,

что исполнялось это все на обиходные церковные напевы, по гласам.

Федор Михайлович помолчал и потом добавил:

— И как удивительно хорошо покойный Николай Герасимович рассказывал об этих кощунствах, — даже отвращение как-то шло мимо, забывалось как будто, так он воодушевлялся. А ведь человек он был робкий с чужими... когда не бывал навеселе.

Я собирался уходить и поднялся уже с места, как Федор Михайлович жестом удержал меня и сказал:

— На минутку!

Потом, пристально всматриваясь в меня, в упор, спросил:

— Ну-ка, скажите, — только, чур, правду... Деньги у вас есть? Не нуждаетесь вы?

Я выдержал его упорный, испытующий взгляд и ответил, что деньги у меня еще есть и нужды я ни в чем не терплю.

— Смотрите же! — напутствовал меня Федор Михайлович, — если не правда, то стыдно будет вам.

Прощаясь, я спросил Федора Михайловича, почему ему вспомнились эти стихи? («Возможно ль, чтоб цвела страна» и т. д.)

— Да знаете, как иногда это бывает: привяжется к тебе с утра какая-нибудь дребедень, уж и забытая давно, и пока не вспомнишь, — не отвяжется. <...>

28 января <1880>.

<...> Пошел к отцу Алексию. <...> Оказалось, отец Алексий вторично собирается в Китай в качестве миссионера и намерен проповедовать Евангелие и обращать китайцев в православие, сближая на иконах распространенные там изображения младенца Будды с младенцем Христом.

— Я и икон таких довольно много написал, — сказал мне отец Алексий.

— А не будет это как бы обманом? — спросил я.

— Нет, — говорит. — Какой же тут может быть обман?

Однако вздохнул и тихо вымолвил:

— Для истины, для ее проповедания — всякие пути дозволены.

Я мысленно махнул рукой и не сказал на это ничего, а сам подумал, что, вероятно, отец Алексий признал бы «дозволительными» и костры, и всякие пытки, практико-

вавшиеся прежде для проповедания и утверждения истины»...

Я не утерпел и высказал это отцу Алексию, но в смягченной форме.

Он смутился было, но сейчас же оправился и, потупившись, начал возражать:

— Ну, такие-то средства, как вы говорите, давно оставлены, как не христианские, да в них и надобности нет: «истина» сама привлекает людей — надо только ее возвестить...

Не записываю дальше того, что говорил отец Алексий. Слова его, пожалуй, были и хороши, но ничего нового мне не дали.

Не знаю как, но только разговор у нас перешел на современную литературу, и я спросил:

— А что, отец Алексий, Достоевского вы читаете?

— Теперь нет, а раньше читывал, как же, как же. Помню, студентом будучи, даже увлекался, чуть не мудрецом считал.

— Ну, а теперь что же, переменили мнение?

— Переменил. Вредный это писатель! Тем вредный, что в произведениях своих прельстительность жизни возвеличивает и к ней, к жизни-то, старается всех привлечь. Это учитель от жизни, от плоти, а не от духа. От жизни же людей отвращать надо, надо, чтобы они в ней постигали духовность, а не погрязали по уши в ее прелестях. А у него, заметьте, всякие там Аглаи и Анастасии Филипповны... И когда он говорит о них, у него восторг какой-то чувствуется... Одно могу вам сказать: у писателя этого глубокое познание жизни чувствуется, особенно в темнейших ее сторонах. В «Бесах», например, возьмите хоть бы Ставрогина. Ведь это какой-то *походячий блуд* (я тут же решил непременно передать это определение Федору Михайловичу). И хуже всего то, что читатель при всем том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин, и все его углубления (sic!) суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие. В «Дневнике» своем он весь высказался.

Я пытался возражать, но отец Алексий не принял ни одного из моих доводов и продолжал громить Федора Михайловича и дошел чуть не до анафемы. Я не выдержал и ушел.

А. С. СУВОРИН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

В день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова [1] я сидел у Ф. М. Достоевского.

Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

— А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы.

О покушении ни он, ни я еще не знали. Но разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

— Представьте себе, — говорил о н , — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить.

Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины — прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить.

Он долго говорил на эту тему, и говорил одушевленно. Тут же он сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...[2]

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ПРАЗДНИК ПУШКИНА

(*Письма из Москвы — июнь 1880*)

I

...Вчера, 8-го июня, музыкально-литературным вечером в залах Благородного собрания окончились четырехдневные торжества в честь открытия памятника Пушкину [1], и сегодня же мне бы хотелось передать вынесенные впечатления. Следовало бы, минуя все ненужное и не идущее к делу, прямо начать речь о том, чт*о* осталось от этих торжеств самого существенного, ценного, достойного памяти, но именно «свежесть-то впечатлений» торжества, которое только вчера окончилось, и не позволяет сделать этого так, как бы хотелось. Существенное и ценное пока еще тонет в шуме и громе ораторских речей, бряцании лир, в звуках музыки, в треске бесчисленных аплодисментов, в беспрестанных криках «браво» и «ура», в звоне ножей, вилок, стаканов и рюмок, в чмоканье поцелуев — все это вместе сильно мешает сосредоточиться на нравственном значении минувшего торжества. «*Нечто сербское*» — определяют «Современные известия» общий «облик» миновавшего торжества, и как, по-видимому, ни нелепо это уподобление, но оно все-таки недаром сорвалось с пера г. Гилярова-Платонова [2].

Во время сербской войны, как известно, энтузиазм, желание жертвовать плотию и кровию, имуществом, достоянием, жизнью и множество других человеколюбивых качеств слились в дружном и восторженном стремлении к освобождению *братьев,* о существовании которых очень и очень многим было ничего ровно не известно, то есть соединились в восторженном неведении *самого существенного.* Нечто подобное было и в Пушкинском торжестве: желание чествовать, убеждение в необходимости чествования, хотя бы только ввиду того, что памятник Пушкину уже готов и давно уже пугает прохожих своим белым саваном, что, наконец, на чествование уже от-

пущены деньги и что г. Оливье уже приторговывает аршинных стерлядей, всё это совершенно «по-сербски» сгрудилось вокруг имени, которого великое множество действующих лиц совершенно не знало, а другие — весьма солидно позабыли.

Но, не говоря об этом, самый факт торжества в честь писателя, как и война за освобождение братьев, дело также очень мало знакомое громадному большинству присутствовавших и участвовавших, не только в качестве зрителей, но даже и в качестве деятелей.

Мирное торжество! Торжество в честь человека, который знаменит тем, что писал стихи, повести — когда это видывали мы все, здесь на торжестве присутствующие, когда видывала это Москва? Будь это торжество чем-нибудь вроде крестного хода, напоминай спасителя отечества, Минина и Пожарского, — всё это известно и знакомо последнему ребенку. <...> Но Пушкин... Что это такое? <...>

Имея некоторые основания знать, в какие громадные затруднения ставят подобные мирные торжества людей, по-видимому, совершенно близко стоящих к делу, хотя бы, например, художников, которым выпадает на долю сооружать статуи мирным гражданам, мы имели полное право подумывать и о тех затруднениях, в которые должны были стать люди, почти совершенно незнакомые с торжествами подобного характера. <...> Мы сомневались. <...>

Но не только в этого рода «сербских» чертах, проглядывавших в приготовлениях по предстоящему торжеству, заключались опасения в благополучном исходе последнего. Как известно, «сербские» черты явлений из русской жизни помимо *дружного* соединения разнородных элементов на деле, которое этим элементам мало или почти неизвестно, имеют еще другую, не менее характерную сторону, именно: дружно и восторженно соединенные неведомым делом элементы стремятся в то же время, каждый в отдельности, проявить свою индивидуальность в высочайшей степени, довести ее до последних границ возможного. В соединении этих крайностей, по нашему мнению, именно и заключается то, что разумел Гиляров-Платонов под именем «сербских черт». <...>

И вот, около двух часов дня, пред глазами большой, хоть и не особенно, толпы, упала скрывавшая памятник поэта холстина, и перед всеми собравшимися на площади

зрителями явился простой, умный, с внимательным, умным взором, образ Пушкина, и все, кто ни был тут, пережили не подлежащее описанию, поистине «чудное мгновенье»[3] горячей радости, осиявшей сердца всей толпы.

II

На этом мы оканчиваем собственно с торжеством. <...> Перейдем прямо к изображению нравственных приобретений, оставленных праздником в зрителях и слушателях. В течение четырех дней праздника, с 5-го по 8-е июня включительно, мы, кроме множества собственно пушкинских пьес, читанных на литературно-музыкальных вечерах, слышали не один десяток более или менее... продолжительных речей и несчетное количество тостов. Это обилие застольных речей, весьма любопытных на первых порах, очень скоро утомило публику, так как поминутно отрывало от очень питательных блюд, заставляло вставать с места, идти в другой конец залы, чтобы выслушать несколько вполне непитательных слов. Даже под конец первого думского обеда многие из присутствующих настолько «окрепли» нервами, что, заслышав откуда-нибудь из конца залы воззвание: «Господа! Позвольте и мне, в свою очередь...», уже не трогались с места, полагая, что не будет большой беды, если придется услышать речь оратора и не во всех подробностях.

Почин к многоглаголанию сделан был в тот же день, на думском обеде, И. С. Аксаковым[4]. Всякому хорошо и притом давным-давно известно, что И. С. Аксаков — человек обширного образования, ума, таланта, но его красноречие, ораторское искусство, очевидно, не могло и не имело ни времени, ни случая выработаться в живом общественном деле (когда такие бывали дела на Руси?), при живом участии живых людей, не могло привыкнуть ставить на первый план в публично говоримом слове именно это живое внимание, живой интерес живых людей. Красноречие ораторов, подобных И. С. Аксакову, вырабатывалось в пустом пространстве, без участия и строгого внимания слушателя, даже без знания и определения — кто таков этот слушатель? Внешние торжественные приемы и выспреннее многоглаголание волей-неволей должны, для ораторов такого рода, составлять единственные средства влияния на публику. И точно,

И. С. Аксаков, поднявшись с бокалом, тотчас после речи г. министра народного просвещения, каким-то торжественно-напряженным голосом, медленно отделяя слова одно от другого и оглядывая публику «окрест», произнес речь, как известно, начинающуюся словами: «*Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...*»[5] «Со всей Руси великой, — продолжал оратор, — ото всех (?) концов ее, с верховных высот власти и со всех общественных ступеней, стеклись сюда вы, послы и представители всенародного (?) мнения, чтобы перед лицом всего мира (?), всею Россиею поклониться великому, воистину русскому поэту». Напыщенно-громогласная речь продолжается таким образом: «Настоящим торжеством, принявшим такие неожиданные, небывалые (!) размеры... воочию всевластно объявилось действительное, доселе, быть может, многим сокрытое, значение Пушкина». Уж из этих отрывков вы можете видеть, какою напыщенною невнимательностью к действительному факту отличается ораторство, вырабатывавшееся без публики, без общества и не питавшееся, в своем совершенствовании, какими-либо реальными, общественными интересами. Всё это, однако ж, не мешало громом рукоплесканий приветствовать речь И. С. Аксакова, так как и публика также воспитывалась в той же школе, и не в привычку ей видеть в ораторе внимательного к *ее* желаниям глашатая. А что ей нужны ораторы другого рода, что у нее есть ее, подлинно ей принадлежащие, только никем или редко кем затрагиваемые симпатии и желания, это доказал нам тот же Пушкинский праздник, что мы своевременно и увидим.

С почина И. С. Аксакова, празднословный тон на долгое время вкрался в публичную беседу и, за некоторыми, иногда блестящими, исключениями (речи И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского), поистине безжалостно допекал нас, бедных депутатов, нас, этих послов, «представителей всенародного мнения», собравшихся, как известно, для того, чтобы «перед лицом всего мира поклониться великому поэту», а вовсе не для того, чтобы уехать с головною болью от обилия праздного громогласия, хотя бы и в честь великого поэта. Нас поразило обилие ораторов той самой школы, талантливейшим представителем которой служит И. С. Аксаков. Уступая своему первообразу в ловкости построения празднословных, хотя и эффектных речей, последователи этой школы превосходили И. С. Аксакова в обилии напыщенных жестов, в силе и напряжении голосовых средств, в обилии

решительно ничего не означающих, хотя и длиннейших периодов. Были речи в этом роде до такой степени странные, что, при всем желании, не было никакой возможности отыскать в них, где собственно находится и в чем заключается главное предложение. Некоторые ораторы даже как будто бы и начинали прямо с придаточного предложения и, сказав, например: «Пушкин, который...» или «Пушкин, славное имя которого», уж не могли никак выбраться на какую-либо прямую дорогу, а так и застревали минут на двадцать в придаточных предложениях.

Не в суд и не во осуждение, а тем паче не в посмеяние и уничижение славного праздника и славных, радушных и искренних людей, участвовавших в нем словом и делом, пишем мы это; нет, мы только хотим указать, до чего отстранен русский литератор от своего слушателя, от публики, от толпы, что он робок в ней, что он не находит слова для беседы с ней; он в первый раз говорит с ней о своем литературном деле и даже как будто не верит, чтобы не громкое, не напыщенное, а простое и задушевное слово что-нибудь значило для публики. В течение двух с половиною суток никто почти (за исключением И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского) не сочел возможным выяснить идеалы и заботы, волновавшие умную голову Пушкина, при помощи равнозначащих забот, присущих настоящей минуте; никто не воскресил их среди теперешней действительности, а это-то, как увидим ниже, и было бы самым действительным средством к выяснению всей обширности значения Пушкина. Напротив, руководствуясь в характеристике его личности и дарования фактами, исключительно относившимися к его времени, господа ораторы, при всем своем рвении, и то только едва-едва, сумели выяснить Пушкина в прошлом, отдалили это значение в глубь прошлого, поставили его вне последующих и настоящих течений русской жизни и мысли. Привязанные, точно веревкой, к великому имени Пушкина, они сумели-таки поутомить внимание слушателей, под конец торжеств начавших даже чувствовать некоторую оскомину от ежемгновенного повторения «Пушкин», «Пушкина», «Пушкину»!.. И чего-чего только не говорилось о нем! Он сказочный богатырь, Илья-Муромец, да, пожалуй, чуть ли даже и не Соловей-разбойник! Он летает на ковре-самолете, носится из конца в конец, из Петербурга в Кишинев, в Одессу, в Крым, на Кавказ, в Москву. Пушкин — это возбуждение русской музы, это незапечатленный ключ, Пушкин слышит дальний отзыв

друга, бред цыганки, песню Грузии, крик орла, заунывный ропот океана. Пушкина честят и славят всяк народ и всяк язык, но мы, русские, юнейшие из народов, мы, узнавшие себя в первый раз в его творениях, мы приветствуем Пушкина как предтечу тех чудес, которые, *может быть,* нам «суждено явить»[6]. В течение двух с половиной суток, почти без перерыва, публика слушала такие и подобные уверения в гениальности, многосторонности, широте, теплоте и других бесчисленных качествах этого гениального человека и его огромного дарования. Хлопали, хлопали, наконец стали уже чувствовать утомление, когда на выручку явились сначала И. С. Тургенев, а за ним и Достоевский.

Иван Сергеевич отрезвил и образумил публику, первый коснувшись, так сказать, «современности». «Не в суде глупца, — сказал оратор, — и не в смехе толпы холодной было дело (то есть заключалась причина охлаждения общества к творчеству Пушкина); причины лежали глубже; они были неизбежны и лежали в историческом развитии общества, в условиях весьма многосложных, при которых зарождалась новая жизнь, начинавшая вступать из литературной эпохи в эпоху политической общественной заботы и деятельности. Забвение поэта произошло оттого, что возникли нежданные, но законные и неотразимые потребности, явились запросы, на которые нельзя было не дать ответа. *Не до поэзии, не до художества было тогда...* (Рукоплескания.) Из храма, где поэт являлся жрецом, где еще горел священный огонь, но горел только на алтаре и сожигал только фимиам, люди пошли на шумное торжище. Поэт-эхо сменился поэтом-глашатаем; раздался голос «мести и печали», а за ним явились и пошли другие, пошли сами и повели за собою нарастающее поколение. Многие в этом изменении задачи поэта видели просто упадок, но мы, — сказал оратор, — позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое, живое изменяется органически ростом, а Россия — растет!» (Рукоплескания.) Точно так же и возрождение в обществе внимания к давно и не без основания забытому поэту И. С. Тургенев объяснял не тем, что поколение, отставшее от поэтов эха и последовавшее за поэтами-глашатаями, *раскаялось в своей опрометчивости* или утомилось на неприветливом пути. Вовсе нет. «Мы радуемся этому возвращению, — сказал И. С. Тургенев, — в особенности потому, что возвраща-

ющиеся к ней (поэзии Пушкина) возвращаются не как раскаявшиеся грешники, не как люди, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, не как люди, которые ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись, — нет, в этом явлении мы скорее видим симптом *хотя некоторого удовлетворения,* видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволительным, но и обязательным приносить в жертву все, не идущее к делу, что эти некоторые цели признаются уже достигнутыми и что будущее сулит достижение и других».

«Нарастающее поколение», принятое под защиту Иваном Сергеевичем среди царившей против него вражды, была первая, светлая минута пробуждения мысли «современников о современном»[7].

III

Но никто не подозревал, чтобы эта же «современность» могла завладеть всем существом, всей огромной массой слушателей, наполнявшей огромный зал Дворянского собрания, и что это совершит тот самый Ф. М. Достоевский, который все время «смирнехонько» сидел, притаившись около эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке.

Когда пришла его очередь, он «смирнехонько» взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы. Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине, как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этом же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи.

Содержание речи, приблизительно, состоит в следующем: Пушкин, как личность и как поэт, есть самобыт-

нейшее, великолепнейшее выражение всех свойств чисто русского духа. Эта чисто русская самобытность не покидала Пушкина даже в самом раннем периоде его деятельности, в период подражательности иностранным образцам. И тогда, по словам г. Достоевского, он уже не мог не перерабатывать сущности произведений иностранной литературы так, как того требовали чисто русские, самобытные, народные свойства его души. Свято повинуясь в своей литературной деятельности этим требованиям, Пушкин, вместе с полнейшим и совершеннейшим выражением души русского народа, есть также и пророчество, то есть указание относительно предназначений этого народа в жизни всего человечества. Изучая Пушкина, можешь в совершенстве знать — что такое, какие сокровища заключает в себе душа русского человека, какими муками она томится, и в то же время можешь с точностью определить, на какую потребу, на какую задачу в жизни всего человечества нужны и предназначены эти прирожденные русской натуре, русской душе качества. Эти, по словам г. Достоевского, чисто русские, народные черты сказались в Пушкине тем, что, уже в самую раннюю пору своей деятельности, он останавливается на типе страдальца, скитающегося по свету, не имеющего возможности успокоиться, удовлетвориться действительностию или чем-нибудь, какою-нибудь, хотя бы наилучшею, частью ее явлений. Тип страдающего скитальца, тип, по слонам г. Достоевского, также чисто русский, замечаемый уже в древнейший период русской жизни, существовавший во все последующие периоды ее, существующий и теперь, сию минуту, и который не исчезнет далеко в будущем; не находящий успокоения, мятущийся русский страдалец потому не может исчезнуть ни в настоящем русской жизни, ни тем паче в ее будущем, что для успокоения обуревающей его душу тоски нужно всемирное, всеобщее, всечеловеческое счастие. «*На меньшем он не помирится!*» (Безумные рукоплескания.) И, что главное, мировая задача успокоения только в мировом счастии, в сознании всечеловеческого успокоения — есть не фальшивая или праздная фантазия скучающего, шатающегося без дела, хотя бы и малого, человека, но, напротив, составляет черту русской натуры, вполне органическую. Пушкин, своею восприимчивостью к пониманию чужеземных нравов, доказанной его произведениями, есть наилучшее выражение и олицетворение этой черты. Никто, ни один величайший поэт в мире, не исключая

даже и Шекспира, не проникался так идеями, нравами и пониманием самого склада души чуждого народа, как то мог делать Пушкин, ибо эта способность прирождена ему, как истинно русскому человеку. Греки и римляне Шекспира — такие же англичане, как и он сам; испанцы, итальянцы Пушкина, напротив, настоящие испанцы, настоящие итальянцы. «Та же восприимчивость к пониманию чуждого народа, его души, его радости и печалей, свойственная совершеннейшему выразителю русской души, свойственна и всему русскому народу; печали и радости, волнующие жизнь европейского человека, его тоска, его страданье для нас, для каждого из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей». Из всего этого оратор выводит то заключение, что русский человек, которому предопределено наполнять свое существование только страданием за чужое горе, тосковать только потому, что тоскует другой, мой ближний, внесет, в конце концов, в человеческую семью умиротворение, успокоение, оживляющую и веселящую простоту смирения. До тех же пор, то есть до тех пор, покуда всечеловеческие задачи, лежащие в русском человеке, не получат предопределенного им исхода, русский человек не перестанет быть страдальцем, самомучеником, не успокоится ни на минуту. Пушкин, чуткий душой, провидел эту предназначенную русскому народу миссию, и, как уже сказано, в самую раннюю пору литературной деятельности изобразил такого скитальца сначала в Алеко, потом в Евгении Онегине. Достоевский от себя при этом прибавил, что тот же скиталец, только в ином виде, в другой форме, существовал и после Пушкина, после Онегина, существует и теперь и будет существовать вовеки, до тех пор, пока, как уже сказано, не найдет успокоения во всечеловеческом счастии.

Мы не можем ручаться за то, что совершенно точно передали мысль первой половины речи г. Достоевского, но мы положительно ручаемся за то, что *понята она и оценена была именно в том смысле, как нами изображено.* Может быть, мы не так и не то рассказали, но почувствовалось, произвело сильное впечатление *именно* то самое, что у нас изображено. Характеристика Татьяны, сделанная г. Достоевским во второй половине речи, причем ту же черту, то есть невозможность основать свое счастие на несчастии другого, г. Достоевский как-то переиначил, — не произвела того ошеломляющего эффекта, как характеристика и объяснение значения русской тос-

кующей души, а как бы прошла мимо ушей. А какое-то замечание, сделанное г. Достоевским насчет какого-то *смирения* («Смирись, гордый человек!»), будто бы необходимого для этого скитальца в то время, когда и так уж он смирился и лично вполне уничтожился перед чужой заботой, и это замечание прошло также мимо ушей; всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженною мыслию о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе.

Положительно известно, что тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения; один молодой человек, едва пожав руку почтенного писателя, был до того потрясен испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду[8]. Да, не для железнодорожников, не для представителей тех четырнадцати классов, на которые разделено, по словам г. Достоевского, русское интеллигентное общество, могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека — жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях. Слова эти могли произвести впечатление именно только на молодежь и на тех из остепенившихся представителей ее в недавнем прошлом, которые живо чувствуют еще пережитое ими, потому что ни одно поколение русских людей никогда, во все продолжение тысячелетней русской жизни, не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии, как то, которое должно было выполнять свою исконную, по словам г. Достоевского, миссию в последние два, три десятка лет. Как могло случиться, что почти все молодое поколение, стоявшее не за порабощение освобожденных, не за угнетение их, не за развращение их, словом, не имевшее ни единой злостной мысли против своего народа, оказалось ненужным ему? Однако это случилось! Никакому из всех молодых поколений, когда-либо существовавших на русской земле, не предлежало такой массы работы именно на служение ближнему, освобожденному от неволи, как поколению последних двух, трех десятков лет, и что же? Работы этой не нашлось, не оказалось, или она оказалась ненужной[9]. Сам г. Достоевский, взявшийся изобразить один процесс в форме романа[10], предпочел остановиться и даже во сто раз против действительности преувеличить гнусности и безобразия, обнаруженные в нем, и ни единым словом не попытался отделить от этих гнусностей той самой всечеловеческой задачи русского человека, о которой он

так хорошо теперь разговаривает на кафедре Общества любителей русской словесности. А ведь не может быть сомнения, что молодое поколение последних лет, при начале своего поприща, если бы нашло поддержку в истолкователях его задачи, если бы эти истолкователи поставили задачу на первый план, возвели ее хотя бы до сотой доли тех ослепляющих размеров, до которых теперь возводит ее г. Достоевский, несомненно, не коротало бы оно свою жизнь так, как оно коротало и терзалось многие годы.

Как же было не приветствовать г. Достоевского, который в первый раз в течение почти трех десятков лет с глубочайшею искренностью решился сказать всем исстрадавшимся за эти трудные годы: «Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастии других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия есть предопределенная всей вашей природой задача, задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности».

Это громко, горячо сказанное слово могло и должно было потрясти многих и многих. Тот, кто упал без чувств после речи г. Достоевского, наверное, упал потому, что понял ее так, как мы старались передать. Но, повторяем, очень может быть, что мы передаем слова г. Достоевского недостаточно точно и верно. Достоевский человек мудреный; как уже сказано, он еще недавно целую группу прославляемых им теперь людей сравнивал с свиным стадом и предрекал им гибель в пучине морской[11]. Мудрено понимать человека, примиряющего в себе самом такие противоречия, и нет ничего невероятного, что речь его, появясь в печати и внимательно прочитанная, произведет совсем другое впечатление. Но, не ручаясь за подлинность того, что *о* именно хотел сказать г. Достоевский, мы опять-таки повторим, что за сущность произведенного им впечатления можем вполне поручиться.

IV

(На другой день)

Опасения наши, высказанные в только что оконченном письме, относительно подлинного смысла переданного нами содержания речи г. Достоевского, к несчастью, оказались основательными. Речь г. Достоевского напеча-

тана теперь в 162 № «Московских ведомостей». Прочитав ее, и притом не один раз (она понятна не сразу), мы нашли, что хотя в ней и есть слово в слово то самое, что передано нами, но что, кроме этого, в ней есть еще и нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи почти на нуль. Дело в том, что г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства. Эти неподходящие черты он разбросал по всей речи, где по словечку, где целыми фразами, и всегда вблизи с разговорами о всечеловечноста. Чтобы читатели могли яснее видеть, до какой степени речь г. Достоевского теряет в понимании благодаря этим заячьим прыжкам, приведем выписки из подлинного, напечатанного текста.

Прежде всего сделаем выписки, доказывающие, что мы имели все основания передать речь г. Достоевского так, как передали. Вот что г. Достоевский говорит о духе русского народа:

«...что такое *сила духа русской народности,* как не стремление ее, в конечных целях своих, к всемирности и всечеловечноста? Да, назначение русского человека есть бесспорно всемирное, всеевропейское. Стать *настоящим* русским, стать *вполне* русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните *) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите... Для *настоящего* русского Европа и удел арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как удел родной земли... Что наш удел и есть всемирность. Стать *настоящим* русским и будет именно значить — внести примирение в европейские противоречия... Ко всемирному, всечеловеческому братству сердце русское, быть может, из всех народов наиболее предназначено».

А вот что говорит г. Достоевский о русском «страдальце»:

«В «Алеко» Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того *исторического русского страдальца,* столь исторически явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Это тип *постоянный* и *надолго* поселившийся в русской земле. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих

* Скобки принадлежат г. Достоевскому. (*Примеч. Г. И. Успенского.*)

пор свое скитальчество, и если в наше время не ходят в цыганский табор искать успокоения в их диком, своеобразном быте своих *мировых* идеалов и успокоения от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то *все равно* ударяются в социализм, ходят с новою верою в другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастия не только для самих себя, но и всемирного, ибо *русскому* скитальцу *именно необходимо* всемирное счастие, чтобы успокоиться, *дешевле он не помирится...* Это все тот же *русский человек,* только в разное время явившийся» [12].

Этих выписок, кажется, вполне достаточно для того, чтобы видеть неразрывную связь скитальца с народом, его чисто народные черты; в нем все народно, все исторически неизбежно, законно. Вот, основываясь на этих-то уверениях, я и передал речь г. Достоевского в том смысле, как она напечатана в *письме из Москвы,* радуясь не тому всемирному журавлю, который г. Достоевский сулит русскому человеку в будущем, а тому только, что некоторые явления русской жизни начинают выясняться в человеческом смысле, объясняются «по человечеству», не с злорадством, как было до сих пор, а с некоторою внимательностию, чего до сих пор не было.

Но у г. Достоевского, оказывается, был умысел другой. Уж и в тех выписках из его речи, которые приведены, читатель может видеть местами нечто всезаячье. Там воткнуто, как бы нечаянно, слово «может быть», там поставлено, тоже как бы случайно, рядом «постоянно» и «надолго», там ввернуты слова «фантастический» и *делание,* то есть выдумка, хотя немедленно же и заглушены уверением совершенно противоположного свойства: необходимостию, которая не дает возможности продешевить и т. д. Такие заячьи прыжки дают автору возможность превратить, мало-помалу, все свое «фантастическое делание» в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения. Помаленьку да полегоньку, с кочки на кочку, прыг да прыг, всезаяц, мало-помалу, допрыгивает до непроходимой дебри, в которой не видать уж и его заячьего хвоста. Тут оказалось, как-то незаметно для читателя, что Алеко, который, как известно, тип вполне народный, изгоняется народом именно потому, что ненароден. Точно так же народный тип скитальца, Онегин, получает отставку от Татьяны тоже потому, что ненароден. Как-то оказывается, что все эти скитальчески-чело-

веческие народные черты — черты отрицательные. Еще прыжок, и «всечеловек» превращается «в былинку, носимую ветром», в человека-фантазера *без почвы...* «Смирись! — вопиет грозный г л а с , — *счастие <не> за морями*!» Что же это такое? Что же остается от всемирного журавля? Остается Татьяна, ключ и разгадка всего этого «фантастического делания». Татьяна, как оказывается, и есть то самое пророчество, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Она потому пророчество, что, прогнавши от себя всечеловека, потому что он без почвы (хотя ему и нельзя взять дешевле), предает себя на съедение старцу-генералу (ибо не может основать личного счастия на несчастии другого), хотя в то же время любит скитальца. Отлично: она жертвует собою. Но увы, тут же оказывается, что жертва эта недобровольная: «я другому *отдана!»* Нанялся — продался. Оказывается, что мать насильно выдала ее за старца, а старец, который женился на молоденькой, не желавшей идти за него замуж (этого старец не мог не знать), именуется в той же речи «честным человеком» [13]. Неизвестно, что представляет собою мать? Вероятно, тоже что-нибудь всемирное. Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей. Нет ни малейшего сомнения в том, что девицы, подносившие г. Достоевскому венок, подносили ему его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь ухаживанию за старыми хрычами, насильно навязанными в мужья; не за матерей, выдающих дочерей замуж насильно, дабы они в будущем своими страданиями помогли арийскому племени разогнать тоску. Очевидно, что тут кто-нибудь ошибся. Но в неправильном толковании речи виновен не кто иной, как сам Ф. М. Достоевский, не высказавший своей мысли в более простой форме.

Д. Н. ЛЮБИМОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве в 1880 году)

...Ровно четверть века назад, в той же зале, почти на том же месте, за колоннами, я пережил ощущения, которые сохранились на всю мою жизнь. Это было 8 июня 1880 года, во время торжества по поводу открытия в Москве памятника Пушкину, на заседании московского Общества любителей российской словесности, прославленном речью Достоевского. Из всех речей и вообще публичных выступлений, которые мне пришлось когда-либо слышать и видеть, ничто не произвело на меня такого сильного впечатления, как эта вдохновенная речь.

Ясно помню, как, забравшись задолго до открытия заседания, я, тогда лицеист одного из младших классов Московского лицея, стоял между колонн с моим репетитором, студентом, жившим у нас в доме, которого мы все в доме звали «энтузиастом» за постоянную восторженность. Он знал наизусть все важнейшие стихи Пушкина, постоянно их декламировал и считал себя поэтом.

Громадная зала, уставленная бесконечными рядами стульев, представляла собою редкое зрелище: все места были заняты блестящею и нарядною публикою; стояли даже в проходах; а вокруг залы, точно живая волнующаяся кайма, целое море голов преимущественно учащейся молодежи, занимавшее все пространство между колоннами, а также обширные хоры. Вход был по розданным даровым билетам; в самую же залу, по особо разосланным приглашениям, стекались приехавшие на торжества почетные гости, представители литературы, науки, искусства и всё, что было в Москве выдающегося, заметного, так называемая «вся Москва».

В первом ряду, на первом плане — семья Пушкина. Старший сын Александр Александрович, командир Нарвского гусарского полка, только что пожалованный флигель-адъютантом, в военном мундире, с седой боро-

дой, в очках; второй сын — Григорий Александрович, служивший по судебному ведомству, моложавый, во фраке; две дочери: одна — постоянно жившая в Москве, вдова генерала Гартунга, заведовавшего еще недавно Московским отделением государственного коннозаводства и застрелившегося в зале суда во время процесса, к которому он был привлечен, и другая — графиня Меренберг — морганатическая супруга герцога Гессен-Нассауского, необыкновенно красивая, похожая на свою мать. Накануне я видел их в университете и участвовал в овациях, устроенных им публикою, профессорами и студентами. Когда ректор, говоря речь, упомянул о том, что Пушкин где-то сказал, что его более всего трогает, когда чествуют потомков за заслуги их знаменитых предков, ввиду полного бескорыстия и искренности этих чествований[1], весь совет профессоров, сидевших на эстраде, а за ними вся зала, как один человек, встала со своих мест и, обратившись в сторону Пушкиных, разразилась долго не смолкавшими рукоплесканиями. Пушкины страшно смутились от внезапности и искренности всех в зале охвативших чувств.

Рядом с Пушкиными сидел, представляя собою как бы целую эпоху старой патриархальной Москвы, московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Он правил Москвою свыше двадцати пяти лет; целые поколения москвичей сменились за это время; я сам родился, вырос и поступил на службу за время его правления. Популярность его в Москве была чрезвычайна; его не называли иначе в газетах, как «хозяин Первопрестольной». Рядом с ним сидел прибывший на торжества «по высочайшему повелению», как представитель правительства, что придавало торжествам особое значение, недавно сменивший на посту министра народного просвещения графа Д. А. Толстого статс-секретарь Л. Л. Сабуров, единственный в зале в вицмундирном фраке с двумя звездами и лентой по *жилету*, — высокий, худой, с сухим, совершенно бритым лицом, в густо накрахмаленных воротничках, казавшийся как бы олицетворением сановно-бюрократического Петербурга среди дворянско-купеческой, ученой, литературной и аристократической Москвы...

С дворянством сидело именитое купечество московское: братья Третьяковы — городской голова Сергей Михайлович, «брат галереи», и Павел Михайлович — «сама галерея», как звали в Москве создателя знаменитого

Московского музея; тут же сидели владетели сказочных мануфактур...

Обращала на себя всеобщее внимание группа, сидевшая рядом. Это был какой-то апофеоз тогдашней русской музыки. Оба брата Рубинштейна: директора и создатели консерваторий, Антон — Петербургской и Николай — Московской. Живо вспомнилось мне, как в той же зале зимой я видел их триумф. Они играли в четыре руки одну из рапсодий Листа. Зала была так увлечена их игрою, что, когда на патетическом месте они оба, сильно ударив по клавишам, вскинули кверху руки, продержав их несколько секунд, и вновь опустили на клавиши, я заметил, как несколько лиц, сидевших предо мною, приподнялись на стульях и опустились опять, когда Рубинштейны вновь коснулись клавишей. Тут же сидел П. И. Чайковский, живший тогда в Клину под Москвою и недавно поставивший в Москве своего «Евгения Онегина». Дня два перед тем, на рауте в думе, он дирижировал своей новой симфонией, имевшей громадный успех[2]. Рядом с ним сидел знаменитый петербургский виолончелист К. Ю. Давыдов, живший тогда летом на даче под Москвою. Романсы его пользовались громадным успехом в Москве, а необыкновенным исполнением «Сомнения» Глинки в той же зале, я помню, как он обворожил всю Москву.

Адвокатский мир, игравший тогда в Москве значительную роль, был чуть ли не весь налицо во главе с А. В. Лохвицким и Ф. Н. Плевако. Лохвицкий, бывший профессор, замечательный цивилист, славился также как острослов. Его ответ одному московскому финансовому тузу, которому он дал удачный юридический совет, вошел в Москве как бы в поговорку. На восклицание туза: «Не придумаю даже, чем мне вас за это отблагодарить!» — Лохвицкий спокойно ответил: «С тех пор как финикиянами изобретены денежные знаки, ваши недоразумения разрешаются сами собою». Плевако — московский златоуст, речи-импровизации его слушались в Москве как откровения, и сам он к Москве относился с какой-то мистическою любовью. Помню, много лет спустя я слышал в Петербурге в суде какую-то его речь, и он вдруг воскликнул таким задушевным голосом: «Нет, у нас в Москве не то... у нас колокола звонят; у нас к вечерне ходят...», что на меня вдруг пахнуло чем-то прежним, дорогим и взгрустнулось по родной Москве.

Всех, кто еще был в зале из московских знаменитостей, не припомнить и не перечесть. Но если зала по

своему составу представляла на редкость интересное зрелище, то на эстраде зрелище было еще интереснее. Не думаю, чтобы когда-либо до этого, да едва ли потом собралось вместе так много сразу столь известных и дорогих для читающей России имен.

Эстрада была устроена в конце зала, во всю его ширину, на том месте, где двери ведут в Екатерининскую ротонду, где стояла бронзовая статуя императрицы Екатерины. Эстрада была обита зеленым сукном, и во всю длину ее стоял громадный стол; направо была устроена кафедра; за нею алебастровый снимок памятника Пушкину, украшенный лавровым венком и цветами. Вокруг стола стояло бесчисленное количество стульев, на которых сидели и между ними стояли члены общества, все во фраках и белых галстуках. Здесь я многих не знал, так как большинство были приезжие, но мой спутник — энтузиаст, знавший всех известных русских литераторов по фотографиям, украшавшим все стены его скромной комнаты и на которые я постоянно глядел во время уроков, мне называл, захлебываясь от восторга, их имена — одно громче другого.

Направо от председателя общества — старика с большой бородой, в очках, издателя журнала «Русская мысль», известного переводчика Кальдерона и Шекспира С. А. Юрьева, которого звали в Москве «последним могиканом 40-х годов», — на почетном месте сидел представительный старик с длинными седыми волосами, постоянно спадавшими на лоб, и окладистой, аккуратно подстриженной бородой. Он был одет в хорошо сшитый фрак иностранного покроя, но в плисовых сапогах без каблуков, что, видимо, означало подагру; он читал какую-то записку, поминутно то надевая, то снимая золотое пенсне. «Тургенев! Иван Сергеевич!..» — восторженным шепотом пояснял энтузиаст. Рядом с ним сидел на стуле вполуоборот высокий старик с маленькой бородкой, большим лбом и громадною плешью на коротко обстриженной седой голове и, смеясь, разговаривал со стоявшим почтительно перед ним лицом типичного актерского вида. «Это Островский, Александр Николаевич!» — шепчет энтузиаст. Актера же, стоявшего перед ним, не надо было называть. Это был известный всем и каждому Иван Федорович Горбунов, знаменитый, единственный в своем роде рассказчик. На Пушкинском обеде, после торжественных речей говоривших по поручению думы «от города Москвы» М. Н. Каткова

и И. С. Аксакова, Горбунов рассмешил всех до слез, выступив представителем от мифического «генерала Дитятина», обиженного, что «чествуют какого-то Пушкина, человека штатского, небольшого чина, а он, генерал Дитятин, даже не приглашен».

Рядом с Островским сидел Д. В. Григорович, еще моложавый, с красивыми бакенбардами; он поминутно вскакивал с места и подходил то к Тургеневу, то к другим. Затем группа из трех лиц, оживленно между собою разговаривавших; все они имели зачесанные назад волосы и очень симпатичные лица. «Вот наш Парнас! наши поэты, наследники Пушкина, — в том же восторге говорил энтузиаст, — вот тот, который говорит, — это Майков, Аполлон! направо — Полонский Яков Петрович, налево — Плещеев Алексей Николаевич, а вот там, на другой стороне, сидит Фет, — не унимался энтузиаст, — то есть теперь Шеншин — он, как сказал Тургенев, променял этим имя на фамилию». Я взглянул в указанную сторону и увидел старого человека, с виду совершенно захолустного помещика, в необыкновенно широком и длинном фраке, с всклокоченною бородою, который с видимым раздражением что-то говорил подошедшему Григоровичу. Я смотрел с удивлением, и в ушах невольно звучало: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...» Стоявший рядом с нами молодой безусый студентик, видимо охваченный тем же чувством, даже воскликнул: «Неужели это Фет?» Энтузиаст посмотрел на него строго.

В конце стола сидели два старика, как-то особняком, молчаливо и грустно. Один, очень толстый, обрюзгший, с неправильными чертами лица, опирался на палку с гуттаперчевым наконечником. Замечательно, что такие палки были у Тургенева и Полонского. На это обратил внимание стоявший рядом с нами желчный господин, которого я мысленно назвал «скептиком», так как он уже несколько раз относился с сомнением к сообщаемым энтузиастом сведениям. Он ядовито заметил: «Это, вероятно, новая литературная мода; показательно!» Тучного старика я узнал — это был Писемский. «Алексей Феофилактович, — торжественно объявил энтузиаст, — живет в Москве в своем доме, в Борисоглебском переулке, рядом с Собачьей площадкою». Знаменитый автор столь нашумевшей когда-то «Горькой судьбины», которого предшествовавшее нам поколение носило на руках, переживал теперь свою славу. Романы его становились все тусклее и скучнее. В Москве ходило по рукам и было

в копии у энтузиаста его трогательное письмо к Тургеневу, начинавшееся так: «Я устал писать, а еще более жить». На Пушкинских торжествах он выступил с речью «Пушкин как исторический романист»[3], но читал он ее по тетрадке и как-то вяло, хотя славился как знаменитый чтец, и речь его прошла незаметною; умер он через полгода, почти одновременно с Достоевским [4].

Другой старик, молчаливо сидевший рядом, напротив, худой, тщательно одетый и подстриженный, с очень красивыми и спокойными чертами лица, никому не был известен, между тем по занимаемому им за столом месту должен был быть знаменитостью. Энтузиаст, видимо, очень мучился этим; вдруг он воскликнул, и так громко, что все вокруг обернулись: «Да ведь это Гончаров, Иван Александрович! Да ведь этот старик, господа, целый мир, это «Обыкновенная история», «Обломов», это «Обрыв»!» Скептик отрицал, что это Гончаров, говоря, что тот сидит в Петербурге, давно уже никуда не ездит, и нападал на бедного энтузиаста, язвительно говоря: «Вы не изволите приводить никаких доказательств, кроме перечислений произведений Гончарова, начинающихся на «О»...» Энтузиаст надулся и временно замолк, но впоследствии оказалось, что он был прав[5].

По другую сторону от председателя, полуоборотом к публике, стоял столь в Москве и мне лично известный Иван Сергеевич Аксаков. Популярность его в Москве была громадная, особенно после его недавней речи о Берлинском конгрессе в Славянском обществе. В Москве говорили, что ему грозила высылка в Уфу, если бы «хозяин столицы» грудью его не отстоял. Он издавал тогда в Москве «Русь» [6] и был бессменным, уже двадцать лет, директором Московского купеческого банка; женат он был на дочери прелестного поэта Федора Ивановича Тютчева, которая была до свадьбы воспитательницей великой княгини Марии Александровны. Тютчев писал по этому случаю: «Привалило счастье Ване, он женат на царской няне»...[7]

Вслед за Аксаковым сидел, углубившись в чтение каких-то листков, будущий герой настоящего собрания — чего еще никто не з н а л , — Федор Михайлович Достоевский; он имел вид усталый и болезненный.

Я близко видел его накануне; он заезжал к моему отцу по поводу печатавшейся тогда в «Русском вестнике» последней части «Карамазовых». Отец мой — тогда профессор Московского университета (1854—1882) — был в то

же время редактором (с 1864 по 1882 г. — до переезда в Петербург) «Русского вестника», издаваемого М. Н. Катковым, в котором были напечатаны почти все главнейшие произведения Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»). Помню, как, уходя, Достоевский как-то торопливо говорил отцу, его провожавшему: «Мне надо скорее к себе в Лоскутную (второстепенная гостиница в Москве), надо еще позаняться; я завтра читаю».

До этого я видел Достоевского зимою 1880 года [8]. Он приезжал из Петербурга и у нас обедал. С Достоевским обедали: Б. М. Маркевич — тоже из Петербурга, автор светских романов «Четверть века назад», «Перелом» и др., которыми зачитывались в Москве, — внешне полная противоположность Достоевскому, человек необыкновенно изящной внешности и утонченного обращения; П. И. Мельников (Андрей Печерский), М. Н. Катков, К. Н. Леонтьев и кто-то из профессоров. За обедом Достоевский говорил мало и неохотно. Мы с энтузиастом, с конца стола, где сидели в полном и вынужденном безмолвии, все время наблюдали за ним. Но он оживился, когда заговорили о «Братьях Карамазовых», которые тогда печатались. Маркевич, говоривший очень интересно и красиво, постоянно вскидывал лорнет и, обводя им присутствовавших, чрезвычайно тактично рассказывал о том громадном впечатлении, которое произвела в петербургских сферах поэма «Великий Инквизитор», как в светских, так и в духовных. Многое из обмена мыслей по этому поводу я тогда не понял. Говорили главным образом Катков и сам Достоевский, но припоминаю, что из разговора, насколько я понял, выяснилось, что сперва, в рукописи у Достоевского, все то, что говорит Великий Инквизитор о чуде, тайне и авторитете, могло быть отнесено вообще к христианству, но Катков убедил Достоевского переделать несколько фраз и, между прочим, вставить фразу: «Мы взяли Рим и меч кесаря»; таким образом, не было сомнения, что дело идет исключительно о католичестве [9]. При этом, помню, при обмене мнений Достоевский отстаивал в принципе правильность основной идеи Великого Инквизитора, относящейся одинаково ко всем христианским исповедованиям, относительно практической необходимости приспособить высокие истины Евангелия к разумению и духовным потребностям обыденных людей.

Я очень сожалею, что тогда я еще не имел обыкновения записывать то, что меня поражало, и теперь вынуж-

ден приводить на память не вполне даже мной тогда понятый, столь исключительный по интересу разговор. Но общий смысл его я помню ясно.

На описываемом собрании читавший листки свои Достоевский казался очень угрюмым и озабоченным. Вспоминаю еще подробность, небезынтересную для последующего. В Москве, даже в зале, много говорили о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым[10], так как Тургенев не мог простить Достоевскому, что тот его так зло осмеял в «Бесах» (Кармазинов). Распорядители были в отчаянии, и Д. В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались. На рауте, в думе, вышел такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошел в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же обернулся и стал смотреть в окно. Григорович засуетился и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: «Пойдем, я покажу тебе здесь одну замечательную статую». — «Ну, если это такая же, как эта, — ответил Тургенев, указывая на Достоевского, — то, пожалуйста, уволь».

За Достоевским сидел веселый и улыбающийся, с чисто русским лицом, окладистою бородою, с виду совершенный купец-тысячник из-за Волги, Павел Иванович Мельников, под псевдонимом Андрея Печерского написавший свои замечательные, недостаточно оцененные, красочные бытовые романы «В лесах», «На горах», «За Волгой». Далее сидел целый ряд лиц: А. А. Краевский — издатель «Голоса», приехавший с какими-то полномочиями от русской прессы и не проронивший ни слова во время всех торжеств (его прозвали в Москве «Каменным гостем Пушкинских торжеств»); тут же сидел М. М. Стасюлевич, издатель «Вестника Европы» (куда из «Русского вестника» перешел Тургенев), и начинавший входить в силу в литературном мире А. С. Суворин, издатель «Нового времени». Энтузиаст продолжал перечислять имена, но как-то менее уверенно и даже робко. «Вот поэт Минаев, — говорил он, — или, скорее, это драматург Аверкиев». Скептик уже прямо налетел на энтузиаста. «Ничего подобного! — утверждал он, — этот бритый, а Минаев с бородой, а у Аверкиева бородка вроде Шекспира, я обоих знаю лично». Энтузиаст понемногу замолкал.

Скептик, овладев положением, стал объяснять, что блестит своим отсутствием граф Лев Толстой[11]. Он «опростился» и сидит в Ясной Поляне. Ему три раза посылали приглашение, но он ответил, что считает за

величайший грех всякое торжество. «Нет также Каткова», — заметил кто-то[12]. «Ну, этот сказался больным из-за политики,— сказал решительно скептик,— а Щедрин, — добавил он, — лечится за границей на теплых водах...»[13]

Все рассуждения были прерваны звонком председателя; был ровно час дня, и он объявил заседание открытым. Все на эстраде заняли свои места, и С. А. Юрьев сказал несколько слов о необыкновенном сегодняшнем составе совета Общества; почти все без исключения почетные члены Общества откликнулись на приглашение.

Затем на кафедру вошел А. Н. Плещеев, видный, красивый, несмотря на свои годы, с виду совершенный боярин XVI столетия. Невольно вспоминались слова Карамзина о том, как при великом князе Василии стольник Плещеев (один из предков поэта), посланный в Царьград, отказался стать на колени, и «поклон падишаху правил стоя», и «гордостью своею изумил весь двор Баязитов»[14].

Плещеев прочел свое прекрасное стихотворение с большим подъемом и чувством, постоянно обращаясь к статуе Пушкина. Когда он сходил с кафедры, ему громко и долго рукоплескали. Он продолжал кланяться даже со своего места[15].

Затем раздался голос председателя: «Слово принадлежит почетному члену Общества Федору Михайловичу Достоевскому»[16].

Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошел к кафедре, продолжая нервно перебирать листки, видимо список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нем висел как на вешалке; рубашка была уже измята; белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу. Энтузиаст, вновь оживившийся, объяснял окружающим: «Это оттого, что он был столько лет в каторге; им ядра привешивают к ногам...» Скептик язвительно прошептал: «Это во Франции, вы это прочли у Дюма, в «Монте-Кристо». Мне показалось тогда, что скептик прав, но много лет спустя князь Михаил Сергеевич Волконский, проведший все детство и юность в сибирской ссылке с отцом своим — знаменитым декабристом, мне рассказывал, как он однажды видел, как «гнали» (по местному выражению) партию каторжников из одной тюрьмы в другую, и ему указали на одного из них, говоря: «Это литератор Достоевский!» Он увидел человека сумрачно-

го, болезненного вида, который, гремя цепями, шел в паре с другим каторжником, и они были прикованы один к другому...

Достоевский, встреченный громом рукоплесканий, взойдя на кафедру, — я помню ясно все подробности, — протянул вперед руку, как бы желая их остановить. Когда они понемногу смолкли, он начал прямо, без обычных «милостивые государыни, милостивые государи», так:

— Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое.

Первые слова Достоевский сказал как-то глухо, но последние каким-то громким шепотом, как-то таинственно. Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове «пророческое» вся суть речи и Достоевский скажет что-либо необыкновенное. Это не будет обыденная на торжествах речь из красивых фраз, как была у Тургенева накануне, а что-то карамазовское, тяжелое, мучительное, длинное, но душу захватывающее, от которого оторваться нельзя, как все произведения Достоевского.

Достоевский заметил произведенное впечатление и повторил громче:

— Да, в появлении Пушкина для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое.

Разделив творчество Пушкина на три периода, Достоевский указал, что уже в первом периоде, в «Цыганах», в лице Алеко Пушкин отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, «того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем». Этому скитальцу необходимо не только личное, не только русское, но именно всемирное счастье, чтобы успокоиться; дешевле он не примирится. Человек этот зародился в начале второго столетия после реформы Петра в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа нашего.

— Конечно, — продолжал Достоевский, все возвышая голос, так что голос его теперь звучал на всю залу, но в нем иногда слышались нервные, болезненные ноты, — теперь огромное большинство интеллигентных русских людей мирно служит чиновниками или в банках; играет копеечную игру в преферанс, без всяких поползновений бежать, как Алеко, в цыганские таборы. Много, много если полиберальничает «с оттенком европейского социализма», которому придаст русский добродушный характер, но это лишь временно. — Тут голос Достоевского

перешел опять в таинственный шепот, но была такая тишина в зале, что каждое слово было ясно слышно. — Да, это вопрос только времени, — продолжал он. — Это всех нас в свое время ожидает, если мы не выйдем на настоящую дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех; довольно лишь десятой доли обеспокоившихся, чтобы остальным, громадному большинству, не видеть через них покоя... Начнется плач, скорбь, страхи по потерянной где-то и кем-то правде, которую никто отыскать не может... А между тем правда в себе самом. Найди себя в себе, и узришь правду...

Здесь Достоевский хотел что-то отыскать в своих листках, но, видимо, не нашел, бросил их и прямо перешел к самому, как он выразился, положительному типу Пушкина — к Татьяне.

— Да, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины! — воскликнул он. — Такой красоты положительный тип русской женщины уже и не повторялся в нашей литературе... кроме, пожалуй... — тут Достоевский точно задумался, потом, точно превозмогая себя, быстро: — кроме разве Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева...

Вся зала посмотрела на Тургенева, тот даже взмахнул руками и заволновался; затем закрыл руками лицо и вдруг тихо зарыдал. Достоевский остановился, посмотрел на него, затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; среди общей тишины слышались сдерживаемые всхлипывания Тургенева. Затем Достоевский продолжал:

— Но Онегин не понял Татьяны. Не мог понять. Татьяна прошла в первой части романа не узнанная, не оцененная им... О, если бы тогда в деревню, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или сам лорд Байрон и указал ему на нее... О! Тогда Онегин был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах русских так много подчас лакейства духовного! Татьяна это поняла. В бессмертных строфах романа Пушкин изобразил ее посещающей дом этого столь чудного, столь еще загадочного для нее человека... Губы ее тихо шепчут: уж не пародия ли он? Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным и в конце романа, как это сделала бы какая-нибудь француженка или италиянка!

Энтузиаст шепнул мне на ухо: «Ведь это целый переворот в воззрениях! Ведь Белинский в этом и упрекал Пушкина...»

Раздались громкие рукоплескания.

Сделав небольшую паузу, Достоевский перешел к отношению Пушкина к народу русскому.

— Ни один писатель ни прежде, ни после него, — говорил он, — не соединялся так задушевно, так родственно с народом своим, как Пушкин. У нас много знатоков народа между писателями нашими. Писали о нем талантливо, тепло, любовно; а между тем если сравнить их с Пушкиным, то, право же, это лишь «господа», о народе пишущие... за одним, много двумя исключениями, да и то в последнее время...

Тут Достоевский остановился и посмотрел на эстраду, точно ища кого-то... «Ищет Толстого, — шепнул мне энтузиаст, — но кто же второй?»

Достоевский помолчал, опять потрепал свои листки, которыми мало пользовался, затем поднял голову и заговорил как-то особенно громко, вдохновенно, владея теперь всей залой. Видимо, он высказывал теперь главную свою мысль. Все это поняли, глаза всей залы впились в Достоевского, который перешел к последнему периоду деятельности Пушкина.

— Здесь, — воскликнул он, — Пушкин нечто чудесное, не виданное до него нигде и ни у кого. Были громадной величины гении, разные Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но нет ни одного, который обладал бы такою способностью к всемирной отзывчивости, как Пушкин. Эту способность, главнейшую способность национальности нашей, он разделяет с народом своим, и тем, главнейше, он и народный поэт! Даже у Шекспира все его италиянцы — те же англичане. Пушкин один мог перевоплотиться вполне в чужую народность. Перечтите «Дон-Жуана», и, если бы не было подписи Пушкина, вы бы не поверили, что писал не испанец! Помните: воздух лаврами и лимонами пахнет!.. А сцена из Фауста, разве это не Германия? А в «Пире во время чумы», — так и слышен гений Англии. А «Подражание Корану», это ли не ислам?..

Достоевский цитировал, приводя на память, целый ряд примеров из стихотворений Пушкина.

— Да! — воскликнул он. — Пушкин, несомненно, предчувствовал великое грядущее назначение наше. Тут он угадчик, тут он пророк! Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей — всечеловеком... И все это славянофильство и западничество наше есть только одно великое между нами

недоразумение. Вся история наша подтверждает это. Ведь мы всегда служили Европе более, чем себе. Не думаю, что это от неумения наших политиков происходило... Наша, после долгих исканий, быть может, задача и есть внесение примирения в европейские противоречия; указать исход европейской душе; изречь окончательное слово великой гармонии, братского согласия по Христову евангельскому закону...

Тут Достоевский остановился и как-то всплеснул руками, как бы предвидя возражения, но вся зала замерла и слушала его, как слушали когда-то пророков.

— З н а ю , — воскликнул Достоевский, и голос его получил какую-то даже непонятную силу, в нем звучал какой-то э к с т а з , — прекрасно знаю, что слова мои покажутся восторженными, преувеличенными, фантастичными; главное, покажутся самонадеянными: «Это нам-то, нашей нищей, нашей грубой земле такой удел, это нам-то предназначено высказать человечеству новое слово?» Что же? Разве я говорю про экономическую славу? Про славу меча или науки? Я говорю о братстве людей. Пусть наша земля нищая, но ведь именно нищую землю в рабском виде исходил, благословляя, Христос[18]. Да сам-то он, Христос-то, не в яслях ли родился?

Если мысль моя фантазия, то с Пушкиным есть на чем этой фантазии основываться. Если бы Пушкин жил дольше, он успел бы разъяснить нам всю правду стремлений наших. Всем бы стало это понятно. И не было бы между нами ни недоразумений, ни споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь, без него, эту тайну разгадываем...

Последние слова своей речи Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустил голову и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании. Зала точно замерла, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: «Вы разгадали!» — подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Вся зала встрепенулась. Послышались крики: «Разгадали! Разгадали!», гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские взвизги. Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такою бурею восторга. Кричали и хлопали буквально все — и в зале и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского, Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми

объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненными криками: «Достоевский, Достоевский!» — вдруг упал навзничь в обмороке. Его стали выносить. Достоевского увели в ротонду. Вели его под руки Тургенев и Аксаков; он видимо как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком. Зал продолжал волноваться. Я хватился энтузиаста, но его рядом со мной уже не было. Я увидел его около самой эстрады, что-то кричащего и махающего руками. Скептика притиснули к стене, и он отбивался от двух студентов, что-то ему горячо возражавших *.

Вдруг по зале пронесся слух, неизвестно кем пущенный, что с Достоевским припадок падучей болезни, которою он страдал, что он умирает. Целая масса лиц бросилась на эстраду. Оказалось — совершенный вздор. Достоевского под руку Григорович вывел из ротонды на эстраду, продолжая махать над головою платком.

Председатель отчаянно звонил, повторяя, что заседание продолжается и слово принадлежит Ивану Сергеевичу Аксакову. Зал понемногу успокаивается, но сам Аксаков страшно волнуется. Он вбегает на кафедру и кричит: «Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского. После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского — событие! Все разъяснено, все ясно. Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною». Тургенев с места что-то кричит, видимо утвердительное. Аксаков сходит с кафедры. Слышны крики: «Перерыв! перерыв!..» Председатель звонит и объявляет перерыв на полчаса. Многие расходятся. Меня также увлекает энтузиаст. «Лучшего ничего мы не услышим и не увидим», — говорит он сквозь слезы.

Я охотно соглашаюсь.

Я также был сильно взволнован речью Достоевского и всей обстановкой ее. Многого я тогда не понял, и многое потом, при чтении речи, показалось мне преувеличенным. Но слова Достоевского, а главное — та убедительность, с которой речь его была произнесена, та вера в русское будущее, которая в ней чувствовалась, глубоко запали мне в душу...

---

* «Скептиком» оказался, как выяснилось потом, Мих. Петр. Соловьев — впоследствии начальник Главного управления по делам печати (после Ев. Мих. Феоктистова), а тогда в Москве помощник присяжного поверенного (у А. В. Лохвицкого). (*Примеч. Д. Н. Любимова.*)

А. М. СЛИВИЦКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. И. ПОЛИВАНОВЕ

(*Пушкинские дни*)»

В день открытия памятника с самого раннего утра не только площадь перед Страстным монастырем, но до половины и прилегающие к ней бульвары, Тверской и Страстной, а также и самая Тверская в ту и другую сторону были битком набиты народом. Слева от памятника высились трибуны для публики и для оркестра, которым управлял Н. Г. Рубинштейн; вправо был воздвигнут шатер для представителя государя, принца Ольденбургского, и высших лиц города. Погода, помнится, была удачная, или, вернее, мы ее вовсе не замечали. Все стремились стать поближе к памятнику, окутанному серым покрывалом, чтобы ближе видеть момент открытия его; даже имевшие билеты на трибуны предпочитали стоять внизу, в давке, поближе к решетке памятника. Пока шла обедня в монастырском храме, куда нечего и думать было добраться сквозь толпу, на площади стоял сдержанный гул радостного предчувствия... Но вот обедня кончилась, загудели колокола, — из монастырских ворот показалось духовенство во главе с митрополитом Макарием и направилось к памятнику для его освящения. Церковный обряд кончен... На площади все стихло, но едва долетали некоторые слова читающего в шатре акт о передаче памятника городу [1]. И вот пала завеса, площадь дрогнула от потрясающих кликов «ура», заглушавших звуки оркестра... и живыми глазами, склонив голову, задумчиво глядел Пушкин на ликующих потомков... Такой жизни в глазах монумента мне вторично не удавалось уловить.

Первою мыслью моей было:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм... [2]

И не одному мне вспомнилась тогда именно эта элегия... А вокруг не смолкая гремело «ура», изредка усили-

вающееся градом рукоплесканий, когда среди депутатов, направлявшихся с венками к подножию памятника, народ замечал того или другого из особенно чтимых знаменитых писателей...

В течение всего лета приходилось видеть множество зрителей вокруг памятника. Особенное внимание обращали на себя огромные венки из полевых цветов, время от времени возобновлявшиеся перед памятником.

Торжественные заседания Общества любителей российской словесности происходили в колонной зале Благородного собрания. Помню, какая мертвая тишина водворилась, когда члены Общества любителей российской словесности заняли места на эстраде и старец Сергей Андреевич Юрьев, сидя на председательском месте за большим столом, начал на первом заседании свою вступительную речь, состоящую главным образом из приветствий почтившим праздник своим присутствием [3]. Как теперь вижу, как он, приподымая пальцем веко правого глаза (его постоянная привычка), оглядывал публику передних рядов, чтоб не забыть кого-нибудь из особенно дорогих для Общества почетных гостей. Затем начались речи. Я не буду останавливаться на них: теперь все они напечатаны в полных собраниях сочинений уже отшедших от нас великих покойников. Всех ораторов встречали взрывом рукоплесканий, долго-долго не смолкавших. Замечалось, что многие из публики, особенно молодежи, слушают рассеянно, вернее — не могут сосредоточиться, чтобы слушать: самый вид Тургенева или Достоевского и других выдающихся писателей отвлекает их внимание от слов оратора. Слушатель, никогда не видавший писателя (а таких среди публики, переполнявшей зал, было большинство), — волей-неволей превращался главным образом в зрителя, стараясь как можно лучше схватить и запечатлеть дорогие черты человека, давшего ему столько восторгов, столько отрадных наслаждений своими произведениями... Этим можно объяснить, что когда на втором заседании запоздавший Тургенев, уже во время чтения речи другим оратором, вошел на эстраду и с своей атлетической фигурой старался как можно незаметнее пробраться к своему месту — раздались аплодисменты, прервавшие на время речь читавшего.

Событием была речь Достоевского. Уже при его выходе зала как бы наэлектризовалась. Творец «Мертвого дома» стоял бледный, согбенный, с опущенными руками,

а зал содрогался от рукоплесканий в течение нескольких минут. Наконец все смолкло, и он начал читать...

Не бывшие на заседании и познакомившиеся с его речью в чтении уже и тогда высказывали удивление, почему она произвела такое потрясающее впечатление, доведшее нескольких девиц и студентов до истерики, так что все в зале смешалось, многие бросились на эстраду, хватали и целовали руки писателя, и овации по крайней мере на полчаса, если не на час, прервали заседание: без конца вызывали Достоевского, а когда он выходил на вызовы — группа девиц держала сзади его, высоко подняв, огромный лавровый венок, поднесенный ему после чтения!.. Постараюсь объяснить это недоумение, напомнив читателям другого нашего знаменитого оратора и ученого: кто хотя раз слышал профессора академика Василия Осиповича Ключевского, тот знает, сколько неуловимых перлов красноречия останутся незаметными для *читателей* его лекций. Есть ораторы, которые своим чтением ослабляют впечатление, и произведения их выигрывают в чтении. Достоевский своим надтреснутым голосом, манерой чтения, искренностью, экспрессией — способен был, как электрическим током, зажигать слушателей: *недописанное* в речах таких ораторов *договаривается* мастерством произношения.

Тотчас после Достоевского пришлось выступать И. С. Аксакову. Помню, что он стал было отказываться читать, извиняясь перед публикой, но голоса: «Просим, читайте, читайте», — вынудили Ивана Сергеевича произнести свою речь.

На мою долю выпало в этот день доставить из Благородного собрания в Лоскутную гостиницу венок, поднесенный Ф. М. Достоевскому после его памятной речи. Мы подъехали к Лоскутной почти одновременно, и я вошел в его номер вслед за ним. Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и видимо утомлен, что я решил по возможности сократить свой визит. Хорошо помню, как он, вертя в руках тетрадку почтовой бумаги малого формата, в которой не без помарок была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: «Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал...» <...>

Трудно мне вспомнить подробности обеда. Помню только, что было многолюдно, помню — *главный* стол, влево от входа, за которым сидели писатели и куда невольно обращались все взоры. Вспоминаю, что

А. Н. Островский, почему-то на публичных заседаниях не выступавший, за обедом вместо своего тоста («за литературную семью») произнес целую речь о влиянии Пушкина на русскую литературу (речь эта была потом напечатана в одном из петербургских журналов)[4]. Обед прошел весело, дружно. Все были воодушевлены. Много шутил Тургенев. Между прочим, по его неотступной просьбе, поддержанной другими, Я. П. Полонский произнес свое чудное стихотворение, читанное им на утреннем заседании:

Пушкин — это возрожденье
Русской музы — воплощенье
Наших трезвых дум и чувств...[5]

Полонский читал медленно, нараспев, и эта манера чтения чрезвычайно шла как к нему самому, так и к вдохновенному гимну его в честь Пушкина...

У меня уцелело меню этого обеда: над виньеткой, исполненной К. А. Трутовским, — двустишие из «Вакхической песни» Пушкина:

Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют Музы, да здравствует разум.

Лучше сохранила память один из моментов после обеда. Когда встали из-за стола, то случилось как-то так, что «шекспировцы»[6] сгруппировались подле Достоевского. И хорошо помню, между прочим, его жалобы на то, как болезнь страшно мешает ему работать: «Я забываю после припадка, что уже написано в листах, отосланных в редакцию. Надо продолжать, а я не помню, сказал ли я то-то и то-то или только собирался сказать...» И невольно думалось, не есть ли следствие этой роковой болезни — длинноты и повторения, какие встречаются в его романах... Помолчав, он прибавил: «Напишу еще «Детей» и умру». Роман «Дети», по замыслу Достоевского, составил бы продолжение «Братьев Карамазовых». В нем должны были выступить главными героями *дети* предыдущего романа...[7] Помню, Достоевский очень торопился, так как дал слово побывать в этот день у каких-то старых знакомых, в отдаленной части города — в скромной семье, по-видимому. «Посидите еще немного, Федор Михайлович», — умоляли мы. «Нет, они ждут, обидятся, подумают, из гордости не явился».

В тот же день, в девять часов, назначен был и литературно-музыкальный вечер.

Кончалась программа д н я , — мы спешили в дом Степанова, на Пречистенку, и в кабинете Льва Ивановича[8] до рассвета делились своими впечатлениями... И не только в те д н и , — шли годы, а на субботах у Льва Ивановича зачастую возобновлялась речь о Пушкинских днях: и вдруг все как-то встрепенутся, и воспоминаниям конца нет...

Поистине — незабвенные дни!

26 сентября 1908 г.

А. И. СУВОРИНА

<ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ>

Торжество открытия памятника началось с торжественной заупокойной обедни в Страстном Успенском монастыре. Съезд, по билетам конечно, начался к 16 часам... Все ждали особенно, кажется, внуков или сына Пушкина, и я, конечно, ждала найти хоть малейшую, отдаленную тень бессмертного поэта — но страшно разочаровалась: прошел пожилой, несколько южного типа, небольшого роста генерал — и только! [1] Называли каждый раз великих, когда проходили такие большие люди-светочи, как А. Н. Островский, А. Ф. Писемский в каком-то старом балахоне и в калошах, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, да разве можно припомнить всех их! Все самые лучшие, известные, все тут были. Началась литургия. Запели певчие, было два хора — синодальные — и женский хор монашенок здешнего монастыря. Говорят, что Пушкин очень любил этот монастырь.

Как всегда, наша чудесная служба меня захватывала и трогала до слез, а тут это дивное пение, переливавшееся с одного клироса на другой, соперничая между собой в исполнении. Мне казалось, что само небо открылось и слушало их чистые, как хрусталь, голоса. Против меня было изображение царицы небесной, лампады, свет, все это меня так трогало, умиляло и восхищало, что я совсем унеслась куда-то с Пушкиным и молилась за него со слезами... Вдруг я чувствую легкое прикосновение к моему левому плечу. Я чуть-чуть оглянулась, думая, что, как обычно, передают свечу к образу. Смотрю — пустая рука. Взглянула в в е р х , — о ужас — вижу: Федор Михайлович, как всегда, с блестящими проникновенными глазами смотрит мне в глаза и шепчет: «У меня к вам большая просьба». Я помню, как только его увидала, вскочила с колен и хорошенько не могла еще оправиться, как он говорит: «Обещайте только ее исполнить». И повел меня

в притвор. Я ломала себе голову: какая может быть просьба у Достоевского ко мне, тогда еще совсем, совсем молодой женщине, и решила, пока пробиралась с ним к выходу: наверное, он попросит подвезти его в экипаже, и старалась сообразить, как надо будет устроиться втроем. «Обещаете?» — настаивал он. Я, успокоившись, что как-нибудь устроимся, говорю с улыбкой, что хорошо, с удовольствием исполню, что он хочет. Он взял мою руку, крепко сжал в своей и сказал: «Так вот что! Если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня так молиться, как вы молились за Пушкина! Я все время наблюдал за вами, будете? обещаете?» Боже мой! Я думала, что лучше бы мне умереть, чем это слышать! Мне казалось, что я попалась в каком-то позорном поступке. Ведь я думала, что, кроме меня и Бога, никто не знал и не видал меня... Я страшно сконфузилась, начала бормотать, что я и не думала молиться, где, мол, такой ничтожной молиться о таких людях, как Пушкин... Он перебил меня сурово: «Вы обещаете?» Я пролепетала, что обещаю, и он сразу переменился и повел меня за решетку, так как началась панихида. Я так была сбита, что называется, с панталыка, что стояла совершенно каменной на панихиде и только и думала, что я попалась в чем-то очень нехорошем... После церкви все пошли на площадь к памятнику и началось торжество открытия холста с фигуры Пушкина. Были овации, речи, но это все прошло у меня как бы в тумане. Федор Михайлович мне все испортил. Дома, каюсь, я всем рассказала о своем позоре, о просьбе Федора Михайловича и о своем обете.

На другой день было торжественное собрание, посвященное памяти Пушкина, в зале Московского дворянского собрания. Зал был переполнен избранною публикою[2]. В первом ряду были места для родственников Пушкина. Я сидела во втором ряду и жадно глядела и слушала всех наших знаменитостей. Я удивляюсь, как некоторые из них, будучи такими знаменитыми людьми, конфузились и волновались, как обыкновенные смертные. Например, Ал. Ник. Островский, такой исключительный чтец, страшно волновался и нервничал; Ал. Феоф. Писемский — тот прямо дрожал и так растерялся, что, несмотря на то что для его чтения «Капитанской дочки» были приготовлены стол и стул, начал читать стоя и книга дрожала в его руках, пока наконец он не успокоился и не сел на приготовленное для него место. А он тоже славился своим необыкновенно мастерским чтением. На-

конец на сцену вышел сам Ив. Серг. Тургенев, приехавший специально для этого торжества домой в Россию. Буря аплодисментов раздалась, при появлении его долго кричали и хлопали, долго Тургенев стоял и не мог начать от волнения декламировать. Наконец зал успокоился, и Тургенев прочел наизусть «Пророка»; все-таки от охватившего волнения он было запнулся перед концом, и Алексей Сергеевич[3], сидевший в первом ряду, подсказал ему.

Описать те овации и крики восторга и удивленно-доброе и счастливое лицо Тургенева я не могу. Это был полный триумф его. Еще бы, Тургенев! Сам! Кто не читал и не перечитывал его романы, кто не страдал вместе с Лизой, Еленою, кто не плакал над умирающим Базаровым... А когда Лиза увидела в монастыре Лаврецкого и прошла мимо его «торопливо-робкой монашеской поступью», кому не хотелось тоже пойти в монастырь! Кто не перечитывал в сотый раз свидания в часовне Елены с Инсаровым!..[4] И вдруг видишь и слышишь самого героя, самого автора... Зал был наэлектризован, и думалось, что дальше восторгам уже идти некуда...

Но вот появился на сцену Ф. М. Достоевский с горящими глазами и всегда проникновенным взором... Опять аплодисменты, опять крики, и Тургенев, сидевший тогда после своего выступления в первом ряду, хлопал горячо. Достоевский прочел ряд стихов Пушкина и снова воспламенил толпу, особенно когда он сказал, что Пушкин нам дал светлый образ «Татьяны», а за нею идет чистый облик «Лизы»...[5] Надо сказать, что Достоевский удивительно читал и вообще говорил вдохновенно, и страшно действовал на слушателей, а при слове «Татьяны» и затем «Лизы» как-то вскрикнул, словами я не умею передать его тон, но зал как бы вздрогнул, начались неистовые аплодисменты, кричали Достоевского, Тургенева... И Тургенева вытащили на сцену. Достоевский протянул ему руку, и они поцеловались... Восторга публики я не могу изобразить при этой трогательной сцене, когда два таких огромных писателя-учителя помирились! Мне объяснили тогда, что они были во враждебных лагерях — Тургенев был представителем западного течения, а Достоевский был сторонником славянофильства и самобытности, и вдруг два таких исконных врага помирились и поцеловались! Долго опять зал не мог успокоиться. Под конец Достоевский прочел, как только он умел читать, «Медведицу», и так прочел, так говорил за медведицу, она так горячо и неистово

защищала своих малых детушек-медвежушек от мужика, что я чуть-чуть не расплакалась, — так мне было жаль медведицу [6].

Окончилось чтение, все кинулись к выходу, к артистической комнате, навстречу Достоевскому, и тут произошло совершенно еще невиданное и неожиданное зрелище. Когда только вышел Достоевский, к нему буквально бросились девушки, и вообще молодежь, толпою, некоторые прямо падали на колени перед ним, целовали ему руки; я такие сцены видела только после, с отцом Иоанном Кронштадтским, когда толпа буквально несла его. Наконец, несколько освободившись от восторженной толпы, он, поравнявшись с мужем и пожав ему руку, отвечал на приветствия Алексея Сергеевича, шепнув ему: «А, каково? наша взяла!» Алексей Сергеевич передавал это с восторгом, так как сам был всегда националистом и русским до глубины души. Я этого совершенно не понимала и удивлялась, что даже у таких громадных людей бывают слабости и такое тщеславие, но мой муж ответил, что это вовсе не тщеславие, а торжество их взглядов, их идей! Торжество закончилось апофеозом Достоевского, и все перед ним побледнело! Такова в нем была сила слова!

Через день мы завтракали с Федором Михайловичем у Тестова, ели расстегаи. Завтрак был интимный, была всё своя компания. Я была одна дама и сидела в середине стола, и по правую руку мою кавалером моим был Федор Михайлович. Нас было немного: я с мужем, Островский, Григорович, Максимов С. В., Горбунов и Берг Н. В. Завтрак шел оживленно. Конечно, разговоры шли о литературе и о политике. Вдруг Федор Михайлович обратился ко мне с вопросом: как нравится мне Диккенс? [7] Я со стыдом ему сказала, что я не читала его. Он удивился и замолчал. Разговор всё шел у остальных свой. Опять совершенно неожиданно Федор Михайлович громко сказал: «Господа, между нами есть счастливейший из смертных!» Я с удивлением обвела глазами всю нашу компанию. Всё это были люди довольно пожилые, и особенного счастья я не видела в их лицах. После небольшого молчания Достоевский сказал: «Моя соседка Анна Ивановна». Я перепугалась от неожиданности... «Да, да! она! Господа, счастливая Анна Ивановна еще не читала Диккенса, и ей, счастливице, предстоит еще это счастье! Ах, как я бы хотел быть на ее месте! И снова прочесть «Давида Копперфильда» и всего Диккенса!» Я ему объяс-

нила, почему, читая так много, не читала Диккенса; что я пробовала, но не могла прочесть, то есть положительно не могу читать ни страданий детей, ни животных, а мой кум, Ив. Фед. Горбунов, прибавил, что я только люблю страдания любовников, «и что пуще — то лучше! Любовникам разрешено давиться, топиться, — что угодно! — а детей не смей трогать!». Все смеялись, а когда я сказала ему, что, слушая его «Медведицу», я чуть не расплакалась, так жаль мне было ее — и так бы я хотела, чтобы они исполнила свою угрозу и съела бы мужика, Достоевский рассмеялся и сказал: «Это очень интересно, но все-таки вы должны прочесть Диккенса. Когда я очень устал и чувствую нелады с собою, никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель!» Я обещала прочесть.

Больше в Москве я не видела Федора Михайловича, и он скоро уехал домой в Петербург[8].

В Петербурге у нас были еженедельные собрания по воскресеньям. Приезжали к чаю к девяти часам, к ужину, к двенадцати приезжали обыкновенно из театра и артисты. Обычными посетителями были Ив. Фед. Горбунов, мой кум и крестный отец моего сына, Арди, В. Н. Давыдов, Стрепетова, из оперы Ив. Алекс. Мельников, Лавровская, Сазонов, Леонова и многие другие. Из художников близкими были Ив. Н. Крамской и К. Е. Маковский. Всё это были интересные люди, и разговоры, речи текли без умолку. Тут и политика, и литература всех оживляла и сближала. Любил посещать наши воскресенья и Федор Михайлович, часто оставался ужинать, чтобы послушать за ужином незабвенного и незаменимого моего дорогого кума Ив. Фед. Горбунова... Особенно любил Федор Михайлович слушать роль генерала Дитятина и смеялся, как ребенок, да и весь стол помирал от смеха, так что генерал Дитятин долго мрачно смотрел и ждал, когда закончится этот недетский хохот! Такого изображения не было и не будет.

После ужина бывали сценки, например: цыганские пляски, пение, уличные музыканты, но это не то, что теперь. Иван Федорович изображал музыканта-шарманщика, а Арди — певицу, с предупреждением, что это петербургский двор — «колодезь» пятиэтажного дома. И начинали пение «Под вечер осени ненастной пустынным дева шла местам и тайный плод любви несчастной держала трепетным рукам»[9]. При этом они глядели все время вокруг и вверх — не открыта ли форточка, и когда

она открывалась и падал завернутый в бумажку пятак, Арди бросался на него, как ястреб бросается на добычу. Все это Арди проделывал страшно смешно и верно и вызывал хохот. Смеялся и Федор Михайлович, но до сих пор помню его лицо; то он смеялся, то мрачно, серьезно, скорей проникновенно смотрел, как бы видя воочию эту несчастную деву и этот, с самого рождения, несчастный плод любви. Ведь он всегда смотрел особенно. Взгляд его был проницателен, и казалось, что он все видит насквозь и читает душу. И удивительно странно он действовал на меня! Я понимала, что это удивительный писатель, что это наша слава. Все это я понимала, но сама этого оценить в полноте не могла, то есть совершенно не могла его читать. Прочла, по приказу Д. В. Григоровича, его «Неточку Незванову», — понравилось, но не особенно, прочла «Преступление и наказание», страшно подействовавшее на меня, но не переживанием души Раскольникова, а просто страхом за него, чтобы он не выдал себя, когда он, несчастный, был под наблюдением сыщика. Тут тонкий анализ Достоевского исчезал для меня, и Раскольников был для меня только затравленным зверем. Остальные его романы тогда вовсе не могла одолеть: прямо моя натура не могла их переварить и я не могла их понять.

Своеобразные герои Достоевского были чужды мне. Моя совершенно здоровая и нормальная натура и уравновешенная психика, чуждая всякой мистике, мешала мне понять героев Достоевского. Я любила все ясное и определенное: любовь так любовь, ненависть так ненависть, а у него все так запутано... Герои казались мне все какими-то нездоровыми или ненормальными, и, будучи сама здоровой и нормальной, судя о других по себе и прилагая их действия к себе, я совершенно запутывалась, как в лесу, с ними и не могла понять и разделять с ними их жизнь. Я бежала из этого густого и мрачного леса на ясные поляны к Тургеневу, Толстому, Гончарову, где мне все было естественно, просто и близко сердцу.

Это, может быть, я пишу себе обвинение. Достоевский признан всем миром, но я, почитая его память, как великого мыслителя, не фальшивя перед самой собою, не могу сказать иначе. Очевидно, такой тонкий анализ, такой глубокий не мог быть оценен таким простым и обыкновенным человеком, каким была я.

Помню еще Ф. М. Достоевского и Ивана Сергеевича Тургенева, читавших в одном из собраний, и помню успех их обоих и любовь к ним публики, но и тут Достоевский

одержал верх [10]. Тургенев прочел «Стучит» и потом прочел с М. Г. Савиной сцену из «Провинциалки», где Мария Гавриловна прямо неподражаема, разыгрывает эту роль, точно плетет тончайшее кружево. Видела и других артистов в этой роли, но и близкого ничего нет. Помню, как Савина вывела И. С. Тургенева на сцену. Тургенев очень сначала конфузился, и Савина его все подбодряла сначала, потом он, очевидно, попал под влияние очаровательной провинциалки, и они оба заражали друг друга, и публика была очарована этим исполнением. Тургенев читал графа Любина, это был незабвенный дуэт! Вызовам и восторгам не было конца. Выходили на вызовы вместе, и все время Савина выводила своего великого партнера. Под конец ей удалось вырвать свою руку из руки Тургенева, отбежать от него несколько и самой горячо аплодировать своему любимому автору. Конечно, аплодисментам и восторженным крикам не было конца, и опять казалось, что дальше идти некуда проявлению восторга! Но — показался Достоевский! Опять все заколыхалось, опять толпа как-то наэлектризовалась и с затаенным вниманием слушала его чтение.

Он читал главу из «Братьев Карамазовых» — «Исповедь горячего сердца», здесь Митя рассказывает своему брату, как пришла к нему, после больших колебаний, Екатерина Ивановна просить денег, чтобы спасти ее отца. Заключительные слова этой сцены, где Екатерина Ивановна потрясена великодушием Мити, в чтении Достоевского произвели потрясающее впечатление. «Она вся вздрогнула, посмотрела пристально, страшно побледнела, ну как скатерть, и тоже ни слова не говоря, не с порывом, а мягко так, глубоко, тихо склонилась вся и прямо в ноги, лбом до земли, не по-институтски... по-русски». И вот эти-то последние фразы — *в ноги... по-русски!* Последние слова Достоевский не прочел, а таким проникновенным, каким-то восторженным возгласом крикнул. Зал мгновенно, с оглушительным «браво», весь встал, и казалось, что, если бы не мешали стулья, также истово, в ноги, по-русски поклонился бы ему, как Екатерина Ивановна, до земли.

Долго крики восторга не смолкали, и долго Федор Михайлович стоял перед восторженной толпою, тяжело дыша, как бы сам переживая терзания своих героев.

Такова сила его таланта!

Помню еще о Федоре Михайловиче рассказ мужа, только что вернувшегося от Достоевского под сильным,

тяжелым впечатлением. Он застал Федора Михайловича только что после жесточайшего, как он назвал, припадка. Он еще даже лежал на своем кожаном диване, все еще потрясенный и неотдохнувший, с потным лбом, лихорадочными глазами и совсем еще слабою речью. Муж был взволнован его видом и не мог решиться заговорить с ним. Федор Михайлович сам начал рассказывать, как это ужасно, как он упал и что, слава Богу, не расшибся. Муж участливо расспрашивал о возможности принимать какие-либо меры для предупреждения несчастного падения и не заметил ли Федор Михайлович каких-нибудь признаков, предчувствий приближения припадка?.. «Нет, — отвечал Федор Михайлович, — разве только мне на мгновение показалось, вот там, в углу, — и он показал рукою на противоположный угол комнаты, — вот там сгустился какой-то мрак... и я упал...»

Этот рассказ, помню, произвел самое ужасное, тяжелое впечатление на всех нас.

М. А. ПОЛИВАНОВА

<ЗАПИСЬ О ПОСЕЩЕНИИ ДОСТОЕВСКОГО 9 ИЮНЯ 1880 ГОДА>

Кончились Пушкинские дни. После шума, хлопот, забот и потрясающих великих минут настало бездействие, воцарилась тишина, и только дрожали еще струны души, в которые ударились мощные волны чудной речи Достоевского, произнесенной накануне, 8-го июня, в Благородном собрании. Меня тянуло взглянуть еще раз на пего, услыхать его голос, внимать его словам.

Был девятый час вечера. «Поздно, думаю, как я войду?» Но вдруг вспомнила, что завтра он должен уехать. «Будь что будет!» — и отправилась в Лоскутную гостиницу близ Иверских ворот. Вечер был теплый, накрапывал дождь.

В гостинице тишина, точно все вымерло. Я поднялась по коврам в коридор и слышу только стук сердца своего. Коридорный спросил меня шепотом, как обо мне доложить. Я сказала. Он постучался, а у меня помутилось все в глазах.

— Да кто такой? — раздался голос Достоевского. Коридорный с к а з а л . — Проси.

Я вошла в маленький, тесный номер. На столе самовар. Сам Федор Михайлович стоял передо мной в валяных сапогах, в каком-то старом пальто, в ночной сорочке. Он стал извиняться, что принимает меня в таком наряде.

— Что это вы, Федор Михайлович? — сказала я. — Извините вы меня, что я в такой поздний час тревожу вас.

— Чем могу я вам служить?

— Я пришла к вам просить вас об одной м и л о с т и , — сказала я.

Тут он засуетился, собственноручно усадил меня и кресло, приговаривая:

— Что это вы, какой это милости? Ах, господи!

— Дайте мне списать вашу речь, Федор Михайлович, прошу вас об этом.

— Вот не могу. Во-первых, ее взяли у меня сегодня в два часа в редакцию «Московских ведомостей», а во-вторых, я еду завтра утром в восемь часов, и вы не успели бы ее списать. Она ведь очень длинна.

— Я всю ночь сидела бы и писала и к восьми часам, верно, кончила.

— А что сказал бы ваш муж на это? Нет, матери семейства нельзя сидеть по ночам. Я строго смотрю, чтобы жена моя уже спала к двенадцати часам. Зачем вам списывать речь мою? Она появится в «Московских ведомостях» через неделю, а потом издам выпуск «Дневника писателя», единственный в этом году и состоящий исключительно из этой речи[1]. Не угодно ли вам чаю?

Я очень обрадовалась приглашению и предложила свои услуги, но Федор Михайлович объявил, что он сам нальет. Он сел на диван и заварил чай. Я стала ему говорить о впечатлении, произведенном его речью.

— Вы слишком меня хвалите. Вы очень добры. Боюсь я только, что это все скоропреходяще, что это временно. А не хотелось бы мне этого, не хотелось бы мне, чтобы идея моя пропала. Дай Бог, чтобы поняли меня, потому что в речи моей есть мысль.

Я стала ему говорить о нравственном подъеме, вызванном его речью, о том, как все злобное, нечистое, ненавидящее отхлынуло, как люди рады были дать волю своим добрым чувствам, отомкнутым им. Я прибавила, что убеждена в том, что многие, слышавшие его в этот день, стали лучше. Федор Михайлович схватил мою руку и со слезами на глазах повторял, что это его лучшая «награда», что ничего ему более не надо.

— Вы правду говорите, — сказал он, — я сам видел, как мирились люди, ненавидевшие друг друга. Два седых старика помирились, после того как двадцать лет жили во вражде. Да в какой! Где только могли, там вредили они один другому, ночь не спали, а думали, как бы почувствительнее затронуть другого; а тут один из них уверял меня, что теперь точно ничего и не было, вся ненависть пропала у него[2].

В это время вновь постучали в дверь, и вошел Сергей Андреевич Юрьев. Я сидела точно в каком-то чаду и сама себе не верила, что все, что я вижу и слышу, действительность. Я удивлялась своей смелости, удивлялась тому, что мне так легко с этим человеком!

Юрьев, увидев меня, объявил Федору Михайловичу, что я большая поклонница его, что и дочь его[3] также

глубоко его уважает, что она просилась с ним сюда, но он ее не взял, потому что у нее голова еще болит после вчерашнего дня.

— Федор Михайлович, я приехал за вашей речью для нашего журнала. Ведь вы обещали ее мне[4].

— Нет, Сергей Андреевич, я не обещал: я вам сказал, что подумаю, так как Катков также желал ее иметь. Сегодня в два часа я отдал ее Каткову, а завтра в шесть часов мне принесут корректуру, а в восемь я уезжаю.

Юрьев на это только промычал, что, мол, «вы ее обещали мне», но ничего не сказал против Каткова. Федор Михайлович стал ему объяснять, почему он отдал Каткову.

— Газета — это хлам, — говорил он, — нет возможности сохранить номера. Вы знаете ведь мою Анну Григорьевну (его жена), как она аккуратна. Мне нужно было сохранить несколько номеров «Голоса». Сначала сохранялись, а потом все растерялись. Вот явится моя речь в газете, ее прочтет гораздо большее число людей, а потом, в августе, выпущу ее в единственном выпуске «Дневника писателя» и пущу номер по двадцати копеек.

— За сколько отдали вы ее Каткову?

— За пятьсот рублей, а потом еще выручу в августе рублей триста, а может быть, и больше. Отдав ее вам, я потерял бы и читателей и не мог бы ее напечатать от себя.

— Напрасно, напрасно вы так думаете, Федор Михайлович. Мы за деньгами не постояли бы, мы вам дали бы семьсот и согласились бы на то, чтобы вы ее напечатали после.

— Ну, успокойтесь, Сергей Андреевич, — сказал Достоевский, — это дело сделано, но я очень доволен тем, как оно устроилось. А пятьсот рублей хорошая цена. Я не могу не обращать внимания на денежную сторону. Ведь я больной человек, а у меня семья. С чем я их оставлю? Я каждую минуту могу умереть, и поэтому, пока я жив, я должен думать о том, чтобы судьбу их обеспечить.

Юрьев промычал что-то такое утвердительное на это. Потом перешел разговор к редакции «Русской мысли», и Достоевский высказал недоверие к сотрудникам этой редакции, причем трепал Юрьева по руке и повторял только, что ему «не нравится, не нравится», что это «не то, вовсе не то», что нет «единства» в журнале, что сотрудники противоречат друг другу и пишут часто совсем противоположное тому, что журнал ставит себе

задачею: «нет места уступкам и сделкам, где есть идея», говорил он. Юрьев между тем скрипел, хрипел, называл Гольцева, но ничего не выходило.

Заговорили опять о Пушкинских праздниках, о Пушкине. Достоевский оживился несказанно.

— Мы пигмеи перед Пушкиным, нет уж между нами такого гения! — восклицал он. — Что за красота, что за сила в его фантазии! Недавно перечитал я его «Пиковую даму». Вот фантазия! Мне самому хочется написать фантастический рассказ. У меня образы готовы. Надо только кончить «Братьев Карамазовых». Очень затянулись они.

— Федор Михайлович, — подхватил Юрьев, — если напишете что-нибудь, то обещайте это «Русской мысли», прошу вас об этом.

— Ах, Господи, ведь я сам буду издавать «Дневник писателя» с нового года, Сергей Андреевич. Как же мне быть! Право, не знаю. Впрочем, у меня материала много, много для «Дневника писателя». Об одном Пушкине не наговоришься. Обещаю вам, *если напишу*; непременно же написать не обещаю.

Юрьев приставал, чтобы Федор Михайлович дал честное слово. Тот трепал только его по руке и повторял:

— Ведь уж сказал и сдержу: пусть Марья Александровна будет свидетелем.

Я улыбнулась и взглянула ему в глаза. Массивный растрепанный Юрьев казался мне таким незначительным рядом с этим маленьким, тщедушным человечком, великая душа которого то горела огнем в его глазах, то озаряла кроткой веселостью его бледное, изможденное лицо. Мне все хотелось сказать, что *он* пророк, а не Пушкин.

Юрьев все не знал, в какой тон попасть. Ему, очевидно, неловко было перед Достоевским. В разговоре объяснилось, что Юрьев обедал в этот день у нас, между тем как Достоевский должен был обедать у него. Он ездил на 4-ю Мещанскую и не застал Юрьева, говорил, что устал и потерял время. Юрьев, конечно, стал извиняться, припоминал, путал, но Федор Михайлович объявил, что это ничего не значит, не нарочно же «убежал» Юрьев от него.

— Не могу не любить этого человека, — говорил он. — На депутатском обеде ведь совсем рассердился на него. Если бы вы слышали, Марья Александровна, как он унижал Россию перед Францией[5]. Французы должное оказали великому русскому поэту, а мы удивляемся этому, носимся и чуть ли не делаем героем дня французского

депутата. Я, знаете, даже отвернулся от него во время обеда; сказал, что не хочу быть знакомым с ним.

— Вы всё за фалды меня дергали, — вставил Юрьев.

— Я хотел вас остановить, но вы не обращали внимания. Я очень сердит был, а после обеда не мог, пошел к нему и помирился. Не понимает он, что он делает. — Тут оба обнялись и поцеловались.

Какая-то газета лежала на диване. Достоевский вдруг схватил ее и прочел скабрезный случай в одном из шато-де-флер под Москвой. Я не помню, что именно там случилось, но Достоевский весь дрожал от негодования. Он возмущался, что не пишут об этом, не бьют в колокола, что позволяют такие представления на сцене.

— Ведь туда и гимназистик забредет, и проезжий отец с дочерью пойдет. Ведь их души там марают, и, может быть, тут именно падет семя будущего зла. Главное, целомудрие оскверняется, похищается. Вся надежда наша — это молодежь, это подрастающие детки. Мы надеемся, что они будут лучше нас, и мы сами виноваты, никто более, если это будет не так. — Он весь заходил и затрепетал и удивлялся индифферентизму общества.

Пробило одиннадцать часов. Юрьев поднялся, а Достоевский стал старческим капризным голосом причитывать, что ему укладываться нужно в дорогу. Юрьев предложил свои услуги: он все ему уложит, только Достоевский не трудился бы. Но услуги эти были отклонены улыбкой, которая говорила: «Никто никогда мне не укладывает. Я всегда сам. Я люблю знать, где что лежит. У меня эта привычка еще с каторги, где за каждую вещь должен был отчет давать, так как они казенные». Я чувствовала, что и мне пора, но мне не хотелось идти вместе с Юрьевым, хотя и встала. Юрьев обнимал Достоевского, говорил о свидании, напомнил о фантастическом рассказе. Тут снова встрепенулся Достоевский. Точно в лихорадке, с блеском и глазах, он стал говорить о «Пиковой даме» Пушкина. Тонким анализом проследил он все движения души Германна, все его мучения, все его надежды и, наконец, страшное, внезапное поражение, как будто он сам был тот Германн[6]. Рука Достоевского лежала в руке у Юрьева, но говорил он все время, обращаясь ко мне. Мне казалось, что я в том обществе, что предо мной Германн, меня самое била нервная лихорадка, и я сама стала испытывать все ощущения Германна, следя за Достоевским. Он спросил меня, читала ли я «Пиковую даму». Я сказала, что читала ее, когда мне было семнадцать лет, а после никогда не приходилось.

— Прочитайте ее, как только приедете домой. Вы увидите, что́ это. Напишите мне ваши впечатления[7]. Я буду в Старой Руссе до половины сентября, а потом поеду в Петербург. Нам далеко до Пушкина. Пигмеи мы, пигмеи мы.

Юрьев простился окончательно и ушел. После этого и я стала собираться.

— Кланяйтесь Льву Ивановичу и извините меня, что я не был у него проститься. Ведь я знаю, он сегодня спал до одиннадцати часов, отдохнул. А я, после вчерашнего дня, всю ночь не спал, сердце все билось, не давало спать, дыхание было несвободное. А вас очень, очень благодарю, что приехали ко мне.

Он говорил это все так сердечно, так ласково. Я сказала ему, что считаю себя счастливой, имев случай не только видеть, но слышать его, беседовать с ним, что давно мечтала о том.

— Дай вам Бог всего лучшего. До свидания, — сказал он, и я ушла счастливая, твердо надеясь, что увижу его опять.

Я ничего уж не могла более говорить от волнения... Не помню, как вышла, как села на извозчика, как завезла Юрьева, который стоял на тротуаре и просил меня завезти его к Гилярову-Платонову.

В. А. ПОССЕ

ИЗ КНИГИ «МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

Достоевский в это время писал и печатал в «Русском вестнике» свой последний роман «Братья Карамазовы»[1].

Очередные книжки журнала, по своему направлению мне чуждого и даже враждебного, ожидались мною с каким-то сладостно-тревожным волнением исключительно из-за романа Достоевского.

Казалось, что жизнь Карамазовых и всех лиц, связанных с ними, еще только развертывается, бурлит, поднимается, опускается, рвется и вновь завязывается где-то очень далеко и очень близко, в каком-то неведомом и родном городе.

Об этой жизни оповещает какой-то родной и неведомый летописец душ человеческих, сам не знающий дальнейшего хода событий, не знающий развязки сложных драм и трагедий, заставляющих трепетно биться его обнаженное сердце.

Чем спокойнее была внешняя форма повествования, тем сильнее волновало его содержание.

Достоевский не столько овладевал моею душою, сколько будоражил, бунтовал ее, вздымая муки и радости, упования и сомнения, сокрытые в самых глубоких тайниках ее.

В увлечении Достоевским я сходился с Алексеем (Антонием) Храповицким, но воспринимали мы его совершенно различно.

Алексея Храповицкого Достоевский укреплял в христианстве, православии, монашестве, меня он укреплял в атеизме, во мне он зарождал анархизм. Алексей Храповицкий ходил к Достоевскому и подолгу беседовал с ним. Друзья Храповицкого думали, что с него он пишет Алешу Карамазова[2].

Я не ходил к Достоевскому: мне казалось недопустимой дерзостью беспокоить его. Но я все же видел и слышал его.

Это было осенью 1880 года, в Петербурге, на литературном вечере в зале Кредитного общества[3].

В этом вечере, устроенном в пользу Литературного фонда, участвовало много известных литераторов, считав-

шихся хорошими чтецами. Но я хорошо помню только Достоевского, помню так, что могу в любой момент вызвать в своей душе его образ, его голос, его манеру говорить.

На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но непоседевшие волосы аккуратно причесаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо.

В первую минуту, взглянув на Достоевского, я почему-то вспомнил свою старушку-няню, немного умилился, немного разочаровался. Но только в первую минуту.

Не успел он раскрыть книгу, по которой должен был читать, как я уже почувствовал силу его удивительных глаз, тревожных и взывающих.

Светлые глаза Толстого буравили того, на кого обращались. Темные глаза Достоевского всех звали заглянуть в тайники его раздвоенной, его непримиренной души.

Сначала Достоевский прочел сцену между Чичиковым и Собакевичем из «Мертвых душ» Гоголя. Именно с Гоголя он и должен был начинать. Но лучше бы не с «Мертвых душ», а с «Шинели». Прямо из гоголевской «Шинели» вышел его первый роман «Бедные люди»[4].

Слабый огонек человечности, заложенный Гоголем в душу забитого Акакия Акакиевича, Достоевский раздул в вихрь искр любви, жалости, сорадости и сострадания, рвущихся из души забитого Макара Алексеевича Девушкина.

«Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив». Так начинается первое письмо Девушкина.

«Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя, вас увозят, вы едете! Да теперь лучше бы они сердце из груди моей вырвали, чем вас у меня...» Так начинается его последнее письмо.

Девушкин был родной Достоевскому. Но Достоевский мог понять и таких совершенно чуждых ему людей без человеческих чувств, как Чичиков и Собакевич.

Читал Гоголя Достоевский чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актерски.

Думаю, однако, что ни один актер не сумел бы так ярко оттенить внешнюю противоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича при внутреннем единстве на основе тупой корысти.

За Гоголем следовал Алексей Толстой. Достоевский выбрал былину об Илье-Муромце[5].

Раздалось сердитое ворчание обиженного князем мужика-богатыря. И не был ли этот «богатырь» такой же тщедушный с виду и такой же непомерно выносливый и сильный, как читавший о нем каторжанин?

Как-то особенно светло, с просветленным лицом, прочитал он две последние строфы:

...И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор.

За Алексеем Толстым — Некрасов.

Некрасов стоял в лагере, враждебном Достоевскому, но Достоевский не мог разлюбить Некрасова, как он разлюбил и даже возненавидел Белинского[6].

Души Некрасова и Достоевского, души раздвоенные, надрывные, неизменно влеклись друг к другу.

Прочел Достоевский одно из первых стихотворений Некрасова, стихотворение его молодости, начинающееся словами:

Когда из мрака заблужденья...[7]

И как прочел!.. Такого чтения я никогда больше не слыхал. В нервной игре бледного лица — страдание и восторженность, голос мягкий, слегка певучий. Слова нежно, молитвенно вырываются из глубины души, из глубины сердца.

Публики нет перед ним. Обращается прямо к страдающей душе, разбуженной «горячим словом убежденья», к душе женщины падшей и в то же время святой. Высоким напряжением любовного чувства преодолевает мучительный надрыв и голосом звенящим, голосом победы зовет прийти к нему и «смело», и «свободно».

...В душе болезненно пугливой
Гнетущей мысли не таи,
Скорбя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи к груди.
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди.

Смело и свободно ударил призыв в сердца всех присутствующих, и не было больше «толпы пустой и лживой»... раскрылись души скорбные и любящие.

От этого призыва новый подъем к «Пророку» Пушкина, гений которого Достоевский воспринимал так чутко и восторженно.

Слушая «Пророка», казалось, что это к Достоевскому на перепутье русской жизни явился серафим. *Его* «очей коснулся он» — и «разверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы».

Его «ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон», и внял Достоевский «неба содроганье, и горний ангелов полет, и дольней лозы прозябанье, и гад морских подводный ход».

У *него* вырвал он «язык и празднословный и лукавый, и жало мудрыя змеи в уста замершие вложил десницею кровавой».

Ему «он грудь рассек мечом», но... увидев трепет бедного, страдающего сердца, серафим отказался выполнить последний завет пославшего его Бога. Он не вырвал человеческое сердце и выронил из рук пророческий «угль, пылающий огнем».

И пошел по миру не пророк, глаголом жгущий сердца людей, а *человек* с глазами испуганной орлицы, человек, надрывающийся под тяжестью неизбывного людского горя, человек с рассеченною грудью и обнаженным сердцем.

Через несколько месяцев после этого вечера я шел за гробом Достоевского в торжественной процессии, неся на древке один из многочисленных венков.

Впереди высшее православное духовенство, затем колыхающийся над молодыми обнаженными головами гроб, за ним группа друзей, и среди них вдова в глубоком трауре, с детьми покойного, а дальше бесконечной вереницей делегации старых и молодых, больше молодых и совсем юных.

Колышутся венки. Развеваются ленты, черные, белые, красные. Золотые буквы говорят о «Бедных людях», «Униженных и оскорбленных», «Преступлении и наказании», о «Мертвом доме».

Разливаются по морозному воздуху печальные погребальные песни.

Я шел и думал о другой процессии, которая за тридцать три года перед тем шла по тем же улицам, но в обратном направлении, к Семеновскому плацу, где были приготовлены столбы для расстрела.

Думал о тех трагических пяти минутах, которые Достоевский пережил, ожидая казни.

Е. П. ЛЕТКОВА-СУЛТАНОВА

О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Из воспоминаний

Это было в зиму 1878—1879 года. У Я. П. Полонского и его жены Жозефины Антоновны уже были тогда их знаменитые «пятницы», и Яков Петрович как-то сказал мне ласково и внушительно:

— Вы непременно должны быть у нас в эту пятницу... Не пожалеете! На этот раз будет особенно интересно...[1]

Жили тогда Полонские на углу Николаевской и Звенигородской, окнами на Семеновский плац.

В прихожей меня поразило количество шуб, висевших на вешалке и лежавших горой на сундуке, обилие галош и шапок, и рядом с этим полная тишина, полное отсутствие человеческих голосов.

— А-а!.. Пожалуйте! — приветливым шепотом встретил меня Яков Петрович на пороге первой комнаты. — Пожалуйте!..

Он по-дружески взял меня под локоть, провел через пустую залу с накрытым чайным столом и пропустил во вторую комнату.

Здесь у среднего из трех окон стоял кто-то, а вокруг его сплошной стеной толпились мужчины и нарядные женщины, старые и молодые, — и молча слушали. В первую минуту я могла только расслышать глухой, взволнованный голос:

— Холодно!.. Ужасно холодно было!! Это самое главное. Ведь с нас сняли не только шинели, но и сюртуки... А мороз был двадцать градусов...

И вдруг, в промежутке между стоявшими передо мной людьми, я увидела сероватое лицо, сероватую жидкую бороду, недоверчивый, запуганный взгляд и сжатые, точно от зябкости, плечи.

«Да ведь это Достоевский!» — чуть не крикнула я и стала пробираться поближе. Да! Достоевский!.. Но

совсем не тот, которого я знала по портретам с гимназической скамьи и о котором на Высших курсах Герье[2] у нас велись такие оживленные беседы. «Тот» представлялся мне большим, ярким, с пламенным взглядом, с дерзкими речами. А этот — съежившийся, кроткий и точно виноватый. Я понимала, что передо мной Достоевский, и не верила, не верила, что это он; он — не только великий писатель, но и великий страдалец, отбывший каторгу, наградившую его на всю жизнь страшной болезнью.

Но когда я вслушалась в то, что он рассказывал, я почувствовала сразу, что, конечно, это он, переживший ужасный день 22 декабря 1849 года, когда его с другими петрашевцами поставили на эшафот, на Семеновском плацу, для расстрела.

Оказалось, что Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

— Узнаете, Федор Михайлович?

Достоевский заволновался...

— Да!.. Да!.. Еще бы... Как не узнать?..

И он мало-помалу стал рассказывать про то утро, когда к нему, в каземат крепости, кто-то пришел, велел переодеться в свое платье и повез... Куда? Он не знал, как и не знали его товарищи... Все были так уверены, что смертный приговор хотя и состоялся, но был отменен царем, что мысль о казни не приходила в голову. Везли в закрытых каретах, с обледенелыми окнами, неизвестно куда. И вдруг — плац, вот этот самый плац, под окном у которого сейчас стоял Достоевский.

Я не слышала начала рассказа Федора Михайловича, но дальше не проронила ни одного слова.

— Тут сразу все поняли... На эшафоте... Чей-то чужой, громкий голос: «Приговорены к смертной казни расстрелянием»... И какой-то гул кругом, неясный, жуткий гул... Тысячи красных пятен обмороженных человеческих лиц, тысячи пытливых живых глаз... И все волнуются, говорят... Волнуются о чем-то живом. А тут смерть... Не может этого быть! *Не может!..* Кому понадобилось так шутить с нами? Царю? Но он помиловал... Ведь это же хуже всякой казни... Особенно эти жадные глаза кругом... Столбы... Кого-то привязывают... И еще мороз... Зуб на зуб не попадал... А внутри бунт!.. Мучительнейший бунт... Не может быть! Не может быть, чтобы я, среди этих тысяч живых, — через каких-нибудь пять—десять минут уже не существовал бы!.. Не укладыва-

лось это в голове, и не в голове, а как-то во всем существе моем.

Он замолчал и вдруг совершенно изменился. Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро.

— Не верил, не понимал, пока не увидал креста... Священник... Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали... Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию... Это я совершенно ясно сознавал... Смерть неминуема. Только бы скорее... И вдруг напало полное равнодушие... Да, да, да!! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль... Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то... в неизвестное, в темноту... Я простился с Алексеем Николаевичем *, еще с кем-то... Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. «Гробы!» — шепнул он мне... Помню, как привязывали к столбам еще двоих... И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них... Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти... Именно тупое... И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо... Не было радости, не было счастья возвращения к жизни... Кругом шумели, кричали... А мне было все р а в н о , — я уже пережил самое страшное. Да, да!! Самое страшное... Несчастный Григорьев сошел с ума... [3] Как остальные уцелели? — Непонятно!.. И даже не простудились... Но...

Достоевский умолк. Яков Петрович подошел к нему и ласково сказал:

— Ну, все это было и прошло... А теперь пойдемте к хозяюшке... чайку попить.

— Прошло ли? — загадочно сказал Достоевский **.

Он стал точно восковой: желтовато-бледный, глаза ввалились, губы побелели и страдальчески улыбнулись. И мне ясно представился весь его крестный путь: эта пытка ожидания казни, замена ее каторгой, «Мертвый дом» со всеми его ужасами: никогда не снимаемыми

---

* Плещеевым. (*Примеч. Е. П. Летковой-Султановой.*)

** Когда я записала этот вечер у Полонских и, — всегда боясь «достоверных свидетельств», прочла Якову Петровичу, чтобы проверить, так ли передала я слова Достоевского, Яков Петрович добавил, что последняя фраза Федора Михайловича: «Прошло ли?» — намекает на его болезнь (падучая), развившуюся на каторге, но зародившуюся, как он предполагал, на эшафоте... [4] (*Примеч. Е. П. Летковой-Султановой.*)

кандалами (даже в бане), грязью и вонью камер, с самодурством надзирателей; и все вынес вот этот маленький человек, показавшийся мне вдруг таким большим среди всех нас, окружавших его.

И я забыла про различие направлений и политических идеалов, о которых так много говорилось у нас на Высших курсах среди молодежи, забыла о «Бесах», которых мы все ненавидели[5]. Я сознавала только то, что передо мной стоял *Достоевский.* Чувство невероятного счастья, того счастья, которое ощущается только в молодости, охватило меня. И мне захотелось броситься на колени и поклониться его страданию...

Его сейчас же окружили его знакомые, и он добродушно отвечал дамам, усадившим его за стол между собой, и отвечал на их обыкновенные комнатные слова такими же обыкновенными комнатными словами. Кругом все разом заговорили — о своем, о чужом. Яков Петрович подводил всех к столу, усаживал пить чай и шел встречать новых гостей; Жозефина Антоновна ласково улыбалась подходившим к ней поздороваться и угощала чаем. Точно не случилось ничего необыкновенного...

Я смотрела на Достоевского, и мне казалось, что он стал совсем другим — и похожий, и непохожий на того, что стоял у окна, как бывают не похожи два фотографических снимка с одного и того же лица. Он равнодушно отвечал что-то своей соседке и со сдержанной улыбкой передал ей сухари...

Вскоре после этого был назначен очередной литературный вечер Литературного фонда в бывшем Кононовском зале. Участвовали, как всегда, литературные корифеи, в том числе и Федор Михайлович Достоевский[6].

Я пошла не без волнения послушать, как читает Федор Михайлович. И действительно, все мои ожидания не только оправдались, но и превзошли всё, что я воображала. Передо мною был опять великий писатель, страдавший в своих писаниях не только за меня, за нас, но за всех людей. Когда он читал «Пророка», казалось, что Пушкин именно его и видел перед собой, когда писал: «Глаголом жги сердца людей».

Аплодисменты и неистовые крики были такими ненужными и назойливыми после его тихого, внутреннего

голоса. Я вышла из залы и наткнулась на П. И. Вейнберга, всегдашнего устроителя этих вечеров.

— Пойдемте в артистическую, — сказал он. — Там найдете ваших знакомых.

И действительно, я наткнулась прямо на Григоровича и Гончарова, которых встречала часто у моей сестры Ю. П. Маковской.

Достоевский сидел в стороне, один, усталый, раздавленный. Я не решалась подойти к нему, сомневалась, запомнил ли он меня. Но когда он взглянул в мою сторону и я поклонилась ему, он встал, и я подошла к нему. У него была какая-то особая «светская» манера подавать руку, внимательно-сдержанная учтивость и условность тона, какая всегда бывает, когда говоришь с малознакомым человеком. Мне было совестно, что он, такой утомленный, все-таки встал с кресла, и я сказала:

— Сядьте, пожалуйста, сядьте, Федор Михайлович.

Но он не сел и, точно чтобы только сказать что-нибудь, с особой любезно-иронической усмешкой проговорил:

— Слышал от Якова Петровича, что вы пописываете...

— Готовлюсь, Федор Михайлович.

— Постом и молитвою? — все с той же иронией сказал он.

— Почти.

Он как-то неожиданно серьезно проговорил:

— Вот это хорошо... Так и надо.

И опять он показался мне «иным». В нем как-то сочетались два разных человека, и потому получались совершенно разные — я бы сказала — противоположные впечатления.

Подошел шумный Григорович и, не считаясь с настроением Достоевского, взял его за руку и сказал:

— Горло промочить, Федор Михайлович...

Увидя меня, он по-приятельски (он был особенно близок с моим зятем К. Е. Маковским, и мы очень часто видались) взял меня под руку и повел к чаю.

В «артистической» был накрыт стол, и за ним сидели участники этого вечера. И меня посадили между ними... Петр Исаевич Вейнберг незадолго перед смертью, — значит, лет через двадцать пять — тридцать, — вспоминая об этом вечере, смеялся над моим тогдашним «восторженным» видом и «ожидающими откровения глазами»...

Это было первое допущение меня в литературную среду, конечно, не в качестве равной среди равных, но уже

в качестве своего человека, никого не стесняющего. Я никому не мешала, и мне никто не мешал слушать и запечатлевать все в сердце и в голове.

Заговорили о Балканах, о «братушках», о нашей миссии на Востоке, по поводу известной картины «Скобелев перед войсками», где белый генерал мчится на белом коне перед окаменевшими полками[7]. Достоевский молчал. Турецкая война, воспламенившая вначале даже таких людей, как сотрудники «Отечественных записок», скоро всколыхнула со дна столько мутных осадков и человеконенавистнических инстинктов, что отношение к ней было не только критическим, но прямо враждебным[8].

— «Крест на святой Софии»?.. — с гневно подчеркнутой иронией кричал Григорович.

Достоевский встал и отошел в сторону.

Позвонил звонок. Антракт был кончен. Началось второе отделение, и все, или почти все, пошли слушать какую-то певицу. Достоевский взял шапку, чтобы незаметно уйти; мне показалось, что я уже никогда в жизни не увижу его, и я смело подошла к нему.

И вот что у меня записано в книжке 1879 года:

«Достоевский сказал: «Никогда не продавайте своего духа... Никогда не работайте из-под палки... Из-под аванса. Верьте мне... Я всю жизнь страдал от этого, всю жизнь писал торопясь... И сколько муки претерпел... Главное, не начинайте печатать вещь, не дописав ее до конца... До самого конца. Это хуже всего. Это не только самоубийство, но и убийство... Я пережил эти страдания много, много раз... Боишься не представить в срок... Боишься испортить... И наверное испортишь... Я просто доходил до отчаяния... И так почти каждый раз...»

Помню, как потрясли меня эти слова. Федор Михайлович был особенно нервный в тот вечер. Вероятно, шумный успех, пламенное чтение Пушкина, наконец, страшно больной для него вопрос — славянский вопрос — до того взволновали его, что он мог так горячо и искренно говорить с совершенно незнакомой ему девушкой, подошедшей к нему как к другу, как к брату.

Несколько дней после того вечера я ходила как-то особенно взволнованная и решила отправиться на квартиру к Федору Михайловичу. Зачем пойти? — не отдавала себе отчета, но чувствовала потребность еще услышать его.

Случайно у Маковских, в один из этих дней, обедал И. А. Гончаров, и когда я незаметно свела разговор на

Достоевского, он сказал вяло, равнодушно, как всегда, как бы не придавая значения своим словам:

— Молодежь льнет к нему... Считает пророком... А он презирает ее. В каждом студенте видит ненавистною ему социалиста. В каждой курсистке... [9]

Гончаров не договорил. Хотел ли сказать какое-нибудь грубое слово, да вспомнил, что и я курсистка, и вовремя остановился, — не знаю.

Я не пошла к Федору Михайловичу.

Скоро я уехала домой, в Москву, увозя с собой образ Достоевского — великого писателя, к которому прибавился еще ореол мученика. Я, конечно, знала биографию Достоевского и с этой стороны, но читать про человеческие муки — это одно, а слышать от него самого, вложить, так сказать, персты в раны — это другое. И я решила ничего не говорить о Достоевском на курсах, чтобы не поднимать горячих споров об его ретроградстве, славянофильстве, обо всем том, что ставила ему в упрек тогдашняя молодежь.

Но это было трудно. Достоевский занимал слишком большое место в общественной и политической жизни того времени, чтобы молодежь так или иначе не отзывалась на его слова и приговоры. В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер «Дневника писателя» давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому «еврейскому вопросу» [10], отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, — в «Дневнике писателя» было совершенно неприемлемо и недопустимо: «Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир...» Все эти слова взрывали молодежь, как искры порох. Достоевскому ставили в вину, что турецкую войну, жестокую и возмутительную, как все войны, он приветствовал с восторгом. «Мы необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его... Россия — предводительница православия, покровительница и охранительница его... Царьград будет наш...»

Все эти слова принимались известной частью общества с энтузиазмом, — молодежь же отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его

проповедь «союза царя с народом своим», его оправдание войны и высокомерие... «если мы захотим, то нас не победят!!».

Турецкая война с ее сомнительными героями и никому не нужными жестокими геройскими подвигами (вроде Шипки) еще продолжала волновать общественную совесть. Вначале, когда в ней видели народную инициативу и протест против правительства, когда казалось, что она поможет разрешить и наши проклятые вопросы, то есть попросту ускорить взрыв революции, Балканский вопрос привлекал к себе симпатии и крайней левой части общества: «Отечественные записки» уделяли ему сочувственное внимание (Елисеев, Михайловский), а такие революционеры, как Степняк-Кравчинский, М. П. Сажин, Д. А. Клеменц и другие, даже принимали участие в добровольческом движении.

А рядом с ними шли сотни, тысячи никудышных людей, тех, кому некуда было деться в современной им действительности, шла и не желавшие нести какую бы то ни было работу или вояки в душе, жаждущие кровопролития. И они, как известно, так безобразно вели себя, что весною 1877 года сербское правительство в сорок восемь часов выгнало русских «волонтеров» из пределов Сербии[11]. Взгляды на «восточный вопрос» мало-помалу передвинулись, и печать как-то незаметно разделилась на два лагеря. Всем было ясно, к которому из них присоединится Достоевский.

В таком настроении застали его знаменитые Пушкинские дни. После долгих серых лет труднейшей работы русских писателей, после мрачного подполья — вдруг явилось какое-то всенародное признание литературы в лице великого Пушкина. Открытие памятника ему стало (может быть, даже и помимо воли устроителей) национально-общественным торжеством и разрослось в настоящее историческое событие.

Молодежь, хотя (уже надо покаяться!) тогда далеко стоявшая от Пушкина, встрепенулась. К тому времени, правда, Писарев уже был забыт, о «печном горшке» никто уже не говорил[12], но и о Пушкине не говорили. У нас (то есть у поколения 70-х годов) был Некрасов. Пушкина же любили «индивидуально». Конечно, все его читали, многие его строки входили в ту ненапечатанную «хрестоматию», которую создает себе каждое новое поколение. Но о нем не было повода говорить, пока не появился памятник на Тверском бульваре. Помню наше

возмущение по поводу того, что на одной из сторон цоколя оказалась переделанной строка Пушкина: вместо «И долго буду тем любезен я народу» высечено «И долго буду тем народу я любезен»...[13]

Причина та, что слово «народу» неизбежно бы притягивало сакраментальное слово «свободу»...

Помню, с каким восторгом мы распределяли полученные на курсах билеты «На открытие памятника Пушкину».

Я позволю себе привести здесь отрывки из моей записной книжки 1880 года.

Июньские дни 1880 года в Москве

7 июня.

Какой день был вчера? Говорят, утром шел дождь? Не заметила. Кажется, весь день светило солнце, а когда упал покров с Пушкина, оно так и рассыпалось на нас... Вся площадь была унизана плотно-плотно людьми... Мы забрались рано. У нас были прекрасные места: направо от памятника, у церкви, над забором. Всё видели отлично. Пока шла обедня в Страстном, на площади, у памятника, под колыхавшеюся на нем парусиной, шло никогда не виданное торжество. Знамена депутатов, значки цехов и на первом месте «литература». Какая радость для нас (курсисток) было видеть перед собою живыми таких близких, таких знакомых нам авторов. Что за прелесть эти длинные седые бороды, длинные волосы, оживленные лица, бодрые жесты. Они собрались все вместе налево у памятника: И. С. Аксаков, С. А. Юрьев, А. Н. Плещеев, А. А. Потехин, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, П. И. Вейнберг, Н. Н. Страхов, С. В. Максимов и, наконец, И. С. Тургенев. Вчера был их праздник: праздник русской мысли, русского слова, русского писателя... Все чувствовали это. Слились все возрасты, стерлись сословия... У всех одинаково блестели глаза, и у старых и у молодых, все чувствовали какое-то счастье...

...Когда спала завеса, скрывавшая памятник, у меня дух захватило; я уверена, что у всех также... и, конечно, не от красоты его, а потому, что тот, кем жила в ту минуту многочисленная толпа, появился над ней, среди нее. Кругом кричали, смеялись, плакали...

Тургеневу, когда он садился в коляску на площади, сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина. И в университете, куда мы сейчас же отправились на торжественное заседание Общества любителей русской словесности, — опять Иван Сергеевич был центром внимания. Избрание его в почетные члены было встречено с такими радостными кликами, каких, конечно, не слыхали еще стены университета[14].

...Речь нашего Ключевского — лучше всех. Какое громадное значение придает он Пушкину и как историку, именно в художественном произведении его «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» — только историческое примечание к ней... XVIII век в России... Русский чувствует себя рожденным не европейцем, а обязанным сделаться европейцем...[15]

...Вечером Благородное собрание. До рассвета... И опять Пушкин сливается с Тургеневым. Мы забрались за колонны, к эстраде, чтобы видеть поближе участников. Прошел, странно съежившись, Ф. М. Достоевский (днем я его не видела), степенно проследовал Островский; прошел Писемский, переваливаясь с ноги на ногу; пролетел Григорович с длинными седыми «баками», и все скрылись за эстрадой, в круглой комнате...

...Ник. Рубинштейн продирижировал оркестром (увертюра «Русалки»), Самарин — «Скупой рыцарь» (восхитительно), и опять «они». Такие старенькие и такие бодрые, живые, трепетные... Достоевский как-то по-особенному прочел монолог Пимена, и прочел прекрасно. Писемский бодро — «Гусара», Островский — отрывок из «Русалки», Григорович — «Кирджали» (немного долго), Потехин — «Полтаву», Тургенев — «Опять на родине»[16]. Читал тихо, но было что-то в его чтении, несмотря на старческую шепелявость и слишком высокий голос, завораживающее... Выходил на вызовы семь раз.

Когда мы, человек двенадцать, шли домой, уже светало. И не устали... Жалели только, что такой день прошел... И, идя по московским переулкам, повторяли: «Довольно! Сокройся! Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась!!»[17]

8 июня.

Вчера день был мучительно хороший. Не знаю, что и записывать. Речь Достоевского... Маша Шелехова упала в обморок. С Паприцем сделалась истерика. А я слу-

шала и злилась. Ирония, с какой Достоевский говорил об Алеко, мучила. «Мечта о всемирном счастье. Дешевле не возьмет русский скиталец!..»

Что это? Не хотелось верить своим ушам, не хотелось понимать так, как это понимал Достоевский. И не я одна, а очень многие так же реагировали на его слова, как и я. И как-то без уговора перенесли все симпатии на Тургенева. Стоило Достоевскому упомянуть имя Лизы Калитиной (из «Дворянского гнезда») как о родственном пушкинской Татьяне «типе положительной женской красоты», — чтобы его речь была прервана шумной овацией Тургеневу. Весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся. Конечно, Лиза не наш идеал, как не идеал и Татьяна с ее «рабским»: «я другому отдана и буду век ему верна...». Мы преклоняемся перед Еленой[18] с ее жаждой деятельного добра, с ее смелостью и самоотверженной любовью. Она является в русской литературе первой политической деятельницей, которых в России так много, как ни в одной стране, а упоминание о Лизе было для нас просто поводом к выражению Тургеневу нашей солидарности с ним, а не с Достоевским, речь которого была насыщена выпадами против западников, а значит, и против Тургенева. Овации ему вырвались, может быть, и бессознательно, но после заседания уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду. Было решено подать венок Тургеневу.

Вот непосредственное впечатление рядовой курсистки о том «событии», как называли речь Достоевского.

Конечно, это было событие, о котором говорили самые разные люди и которое вспоминают и до сих пор. По внешнему впечатлению кажется, ничто не может встать рядом с тем днем 8 июня 1880 года, когда в громадном зале бывшего Дворянского собрания, битком набитом интеллигентной публикой, раздался такой рев, что, казалось, стены здания рухнут. Все записавшие этот день сходятся на этом. Но, право, не все, далеко не все одинаково восприняли вдохновенно сказанные слова, прозвучавшие в этом зале с такой неслыханной до того времени художественной мощью. Речь была *так* сказана, что тот, кто сам не слыхал ее, не сможет объяснить

произведенного ею впечатления на большинство публики. Но была и другая часть, вероятно, меньшая, та левая молодежь, которая сразу встала на дыбы от почти первых же слов Достоевского. Отчасти этому содействовало, может быть, то, что Достоевский явился на Пушкинский праздник не как писатель Достоевский, один из славных потомков Пушкина, а как представитель Славянского благотворительного общества[19]. Это, может быть, создало предвзятую точку зрения, так как — повторяю — молодежь в то время непрерывно вела счеты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его «патриотических» статей в «Дневнике писателя». О «Бесах» я уже и не говорю.

Понятно, что, когда Достоевский заговорил о «несчастном скитальце в родной земле», о бездомных скитальцах, которые «продолжают и до сих пор свое скитальчество», некоторые из нас переглянулись между собой. «И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, — сказал он, — искать у цыган своих мировых идеалов... то все равно ударяются *в социализм,* которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой... что достигнут в своем *фантастическом делании* целей своих и счастья не только для себя самого, но и *всемирного,* ибо русскому скитальцу *необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться*: дешевле он не примирится!!»

Это было сказано с такой тончайшей иронией и вместе с тем с такой непреклонной верой в правоту своих убеждений, что многие, даже среди молодой публики, были настолько захвачены художественным пафосом Достоевского, что не могли сразу разобраться. Но для других — ни вдохновение, с каким говорил Достоевский, ни его растроганный голос, ни бледное, взволнованное лицо не заслонили содержания речи и ее громадного отрицательного значения.

Кроме насмешки над «русским скитальцем», его резкие выпады против западников, проповедь «смиренного» общения с народом и личного совершенствования в христианском духе, рядом с презрительным отношением к общественной нравственности[20], — определенно поставили Достоевского вместе с врагами того движения, которое владело в эту эпоху всеми симпатиями молодежи.

Только что перед этим «Московские ведомости» Каткова обличили Тургенева в помощи Бакунину[21]. Достоевский же считался в этом вражеском катковском лагере «своим», принадлежащим к охранителям самодержавия,

и все знали, что его «Дневник» читался в высших бюрократических кругах. Надо было отмежеваться от него, показать, что *мы* не на его стороне, и как поссорившиеся родители дерутся с детьми, так молодежь стала драться с Достоевским Тургеневым.

Еще до речи Достоевского на Пушкинском празднике уже определилось первое место Тургенева, и у подножья памятника, и в университете, и на всех празднествах, где бы ни появился этот седой гигант, он был первым лицом. Но и на всех литературных собраниях, так распространенных в то время среди молодежи, Достоевскому неизменно противопоставлялся Тургенев и, может быть, преувеличивались преступления против жертвенных стремлений молодежи — одного и раздувалось значение в этом смысле — другого.

Но время было боевое, и молодежь была беспощадна. Все симпатии были направлены в одну сторону... И даже к Пушкину подходили больше с общественно-политической точки зрения.

Понятно, что при таком настроении речь Достоевского только подлила масла в огонь и обострила враждебное отношение к нему молодежи и прогрессивной части печати.

Но разгорелось это не сразу. Нужно было известное время, чтобы, как говорил Глеб Иванович Успенский, «очухаться» от ворожбы Достоевского.

Сам Успенский, для которого социализм был тоже своего рода религией, написал непосредственно после речи Достоевского почти восторженное письмо в «Отечественные записки». Его заворожило то, что впервые публично раздались слова о страдающем скитальце (читай — социалисте), о всемирном, всеобщем, всечеловеческом счастье. И фраза «дешевле он не примирится» прозвучала для него так убедительно, что он не заметил ни иронии, ни дальнейшего призыва: «Смирись, гордый человек!» И только когда он прочел стенограмму речи Достоевского в «Московских ведомостях», он написал второе письмо в «Отечественные записки», уже совершенно в ином тоне. Он увидел в словах Достоевского «умысел другой». «Всечеловек» обратился в былинку, носимую ветром, просто в человека без почвы. Речь Татьяны — проповедь тупого, подневольного и грубого жертвоприношения; слова «всемирное счастье, тоска по нем» потонули в других словах, открывавших Успенскому суть речи Достоевского, а призыв: «Смирись, гордый человек»

(в то время как смирение считалось почти преступлением), — зачеркнул все обаяние Достоевского. И это осталось так на всю жизнь. Недаром при первом свидании с В. Г. Короленко Успенский спросил его:

— Вы любите Достоевского?

И на ответ Владимира Галактионовича, что не любит, но перечитывает, Успенский сказал:

— А я не могу... Знаете ли... У меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидящий напротив тебя... тянется к тебе рукой... И прямо, прямо за горло хочет схватить... Или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться...[22]

И вот это чувство власти Достоевского над ним, с одной стороны, и какая-то суеверная боязнь этого обаяния (*«И не можешь никак двинуться»*) остались у Глеба Ивановича на всю жизнь.

Вспоминаю одну из наших последних бесед с ним по поводу статьи Михайловского о Достоевском[23]. Глеб Иванович уже заболел своей страшной болезнью, но это было почти незаметно. Он очень горячо говорил, вдруг замолчал и, точно поверяя мне какую-то тайну, прошептал:

— Знаете... он просто черт.

Когда после летних каникул 1880 года мы собрались на первую студенческую вечеринку, где-то в школе у Сухаревой башни, мы почти забыли о Достоевском. Но стоило кому-то принести номер «Дневника писателя» с речью и ответом критикам, чтобы снова загорелся совершенно дикий спор[24]. Достоевский тогда кончал «Карамазовых», дошел до крайних высот своего творчества, а в «Дневнике» являлся настолько чуждым молодым его читателям, что они могли забыть всю его художественную мощь и с пеной у рта кричать о нем как о политическом враге.

Когда кто-то попытался напомнить товарищам о значении Достоевского как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им.

Кто-то закричал:

— Это все зачеркнуто его же заявлением: Николай Первый должен был так поступить... Если бы не царь, то народ осудил бы петрашевцев![25]

— Забудьте публицистику... Великий художник... «Преступление и наказание»...

— А «Бесы»?.. Пасквиль на Тургенева!![26] А высмеивание Грановского?![27] А презрительное отношение к Герцену, к Кавелину!..[28]

Это всё были наши боги, и, конечно, для Достоевского не нашлось слов оправдания.

Но если Достоевский не находил созвучного отклика среди известной части читателей, то, с другой стороны, никогда ни один русский писатель не имел такого успеха в так называемом «обществе», как Достоевский в этот последний год его жизни. Неославянофильское направление разливалось все шире и шире; боязнь террористических актов вызывала ненависть к учащейся молодежи, солидаризировавшейся с социалистами; вера в божественную миссию русского народа успокаивала сердца и наполняла их гордостью... Все это находило себе исход в поклонении Достоевскому, и его буквально раздирали на части: ему писали сотни писем, и он считал долгом отвечать; к нему с утра приходили люди, старые и молодые, искать у него ответа на мучившие их вопросы или высказать ему свое преклонение, и он принимал их, всех выслушивал, считал своим долгом не отталкивать никого. По вечерам он бывал на заседаниях самых разнообразных обществ, на журфиксах, на литературных вечерах. А рядом с этим у него шла напряженная работа: он объявил опять подписку на «Дневник» и готовил первый номер к январю 1881 года. Когда он мог работать и как вообще мог жить? Непонятно! К его постоянной болезни присоединилась эмфизема, и он страшно похудел.

Когда я увидела его (в октябре или ноябре 1880 г.), я была поражена его страдальческим видом, может быть, оттого, что обстановка, в которой я встретила его, была необычайно праздничная.

Маркиза Паулуччи, хозяйка дома, где жила сестра моя, давала благотворительный вечер — «с участием известных артистов и Федора Михайловича Достоевского».

Когда мы вошли в ярко освещенную залу, переполненную нарядными дамами и блестящими мундирами, я сразу увидела Федора Михайловича. Он стоял у двери в следующую за залой комнату, во фраке (слишком широком), и слушал с напряженным вниманием высокую стройную девушку, немного склонившуюся к нему, так как он был значительно ниже ее. Он показался мне еще меньше, худее и бледнее, чем прежде. И так захотелось

увести его отсюда, от всех этих ликующих людей, которым, думалось мне, не было никакого дела ни до литературы вообще, ни до Достоевского в частности. Но сам Федор Михайлович, очевидно, чувствовал себя вполне хорошо; к нему подходили единомышленники (которых здесь было большинство), жали ему руки; дамы, всегда заискивающие у «знаменитостей», говорили ему любезности, хозяйка не скрывала своей радости, что у нее в салоне — сам Достоевский.

Федор Михайлович спокойно, с достоинством слушал, кланялся, болезненно улыбался и точно все время думал о другом, точно все хвалебные и льстивые речи шли мимо него, а внутри шла какая-то своя большая работа.

Позже я слышала, что Достоевский любил «высший свет», как любили его Пушкин, Лермонтов, отчасти Тургенев. Очень может быть, что Федора Михайловича влекло в него сочувствие тем своим идеям, в которых он расходился с собратиями по литературе и с большей частью так называемой интеллигенции. Известно, что он, в особенности в последний год своей жизни, имел очень много друзей в «высшем свете» и охотно поддерживал отношения с ними.

Я через много лет (1920 г.) случайно увидала подтверждение этого. Одна дама из бывшего большого света, Л. В. Г<оловина>, обратилась ко мне с вопросом: не купит ли кто-нибудь у нее письмо Достоевского, случайно уцелевшее у нее после разгрома ее имения? В эту эпоху при «Доме литераторов» издавался журнал «Летопись», и литературный материал был нам нужен. Я взяла от Л. В. Г<оловиной> письмо (несомненно написанное самим Достоевским) и попросила ее изложить мне историю его.

«В средине сентября 1875 г., — пишет она, — я по совету нашего друга С. П. Боткина начала лечиться у доктора Симонова сгущенным воздухом.

Надо было сидеть два часа под колоколом с герметически закрытой дверью. На первом же сеансе я начала оглядывать всех с нами находящихся и увидала рядом со мною, с правой стороны, человека с очень бледным, то есть желтым, лицом, очень болезненным; он сидел согнувшись в кресле, с «Русским вестником» в руках, и как бы весь ушел в интересное чтение, не обращая никакого внимания на окружающих. Когда машина загудела очень шумно и дверь закрылась так, что уже ее никакими

силами нельзя было открыть, мой сосед справа, не меняя своего положения в кресле, повернул немного голову и мою сторону и, глядя на меня через стекла очков или пенсне (не помню), сказал мне не без иронии:

— Сударыня. Я слышу, что вы очень нервны, за вас все волнуются... так я должен вам сказать, что я эпилептик, что припадки падучей у меня очень часты...

И он так сильно закашлялся, что я с минуту не могла ничего ответить ему; потом наконец сказала:

— Ну, Бог даст, ничего с вами не будет, и, во всяком случае, можно ли говорить о каком-то испуге и как это может отразиться на мне... Скажите лучше, чем и как вам помочь, если «это» случится...

Он приподнялся, сложил книгу и громко, совсем другим голосом сказал, осматривая меня с головы до ног:

— Ах, вот вы какая.

С этой минуты у нас завязался оживленный разговор, и мы не обращали внимания на окружающих, которые, как и доктор Симонов, севший под колокол специально для того, чтобы следить за моей нервностью, с интересом слушали моего соседа. Он шутил, смеялся и по выходе из колокола уговорился со мною встретиться здесь на следующий день в этот же час. Действительно, мы встретились, и опять сели рядом, и опять оживленно заговорили... Наконец он сказал:

— Я не умею разговаривать, не употребляя имя и отчество... Скажите мне, пожалуйста...

Я, не дожидаясь, ответила и прибавила:

— А вы?

— Федор Михайлович Достоевский.

Я испугалась.

Почему?

Мне стало страшно, что я не так разговаривала с ним, как бы нужно.

Мы продолжали видеться под колоколом ежедневно. Он перестал приносить книгу; я перестала бояться...

Федору Михайловичу очень хотелось иметь фотографический снимок с нашей группы под колоколом. Как-то привели фотографа, и мы все сели на свои места, и Федор Михайлович торжествовал. Но снимок не удался, и Федор Михайлович принял это так раздраженно, так рассердился, что я не знала, как и чем его успокоить.

— Пойдемте ко мне пить чай, — предложила я.

И он пришел. И стал приходить ежедневно; а когда он читал где-нибудь, то я обязательно должна была ехать

туда и сидеть в первом ряду. Ко мне он приходил всегда с какой-нибудь книгой и читал вслух. Так он прочел мне «Анну Каренину», делая свои замечания, обращая внимание на то или другое выражение Толстого. «Каждый писатель, — говорил он, — вводит в литературу не только свои выражения, но и свои слова».

Обыкновенно чтение его кончалось сильным приступом кашля, и я отнимала у него книгу. Я больше любила слушать его рассказы; с искренним интересом следила я за каждым его словом. Помню, как он говорил, что его раздражительность дома доходит до того, что он не может работать. Помню, как он рассказал мне про студенческие кружки, про тот день, когда его арестовали; помню, как настойчиво просил познакомить его с моими родителями, говоря, что это очень важно для познания меня... В 1876 г. он уехал лечиться в Эмс, и мы решили переписываться. Переписка установилась дружеская, но грустная...»

Приложенное к этому пояснению письмо из Эмса не могло, конечно, ничего прибавить к биографии Федора Михайловича; но в нем было драгоценно проявление нежного участия, которое он умел принимать в человеке, совершенно чуждом ему и по положению, и по той жизненной обстановке, в которой он находился, а главное — давало понятие, в какой среде любил вращаться Федор Михайлович и с каким удовольствием описывал он свои встречи и беседы со светскими людьми и как вникал в занимавшие их «истории».

Письмо это, конечно, было куплено для напечатания в «Летописи Дома литераторов», но через несколько дней ко мне позвонила Л. В. Г<олови>на, прося отдать ей назад это письмо, «единственное оставшееся у нее от переписки с Достоевским и которое она до сих пор хранила как святыню». Я сочувствовала ей: таких писем не продают (даже во время голода), и я сейчас же пошла в редакцию «Летописи», взяла письмо и отдала его Г<олови>ной.

Но копия с него где-то хранится. Может быть, в архиве Дома литераторов[29].

В последний раз я видела Достоевского в гробу. И это был опять другой Достоевский. Ничего от живого человека: желтая кожа на костяном лице, едва намеченные губы и полный покой. Страстность его недавней полемики по поводу речи на Пушкинском празднике, пафос его верований и упований — и совершенно необычайный дар жечь сердца людей — были плотно закрыты костяной маской...

Похороны Достоевского описаны сотни раз. Они, конечно, были тоже «событием». Но кроме того, они были и символичны. Поклониться ему и проститься с ним пришли люди самых разнообразных направлений, самых непримиримых взглядов: старые, молодые, писатели, генералы, художники и просто какие-то люди, униженные и оскорбленные, люди «с чердаков и из подвалов», а главное, молодежь, всегда, в конце концов, чующая правду... Она — эта молодежь — окружала гроб надежной цепью сильных рук и не допустила полицию «охранять порядок».

Непосредственно за гробом шли: А. Н. Плещеев, бывший когда-то вместе с Федором Михайловичем приговоренным к смертной казни; генерал Черняев, сербский герой, друг Достоевского по Славянскому обществу, много художников и, конечно, вся литература.

Затем шли депутации с венками (больше семидесяти) и хоры, без перерыва певшие «Вечную память»...

А затем — толпа, многотысячная толпа, молчаливая, благоговейная...

Одну минуту на Владимирской площади произошел какой-то переполох. Прискакали жандармы, кого-то окружили, что-то отобрали. Молодежь сейчас же потушила этот шум и безмолвно отдала арестантские кандалы, которые хотела нести за Достоевским и тем отдать ему долг как пострадавшему за политические убеждения.

Все хоронили Достоевского как «своего».

— Великого художника хороним! — сказал, подходя к пашей группе (или, вернее, к группе К. Е. Маковского), Ив. Ив. Шишкин.

— И великого патриота... — добавил кто-то.

Ни о какой розни, так громко заявлявшей себя все последнее перед смертью Федора Михайловича время, конечно, не было и помину. Шли с полным сознанием утраты большого человека, гениального писателя, который мог бы дать человечеству еще много, много художественных радостей.

Возвращались мы с кладбища уже под вечер. Надгробные речи еще звучали в ушах; на Невском шла своя жизнь, шумная жизнь сегодняшнего дня, кажущаяся со стороны такой праздничной и веселой.

Было как-то смутно на душе. Когда были подведены итоги всему ненужно-жестокому, что вынес этот человек, только что зарытый в мерзлую землю, когда вспомнили, сколько моральных и физических мук выпало на долю

ему, такому хрупкому, чуткому, слабому и... *великому*, — стало мучительно стыдно.

Это же чувство мучительного стыда испытала я, когда Ал. Ник. Плещеев на первом же литературном собрании в память Ф. М. Достоевского сказал:

— Я не знал несчастнее этого человека... Больной, слабый и оттого во сто раз тяжелее всех переносивший каторгу... Вечно нуждавшийся в деньгах и как-то особенно остро воспринимавший нужду... а главное — вечно страдавший от критики... Вы и представить себе не можете, как он болезненно переживал каждую недружелюбную строку... И как он страдал! Как он страдал от этого не год, не два, а десятилетия... И до последнего дня... В этом — страшная драма его жизни.

Но история — судья справедливый. К пятидесятилетию со дня смерти Ф. М. Достоевского его имя не только не предано почтительному забвению, как большинство когда-то дорогих и славных имен, но (как, может быть, одно только имя Пушкина) становится чем старше, тем ближе и дороже. Оно прошло через негодующую критику 60-х годов, через резкие общественно-политические счеты 70-х, через почтительное молчание 80-х, через множество литературных наслоений (декадентство, символизм, индивидуализм и пр.), через бурю и грозу, потрясшую *мир*, — и горит все ярче и ярче.

А. А. ТОЛСТАЯ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

В 1878 году Лев Николаевич явился в Петербург, как всегда, неожиданно и, кажется, без всякой другой причины, кроме желания объясниться и высказать мне свой духовный переворот. <...> Когда Лев стал мне доказывать не только бесполезность, но и вред, приносимый церковью, и дошел, наконец, до того, что отрицал божественность Христа и спасение через Него, я готова была плакать и рыдать <...> От нашей переписки того времени почти не осталось ничего: иные письма я уничтожила, — они меня слишком *смущали*, — другие я отдала Достоевскому. Вот как это случилось.

Я давно желала познакомиться с ним, и наконец мы сошлись, но — увы! — слишком поздно. Это было за две или за три недели до его смерти. С тех пор как я прочла «Преступление и наказание» (никакой роман никогда на меня так не действовал), он стоял для меня, как моралист, на необыкновенной вышине, несравненно выше других писателей, не исключая и Льва *Толстого*, — разумеется, не в отношении слога и художественности.

Я встретила Достоевского в первый раз на вечере у графини Комаровской. С Львом Николаевичем он никогда не видался, но как писатель и человек Лев Николаевич его страшно интересовал. Первый его вопрос был о нем:

— Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне еще непонятное...

Я призналась ему, что и для меня это еще загадочно, и обещала Достоевскому передать последние письма Льва Николаевича, с тем, однако ж, чтобы он пришел за ними сам. Он назначил мне день *свидания*, — и к этому дню я переписала для него эти письма, чтобы облегчить ему чтение неразборчивого почерка Льва Николаевича.

При появлении Достоевского я извинилась перед ним, что никого более не пригласила, из эгоизма, — желая провести с ним вечер с глаза на глаз. Этот очаровательный и единственный вечер навсегда запечатлелся в моей памяти; я слушала Достоевского с благоговением: он говорил, как истинный христианин, о судьбах России и всего мира; глаза его горели, и я чувствовала в нем пророка... Когда вопрос коснулся Льва Николаевича, он просил меня прочитать обещанные письма громко. Странно сказать, но мне было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность в мыслях.

Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то, не то!..» Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича; несмотря на то, забрал всё, что лежало писанное на столе: оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Льва Николаевича.

Я нисколько не жалею потерянных писем, но не могу утешиться, что намерение Достоевского осталось невыполненным: через пять дней после этого разговора Достоевского не стало...

Лев Николаевич напечатал в каком-то журнале, что хотя он не был знаком с Достоевским, но, узнавши об его смерти, ему показалось, что он потерял самое дорогое... Эта внезапная кончина поразила и меня. Я отправилась к нему на квартиру поклониться его праху. Он лежал в крошечной комнатке; малолетние сын и дочь стояли около него; вся обстановка совершенно бедная; но посетителей было множество, и все казались убитыми горем; особенно много было молодежи. Я уже собиралась уходить, когда подошла ко мне дама, весьма скромно одетая, и спросила меня, — я ли графиня Толстая. На мой утвердительный ответ она прибавила:

— Я позволила себе подойти к вам, полагая, что вам приятно будет услышать, какое хорошее впечатление Федор Михайлович вынес с вечера, проведенного у вас; *это было его последнее удовольствие.* — Дама эта была его жена, А. Г. Достоевская.

Я потом часто спрашивала себя, удалось ли бы Достоевскому повлиять на Л. Н. Толстого? Думаю, едва ли.

А. С. СУВОРИН

О ПОКОЙНОМ

Вы будете пробегать эти строки, когда прах Достоевского уже успокоится в могиле. Я не могу не поговорить еще и еще раз о человеке, смерть которого глубоко поразила не меня одного. Чувства, волновавшие меня, я старался выразить в тех немногих строках, которыми в этот четверг известил читателей о нашей общей русской потере[1]. Но слово бессильно.

Болезни его не придавали никакого значения. Достоевский выглядывал так моложаво сравнительно с своими летами, так был подвижен, жив и нервен, так кипел замыслами и так мало думал о покое, что мысль о смерти, вследствие разрыва каких-то артерий, мне и в голову не приходила. Я знал, что от этой болезни сплошь и рядом выздоравливают. Но организм Достоевского был слишком потрясен, и смерть покончила с ним быстро...

В понедельник показалась кровь из носа, потом пошла горлом. Он встревожился, но тою нервной тревогою, которая укладывается тотчас же, когда опасность миновала. Мы все нервны, и наш организм именно складывается удобно для этих переходов и помогает нам жить. Организм Достоевского тем более к этому должен был привыкнуть, так как вынес он в своей жизни чрезвычайно много. Падучая болезнь, которою он страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь[2]. В последние годы она как будто ослабела, сделалась реже, но была постоянно в зависимости от напряжения в труде, от огорчений, от жизненных неудач, от той беспощадности, которой так много в нравах русской жизни и русской литературы. Приступы ее он чувствовал и начинал страдать невыразимо; невольно закрадывался в душу страх смерти во время припадка, болезненный,

тупой страх, тот дамоклов меч, который висит над такими несчастными на самой тончайшей волосинке. Конечно, мы все знаем, что когда-нибудь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это общее положение: оно не страшит нас или страшит только во время какой-нибудь опасности. У Достоевского эта опасность всегда присутствовала, он постоянно был как бы накануне смерти: каждое дело, которое он затевал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, выстраданный и совсем сложившийся в голове, — все это могло прерваться одним ударом. Сверх обыкновенных болезней, сверх обыкновенных случаев смерти у него был еще свой случай, своя специальная болезнь; привыкнуть к ней почти невозможно — так ужасны ее припадки. Умереть в судорогах, в беспамятстве, умереть в пять минут — надобна большая воля, чтоб под этой постоянной угрозой так работать, как работал он.

Под влиянием этой вечной угрозы перейти из этой жизни в другую, неведомую, у него образовался какой-то панический страх смерти, и смерти страшной, именно в образе его болезни. Проходил припадок, и он становился необыкновенно жив и говорлив. Однажды я застал его именно в то время, когда он только что освободился от припадка. Сидя за маленьким своим столом, он набивал себе папиросы и показался мне очень странным — точно он был пьян. «Не удивляйтесь, — глядя на меня, сказал он, — у меня сейчас был припадок». Нечто подобное было с ним, когда он почувствовал себя худо в понедельник, — смерть тотчас ему представилась, быстрая смерть, с приготовлениями к которой следует торопиться. Он исповедался и причастился. Позвав детей — мальчика и девочку, старшая — девочка, которой одиннадцать лет, — говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им. Потеря крови сильно его истощила, голова упала на грудь, лицо потемнело. Но ночь восстановила его силы. Вторник прошел хорошо, и мысль о смерти снова была далека. Ему предписали полное спокойствие, которое необходимо в подобных случаях. Но по натуре своей он не был способен к покою, и голова постоянно работала. То он ждет смерти, быстрой и близкой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, то живет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает, какая светлая будущность ждет это поколение, к которо-

му они принадлежат, как много может сделать оно при свободе жизни, и как будет счастливо, и как много несчастных обратит к счастью и довольству...

Настал третий день. С утра ему опять было хорошо. Он непременно сам хотел надеть себе носки. Никакие увещания и напоминания о спокойствии не подействовали. Он сел на постели и стал обуваться. Это мелочь, но в подобных болезнях все зависит от самых ничтожных мелочей. Усилие, которое он сделал, вызвало новое кровотечение, которое повторялось несколько раз. Он стал тревожнее и тревожнее. К вечеру ему стало хуже. В семь часов началось обильное кровотечение, он впал в беспамятство, и полтора часа спустя его не стало.

Я смотрел в драме Гюго г-жу Стрепетову, в роли венецианской актрисы, которая умирает от руки возлюбленного, которому она самоотверженно приготовила счастье с своей соперницей[3]. Смерть предстала в реальном образе — так умирают не на сцене, а в жизни. Потрясенный этою игрою, я приезжаю домой, и в передней меня встречают известием, что Достоевский умер. Я бросился к нему. Это было за полночь. Никому, конечно, нет дела до того, что я чувствовал, но иногда невозможно устранить себя, чтоб передать верно то впечатление, которое испытывали многие. Знаешь, что едешь на беду, знаешь, что она существует, чувствуешь ее и видишь, но остается какое-то сомнение, какая-то надежда, смутная, странная, тревожная, невероятная. А может быть, он и не умер, может, меня обманули — надо увериться, убедиться, своими глазами увидеть. Это не любопытство, а именно присущий нам инстинкт жизни и ненависть к смерти. Хочется отдалить на час, на четверть часа полную уверенность в смерти близкого человека. Способностями в это время не владеешь, и в голове какая-то безобразная путаница мыслей.

Я вбежал на лестницу, на которой стояли три-четыре фигуры, в некотором расстоянии одна от другой. Зачем они тут? Мне показалось, что они хотели мне что-то сказать. У самой двери еще фигура, высокая, рыжая, в длинной чуйке. Когда я взялся за звонок, она вдруг взмолилась: «Порекомендуйте меня. Там есть гробовщики, но они не настоящие». — И фигура проскользнула за мной в переднюю. «Ступай, ступай!» — «Пожалуйста, скажите!» — «Сказано, скажу. Ступай». Этими фразами обменялись гробовщик и человек, отворивший мне дверь. Когда умрешь, вот это самое будет и у тебя, эти же

фигуры будут ломиться в двери, подумалось мне невольно и в то же время стало несомненным, что смерть действительно вступила в этот дом. Я вошел в темную гостиную, взглянул в слабо освещенный кабинет...

Длинный стол, накрытый белым, стоял наискосок от угла. Влево от него, к противоположной стене, на полу лежала солома и четыре человека, стоя на коленях, вокруг чего-то усердно возились. Слышалось точно трение, точно всплески воды. Что-то белое лежало на полу и ворочалось или его ворочали. Что-то привстало, точно человек. Да, это человек. На него надевали рубашку, вытягивали руки. Голова совсем повисла. Это он, Федор Михайлович, его голова. Да он жив? Но что это с ним делали? Зачем он на этой соломе? В каторге он так леживал, на такой же соломе, и считал мягкой подобную постель. Я решительно не понимал. Все это точно мелькало передо мной, но я глаз не мог оторвать от этой странной группы, где люди ужасно быстро возились, точно воры, укладывая награбленное. Вдруг рыдания сзади у меня раздались. Я оглянулся: рыдала жена Достоевского, и я сам зарыдал... Труп подняли с соломы те же самые четыре человека; голова у него отвисла навзничь; жена это увидала, вдруг смолкла и бросилась ее поддерживать. Тело поднесли к столу и положили. Это оболочка человека — самого человека уже не было...

Сохрани вас Боже видеть такую ужасную картину, какую я видел. Ни красок, ни слов нет, чтоб ее рассказать. Реализм должен остановиться в своих стремлениях к правде на известных гранях, чтоб не вызывать в душе ужаса, проклятий и отчаяния...

Надо говорить о душе человека, а не об его оболочке...

Вот он живой. Он стоял у шкафа с книгами и говорил:

— А у вас много старых книг. Есть ли у вас одна — я ее искал — «Постоялый двор». Это хороший роман[4].

Мы с ним сели и стали говорить. Это было дней за десять до его смерти. Он приступал к печатанию своего «Дневника». Срочная работа его волновала. Он говорил, что одна мысль о том, что к известному числу надо написать два листа — подрезывает ему крылья. Он не отдохнул еще после «Братьев Карамазовых», которые страшно его утомили, и он рассчитывал на лето. Эмс обыкновенно поддерживал его силы, но прошлый год он не поехал из-за празднования Пушкина.

На столе у меня лежали «Четыре очерка» Гончарова, где есть статья о «Горе от ума»[5]. Я сказал, что настоящие

критики художественных произведений — сами писатели-художники, что у них иногда являются необыкновенно счастливые мысли.

Достоевский стал говорить, что ему хотелось бы в «Дневнике» сказать о Чацком, еще о Пушкине, о Гоголе и начать свои литературные воспоминания. Чацкий ему был не симпатичен. Он слишком высокомерен, слишком эгоист. У него доброты совсем нет. У Репетилова больше сердца. Вспомните первое явление Чацкого. Пропадал столько времени и претендует, что девушка перестала его любить. Сам о ней он и думать забыл, веселился за границей, влюблялся, конечно, а въехал на родные поля, скучно, вот стал дразнить себя старой любовью и взбешен, что Софья не в восторге от свидания с ним. И далее. Дал понюхать уксусу Софье, когда она упала в обморок, повеял платком в лицо и говорит: «Я вас воскресил». И это ведь серьезно он говорит, с жестким упреком в неблагодарности. На Софью у нас слишком строго смотрят, а на Чацкого слишком снисходительно: очень он подкупает нас своими монологами[6]. Кстати, я спросил у него, отчего он никогда не писал драмы, тогда как в романах его так много чудесных монологов, которые могли бы производить потрясающее впечатление.

— У меня какой-то предрассудок насчет драмы. Белинский говорил, что драматург настоящий должен начинать писать с двадцати лет. У меня это и засело в голове. Я все не осмеливался. Впрочем, нынешним летом я надумывал один эпизод из «Карамазовых» обратить в драму[7].

Он назвал, какой эпизод, и стал развивать драматическую ситуацию.

Он много говорил в этот вечер, шутил насчет того, что хочет выступить в «Дневнике» с финансовой статьей, и в особенности распространился о своем любимом предмете — о Земском соборе, об отношениях царя к народу, как отца к детям[8]. Достоевский обладал особенным свойством убеждать, когда дело касалось какого-нибудь излюбленного им предмета: что-то ласкающее, просящееся в душу, отворявшее ее всю звучало в его речах. Так он говорил и в этот раз. У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и все это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок, и он прибавлял:

— Полная. Суд для печати — разве это свобода печати? Это все-таки ее принижение. Она и с судом пойдет

односторонне, криво. Пусть говорят всё, что хотят. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам, потому что у нас работы больше, нам нужна полная искренность, чтоб ничего не оставалось невысказанным.

Конституцию он называл «господчиной» и уверял, что так именно называют ее мужики в разных местах России, где ему случилось с ними говорить. Еще на Пушкинском празднике он продиктовал мне небольшое стихотворение об этой «господчине», из которого один стих он поместил в своем «Дневнике», вышедшем сегодня:

А народ опять скуем[9].

Он был того мнения, что прежде всего надо спросить один народ, не все сословия разом, не представителей от всех сословий, а именно одних крестьян. Когда я ему возразил, что мужики ничего не скажут, что они и формулировать не сумеют своих желаний, он горячо стал говорить, что я ошибаюсь. Во-первых, и мужики многое могут сказать, а во-вторых, мужики наверное в большинстве случаев пошлют от себя на это совещание образованных людей. Когда образованные люди станут говорить не за себя, не о своих интересах, а о крестьянском житье-бытье, о потребностях народа — они, правда, будут ограничены, но в этой ограниченности они могут создать широкую программу коренного избавления народа от бедности и невежества.

Эту программу, эти мнения и средства, ими предложенные, уж нельзя будет устранить и на общем совещании. Иначе же народные интересы задушатся интересами и защитою интересов других сословий, и народ останется ни при чем. С него станут тащить еще больше в пользу всяких свобод образованных и богатых людей, и он останется по-прежнему обделенным. Как я прочел, он тему эту развивает в своем посмертном «Дневнике», по необходимости односторонне, конечно, далеко не высказывая и того, что он мне говорил.

Политические идеалы Достоевского, мимоходом сказать, были широки, и он не изменил им со дней своей юности. До этих идеалов очень далеко господам либералам, которые так безжалостно, а иногда и мерзко его преследовали, называя даже «врагом общественного развития». Кто говорил с Достоевским искренно, тот это знает, знают и те, кто вчитывался в его сочинения, кто понимал его типы, над которыми, точно проклятие какое,

тяготела мрачная судьба, какая-то серная, удушающая, коверкающая, почти до безумия доводящая атмосфера, кто понимал, что надо всеми этими несчастными звучит сострадательное, теплое, призывающее к миру и любви слово писателя, психолога и мыслителя. Не деревянными фразами, бездушными и ординарными, не звонкой строкой передовой статьи изображал он эту атмосферу, коверкающую людей, а страницами, полными огня, чувства, глубокого проникновения в сердце человека, словами проповеди, рвавшей душу и сжигавшей ее. Чувствовался искренний, горячий друг людей неудовлетворенных, людей, стремящихся вдаль, ищущих истины. В мраке живут его люди, живут в непроглядной ночи, но они бьются к свету и правде всяческими путями, и чистыми и нечистыми, быть может, нечистыми больше, потому что в мраке трудно различать пути: только избранные, даровитейшие попадают на верный путь.

О своих литературных врагах он говорил мне раз:

— Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z[10] (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся. А на деле вышло не то. «Бесами»-то я и нашел наиболее друзей среди публики и молодежи. Молодежь поняла меня лучше этих критиков, и у меня есть масса писем, и я знаю массу признаний. Вообще, вы знаете, критика ко мне не благоволила, она едва удостоивала меня снисходительным отзывом или ругала. Я ей ничем не обязан. Сами читатели, сама публика меня поддержала и дала мне известность за те произведения, которые писал я, возвратясь из каторги. В особенно близкие отношения с читателями поставил меня «Дневник». И я думаю, он не оставался без влияния на общественное мнение.

В революционные пути он не верил, как не верил и в пути канцелярские; у него был свой путь, спокойный, быть может, медленный, но зато в прочность его он глубоко верил, как глубоко верил в бессмертную душу, как глубоко был проникнут учением Христа в его настоящей, первобытной чистоте.

Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем.

— Вы не видели того, что я видел, — говорил он, — вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи.

И он радовался «замирению». В праздник двадцатипятилетия государя[11] он был необыкновенно весел. Я просидел у него часа два. Он говорил:

— Вот увидите, начнется совсем новое. Я не пророк, а вот вы увидите. Нынче все иначе смотрят.

Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова[12] его смутило, и он боялся реакции.

— Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу. Да вы скажите мне, — твердил он мне, точно я что-нибудь знал, — хорошими ли людьми окружит себя Лорис, хороших ли людей пошлет он в провинции? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего. Да знает ли он, отчего все это происходит, твердо ли знает он причины? Ведь у нас всё злодеев хотят видеть... Я ему желаю всякого добра, всякого успеха.

Граф Лорис-Меликов, конечно, не знал, как относился к нему покойный, но он знал заслуги писателя для родной земли и тотчас представил о них государю[13]. Министр знает сердце своего государя и знает свои обязанности. Добрым словом вспомянули о нем сегодня не раз.

Как Достоевский относился к молодежи — она сама про это знает. В последние месяцы он бывал в каком-то восторженном состоянии. Овации страшно подняли его нервы и утомляли его организм. Подносимые ему венки он считал лучшей наградой. В ноябре или декабре, после бала в одном высшем учебном заведении, на который ему прислали почетный билет, он рассказывал мне, как его принимали.

— Потом мы стали говорить, — продолжал он, — затеяли спор. Они просили, чтоб я им говорил о Христе. Я им стал говорить, и они внимательно слушали.

И голос его дрожал при этом воспоминании.

Он любил русского человека до страсти, любил его таким, каким он есть, любил многое из его прошлого и верил с детскою, непоколебимою верою в будущее. «Кто не верит, тому и жить нельзя», — говаривал он, и говорил правду. Народная гордость жила в нем, жило в нем то сознание силы русского народа, которое разным пошлякам кажется квасным патриотизмом, но уже не кажется это так вступающему в жизнь поколению. Эта независимость духа, эта искренность, с какою он высказывал свои мнения, насколько позволяли ему условия печати, сделали его любимцем публики, любимцем подрастающих поколений. Весь либерализм наших либералов из любой иностранной книжки можно вычитать, но

русскую душу можно узнать только в глубоком писателе-человеке. И вот почему к нему ходили как на исповедь, ему делали невероятные признания, в силу его слова верили и стар и млад. Как общественная личность, как личность политическая, он не может быть объяснен в данный момент, не может быть объяснен одними своими произведениями. Пусть явятся воспоминания, пусть явится переписка, но многое он унес с собой, много такого благородного, такого любящего и глубокого, о чем можно только догадываться, что можно только чувствовать по некоторым страницам его произведений.

Я не могу собрать воедино все те черты этой личности, которые заставляли любить его, которые наполняли меня беспредельным уважением к нему. Я чувствую, что в этом маленьком очерке все разбросано, что в нем, может быть, упущено самое важное, я чувствую также, что и условия печати потребны более широкие, чтоб изложить с достаточною ясностью его убеждения политические и нравственно-философские. На продолжение своего «Дневника» он смотрел отчасти как на средство выяснить все это и завязать узел борьбы по существенным вопросам русской жизни. Все это теперь кончено, кончен и замысел продолжать «Братьев Карамазовых». Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста[14], не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве...

Все это кончено. Уста смолкли навек, горячее сердце перестало биться. Похороны его, вынос его тела — общественное событие, невиданное еще торжество русского таланта и русской мысли, всенародно и свободно признанных за русским писателем. Зрелища более величавого, более умилительного еще никогда не видал ни Петербург и никакой другой русский город. Ничья вдова, ничьи дети не имели еще такого великого утешения — свою скорбь смягчить таким выражением общественной признательности к близкому им человеку, свою жизнь наполнить воспоминанием о незабвенном великом дне, хотя он был днем вечной разлуки. Это были не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни, ее воскресение...

И. И. ПОПОВ

ИЗ КНИГИ «МИНУВШЕЕ И ПЕРЕЖИТОЕ»

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ, ЕГО ПОХОРОНЫ

На втором курсе Института я познакомился с Ф. М. Достоевским. Мы, молодежь, признавая талант и даже гениальность писателя, относились к нему скорее отрицательно, чем положительно. Причины такого отношения заключались в его романе «Бесы», который мы считали карикатурой на революционных деятелей, а главное — в «Дневнике писателя», где часто высказывались идеи, по нашему разумению, ретроградного характера. Но после знаменитой речи Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве, которую приветствовали и западники, и славянофилы, и молодежь, под гипнозом общего настроения и наше отношение к нему изменилось, хотя речи мы не слыхали. Знаменитая речь произвела впечатление не столько своим содержанием, сколько по форме. В ней проводились идеи, неприемлемые для западников и особенно для бунтарски настроенной молодежи, которая не могла принять призыва Достоевского — «смирись, гордый человек». Речь дала нам в Институте за вечерним чаем богатый материал для споров, в которых приняли участие и преподаватели. Я принадлежал к небольшой группе левого крыла, возражавшей против речи. Тем не менее в конце концов, увлеченные общим порывом, мы даже в «Дневнике писателя» стали находить не только приемлемые, но и приятные для нас суждения и комментировали их по-своему. Так, в рассуждениях Достоевского о «сермяжной Руси», которую если призвать, то она устроит жизнь хорошо, так, как ей нужно, мы усматривали народническое направление, демократические тенденции [1]. Достоевский завоевал симпатии большинства из нас, и мы горячо его приветствовали, когда он появлялся на литературных вечерах [2]. Этот перелом в отношениях молодежи к Достоевскому произошел в последний год его жизни. Он жил в Кузнечном переулке, около Влади-

мирской церкви. В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский. Летом, в теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжело больного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испек кулич и поставил на мое пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя, — обратился Достоевский к малютке...

— Сиди, я еще принесу, — ответил малютка.

Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и «куличи» рассыпались. Достоевский продолжал кашлять... Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст... Злобы не питают, горя не знают... Слезы сменяются смехом...

Не помню, что я ответил ему.

— Вы студент, в университете?

— Нет, я в Учительском институте.

— То-то фуражка (я был в фуражке) с бархатным околышем. Я думал, что вы семинарист: у них такой же пиджак да фуражка, кажется, такая же. Вы говорите, Учительский институт... Это все равно что Учительская семинария?

— Нет, к нам в Институт поступают из Учительской семинарии. У нас учится много народных учителей.

— Так вы были в Учительской семинарии и учителем. А совсем мальчик. Сколько же вам лет?

Я сказал ему и объяснил, что такое Институт, причем заметил, что большинство воспитанников много старше меня, а есть и женатые, например Дмоховский.

— И живет в Институте? А как же его жена?

— По правилам у нас не должно быть женатых. Институтское начальство знает, что Дмоховский женат, но не подает виду. Жена его на родине...

— Да, женатых в Институт принимать неудобно, — смеясь, заметил Федор Михайлович. — Пришлось бы для каждой семьи иметь комнату, а пожалуй, и школу для ребят...

— Ну что же, в образцовом городском училище при Институте обучалось бы собственное поколение детей воспитанников, — отшучивался я.

— Тогда для Института пришлось бы завести целые казармы, иметь целый штат мамок, нянек, гувернанток. Тут уж не до учения, — смеялся Федор Михайлович, а потом серьезно заметил:

— А я и не знал, что такое Учительский институт. Слыхал о нем, но думал, что это Учительская семинария, а вот теперь вы и просветили меня. Встречи между людьми всегда бывают полезны: часто узнаешь то, чего раньше не знал.

Мы приветливо простились уж за воротами ограды, причем я указал на Владимирское училище, где живет моя семья.

— Да мы совсем соседи, — сказал он, прощаясь со мной.

После этой встречи, поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я снова встретил Ф. М. Достоевского вместе с Д. В. Григоровичем. Федор Михайлович приветливо ответил на мой поклон. Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твердо, держался прямо и высоко нес свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шел сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке; ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик...

Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживает Достоевского.

Больше Достоевского я уже не видел.

Утром в конце января 1881 года мы прочли в газетах, что Достоевский заболел. Вечером я пошел к брату и за-

шел в Кузнечный переулок, чтобы по поручению воспитанников справиться о здоровье Федора Михайловича.

— Очень плохо; никого не принимает; крови много вышло. Послали за священником: хочет исповедаться и причаститься, — сказал мне швейцар.

Как известно, с Достоевским сделался удар, кровь пошла носом, удар повторился. Достоевский болел несколько дней и вечером 28 января скончался.

На другой день вечером я пошел на панихиду. Небольшая, вероятно из четырех комнат, квартира в третьем или четвертом этаже, с маленькой прихожей, скромно меблированная, с кабинетом, обитым клеенкой, была полна народу. Посредине кабинета лежал Федор Михайлович, покрытый покровом. Рядом стоял открытый дубовый гроб. Монашка читала псалтырь. У стола, у стен и на покрове лежали венки и цветы. Григорович распоряжался. После панихиды я обратился к нему с вопросом о дне похорон.

— Отпевать и хоронить будем тридцатого января в Александро-Невской лавре. Прошу сообщить мне о депутациях: нужно будет установить порядок. Студенты помогут поддержать порядок во время шествия и на могиле. Передайте это вашим товарищам.

Институт in corpore * — преподаватели и воспитанники — явился на похороны. Занятия были отменены. Процессия растянулась на большое расстояние, раза и четыре-пять большее, чем при похоронах Некрасова. Пело до двадцати хоров — студенческих, артистов, консерватории, певчих и т. д. На тротуарах стояли сплошные толпы народа. Простой народ с удивлением смотрел на процессию. Мне передавали, что какая-то старушка спросила Григоровича: «Какого генерала хоронят?» — а тот ответил:

— Не генерала, а учителя, писателя.

— То-то я вижу много гимназистов и студентов. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное.

В церковь Св. Духа, где отпевали Достоевского, попасть было невозможно. У могилы также были толпы: памятники, деревья, каменная ограда, отделяющая старое кладбище, — все было усеяно пришедшими отдать последний долг писателю. Григорович просил студентов

---

* в полном составе (*лат.*).

очистить путь к могиле и место около нее. Мы с трудом это сделали и выстроили венки и хоругви шпалерами по обеим сторонам прохода. Служба и отпевание продолжались очень долго. В церкви было сказано несколько речей. Многочисленное духовенство, александро-невские певчие и монахи проследовали к могиле, куда нам пробраться было уже невозможно. Речей я не слыхал, но, взобравшись на дерево, видел ораторов. Впечатление осталось от апостольской фигуры В. С. Соловьева, от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией[3]. Разошлись от могилы, когда уже были зажжены фонари. Навстречу нам попадались группы людей, которые после службы шли отдать последний долг писателю. Литературные поминки по Достоевском продолжались вплоть до 1 марта, которое оборвало эти воспоминания о нем[4].

И. Ф. ТЮМЕНЕВ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

<1881 г.> 29 января, четверг.

Сегодня мы с глубоким прискорбием узнали из газет, что вчера в 8 ч. 40 м. вечера скончался Федор Михайлович Достоевский [1].

Мне кажется, скончайся теперь Тургенев, Гончаров, Островский, никого бы не было так жалко, как именно Федора Михайловича, который только что начал завладевать вниманием общества, только что крайне заинтересовал всех своими «Карамазовыми», только приготовился повествовать дальше о судьбе Алеши, этого, по его намерению, нового русского евангельского социалиста, только было все мы приготовились слушать его вдохновенное слово... Как вдруг смерть разбила все замыслы, нее ожидания, все надежды...

Венок. У нас в Академии собрали 110 р. на венок незабвенному писателю.

Дело было так: вечером в рисовальном классе подходит ко мне ученик нашего курса Архипович, малоросс, простоватый парень, но в сущности теплый и задушевный. «Вы знаете, что Достоевский умер?» — обратился он ко мне. «Знаю». — «Что же вы на это скажете?» — «Что же сказать? Грустно!» — «Да этого мало, — заговорил он. — Надо что-нибудь сделать, давайте соберем ему на венок». Я удивился, почему эта мысль не пришла мне раньше, и, конечно, отнесся к предложению с полным сочувствием, подписав тут же на венок 5 рублей. Сбор начался сразу во всех трех рисовальных классах (в головном — Архипович, в фигурном — Вершинин, в натурном — Чирка; они все трое живут вместе на казенной квартире в Академии). Все ученики с большой готовностью внесли свои посильные лепты на венок великому учителю. (Подписав 5 р. Архиповичу, я встретил Чирку с листом — и тому внес еще добавочный рублик.) Конечно, и у нас нашлись люди, которые спрашивали

сборщиков: «Кто же это такой, Достоевский?» — но таких было очень мало и с таких собиратели денег не спрашивали, а просто шли дальше, оставив их без ответа (кто-то из них, услыхав такой вопрос, будто бы даже плюнул с досады).

За два дня собрано 110 р., из которых часть решено употребить на венок, а остальные сдать в «Новое время», где уже открыт сбор на памятник[2].

30 января, пятница.
Вынос тела Ф. М. Достоевского в Лавру.

Депутация от наших учеников была на панихиде в квартире покойного (на Кузнечном — ныне улице Ф. М. Достоевского[3]) и со слов Дмитрия Васильевича Григоровича объявила в классах, что вынос тела будет завтра в 10½ ч. утра и что понесут прямо в Невскую лавру (в газетах время выноса и церковь были показаны неверно; вероятно, после напечатания произошла перемена[4]).

Вечерние классы прошли у нас в приготовлениях к завтрашнему дню и в переговорах: где, как и когда собираться. На вынос наших обещалось прийти человек до шестидесяти, все больше живописцы.

31 января, суббота.

Часов в 10 утра подъехали мы с Федором Федоровичем[5] ко Владимирской церкви и принуждены были оставить извозчика: весь Кузнечный и даже часть Владимирской площади были покрыты народом. По Кузнечному стройными линиями стояли уже десятка два или три венков, вплоть до самого дома, где находилась квартира Федора Михайловича.

У одного венка густою толпою стояли гимназисты. (Д. Н. Соловьев рассказывал, что ученики их первой гимназии, несмотря на *запрещение* директора, собрали деньги на венок и старшие из них ушли тайком из гимназии, чтобы участвовать в процессии.) Другой венок окружали ученики реального училища. Тут же неподалеку был венок от Бестужевских курсов, окруженный дамами и девицами. Далее в глубину, по направлению к дому, находился венок от Общества выставок, около которого о чем-то хлопотал И. Н. Крамской, тут же был Лемох и другие художники. За ними стоял венок от артистов русской оперы, и подле него виднелась длинная фигура В. И. Васильева 1-го, рассуждавшего о чем-то с Морозовым и Мельниковым (потом рассказывали, будто бы

Мельников получил от Кистера выговор, что пошел на вынос без разрешения: он мог там простудиться, осипнуть, заболеть и нарушить репертуар). За оперным стоял венок от русской драматической труппы. Здесь мы увидели Бродникова, Сазонова, Петипа и др. Тут же стоял Каразин с венком от Клуба художников, уже дышавшего на ладан и существовавшего чуть ли не в лице одного Николая Николаевича, который, кажется, перевез к себе и всю движимость Клуба за неимением средств платить Павловой за помещение, — остальные члены разбрелись «розно».

Мы принялись разыскивать наших учеников и наконец увидели их подле венка от передвижных выставок[6]. Но нашего венка еще не было; его ждали с нетерпением, почти с тревогою. Почти вместе с нами явился и венок. Прибежал запыхавшийся Архипович (которому поручено было заказать венок и распорядиться его доставкою). Нетерпение и ажитация были так велики, что, не дожидаясь, пока артельщик развяжет бумагу, обертывавшую ленту, Архипович сам ухватился за веревку с целью сразу разорвать ее и так сильно стал ее дергать, что в кровь изрезал себе руку. Наконец бумага была снята, синяя лента, на которой серебряными буквами было напечатано: «Ученики императорской Академии художеств», распущена, венок поставлен в ряд и сердца наши поуспокоились.

С шумом и громким говором прибыли студенты университета, неся свой громадный венок, украшенный пальмовыми ветвями наподобие лиры, и стали впереди нас. Они оканчивали 4-ю группу по церемониалу, мы начинали 5-ю. Распорядителем у них был любимый ими профессор Орест Федорович Миллер. Из толпы студентов выделился хор и занял место в цепи, составленной нами и студентами; хор стал позади своего венка, к нему присоединилось человек двадцать наших певцов.

Распорядитель нашей группы Дмитрий Васильевич Аверкиев принес толстую пачку листков с автографом Федора Михайловича и начал раздавать их[7]. Идея была прекрасная: выходило, будто бы сам покойный писатель благодарит нас за посещение и посылает на память свой автограф. Я вообще толкаться и протискиваться не мастер, и потому, когда дошел по очереди до Аверкиева, листки были уже все розданы. Но Федор Федорович <Светлов> отдал мне свой (помещен в «Непризнанном»), а вечером Михаил Андреевич[8] дал мне еще

листок, который и приложен рядом[9]. (М. А. взял этот листок специально для меня.)

Между тем публика все прибывала. Часы показывали уже четверть двенадцатого. В глубине от дома послышалось пение: гроб вынесли из квартиры. «Вперед!» — раздались голоса; венки поднялись, толпа заколыхалась, и через две-три минуты процессия тронулась.

На колокольне Владимирской церкви загудел колокол, и почти вслед за первым ударом рядом с нами раздалось торжественное «Святый Боже»: пел университетский хор, подкрепленный десятками голосов из окружающей, движущейся толпы. При первых звуках молитвы головы всех обнажились. Медленные печальные звуки «Святый Боже» так сильно хватали за душу, что у многих из нас к горлу подступили слезы. На меня эти звуки подействовали с особенною силою. <...>

Наш думский первый бас с видом богатыря, Михаил Павлович Иванов, бывший в толпе, рассказывал потом Берману, что принужден был отойти к сторонке, так как расплакался как ребенок. Такие минуты, подобные вышеописанной, случаются, конечно, редко и озаряют нас недолго, так было и здесь. Хотя пение не умолкало до самой Лавры, но того потрясающего впечатления оно уже не производило. По мере движения и шапки при новом запевании «Святый Боже» стали сниматься все туже и туже, а в самой цепи на Невском стали и покуривать (как будто нельзя было отходить на это время к панели). Вскоре и сами певцы перестали во время пения снимать шапки, и, в конце концов, молитва в шапках, под гул и разговоры окружавшей толпы, над которой носились облачка папиросного дыма, обратилась в какую-то холодную формальность, занимавшую разве одного только дирижера, который почему-то именно теперь яро размахивал руками, пятясь задом во время пения. Словом, теперь впечатление куда-то расплылось и точно испарилось, но первого момента «Святый Боже» на Кузнечном я не забуду никогда. В тот момент все действительно как-то ощутили веяние Божества, и верующие, и неверующие, это чувствовалось всеми, а чувство подчас является тоньше и прозорливее самого зрения глазами.

У Владимирской церкви была отслужена лития, процессия на некоторое время остановилась. Я в это время встал в цепь вместе с двумя другими нашими учениками и все время до Лавры шел уже боком, держась за руки с соседями. Вокруг самого гроба род цепи составляли

гирлянды из еловых ветвей, которую несли на палках, как один громадный венок, окружавший и гроб, и провожающих.

Погода была прекрасная: 1 или 2° тепла; ветра ни малейшего, сырости под ногами тоже не было. День выдался исключительно теплый, точно по заказу для проводов Федора Михайловича. На другой же день настал опять мороз и задул ветер; ранее такого тепла также не было.

Невский был буквально запружен народом. Экипажи могли двигаться только на узком пространстве для двух рядов, остальная часть проспекта была занята процессией и толпами народа, сплошною стеною стоявшего по сторонам.

На вопросы некоторых старушек: «Кого это хоронят?» — студенты демонстративно отвечали: «Каторжника». Одно время между ними произошло движение, послышались голоса: «Господа, пропустите, пропустите ректора». Толпа их раздвинулась, давая место старику с седой бородою, в шубе, который, несколько как бы конфузясь, поспешил пройти вперед. Это был ректор университета Бекетов [10].

Процессия растянулась на огромное расстояние и походила на какое-то триумфальное шествие: гроб только что выносили на Невский, а первые венки подходили уже к Знаменью. Тротуары, окна, балконы были покрыты зрителями. На остановленных вагонах конки вверху происходила форменная давка. Во время движения процессии к ней присоединились еще два венка из Москвы от студентов Московского университета и от Катковского лицея.

Венок от русской драматической труппы несла вместе с Сазоновым М. Г. Савина, и эта дань уважения к покойному пришлась многим по сердцу. Молодежь вела себя безукоризненно, вполне покойно и прилично (если не считать курения, но в нем повинны и артисты, и многие из публики). У Знаменья была отслужена новая лития.

На время литии наше пение замолкало и все останавливались; затем снова крики: «Вперед!», снова «Святый Боже», и процессия трогалась в путь.

На Лаврской площади я вышел из цепи и пропустил гроб и всю процессию. Перед гробом несли венки от литераторов и редакций разных журналов. (Венок «Русской речи» помещался на хоругви, которую, как говорили потом, поставили в Духовской церкви на хорах,

и она красиво склонялась над толпою молящихся.) Были венки от «Нового времени», «Петербургского листка», «Всемирной иллюстрации» и от некоторых других, которых я уже не помню.

Сам гроб, вместе с провожавшим его народом, как я уже говорил, был очень красиво окружен зеленою гирляндой, тянувшейся от венка Славянского общества, несенного впереди самого гроба.

Тут я земным поклоном простился с дорогим умершим и долго провожал глазами золотую, покрытую венками крышку гроба, которая высоко в воздухе как бы царила над окружающей толпой.

У ворот Лавры гроб встретил лаврский наместник, по слухам бывший хорошим знакомым покойного[11]. У ворот произошла давка. Говорят, чуть было в тесноте не задавили маленькую дочь Федора Михайловича, которая на другой день произнесла такой чудный, трогательный экспромт. Алексей Потехин вытащил ее на руках из толпы. Григорович в воротах просил публику не входить в Лавре в самую церковь, так как места едва ли хватит на 2000 человек.

Когда процессия прошла ворота, в них послышались крики, оханье и пр. Это толпа тискалась в ворота.

Я повернулся и пошел домой. На углу против Лавры какой-то писатель продавал по полтиннику пятикопеечные Везенберговские карточки[12] покойного. Не утерпел, чтобы не купить и себе карточку на память об этом дне, и до самого вечера мы оба с Федором Федоровичем <Светловым> были полны впечатлениями пережитого. Я много играл подходящих к настроению вещей Бетховена, Шуберта, а он сидел и слушал.

Вечером Соловьевы справляли новоселье[13]. Были Берман и Черкасов, оба присутствовавшие на выносе. Понятно, что целый вечер речь шла только о впечатлениях дня. После ужина гости разошлись, а мы: Михаил Андреевич <Берман>, Светлов, хозяин Костя и я, продолжали разговоры, говорили об идеализме и реализме, проводили параллель между Достоевским и Щедриным, между Шиллером и Гейне и добеседовались незаметно до 7½ ч. утра! Пример даже в наших летописях небывалый!

КОММЕНТАРИИ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

МОИ СВИДАНИЯ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Как вспоминал Достоевский в главе «Нечто личное» «Дневника писателя» за 1873 год, с Чернышевским он встретился впервые в 1859 году, «в первый же год по возвращении» из Сибири. «Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку» (*Достоевский,* XXI, 24—25).

Чернышевский же, в печатаемой в настоящем сборнике позднейшей мемуарной заметке (1888), утверждает, что увиделся с Достоевским в первый раз «через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок» (то есть после 28 мая 1862 г .) , — когда Достоевский пришел к нему с просьбой осудить и «удержать» тех, кто были вдохновителями и организаторами огромных петербургских пожаров: Чернышевский их будто бы «близко знал».

Обстановка в Петербурге была тогда до крайности напряженной. Опустошительным пожарам, начавшимся 16 мая и продолжавшимся две недели, предшествовало появление 14 мая прокламации «Молодая Россия» П. Г. Заичневского, призывавшей к беспощадному, решительному, до основания, разрушению социального и политического строя России, истреблению господствующего класса («императорской партии») и царской фамилии. Начали распространяться, не без участия официозной и консервативной печати, провокационные слухи о причастности к поджогам революционно настроенной молодежи, названные Герценом «натравливанием обманутого народа на студентов» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI. М., 1959, с. 219).

В. Н. Шаганов передает слышанный им в ссылке от Чернышевского, впрочем, несомненно, утрированно иронический, «анекдот» о посещении его Достоевским, совпадающий в главном, при различии деталей, хотя и существенных, с позднейшей мемуарной заметкой Чернышевского: «В мае 1862 года, в самое время петербургских пожаров, рано поутру врывается в квартиру Чернышевского Ф. Достоевский и прямо обращается к нему со следующими словами: «Николай Гаврилович, ради самого Господа, прикажите остановить пожары!..» Большого труда тогда стоило, говорил Чернышевский, что-нибудь объяснить Ф. Достоевскому. Он ничему верить не хотел и,

кажется, с этим неверием, с отчаянием в душе убежал обратно» (Шаганов В. Н. Николай Гаврилович Чернышевский на каторге и в ссылке. СПб., 1907, с. 8).

О том, что слухи, связывавшие имя Чернышевского с пожарами и поджигателями, в самом деле существовали, свидетельствует показание самого Чернышевского, арестованного примерно через месяц после встречи с Достоевским (показание было дано 1 июня 1863 года, то есть через год после встречи): «Мне известно, что, кроме обвинений, против которых я могу теперь прямо оправдываться, потому что они прямо выражены, существовало против меня множество других подозрений. Например, были слухи <...>, что я даже был участником поджога Толкучего рынка (в конце мая 1862)» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1949, с. 732).

Если Достоевский действительно просил Чернышевского «удержать» поджигателей, то можно сделать вывод, что он так или иначе поверил слухам, будто к поджогам имеет какое-то отношение «революционная партия», «вождем» которой был Чернышевский и позиция которой в наиболее крайней форме выразилась в прокламации Заичневского (разумеется, *лично* Чернышевский ни в каком случае не мог быть для Достоевского «участником поджога Толкучего рынка»).

Однако подобному выводу противоречит тот факт, что как раз в дни, близкие к посещению Чернышевского (может быть, и в самый этот день), Достоевский (или М. М. Достоевский, что в принципе не меняет существа дела) писал статью «Пожары», отвергавшую возможность участия в поджогах студенческой молодежи, которая была в то время главной носительницей оппозиционно-освободительных настроений (см. эту статью: *ЛН,* 86, 48—54). 1 июня статья, с одобрения царя, ее прочитавшего, была запрещена цензурой (с этого момента за журналом братьев Достоевских было установлено особое наблюдение, несомненно сыгравшее свою роль в последующем запрещении журнала — об обстоятельствах запрещения «Времени» см. в первом томе наст. изд. воспоминания Н. Н. Страхова и примеч. к ним; см. также: Розенблюм Н. Г. Петербургские пожары 1862 г. и Достоевский. — *ЛН,* 86).

Эпизод своей встречи с Чернышевским Достоевский в мемуарной статье «Нечто личное» («Дневник писателя» за 1873 год) излагает существенно иначе, чем Чернышевский, прежде всего в том, что касается повода для визита: по Достоевскому этим поводом была прокламация «Молодая Россия», а не пожары (*Достоевский,* XXI, 25—26).

Революционер-шестидесятник Л. Ф. Пантелеев вспоминал о некоторых обстоятельствах, связанных с появлением «Молодой России» и имеющих отношение к встрече Достоевского с Чернышевским: «Перечитав не раз «Молодую Россию», я окончательно убедился, что это горячечный бред, да еще могущий по своему впечатлению на общество повести к очень дурным последствиям, потому все данные мне экземпляры уничтожил. <...> Чернышевский отказался принять доставленные ему

для распространения экземпляры и вообще сухо встретил посланного <...> До какой степени, однако, в обществе существовало убеждение в причастности Чернышевского даже к крайним революционным проявлениям, всего лучше свидетельствует визит, который ему сделал Ф. М. Достоевский после апраксинского пожара. Ф. М. убеждал Чернышевского употребить все свое влияние, чтобы остановить революционный поток» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М.,1958, с. 301). (Пантелеев, однако, не уточняет, что следует понимать под «крайними революционными проявлениями» — поджоги или прокламацию «Молодая Россия».)

Версия Достоевского, по сравнению с рассказом Чернышевского, представляется более правдоподобной, хотя общая атмосфера встречи (крайнее беспокойство Достоевского, вызванное опасением террора и расправ над студенческой молодежью, с одной стороны, подчеркнуто мягкая и успокаивающая реакция Чернышевского — с другой), пусть в субъективном освещении Чернышевского, явно преувеличивающего болезненное состояние Достоевского, — эта атмосфера передана, по-видимому, верно. Наконец, собеседники, конечно, не могли не затронуть в разговоре и тревожного вопроса о пожарах (тема: «Чернышевский и Достоевский» более подробно освещена в кн.: Туниманов В. А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л., 1980).

Мемуарная заметка Н. Г. Чернышевского печатается по изд.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. I. М., 1939.

[1] С. 6. Такое издание сборника-хрестоматии для народного чтения готовилось участником революционного общества «Земля и Воля» А. Д. Путягой. В сборник должны были быть включены отрывки из «Записок из Мертвого дома» Достоевского. Сохранившаяся неопубликованная рукопись Л. Д. Путяты «не только подтверждает, но и дополняет рассказ Чернышевского о переговорах с Достоевским. В июле, сообщает Путята, Чернышевский сказал ему, что Достоевский перед своим отъездом за границу (7 июня 1862 г.) «изъявил согласие на предложение Н. Г. Чернышевского сделать выбор из «Записок из Мертвого дома» и дал право Чернышевскому самому взять на себя упомянутый выбор, редакцию или издание или поручить это кому угодно, по его усмотрению» (Лейкина-Свирская В. Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома». — Русская литература, 1962, № 1, с. 213).

А. П. СУСЛОВА

ИЗ КНИГИ «ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ»

Аполлинария Прокофьевна Суслова, в замужестве Розанова (1839—1918), в шестидесятые годы одна из выразительниц демократических идей «эмансипации женщин»; в материалах III Отделения вместе

с сестрой, Н. П. Сусловой (см. о ней далее), была названа среди «девиц», «принадлежащих к партии нигилистов».

Достоевский познакомился с Сусловой, вероятнее всего, в 1861 году: в десятой книжке журнала «Время» за этот год (ценз. р а з р . —27 октября) был напечатан ее рассказ «Покуда». Позднее Достоевский напечатал еще два рассказа Сусловой — «До свадьбы» (Время, 1863, № 3) и «Своей дорогой» (Эпоха, 1864, № 6). «Шестидесятницей по своим идейным устремлениям больше всего» в вопросе об эмансипации женщин «является Суслова в этих своих рассказах. <...> Пафос ее писаний <...> пафос ее жизни» (Долинин А. С. Достоевский и Суслова. К биографии Достоевского (по неизданным материалам). — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, с. 173—174).

А. П. Суслова была дочерью крепостного крестьянина, происходившего из с. Панина Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Несомненно, человек незаурядный, П. Суслов в начале шестидесятых годов управлял всеми делами своего бывшего владельца графа Шереметева, жил вместе с детьми в Петербурге. Вскоре он уже имел и собственную фабрику в Иваново-Вознесенске. По характеристике А. С. Долинина, «никакие традиции прошлого над ней <Сусловой> не тяготели. Крестьянка *по крови,* она пришла в мир с той неумолимой прямолинейностью, с тем высоким нравственным закалом, которые и являются типическими чертами наиболее ярких представителей шестидесятых годов. Да, она была по стилю души «совершенно русская» — русская, простонародная <см. запись в ее «Дневнике» от 22 мая 1864 г.>; действительно «раскольница поморского согласия» <слова о Сусловой В. В. Розанова>: по стойкости, одержимости одной идеей и властности» (Долинин А. С. Вступ. ст. к кн.: Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928, с. 9). А. П. Суслова принадлежала к числу типичных женских характеров эпохи 60-х годов, хотя и не с такой яркой и примечательной судьбой, как многие другие деятельницы женского движения этого времени: ее сестра Надежда — доктор медицины Цюрихского университета, выдающийся математик С. В. Ковалевская, участница Парижской коммуны А. В. Корвин-Круковская-Жаклар, доктор прав Лейпцигского университета А. М. Евреинова и др. Ее судьба, по-видимому, определилась не тягой к науке или общественной деятельности, как это было у ее знаменитых современниц, а неудержимым и властным стремлением к эмансипации в сфере чисто личной. Именно это определило трудный и, несомненно, трагический характер ее отношений с Достоевским (блестящий, не потерявший значения до сего времени, хотя в чем-то, может быть, и гипотетический, анализ их отношений дан в названной выше статье А. С. Долинина «Достоевский и Суслова» в сборнике 1925 г.), а впоследствии и с философом и публицистом В. В. Розановым, за которого она вышла замуж в 1880 году, когда ей был уже 41 год, а ему лишь 24.

«Годам близости» с Достоевским в значительной своей части посвящен «Дневник» Сусловой, а также, в художественно-интерпретированном варианте, повесть «Чужая и свои». Сам Достоевский отразил эти «годы близости» в романе «Игрок» (1866).

О своих мучительно запутанных отношениях с Достоевским Аполлинария Прокофьевна писала, вероятно в начале 1865 года, сестре Надежде (письма эти неизвестны), а та, в свою очередь, просила «разъяснений» у Достоевского (письмо это также не сохранилось). Надо думать, что Достоевский не кривил душой в своем дружеском ответном письме к Н. П. Сусловой от 19 апреля 1865 года:

«...Вы, кажется, не первый год меня знаете, что я в каждую тяжелую минуту к Вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к Вам одной и приходил, когда уж очень, бывало, наболит в сердце. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения, а потому сами можете судить: люблю ли я питаться чужими страданиями, груб ли я (внутренно), жесток ли я?

Аполлинария — больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего,* всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 121—122).

Достоевский и Суслова встречались после этого в Петербурге и за границей, Достоевский даже предлагал ей «руку и сердце» (см. с. 17). Суслова писала Достоевскому и после его женитьбы на А. Г. Сниткиной, что Анна Григорьевна с болью и слезами отмстила в своем стенографическом «Дневнике» (см. далее, с. 62). Глубоко и на всю жизнь полюбив свою молодую жену, Достоевский не мог забыть того горького счастья, что доставила ему Аполлинария, и потому в письме к ней из Дрездена от 23 апреля/5 мая 1867 года (последнем известном его письме к Сусловой) он называет ее «другом вечным» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 184).

Фрагменты из «Дневника» А. П. Сусловой печатаются по изд.: Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928.

[1] С. 8. Это письмо Достоевского неизвестно.

[2] С. 8. Достоверность этого свидетельства Сусловой подтверждается словами Достоевского из письма к Н. П. Сусловой от 19 апреля 1865 г.: «Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: «Ты немножко опоздал приехать», то есть что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: «Ты немножко опоздал приехать» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 121).

[3] С. 8. Суслова ошиблась в числе. Среда приходилась в 1863 г. на 14/26 августа. В этот день Достоевский и приехал в Париж. Названное в этой записи письмо Достоевского неизвестно.

[4] С. 10. В Баден-Бадене Достоевский и Суслова находились 5—8 сентября (н. ст.) 1863 г. В день отъезда из Бадена в Турин Достоевский писал свояченице В. Д. Констант: «...здесь, в Бадене, я проигрался на рулетке весь, совершенно, дотла» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 42). О неодолимой тяге к игре и отношениях этого времени с А. П. Сусловой Достоевский рассказывал М. М. Достоевскому в письме из Турина от 8/20 сентября: «Разных приключений много, но скучно ужасно, несмотря на А<поллинарию> П<рокофьевну>. Тут и счастье принимаешь тяжело, потому что отделился от всех, кого до сих пор любил и по ком много раз страдал. Искать счастье, бросив всё, даже то, чему мог быть полезным, — эгоизм, и эта мысль отравляет теперь мое счастье (если только есть оно в самом деле)» (там же, с. 45). В Бадене Достоевский несколько раз виделся с Тургеневым, который рассказывал «свои нравственные муки и сомнения» (там же).

[5] С. 10. Достоевский всегда с глубоким вниманием и страстным сочувствием относился к творчеству Лермонтова. Романтическое мироощущение Лермонтова вызывало ответный отклик в душе юного Достоевского, что нашло отражение в ряде его ранних писем к брату. В 1861 г. во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе», назвав Лермонтова одним из наших «демонов» (другой — Гоголь), писал: «Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. <...> Наконец, ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас...» (*Достоевский,* XVIII, 59). Об этом «демонизме» Лермонтова, по-видимому, и шел разговор у Сусловой с Достоевским, тем более что далее она цитирует (не совсем точно) две заключительные строки стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

[6] С. 12. То есть Надежду Прокофьевну Суслову.

[7] С. 13. Эта тема античеловечного индивидуалистического «наполеонизма» вскоре будет развита Достоевским в «Преступлении и наказании».

[8] С. 13. Достоевский намекает на страсть Сусловой к испанцу Сальвадору.

[9] С. 15. Первая встреча Достоевского с Герценом произошла 4/16 июля 1862 г. в Лондоне. На этот же раз они встретились на пароходе перед отплытием из Неаполя 1/13 октября 1863 г. Достоевский в разговоре с Герценом хвалил ему его книгу «С того берега», ряд глав которой изложен диалогически.

«И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене» («Дневник писателя» за 1873 г. — *Достоевский,* XXI, 8).

Вероятно, главными темами их разговора, поскольку речь шла о книге Герцена «С того берега», были отношения России и Запада,

«русское решение» социального вопроса, западничество и славянофильство, католицизм и православие. Герцен в первом из «Писем к противнику», то есть к Ю. Ф. Самарину (Колокол, л. 191 от 15 ноября 1864 г.), вспоминал, что Достоевский как раз в это время читал сочинения славянофила А. С. Хомякова, которые и дал ему почитать. «Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно видел, что во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII. М., 1959, с. 279).

Здесь же, на пароходе по пути из Неаполя в Ливорно, Достоевский «целый час» проговорил с дочерью Герцена Натальей Александровной, которая, как было сказано в зачеркнутом варианте «Дневника писателя» за 1876 г., «была очень грустна <...> грустила об отце, о том, что в России все от него отвернулись, считают его изменником России (это был год польского восстания), она не вдавалась передо мною в защиту его, не объясняла его убеждений. Она видимо принадлежала к тем женщинам, которые живут сердцем, чувством и не заботятся о том, чтоб хвалили их ум и развитие. Мне она всегда казалась чрезвычайно симпатичным существом, которое вряд ли совпадает с окружающей ее резкой и предвзятой обстановкой, в которой никак не мог воцариться порядок. Одним словом, жизнь всей этой *семьи* была странная и не по силам этой молодой душе, находившей отзыв себе лишь в сердце отца, се обожавшею» (*Достоевский,* XXIII, 324). См.: *Долинин, Последние романы*; Дрыжакова Е. Н. Достоевский и Герцен. — *Материалы и исследования,* 1.

[10] С. 15. Александр Александрович Герцен (1839—1906), ученый-естествоиспытатель и общественный деятель. Ему посвящена книга А. И. Герцена «С того берега».

[11] С. 16. Речь идет об испанце Сальвадоре.

[12] С. 16. Писательница Евгения Тур (наст. имя — графиня Е. В. Салиас-де-Турнемир, рожд. Сухово-Кобылина). У Сусловой установились с ней дружеские отношения.

[13] С. 17. *Gault* — по предположению А. С. Долинина, Жан-Баптист Морис Го, французский поэт и литератор, специалист по литературе Прованса.

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА»

Софья Васильевна Ковалевская, рожд. Корвин-Круковская (1850—1891), выдающийся математик и общественная деятельница; писательница.

Первая встреча Софьи Васильевны с Достоевским произошла в начале марта 1865 года в Петербурге, куда она вместе с матерью и сестрой Анной приехала на короткое время из витебского имения Корвин-Круковских Палибина. Непосредственным поводом для этой встречи явилась публикация в 1864 году в журнале «Эпоха» двух повестей, или рассказов, Анны Васильевны — «Сон» (№ 8) и «Михаил» (№ 9), а также начавшаяся переписка между Достоевским и ею. Достоевскому понравилась как первая, еще довольно наивная повесть «Сон» — о бедной девушке, порывающейся к новой жизни и в конце концов гибнущей, — так и в особенности вторая, называвшаяся первоначально «Послушник» (название, так же как и некоторые места повести, не было пропущено духовной цензурой), — о человеке, с детских лет живущем богатой внутренней жизнью, страстно и мучительно стремящемся к идеалу, но глубоко раздвоенном между жаждой жизни и нравственным монашеским аскетизмом, мятущемся и погибающем «от невозможности жить». 14 декабря 1864 года Достоевский писал А. В. Корвин-Круковской: «Вам не только можно, но и *должно* смотреть на свои способности *серьезно.* Вы — поэт. Это уже одно много стоит, а если при этом *талант* и *взгляд,* то нельзя пренебрегать собою. Одно — учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 107). Даже через двадцать лет Анна Васильевна «с большим чувством говорила о влиянии на нее Достоевского в ранней молодости, считая, что общение с ним много ценного в ней тогда пробудило, осветило ей многое в окружающей жизни <...> наметило ей впереди цели желанных достижений» (Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны. М.—Л., 1964, с. 149).

Впоследствии удивительная судьба сестер Корвин-Круковских своеобразно переплелась с жизнью Достоевского. В 1868 году С. В. Корвин-Круковская, с целью освободиться от родительской опеки и посвятить себя науке, вышла замуж (фиктивным браком, ставшим потом фактическим) за Владимира Онуфриевича Ковалевского, близкого революционному движению шестидесятых годов, знакомого Герцена и Гарибальди, впоследствии выдающегося палеонтолога. В Петербурге она знакомится с И. М. Сеченовым и посещает его лекции. В 1869 году вместе с мужем и сестрой уезжает за границу, живет в Гейдельберге и Берлине, посещает лекции в тамошних университетах, при этом уже ярко проявляются ее выдающиеся математические способности.

Тем временем ее сестра, Анна Васильевна, отправляется в Париж, работает наборщицей в типографии, сближается с революционными кругами, знакомится со студентом-медиком Шарлем-Виктором Жакларом, активным участником революционного движения, вскоре становится его женой. По словам приятельницы С. В. Ковалевской А. Ш. Леффлер, Анна Васильевна «принимала самое горячее, самое страстное участие в политических движениях того времени и ничего лучшего не желала, как

рисковать жизнью рядом с человеком, с которым она навсегда связала свою судьбу» (Леффлер Л. Ш. Софья Ковалевская. Воспоминания. СПб., 1893, с. 122). И она действительно становится членом Русской секции Первого Интернационала, руководимого К. Марксом, а затем вместе с Жакларом — участницей Парижской Коммуны. После нескольких лет, проведенных за границей, в 1874 году обе семьи возвращаются в Россию.

Ко второй половине семидесятых годов относится второй период общении С. В. Ковалевской и А. В. Жаклар с Достоевским как в Петербурге, так и в Старой Руссе, где, так же как и Достоевский, Жаклары проводили лето. Известно, что сестры в это время не оставляли своих литературных трудов и советовались с Достоевским. В письме от 29 сентября 1878 года А. В, Жаклар называет Достоевских друзьями, «от которых не хотелось бы утаивать и близко касающихся предметов» (Штрайх С. Я. Сестры Корвин-Круковские. М., 1933, с. 291).

Весной 1881 года С. В. Ковалевская уезжает за границу, возобновляет свои занятия математикой и в 1884 году становится профессором Стокгольмского университета. Продолжает она и свои литературные работы, после смерти в 1887 году сестры пишет «Воспоминания детства», повесть «Нигилистка» и др. (подробнее см.: Штрайх С. Я. Сестры Корвин-Круковские. М., 1933; Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны. М.—Л., 1964; Нечкина М. В. Софья Ковалевская — общественный деятель и литератор. — В кн.: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974).

Отрывки из «Воспоминаний детства» С. В. Ковалевской печатаются по изд.: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974.

[1] С. 19. *Маргарита* Францевна Смит — англичанка, гувернантка младших детей Корвин-Круковских, с которой у старшей сестры, Анны, сложились неприязненные отношения, вызвавшие в конце концов отъезд «Маргариты».

[2] С. 20. Подлинник этого письма Достоевского от конца августа — начала сентября 1864 г. неизвестен. Но если Ковалевская и допустила при его передаче какие-либо неточности, несомненно, что основной смысл передан верно.

[3] С. 23. Далее в воспоминаниях С. В. Ковалевской рассказывается о гневе отца, который «потребовал от дочери обещания, что она больше писать не будет, и только под этим условием соглашался простить ее. Анюта, разумеется, дать такое обещание не соглашалась, и вследствие этого они не разговаривали целыми днями, и сестра не являлась даже к обеду». Но в конце концов отец сдался и согласился прослушать первую повесть Анны Васильевны «Сон». Повесть растрогала отца, и он «разрешил Анюте писать Достоевскому, под условием только показывать ему письма, и при будущей поездке в Петербург обещал ей

лично с ним познакомиться» (Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 69—72). Знакомство В. В. Корвин-Круковского с Достоевским, однако, не состоялось.

[4] С. 25. Как вспоминал домашний учитель Корвин-Круковских И. И. Малевич, С. В. Ковалевская писала стихи уже в раннем детстве (см. его воспоминания в журнале «Русская старина», 1890, № 12, с. 641—642). По ее же собственным воспоминаниям, она стала сочинять стихи с пятилетнего возраста, а в двенадцать лет была убеждена, что станет поэтессой (см.: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 31). Немногие сохранившиеся стихотворения С. В. Ковалевской, относящиеся к более позднему времени, напечатаны в названном издании.

[5] С. 26. Об этом страшном, переломившем всю его жизнь «эпизоде» Достоевский рассказывал людям, к которым чувствовал симпатию и доверие, особенно в минуты тяжело переживаемого им одиночества. О жуткой церемонии приготовлений к смертной казни он рассказал А. Г. Сниткиной в первый же день работы с нею (см. с. 110 наст. тома; см. также: *Достоевская,* с. 67—68), позднее, в 1874 г., — В. В. Тимофеевой-Починковской (см. с. 184 наст. тома). Об этом «эпизоде из собственной жизни» Достоевский вспомнил в том же 1873 г. в главе «Дневника писателя» «Одна из современных фальшей» (*Достоевский,* XXI, 129). Яркое художественное воплощение это воспоминание Достоевского нашло в романе «Идиот», в рассуждении о смертной казни и в рассказе князя Мышкина (*Достоевский,* VIII, 20—21, 51—52).

[6] С. 26. См. об этом примеч. 4 к с. 235 в томе первом наст. изд.

[7] С. 27. Ощущение высшей гармонии и блаженства, испытываемое эпилептиком перед припадком, Достоевский описал — как ощущение князя Мышкина — в романе «Идиот» (*Достоевский,* VIII, 187—189, 195).

[8] С. 29. Тема самого страшного, непрощаемого преступления — насилия над ребенком — неоднократно появляется у Достоевского, наиболее определенно в исповеди Ставрогина (глава «У Тихона», не вошедшая в окончательный текст романа «Бесы» — *Достоевский,* XI). О том, какую незаживающую рану оставило в его детском сердце такое преступление, Достоевский рассказывал в доме А. П. Философовой (см.: Трубецкая З. А. Достоевский и А. П. Философова. — Русская литература, 1973, № 3, с. 117; публикация С. В. Белова).

[9] С. 30. Речь идет о либеральном государственном деятеле, военном министре в 1861—1881 гг. Д. А. Милютине, брате экономиста В. А. Милютина и фактического руководителя крестьянской реформы 1861 г. Н. А. Милютина. С ним и его семьей родители Ковалевской, а затем и она сама поддерживали добрые отношения (см.: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1974, с. 517 — примечания).

[10] С. 31. В рукописи имя этого родственника названо (хотя и с пометкой — «не для печати») — Андрей Иванович Косич, полковник Гене-

рального штаба, впоследствии — видный администратор, член Государственного совета. Поддерживал с Ковалевской родственные отношения (см. в тех же примечаниях).

[11] С. 34. Особую главу «Воспоминаний детства» С. В. Ковалевская посвящает «нигилизму» своей сестры, на которую оказал влияние бывший семинарист, сын приходского священника. Он, как вспоминает С. В. Ковалевская, снабжал Анну Васильевну демократическими журналами «Современник» и «Русское слово», познакомил с запрещенным «Колоколом» Герцена, давал ей читать книги естественно-научного и позитивистского характера, популярные среди тогдашней радикальной молодежи: «Физиологию обыденной жизни» Д. Г. Льюиса (русский перевод — 1861—1862), «Историю цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля (русский перевод — 1862—1863), а возможно, и другие.

По-видимому, именно здесь нужно искать истоки будущих взглядов и общественной деятельности А. В. Круковской-Жаклар (см. вступ. заметку). Интересно, однако, признание Достоевского в письме к А. В. Корвин-Круковской (по-видимому, неотосланном) от марта—апреля 1866 г., после встреч и, наверное, споров с нею в феврале этого года в Петербурге: «...милая, добрая, благородная моя Анна Васильевна, если б Вы знали, как искренно и как во многом готов я совершенно согласиться с Вами!» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 159).

[12] С. 34. Этот неоднократно повторявшийся Достоевским афоризм (также, например, в «Бесах» — *Достоевский,* X, 23) представляет собой пародию на ряд высказываний Базарова в «Отцах и детях» Тургенева («Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта...» и т. п.). Вместе с чем, формулируя его, Достоевский протестовал против суждений о Пушкине (впрочем, весьма неоднозначных), появлявшихся в эти годы на страницах как либеральной, так и радикально-демократической печати и в той или иной степени умалявших его великое, непреходящее значение как национального поэта (см., в частности: Туниманов В. А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л., 1980, с. 214—223). Незадолго до споров с А. В. Круковской, в «Ряде статей о русской литературе», Достоевский писал: «Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более», ибо он «есть полнейшее выражение направления, инстинктов и потребностей русского духа в данный исторический момент. Ведь это отчасти современный тип всего русского человека, по крайней мере в историческом и общечеловеческом стремлении его» (*Достоевский,* XVIII, 69, 99).

[13] С. 37. О восприятии Достоевским музыки см. также с. 69 и 73 наст. тома.

[14] С. 39. Иная версия сватовства Достоевского к А. В. Корвин-Круковской изложена А. Г. Достоевской: «Как-то раз Федор Михайлович подробно рассказал мне, как сватался к Анне Васильевне Корвин-Круковской, как рад был, получив согласие этой умной, доброй и талантливой девушки, и как грустно было ему вернуть ей слово, сознав, что

при противоположных убеждениях их взаимное счастье невозможно» (*Достоевская,* с. 75). Что касается несогласия в убеждениях, то это следует и из воспоминаний С. В. Ковалевской и изо всей последующей жизненной судьбы А. В. Круковской-Жаклар. Это, однако, не помешало дружеским отношениям сестер с Достоевским в последние годы его жизни.

[15] С. 40. Это письмо Достоевского неизвестно.

М. А. ИВАНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Мария Александровна Иванова (1848—1929), вторая дочь любимой сестры Достоевского Веры Михайловны. С семьей Ивановых у Достоевского сложились наиболее близкие и дружеские связи, в особенности с другой племянницей — Софьей Александровной, переводчицей.

Летом 1866 года Мария Александровна действительно готовилась к поступлению в Московскую консерваторию, где вскоре и стала ученицей Н. Г. Рубинштейна. По воспоминаниям А. Г. Достоевской, Федор Михайлович любил слушать ее игру, когда приезжал в Москву и останавливался у Ивановых. Он писал С. А. Ивановой из Женевы 1/13 января 1868 года: «Я люблю вас всех, а Вас особенно. Машеньку, например, я люблю чрезвычайно за ее прелесть, грациозность, наивность, прелестную манеру; а серьезность ее сердца я узнал очень недавно (о, вы все талантливы и отмечены Богом)...» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 249—250).

Летом 1866 года в Люблине Достоевский писал «Преступление и наказание», и, очевидно, с этим необыкновенным творческим взлетом его гения связано отмеченное сразу двумя мемуаристами охватившее его настроение радости и вдохновения (см. далее воспоминания Н. Фон-Фохта).

Это лето отразилось и в другом произведении Достоевского — романе «Вечный муж». «Роман этот имеет автобиографическое значение,— писала А. Г. Достоевская. — Это — отголосок летнего пребывания моего мужа в 1866 году в Люблине, близ Москвы, где он поселился на даче, рядом с дачею своей сестры В. М. Ивановой. В лице членов семейства Захлебининых Федор Михайлович изобразил семью Ивановых. Тут и отец, весь ушедший в свою большую докторскую практику, мать, вечно усталая от хозяйственных забот, и веселая молодежь — племянники и племянницы Федора Михайловича и их молодые друзья. В лице подружки Марьи Никитишны изображена друг семьи М. С. Иванчина-Писарева, а в лице Александра Лобова — пасынок мужа, П. А. Исаев, конечно в сильно идеализированном виде. Даже в Вельчанинове имеются некоторые черточки самого Федора Михайловича, например в описании различного рода игр, затеянных им при приезде

на дачу. Таким веселым в молодом обществе и находчивым вспоминает о нем один из участников подобных летних вечеров и представлений Н. Н. Фон-Фохт» (*Достоевская,* с. 198). О переезде на дачу в Люблино Достоевский рассказал в письме к А. П. Милюкову от 10—15 июля 1866 года (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 164—165).

Воспоминания М. А. Ивановой печатаются по публикации в ст.: Нечаева В. С. Из литературы о Достоевском. Поездка в Даровое. — Новый мир, 1926, № 3.

[1] С. 42. *Люблино, Кузьминки, Царицыно* — исторические местности вблизи Москвы со старинными усадьбами и парками, в 60-е годы прошлого иска уже застраивавшиеся дачами. В Царицыне по проекту В. И. Баженова в 1776—1886 гг. был возведен комплекс дворцовых сооружений, не понравившийся Екатерине II и вскоре частично разобранный. В Царицыне затем строил М. Ф. Казаков и др.

[2] С. 43. В «Преступлении и наказании» Катерина Ивановна Мармеладова этими словами бранит хозяйку квартиры Амалию Ивановну Липпевехзель: «...подлая ты прусская куриная нога в кринолине!» (*Достоевский,* VI, 303).

[3] С. 43. Стихотворение Пушкина, изданное в 1830 г. вместе с нотами романса М. И. Глинки, сочиненного на пушкинские слова.

[4] С. 44. Александр Петрович Карепин был сыном сестры Достоевского Варвары Михайловны. Более объективную характеристику дает ему племянник Достоевского А. А. Достоевский (записано М. В. Волоцким): «А. П. Карепин действительно страдал ненормальностью, для которой в медицине, по всем вероятиям, есть особый термин, но это не была глупость, а тем более не идиотизм. Я лично очень хорошо помню Александра Петровича, и мы — дети — вместе со старшими подсмеивались над его, так сказать, «недержанием речи», но о глупости его у нас никто и никогда не говорил. <...> Расчетливый, бережливый, аккуратный, до смешного кроткий, покорный и послушный даже в самые зрелые годы своей жизни, — этими своими свойствами он производил на окружающих впечатление человека смешного и с большими странностями» (*Волоцкой,* с. 165—166).

[5] С. 44. В это время строилась Московско-Курская железная дорога.

[6] С. 47. См. примеч. 12 к с. 34.

[7] С. 47. Речь идет о писателе Григории Петровиче Данилевском, романы которого «Беглые в Новороссии» и «Воля» печатались в журнале «Время».

[8] С. 48. Достоевский мог сделать такое предложение на Пасху 1866 г.

[9] С. 48. С членами царской семьи Достоевский познакомился и встречался в последние годы жизни. 16 декабря 1880 г. он был представлен наследнику-цесаревичу Александру Александровичу (будущему императору Александру III).

Н. ФОН-ФОХТ

К БИОГРАФИИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

О Н. Фон-Фохте нам известно лишь то, что он сам сообщает в настоящих воспоминаниях, а именно: что он воспитывался в Константиновском межевом институте, где служил врачом муж сестры Достоевского Веры Михайловны Достоевской Александр Павлович Иванов. Достоевский, приезжая в Москву, часто бывал у Ивановых на Старой Басманной, где помещался институт. Фон-Фохт упоминается в письме П. А. Исаева к Достоевскому от 29 августа 1866 года (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 437 — примечания). О знакомстве с семейством Ивановых вскоре после женитьбы во время поездки в Москву подробно рассказывает А. Г. Достоевская (*Достоевская,* с. 137—143).

В главке «Воспоминатели» А. Г. Достоевская отметила мемуарную статью Н. Фон-Фохта как достоверно и непредвзято рисующую облик Достоевского-человека: «Меня всегда поражал общий тон, сделавшийся почти шаблонным, воспоминаний о Федоре Михайловиче. Все воспоминатели, точно по уговору, представляли (вероятно, судя по его произведениям) Федора Михайловича человеком мрачным, тяжелым в обществе, нетерпимым к чужим мнениям, непременно со всеми спорящим и желающим нанести своему собеседнику какую-нибудь обиду; кроме того, чрезвычайно гордым и преисполненным своим «величием». Только немногие лица — В. Микулич *, московские родственники Федора Михайловича <Ивановы>, г-н, помнящий его на даче близ Москвы, Н. Н. Фон-Фохт — нашли возможным вынести и высказать о Федоре Михайловиче совсем иное впечатление, которое и соответствовало действительности» (*Достоевская,* с. 405—406).

Воспоминания Н. Фон-Фохта печатаются по изд.: Исторический вестник, 1901, № 12.

[1] С. 49. Всего у Ивановых родилось тринадцать человек детей, но три дочери умерли в младенчестве, еще до 1866 г., а младшая, Наталья, родилась в 1867 г. (см.: *Волоцкой,* с. 187 и сл.).

[2] С. 51. Второй части публикации романа в «Русском вестнике» соответствуют третья, четвертая и пятая отдельного издания.

[3] С. 51. См. в томе первом наст. изд. примеч. 4 к с. 235.

[4] С. 52. «Последнее» (то есть третье по счету) путешествие Достоевского за границу состоялось в июле—октябре 1865 г. Достоевский лечился в Висбадене и неделю в начале октября провел в Копенгагене у А. Е. Врангеля.

[5] С. 53. Это Евангелие было подарено Достоевскому не родными, а женами декабристов на пересыльном дворе в Тобольске в январе 1850 г. (см. в томе первом наст. изд. примеч. 2 к с. 346).

---

* Л. И. Веселитская, писавшая под псевдонимом В. Микулич, автор воспоминаний о Достоевском «Встреча со знаменитостью». М., 1903. (*К. Т.*)

[6] С. 53. Эти слова мы встречаем в первой же главе «Записок из Мертвого дома» (*Достоевский,* IV, 17).

[7] С. 55. О музыкальных интересах Достоевского см. также с. 37, 69, 73. Композитор и музыкальный критик А. Н. Серов сотрудничал в «Эпохе» Достоевского. Оперу «Рогнеда» (на сюжет из русской истории времени принятия христианства) А. Н. Серов закончил в 1865 г., причем активным свидетелем ее создания был Достоевский. В автобиографической записке, говоря о себе в третьем лице, Серов писал: «Сотрудником по тексту в «Рогнеде» был Д. В. Аверкиев, очень метко схватывавший намерения композитора-драматурга в их, так сказать, еще эмбрионическом виде. <...> Эта работа шла почти незаметно, среди бесед с многими другими литераторами — Майковым, Достоевским и др., окружавшими тогда Серова, и параллельно с самим сочинением музыки» (Серов А. Н. Избранные статьи, т. I. М.—Л., 1950, с. 75).

[8] С. 56. Первая строфа стихотворения Г. Гейне из цикла «Возвращение на родину» («Die Heimkehr»; 1823—1824).

[9] С. 56. См. выше примеч. 2 к с. 51.

[10] С. 56. Это были не цензурные стеснения, а требования редакции «Русского вестника» (М. Н. Катков, Н. А. Любимов) о переделке главы романа, рассказывающей о первом посещении Сони Раскольниковым и чтении евангельского рассказа о воскрешении Лазаря. Об этих требованиях и мучительной работе по переделке (с «трудом и тоской») Достоевский рассказал в письме к А. П. Милюкову от 10—15 июля 1866 г. из Люблина: «Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за *нравственность.* В этом я был п р а в , — ничего не было против нравственности и даже *чрезмерно напротив,* но они видят другое и, кроме того, видят следы *нигилизма»* (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 166). Публикуя это письмо Достоевского в 1889 г., редакция «Русского вестника» сделала примечание, в котором, в частности, говорилось: «Из письма видно, что ему не легко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони, как женщины, доведшей самопожертвованье до такой ужасной жертвы. Федор Михайлович значительно сократил разговор при чтении Евангелия...» (Русский вестник, 1889, № 2, отдел «Сообщения и известия», с. 361). В чем заключались сделанные Достоевским сокращения, неизвестно.

[11] С. 56. Австро-прусская война 1866 г. была вызвана борьбой Австрии и Пруссии за главенство в объединенной Германии. Австрийские войска были разгромлены 3 июля 1866 г. в знаменитом сражении при Садовой.

[12] С. 59. Достоевский выехал из Люблина в начале сентября.

[13] С. 60. Н. Фон-Фохт допускает неточность: роман «Игрок» был завершен до 1 ноября 1866 г. (то есть раньше Рождественских праздников).

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ИЗ «ДНЕВНИКА 1867 ГОДА»

Анна Григорьевна Достоевская, рожд. Сниткина (1846—1918), вторая жена, усердная помощница и друг Достоевского на протяжении наиболее плодотворных четырнадцати лет его творческой деятельности и нелегкой жизни (1867—1881).

Как рассказывает Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях», ее образование началось в немецком училище св. Анны, где она училась с девяти до двенадцати лет. С открытием в Петербурге первой женской гимназии (Мариинской) она поступила туда во второй класс и закончила гимназию в 1864 году с большой серебряной медалью. Затем в течение года посещала Педагогические курсы Н. А. Вышнеградского, но в связи с неизлечимой болезнью отца, требовавшей заботы и внимания, покинула курсы. В начале 1866 года, незадолго до смерти отца, принялась за изучение стенографии. «Принадлежа к либеральному поколению шестидесятых годов», по ее собственным словам, она стремилась овладеть профессией, которая давала бы ей средства для самостоятельной жизни. Хорошее знание немецкого языка пригодилось впоследствии при многолетнем проживании с Достоевским за границей, а благодаря стенографии она, начиная с совместной работы над «Игроком», стала незаменимой помощницей писателя, диктовавшего ей многие произведения.

Свою жизнь с Достоевским за границей в течение 1867 года Анна Григорьевна обстоятельно описала в стенографическом дневнике (куда она включила также свои первые воспоминания). Первая часть этого дневника, расшифрованная ею самой, была опубликована Н. Ф. Бельчиковым: Достоевская А. Г. Дневник. 1867 год. М., 1923. Вторая часть напечатана в «Литературном наследстве», т. 86. М., 1973 («Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской». Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошеманской. Подготовка текста к печати, вступительная статья и примечания С. В. Житомирской).

После смерти Достоевского Анна Григорьевна посвятила всю свою жизнь и неустанную работу служению памяти Достоевского. В Старой Руссе была ею основана школа имени Достоевского, издано семь собраний сочинений писателя. Когда в 1883 году готовилась к изданию книга «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», она оказала существенную помощь ее составителям О. Ф. Миллеру и Н. Н. Страхову. При Историческом музее в Москве создала «Музей памяти Ф. М. Достоевского». Составила обстоятельнейший «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» (1906). В 1911—1916 годах, на склоне дней, Анна Григорьевна писала свои «Воспоминания».

Более подробно о личности А. Г. Достоевской, ее жизни с Достоевским, о «Дневнике» и «Воспоминаниях» см. (кроме названной статьи С. В. Житомирской): Белов С. В., Туниманов В. А. А. Г. Достоевская и ее воспоминания. — *Достоевская*; те же авторы. Переписка Достоевского с женой. — Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. Л., 1976.

Отрывки из «Дневника» А. Г. Достоевской печатаются по изд.: 1) *Достоевский в воспоминаниях,* т. 2, где текст был сверен с рукописью (записи от 18/30 апреля — 12/24 августа 1867 г.); 2) *ЛН,* 86 (записи от 24 августа/5 сентября — 10/22 декабря 1867 г.).

[1] С. 61. С первого же дня приезда в Дрезден (18 апреля 1867 г.) Достоевские стали постоянными посетителями Дрезденской картинной галереи.

[2] С. 61. Сикстинская Мадонна (Madonna san Sisto; ок. 1512—1513) Рафаэля была любимейшей картиной Достоевского. В уста Свидригайлова в «Преступлении и наказании» вложена сходная характеристика Мадонны: «...у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой...» (*Достоевский,* VI, 369). В последнем кабинете Достоевского находилась фотографическая копия фрагмента Сикстинской Мадонны, подаренная С. А. Толстой (вдовой поэта А. К. Толстого).

[3] С. 61. Достоевский проявлял неизменный интерес к сочинениям и судьбе Герцена (см. примеч. 9 к с. 15, а также с. 151 и примеч. к ней).

[4] С. 61. Имеется в виду картина Бартоломе Эстебана Мурильо «Мария с младенцем» (ок. 1670).

[5] С. 61. Название картины Тициана переводится обычно «Динарий кесаря» (ок. 1515).

[6] С. 62. Имеется в виду картина Аннибале Карраччи «Христос в терновом венце, поддерживаемый ангелами».

[7] С. 62. В Дрезденской галерее находится картина Клода Лоррена «Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей» (1657). Сюжет ее извлечен из XIII книги «Метаморфоз» Овидия — любовь Галатеи к юноше Ацису. В центре всей живописной композиции — шалаш Ациса и Галатеи. На заднем плане на горе — одноглазый циклоп, влюбленный в Галатею и преследующий ее. Но Достоевского привлекал не столько этот сюжет, сколько проникающее картину поэтически-идеальное ощущение «золотого века» человечества. Это ощущение — как воспоминание и как пророчество — вдохновляет и героев Достоевского — Ставрогина (не вошедшая в окончательный текст «Бесов» глава «У Тихона»), Версилова («Подросток»), «смешного человека» («Сон смешного человека»). См. статью А. С. Долинина «Золотой век» в кн: Долинин А. С. Достоевский и другие. Л., 1989.

[8] С. 62. В Дрезденской галерее находится не оригинал (как одно время считалось), а более поздняя копия с названной картины Ганса Гольбейна Младшего.

[9] С. 62. Это было письмо от А. П. Сусловой (не сохранилось). О Сусловой и ее отношениях с Достоевским см. с. 489—491.

[10] С. 66. Это письмо Сусловой неизвестно. Оно являлось ответом на письмо к ней Достоевского от 23 апреля/5 мая 1867 г., где он, в частности, писал, что в последние дни перед отъездом из Петербурга встречался с приятельницей Сусловой писательницей Е. Н. Брылкиной (Глобиной) (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 183). Об этой Брылкиной, по-видимому, и шла речь в письме Сусловой.

[11] С. 66. Достоевский уезжал из Дрездена в Гомбург для игры на рулетке.

[12] С. 67. Это письмо не сохранилось, вероятно, оно содержало просьбу о деньгах.

[13] С. 67. Имеется в виду музыкально-драматическое сочинение «Die vier Heymonskinder» (1809) на сюжет средневекового рыцарского романа «Les quatre Fils Aymon». Автор музыки — В. Тушек (1773—1821), либретто И. А. Глейха (1772—1841).

[14] С. 68. Речь идет о письме А. Н. Майкова от двадцатых чисел мая 1867 г., в котором говорилось о Славянском съезде (начало мая) в Петербурге и покушении 25 мая/6 июня на Александра II в Париже (Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, с. 338—339). Упоминаемое в этой же записи письмо от Сусловой неизвестно.

[15] С. 72. Несомненно, речь идет о Сусловой. Однако ее переписка с А. Г. Достоевской не сохранилась.

[16] С. 73. «Жорж Данден, или Обманутый муж» — комедия Мольера, герой которой, мещанин, узнавая все о новых проделках жены-аристократки, каждый раз восклицает: «Ты этого хотел!»

[17] С. 73. Трудно сказать, о каком D'dur-ном (ре-мажорном) сочинении Бетховена идет речь. Но поскольку в саду исполнялась музыка для оркестра, это, вероятнее всего, Вторая симфония.

[18] С. 74. Достоевские выехали из Дрездена 21 июня/3 июля 1867 г.

[19] С. 74. В это время Достоевские жили в Баден-Бадене, где Достоевский продолжал играть на рулетке.

[20] С. 74. О своем визите к Тургеневу Достоевский подробно рассказал в письме к А. Н. Майкову от 16/28 августа 1867 г. Изложение в этом письме разговора с Тургеневым, главным предметом которого был роман «Дым», совпадает с тем, что Достоевский передавал Анне Григорьевне. Тургенева, однако, хотели исключить не «из дворянства», а из членов Английского клуба (рассказ Тургенева об этом эпизоде записала Н. А. Островская — И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1983, с. 74). Подчеркнуто западнические высказывания одного из главных героев «Дыма» Потугина нельзя отождествить со взглядами Тургенева.

[21] С. 76. Достоевский письмом из Висбадена от 3/15 августа 1865 г. просил у Тургенева сто талеров, но тот прислал ему только пятьдесят,

которые Достоевский смог возвратить лишь в 1876 г. Об отношениях Достоевского с Гончаровым см. примеч. 27 к с. 296.

[22] С. 76. В это время И. С. Аксаков издавал газету «Москва». О «сотрудничестве» Достоевский говорил с Аксаковым еще при самом начале ее издания (см. письмо Достоевского Анне Григорьевне, тогда еще Сниткиной, от 2 января 1867 г. — *Достоевский,* XXVIII, кн. II, 177).

[23] С. 79. «Цампа, или Мраморная невеста» (1831) — опера французского композитора Фердинанда Герольда.

[24] С. 82. *«Трубадур»* (1852) — опера Дж. Верди.

[25] С. 82. В этот день, 11/23 августа 1867 г. Достоевские выехали из Бадена в Базель.

[26] С. 84. Речь идет о картине Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос» (1521). О впечатлении, произведенном ею на Достоевского, Анна Григорьевна рассказывает также в «Воспоминаниях» (*Достоевская,* с. 174—175). Копию этой картины (в романе «Идиот») видят в доме Рогожина князь Мышкин и Ипполит Терентьев. В разговоре с Рогожиным князь восклицает: «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» — «Пропадает и т о », — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин» (*Достоевский,* VIII, 182, 338). В примечании к этому месту романа А. Г. Достоевская записала, что когда Достоевский увидел картину Гольбейна в Базельском музее, «она страшно поразила его, и он тогда сказал мне, что «от такой картины вера может пропасть». В дальнейшей жизни Федор Михайлович много раз вспоминал о том потрясающем впечатлении, которое эта картина на него произвела» (Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1923, с. 59).

[27] С. 84. 13/25 августа Достоевские приехали в Женеву.

[28] С. 84. Точнее: «Бедные родственники» («Les parents pauvres»; 1847—1848) — эпопея Бальзака, состоящая из двух романов — «Кузина Бетта» и «Кузен Понс». А. Г. Достоевская писала по поводу своих чтений в Женеве под руководством Достоевского: «...муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, и я постепенно перечитала все их романы. По поводу моего чтения у нас шли разговоры во время прогулок, и муж разъяснял мне все достоинства прочитанных произведений. Мне приходилось удивляться тому, как Федор Михайлович, забывавший случившееся в недавнее время, ярко помнил фабулу и имена героев романов этих двух любимых им авторов» (*Достоевская,* с. 176).

[29] С. 85. В Женеве должен был состояться конгресс Лиги мира и свободы, для участия в котором предполагалось прибытие Дж. Гарибальди, В. Гюго (Гюго, однако, отказался), М. А. Бакунина, Н. П. Огарева и других видных деятелей революционного и освободительного движения. Конгресс проходил с 9 по 12 сентября (н. ст.)

1867 г. В письме к Герцену от 12 сентября Н. П. Огарев характеризовал конгресс как «неудавшийся» (см.: *ЛН,* 39—40, 470).

[30] С. 85. Статья «Знакомство мое с Белинским» предназначалась для сборника «Чаша», который собирался издавать в Москве писатель К. И. Бабиков. Статья была написана к 15 сентября и послана А. Н. Майкову для передачи Бабикову. Майков статью получил и отправил в Москву. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Однако вполне основательно предположение А. С. Долинина, что главные тезисы статьи повторены Достоевским в главе «Старые люди» «Дневника писателя» за 1873 г. О работе над статьей Достоевский писал А. Н. Майкову 3/15 сентября 1867 г.: «...до того она меня измучила и до того трудно ее было писать, что я дотянул до сего времени и наконец-то, со скрежетом зубовным, кончил. <...> Только что притронулся писать и сейчас увидал, что возможности нет написать *цензурно* (потому что я хотел писать всё)» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 215—216). Об отношениях с Белинским см. в томе первом наст. изд. с. 564—565. См. также далее воспоминания Вс. Соловьева и примеч. к ним.

[31] С. 89. После отъезда Гарибальди на улицах Женевы были расклеены афиши; в них по поводу его речи на конгрессе, в которой папство объявлялось павшим, говорилось: «Под предлогом Конгресса мира мы услышали речи, подстрекающие к гражданской войне <...> мы решительно заявляем, что намерены видеть уважение к нашим свободам, и особенно нашим религиозным свободам...» Однако отъезд Гарибальди был намечен заранее и не имел отношения к этим протестам (см.: *ЛН,* 86, 284—285 — примечания).

[32] С. 90. О выступлениях на заседании конгресса 11 сентября см. *ЛН,* 86, 285. Однако Достоевский, возможно от Огарева, с которым он в это время встречался, мог слышать и о других заседаниях конгресса, в частности о заседании 10 сентября, на котором выступал М. А. Бакунин с «разрушительной» речью, направленной против централизованных государств. 3/15 сентября Достоевский рассказал о своих впечатлениях от конгресса А. Н. Майкову: «Я в жизнь мою не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но и не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Все было глупо: и то, как собрались, и то, как дело повели и как разрешили. Разумеется, сомнения и не было у меня в том, еще прежде, что первое слово у них будет: *драка.* Так и случилось. Начали с предложений вотировать, что не нужно больших монархий и всё поделать маленькие, потом что не нужно *веры* и т. д. Это было четыре дня крику и ругательств» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 217).

[33] С. 91. Речь идет о А. П. Сусловой.

[34] С. 92. См. выше с. 62.

[35] С. 96. Речь идет о романе «Идиот».

[36] С. 97. 23—25 сентября/5—7 октября Достоевский провел в Саксон ле Бен, где играл на рулетке. 24 сентября/6 октября он писал Анне

Григорьевне: «Аня, милая, я хуже, чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 франков. Сегодня — ни копейки. Всё! Всё проиграл!» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 222).

[37] С. 99. Часть этого письма А. Н. Майкова от 20—24 сентября 1867 г. опубликована в кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, с. 340; другая часть находится в Отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина (см.: *ЛН,* 86, 287— примечания).

[38] С. 99. В сентябре 1867 г. в русских газетах публиковались отчеты о судебном процессе Умецких («Дело о дочери помещика Ольге Умецкой, обвиняемой в поджогах, и о родителях ее, Владимире и Екатерине Умецких, обвиняемых в злоупотреблении родительской властью»). Это дело взволновало Достоевского и сыграло значительную роль в творческой истории романа «Идиот» (см. об этом: *Достоевский,* IX, 340—342 — примечания И. А. Битюговой).

[39] С. 101. Дальнейшие записи Анна Григорьевна широко использовала в своих «Воспоминаниях».

[40] С. 104. Вероятно, Константин Дмитриевич *Ушинский. Ваня* — Иван Григорьевич Сниткин, брат А. Г. Достоевской.

[41] С. 109. Речь идет о молодом писателе Алексее Павловиче Сниткине, однофамильце Анны Григорьевны. Сниткин умер, простудившись во время спектакля в пользу Литературного фонда. Спектакль, в котором принимал участие также Достоевский (игрался «Ревизор» Гоголя), состоялся 14 апреля 1860 г. (см.: Вейнберг П. И. Литературные спектакли. — Ежегодник императорских театров. Сезон 1893—1894 годов. Приложения, кн. 3. СПб., 1895, с. 96—108).

[42] С. 109. *Отец* — Григорий Иванович Сниткин, *мать* — Анна Николаевна (рожд. Мильтопеус), *сестра* — Мария Григорьевна Сватковская. *Брат,* И. Г. Сниткин, учился в Петровской сельскохозяйственной академии. Осенью 1869 г. он приезжал к Достоевским в Дрезден. «Федор Михайлович,— вспоминала Анна Григорьевна, — всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность! Описание парка Петровской академии и грота <в романе «Бесы»>, где был убит Иванов, было взято Федором Михайловичем со слов моего брата» (*Достоевская,* с. 200).

[43] С. 110. См. в томе первом наст. изд. с. 268—270.

[44] С. 110. Имеется в виду письмо Достоевского к брату от 22 декабря 1849 г. из Петропавловской крепости (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 161—165).

[45] С. 111. О договоре со Стелловским см. в воспоминаниях А. П. Милюкова в томе первом наст. изд.

[46] С. 111. Об отношениях Достоевского с Тургеневым см. примеч. 10 к с. 413.

[47] С. 111. Об отношениях Достоевского с Некрасовым см. в томе первом наст. изд. с. 225—229 и примеч. к ним.

[48] С. 114. Этот слух мог распространиться потому, что герой-повествователь «Записок из Мертвого дома» Александр Петрович Горянчиков был сослан на каторгу за убийство жены.

[49] С. 114. *«Андре»* — роман Жорж Санд.

[50] С. 117. О тяжелых денежных обстоятельствах, в которых он оказался после смерти М. М. Достоевского и краха журнала «Эпоха», Достоевский подробно рассказал в письме к А. Е. Врангелю от 9—14 апреля 1865 г. (см.: *Достоевский,* XXVIII, кн. II, 117—120). *Мать* — Эмилия Федоровна Достоевская, *дочь* — Мария Михайловна Достоевская, *жених* — Михаил Иванович Владиславлев, с июля 1867 г. — муж Марии Михайловны.

[51] С. 117. Об А. В. Корвин-Круковской см. воспоминания С. В. Ковалевской и примеч. к ним.

[52] С. 117. О московских родственниках Достоевского Ивановых см. воспоминания М. А. Ивановой и Н. Фон-Фохта и примеч. к ним.

[53] С. 118. Достоевский мог принести Огареву или первую книжку «Русского вестника» за 1866 г., где началось печатание романа «Преступление и наказание», или первый том из двухтомного издания романа 1867 г.

[54] С. 119. *Вера Михайловна* — Иванова. *Сонечка* — Софья Александровна Иванова.

[55] С. 119. Вероятнее всего, речь идет о сборнике стихотворений Огарева, вышедшем в 1858 г. в Лондоне. Ряд стихотворений Огарева Достоевский высоко ценил (см. далее воспоминания В. В. Тимофеевой-Починковской).

[56] С. 119. А. Г. Достоевская подразумевает просьбу о присылке денег, высказанную Достоевским в письме к С. Д. Яновскому от 28 сентября/10 октября 1867 г. (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 355). Несмотря на *«дурной знак»,* вскоре от Яновского были получены 100 рублей, о чем Достоевский сообщал последнему 1/13 ноября (там же, с. 356).

[57] С. 125. Достоевский родился 30 октября 1821 г.

[58] С. 127. Сын брата Достоевского — Михаила Михайловича.

[59] С. 128. Достоевский ездил в Саксон ле Бен 5—9/17—21 ноября.

[60] С. 130. Мария Александровна Иванова (см. о ней с. 498—499) и Мария Михайловна Достоевская, по мужу Владиславлева, ученица Антона Рубинштейна.

[61] С. 130. См. об этом в томе первом наст. изд. воспоминания А. П. Милюкова.

[62] С. 131. Достоевский рассказал не о двоюродной сестре, а о тетке, младшей сестре матери писателя (она была моложе его на два года) Екатерине Федоровне Нечаевой (Ставровской), которая умерла от ожогов, полученных в церкви от загоревшегося платья (см.: *Волоцкой,* с. 82; см. также в томе первом наст. изд. воспоминания А. М. Достоевского, с. 57).

[63] С. 131. То есть поездка в Саксон ле Бен.

[64] С. 131. Достоевский всегда с большим интересом относился к нашумевшим судебным процессам в связи с волновавшей его проблемой преступления и наказания, «философией преступления», осмысление которой с необыкновенной глубиной и силой было начато им в «Записках из Мертвого дома». Так, во второй книжке «Времени» за 1861 г. в переводе петрашевца Р. Штрандмана был напечатан «Процесс Ласенера. Из уголовных дел Франции», в пятой — «Мадам Лафарж (Из уголовных дел Франции)». В дневнике А. Г. Достоевской речь идет о процессе герцога Пралена, обвинявшегося в убийстве жены. Протоколы процесса были изданы в Париже в 1847 г. отдельной книгой (см.: *ЛН,* 86, 290 — примечания).

[65] С. 132. Письмо из Саксон ле Бен от 5/17 ноября 1867 г. (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 233—234).

[66] С. 135. *Александра Павловна* Неупокоева — крестная мать А. Г. Достоевской.

[67] С. 135. Это действительно «отчаянное» письмо от 6/18 ноября см.: там же, с. 235—236.

[68] С. 135. Это письмо, по-видимому от 7/19 ноября, неизвестно.

[69] С. 136. Эта запись свидетельствует о переломном моменте в работе над романом «Идиот». 31 декабря/12 января 1868 г. Достоевский писал А. Н. Майкову: «...все лето и всю осень я компоновал разные мысли <...> но некоторая опытность давала мне всегда предчувствовать или фальшь, или трудность, или маловыжитость иной идеи. Наконец я остановился на одной и начал работать, написал много, но 4-го декабря иностранного стиля бросил все к черту. <...> Затем <...> я стал мучиться выдумыванием *нового романа.* Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался — не понимаю. Наконец 18-го декабря я сел писать новый роман...» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 239—240). Анна Григорьевна зафиксировала начало диктовки — 22 декабря (н. ст.). О том, насколько напряженно шла дальнейшая работа, свидетельствует тот факт, что уже 5 января (н. ст.) были посланы в редакцию «Русского вестника» пять глав первой части романа. Идею «нового романа» Достоевский изложил в том же письме к Майкову: «Давно уже мучила меня одна мысль,

но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта — *изобразить вполне прекрасного человека.* Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно. <...> Идея эта и прежде мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в *некотором,* а надобен полный» (там же, с. 240—241). О главной идее романа Достоевский подробно писал племяннице С. А. Ивановой, которой в журнальной редакции роман был посвящен, 1/13 января того же года (там же, с. 251).

В. В. ТИМОФЕЕВА (О. ПОЧИНКОВСКАЯ)

ГОД РАБОТЫ С ЗНАМЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ

Варвара Васильевна Тимофеева, по мужу Майкова (псевдонимы — Анна Стацевич, О. Боловино-Починковская, В. Т—ва (О. Починковская); 1850—1931), писательница; автор воспоминаний и романов, имеющих по преимуществу автобиографический характер.

В романе «Очерки прошлого» (Книжки «Недели», 1900, № 4—12) Тимофеева рассказала о своем, если воспользоваться словом Достоевского, «случайном» семействе. Отец маленькой героини — суровый человек «грубого солдатского закала», штаб-офицер, выслужившийся из кантонистов аракчеевской школы. Мать — из бедной дворянской семьи Тверской губернии, о ней сказано: «неудавшаяся жизнь, изнасилованная душа, израненное сердце». Основное содержание романа — трудные и одинокие отроческие годы в захудалом «благотворительном учебном заведении для девиц» в Москве, на Маросейке *. По-видимому, уже в детстве, проведенном в деревне и в московском «заведении», сложилось трагически-мучительное и «надрывное» видение мира, со стремлением к независимости и «эмансипации» в духе шестидесятых годов и в то же время с религиозными экстазами, что отчетливо проявилось как в романах Тимофеевой, так и в воспоминаниях о Достоевском и Глебе Успенском (Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские. — Минувшие годы, 1908, № 1—2). Продолжением «Очерков прошлого» явился роман «В шестидесятых годах» (Новое дело, 1902, № 1—12), в котором повествуется о жизни героини в Западном крае, вероятно в Вильне, куда она переехала с семьей в 1865 году; об этом же — в романе «У чужих алтарей» (Исторический вестник, 1916, № 8—12; намек на этот период ее жизни находим и в воспоминаниях о Достоевском, см. с. 153 наст. тома).

---

* Л. Н. Толстой так отозвался об «Очерках прошлого» в письме к М. О. Меньшикову от конца сентября 1900 г.: «Это одно из тех истинно художественных произведений, которые открывают в том, что давно видишь, новые невиданные и прекрасные вещи» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 72. М.—Л., 1933, с. 462).

В начале 1872 года Тимофеева приезжает с больной матерью в Петербург (ее первые петербургские впечатления описаны на заключительных страницах романа «У чужих алтарей»). «Я только что приехала в Петербург, только что начинала самостоятельно мыслить и жить — литература с детских лет была для меня святыней...» — пишет она в уже упоминавшихся воспоминаниях о Г. И. и А. В. Успенских. Весной 1872 года Тимофеева стала читать корректуру только что возникшего еженедельного журнала кн. В. П. Мещерского «Гражданин». В это же время через корректора типографии, в которой она работала, некоего З—ского («запивающий» корректор в воспоминаниях о Достоевском), В. В. Тимофеева знакомится с рядом сотрудников журналов «Отечественные записки» и «Искра» (II. К. Михайловским, Гл. И. Успенским, Г. З. Елисеевым, Н. А. Демертом и др.), ведет в «Искре» бытовую хронику (об этом круге своего общения она подробно рассказывает в воспоминаниях о Г. И. и А. В. Успенских).

Первая повесть Тимофеевой «Идеалистка», одобренная Г. И. Успенским, печаталась в 1878 году в журнале «Слово» (№ 4—5). Прототипом главного героя повести, страдающего тяжелыми запоями, был за два года перед тем трагически скончавшийся публицист «Отечественных записок» Н. А. Демерт. Когда в 1913 году редакция журнала «Русское богатство» прислала В. Г. Короленко рукопись романа Тимофеевой «История одного обращения (Из посмертных записок неизвестной писательницы)», тот, еще до прочтения рукописи, писал 22 марта А. Г. Горнфельду: «Историю ее Вы знаете: написала в 70-х годах роман, где взяла, правда, неверный тон и задела (покойного тогда) Демерта. Роман был написан несомненно талантливо. Это признавал Н. К. Михайловский, написавший тем не менее жестокую статью *. По существу он был прав, только не соразмерил размаха и, вместо того чтобы «поучить», — ушиб. После этого Тимофеева съежилась и ушла исключительно в корректуру **. Только уже в 900-х годах написала воспоминания о Достоевском и Успенском. Это было интересно и талантливо» (Короленко В. Г. Избранные письма в 3-х томах, т. III. М., 1936, с. 216).

---

* Имеется в виду резкий отзыв Михайловского об «Идеалистке» (Отечественные записки, 1878, № 5, отд. II, с. 132—146). (*К. Т.*)

** Это не совсем точно. Как уже говорилось, Тимофеевой принадлежат многие романы, не принесшие ей, правда, ни успеха, ни известности, тем более что ряд из них не был опубликован. Так, кроме «Истории одного обращения», остался в рукописи роман «Выморочные», в котором она, по ее собственным словам, пыталась подражать «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина. Прочитав этот роман Тимофеевой, Гл. Успенский в письме к ней от 30 мая 1889 г. высказал весьма интересные суждения о роли авторского «Я» в «Пошехонской старине» Салтыкова. Впрочем, корректура действительно стала главной профессией Тимофеевой. В частности, с 1886 г. в течение около четверти века она была ответственным корректором журнала «Вестник Европы» (В. Т—ва (Починковская). Памяти М. М. Стасюлевича. — Вестник Европы, 1913, № 1). (*К. Т.*)

Воспоминания В. В. Тимофеевой о Достоевском печатаются по журналу «Исторический вестник», 1904, № 2.

[1] С. 137. Из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (1856). О прототипе героя поэмы каторжника Крота см. в томе первом наст. изд. примеч. 11 к с. 229.

[2] С. 137. Вскоре после возвращения в июле 1871 г. из-за границы Достоевский, работавший в это время над романом «Бесы», знакомится с консервативным дворянским публицистом и романистом, издателем с 1872 г. еженедельника «Гражданин», кн. В. П. Мещерским и начинает посещать его «среды». В. П. Мещерский был печально знаменит словами, сказанными им в передовой статье «Гражданина» в № 2 от 10 января 1872 г.: «К реформам основным надо поставить точку...» В позднее написанных воспоминаниях, несомненно тенденциозных, Мещерский представляет Достоевского чуть ли не своим безусловным единомышленником, чего на самом деле, конечно, не было. В соответствии с версией Мещерского Достоевский сам предложил свои услуги в качестве редактора «Гражданина» (см.: Мещерский В. П. Мои воспоминания, ч. 2. СПб., 1898, с. 175—177). Между тем А. Г. Достоевская пишет, что стать редактором еженедельника предложил Достоевскому Мещерский (*Достоевская,* с. 252). Об обстоятельствах работы Достоевского в редакции «Гражданина» см. вступит. статью Г. М. Фридлендера к комментариям — *Достоевский,* XXI, 359—370.

Поскольку объявление о том, что с 1 января 1873 г. редактором «Гражданина» будет Достоевский, появилось в последнем номере еженедельника 25 декабря 1872 г., можно предположить, что писатель пришел в типографию Траншеля 24 декабря, день, действительно приходившийся на воскресенье. Впрочем, это могло произойти и 31 декабря, ибо, как вспоминает М. А. Александров, Достоевский принес рукопись «Дневника писателя» через несколько дней после публикации объявления (см. с. 251 наст. тома). Первые главы «Дневника писателя» («Вступление» и «Старые люди») были напечатаны в № 1 «Гражданина» от 1 января 1873 года.

[3] С. 140. Так называемый «процесс Нечаева» имел две стадии. 1 июля 1871 г. в особом присутствии Петербургской судебной палаты началось слушание дела «об обнаруженном в различных местах империи заговоре, направленном к ниспровержению установленного в государстве правительства» (Правительственный вестник, 1871, № 155). К процессу были привлечены соучастники С. Г. Нечаева по убийству 21 ноября 1869 г. студента Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, а также ряд других лиц (самому Нечаеву удалось скрыться за границу). Это был первый открытый политический процесс в России, отчет о котором печатался в ряде газет. Среди защитников на этом процессе выступал знаменитый адвокат В. Д. Спасович.

Об убийстве Иванова Достоевский узнал из русских и немецких газет, еще находясь за границей (а о самом Иванове он слышал, еще до убийства, от брата Анны Григорьевны И. Г. Сниткина; см. примеч. 42 к с. 109), и тогда же у него возник замысел политического романа, о котором он писал, например, А. Н. Майкову 25 марта/6 апреля 1870 г. из Дрездена: «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что *ретроград*!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь» (*Достоевский,* XXIX, кн. I, 116). Однако в процессе работы злободневная «антинигилистическая» «вещь» превратилась в глубокий социально-политический и социально-философский роман (печатался в журнале «Русский вестник» с 1871 г., причем последние главы — в декабрьской за 1872 г. книжке журнала; об использовании Достоевским в «Бесах» материалов «нечаевского процесса» см. в комментариях В. А. Туниманова — *Достоевский,* XII, 192 и след.).

Вторая стадия — суд над самим Нечаевым, выданным в качестве уголовного преступника русскому правительству швейцарским. 8 января 1873 г., вскоре после завершения публикации романа «Бесы», в Москве открылось заседание окружного суда «по делу о мещанине г. Шуи, носящем звание приходского учителя, Сергее Геннадиеве Нечаеве, обвиняемом в убийстве». Приговор гласил: «Лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках на 20 лет, а затем поселить в Сибири навсегда» (отчет об этом процессе, на основании материалов «Правительственного вестника», опубликован в «Гражданине», 1873, № 4 от 22 января). Нечаев, однако, был не сослан, а заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где и умер в 1882 г. Характерно, что отдельное издание романа «Бесы» появилось как раз в это время, в конце января (см.: Гражданин, № 5 от 29 января). О своем отношении к «нечаевскому делу» Достоевский писал также в главе «Одна из современных фальшей» «Дневника писателя» (Гражданин, 1873, № 50 от 10 декабря; *Достоевский,* XXI, 125—134).

[4] С. 141. Источник цитаты установить не удалось.

[5] С. 143. В журнальном тексте главы «Нечто личное» (Гражданин, № 3 от 15 января, с. 64) действительно было: «о «знаменитом» романе Чернышевского «Кто виноват?».

[6] С. 144. Речь идет о круге литераторов, близких к «Отечественным запискам» и «Искре».

[7] С. 144. Тимофеева передает смысл (хотя и не всегда точно) суждений Достоевского в главе «По поводу выставки» «Дневника писателя» за 1873 г. о картине Н. Н. Ге «Тайная вечеря» и о других картинах «современных художников». Достоевский высказал здесь свои важнейшие эстетические идеи. Так, он писал: «Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. <...> «Надо

изображать действительность, как она есть», — говорят они <современные художники>, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. <...> Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность». И далее, о картине Ге: «Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?» (*Достоевский,* XXI, 72, 75—77). «Тайная вечеря» Ге впервые была показана на годичной выставке Академии художеств в 1863 г. и тогда же вызвала горячую полемику. Характерно, что она произвела глубокое впечатление на И. Н. Крамского и В. Д. Поленова, которых волновало живое, современное восприятие христианства. В подобном же духе выдержано и толкование картины Ге в ноябрьской за 1863 г. хронике «Нашей общественной жизни» М. Е. Салтыкова-Щедрина (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 6. М., 1968, с. 148—155).

[8] С. 144. *«Переписка» Гоголя* — «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), книга, вызвавшая знаменитое «Письмо» Белинского к Гоголю. По словам Достоевского в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год, «Гоголь в своей «Переписке» слаб, хотя и характерен» (*Достоевский,* XXII, 106). Кроме того, Достоевскому претил нарочитый дидактизм Гоголя в этом его сочинении (см., например, там же, XXV, 250).

[9] С. 147. В конце 60-х годов возник конфликт между византийской (греческой) церковью, возглавляемой вселенским патриархом, и стремившейся к отделению и самостоятельности церковью болгарской, о чем в ряде статей в «Гражданине» в октябре—ноябре 1872 г. говорил известный славянофил и религиозный писатель Тертий Филиппов. По поводу этого конфликта Т. Филиппов направил письмо вселенскому патриарху Григорию VI. Ответом на письмо Филиппова была «грамота» патриарха, опубликованная в «Гражданине» 6 ноября 1872 г. (№ 27). По-видимому, об этой грамоте и беседовал Достоевский с Филипповым.

[10] С. 147. О ком здесь говорится, установить не удалось.

[11] С. 148. Комедия А. Ф. Писемского «Подкопы» печаталась в № 7—10 (11 февраля — 5марта) «Гражданина» за 1873 г.

[12] С. 150. Полемизируя с Н. С. Лесковым в главе «Ряженый» «Дневника писателя» за 1873 г. (№ 18 от 3 апреля), Достоевский писал: «Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот нумеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романс говорят *эссенциями,* то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре» (*Достоевский,* XXI, 88).

[13] С. 151. Статья Н. Н. Страхова о книге «Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neure Zeit. Geschichte der deutschen Philosophie von Dr. Ed. Zeller» (München, 1873) была напечатана в № 32 и 33 «Гражданина» от 6 и 13 августа 1873 г.

[14] С. 151. В «Отечественных записках» печатались циклы философских статей Герцена «Дилетантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении природы» (1845—1846). Не ясно, что имеет в виду Достоевский, утверждая, будто Герцен отказался от этих статей.

[15] С. 152. Персидский шах Наср-Эддин прибыл в Петербург 10 мая 1873 г.

[16] С. 153. Герой поэмы («исторической повести») Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828) — литовец, тайно вступивший в тевтонский орден крестоносцев и поднявшийся на высшую в ордене ступень великого магистра, — своим правлением приводит орден к разгрому в войне с Литвой. Действие поэмы относится к XIV в. Русский перевод поэмы Мицкевича был напечатан в журнале «Заря» (1871, № 3—6, 12).

[17] С. 154. Эти инициалы принадлежали К. П. Победоносцеву, который уже тогда был сенатором и членом Государственного совета, хотя и не приобрел еще того огромного влияния, которым пользовался позднее при Александре III. Далее в приводимой Тимофеевой записке Достоевского, вероятнее всего, речь идет о статье Победоносцева «Церковные дела в Германии» (Гражданин, 1873, № 51 от 17 декабря).

[18] С: 156. Слова из монолога Тассо «О принц! Мне тайно шепчет сердце: я невинен!..» (д. 2, явл. 4) в переводе А. Н. Яхонтова (см.: Сочинения Вольфганга Гете в русском переводе, под ред. П. Вейнберга, т. II. СПб., 1865, с. 71).

[19] С. 157. Реплика Антонио (там же, с. 69).

[20] С. 157. Строки из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827).

[21] С. 157. Повесть «Лотерейный билет» печаталась в трех номерах «Гражданина» (№ 28, 29 и 30 от 9, 16 и 23 июля), причем каждый раз подписывалась новым криптонимом («К», «К—ов», «Ко—в»). Кому она

принадлежит, неясно, поскольку С. Крапивина обычно подписывалась своим полным именем (в «Гражданине» во время редакторства Достоевского напечатано пять ее рассказов).

[22] С. 158. В «Гражданине» нет «Письма Кохановской о голоде в Малороссии», но есть действительно полное пафоса «Гласное слово на всю Москву и ее округу» об отравлении народа соленой рыбой (№ 2 от 8 января 1873 г.).

[23] С. 160. Слова, ставшие крылатыми, из стихотворения А. Н. Майкова «Fortunata» (1847).

[24] С. 161. М. Д. Исаева-Достоевская умерла 15 апреля 1864 г. (см. также в томе первом наст. изд. примеч. 28 к с. 274). Пасынок Достоевского — Павел Александрович Исаев.

[25] С. 163. См. далее с. 258—259.

[26] С. 165. Глава «Нечто о вранье» «Дневника писателя» (Гражданин, 1873, № 35 от 27 августа; *Достоевский,* XXI, 117—125). Далее в цитате после слов «таких людей и такого общества» следует пропуск нескольких строк, нарушающий логику рассуждений Достоевского: «Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, — эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным твердо установленным мнением» (там же, с. 124). *Поручик Пирогов* — герой повести Гоголя «Невский проспект» (1835). Несколько далее приводится заключение названной главы.

[27] С. 172. *«Гимн Радости и Свободе»* — гимн Ф. Шиллера «К Радости» («An die Freude»; 1785). Строфы из этого гимна в переводе Ф. И. Тютчева («Песнь Радости»; 1823) Достоевский вкладывает в уста Дмитрия Карамазова.

[28] С. 174. О каком беллетристе идет речь, неясно. Однако показательно, с какой требовательностью относился Достоевский к произведениям, печатавшимся в редактируемом им журнале. Сохранились воспоминания писателя А. В. Круглова, которому Достоевский отказал в публикации его романа в «Гражданине», сказав при этом: «Вы еще слишком *мало жили,* чтобы дерзать так *много говорить* о таком *большом* предмете» (роман касался семейного счастья). <...> «Конечно, нельзя все перепробовать на себе. Не это надо. Можно и не тонуть, да описать хорошо это. Но нужна опытность и творить, предугадывать. Силу особую, писательскую, дар этот надо развить работой, думой, ученьем» (Круглов А. В. Первые шаги. — Исторический вестник, 1894, № 4, с. 92).

[29] С. 175. Образ, навеянный характеристикой Катерины в статье Добролюбова «Луч света в темном царстве» — по поводу драмы А. Н. Островского «Гроза».

[30] С. 177. В 1873 г. в «Гражданине» был напечатан очерк А. А. Шкляревского «Накануне защиты преступника (из записок при-

сяжного поверенного)» (№ 12 от 19 марта). Об обстоятельствах передачи этой статьи Достоевскому и ее публикации см.: *ЛН,* 86, 428—429. Шкляревский писал Достоевскому 8 марта 1873 г., судя по примирительному тону письма, уже после описанной Тимофеевой встречи: «...я принадлежу к числу самых жарких поклонников Ваших сочинений за их глубокий психологический анализ, какого ни у кого нет из наших современных писателей... Это полное мое убеждение... Если я кому и подражаю из писателей, то Вам...» (там же, с. 429).

[31] С. 179. *«Г-н —бов»* — один из псевдонимов Н. А. Добролюбова. Отношение Достоевского к Добролюбову не было однозначным. Еще в 1861 г. в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» он высказался против «реальной критики» Добролюбова, назвав ее «утилитарной». Но в той же статье Достоевский признал, что в таланте Добролюбова «есть сила, происходящая от убеждения». «Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики; но идеи, которыми выражается это основное начало, часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком — кабинетностью» (*Достоевский,* XVIII, 81). По мере «перерождения убеждений» неприязнь Достоевского к Добролюбову увеличивалась, что и сказалось в суждениях, зафиксированных Тимофеевой, а также Гр. Де Волланом (Голос минувшего, 1914, № 4, с. 124). Вместе с тем надо отметить, что среди критиков, верно оценивавших талант Достоевского, А. Г. Достоевская назвала Добролюбова (*Достоевская,* с. 258).

[32] С. 180. Статья «Два слова по поводу мнения князя Бисмарка о русских немцах» (Гражданин, № 10 от 11 марта 1874 г.). Подпись: «Друг многих русских немцев». Эта статья явилась поводом цензурного предостережения «Гражданину» (Творчество Достоевского. Одесса, 1921, с. 78). Принадлежность ее Достоевскому сомнительна.

[33] С. 182. Имеются в виду обзоры, которые Достоевский печатал в «Гражданине» в конце 1873 — начале 1874 г. (см.: *Достоевский,* XXI, 180—248).

[34] С. 182. Достоевский здесь и далее читает строфу первоначальной редакции стихотворения Лермонтова «Farewell» (1830), являющегося переводом стихотворения Дж.-Г. Байрона «Farewell: if ever fondest prayer...» («Прощай! если когда-нибудь самая горячая молитва...»; 1808). Об этой редакции Достоевский мог узнать или по первой ее публикации в журнале «Отечественные записки» (1859, № 11, отд. I, с. 253), или по вторичной публикации в «Сочинениях лорда Байрона в переводах русских поэтов» (т. II. СПб., 1864, с. 55). В окончательной редакции текст этой строфы, в котором отсутствует строка «Непроходимых мук собор», ближе к оригиналу. В отличие, скажем, от Шиллера Байрон не был близок Достоевскому, но он глубоко понимал смысл того направления в поэзии и общественной мысли, наименование которому дал Байрон. «Байронизм хоть был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества,

да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции <то есть идеалы Великой французской революции XVIII века>, в передовой тогда нации европейского человечества, наступил исход, столь непохожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. <...> Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему». И понятно, что этот «дух» откликнулся и в поэзии Пушкина и особенно Лермонтова. «Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно не верующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм» (*Достоевский,* XXVI, 113—114, 117). Об отношении Достоевского к Лермонтову см. также примеч. 5 к с. 10.

[35] С. 183. Последние две строки главы V («Волчица») третьей части («Крестьянка») поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (Отечественные записки, 1874, № 1, с. 57).

[36] С. 184. Неудовлетворенность своей работой в качестве редактора «Гражданина», а также недовольство твердолобо-консервативной тенденцией кн. Мещерского и его самоуверенно-вздорным характером высказались в целом ряде писем Достоевского 1873 — начала 1874 г. «...Мещерский слишком небрежно обращается со мною...» — пишет он А. Г. Достоевской 5 июля 1873 г. (*Достоевский,* XXIX, кн. I, 274). 23 июля в письме ей же упоминает о «грубом письме» Мещерского (там же, с. 282). 29 июля он опять жалуется Анне Григорьевне на дела по журналу и на Мещерского: «...дела такая бездна и всё такие гадости! Теперь налегла на меня переписка с разными авторами и опять с Мещерским. Это всё время и все соки у меня отнимает. Прошлую неделю начал писать статью и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтоб поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева, — безграмотную до того, что понять нельзя, и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах. Сутки, не разгибая шеи, сидел и переправлял, живого места не оставил. Напишу ему прямо, что он ставит меня в невозможное положение» (там же, с. 285). (О некрологической статье «Свежей памяти Ф. И. Тютчева», напечатанной в «Гражданине» в № 31 от 30 июля 1873 г., см.: Архипова А. В. Достоевский о Тютчеве. — Русская литература, 1975, № 1.) Но особое возмущение Достоевского вызвали слова Мещерского в статье, предназначавшейся для помещения

в разделе «Петербургское обозрение» в № 45 «Гражданина» от 5 ноября 1873 г., «о *труде* надзора правительства» за студентами. Семь строк, посвященных этому «труду надзора», Достоевский «выкинул радикально» (их действительно нет в опубликованном тексте): «У меня есть репутация литератора и сверх того — дети. *Губить себя* я не намерен». И далее: «Кроме того, Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и возмущает мое сердце» (письмо к В. П. Мещерскому от 3—4 ноября 1873 г. — *Достоевский,* XXIX, кн. I, 307). Поэтому с такой радостью оставил Достоевский «Гражданин» в апреле 1874 г., принимаясь за «свою» работу, то есть роман «Подросток» (см. также далее с. 186).

[37] С. 184. Строки из автобиографической поэмы Н. П. Огарева «Тюрьма. Отрывок из моих воспоминаний» (1856—1857), напечатанной в сборнике Огарева «Стихотворения» (Лондон, 1858, цитата не совсем точна). О встречах Огарева и Достоевского в 1867 г. в Женеве см. «Дневник» А. Г. Достоевской.

[38] С. 185. Строки из стихотворения Пушкина «Ода LVI (Из Анакреона)» (1835).

[39] С. 186. Известен подобный отзыв о «Записках из подполья» Ап. Григорьева, сказавшего Достоевскому, по его собственному свидетельству в письме к Н. Н. Страхову от 18/30 марта 1869 г.: «Ты в этом роде и пиши» (*Достоевский,* XXIX, кн. I, 32).

[40] С. 186. Речь идет о «Подростке». Далее Тимофеева передает свой разговор с одним из редакторов «Отечественных записок» Г. З. Елисеевым, после чего, по-видимому, и состоялся в апреле 1874 г. визит к Достоевскому Некрасова, о котором рассказывает в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская (*Достоевская,* с. 266—268).

[41] С. 187. В воспоминаниях о Гл. Успенском Тимофеева писала, что зимой 1874 г. «только что основался *«итальянский»* клуб (на Малой Итальянской, в квартире покойного А. А. Ольхина) с вечеринками по субботам, с выбором членов и разовой платой по два рубля (на буфет). Всё выдающееся в мире литературы, музыки и художеств перебывало там хотя по разу, из любопытства. <...> Меня ввел туда Демерт, но приезжала я обыкновенно поздно, прямо из типографии, где работала тогда с Ф. М. Достоевским» (Минувшие годы, 1908, № 2, с. 268—269).

[42] С. 188. Достоевский несомненно читал «Отверженных» («Les Misérables») Гюго и раньше, о чем сохранилось много свидетельств (см., например, с. 67 наст. тома). В предисловии к публикации в журнале «Время» перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» Достоевский говорит об «Отверженных» как о романе, «в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии» и т. д. (*Достоевский,* XX, 28). Роман «Отверженные» сыграл значительную роль и в творческой истории романа «Идиот», после того как, находясь за границей, Достоевский вновь перечитал «Отверженных». На этот раз, в 1874 г., Достоевский читает роман Гюго во время работы над «Подростком» (см. также воспоминания Вс. Соло-

вьева, с. 213 наст. тома), и образы романа всплывают в его памяти. Версилов говорит Аркадию Долгорукому: «...у великих художников в их поэмах бывают иногда такие *больные* сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются, — например, последний монолог Отелло у Шекспира, Евгений у ног Татьяны или встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой, в холодную ночь, у колодца, в «Misérables» Виктора Гюго; это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана» (*Достоевский,* XIII, 382).

[43] С. 188. 29 января 1873 г. в № 5 «Гражданина» была напечатана заметка Мещерского «Киргизские депутаты в Петербурге», в которой приводились слова царя, на что требовалось разрешение министра двора, о чем Достоевский не знал. Обвинительный акт о предании Достоевского суду был подписан 15 февраля 1873 г. 11 июня этого года он был приговорен С.-Петербургским окружным судом к двухдневному заключению на гауптвахте и штрафу в 25 рублей. Исполнение приговора было отсрочено (см. воспоминания А. Ф. Кони, с. 238 наст. тома). Достоевский отбывал наказание 21—22 марта 1874 г. (см. также воспоминания Вс. Соловьева, с. 211 наст. тома).

[44] С. 189. См. далее с. 213.

[45] С. 190. Перечисляются заглавия литературных произведений: «Без исхода» Станюковича, «Кто виноват?» Герцена, «Преступление и наказание» Достоевского, «Без вины виноватые» А. К. Владимировой (Европеус) (одноименная драма А. Н. Островского написана в 1884 г.), «Коварство и любовь» Шиллера, «Некуда» Лескова и «Что делать?» Чернышевского.

[46] С. 191. Об этом вечере 9 марта 1879 г. см. также с. 377—378 наст. тома.

[47] С. 192. Тимофеева искажает истинное содержание понятия «погодить» в сатирическом романе Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». Оно заключает в себе именно обывательское, «молчалинское» отношение к жизни, сатирически осмеиваемое, а отнюдь не позицию автора.

[48] С. 192. *«Рассказ по секрету»* — «Исповедь горячего сердца», которую и читал Достоевский на литературном вечере 9 марта.

[49] С. 193. Строки из стихотворения Шиллера «Желание» (1801) в переводе В. А. Жуковского (1811). Они, однако, цитируются не в «Исповеди горячего сердца», а в главе «Великий инквизитор» (*Достоевский,* XIV, 225).

[50] С. 193. Об «ахинее» человеческого бытия на земле говорит Иван Карамазов (там же, с. 220).

[51] С. 193. Реминисценции из Евангелия (Матф., гл. XVI, ст. 24; гл. V, ст. 6 и др.).

[52] С. 193. *«Жестокий талант»* — название статьи Н. К. Михайловского (Отечественные записки, 1882, № 9 и 10).

[53] С. 194. *«Кроткая»* — «фантастический рассказ», составляющий

ноябрьский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г. Тимофеева имеет в виду слова из предисловия «От автора»: «Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа...» (*Достоевский,* XXIV, 5).

Вс. С. СОЛОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903), романист, поэт, литературный критик; старший сын историка С. М. Соловьева, автора многотомной «Истории России с древнейших времен», высоко ценившейся Достоевским; брат философа и поэта Вл. С. Соловьева, с которым Достоевский близко сошелся в последние годы (в частности, начиная работу над «Братьями Карамазовыми», в 1878 году, после смерти своего младшего сына Алексея, посетил вместе с Вл. Соловьевым монастырь Оптину пустынь). Сестра Вс. Соловьева П. С. Соловьева была известной в свое время поэтессой (псевд. Allegro).

В детские годы Вс. Соловьев воспитывался в пансионе при реформатской церкви в Москве. В 1866 году поступил на юридический факультет Московского университета. По окончании его со степенью кандидата прав служил чиновником II Отделения собственной его величества канцелярии.

Литературную деятельность начал в 1864 году как поэт, поместив позднее несколько стихотворений в «Гражданине» периода редакторства Достоевского.

В 1876 году в журнале «Нива» (№ 38—51) была напечатана первая повесть Вс. Соловьева из русской истории — «Княжна Острожская». С этого времени начинается его весьма плодовитая деятельность как исторического романиста. «Нам приходилось слышать от Всеволода Сергеевича, — писал А. Измайлов, — что насколько он считает себя обязанным в руководстве в годы молодости Достоевскому, настолько за первые поощрения и указания был благодарен Писемскому» (Измайлов А. А. Всеволод Сергеевич Соловьев. Очерк жизни и литературной деятельности. — Собр. соч. Вс. С. Соловьева, кн. 40. СПб., 1904, с. 122). Среди многочисленных романов Вс. Соловьева выделяется историческая нравоописательная хроника одного дворянского рода на протяжении нескольких поколений (вторая половина XVIII — начало XIX в.) — «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы». Романы Вс. Соловьева, получившие большую популярность в читательской среде, были холодно приняты критикой как «quasi-исторические», малохудожественные, «лубочные» (см., например: Медведский К. П. Один из наших Вальтер-Скоттов. — Наблюдатель, 1894, № 2).

28 декабря 1872 года, узнав, что Достоевский в Петербурге, Вс. Соловьев написал ему восторженное письмо (опубликовано А. С. Долининым в комментариях к т. III «Писем» Достоевского. М.—Л., 1934, с. 299—300). 1 января Достоевский посетил Соловьева, но, не застав его дома, оставил ему краткое письмо (см. с. 201 наст. тома, а также: *Достоевский,* XXIX, кн. I, 257). 2 января состоялась их первая встреча, о содержании которой Соловьев по свежим следам записал в своем дневнике (см.: *ЛН,* 86, 423—426).

По поводу своих отношений с Достоевским и воспоминаний о нем Соловьев говорил за год до смерти А. А. Измайлову: «Мне выпало счастье близости к Достоевскому. Храню его письма. Вот книга с его автографом. (Он взял, кажется, «Преступление и наказание», врученное автором «дорогому Всеволоду Сергеевичу».) Многого я не мог внести в свои печатные воспоминания об этом человеке великого духовного порыва и вместе великого греха». А. А. Измайлов продолжает: «...он вспоминал о Достоевском, отмечая, в частности, пророчества его о ницшеанском антихристе» (Измайлов А. А. Литературный Олимп. М., 1911, с. 465, 470).

Воспоминания Вс. С. Соловьева печатаются по журналу «Исторический вестник», 1881, № 3 и 4.

[1] С. 203. О таком сюжете и предложении Мещерского Достоевскому написать на этот сюжет повесть для «Гражданина» сведений не имеется.

[2] С. 204. Сохранились редкие экземпляры книжки «Исторического вестника», в которых разговор, касающийся Белинского, представлен более полно. Речь шла о проблемах «реабилитации плоти». Об отношениях Достоевского и Белинского см. в томе первом наст. изд. с. 564—565.

[3] С. 204. Вс. Соловьев выполнил эту просьбу в своей статье «Ф. М. Достоевский», где сказано: «Говоря об этом времени <то есть годах учения в Инженерном училище>, Федор Михайлович постоянно вспоминает свою встречу с Иваном Николаевичем Шидловским и благотворное влияние на него этого человека. Несмотря на большое образование и талантливость, Шидловский не оставил по себе памяти в нашей литературе, но он оказал ей весьма большую услугу, подготовив такого писателя, как Достоевский...» (Нива, 1878, № 1). О И. Н. Шидловском см. с. 103 и примеч. к ней в томе первом наст. изд.

[4] С. 204. О времени и причинах открывшейся у Достоевского «падучей» см. в томе первом наст. изд. примеч. 4 к с. 235.

[5] С. 205. Речь идет о Тургеневе. О взаимоотношениях Достоевского с Тургеневым см. примеч. 10 к с. 413.

[6] С. 205. Достоевский ввел Вс. Соловьева в близкий ему в это время «кружок» кн. В. П. Мещерского, на «средах» которого бывали

А. Н. Майков, Н. Н. Страхов, Т. И. Филиппов, Н. Я. Данилевский, К. П. Победоносцев и др.

[7] С. 208. Об обстоятельствах работы Достоевского в качестве редактора «Гражданина» см. в наст. томе воспоминания В. В. Тимофеевой и М. А. Александрова, а также примеч. к ним.

[8] С. 209. Среди статей с подобным содержанием особенно выделяется весьма резкая статья революционного народника П. Н. Ткачева о «Бесах» под названием «Больные люди», где говорилось о «не совсем нормальной фантазии г. Достоевского». «Бред <героев Достоевского>, — писал Ткачев, — вертится на таких мистико-загадочных вопросах, о которых, кроме двух, трех московских кликуш, самого автора, да разве еще философа Страхова, вероятно, никто никогда во всей России не думал и не думает» (Дело, 1873, № 3 и 4).

[9] С. 209. Речь идет об известном портрете Достоевского работы В. Г. Перова. Достоевский позировал Перову по просьбе П. М. Третьякова в апреле—мае 1872 г. и осенью того же года посетил художника. Несомненно, что творческим процессом создания этого портрета навеяны слова Достоевского в «Дневнике писателя» за 1873 г. (глава «По поводу выставки»): «Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому, что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста» (*Достоевский,* XXI, 75). Портрет был впервые показан на второй выставке Товарищества передвижных художественных выставок, открывшейся в конце 1872 г. в залах Петербургской академии художеств.

[10] С. 210. Достоевский говорит о книге: Кохановская Н. С. Повести, т. I—II. М., 1863, куда вошли: «После обеда в гостях», «Из провинциальной галереи портретов», «Старина» (т. I), «Гайка», «Кирила Петров и Настасья Дмитрова», «Давняя встреча» (т. II). Обстоятельную рецензию на это издание написал М. Е. Салтыков-Щедрин (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 5. М., 1966, с. 368—382). Достоевского мог привлечь несколько сентиментальный, в славянофильском духе, «пафос» повестей Кохановской. Ср. в воспоминаниях В. В. Тимофеевой, с. 158 наст. тома.

[11] С. 211. Об этом же вспоминала и В. В. Тимофеева; см. с. 186 наст. тома.

[12] С. 211. Упоминаемая Вс. Соловьевым записка к нему Достоевского неизвестна. Об аресте Достоевского на гауптвахте см. примеч. 43 к с. 188.

[13] С. 212. В статье «Ф. М. Достоевский» Вс. Соловьев писал: «Влияние этой ссылки на нашего писателя было самое благоприятное и отрезвляющее» (Нива, 1878, № 1). См. об этом также во вступительной статье к наст. изд.

[14] С. 213. О чтении Достоевским «Отверженных» Гюго во время ареста на гауптвахте рассказывает также В. В. Тимофеева, см. с. 188—189 наст. тома.

[15] С. 214. Надо думать, что этот разговор со «старыми друзьями» о «зависти» к Л. Толстому был вызван началом публикации с первой книжки «Русского вестника» 1875 г. романа «Анна Каренина». Отношение Достоевского к первым главам толстовского романа если и не было безусловно отрицательным (как, например, у Салтыкова-Щедрина), то во всяком случае весьма прохладным. Он писал Анне Григорьевне 7 февраля 1875 г.: «Роман довольно скучный и уж слишком не Бог знает что. Чем они <то есть, по-видимому, «старые друзья»!> восхищаются, понять не могу» (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 11). С большой долей вероятия можно назвать по крайней мере одного из «старых друзей» — это был Н. Н. Страхов, весьма недовольный сближением Достоевского с «Отечественными записками», где печатался в это же время роман «Подросток». Об отношении Достоевского к Л. Толстому см. также с. 463—464 наст. тома. В июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (главы вторая и третья) Достоевский подробно разобрал роман «Анна Каренина», рассматривая его, со своей точки зрения, как «факт особого значения» (*Достоевский,* XXV).

[16] С. 216. Ближайшим образом это относится к работе над «Подростком».

[17] С. 216. Вс. Соловьев писал о романе «Подросток» в двух обзорах «Наши журналы», посвященных первой и второй книжкам журнала «Отечественные записки» за 1875 г. (С.-Петербургские ведомости, 1875, № 32 и 58 от 1 февраля и 1 марта; подп. Sine Irae). В первом из этих обзоров, в частности, говорилось: «Г-н Достоевский, несмотря на бесспорный и выходящий из ряду талант, признаваемый за ним даже его литературными врагами, не может назваться любимцем русской читающей публики, значительная часть которой просто-напросто *боится* его романов». Объединяя два последних романа Достоевского «Бесы» и «Подросток», Вс. Соловьев дал объяснение такому отношению публики к творчеству Достоевского позднее в статье «Ф. М. Достоевский» «сущностью той задачи, которую взял на себя автор». «Только спокойный взор человека, находящегося вне нашей атмосферы, в известном отдалении от нашей эпохи, увидит итог современных явлений, их результаты и найдет в творениях Достоевского богатый материал для уразумения этих явлений. Поэтому вполне беспристрастная оценка «Бесов» и «Подростка» возможна только в будущем, да и сам Достоевский хорошо понимает это». Далее Соловьев ссылается на слова из «Заключения» романа «Подросток»: «Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться» (Нива, 1878, № 1 от 2 января). Изложение отзывов критики о романе «Подросток» см. в комментариях А. В. Архиповой (*Достоевский,* XVII, 345—360).

[18] С. 218. Объявление о подписке на «Дневник писателя» 1876 г. было напечатано в газете «Голос» 21 декабря 1875 г. (№ 352). В нем, в частности, говорилось: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных» (*Достоевский,* XXII, 136). Эта глубоко продуманная «программа» очень точно выполнялась Достоевским на всем протяжении издания «Дневника писателя».

[19] С. 218. Из письма от 28 декабря 1875 г. (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 68—69).

[20] С. 218. Речь идет о популярных в достаточно разнородных кругах петербургской интеллигенции вечерах у Я. П. Полонского, происходивших по пятницам. О характере этих «пятниц» в предисловии к публикации воспоминаний Д. Н. Садовникова «Встречи с И. С. Тургеневым. «Пятницы» у поэта Я. П. Полонского в 1879 году» (Русское прошлое, Пг.—М., 1923, № 1) говорилось: «Чрезвычайно общительный, терпимый, гостеприимный, Полонский имел широкий круг знакомых, и, благодаря этому, его «пятницы» отличались многолюдством, разношерстностью гостей, оживлением, непринужденностью. На вечерах появлялись представители высшей бюрократии — Вышнеградский, Победоносцев, Витте и др., литераторы и артисты, как, например, Тургенев, Достоевский, Антон Рубинштейн, Горбунов, Савина, художники Айвазовский, Судковский, Верещагин, Репин, Каразин и др. Гости приходили обычно без приглашений» (с. 74). Об одной из «пятниц» Полонского рассказывает Е. П. Леткова-Султанова (см. с. 443—446 наст. тома).

[21] С. 218. С воспоминаний о Герцене, Белинском, сороковых годах начал Достоевский «Дневник писателя» за 1873 г. (глава «Старые люди»).

[22] С. 219. Из письма к Вс. Соловьеву от 11 января 1876 г. (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 72—73). После слов: «Сам не знаю» пропущено: «добрейший Всеволод Сергеевич».

[23] С. 219. Несмотря на довольно большой «разброс» печатных мнений о первых выпусках «Дневника писателя» за 1876 г., в целом тон этих высказываний был достаточно благожелательным. Сам Вс. Соловьев по поводу издания «Дневника писателя» писал в газете «Русский мир» (1876, № 38 от 8 февраля): «Ф. М. Достоевский принадлежит к числу весьма немногих наших писателей, оставшихся вполне самостоятельными и не примкнувших ни к какому литературному лагерю». Непосредственно первый выпуск Соловьев оценил так: «Немало остроумных и тонких замечаний — и все это просто и искренно, на всем лежит печать ума и таланта, чуждых всякой тенденциозности и обязательной окраски» (обстоятельный обзор отзывов критики о первых выпусках «Дневника писателя» см. в комментариях В. А. Туниманова — *Достоевский,* XXII, 288 и след.).

[24] С. 220. О так называемом «восточном вопросе» см. примеч. 6 к с. 411, 8 к с. 448 и 11 к с. 450. Вс. Соловьев с похвалой отозвался об июньском выпуске «Дневника писателя» в письме к Достоевскому от 3 июля 1876 г. (Вопросы литературы, 1971, № 9, с. 182). Ответом на это письмо Соловьева явилось цитируемое далее письмо Достоевского от 16/28 июля из Эмса (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 101—103).

[25] С. 221. Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium» (1836).

[26] С. 221. Вс. Соловьев цитирует письмо Достоевского не совсем точно. Так после слова «понимателей» он исключает «как Вы», подчеркивает слово «своей». После слов «в голове» пропущено сообщение о получаемых в Эмсе русских газетах и просьба прислать статью Вс. Соловьева об июньском выпуске «Дневника писателя». На это письмо Достоевского от 16/28 июля 1876 г. Соловьев ответил 21 июля 1876 г. (Вопросы литературы, 1971, № 9, с. 183).

[27] С. 227. Об этом посещении гадалки рассказала и А. Г. Достоевская, возможно, уже с учетом воспоминаний Вс. Соловьева (*Достоевская,* с. 320).

[28] С. 227. Речь идет о статье «Ф. М. Достоевский» (Нива, 1878, № 1). См. в наст. томе примеч. 3 к с. 204 и 13 к с. 212.

[29] С. 230. В некрологической заметке «Памяти Федора Михайловича Достоевского» Вс. Соловьев вспоминал: «Похороны Достоевского представляют необычное и глубоко знаменательное явление в нашей жизни. Едва разнеслась по городу страшная весть, как останки Федора Михайловича и его жилище были как бы отняты у семьи его и превратились в общественное достояние. 29 и 30 января самая разнообразная, но одинаково-печальная толпа постоянно менялась, не убывая, а возрастая с каждым часом. Двери стояли настежь, форточки окон были открыты, но духота доходила до того, что свечи у гроба гасли. Тут уж не могли приходить из праздного любопытства, потому что дойти до гроба было физическим мучением, тут были только те, которые забывали мучение ради нравственной потребности поклониться праху одного из глубочайших, искреннейших художников — об этом говорило выражение всех лиц, говорили раздававшиеся кругом рыдания» (Нива, 1881, № 7 от 14 февраля).

[30] С. 230. Свои воспоминания о Достоевском Вс. Соловьев писал в сложных общественно-политических обстоятельствах, вызванных убийством народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II.

Г. К. ГРАДОВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «РОКОВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ. 1878—1882 гг.»

Григорий Константинович Градовский (псевдоним Гамма; 1842—1915), журналист, публицист. Печататься начал в киевских изданиях. В 1869 году переехал в Петербург и некоторое время сотрудничал

в «Московских ведомостях» Каткова. В 1872 году редактор еженедельного журнала В. П. Мещерского «Гражданин». Об этом редакторстве Градовский писал в «Автобиографии»: «Год, проведенный в сношениях с князем Мещерским, я считаю самым несчастным временем моей жизни и литературной деятельности. Единственным помыслом моим было — как бы поскорее развязаться с этим тягостным положением. Осенью я предложил князю Мещерскому: или передать мне вполне право на «Гражданин», или освободить меня от выполнения заключенного нами на два года контракта. Переговоры по этому поводу длились до конца 1872 года (первого года издания), когда Ф. М. Достоевский согласился занять мое место. Какие причины побудили Ф. М. Достоевского принять на себя ту роль, от которой я отказывался, — мне неизвестно. Он не заговаривал об этом, а я не считал уместным навязывать ему те впечатления и выводы, которые вынесены были мною из сношений с князем Мещерским. Как бы то ни было, передача редакции такому лицу, как Достоевский, доставила мне хотя некоторое нравственное удовлетворение» (Публицист-гражданин. Литературный сборник, посвященный памяти Григория Константиновича Градовского. Пг., 1916, с. 7—8).

С 1874 года вел в газете «Голос» так называемый «фельетон», в 1877 году был корреспондентом «Голоса» на театре военных действий в Малой Азии и в Болгарии. В 1876—1878 годах издавал собственную газету «Русское обозрение», закрытую по высочайшему повелению, печатался и в других либеральных изданиях. Широкий общественный резонанс вызвал его «фельетон», посвященный делу Веры Засулич (Голос, 1878, № 92 от 2 апреля).

В 1876 году Градовский высказался против мысли Достоевского в февральском выпуске «Дневника писателя» о противоречии между действительностью народной жизни и народными идеалами (Голос, 1876, № 67 от 7 марта). Достоевский ответил Градовскому в главе первой мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год, высказав при этом свое заветное убеждение: «Что же касается до нравоучения, которым вы кончаете вашу заметку: «Пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша», — то замечу вам, что это желание совершенно невозможное: без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости» (*Достоевский,* XXII, 74—75).

Фрагмент воспоминаний Г. К. Градовского печатается по его книге: Итоги. Киев, 1908.

[1] С. 231. Об А. Ф. Кони см. далее с.528. В качестве защитника на процессе В. Засулич выступал присяжный поверенный П. А. Александров, получивший ранее известность на процессе 193-х — суде над участниками «хождения в народ», проходившем с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г. (среди обвиняемых были известные революционные

народники И. Н. Мышкин, С. В. Перовская, Н. А. Морозов). Обвинение на процессе В. Засулич поддерживал товарищ прокурора К. И. Кессель. В. Засулич от «последнего слова» отказалась. Речи обвинителя, защитника, резюме председательствующего включены в состав «Воспоминаний о деле Веры Засулич» А. Ф. Кони (см.: Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М., 1966).

[2] С. 232. 13 июля 1877 г. по приказанию петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова был подвергнут телесному наказанию «за грубость» политический заключенный А. С. Боголюбов. Ответом на это беззаконное действие стал выстрел в Трепова, произведенный В. Засулич 24 января 1878 г.

[3] С. 233. Несколькими страницами раньше Градовский передавал свой разговор, уже после суда, с исправлявшим тогда должность председателя комитета министров П. А. Валуевым, который спросил его:

«— Неужели вы за оправдание?

— Не я один; присяжные, судьи, все бывшие в суде за оправдание!.. Осудить было невозможно! Возле меня сидел Достоевский, и тот признал, что наказание этой девушки неуместно, излишне... Следовало бы выразить, — сказал он: «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз...» (Градовский Г. К. Итоги. Киев, 1908, с. 8—9).

Такое мнение Достоевский высказал также в разговоре, состоявшемся в клубе литераторов при книжном магазине М. О. Вольфа (см.: Либрович С. В. На книжном посту. Пг.—М., 1916, с. 42).

А. Ф. КОНИ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Анатолий Федорович Кони (1844—1927), выдающийся юрист, судебный оратор, литератор, мемуарист; впоследствии сенатор, член Государственного совета. Наряду с судебными речами, к числу лучших его творческих созданий принадлежат «литературные портреты» Гончарова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Писемского и других русских писателей, а также государственных деятелей, с которыми Кони был лично знаком. В 1900 году избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

С юности вошел в литературные круги. Его отец — Федор Алексеевич Кони — был известен как литературный и театральный деятель, журналист, водевилист. Мать — актриса и писательница И. С. Юрьева, по сцене Сандунова.

В 1866 году А. Ф. Кони окончил юридический факультет Московского университета. Прогрессивные принципы судебной реформы 1864 года положил в основу всей своей дальнейшей многообразной юридической деятельности. Во время дела В. Засулич являлся председателем Петербургского окружного суда. 2 февраля 1881 года в собрании Юри-

дического общества при Петербургском университете прочитал доклад «Достоевский как криминалист» (опубликован в виде очерка «Федор Михайлович Достоевский», текст которого частично использован в печатаемом в наст. сборнике мемуаре «Ф. М. Достоевский»; см. этот очерк в изд.: Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6, М., 1968, с. 406—427). Подробнее об А. Ф. Кони см. в кн.: Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. М., 1981.

Мемуар «Ф. М. Достоевский» печатается по изд.: Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М., 1968.

[1] С. 234. Кони пересказывает соответствующее место из «Дневника писателя» за 1873 г. (см. том первый наст. изд., с. 225—229).

[2] С. 234. Возможно, в памяти А. Ф. Кони не совсем точно запечатлелся поэтический образ месяца, едва заметного в лучах солнца: «Но пускай только померкнет старый день! Едва наступит темнота, в вышине запылает тот бледный кружок все прекраснее и прекраснее». Так же, по мысли Гейне, нужно смотреть на будущее величие поэта (Гейне Г. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 5. М., 1983, с. 192).

[3] С. 235. Кони не совсем точен. Достоевского везли в каторгу, по его собственным словам в письме к брату от 30 января — 22 февраля 1854 г., по Петербургской, Новгородской, Ярославской и другим губерниям, а затем через Тобольск в Омск (*Достоевский,* XXVIII, кн. I, 168—169). Служил он, выйдя из каторги, в Сибирском 7-м линейном батальоне, стоявшем в Семипалатинске.

[4] С. 235. Тема «вынужденного общего сожительства» (*Достоевский,* IV, 22) является одной из важных тем «Записок из Мертвого дома».

[5] С. 235. *Сильвио Пеллико* (1789—1854), итальянский писатель, участник заговора карбонариев, приговоренный к смертной казни, которая была заменена пятнадцатью годами тюрьмы. В тюремном заключении, описанном в книге «Мои темницы» («Le mie prigioni», 1832), пришел к покаянию и христианскому смирению. Пушкин писал по поводу «Моих темниц»: «Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, — прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства» (Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. М., 1962, с. 192).

[6] С. 235. *«Città dolente»* («Скорбный город» — *ит.*) — в «Божественной Комедии» Данте («Ад», песнь восьмая) так назван город Дит — окруженные крепостной стеной области Ада («Нижний Ад»), где несут наказание самые страшные грешники.

[7] С. 235. Кони цитирует письма Достоевского по памяти. «Создание» романа «Преступление и наказание» относится к 1865—1866 гг., уже после смерти М. М. Достоевского. В единственном известном за это время письме к Н. М. Достоевскому от 15 декабря 1865 г. сообщается только, что работа над «Преступлением и наказанием» «идет туго» (*Достоевский,* XXVIII, кн. II, 144). Ранее, в письме к М. М. Достоев-

скому от 9 мая 1859 г., упомянув романы «Обломов» и «Дворянское гнездо» материально обеспеченных, но получающих большие гонорары Гончарова и Тургенева, Достоевский сетовал: «От бедности я *принужден* торопиться, а писать для денег, следовательно, *непременно портить»* (там же, кн. I, 325). Фразу: «Работа из нужды, из денег задавила и съела меня» находим в письме к А. Е. Врангелю от 14 апреля 1865 г. (там же, кн. II, 119). 17/29 августа 1870 г. Достоевский писал С. А. Ивановой: «Если б Вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю? Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа <«Бесов»>, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы!» (там же, XXIX, кн. I, 136).

[8] С. 235. В таком духе трактовал творчество Достоевского известный народнический критик Н. К. Михайловский в статье «Жестокий талант» (Отечественные записки, 1882, № 9 и 10).

[9] С. 235. Не совсем точная цитата из «маленькой трагедии» Пушкина «Скупой рыцарь» (1830). У Пушкина «заимодавец грубый».

[10] С. 236. Эжен Мелькиор де *Вогюэ* (1848—1910) — популяризатор русской литературы на Западе, автор книги «Le roman russe» (1886), на русском языке вышедшей под названием «Современные русские писатели. Толстой—Тургенев—Достоевский» (СПб., 1887). Последние страницы главы о Достоевском посвящены воспоминаниям о встречах с писателем в последние годы его жизни.

[11] С. 236. Из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815).

[12] С. 236. Петербургский университет был закрыт осенью 1861 г. в связи со студенческими волнениями (см. том первый наст. изд., с. 429).

[13] С. 236. Достоевский познакомился с семьей Куликовых через свою хорошую знакомую, известную драматическую артистку А. И. Шуберт (жену, до 1863 года, С. Д. Яновского). *Н. Н. Куликов* — племянник А. И. Шуберт, сын ее брата, актера и драматурга Н. И. Куликова.

[14] С. 236. Речь идет о «лирической драме» А. Н. Майкова «Три смерти» (1851), имевшей несколько редакций (см. комментарий Л. С. Гейро в кн.: Майков А. Н. Избр. произведения. Л., 1977, с. 841—846).

[15] С. 237. Это не совсем верно. Роману было посвящено, по крайней мере, два «серьезных разбора», хотя общие исходные принципы их разнились весьма существенно. Во-первых, это статья Д. И. Писарева «Борьба за жизнь» (первая часть под названием «Будничные стороны жизни». — Дело, 1867, № 5; вторая часть под названием «Борьба за существование». — Дело, 1868, № 8), в которой критик сосредоточился на анализе социальной обусловленности преступления Раскольникова, и, во-вторых, статья Н. Н. Страхова, которого прежде всего интересовала идейно-психологическая проблематика романа, главным образом в аспекте характерной для него темы «нигилизма» (Отечественные

записки, 1867, № 3—4, «Наша изящная словесность»). Подробно об отзывах критики — в комментариях Г. М. Фридлендера — *Достоевский,* VII, 345—356.

[16] С. 237. Первые главы романа «Преступление и наказание» были недоброжелательно восприняты публицистом «Современника» Г. З. Елисеевым, в частности писавшим: «...автор, приступая к своему роману, если он хотел изобразить действительное, прежде всего должен бы был спросить себя: существует ли то, что я хочу описывать и изъяснять? <...> Если же что-нибудь подобное есть в действительности, то тут надобно действовать никак не посредством поэзии, а посредством полиции наружной или тайной. Какою разумною целию может оправдываться подобный сюжет для романа?» (Современник, 1866, № 2, отд. «Современное обозрение», с. 276—277). Позже Елисеев, по-видимому, изменил свое отношение к творчеству Достоевского (см. воспоминания В. В. Тимофеевой, с. 187—188 наст. тома).

[17] С. 237. Это убийство студентом Даниловым закладчика Попова и его служанки Нордман произошло 14 января 1866 г. (см. в томе первом наст. изд. примеч. 88 к с. 491).

[13] С. 237. Отставной гвардейский офицер К. Ф. Ландсберг 25 мая 1879 г. убил своего знакомого Е. А. Власова, чтобы завладеть своей долговой распиской на пять тысяч рублей, и при этом еще похитил процентные бумаги на четырнадцать тысяч. Дело Ландсберга слушалось в июле 1879 г. под председательством Кони. Этому делу Кони посвятил главу в своей книге «Из записок судебного деятеля». Достоевский писал Е. А. Штакеншнейдер 15 июня 1879 г.: «Читаю газеты и изумляюсь ежедневно все более и более. Подкопы в губерниях под банки, Ландсберги и проч. и проч. Ну вот опишите, например, Ландсберга, которою преступление считают столь невероятным, что приписывают его помешательству. Опишите — и закричат: невероятно, клевета, болезненное настроение и прочес, и прочее. Болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества, и на того, кто сумеет это заметить и указать, — общее негодование» (*Достоевский,* XXX, кн. I, 72). Преступление Ландсберга как характерное явление современности упоминает Салтыков-Щедрин в цикле «Круглый год» и отрывке «Приличествующее объяснение» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 13. М., 1972, с. 469—471, 632).

[19] С. 238. В. Н. Куликова — племянница А. И. Шуберт (см. примеч. 13 к с. 236). О ней Достоевский писал Кони в феврале 1874 г. (*Достоевский,* XXIX, кн. I, 314).

[20] С. 238. Об аресте Достоевского см. с. 188—189 и 211—213.

[21] С. 238. Имеется в виду письмо от февраля 1874 г. (см. примеч. 19 к с. 238).

[22] С. 239. Крестьянка Ек. Корнилова была приговорена судом присяжных к каторжным работам на два года и последующей ссылке в Сибирь навсегда. Достоевский в главе первой октябрьского выпуска

«Дневника писателя» за 1876 г. (главка «Простое, но мудреное дело» — *Достоевский,* XXIII, 136—141) выразил сомнение в справедливости приговора и затем принял самое непосредственное участие в дальнейшем ходе дела Корниловой. Присяжный поверенный К. И. Маслянников, служивший в это время в кассационном департаменте министерства юстиции в непосредственном подчинении у Кони, вспоминал: «Под влиянием необыкновенно сильного впечатления, произведенного мыслями великого художника и его сомнениями, я немедленно написал к нему письмо <см.: Вопросы литературы, 1971, № 9, с. 193—195>, в котором удостоверил его, что описанное им до мельчайших подробностей верно действительности, и предложил свои услуги помочь несчастной, если только Федор Михайлович действительно желает ее спасения» (*Биография.* Приложения, с. 103). Получив при содействии Кони и Маслянникова соответствующее разрешение, Достоевский несколько раз посетил Корнилову в тюрьме. Об этих своих посещениях и вынесенных впечатлениях, которые поразительно точно подтверждали его предположения, высказанные ранее в «Дневнике писателя», Достоевский рассказал в письме к Маслянникову от 5 ноября 1876 г. и в декабрьском выпуске «Дневника писателя» в главке «Опять о простом, но мудреном деле» (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 129—132; XXIV, 36—43).

Вторичное разбирательство дела Корниловой после кассации состоялось 22 апреля 1877 г. Об этом разбирательстве, закончившемся оправданием, Достоевский писал в заметке «Освобождение подсудимой Корниловой» (апрельский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г., глава вторая — *Достоевский,* XXV, 119—121). Об этой заметке Кони говорит двумя абзацами ниже.

23 С. 239. Кони имеет в виду рассказ Тараса в гл. XLI части второй романа Л. Толстого «Воскресение».

24 С. 241. В Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР сохранилось письмо Анны Петровны Бергеман от 20 января 1877 г. с выражением благодарности за участие в судьбе Марфуши (см.: *Достоевский,* XXV, 450 — примечания). Судя по некоторым подготовительным записям, Достоевский, возможно, хотел рассказать историю девочки в «Дневнике писателя».

25 С. 241. 7 мая 1874 г. Кони пригласил Достоевского, в соответствии с выраженным им желанием, «ознакомиться с арестантским отделением малолетних в Тюремном замке» (Кони А. Ф. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, М., 1969, с. 38). Достоевский принял это приглашение и посетил Литовский тюремный замок (*Достоевский,* XXII, 19). Что же касается посещения колонии малолетних преступников, которое и описывает здесь Кони, то оно состоялось не летом, а зимою — 27 декабря 1875 г. (см. письмо Кони Достоевскому от 26 декабря 1875 г. — Кони А. Ф. Собр. соч., т. 8, с. 38—39). Сам Достоевский рассказал о своих впечатлениях в главе второй январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. (*Достоевский,* XXII, 17—26).

[26] С. 241. Михаил Евграфович Ковалевский был председателем С.-Петербургского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов.

[27] С. 244. Речь идет о некоторой либерализации правительственной политики, проводившейся под руководством М. Т. Лорис-Меликова (см. с. 472 наст. тома).

[28] С. 244. О Пушкинском празднике см. далее в статье Г. И. Успенского, воспоминаниях Д. Н. Любимова и др.

[29] С. 246. Кони ошибается в дате. Этот вечер был назначен на 29 января, день смерти Пушкина. Вероятно, и дальше говорится именно об этом числе.

[30] С. 247. Достоевский скончался 28 января, Томас Карлейль — 4 февраля н. ст. 1881 г.

[31] С. 247. На этом вечере выступили О. Ф. Миллер и Д. В. Григорович. Набросок углем — Достоевский на смертном одре — был сделан не И. Е. Репиным, а И. Н. Крамским, который подарил этот портрет А. Г. Достоевской. 7 февраля 1881 г. Анна Григорьевна писала художнику: «Ни одно сочувствие, выказанное мне в это тяжелое время, не тронуло меня так глубоко, как Ваш подарок. Вы мне возвратили Федора Михайловича: он живой, он спит, он заснул счастливый» (Рукописный отдел Гос. литературного музея).

[32] С. 250. Как пишет А. Г. Достоевская, «автограф этот, отпечатанный <...> по желанию некоторых почитателей таланта Ф. М. Достоевского, был раздаваем ими публике бесплатно в день погребения его» (Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского. Составила А. Достоевская. СПб., 1906, с. 313).

М. А. АЛЕКСАНДРОВ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ ТИПОГРАФСКОГО НАБОРЩИКА В 1872—1881 ГОДАХ

Данные о Михаиле Александровиче Александрове, наборщике и метранпаже (верстальщике, техническом редакторе) в ряде петербургских типографий, весьма скудны. Некоторые сведения о своем детстве, обучении в школе при монастыре О-на (Оптина?) пустынь он сообщает в мемуарной статье «Из воспоминаний простого человека. Мой учитель», напечатанной в «Гражданине» уже после ухода оттуда Достоевского, хотя и с его одобрения (№ 19 от 13 мая, № 20—21 от 27 мая, № 22 от 3 июня 1874 г.). Опубликовал также несколько очерков и корреспонденций в «Иллюстрированной газете», «Иллюстрированной неделе», «Воскресном досуге».

Оттиск воспоминаний о Достоевском из «Русской старины» с авторскими исправлениями и добавлениями он подарил А. Г. Достоевской, сделав на обложке надпись: «Анне Григорьевне Достоевской на память от глубокоуважающего и преданного ей автора» (см.: *ЛН,* 86, 134). Анна Григорьевна познакомилась с воспоминаниями Александрова и в рукописи, о чем свидетельствует ее письмо, напечатанное в № 5 «Русской старины» за 1892 год вслед за воспоминаниями Александрова:

«16 ноября 1891 года.

С истинным удовольствием прочла я Вашу статью, глубокоуважаемый Михаил Александрович. Она мне живо напомнила старое, незабвенное время. По моему мнению, Вы в Вашем произведении чрезвычайно метко схватили все характерные черты покойного Федора Михайловича и обрисовали его таким, каким он был в домашней, повседневной жизни. Эта сторона мало кому известна, кроме близких к нему людей, к которым, несомненно, принадлежали и Вы. Очень бы желалось, чтоб Вы нашли возможность напечатать Вашу статью.

Простите, что так долго не возвращала рукопись; все хворала и думала, что, поправившись, приду лично передать мои впечатления.

Искренно Вам преданная и уважающая

А. Достоевская».

Воспоминания М. А. Александрова печатаются по журналу «Русская старина», 1892, № 4 и 5.

[1] С. 252. См. примеч. 2 к с. 137.

[2] С. 253. О В. В. Тимофеевой см. с. 510—511 наст. тома.

[3] С. 253. То есть кн. В. П. Мещерский. См. о нем в воспоминаниях В. В. Тимофеевой.

[4] С. 258. См. примеч. 33 к с. 182 наст. тома.

[5] С. 259. В. В. Тимофеева в своих воспоминаниях ссылается на это место воспоминаний Александрова, когда рассказывает о столкновении метранпажа с Достоевским (см. с. 163 наст. тома). Однако Александров пишет не о «статье», а о вставке в обзор «Иностранных событий». Кроме того, Тимофеева очень точно датирует инцидент 12-м июня (на основании своих записных тетрадей), в то время как первая статья цикла «Иностранные события» была напечатана в «Гражданине» лишь 17 сентября 1873 г.

[6] С. 260. Подчеркнуто Александровым (ср.: *Достоевский,* XXIX, кн. I, 258).

[7] С. 261. Рукой Александрова на автографе датируется «летом 1873». В изд. *Достоевский* датируется 4—6 октября (XXIX, кн. I, 305). Криптонимом *N* здесь и далее Александров заменяет «князя», то есть В. П. Мещерского.

[8] С. 263. В публикации Александрова здесь выпущены слова: «Теперешняя корректура... похуже прежней».

[9] С. 266. О сложных отношениях между Достоевским и Мещер-

ским, приведших в конце концов к уходу Достоевского из журнала, см. примеч. 36 к с. 184 наст. тома.

[10] С. 266. В 1872 г. вышло тридцать четыре номера «Гражданина». Весенне-летние номера были заменены двухтомным сборником сочинений (главным образом статей) самого разного содержания под тем же названием «Гражданин» (вторую книгу сборника открывала «лирическая драма» А. Н. Майкова «Два мира»).

[11] С. 267. Достоевские стали жить на даче в Старой Руссе с весны 1872 г., однако дом был приобретен лишь весной 1877 г.

[12] С. 272. «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии». СПб., 1874 (вышел в свет 28 марта). В сборнике приняли участие около пятидесяти писателей, поэтов, критиков и публицистов. Там, среди прочего, были напечатаны стихотворения П. А. Вяземского, Я. П. Полонского, К. К. Случевского, А. Н. Плещеева, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, «Живые мощи» И. С. Тургенева, «Город» (глава из неоконченной и не опубликованной при жизни повести «Тихое пристанище») М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Трудовой хлеб» А. Н. Островского, «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» И. А. Гончарова, «Кроха словесного хлеба» Н. С. Кохановской. В связи с публикацией в «Складчине» «Маленьких картинок» между Достоевским и Гончаровым возникла переписка (сохранившаяся частично) по поводу понимания типического. См. далее примеч. 27 к с. 296.

[13] С. 272. № 16 «Гражданина» с этим сообщением вышел 22 апреля 1874 г.

[14] С. 273. Имеется в виду роман «Подросток». См. также с. 186.

[15] С. 274. См. примеч. 18 к с. 218. Объявление об издании в 1876 г. обновленного «Дневника писателя» появилось также в газетах «Биржевые ведомости» (1876, № 3 от 4 января), «С.-Петербургские ведомости» (1876, № 4 от 4 января). Первый выпуск «Дневника писателя» вышел в свет 31 января.

[16] С. 276. Имеются в виду августовский за 1880-й и январский за 1881 г. выпуски «Дневника писателя».

[17] С. 278. Известный цензор Н. А. Ратынский вовсе не был столь покладист, о чем, кстати сказать, свидетельствуют следующие абзацы воспоминаний Александрова. Так, в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. была запрещена главка «Нечто о петербургском баден-баденстве». На основании доклада Ратынского С.-Петербургский цензурный комитет «не дозволил к печатанию» главу «Старина о петрашевцах» из январского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (подробнее см.: В о л г и н И. Л. Достоевский и царская цензура (к истории издания «Дневника п и с а т е л я»). — Русская литература, 1970, № 4).

[18] С. 279. О своей издательской деятельности, начавшейся изданием

романа «Бесы», А. Г. Достоевская рассказывает в воспоминаниях (*Достоевская,* с. 253—258, 391).

[19] С. 279. Обстоятельный обзор весьма противоречивых отзывов о «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 гг. дан в комментариях В. А. Туниманова (*Достоевский,* XXII, 288—306; XXV, 339—350).

[20] С. 280. «Мальчик у Христа на елке» был перепечатан в «Петербургской газете», 1876, № 24, отд. «Фельетон».

[21] С. 280. Обзор действительно обширной переписки Достоевского с читателями, вызванной «Дневником писателя» за 1876 и 1877 гг., см. в комментариях В. А. Туниманова (*Достоевский,* XXII, 306—315; XXV, 350—358). См. также статьи И. Л. Волгина «Редакционный архив «Дневника писателя» (Русская литература, 1974, № 1) и «Достоевский и русское общество» (там же, 1976, № 3).

[22] С. 285. См. об этом в томе первом наст. изд. примеч. 4 к с. 235.

[23] С. 294. Сборник О. Ф. Миллера «Русским детям. Из сочинений Достоевского» (СПб., 1883) включал отрывки из «Бедных людей», «Неточки Незвановой», «Униженных и оскорбленных», «Преступления и наказания», «Подростка», «Братьев Карамазовых». Книга известного педагога В. Я. Стоюнина вышла под названием «Выбор сочинений Ф. М. Достоевского для учащихся среднего возраста (от четырнадцати лет)». СПб., 1887. В ней напечатаны полностью «Бедные люди», «Господин Прохарчин», «Неточка Незванова» и отрывки из «Записок из Мертвого дома».

[24] С. 294. *К. В. М.* — князь В. П. Мещерский, автор кроме большого количества политических статей также множества малохудожественных тенденциозно-консервативных романов.

[25] С. 295. О ком здесь идет речь, неясно, хотя самый этот факт отражен и в воспоминаниях В. В. Тимофеевой (см. с. 174 наст. тома).

[26] С. 296. Свой взгляд на поэзию и личность Некрасова Достоевский высказал в главе второй декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (*Достоевский,* XXVI, 111—126).

[27] С. 296. Отношение Достоевского к творчеству Гончарова да и к самой его личности было противоречивым. Он, например, отрицательно отнесся к самому принципу изображения характера в романе Гончарова «Обрыв» (речь шла о Райском), усмотрев в Райском «мелочь и низменность воззрения и проникновения в действительность. И все одно да одно. Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто же будет отмечать факты и углубляться в них?» (*Достоевский,* XXIX, кн. I, 19). При этом в письме к А. Н. Майкову от 12/24 февраля 1870 г. Достоевский поставил роман «Обломов» в один ряд с «Мертвыми душами», «Дворянским гнездом», «Войной и миром» (там же, с. 106). Характерен спор, возникший между Достоевским и Гончаровым в связи с пониманием каждым из них типа и типического. Речь шла о публиковавшихся в сборнике «Складчина» «Маленьких картинках» Достоевского. «Ваш же священник-*ухарь* <эпизод этот

по настоянию Гончарова был удален из окончательного текста «картинок>, — писал Гончаров 11 февраля 1874 г., — очерчен так резко и зло, что впадает как будто в шарж, кажется неправдоподобен, хотя, может быть, такие и есть <...> Вы сами говорите, что «зарождается» такой «тип»; простите, если я позволю заметить здесь противоречие: если зарождается, то это еще не *тип»* (Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, М., 1980, с. 407). Весьма характерен рассказ Достоевского в письме к Х. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 г. о разговоре с Гончаровым, признавшимся, что он «текущей действительности» не понимает и не хочет понимать (*Достоевский,* XXIX, кн. II, 78). См.: Битюгова И. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в художественном восприятии Достоевского. — *Материалы и исследования,* 2, 191—198. См. также с. 327 наст. тома.

[28] С. 297. Об отношении Достоевского к Толстому см. с. 463—464 наст. тома.

[29] С. 306. Имеется в виду последняя главка «К читателям» декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (*Достоевский,* XXVI, 126—128).

[30] С. 307. Декабрьский выпуск вышел после 15 января 1878 г. (дата цензурного разрешения).

[31] С. 307. Достоевский был избран товарищем председателя Славянского благотворительного общества 3 февраля 1880 г. Председателем Общества был историк, основатель Высших женских курсов К. Н. Бестужев-Рюмин.

[32] С. 308. Этот литературный вечер в пользу Славянского благотворительного общества состоялся 27 апреля 1880 г. (на этот день как раз и приходилось «Фомино воскресенье»). Достоевский по программе читал отрывки из книги «Мальчики» («Братья Карамазовы»).

[33] С. 309. Образу некрасовского «великого» Власа (стихотворение «Влас»; 1854) Достоевский всегда придавал особое значение как воплощению истинно русского народного характера, писал о нем в особой главе «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г. (*Достоевский,* XXI, 31—33), упоминал в «Дневнике писателя» за 1877 г. (*Достоевский,* XXV, 56—57, 215). Образ странника Макара Долгорукого в романе «Подросток» восходит к образу некрасовского Власа. «Влас для Достоевского в эти годы фигура колоссальная, неизменный символ встревоженной человеческой совести, ищущей правды» (*Долинин. Последние романы,* с. 128—130).

[34] С. 310. Из баллады А. К. Толстого «Илья Муромец» (1871).

[35] С. 317. Н. К. Лебедевым-Морским Достоевский заинтересовался еще в 1878 г., когда в «Новом времени» печатался его роман «Аристократия Гостиного двора». Эта книга, а также другие романы Н. Морского находились в библиотеке Достоевского. См. также: *ЛН,* 86, 510—511.

[36] С. 319. О какой «неустойке» идет речь, неясно. Возможно,

Достоевский вспоминает какой-то эпизод из своих отношений с Благосветловым 1863 г., когда последний пересылал для публикации в редакцию журнала «Время» рукописи, не использованные им в своем журнале «Русское слово» (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975, с. 284).

[37] С. 321. См. примеч. 31 к с. 247.

[38] С. 323. Похоронное шествие состоялось 31 января, а погребение — 1 февраля.

Х. Д. АЛЧЕВСКАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ

Христина Даниловна Алчевская (рожд. Журавлева; 1841—1920), деятельница народного образования, писательница по педагогическим вопросам, мемуаристка. В 1861 году вышла замуж за украинского общественного деятеля, руководителя харьковского либерального кружка «Громада» Алексея Кирилловича Алчевского.

Уже в детские годы, самостоятельно выучившись грамоте, увлеклась литературой и прониклась мыслью о необходимости просветительской деятельности в народе. С этой целью в 1862 году начала работать учительницей в Харьковской женской воскресной школе, которая, однако, как и другие воскресные школы в России, в том же году была закрыта. Организовала свою домашнюю школу для женщин, существовавшую до 1870 года «нелегально», а с этого года, по получении Алчевской «свидетельства на право преподавания», — как частная воскресная женская школа (см.: Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912, с. 23—38).

Вместе с коллективом своих сотрудниц — учительниц Харьковской воскресной школы предприняла изучение читательского восприятия в народной среде книг разного содержания — духовно-нравственного, литературно-художественного, исторического, естествоведческого. Результатом такого изучения явился фундаментальный труд «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения» (тт. 1—3. СПб., 1884, 1889, 1906). В письме от 18 декабря 1882 года просила совета у Л. Толстого, как лучше составить и издать такой труд (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 63. М.—Л., 1934, с. 110—111). В ответе Толстого, заинтересовавшегося педагогической деятельностью Алчевской, говорилось: «...я позволяю себе советовать Вам напечатать и отзывы учащих, преимущественно, в форме сведений о том, что́ больше читается и лучше передается, и отзывы учащихся в форме пересказов прочитанного с наивозможной точностью передачи» (там же, с. 110). Встретившись с Алчевской,

Толстой в «Дневнике» за 1884 год назвал ее «умной и дельной», а книгу «Что читать народу?» — «прекрасной» (там же, т. 49. М., 1952, с. 82). В эту книгу были включены и краткие рекомендательные отзывы-рецензии самой Алчевской. По выходе первого тома Г. И. Успенский в очерках «Скучающая публика» горячо приветствовал издание Алчевской (Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 9. М., 1949, с. 85).

Кроме Достоевского и Л. Толстого Алчевская встречалась и переписывалась также с И. С. Тургеневым и Г. И. Успенским, о чем рассказала в мемуарном разделе «Встречи» уже упоминавшейся книги «Передуманное и пережитое». (Подробнее см.: Фридьева Н. Я. Жизнь для просвещения народа. М., 1963; также: Осмоловский В. Ф. Ф. М. Достоевский и Х. Д. Алчевская. — Вопросы русской литературы. Вып. 3(18). Львов, 1971.)

В наст. сборнике воспоминания Алчевской печатаются по изд.: Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912.

[1] С. 325. Это письмо Алчевской неизвестно.

[2] С. 325. Второе письмо Алчевской от 10 марта 1876 г. частично опубликовано в *ЛН,* 86, 448. В нем она выразила несогласие с теми, кто считал, что в «Дневнике писателя» Достоевский «разменяется на мелочи», вместо того «чтобы создать вновь что-либо цельное, грандиозное». К этому письму Алчевская приложила запись из своего дневника еще от 1871 г. о посещении петербургской школы «оборвышей» Е. И. Чертковой.

[3] С. 327. Здесь Алчевской опущена фраза: «NB. Это между нами». Письмо Достоевского, а также комментарий к нему см.: *Достоевский,* XXIX, кн. II, 77—80, 241—245.

[4] С. 329. Вопроса о русских поземельных банках Достоевский коснулся в главе первой мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г., говоря в связи с вопросом о всеобщем «обособлении» о «тайных», за закрытыми дверьми, заседаниях банковских съездов (*Достоевский,* XXII, 81).

[5] С. 330. Рассказы «Столетняя» — в мартовском, «Мальчик у Христа на елке» — в январском, «Мужик Марей» — в февральском выпусках «Дневника писателя» за 1876 г. (*Достоевский,* XXII, 75—79, 14—17, 46—50).

[6] С. 330. Алчевская использует цитату из басни И. А. Крылова «Свинья» для характеристики литературно-критических отзывов о романе Л. Толстого, среди которых, пожалуй, наиболее характерным был отзыв народнического критика и публициста П. Ткачева, который утверждал, что Толстой принадлежит «к числу художников, способствующих понижению нравственного уровня в обществе» (Дело, 1875, № 5, «Критический фельетон», с. 19).

[7] С. 330. О «деле Кронеберга», судившегося за жестокое обращение с семилетней дочерью, Достоевский писал в главе второй февральского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. Проанализировав речь адвоката В. Д. Спасовича, Достоевский восходит к важным для себя выводам о «святыне семьи» (*Достоевский,* XXII, 50—73).

[8] С. 333. Герой романа «Подросток», Аркадий Долгорукий, сын дворянина «древнейшего рода» и крепостной крестьянки, — «член случайного семейства», как он назван в «Заключении» романа (Отечественные записки, 1875, № 12; ср. *Достоевский,* XIII, 455). Смысл понятия «случайное семейство» Достоевский вскоре после завершения романа разъяснил в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (там же, XXII, 8).

[9] С. 334. Речь идет о возникшей в аристократических кругах Петербурга секте последователей английского проповедника лорда Редстока (одним из таких последователей был упоминаемый далее В. А. Пашков). Отношение Достоевского к этой секте, некоторые собрания которой он посетил по приглашению известной редстокистки Ю. Д. Засецкой (см.: *Достоевская,* с. 263), было резко отрицательным. «Настоящий успех лорда Редстока, — писал Достоевский в главке «Лорд Редсток» главы второй мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г., — зиждется единственно лишь на «обособлении нашем», на оторванности нашей от почвы, от нации» (*Достоевский,* XXII, 98).

[10] С. 334. О «нелепости спиритизма», как еще одной формы «обособления», разъединения, Достоевский писал в январском, мартовском и апрельском выпусках «Дневника писателя» за 1876 г. (*Достоевский,* XXII, 32—37, 99—101, 126—132).

[11] С. 335. Дело А. В. Каировой, покушавшейся на жену своего любовника, слушалось в Петербургском окружном суде 28 апреля 1876 г. Обвиняемая была оправдана судом присяжных. Достоевский, как всегда, высказал свой оригинальный взгляд на это дело: «Что до меня, то я просто рад, что Каирову отпустили, я не рад лишь тому, что ее оправдали» (анализу дела Каировой Достоевский посвятил главу первую майского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. — *Достоевский,* XXIII, 5—20).

[12] С. 335. О переписке Достоевского с читателями см. примеч. 21 к с. 280.

[13] С. 337. Речь идет о словах Достоевского из апрельского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.: европейские великие державы «будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем более будет доволен, ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием» (*Достоевский,* XXII, 122).

[14] С. 339. Достоевский посвятил подробному рассмотрению «Анны Карениной» главы вторую и третью июльско-августовского выпуска

«Дневника писателя» за 1877 г., причем коснулся не только «смерти» Анны (точнее — ее тяжелой болезни после родов). Несмотря на весьма серьезные несогласия с Толстым по целому ряду вопросов, Достоевский увидел тем не менее в его романс «факт особого значения», ибо роман, во-первых, «есть совершенство как художественное произведение <...> и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше *свое* родное <...> наше национальное «новое слово»...» Это «новое слово» заключается, по мысли Достоевского, во взгляде Толстого «на виновность и преступность человеческую». В этом взгляде «ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно, и от виновности и преступности. <...> Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, *если* он сам, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви». В таком духе, как наше национальное «новое слово», толкует Достоевский примирение Каренина и Вронского у постели умирающей Анны (*Достоевский,* XXV, 200—202).

[15] С. 339. Трудно сказать, насколько точно передает Алчевская взгляды Достоевского, касающиеся отношения великорусской народности к другим славянским, к тому же высказанные в горячем споре. Во всяком случае, ясно, что Достоевский отвергает национальную узость, национальную ограниченность. Русская национальная черта, по глубокому убеждению Достоевского, — именно отсутствие такой ограниченности, «всепримиримость», «всечеловечность».

[16] С. 340. Это письмо Алчевской не сохранилось.

Л. Х. СИМОНОВА-ХОХРЯКОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Людмила Христофоровна Симонова, по второму мужу Хохрякова (рожд. Ребиндер; 1838—1906), писательница, общественная деятельница, педагог.

Родилась в Вологде, воспитывалась в Смольном институте в Петербурге. С 1857 года жила у сестры в Перми, где вышла замуж за чиновника министерства государственных имуществ Симонова, поездки с которым по губернии познакомили ее с бытом местных народностей. Овдовев, переехала в 1864 году в Петербург, многие годы служила телеграфисткой.

Печататься начала в еженедельнике «Церковно-общественный вестник». Автор многих романов и повестей о судьбах русской женщины, а также беллетристически-этнографических очерков. Познакомившись с писателем-этнографом, издателем «Восточного обозрения» Н. М. Ядринцевым, вошла в его «сибирский кружок». Была также близка к кружку известного в свое время плодовитого романиста, издателя еженедельника «Живописное обозрение» А. К. Шеллера-Михайлова, которому «обязана усвоением лучших традиций русской литературы» (Фаресов А. И. Забытая писательница и ее заслуги. — Русская старина, 1908, № 10, с. 221). Кроме этих двух еженедельных изданий публиковала свои произведения в журналах «Дело», «Русское богатство» и др. Переписывалась с Г. И. Успенским, поэтом С. Я. Надсоном. С 1886 года жила в Ташкенте и Самарканде, преподавала в гимназии и женском училище.

С Достоевским Хохрякова познакомилась в апреле 1876 года и в этом году, судя по ее воспоминаниям, встречалась с ним по крайней мере еще три раза — дважды в сентябре, по выходе июльско-августовского выпуска «Дневника писателя», и однажды в ноябре, по выходе октябрьского выпуска. Возможно, что встречи эти продолжались и в следующем году (см. письмо Хохряковой Достоевскому от 13 февраля 1877 г. — *Материалы и исследования,* 5, 259—260). По свидетельству А. Г. Достоевской (см.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1923, с. 66), Хохрякова рассказала Достоевскому случай с ее двенадцатилетней дочерью, убежавшей из дому. Достоевский, как всегда, глубоко обобщил этот, на первый взгляд не важный, факт в главке «Анекдот из детской жизни» в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год (*Достоевский,* XXIV, 55—59).

Подробнее о Л. Х. Симоновой-Хохряковой см. в упоминавшейся выше статье А. И. Фаресова (Русская старина, 1908, № 9—11), а также: *Материалы и исследования,* 5, 257—259 — комментарий Г. В. Степановой.

Воспоминания Л. Х. Симоновой-Хохряковой печатаются по изд.: Церковно-общественный вестник, 1881, № 16 от 6 февраля, № 17 от 8 февраля и № 18 от 11 февраля.

[1] С. 345. Неточная цитата из главы седьмой части третьей романа «Подросток» (*Достоевский,* XIII, 378—379).

[2] С. 345. По-видимому, в это время Достоевский уже обдумывал майский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г., куда включил главку, посвященную женщинам, и продолжил эту тему в июньском выпуске в главке «Опять о женщинах» (*Достоевский,* XXIII, 28—29, 51—53). Достоевский здесь писал: «Русский человек, в эти последние десятилетия, страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее». По словам Хохряковой, эти суждения Достоев-

ского — «совсем новое, особенно смелое и навсегда слово в слово залегающее в сердце» (Церковно-общественный вестник, 1876, № 72 от 2 июля).

[3] С. 345. Рассказ Хохряковой «Испорченный» о трагической судьбе священника-вдовца был напечатан в № 21, 24, 27, 30 и 33 «Церковно-общественного вестника» за 1879 г.

[4] С. 345. Хохрякова говорит о своем письме к Достоевскому от 2 августа 1876 г. (*Материалы и исследования,* 5, 256—257).

[5] С. 346. Июльско-августовский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г. вышел после 2 сентября (дата цензурного разрешения). О его цензурной истории см. в наст. томе примеч. 17 к с. 278. См. также далее с. 348.

[6] С. 349. Вероятно, речь идет о московском книгопродавце И. Г. Соловьеве, в течение многих лет продававшем книги Достоевского в Москве.

[7] С. 352. Вопрос о второбрачии духовенства вызвал полемику в печати. С изложенным Хохряковой по этому поводу мнением Достоевского выразила несогласие газета «Русь»: «Одна из пропагандисток необходимости разрешить вдовым духовным лицам вновь вступать в браки, г-жа Симонова, сослалась даже в этом случае на незабвенного Ф. М. Достоевского. Мы охотно прощаем ему эту грубую с богословской точки зрения ошибку. Мы не только сами лично признаем невозможным и противным слову Божию и учению св. православной вселенской церкви вступление духовных лиц во второй брак, но глубоко убеждены, вопреки мнению приснопамятного Ф. М. Достоевского, что и никакой вселенский собор не разрешит второбрачия для духовных лиц как противного прямому и очевидному смыслу Свящ. писания...» (Русь, 1881, 27 июня; цит. по упоминавшейся статье А. И. Фаресова — Русская старина, 1908, № 9, с. 639).

[8] С. 353. Об эпидемии самоубийств Достоевский писал неоднократно, в частности в главе первой январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. (*Достоевский,* XXII, 5—6), в главках «Два самоубийства» и «Приговор» в октябрьском выпуске за тот же год (там же, XXIII, 144—148). См. главу VI «Симптомы разложения» исследования А. С. Долинина «История создания романа «Подросток» (*Долинин. Последние романы).* Главку «Приговор» Симонова не столько цитирует, сколько излагает далее с пропусками и неточно.

[9] С. 355. См. вступит. статью к наст. изданию.

[10] С. 355. В ответ на сомнения читателей, подобные высказанным Хохряковой, Достоевский ответил в главе первой декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. Беда самоубийцы, его ошибка, по мысли Достоевского, — в самой логике его рассуждений: «Вот эта-то ясность и доконила его. В чем же беда, в чем же он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие», то есть высшей идеи человеческого бытия (*Достоевский,* XXIV, 48).

В. Г. КОРОЛЕНКО

ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА»

Владимир Галактионович Короленко (1853—1921) через четыре десятилетия вспомнил об одном из самых ярких впечатлений своей молодости — речи Достоевского на могиле Некрасова, выделив ту мысль, которая особенно его, настроенного народнически, глубоко поразила: о Некрасове как «последнем великом поэте из «господ», за которым придет «новый поэт» из народа.

Достоевский, взволнованный похоронами Некрасова, тут же откликнулся на них в главе второй декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 год: «Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его <Некрасова> раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». <...> В этом смысле он, в ряду поэтов (то есть приходивших с «новым словом»), должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был *выше* Пушкина и Лермонтова и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «Да, выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться» (*Достоевский,* XXVI, 112—113). Мысли из речи над могилою Некрасова Достоевский развил на следующих страницах декабрьского выпуска «Дневника писателя» (там же, с. 113—126).

Об этом эпизоде вспоминал впоследствии и Г. В. Плеханов, говоривший на похоронах Некрасова речь от имени тайного революционного общества «Земля и Воля». «Я не помню, — писал он в статье «Похороны Некрасова» (1917), — много ли ораторов говорило передо мной. Помню только, что в их числе были Засодимский и Достоевский.

Речь народника Засодимского преисполнена была высочайшим сочувствием к поэзии Некрасова. Мы вполне разделяли это сочувствие, однако к речи Засодимского отнеслись довольно холодно. Она была неудачна по форме. У него все как-то выходило, что Некрасов нам «дорог, ибо симпатичен, и симпатичен, ибо дорог». И он никак не мог выбраться из заколдованного круга взаимодействия психологических

мотивов. Зато речь Ф. М. Достоевского вызвала в наших рядах большое оживление. <...>

Между прочим он сказал, что по своему таланту Некрасов был не ниже Пушкина. Это показалось нам вопиющей несправедливостью.

— Он был выше Пушкина! — закричали мы дружно и громко.

Бедный Достоевский этого не ожидал. На мгновение он растерялся. Но его любовь к Пушкину была слишком велика, чтобы он мог согласиться с нами. Поставив Некрасова на один уровень с Пушкиным, он дошел до крайнего предела уступок «молодому поколению».

— Не выше, но и не ниже Пушкина! — не без раздражения ответил он, обернувшись в нашу сторону. Мы стояли на своем: «Выше! выше!» Достоевский, очевидно, убедился, что нас не переговорит, и продолжал свою речь, уже не отзываясь на наши замечания» (Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948, с. 643—644).

Воспоминания В. Г. Короленко печатаются по изд.: Короленко В. Г. История моего современника. М., 1965.

[1] С. 356. См. в томе первом наст. изд. с. 225.

[2] С. 356. «Путешествие в Арзрум», гл. 2.

[3] С. 356. В ночь с 3 на 4 февраля 1837 г. тело Пушкина было тайно вывезено из Конюшенной церкви, где состоялось отпевание, в Святогорский монастырь Псковской губернии для похорон. Сопровождал гроб один из ближайших друзей Пушкина А. И. Тургенев, перед гробом скакал жандармский офицер.

[4] С. 356. Эти стихи журналиста и поэта Л. К. Панютина неизвестны.

[5] С. 356. П. В. Засодимский говорил после Достоевского. В письмах к А. И. Эртелю от 31 декабря 1877 г. и от 16 апреля 1878 г. он рассказал о похоронах Некрасова и привел свою речь (см. публикацию О. В. Ломана в журнале «Русская литература», 1967, № 3, с. 160—162).

[6] С. 357. «Шум» вызвала в основном не речь Достоевского, а глава о Некрасове из декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (см.: *Достоевский,* XXV, 344—349 — комментарий В. А. Туниманова).

[7] С. 357. Достоевский писал по этому поводу в «Дневнике писателя»: «...словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хоть был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества» (*Достоевский,* XXVI, 113).

[8] С. 357. А. М. Скабичевский в статье «Мысли по поводу текущей литературы. Николай Алексеевич Некрасов как человек, поэт и редактор» писал: «...когда кто-то <то есть Достоевский> на могиле поэта вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все <то есть присутствовавшая на похоронах молодежь> в один голос хором прокричали: «Он был выше, выше их»...» (Биржевые ведомости, 1878, № 6 от

6 января). Достоевский, иронически заметив, что Скабичевскому «не так передали» (Скабичевский действительно не присутствовал на погребении), утверждает, что «сначала крикнул всего один голос: «Выше, выше их» <...> И затем уже, сейчас после первого голоса, крикнуло еще несколько голосов, но всего только несколько, тысячного же хора я не слыхал, повторяю это и надеюсь, что в этом не ошибаюсь» (*Достоевский,* XXVI, 113).

[9] С. 357. Это свидетельство Короленко подтверждается воспоминаниями П. В. Быкова, присутствовавшего на похоронах Некрасова. Достоевский, вспоминает мемуарист, сказал в своей речи, что «в будущем», вслед за Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым, «поэты придут уже из среды самого народа» (Природа и люди, 1918, № 5, с. 66).

[10] С. 357. Мысль о «степенях» и «типах» развития была высказана Л. Толстым в его педагогических сочинениях (например, в статье 1862 г. «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?») и развита Н. К. Михайловским в статье «Десница и шуйца Льва Толстого» (1875).

[11] С. 358. Имеется в виду статья Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» (1865).

[12] С. 358. Цитата из Библии: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» (Откровение св. Иоанна Богослова, XXI, 1). Этот образ неоднократно вспоминал Белинский, имея в виду, так же как и Короленко, грядущее гармоническое социальное устройство.

Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР

ИЗ «ДНЕВНИКА» О ДОСТОЕВСКОМ

Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836—1897), дочь известного архитектора, строителя многочисленных дворцов, дач и павильонов для царской семьи и высшей знати в Петербурге и Петергофе А. И. Штакеншнейдера, сестра юриста А. А. Штакеншнейдера, советами которого пользовался Достоевский во время работы над «Братьями Карамазовыми»; участница женского движения (см. ее воспоминания «О возникновении и преждевременном конце Общества поощрения женского труда» и «Из истории женского движения» в кн.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки. М.—Л., 1934, а также воспоминания А. П. Философовой и примеч. к ним).

В конце 50-х — начале 60-х годов в Петербурге пользовались большой известностью субботние вечера в салоне Штакеншнейдеров в их доме на Мильонной, где встречались писатели, художники, артисты, участники студенческого движения и т. д. Здесь бывали Гончаров, Тургенев, Майков, Помяловский, Писемский, М. Л. Михайлов и многие другие. Тесная дружба связывала Елену Андреевну в течение всей жизни с поэтом Я. П. Полонским. До ареста в 1866 году ее постоянно посещал

будущий крупнейший деятель революционного народничества, философ и публицист П. Л. Лавров (см. в названной выше книге воспоминания Е. А. Штакеншнейдер «П. Л. Лавров»).

Участник революционного движения Л. Ф. Пантелеев, также бывавший у Штакеншнейдеров в начале 60-х годов, вспоминал: «В мое время душой вечеров являлась старшая дочь, Елена, — личность в высшей степени симпатичная, с широким литературным образованием, с тонким художественным чутьем» (Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 248).

Вскоре после возвращения из ссылки познакомился с Е. А. Штакеншнейдер и Достоевский, однако дружеские отношения между ними установились позднее, в 70-х годах и особенно в последние годы жизни писателя. О встречах с Достоевским в это время и рассказывает Штакеншнейдер в «Дневнике и Записках». По словам А. Г. Достоевской, «Федор Михайлович очень уважал и любил Елену Андреевну Штакеншнейдер за ее неизменную доброту и кротость, с которою она переносила свои постоянные болезни, никогда на них не жалуясь, а, напротив, ободряя всех своею приветливостью» (*Достоевская,* с. 356).

О «вечерах» у Е. А. Штакеншнейдер в 1879—1880 годах с участием Достоевского рассказывает также Л. И. Веселитская (В. Микулич), с большой чуткостью отметившая особое положение Достоевского в этом кружке:

«Я поглядывала на Елену Андреевну, на Полонского, на Страхова. Всё это были единомышленники, конечно, каждый немножко на свой образец, но всё же единомышленники. Все трое — православные, патриоты, честные, благонамеренные, твердые в своих убеждениях. Достоевский тоже считался их единомышленником, но мне как-то не верилось, что это так. Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно-возбужденное, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: «Какие они единомышленники?.. *Те* любят то, что есть; он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть и было; он распинается за то, что придет или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждет, так жаждет того, что должно прийти, стало быть, он не так-то уже доволен тем, что есть?..» (Микулич В. Встреча со знаменитостью. М., 1903, с. 11).

Дневник и воспоминания Е. А. Штакеншнейдер печатаются по изд.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки. М.—Л., 1934.

[1] С. 359. Достоевские вернулись из Старой Руссы.

[2] С. 359. *Мама* — Мария Федоровна Штакеншнейдер, рожд. Холчинская. *Оля* — сестра Елены Андреевны, в замужестве Эйснер.

[3] С. 359. Имеются в виду слова Достоевского в главке «К читателям» в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (*Достоевский,* XXVI, 127).

[4] С. 359. О переписке Достоевского с читателями см. примеч. 21 к с. 280.

[5] С. 359. С. И. Смирнова-Сазонова записала в своем дневнике, что с приездом Тургенева (Тургенев приехал в Петербург из Парижа 28 января 1880 г.) Полонский перестал звать Достоевского к себе (*Материалы и исследования,* 4, 274). О сходной ситуации прошлого года вспоминал Д. Н. Садовников. После литературного чтения 16 марта 1879 г., в котором участвовали Достоевский и Тургенев с Савиной (см. примеч. 10 к с. 431), Ж. А. Полонская пригласила Достоевского на очередную «пятницу» (см. примеч. 20 к с. 218; на этот раз «пятница» была перенесена к издателю «Недели» П. А. Гайдебурову). Однако туда же раньше был приглашен Тургенев. Это вызвало некоторое смущение у Полонского, боявшегося, по-видимому, повторения «инцидента» 13 марта (см. примеч. 3 к с. 378). «Достоевскому сейчас кинулось в голову, что Полонский не желает быть знакомым, сделал жене замечание по поводу его и пр., рассердился и начал везде распространяться о том, что его нога больше не будет у Полонских» (Русское прошлое, 1923, № 1, с. 84).

[6] С. 360. *«Медведиха»* — неоконченная «Сказка о медведихе» («Как весенней теплою порою...», 1830). *Из Данта* — стихотворения «И дале мы пошли — и страх обнял меня...» и «Тогда я демонов увидел черный рой...» (1832). Стихотворения не являются переводом из Данте, однако написаны терцинами в духе его «Ада» («Божественная комедия»). *Из Буньяна* — стихотворение «Странник» (1835), являющееся переложением начала прозаического сочинения английского сектанта XVII в. Дж. Беньяна «Путь паломника» (J. Bunyan. «The Pilgrim's Progress»).

[7] С. 361. Книга бывшего петрашевца-фурьериста, впоследствии — публициста и естествоиспытателя Н. Я. Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование», первый том которой в двух частях вышел в 1885 г., посвящена естественно-научному и философскому опровержению дарвинизма с позиций идеализма. Была подвергнута резкой критике К. А. Тимирязевым.

[8] С. 362. Об огромном впечатлении, которое производило чтение Достоевского, пишут многие мемуаристы. Сам Достоевский объяснял это впечатление так: «Разве я голосом читаю?! Я нервами читаю!.. Нервами!..» (Мошин А. Новое о великих писателях. Мелкие штрихи для больших портретов. СПб., 1908, с. 72).

[9] С. 362. *Соня* — Софья Ивановна Штакеншнейдер — невестка Штакеншнейдеров. *Маша* — Попова, сестра Елены Андреевны.

[10] С. 363. Речь идет о няне Прохоровне, которая в 1878 г., при содействии А. П. Философовой, была помещена в богадельню. Достоевский «выставил ее в романе «Братья Карамазовы» в виде старушки, подавшей за упокой души живого сына, от которого не получала известий. Федор Михайлович отсоветовал ей делать это и напророчил скорое получение письма, что действительно и случилось» (*Достоевская,* с. 279).

[11] С. 364. 19 октября 1880 г. в два часа дня в зале Городского кредитного общества состоялось «литературное утро» с чтением произведений Пушкина. В связи с полемикой по поводу Пушкинской речи Достоевский опасался, что публика примет его холодно (см. письмо М. А. Поливановой от 18 октября 1880 г. — *Достоевский,* XXX, кн. I, 221—222). Его опасения не оправдались. В особенности чтением «Пророка» он «вызвал необыкновенный энтузиазм» (*Достоевская,* с. 353).

[12] С. 364. Это чтение в пользу воскресных школ Штакеншнейдер описала в дневнике 21 ноября 1860 г. (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки. М.—Л., 1934, с. 269—271). Уже тогда обратив внимание на то, что Шевченко был принят горячее, чем Достоевский, и усмотрев в таком приеме несправедливость по отношению к Достоевскому, она, однако, не связывала успех Шевченко с «партией Костомарова» (см. далее примеч. 14).

[13] С. 364. После четырех лет каторжных работ Достоевский служил четыре года и несколько месяцев в Сибирском линейном батальоне в Семипалатинске (см. в первом томе наст. изд. воспоминания А. Е. Врангеля и З. А. Сытиной и примеч. к ним).

[14] С. 364. Известный русско-украинский писатель и историк Николай Иванович Костомаров был сторонником и пропагандистом национально-культурной автономии Украины. В этом духе им издавался в Петербурге на русском и украинском языках журнал «Основа». Ранее, в 1847 г., вместе с Т. Г. Шевченко, был арестован и сослан по делу созданного им в Киеве тайного «Кирилло-Мефодиевского общества». Надо думать, что Е. А. Штакеншнейдер виделась с Костомаровым и Шевченко в конце 50-х — начале 60-х годов в салоне вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого, хлопотавшего о возвращении украинского поэта и художника из ссылки. Встретилась она с Шевченко и 21 ноября 1860 г. после чтения в Пассаже (см. примеч. 12 к с. 364), о чем записала в своем дневнике.

[15] С. 365. *«Проклятые вопросы»* — крылатое выражение, часто употребляющееся по отношению к вопросам, поставленным Достоевским, восходит к стихотворению Г. Гейне «Laß die heil'gen Parabolen...» (цикл «Zum Lazarus»; 1853—1854), в переводе М. Л. Михайлова — «Брось свои иносказанья...» (1858). У Гейне — «verdammten Fragen».

[16] С. 365. В декабре 1861 г. были выпущены из Петропавловской крепости студенты, арестованные осенью этого года во время студенческих волнений. Среди этих студентов были брат Елены Андреевны Адриан и один из руководителей студенческого движения, близкий знакомый семьи Штакеншнейдеров, Михаил Павлович Покровский. См. воспоминания Е. А. Штакеншнейдер «Студенческие волнения 1861 года» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки. М.—Л., 1934, с. 295—306). См. также том первый наст. изд., с. 429 и 491 и примеч. к ним.

[17] С. 365. М. М. Достоевская-Владиславлева.

[18] С. 365. Софья Ивановна Смирнова, жена актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова. Сохранились ее дневники, в которых упоминается и Достоевский (см.: Мостовская Н. Н. Достоевский в дневниках С. И. Смирновой-Сазоновой. — *Материалы и исследования,* 4, 271—278).

[19] С. 365. Анна Николаевна Энгельгардт, дочь известного лексикографа Н. П. Макарова, жена члена революционной организации 60-х годов «Земля и Воля» Александра Николаевича Энгельгардта; сосланный в 70-е годы «навечно» в имение Батищево, он прославился печатавшимися в 1872—1882 гг. в «Отечественных записках» письмами «Из деревни». А. Н. Энгельгардт принимала участие в женском движении, получила известность как переводчица. Уже в 1860 г. (а может быть, и раньше) Энгельгардты появляются в салоне Штакеншнейдеров (см.: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки. М.—Л., 1934, с. 277—278). С Достоевским Анна Николаевна встречалась неоднократно, в частности в Москве во время Пушкинских праздников (см. в наст. томе примеч. 24 к с. 367). В ноябре приехала в Петербург как сотрудница газеты М. М. Стасюлевича «Порядок» (кстати, отметим, что Анна Николаевна была двоюродной сестрой жены М. Е. Салтыкова Елизаветы Аполлоновны).

[20] С. 366. Этот спектакль состоялся в начале 1880 г. (см.: *Достоевская,* с. 355). О нем рассказывает Л. И. Веселитская (В. Микулич):

«...занавес поднялся, и взорам нашим представилось кладбище Мадрида и два испанца: Дон-Жуан — Случевский и Лепорелло — Аверкиев. Достоевский был в духе и очень оживлен. А когда неожиданно для него на сцене появился Н. Н. Страхов в костюме монаха, с четками и капюшоном, который как нельзя лучше шел к его наружности, походке и голосу, Достоевский пришел в положительное восхищение и все повторял:

— Как он хорош! Браво, Страхов! вызывать Страхова! <...>

Потом Дон-Жуан заколол Дон-Карлоса... Достоевский совсем развеселился. Когда на сцене выходило что-нибудь неловкое или когда плохо декламировали, он смеялся как ребенок, чуть не до слез» (Микулич В. Встреча со знаменитостью. М., 1903, с. 13—14).

[21] С. 366. Слово «мещанин» надо понимать здесь в его исконном, первоначальном смысле — житель города, чаще — городских низов (ср. у Даля: «горожанин низшего разряда, состоящий в подушном окладе и подлежащий солдатству»).

[22] С. 366. См. в наст. томе примеч. 9 к с. 48.

[23] С. 366. Мария Васильевна *Трубникова* была дочерью декабриста В. П. Ивашева. Родилась в Сибири. Принимая участие в женском движении 60-х годов, Е. А. Штакеншнейдер позднее отходит от него, чем и объясняется этот недоброжелательный отзыв о «Трубниковой и компании». В «Дневнике» она пишет, например, о Н. В. Стасовой (запись

от 8 октября 1868 г.): «Я ей удивляюсь, завидую, а подражать не могу: веры нет» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и Записки, М.—Л., 1934, с. 400). См. с. 552.

[24] С. 367. О посещениях А. Н. Энгельгардт в Москве во время Пушкинских торжеств Достоевский несколько раз упоминает в письмах к А. Г. Достоевской.

[25] С. 368. Н. Н. Страхов подарил Достоевскому письмо Л. Толстого от конца сентября 1880 г., в котором тот поделился впечатлением о «Записках из Мертвого дома»: «Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна — искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 63. М.—Л., 1934, с. 24). О реакции Достоевского Страхов писал Толстому 2 ноября 1880 г.: «Видел я Достоевского и передал ему Вашу похвалу и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено («лучше всей новой литературы, включая Пушкина»). «Как *включая*?» — спросил он» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, с. 259).

[26] С. 369. О М. П. Покровском см. том первый наст. изд., с. 491, а также выше примеч. 16 к с. 365 и далее с. 373.

[27] С. 372. Письма Достоевского к Н. И. Пирогову неизвестны, точно так же как не сохранились многие его ответные письма к читателям (см. примеч. 21 к с. 280).

[28] С. 372. Имеется в виду глава вторая декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (*Достоевский,* XXVI).

[29] С. 375. Об отношении Достоевского к творчеству Диккенса см. том первый наст. изд., примеч. 6 к с. 340.

[30] С. 376. *Разговор Люцифера и Каина* — в мистерии Дж.-Г. Байрона «Каин» (1821).

[31] С. 376. Нравоописательный роман А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715—1735) не раз упоминался Достоевским, например, в «Кроткой» (*Достоевский,* XXIV, 30).

[32] С. 376. Из романа Достоевского «Братья Карамазовы».

[33] С. 376. По-видимому, речь идет о персонаже из романа Э. Сю Лешечихе (La Robin). Тема «найденыша», в более широком смысле — члена «случайного семейства» всегда волновала Достоевского (enfant trouvé как возможный герой романа упоминается в записной книжке 1876 г. — *Достоевский,* XXIV, 215). См. примеч. 8 к с. 333.

А. П. ФИЛОСОФОВА

<О ДОСТОЕВСКОМ>

М. В. КАМЕНЕЦКАЯ

<ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ>

Анна Павловна Философова, рожд. Дягилева (1837—1912), общественная деятельница, одна из вдохновительниц и активных участниц женского движения в России, наряду с М. В. Трубниковой, Н. В. Стасовой, О. А. Мордвиновой, Е. И. Конрада и др. (см.: Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915). В числе начинаний, в которых она деятельно участвовала, были основание в 1861 году Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям С.-Петербурга, создание в 1863 году женской издательской артели, в которую, среди других, входили А. Н. Энгельгардт и Е. А. Штакеншнейдер, организация в 1870 году первых общеобразовательных женских курсов и в 1878 году Высших женских курсов (так называемых Бестужевских) и др. Была женой крупного чиновника-юриста, в 70-х — начале 80-х годов — главного военного прокурора В. Д. Философова. Несмотря на глубокую привязанность к мужу, резко разошлась с ним в общественно-политических взглядах, в отношении к самодержавной власти. В ноябре 1879 года ей грозил арест за связь с революционными элементами, но, как сказал Александр II ее мужу, «ради тебя она выслана за границу, а не в Вятку» (там же, с. 334).

По словам знавшей А. П. Философову А. В. Тырковой, «сумрачный тайновед Достоевский частенько будет сидеть по вечерам в ее синей гостиной, выслушивать признания, срывающиеся с языка стремительно-искренней хозяйки, через нее присматриваться к передовым людям, с которыми она была дружна» (там же, с. 231). В письме от 11 июля 1879 года Достоевский обратился к ней со словами: «...Вы, добрая беззаветно и беспредельно, с Вашим прекрасным умным сердцем!» (*Достоевский,* XXX, кн. I, 77).

Воспитавшаяся на эстетических идеалах «шестидесятничества», Философова, однако, с сочувствием и пониманием отнеслась позднее к художественным идеям своего племянника С. П. Дягилева — известного деятеля русской культуры начала XX века, создателя журнала «Мир искусства».

О посещениях Достоевским А. П. Философовой см. также в воспоминаниях ее внучки З. А. Трубецкой «Достоевский и А. П. Философова» (Русская литература, 1973, № 3, с. 116—118; публикация С. В. Белова).

Воспоминания А. П. Философовой и ее дочери М. В. Каменецкой печатаются по изд.: Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915.

[1] С. 377. Письмо А. П. Философовой к Тургеневу, о котором здесь идет речь, напечатано в упоминавшейся книге А. В. Тырковой, с. 260—262. В этом письме, в частности, говорилось: «Вы нарисовали Базарова, Вы из него хотели сделать карикатуру, но не подумали об том, что всякий рост, особливо рост мысли, может породить разные болезненные проявления, — можно ли смеяться над больными?» Тургенев возражал Философовой в письме от 18 августа 1874 г. Это письмо было опубликовано в Первом собрании писем И. С. Тургенева. СПб., 1884, с. 237—240 (ср.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. 10. Л., 1965, с. 281—283).

[2] С. 377. Речь идет о вечере в пользу Литературного фонда в зале Благородного собрания (а не в зале Кононова), состоявшемся 9 марта 1879 г. Именно на этом вечере Достоевский читал впервые еще не опубликованную «Исповедь горячего сердца» из «Братьев Карамазовых». См. также с. 191 наст. тома.

[3] С. 378. Тургенев в этот приезд в Россию (9 февраля — 21 марта 1879 г.) был принят необыкновенно восторженно, в особенности молодежью, увидевшей в нем олицетворение своих оппозиционных настроений. Характерно истолкование этого приема в одном из писем П. В. Анненкова от апреля 1879 г.: «...происходит полная реабилитация людей сороковых годов, устранение всех их врагов, публичное признание их заслуг и отдается им глубокий, всесословный и общерусский поклон, даже до земли и до метания. <...> Может быть, подвиги деток Нечаева, Ткачева е tutti quanti и повернули все общество в сторону старого развития, начинающегося под знаменем искусства, философии и морали, но как бы то ни было, — нынешняя минута в России, может быть, самая важная из всех, какие она переживала в последние 25 лет...» (см.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников, М., 1977, с. 21). Достоевский, однако, воспринял это чествование иначе, о чем свидетельствует «инцидент» на обеде в честь Тургенева 13 марта 1879 г. Тургенев в своей речи утверждал, что существует «идеал не отдаленный и не туманный, а определенный, осуществимый и, может быть, близкий», в который одинаково верят и «старшее» и «младшее» поколения. При этом Тургенев счел излишним указывать на этот идеал «более настойчивым образом»: «он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения, т. 12. М., 1986, с. 338). Тургенев разумел возможность ограничения монархического правления представительными учреждениями, о которой, понятно, нельзя было сказать более определенно. Достоевский, противник буржуазной конституции, ничего не дающей народу, после этой речи домогался от Тургенева прямого ответа на вопрос, в чем его идеал. Представители либеральной общественности, присутствовавшие на обеде, восприняли это требование Достоевского крайне отрицательно.

[4] С. 378. Вернувшийся осенью 1870 г. во Францию, после многолетней эмиграции в годы диктатуры Наполеона III, В. Гюго был восторженно встречен парижанами.

[5] С. 378. Этих слов в печатном тексте романа нет.

[6] С. 378. В мемуарных заметках А. П. Философовой сохранилась такая запись: «Перед самым моим отъездом за границу, в Висбаден, мне присылают сказать, что умер сын Достоевского, в падучей. Они жили тогда на Греческом проспекте, у греческой церкви. Анна Григорьевна встретила меня в слезах и сказала: «Всю ночь он стоял на коленях перед ним и сокрушался, что передал эту жестокую болезнь сыну». Я была поражена их одиночеством, принесла им гробик, и меня просили положить ребенка. Я его положила, много с ними плакала и простилась с Федором Михайловичем, которого в последний раз видела» (Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915, с. 264). Сын Достоевских Алексей умер после эпилептического припадка 16 мая 1878 г. Они жили действительно на Греческом проспекте (осенью наняли квартиру на углу Ямской улицы и Кузнечного переулка). Однако отъезд Философовой в Висбаден состоялся позднее, осенью 1879 г., и после посещения Достоевских 17 мая 1878 г. она неоднократно встречалась с Достоевским, в частности, в марте 1879 г. После высылки Философовой за границу они действительно не виделись.

[7] С. 379. Имеется в виду стихотворение А. А. Навроцкого «Утес Стеньки Разина» («Есть на Волге утес, диким мохом оброс...»), ставшее песней, популярной среди народнической молодежи (см.: Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков. М., 1975, с. 368—369).

[8] С. 380. Энрико *Тамберлик* — итальянский певец-тенор, неоднократно гастролировавший в Петербурге.

[9] С. 380. Возможно, что взволнованный Достоевский поспешил к Философовым вскоре после покушения на Александра II, совершенного 2 апреля 1879 г. А. Соловьевым. Тогда в обществе распространились слухи об аресте Анны Павловны (Волгин Игорь. Последний год Достоевского. М., 1986, с. 16).

Е. Н. ОПОЧИНИН

ИЗ «БЕСЕД С ДОСТОЕВСКИМ»

Евгений Николаевич Опочинин (1858—1928), литератор, археограф; автор рассказов и очерков на исторические темы (например: Очерки старорусского быта. М., 1901). Приехав в 1879 году в Петербург, стал сотрудничать в Обществе любителей древней письменности, основанном кн. П. П. Вяземским (сыном поэта П. А. Вяземского). По его предложению занимался разборкой архивов гр. Шереметева и С. А. Соболевского, вскоре стал хранителем библиотеки и музея Общества (см. предисловие Ю. Верховского к публикации воспоминаний Опочинина о Достоевском — Звенья, т. VII. М.—Л., 1936, с. 454). Разбирал также документы архива дирекции императорских театров

в Петербурге, результатом чего стали очерки «Из театральной старины», печатавшиеся в 1889 году в «Историческом вестнике» (отд. изд.: Театральная старина. М., 1902). С Достоевским познакомился в том же 1879 году через А. П. Милюкова.

Фрагменты из воспоминаний Е. Н. Опочинина печатаются по изд.: Звенья, т. VII. М.—Л., 1936.

[1] С. 382. Речь идет о двух первых рассказах из «Записок охотника» — «Хорь и Калиныч» и «Ермолай и мельничиха», опубликованных еще в 1847 г. в журнале «Современник».

[2] С. 382. Опочинин записал один из самых враждебных отзывов Достоевского о Тургеневе-человеке, вызванных, вероятно, их столкновениями во время приезда последнего в Петербург весной 1879 г. (см. примеч. 3 к с. 378 и 10 к с. 413).

[3] С. 385. Вероятно, речь идет о П. П. Вяземском.

[4] С. 386. Здесь и далее не совсем точно цитируются две строфы из стихотворения Ф. А. Кони «Не жди, чтобы цвела страна...» (см.: Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков. М., 1975, с. 224—226).

А. С. СУВОРИН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Алексей Сергеевич Суворин (наиболее распространенный псевдоним — «Незнакомец»; 1834—1912), литератор, журналист, издатель. Выходец из крестьян Воронежской губернии, по матери — из духовного сословия. В юности служил уездным учителем. В 60-х — середине 70-х годов получил известность как талантливый публицист и фельетонист, близкий к демократическому лагерю. Новому периоду его многообразной деятельности положило начало приобретение в феврале 1876 года газеты «Новое время». Поначалу на приглашение Суворина сотрудничать в газете ответил согласием М. Е. Салтыков-Щедрин, напечатавший там (1876, № 112—114 от 22—24 июня) очерк «Тяжелый год» (см.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 18, кн. II. М., 1976, с. 267—268; там же, т. 11. М., 1971, с. 451 и след.). Однако других произведений Салтыкова в «Новом времени» не появилось, а его оценки этого издания становились все более отрицательными («гнусная газетчонка»). Впоследствии за «Новым временем» закрепилось салтыковское сатирическое наименование «Чего изволите?», не имевшее, однако, у Салтыкова непосредственно конкретного адреса, а обозначавшее весь спектр буржуазно-либеральных политически «пестрящих» периодических изданий, рассчитанных на массового, «уличного» читателя. Широко известно суждение В. И. Ленина, писавшего, что Суворин «во время второго демократического подъема в России (конец

70-х годов XIX в.) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 44). Подводя в 1915 году, уже после смерти Суворина, итоги его деятельности как издателя «Нового времени», В. Г. Короленко писал: «Нет ни одной газеты, которая бы так сплошь с такою неизменностью и цинизмом топтала самые элементарные основы литературной нравственности, как это создание Суворина и Сувориных» (Короленко В. Г. Избранные письма в 3-х томах, т. III. М., 1936, с. 235).

Однако несомненно, что в общественно-литературной и театральной жизни «конца века» Суворин занимал отнюдь не последнее место. Он общался и переписывался со многими русскими писателями (см.: Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927). Особенно значительной была переписка с А. П. Чеховым, который, в годы дружеского общения с Сувориным, высоко оценивал его журналистскую и издательскую деятельность, печатал свои рассказы в газете «Новое время». Чехову принадлежит характеристика Суворина как человека с удивительным художественным чутьем (см. письмо к И. Л. Леонтьеву (Щеглову) от 18 июня 1888 года — Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2. М., 1975, с. 297). Позднее, в особенности в связи с отношением к делу Дрейфуса, Чехов резко разошелся с «Новым временем» и Сувориным.

В ряде писем Чехов называл Суворина «замечательным», «большим» человеком, по-видимому разумея и ту сторону его личности, которая раскрывалась в дружеских беседах и письмах (следует при этом отметить, что свои письма к Чехову Суворин, вероятно, уничтожил, получив их от М. П. Чеховой). Эта, так сказать, неофициальная сторона неординарной личности Суворина нашла выражение в его откровенном, «для себя», «Дневнике».

Свод высказываний Достоевского о Суворине см.: *Достоевский,* XXIX, кн. II, 361—362.

Фрагмент, посвященный Достоевскому, печатается по изд.: Суворин А. С. Дневник. М.—Пг., 1923.

[1] С. 390. После взрыва в Зимнем дворце, осуществленного 5 февраля 1880 г. Степаном Халтуриным с целью убийства Александра II (царь не пострадал, но погибли солдаты караула), 12 февраля была учреждена Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Во главе ее стал граф М. Т. Лорис-Меликов. 20 февраля в него стрелял И. О. Млодецкий. 21 февраля С.-Петербургский окружной суд приговорил Млодецкого к казни. 22 февраля он был повешен на том самом Семеновском плацу, где за тридцать лет до этого стоял на эшафоте Достоевский. На этот раз он находился среди свидетелей казни Млодецкого.

[2] С. 391. Кроме этого, есть и ряд других мемуарных свидетельств о возможной будущей судьбе Алексея Карамазова — как она должна

была раскрыться на страницах второй части романа «Братья Карамазовы» (свод и анализ соответствующих материалов см. в книге Игоря Волгина «Последний год Достоевского», с. 22—36).

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ПРАЗДНИК ПУШКИНА

(Письма из Москвы — июнь 1880)

Глеб Иванович Успенский (1843—1902) представлял на празднике открытия памятника Пушкину (вместе с Г. З. Елисеевым) редакцию «Отечественных записок». Еще до Пушкинских торжеств редакция журнала относилась к ним с большой долей скептицизма, понимая, что вдохновители и организаторы праздника постараются придать ему смысл и направленность, чуждые «Отечественным запискам». По-видимому, именно по этой причине руководитель «Отечественных записок» М. Е. Салтыков-Щедрин отказался принять участие в Пушкинских заседаниях Общества любителей российской словесности в Москве, куда приглашал его председатель Общества старый его друг Сергей Андреевич Юрьев (правда, Салтыков ссылался при этом на болезнь, действительно его терзавшую).

Во всяком случае, Гл. Успенский с самого начала своей мемуарной статьи, описывая общую и преобладающую атмосферу, в которой проходили Пушкинские дни, определяет ее как «нечто сербское» (см. об этом примеч. 2 к с. 392). Успенский обращает также внимание на то, что подбор ораторов оказался по преимуществу славянофильским. Он мог бы прибавить к этому, что значительную роль играла на празднике либеральная интеллигенция во главе с Тургеневым.

Из общего потока многочисленных речей и тостов (чаще всего бессодержательных и пустословных) Успенский сразу же выделил и в известном смысле объединил речи Тургенева и Достоевского как такие, где сделана попытка определить современное значение Пушкина.

Речь Тургенева в целом была выдержана в духе концепции Белинского о Пушкине как первом поэте-художнике на Руси, за которым естественно следовал Гоголь — поэт более социальный, а потому и более современный. Тургенев только продолжил эту мысль, говоря об исторической закономерности появления поэзии «мести и печали», то есть поэзии Некрасова. «Возвращение» к Пушкину, а тем самым как бы и «преодоление» «музы мести и печали», представляется Тургеневу «симптомом хотя некоторого удовлетворения», показателем того, что «некоторые цели признаются уже достигнутыми и что будущее сулит достижение и других». Именно этот фрагмент речи Тургенева цитирует

Успенский, и именно эти суждения писателя дают основание сделать важный вывод: «Нарастающее поколение», принятое под защиту И. С. среди царившей против него вражды, была первая, светлая минута пробуждения мысли «современников о современном».

Следует напомнить, что за год до этого, весной 1879 года, произошло знаменитое «примирение» Тургенева с молодежью (студентами, курсистками), которая встречала его повсюду восторженно. Однако, несмотря на овации, сопровождавшие каждое появление Тургенева и на Пушкинском празднике, речь его, по свидетельству многих, в том числе весьма расположенных к нему лиц, «была встречена холодно, и эту холодность еще более оттенили те овации, предметом которых сделался говоривший вслед за Тургеневым Достоевский» (Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1983, с. 142; см. также далее воспоминания Е. П. Летковой-Султановой и примеч. к ним).

Точно так же, излагая речь Достоевского, Успенский усматривает в ней глубоко искреннее, выстраданное и восторженное оправдание русского «скитальца», который в силу разных обстоятельств оказался отторгнутым от народа. Успенский понял, что, говоря о современных русских социалистах, Достоевский разумел современную молодежь, прежде всего народническую. Успенскому не была чуждой мысль о необходимости самоотверженного служения «на родной ниве».

Речь Достоевского явилась глубоко оригинальной, подытоживающей идеи «Дневника писателя» программой общественного «единения» на основе пушкинских заветов, имеющих общенациональное значение. Эта программа, в той проникновенно-художественной форме, которая была ей придана Достоевским, вызвала необыкновенный энтузиазм у присутствовавших в зале Благородного собрания 8 июня 1880 года. Об этом еще никогда не виданном энтузиазме говорят как все без исключения мемуаристы, так и те, кто не был свидетелем произнесения речи, но пытался дать себе отчет в причинах единодушного восторга слушателей. Так, например, известный историк и публицист-«западник» К. Д. Кавелин в открытом письме к Достоевскому писал: «Ваша восторженная речь в Москве по случаю открытия памятника Пушкину произвела потрясающее впечатление в слушателях самых разнообразных лагерей, на которые теперь дробится русская мысль <...> Вопросы, которых вы коснулись с вашим необычайным талантом, всегдашнею искренностью и глубоким убеждением, назрели в умах и сердцах мыслящих людей в России и живо их затрогивают. <...> Что мы такое? Куда идем? Куда должны идти?..» (Вестник Европы, 1880, № 11, с. 431).

От Успенского, однако, под первым сильнейшим впечатлением, ускользнул едва ли не важнейший тезис Достоевского, заключающийся в том, что самоотверженное «делание» скитальцев, которые могут удовлетвориться только общечеловеческим, «всемирным» счастьем,

есть «фантастическое делание». И об этом, по его мнению, кардинальном противоречии Успенский сказал в «Постскриптуме» своей статьи при публикации ее в «Отечественных записках» («Постскриптуму» при перепечатке статьи в т. 3 Сочинений в 1891 г. Успенский дал название «На другой день»).

Руководитель «Отечественных записок» М. Е. Салтыков-Щедрин не был удовлетворен статьей Успенского прежде всего потому, что автор статьи, по его мнению, не уловил главного: торжество открытия памятника имело мало отношения к самому Пушкину, а дало повод к собственным «исповеданиям веры» прежде всего Тургенева и Достоевского, «исповеданиям», которые были далеки от кредо самого Салтыкова. Он писал Н. К. Михайловскому: «В июньской книжке прочтите статью Успенского о Пушкинском празднике. Вся вторая половина необыкновенно легкомысленна и противоречива. Успенский не додумался до того, что и Достоевский и Тургенев надувают публику и эскамотируют <обкрадывают> Пушкинский праздник в свою пользу» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 19, кн. I. М., 1976, с. 159). Свое недовольство Салтыков выразил и Успенскому (см. письмо последнего к М. И. Петрункевичу от 14 июля 1880 г. — Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 13. М., 1951, с. 228).

В ответ на пожелания Салтыкова Успенский печатает в июльской книжке «Отечественных записок» первую статью цикла «На родной ниве» (в т. 3 Сочинений 1891 г. была выделена из цикла под названием «Секрет (Продолжение предыдущего)» и следовала за статьей «На другой день»). «Секрет» не имеет мемуарного характера и целиком посвящен своеобразному пародийному выявлению противоречивости и неопределенности программы Достоевского.

Позднее, в 1883 году, в очерке «В ожидании лучшего» Успенскому вновь пришлось вступить в полемику по поводу речи о Пушкине Достоевского и на этот раз защищать его (а также Л. Толстого) от ортодоксального христианства Конст. Леонтьева, автора брошюры «Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой» (М., 1882) (подробнее о полемике вокруг речи о Пушкине и августовского «Дневника писателя» за 1880 г. см. в комментариях Г. М. Фридлендера в изд.: *Достоевский,* XXVI; см. также: Волгин Игорь. Последний год Достоевского. М., 1986).

Статья Г. И. Успенского печатается по изд.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч., т. 6. М., 1953.

[1] С. 392. «Пушкинские торжества» были организованы Обществом любителей российской словесности, Московским университетом и Московской городской думой. Открылись они 5 июня 1880 г. публичным заседанием Комитета по сооружению памятника Пушкину. Заседание было посвящено приему многочисленных депутаций общественности

и завершилось сообщением члена Комитета академика Я. К. Грота (1812—1893), в котором излагалась история подготовки и сооружения памятника, в частности конкурсов, в результате которых был отобран проект А. М. Опекушина (1838—1923). 6 июня состоялось само открытие, церемония которого началась службой в Страстном монастыре. Затем, после снятия полотнища, закрывавшего памятник (воздвигнут он был в начале Тверского бульвара), члены Комитета вручили городскому голове С. М. Третьякову акт о передаче памятника городу Москве. Затем в актовом зале Московского университета состоялось торжественное заседание. «Хоры были заняты студентами университета, — сообщает автор хроники «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880) Ф. Булгаков. — Заседание было открыто г. ректором университета Н. С. Тихонравовым, который объявил, что университет избрал в свои почетные члены: Я. К. Грота, академика и члена Комитета по сооружению памятника, за его многочисленные труды по разработке истории русской литературы XVIII и XIX столетий, П. В. Анненкова — за образцовое, по своему времени, издание им сочинений Пушкина и собрание многих материалов как для биографии поэта собственно, так и для истории литературного движения России в тридцатых и сороковых годах вообще, знаменитого русского писателя И. С. Тургенева, обогатившего русскую литературу великими художественными произведениями» (с. 29—30). С речами на заседании выступили профессора Московского университета Н. С. Тихонравов, В. О. Ключевский и Н. А. Стороженко. После этого на обеде, устроенном в залах Благородного собрания Московской городской думой, выступили, среди других, И. С. Аксаков и М. Н. Катков (после речи Каткова произошел инцидент между ним и Тургеневым, привлекший внимание общественности и отмеченный многими мемуаристами — см. примеч. 106 к с. 508 в томе первом наст. изд.). «День открытия памятника завершился литературно-музыкальным и драматическим вечером, данным от Общества любителей российской словесности в зале Благородного собрания. Зал был полон совершенно. Музыкальную часть взял на себя Н. Г. Рубинштейн, под управлением которого оркестр исполнил несколько увертюр». Затем, после певцов и актеров, выступили с чтением поэтических произведений писатели — Достоевский, Писемский, Островский, Тургенев, Анненков, Потехин и Григорович (*Венок,* с. 37). 7 июня в том же зале состоялось первое торжественное заседание Общества любителей российской словесности. После вступительного слова председателя Общества С. А. Юрьева и еще нескольких речей и выступлений произнес речь И. С. Тургенев. Говорил на этом заседании, уже после Тургенева, и А. Ф. Писемский, но его речь не произвела на слушателей впечатления. День закончился грандиозным обедом, данным теперь уже от имени Общества любителей российской словесности. Среди многих тостов слушателям запомнился тост А. Н. Островского, законченный им словами: «Предлагаю тост за русскую литературу, которая пошла и идет

по пути, указанному Пушкиным. Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Выпьем очень весело этот тост. *Нынче на нашей улице праздник!»* (*Венок,* с. 59). По-видимому, «несколько слов» в заключение обеда сказал и Достоевский (см. далее воспоминания А. М. Сливицкого и примеч. 6 к с. 423). Второе заседание Общества, в последний день Пушкинских торжеств, 8 июня, стало кульминационным благодаря речи Достоевского. В заключение этого последнего дня праздника состоялся литературно-музыкальный вечер, где Достоевский прочитал пушкинского «Пророка».

[2] С. 392. О подобном характере чествования памяти Пушкина Н. П. Гиляров-Платонов писал в передовой статье газеты «Современные известия» (1880, № 154), имея в виду его общенародный патриотический смысл. Гл. Успенский иронически переосмыслил рассуждения автора статьи в духе общей позиции редакции «Отечественных записок» по отношению к «сербской войне» (см. примеч. 8 к с. 448).

[3] С. 394. Из стихотворения Пушкина «К ***» <А. П. Керн> («Я помню чудное мгновенье...») (1825).

[4] С. 394. Думский обед 6 июня открылся официальным тостом управляющего министерством народного просвещения А. А. Сабурова и тостом городского головы С. М. Третьякова, приветствовавшего детей Пушкина. С кратким благодарственным словом выступил А. А. Пушкин. Затем уже говорил речь И. С. Аксаков, фрагменты из которой Гл. Успенский далее дословно цитирует (*Венок,* с. 34—35).

[5] С. 395. Строка из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

[6] С. 397. Гл. Успенский соединяет в одну выспреннюю тираду высказывания ряда ораторов, прежде всего Н. А. Чаева, председательствовавшего на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня. В своей речи, открывавшей указанное заседание, он, в частности, говорил: «Это был могучий богатырь-оратай; брошенную им за ракитов куст соху как ни вертят со всех сторон, за обжи, другие и не бессильные о р а т а и , — не подается, не ворохнется покуда соха богатырская. <...> Через леса, через моря какой колдун перенес богатыря-певца прямехонько туда, где русский дух, где Русью пахнет? <...> Двадцатилетнего певца судьба загоняет куда-то к молдаванам, в Бессарабию; и вот он, с Байроном в походном мешке, в красной рубахе и поярковой шляпе, летит на п о ч т о в ы х , — что сказочный Бова на самолете-ковре, в тридесятое царство, на море-окиян, в Кишинев, в Одессу...» и т. д. и т. п. (*Венок,* с. 283, 284, 285). Гл. Успенский мог иметь в виду и стихотворение Я. П. Полонского с такими строками:

Пушкин — это возрожденье
Русской музы — воплощенье
Наших трезвых дум и чувств
. . . .

Это — в сумерках Украйны
Прелесть чародейной тайны,
Ночь и Лысая гора...

[7] С. 398. Курсив в цитатах из речи Тургенева принадлежит Гл. Успенскому.

[8] С. 401. Об этом эпизоде, с теми или иными вариациями, вспоминают многие мемуаристы. Наверное, всех более точен в этом случае сам Достоевский, сообщавший жене в письме от 8 июня: «Я бросился спастись за кулисы <...> Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств» (*Достоевский,* XXX, кн. 1, 185).

[9] С. 401. Гл. Успенский несомненно говорит о демократической молодежи 60—70-х годов, испытавшей политические преследования и гонения, в особенности в связи с народническим движением.

[10] С. 401. Речь идет о процессе С. Г. Нечаева и его «пятерки» (см. примеч. 3 к с. 140). По мысли Гл. Успенского, Достоевский в романе «Бесы» не сумел отделить «гнусности и безобразия» «нечаевщины» от благородного движения в среде «молодого поколения», как раз и стремившегося к решению «всечеловеческой задачи русского человека». И далее цитируемые слова из речи о Пушкине Достоевского («Вечное неуменье успокоиться в личном счастье...» и т. д.) Гл. Успенский прямо относит к самоотверженному движению народнической молодежи («...прославляемые им теперь люди...»).

[11] С. 402. Эпиграфом к роману «Бесы» Достоевский избрал стихи из Евангелия от Луки (VIII, 32—36), повествующие о том, как изгнанные Христом из тела безумного бесы вошли в стадо свиней, бросившееся в озеро и там потонувшее.

[12] С. 404. Курсив в цитатах из речи Достоевского принадлежит Гл. Успенскому.

[13] С. 405. Гл. Успенский повторяет здесь размышления Белинского, против которых подспудно направлено толкование характера и судьбы Татьяны у Достоевского. Кстати, как давно уже отметили пушкинисты, муж Татьяны у Пушкина вовсе не является «старцем», тем более «старцем», который чуть ли не злодейски губит несчастную «отданную» ему девушку.

Д. Н. ЛЮБИМОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве в 1880 году)

Дмитрий Николаевич Любимов (1864—1942), сын ближайшего помощника М. Н. Каткова по изданию журнала «Русский вестник» Николая Алексеевича Любимова (1830—1897) — профессора физики

Московского университета, публициста, с которым Достоевскому приходилось постоянно общаться и переписываться по поводу публикации его романов в журнале «Русский вестник». Д. Н. Любимов учился в Московском (Катковском) лицее и позднее стал крупным чиновником, в частности, уже в девятисотых годах, губернатором в Вильне. По воспоминаниям его сына, Л. Д. Любимова, в качестве помощника статс-секретаря Государственного совета Д. Н. Любимов консультировал И. Е. Репина при создании художником картины «Заседание Государственного совета» (1902—1903; находится в Русском музее в Ленинграде). В этих же воспоминаниях дана Д. Н. Любимову такая характеристика: «Чувство юмора было несомненно присуще отцу. Но юмор этот, ирония его, часто направленная против порядков, в поддержании которых он сам участвовал, уживались лишь в условиях того мира, где дед мой <Н. А. Любимов> завоевал прочное положение и куда отец вступил уже твердой ногой. Вне этого мира <консервативной профессуры, верноподданной журналистики, руководящей царской бюрократии>, который подлинно стал для него родной стихией, где знал он чуть ли не каждого и чуть ли не каждый знал его самого, сама жизнь теряла для него всякий смысл» (Любимов Лев. На чужбине. М., 1963, с. 18). В 1919 году Д. Н. Любимов эмигрировал из России.

Д. Н. Любимов присутствовал на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня 1880 года, будучи еще совсем юным лицеистом, и вспомнил о нем спустя двадцать пять лет, находясь в том же зале Благородного собрания. По-видимому, тогда же эти воспоминания и были им записаны.

Впервые воспоминания Д. Н. Любимова о Пушкинском празднике были напечатаны в изд.: А. С. Пушкин и его эпоха. Париж, 1937. Они же, в несколько иной редакции, входят в его мемуары, отрывок из которых — о речи Достоевского — опубликовал Л. Д. Любимов (Вопросы литературы, 1961, № 7, с. 156—166). По этой публикации названный отрывок печатается в настоящем издании.

[1] С. 407. Ректор Московского университета Н. С. Тихонравов «начал свою речь к публике заявлением, что Московский университет пригласил ближайших потомков Пушкина почтить своим присутствием его настоящее собрание, и, поклонившись в их сторону, привел при этом слова поэта: «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднейшая надежда нашего сердца?» (*Венок,* с. 30). Тихонравов не совсем точно цитирует слова Пушкина из афористического цикла «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1828).

[2] С. 408. Музыкальной частью Пушкинских празднеств руководил Н. Г. Рубинштейн. Что же касается П. И. Чайковского, то его в это время в Москве не было: он проводил лето в Каменке. Возможно, в памяти мемуариста здесь соединилось несколько известных ему

эпизодов биографии Чайковского этого времени. 3 ноября 1878 г. Н. Г. Рубинштейн сыграл в Москве Первый фортепьянный концерт, а 25 ноября того же года была впервые исполнена Четвертая симфония, но не в Москве, а в Петербурге. Наконец, 17 марта 1879 г. на сцене Московского Малого театра с большим успехом прошло первое представление оперы «Евгений Онегин», подготовленное учащимися Московской консерватории под руководством Н. Г. Рубинштейна. На «рауте» же или, точнее, литературно-музыкальном вечере после «думского обеда» 6 июня 1880 г. в зале Благородного собрания была исполнена сцена письма Татьяны (см.: Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества. М.—Л., 1940, с. 192, 193, 211, 234).

[3] С. 411. «Заседание Общества любителей российской словесности 7 июня заключилось чтением А. Ф. Писемского, который, по выдержкам из повести «Капитанская дочка», показал правдивость повествовательного изложения и верность исторического взгляда Пушкина» (*Венок,* с. 52). 30 мая 1880 г. Писемский писал Е. И. Бларамберг о предстоящем Пушкинском празднике: «Это, положа руку на сердце, могу я сказать, мой праздник, и такого уж для меня больше в жизни не повторится» (Писемский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936, с. 476).

[4] С. 411. А. Ф. Писемский умер 21 января 1881 г., за неделю до Достоевского.

[5] С. 411. «Энтузиаст» тем не менее ошибался. И. А. Гончаров не присутствовал на Пушкинском празднике в Москве по болезни. Он отказался председательствовать и на обеде в Петербурге в день открытия московского памятника, ссылаясь на нездоровье (*Венок,* с. 80).

[6] С. 411. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. (см. также примеч. 8 к с. 448 и 11 к с. 450) закончилась подписанием 19 февраля/3 марта 1878 г. Сан-Стефанского договора, выгодного для России и получивших независимость от Турецкой империи государств Балканского полуострова. Однако очень скоро Сан-Стефанский договор вызвал ряд враждебных России дипломатических акций Англии. По инициативе германского канцлера О. Бисмарка 1/13 июня в Берлине был созван конгресс с целью пересмотра Сан-Стефанского договора. Еще до окончания конгресса, завершившегося в июле подписанием унизительного для России Берлинского трактата, 22 июня 1878 г., И. С. Аксаков выступил в Московском славянском благотворительном обществе с речью, направленной против соглашательской позиции русской дипломатии. В речи его были, в частности, такие слова: «Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, молишь простить тебе твои победы?.. Едва сдерживая веселый смех, с презрительной иронией, похваляя твою политическую мудрость, западные державы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением

чувствительнейшей признательности, подклоняешь под нее свою многострадальную голову!..» (Аксаков И. С. Полн собр. соч., т. I. М., 1886, с. 299). За эту речь Аксаков действительно был выслан из Москвы, но уже не в Уфу, а в с. Варварино Юрьевского уезда Владимирской губернии, где и провел несколько месяцев. *Хозяин столицы* — московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Газету «Русь» Аксаков начал издавать несколько позднее, осенью 1880 г.

[7] С. 411. Этот экспромт принадлежит Н. Ф. Щербине.

[8] С. 412. О каком посещении Москвы Достоевским зимой 1880 г. идет речь, неясно.

[9] С. 412. Этот абзац воспоминаний Д. Н. Любимова представляет значительный интерес, ибо отражает споры в кругу «Русского вестника» по поводу «поэмы» Ивана Карамазова «Великий инквизитор» (правда, мемуарист оговаривается, что многого он, пятнадцатилетний юноша, в то время не понял). Важно указание на то, что первоначальный, более глубокий и обширный смысл «поэмы» Достоевский под давлением постоянной катковской «цензуры» в известном смысле сузил и «переакцентировал», хотя эта «переакцентировка» и не противоречила его собственным идеям. Например, встретившись 23 июля/4 августа 1879 г. в Берлине по пути в Эмс с В. Ф. Пуцыковичем, Достоевский «прямо объяснил», что поэма «Великий инквизитор» — «против католичества и папства, и именно самого ужасного периода католичества, то есть инквизиционного его периода, имевшего столь ужасное действие на христианство и все человечество» (Новое время, 1902, № 9292 от 16 января). Правда, это было сказано уже после публикации «Великого инквизитора» с предложенной Катковым поправкой. На самом деле смысл «поэмы» Ивана Карамазова глубже и богаче и не сводится к полемике с католичеством и папством.

[10] С. 413. О враждебных отношениях, сложившихся между Тургеневым и Достоевским, существует обширная литература (см.: Никольский Юрий. Тургенев и Достоевский (История одной вражды). София, 1921; сводку соответствующих данных см. в кн.: Буданова Н. Ф. Достоевский и Тургенев. Творческий диалог. Л., 1987). См. также в других воспоминаниях, в частности — с. 381—382.

[11] С. 413. Л. Н. Толстой действительно ответил отказом на приглашение принять участие в Пушкинском празднике. С таким приглашением 2—4 мая 1880 г. побывал у него в Ясной Поляне Тургенев.

Тургенева отказ Толстого «так поразил, что когда после Пушкинского праздника Ф. М. Достоевский собирался приехать из Москвы к Льву Николаевичу и стал советоваться об этом с Тургеневым, тот изобразил настроение Льва Николаевича в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты. И другого случая посетить Льва Николаевича Достоевскому не представилось, а в следующем году его не стало» (Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 2. М.—Пг., 1923, с. 179).

[12] С. 414. Катков присутствовал только на думском обеде в качестве представителя от Московской городской думы, которой он был членом (гласным). Там он произнес свою «примирительную» речь, за которой последовал известный «инцидент» (см. примеч. 106 к с. 508 в томе первом наст. изд.).

[13] С. 414. Салтыков-Щедрин находился в это время в Петербурге, но приехать на Пушкинский праздник отказался (см. выше, с. 557).

[14] С. 414. Д. Н. Любимов пересказывает по памяти эпизод из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: посольство в Константинополь в 1497—1498 гг. Михаила Андреевича Плещеева — но не при великом князе Василии, а при Иоанне Васильевиче III (История государства Российского, т. VI, гл. VI).

[15] С. 414. Стихотворение А. Н. Плещеева «Памяти Пушкина» было напечатано в журнале «Русская мысль», 1880, № 6. См. также: *Венок,* с. 305—306.

[16] С. 414. Достоевский был избран почетным членом Общества любителей российской словесности уже после своей речи.

[17] С. 416. См. выше примеч. 13 к с. 405.

[18] С. 418. Пересказ строк из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

А. М. СЛИВИЦКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. И. ПОЛИВАНОВЕ

(Пушкинские дни)»

Алексей Михайлович Сливицкий (1850—1913), писатель, автор многократно переиздававшихся произведений для детей («Разоренное гнездо», «Новичок», «Дядька Квасов», «Лиса Патрикеевна» и др.); при подготовке к открытию памятника Пушкину был одним из ближайших помощников Л. И. Поливанова — председателя комиссии, занимавшейся этой подготовкой. Позднее преподавал в частной мужской гимназии Поливанова.

Составил две мемуарных статьи, посвященных Л. И. Поливанову: «Из моих воспоминаний о Л. И. Поливанове (Пушкинские дни)» (Московский еженедельник, 1908, № 44 и 46); «Лев Иванович Поливанов по личным моим воспоминаниям и по его письмам» (Памяти Л. И. Поливанова, М., 1909). И в том и другом мемуаре подробно описывается весь ход подготовки Пушкинского праздника, в первом из них вторая часть посвящена собственно «Пушкинским дням». В наст. сборнике эта вторая часть печатается по изд.: Московский еженедельник, 1908, № 46.

[1] С. 420. См. примеч. 1 к с. 392.

[2] С. 420. Две первых строки из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

[3] С. 421. Вступительную речь С. А. Юрьева см.: *Венок,* с. 39—43.

[4] С. 423. «Застольное слово о Пушкине» было произнесено А. Н. Островским на обеде, данном Обществом любителей российской словесности 7 июня. Напечатано в журнале «Вестник Европы» (1880, № 7; ср.: Островский А. Н. Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1952, с. 164—167; см. также примеч. 1 к с. 392).

[5] С. 423. Первые три строки стихотворения Я. П. Полонского «А. С. Пушкин» (см.: Полонский Я. П. Полн. собр. соч., т. I. СПб., с. 444—447). Одна из строф, начинающаяся словами: «Это — в сумерках Украйны...» (см. примеч. 6 к с. 397), была в этом издании исключена, по-видимому, потому, что вызвала иронический отклик в статье Н. К. Михайловского «Литературные заметки» (Отечественные записки, 1880, № 7, с. 122 второй пагинации).

[6] С. 423. Об этой «речи» Достоевского см. также примеч. 1 к с. 392. *«Шекспировцы»* — члены так называемого «Шекспировского кружка», организованного в 1875 г. Л. И. Поливановым и С. А. Юрьевым по инициативе В. С. Соловьева и Н. М. Лопатина. Состоял в большинстве своем из бывших учеников Поливановской гимназии. «Шекспировцы» публично исполняли многие пьесы великого английского драматурга («Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Кориолан», «Двенадцатая ночь», «Генрих IV» и др.). См. статью А. Венкстерна «Л. И. Поливанов и Шекспировский кружок» в сб. «Памяти Л. И. Поливанова», М., 1909.

[7] С. 423. О планах продолжения «Братьев Карамазовых» см. в отрывке из «Дневника» А. С. Суворина (с. 391 наст. тома) и в примеч. к этому отрывку.

[8] С. 424. В доме Степанова на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина) помещалась гимназия, основателем и директором которой был Лев Иванович Поливанов.

Л. И. СУВОРИНА

<ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ>

Анна Ивановна Суворина (рожд. Орфанова, 1858—1936), вторая жена А. С. Суворина (см. о нем с. 555—556). Хорошо знавший Суворину А. П. Чехов писал о ней: «Она так же оригинальна, как и ее муж, и мыслит не по-женски. Говорит много вздора, но если захочет говорить серьезно, то говорит умно и самостоятельно. Влюблена в Толстого по уши и поэтому всей душой не терпит современной литературы. <...> Вообще человек она интересный, умный и хороший» (письмо к Чеховым от 22—23 июля 1888 г. — Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 2. М., 1975, с. 299). Подробнее см.: Перлина Н. М. Достоевский в воспоминаниях А. И. Сувориной. — Сб. «Достоевский и его время». Л., 1971, с. 295—296.

В наст изд. воспоминания А. И. Сувориной печатаются по указанному сборнику.

[1] С. 425. Это был старший сын Пушкина Александр Александрович (1833—1914), командир Нарвского гусарского полка, с 1880 г. — флигель-адъютант.

[2] С. 426. Далее Суворина соединяет свои впечатления от литературно-музыкальных вечеров, где писатели выступали с чтениями произведений Пушкина, с впечатлениями от заседаний Общества любителей российской словесности, где произносились речи, в том числе и речи Тургенева и Достоевского. О ходе Пушкинского праздника см. примеч. 1 к с. 392.

[3] С. 427. Стихотворение Пушкина «Пророк» читал на литературно-музыкальном вечере 8 июня не Тургенев, а Достоевский, Тургенев же прочитал стихотворение «Туча» («Последняя туча рассеянной бури...»; 1835), действительно, как вспоминают современники, забывая слова и «запинаясь».

[4] С. 427. Речь идет о романах Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Цитата из «Дворянского гнезда» приводится не совсем точно. У Тургенева: «...она прошла близко мимо него; прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини...»

[5] С. 427. Татьяна,— говорил Достоевский, — «это положительный тип, а не отрицательный <в отличие от Онегина>, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины <...> Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева» (*Достоевский,* XXVI, 140). См. также в томе первом наст. изд. с. 513 и примеч. к ней.

[6] С. 428. Имеется в виду любимая Достоевским неоконченная «Сказка о медведихе» («Как весенней теплою порою...»; 1830).

[7] С. 428. См. примеч. 6 к с. 340 в томе первом наст. изд.

[8] С. 429. Достоевский после Пушкинских празднеств уехал не в Петербург, а в Старую Руссу. В Петербург вернулся 7 октября 1880 г.

[9] С. 429. Искаженные первые строки из раннего пушкинского стихотворения «Романс» (1814). По-видимому, именно так «Романс» исполнялся петербургскими уличными певцами под шарманку.

[10] С. 431. Об этом вечере 16 марта 1879 г. сохранились воспоминания великой русской драматической актрисы Марии Гавриловны Савиной, читавшей тогда вместе с Тургеневым сцену (явл. XV) из его одноактной комедии «Провинциалка» (1850). После этого чтения, как вспоминает Савина, Достоевский ей сказал: «У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости, а старичок-то <то есть Тургенев> пришепетывает» (Тургенев и Савина. Пг., 1918, с. 68—69).

М. А. ПОЛИВАНОВА

<ЗАПИСЬ О ПОСЕЩЕНИИ ДОСТОЕВСКОГО 9 ИЮНЯ 1880 ГОДА>

Мария Александровна Поливанова, жена Льва Ивановича Поливанова, известного педагога, автора многих учебников и учебных пособий по русской литературе и русскому языку.

Еще в 1868 году Л. И. Поливанов (1838—1899) вместе с несколькими сотрудниками учредил в Москве получившую широкую известность классическую мужскую гимназию, где исполнял обязанности директора. В 1876 году был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В 1880 году проделал большую работу по подготовке Пушкинского праздника в качестве председателя созданной для этой цели комиссии Общества. Воспитанник Поливановской гимназии философ Вл. Соловьев писал в его некрологе: «Поливанов был воплощенное душевное движение, безостановочная вибрация ума и сердца» (сб. «Памяти Л. И. Поливанова». М., 1909, с. 6). А. М. Сливицкий, помогавший Поливанову в работе по подготовке Пушкинского праздника, замечал: «Вся жизнь его была какою-то сплошною *страдой*» (Московский еженедельник, 1908, № 44, с. 31; см. также выше примеч. к воспоминаниям А. М. Сливицкого).

Публикуя печатаемую в настоящем сборнике «Запись» М. А. Поливановой, ее сын, И. Л. Поливанов, сопроводил публикацию таким комментарием:

«Эта «Запись» моей матери, Марии Александровны Поливановой, о посещении Достоевского была ею составлена под живым впечатлением самого события и не есть поэтому «воспоминание», а как бы отрывок «дневника»; это просто запись *для себя,* с целью сохранить во всех подробностях пережитые высокие впечатления. Записанному не придано даже внешней отделки; это *черновой* текст на двух листках почтовой бумаги большого формата, без какого-либо заглавия.

Но как бы ни была субъективна и даже интимна эта «Запись» по своему происхождению и исполнению, — содержание ее может иметь интерес и общий: поскольку в ней изображается личность Достоевского и поскольку отпечатлелись в ней веяния тех знаменательных «Пушкинских дней», в которых Достоевскому суждено было занять первое место своею проникновенной речью о Пушкине. <...>

Самое «дерзновение» рассказчицы поехать к Достоевскому в значительной степени объясняется не только ее давней мечтой о личной беседе с ним, но и близким прикосновением к устройству самого Пушкинского празднества: она была ближайшей участницей многих хлопот, помогая в них своему мужу, Л. И. Поливанову, — и для нее это большое дело было в известном смысле «своим». Она была посвящена и во все мелочи этой сложной организации и во все, что в этом событии крупного

общественного значения имело характер первенствующий. Речь Достоевского, и до того бывшего властителем ее духовных интересов, конечно, была в этом празднике для ее впечатлительной и глубокой натуры наибольшим душевным событием,— отсюда и то «дерзновение», которое привело ее к Достоевскому в последний вечер пребывания его в Москве...» (Голос минувшего, 1923, № 3, с. 33—34). До этой встречи 9 июня Поливанова, вероятно, не раз виделась с Достоевским в Москве.

[1] С. 434. Речь о Пушкине была напечатана в «Московских ведомостях» 13 июня. Единственный августовский выпуск «Дневника писателя» за 1880 г. включал три главы: первую, «объяснительную», по поводу печатаемой далее речи о Пушкине, вторую — собственно речь, названную здесь «Пушкин. (Очерк)», третью, посвященную полемике с либеральным профессором-публицистом А. Д. Градовским.

[2] С. 434. Об этом примирении, после двадцати лет вражды, двух стариков Достоевский рассказал также в письмах к А. Г. Достоевской от 8 июня и к С. А. Толстой от 13 июня 1880 г. (*Достоевский,* XXX, кн. I, 184, 187—188). По «рискованному предположению» И. Волгина, этими стариками были Достоевский и Тургенев (см.: Волгин Игорь. Последний год Достоевского, с. 297—299).

[3] С. 434. К этому месту «Записи» И. Л. Поливанов сделал примечание: «Домника Сергеевна, трогательно любимая своим отцом, жившая всецело его духовными интересами и в особенности интересами сценического искусства».

[4] С. 435. Поначалу Достоевский, так сказать, «полуобещал» издателю «Русской мысли» — близкому к славянофилам публицисту, критику, театральному деятелю — Сергею Андреевичу Юрьеву статью о Пушкине для его журнала (см.: *Достоевский,* XXX, кн. I, 147). Однако впоследствии неопределенность позиции Юрьева и более выгодные условия, предложенные Катковым, заставили Достоевского передать речь о Пушкине в «Московские ведомости».

[5] С. 436. Юрьев, вероятно в состоянии экзальтации по поводу награждения его французским орденом, на обеде 7 июня произнес восторженный тост в честь французского депутата Луи Леже, присутствие которого на Пушкинском празднике есть «свидетельство о высшей цивилизации французского народа» (*Венок,* с. 54).

[6] С. 437. Проблема «фантастического» была одной из кардинальных в системе эстетических воззрений Достоевского. Он, например, размышлял о природе «фантастического» уже в предисловии к публикации рассказов Э. По во «Времени» (1861, № 1). Что касается «Пиковой дамы», то еще в «Подростке» Достоевский (устами Аркадия Долгорукова) охарактеризовал Германна как «колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!» (*Достоевский,* XIII, 113). Через несколько дней после встречи с М. А. Поливановой, отвечая Ю. Ф. Абаза, написавшей «фантастиче-

скую» повесть, Достоевский как бы продолжает свой анализ «Пиковой дамы»: «...фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны *почти* поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. <...> Нот это искусство!» (*Достоевский,* XXX, кн. I, 192).

[7] С. 438. О своих впечатлениях по прочтении «Пиковой дамы» М. А. Поливанова писала Достоевскому 22 июля 1880 г.

В. А. ПОССЕ

ИЗ КНИГИ «МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

Владимир Александрович Поссе (1864—1940), писатель, журналист, критик; активный участник литературной жизни конца XIX — начала XX века. Высоко оценил ранние произведения Горького, с которым переписывался. При посредничестве Поссе вышло первое отдельное издание сочинений Горького в двух томах (1897—1898). Один из основателей книгоиздательства «Знание». Редактировал журналы так называемых «легальных марксистов» «Новое слово» (1897) и «Жизнь» (при участии Горького; 1899—1902). Встречался с Л. Толстым, воспоминания о котором вошли в мемуарную книгу Поссе «Мой жизненный путь». М.—Л., 1929. По этому изданию печатается в настоящем сборнике фрагмент о Достоевском.

[1] С. 439. Публикация романа «Братья Карамазовы» началась в журнале «Русский вестник» за 1879 г. (№ 1) и затем продолжалась в течение этого и следующего годов почти в каждой книжке журнала вплоть до ноябрьской за 1880-й.

[2] С. 439. С Алексеем Храповицким Поссе познакомился через его брата Александра, с которым учился в гимназии, и дал ему такую характеристику: «...Алексей, внешне блестящий, резкий, самолюбивый и тщеславный, еще на гимназической скамье поставил себе целью сделаться всероссийским патриархом и на полях учебника русской истории Иловайского поносил царя Алексея и восхвалял патриарха Никона. <...> Окончив гимназию с золотой медалью, он поступил в духовную академию и уже на втором курсе, двадцатилетним юношей, постригся в монахи <под именем Антония>. По окончании академии быстро пошел в гору и вскоре сделался самым молодым и самым

популярным архиепископом» (Поссе В. А. Мой жизненный путь. М.— Л., 1929, с. 18—19). После Октябрьской революции, настроенный резко враждебно по отношению к новой власти, А. Храповицкий эмигрировал.

[3] С. 439. Об этом вечере, состоявшемся 19 октября 1880 г. по поводу «лицейского дня», см. в воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер, с. 364 наст. тома.

[4] С. 440. Перефразировка известных слов, приписывавшихся Достоевскому.

[5] С. 441. Стихотворение-«былина» А. К. Толстого «Илья-Муромец» (1871).

[6] С. 441. Об отношении Достоевского к Некрасову и Белинскому см. в томе первом с. 564—565 и примеч. 2 и 3 к с. 225. Было бы неверно утверждать, что Достоевский «возненавидел» Белинского. Резкое неприятие ряда идей Белинского и даже его личности после «перемены убеждений», в особенности на рубеже 60—70-х годов, когда писалась статья «Знакомство мое с Белинским» (см. с. 85 наст. тома и примеч. к ней), сменилось у Достоевского к середине 70-х годов более спокойным и объективным отношением, что выразилось, в частности, в восторженном воспоминании о первой встрече с Белинским после прочтения критиком «Бедных людей» (см. в томе первом наст. изд. с. 225—229).

[7] С. 441. Стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья...» было впервые напечатано в четвертой книжке «Отечественных записок» за 1846 г. Далее стихотворение цитируется не совсем точно; у Некрасова: «Грустя напрасно и бесплодно, // Не пригревай змеи в груди...»

Е. П. ЛЕТКОВА-СУЛТАНОВА

О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Из воспоминаний

Екатерина Павловна Леткова, по мужу Султанова (1856—1937), писательница, переводчица, общественная деятельница, участница женского движения (одно время была членом Комитета высших женских курсов вместе с А. П. Философовой).

Во время встречи на одном из литературных чтений в феврале 1879 года она призналась Достоевскому, что «готовится» стать писательницей. И действительно, первая ее повесть «Ржавчина» появилась в 1881 году в журнале «Русская мысль». Впоследствии печаталась в «Русской мысли», «Русском богатстве», «Северном вестнике» и др.

Поддерживала близкие дружеские отношения с Г. И. Успенским (опубликованы ее воспоминания «Про Глеба Ивановича» — Звенья,

т. V. М.—Л., 1935), с народническим критиком и публицистом Н. К. Михайловским. Переписывалась со многими выдающимися писателями и деятелями русской культуры рубежа XIX—XX веков (см. комментарий И. А. Битюговой в изд.: *Достоевский в воспоминаниях,* 2, 379—380).

Двухтомному сборнику Е. П. Летковой «Мертвая зыбь. Повести и рассказы» (СПб., 1900; ценз. разр. 23 августа 1899 г.) посвятил статью Н. К. Михайловский, который, в частности, писал: «Ее повести и рассказы — плод самостоятельного, серьезного наблюдения и размышления, вдумчивого отношения к жизни и к задачам ее художественного воспроизведения. И я мало знаю за последнее время в литературе явлений, которые, при такой скромной, сдержанной форме, были бы столь значительны по содержанию» (Русское богатство, 1899, ноябрь, отдел «Литература и жизнь», с. 165). Здесь же Михайловский, руководствуясь своим представлением о «жестоком таланте» Достоевского, сопоставил «темы» Летковой с «темами» Достоевского. Внимание Летковой поглощено «двойственными, противоречивыми любовно-враждебными чувствами. <...> Это, если хотите, отчасти темы Достоевского», хотя у нее «нет ни силы Достоевского, ни жестокости этой силы, ни мистической веры в стихийную непреоборимость двух противоречивых положений...» (там же, с. 163). Внимание критики привлек позднее сборник рассказов Летковой «Раб» (СПб., 1903), о героях которых говорилось: «Рабы своего положения, привычек, слабостей, люди, чувствующие над собой давление жизненного ярма...» (см.: Русская литература конца XIX — начала XX в. 1901—1907. М., 1971, с. 388).

Воспоминания Е. П. Летковой-Султановой печатаются по изд.: Звенья, т. I. М.—Л., 1932.

[1] С. 443. О «пятницах» Я. П. Полонского см. примеч. 20 к с. 218. По-видимому, ту же «пятницу» описал в «Листках из записной книжки» К. П. Ободовский (Исторический вестник, 1893, № 12, с. 773—777).

[2] С. 444. Высшие женские курсы были созданы в 1872 г. в Москве известным историком либерально-западнического направления, профессором Московского университета В. И. Герье.

[3] С. 445. Петрашевец Н. П. Григорьев был приговорен к расстрелу, замененному пятнадцатилетней каторгой. Сошел с ума еще во время следствия. См. в томе первом наст. изд. примеч. 20 к с. 302.

[4] С. 445. О начале и причинах появления у Достоевского падучей см. в томе первом наст. изд. примеч. 4 к с. 235.

[5] С. 446. Об отношении к «Бесам» демократически настроенной молодежи и народнической критики см. в воспоминаниях В. В. Тимофеевой-Починковской.

[6] С. 446. Вероятно, речь идет о вечере 9 февраля 1879 г. в память

основания С.-Петербургского университета в зале Кононова, в котором принимали участие упоминаемые далее П. И. Вейнберг и Д. В. Григорович (см.: Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.—Л., 1935, с. 276—277).

[7] С. 448. Речь идет о картине В. В. Верещагина «Скобелев под Шипкой» (1877—1878). *Братушки* — наименование, главным образом в славянофильской печати, славянских народов.

[8] С. 448. Отношение к так называемому «восточному» (или «славянскому») вопросу, возбужденное герцеговинским восстанием 1875 г., а также войнами — сербско-черногорско-турецкой 1876 года и русско-турецкой 1878—1879 гг., было в разных слоях русского общества весьма неоднозначным и претерпевало изменения. Достоевский посвятил «восточному» вопросу целый ряд глав в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 гг. Основополагающей для него была идея освобождения и единения славянских (христианских) народов под духовным главенством России перед лицом магометанской Османской империи и католического (и протестантского) Запада. Признавая, что в настоящее время эта идея, может быть, и утопична, Достоевский полагал, что осуществление ее вполне реально в будущем. В этом контексте следует воспринимать и неоднократные заявления Достоевского о Константинополе (Царьграде) как центре восточного христианства (православия) (далее Леткова неточно цитирует июньский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г. — *Достоевский,* XXIII, 44 и след.).

«Восточному» вопросу, русско-турецкой войне, добровольческому движению в помощь славянским народам, в котором кроме тех, кто назван далее, принимали участие писатель В. М. Гаршин, народники А. Г. Ерошенко, Д. А. Гольдштейн и др., посвятили целый ряд публикаций «Отечественные записки», редактировавшиеся М. Е. Салтыковым-Щедриным, Н. А. Некрасовым и Н. К. Михайловским. В этих публикациях была разъяснена позиция народнической крестьянской демократии, полагавшей, что русский мужик нуждается не в меньшем сочувствии и помощи, чем угнетенные славянские народы. Это, разумеется, не значит, писал Г. З. Елисеев, что «мы не должны помогать славянам. Напротив: в настоящую минуту — это наш священный долг» (Внутреннее обозрение. — Отечественные записки, 1876, № 10, с. 198 второй пагинации). Продолжая эту мысль во «Внутреннем обозрении» двенадцатой книжки «Отечественных записок» за 1876 г., Елисеев вместе с тем заявил, что для многих людей, готовых «драться за освобождение Болгарии» и «жертвовать для этого освобождения всем, чем могут», глубоко чужда политика каких бы то ни было «присоединений» к России (Болгарии, Константинополя и т. д.). «И это не потому, чтобы они были дурные патриоты: напротив, они любят Россию, может быть, более — это, впрочем, даже и не может быть, а несомненно гораздо более — всех любителей присоединений» (там же, № 12, с. 265—266 второй пагинации).

«Утопия» Достоевского, содержавшая и формулу: «Константинополь должен быть наш», исключала возможность политики насильственных «присоединений» (см.: Волгин И. Л. Нравственные основы публицистики Достоевского (Восточный вопрос в «Дневнике писателя»). — Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1971, вып. 4).

[9] С. 449. Об отношениях Достоевского и Гончарова см. примеч. 27 к с. 296.

[10] С. 449. О «еврейском вопросе» Достоевский писал в главе второй мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. Здесь, в частности, сказано: «Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации?» (*Достоевский,* XXV, 75). Достоевский отвечал в этой главе на письмо А. Г. Ковнера, так же как ответил ему и в личном письме от 14 февраля 1877 г. (там же, XXIX, кн. II, 138—141).

[11] С. 450. Положению русских добровольцев в Сербии посвятил корреспонденцию «Из Белграда» Г. И. Успенский (Отечественные записки, 1876, № 12; 1877, № 1; подпись «Г—в»). Он, в частности, писал: «...неуспех сербского дела именно произошел от того, что жадных людей в нем участвовало очень много, и их практическая суть умерщвляла всякую идею, разрушала всякие планы людей, надеявшихся действительно делать дело» (№ 1, с. 120 второй пагинации).

[12] С. 450. Имеется в виду статья Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский». «Печной горшок» как символ утилитарности, «полезности» искусства упомянут Пушкиным в стихотворении «Поэт и толпа» (1828).

[13] С. 451. На памятнике были высечены строки из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836) в редакции Жуковского, напечатанной в посмертном издании сочинений Пушкина 1841 г.

[14] С. 452. О ходе Пушкинского праздника см. примеч. 1 к с. 392.

[15] С. 452. Речь В. О. Ключевского — профессора русской истории Московского университета и Высших женских курсов («нашего» Ключевского) — напечатана в изд.: *Венок,* с. 271—278.

[16] С. 452. Под таким названием в посмертном издании 1841 г. было напечатано стихотворение Пушкина «...Вновь я посетил...» (1835).

[17] С. 452. Строки из стихотворения Пушкина «Туча» (1835).

[18] С. 453. Елена Стахова — героиня тургеневского романа «Накануне» (1859).

[19] С. 454. Достоевский был избран действительным членом С.-Петербургского Славянского благотворительного комитета, впоследствии преобразованного в Славянское благотворительное общество, 21 января 1873 г.; 14 апреля 1880 г. утвержден в должности товарища председателя Общества, а в мае был делегирован от него на Пушкинский праздник.

[20] С. 454. Ближайшим образом речь идет о полемике Достоевского

в главе третьей августовского выпуска «Дневника писателя» за 1880 г. с проф. А. Д. Градовским по вопросу о «личной» и «общественной» нравственности (*Достоевский,* XXVI, 149 и сл.). Курсив в цитате из речи Достоевского о Пушкине принадлежит Е. П. Летковой-Султановой.

[21] С. 454. В газете М. Н. Каткова «Московские ведомости» (№ 313 от 9 декабря 1879 г.) в одном (XIII) из серии фельетонов под названием «С берегов Невы» под псевдонимом «Иногородний обыватель» (за ним скрывался «антинигилистический» беллетрист и публицист Б. М. Маркевич) был грубо задет Тургенев, обвиненный в «постыдном зуде популярничанья», в заигрывании с революционной молодежью — «нигилистами». Поводом для заявления Маркевича явилась публикация в газете «Le Temps» в качестве предисловия к очерку эмигранта И. Я. Павловского «En cellule. Impression d'un nihiliste» («В одиночном заключении. Впечатления нигилиста») письма Тургенева к издателю газеты Эбрару (это предисловие в русском переводе было включено в заметку Маркевича). В письме к М. М. Стасюлевичу от 22 декабря/3 января 1879/1880 г. Тургенев назвал эту заметку «подлым доносом» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. 12, кн. 2. Л., 1967, с. 194).

[22] С. 456. Леткова не совсем точно цитирует воспоминания о Г. И. Успенском В. Г. Короленко, впервые напечатанные в журнале «Русское богатство» (1902, № 5).

[23] С. 456. Статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант» (Отечественные записки, 1882, № 9, 10).

[24] С. 456. Речь идет об августовском выпуске «Дневника писателя» за 1880 г.

[25] С. 456. Такого прямого заявления в печатных публикациях и письмах Достоевского нет. Можно предположить, что молодежи, о которой пишет Леткова, стали известны слова, сказанные Достоевским, по воспоминаниям А. Н. Майкова, «в одном блестящем обществе» в 1880 г.: «Нас бы <то есть петрашевцев> осудил русский народ» (Русь, 1881, № 18 от 14 марта; также: *Биография,* с. 57 третьей пагинации). Подобное же устное суждение, относящееся к 1880 г., записал Г. А. Де Воллан (см.: Голос минувшего, 1914, № 4, с. 124). Следует напомнить о глубоко уважительном отношении Достоевского к петрашевцам, высказанном в главе «Одна из современных фальшей» «Дневника писателя» за 1873 г. и в главке «Старина о «петрашевцах» в главе второй январского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (при выраженном здесь же несогласии с ними после «перерождения убеждений»).

[26] С. 457. Прототипом сатирически изображенного писателя-западника в «Бесах» был Тургенев (см. Долинин А. С. Тургенев в «Бесах». — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, с. 119—136).

[27] С. 457. Прототипом сложного и неоднозначного образа «человека сороковых годов» Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах»

явился известный историк Т. Н. Грановский (подробнее см.: *Достоевский,* XII, 169—178 — комментарий Н. Ф. Будановой).

[28] С. 457. Достоевский встречался с Герценом и неоднократно высказывался о его философской и политической позиции (см., например, примеч. 9 к с. 15). Упоминаний К. Д. Кавелина в каких-либо печатных публикациях сочинений Достоевского нет до 1883 г., когда были напечатаны (*Биография,* с. 370—375; ср.: *Достоевский,* XXVII, 52, 55—64) фрагменты из записной книжки писателя 1881 г., в которых он полемизировал с «Письмом к Достоевскому» Кавелина (Вестник Европы, 1880, № 11), предполагая, конечно, отвечать оппоненту в «Дневнике писателя». Упоминание Герцена и Кавелина в одном ряду неправомерно. Достоевскому безусловно была ясна разница между революционером и социалистом Герценом, как бы он к нему ни относился, и либеральным профессором Кавелиным.

[29] С. 460. Из переписки Достоевского с Любовью Валерьяновной Головиной сохранилось в машинописной копии (в настоящее время находится в Рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде) ее письмо к Достоевскому от 23 июля/ 4 августа 1876 г. из Эмса. По этой копии опубликовано И. А. Битюговой (см.: Русская литература, 1961, № 4, с. 143—147, ср.: *Достоевский,* XXIX, кн. II, 109—111).

А. А. ТОЛСТАЯ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Александра Андреевна Толстая (1817—1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого, фрейлина и камер-фрейлина императорского двора с 1846 года.

Дружеские отношения между А. А. Толстой и Л. Н. Толстым возникли в 1857 году, когда они встретились в Швейцарии во время заграничного путешествия писателя и пребывания там его тетки в качестве воспитательницы великой княжны Марии Николаевны (дочери Николая I). Подробнее о их взаимоотношениях см. в предисловии В. Срезневского в изд.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903. СПб., 1911.

Встреча их в Петербурге в марте 1878 года особенно запомнилась А. А. Толстой по той причине, что именно в это время впервые Л. Н. Толстым были высказаны его новые религиозные воззрения, вскоре сформулированные в «Исповеди». По этому поводу А. А. Толстая записала в дневнике 8—9 марта 1878 года: «Каждое утро Лев приходит ко мне, и главный предмет наших разговоров — религия. После многих лет искания истины он наконец у пристани. Эта пристань, конечно, построена им по-своему <...> У Льва в зачатии теперь новое сочинение, и я уверена, что в нем теперь отразится эта исповедь его

веры или, вернее, исповедь его новой веры» (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 83. М., 1938, с. 249).

Однако с полной определенностью их непримиримые разногласия выявились в январе 1880 года, что сказалось в переписке этого года и последовавшем затем охлаждении в их отношениях. Суть расхождений, которые, в конечном итоге, имели не только религиозный характер, Толстой высказал в письме к А. А. Толстой от января 1880 года: «Я знаю, что требую от Вас почти невозможного — признания того прямого смысла учения, который отрицает всю ту среду, в которой Вы прожили жизнь и положили все свое сердце...» (там же, т. 63. М.—Л., 1934, с. 4). А. А. Толстая ответила в письмах от 23 и 29 января 1880 года, причем последнее письмо она назвала своим profession de foi (см.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, с. 323—326).

Хорошо знавший А. А. Толстую Ив. Захарьин (Якунин) передал ее рассказ о впечатлении, которое произвел на нее Достоевский во время встречи в январе 1881 года: «Я конечно, еще не видя его, находилась уже под обаянием его огромного, выходящего из ряду вон, таланта, так как прочитывала буквально все, что он писал. Весь его «Дневник писателя», тщательно собранный и переплетенный, испещрен моими заметками, сделанными на полях. Но тем не менее впечатление, которое он произвел на меня своею личностью и беседою (он пробыл у меня целый вечер), было необыкновенное. Мало того, что он казался мне человеком евангельским, не от мира сего, но самая речь его, порывистая и огнеустая, производила потрясающее впечатление. Могла ли подумать я тогда, что за его плечами стоял уже тихий ангел смерти!..» (Захарьин (Якунин) Ив. Гр. А. А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания. — Вестник Европы, 1905, № 4, с. 631—632).

А. А. Толстая свидетельствует, что многие письма к ней Толстого от 1880 года она уничтожила, а *другие* отдала Достоевскому во время упомянутой встречи. Однако 17 января 1881 года она писала Толстому, что передала Достоевскому *одно* письмо: «Я эту зиму очень сошлась с Достоевским, которого давно любила заочно. Он с своей стороны любит Вас, много расспрашивал меня, много слышал об Вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует. Я вспомнила Ваше прошлогоднее письмо и дала ему это письмо» («Переписка...», с. 332).

О получении Достоевским письма Толстого и дальнейшей его судьбе вспоминала А. Г. Достоевская: «Однажды гр. А. А. Толстая <с которой Федор Михайлович встречался у вдовы поэта А. К. Толстого — С. А. Толстой> сообщила моему мужу о только что <?> полученном ею письме от графа Льва Николаевича, в котором граф высказывает несколько оригинальных мыслей по. поводу возбужденного графинею религиозного вопроса. Федор Михайлович, уже знавший от Н. Н. Стра-

хова о религиозных переживаниях Толстого, очень заинтересовался этим письмом. Графиня А. А. обещала прочесть это письмо Федору Михайловичу и пригласила посетить ее. Мой муж поехал, провел у графини вечер и привез с собою копию письма гр. Л. Н. Толстого, которую графиня, ввиду неразборчивости почерка великого писателя, переписала для мужа моего собственноручно. Но случилось так, что, передавая копию письма, графиня вложила в него и подлинник». 25 января 1881 года, по сообщению А. Г. Достоевской, Федор Михайлович передал письмо Толстого и его копию Страхову, возвратившему их Анне Григорьевне в 1883 году в запечатанном пакете, который был вскрыт лишь в 1892 году (см.: Коган Г. Ф. Достоевский знакомится с письмом Толстого. — Яснополянский сборник. 1980. Тула, 1981, с. 220). Предполагается, что речь идет о письме Толстого к А. А. Толстой от 2—3? февраля 1880 года (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 63. М.—Л., 1934, с. 6—9).

О переживаниях Толстого, вызванных смертью Достоевского, см. в томе первом примеч. к воспоминаниям Н. Н. Страхова.

Фрагмент из воспоминаний А. А. Толстой печатается по изд.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903. СПб., 1911.

А. С. СУВОРИН

О ПОКОЙНОМ

Об Алексее Сергеевиче Суворине см. с. 555—556 наст. тома. Печатается по газете «Новое время», 1881, № 1771 от 1/13 февраля. Подпись: «Незнакомец».

[1] С. 465. Речь идет о некрологической заметке «Кончина Ф. М. Достоевского» (Новое время, 1881, № 1768 от 29 января/10 февраля).

[2] С. 465. Вероятно, Суворин подразумевает версию об убийстве отца Достоевского крепостными крестьянами. См. в томе первом наст. изд. примеч. 55 к с. 116 и 57 к с. 117; см. там же примеч. 4 к с. 235.

[3] С. 467. В драме В. Гюго «Анджело, тиран Падуанский» великая русская трагическая актриса П. А. Стрепетова играла роль Тисбе.

[4] С. 468. По-видимому, речь идет о романе А. П. Степанова «Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым» (1835).

[5] С. 468. Статья «Мильон терзаний» о «Горе от ума» Грибоедова вошла в сборник Гончарова «Четыре очерка» (СПб., 1881).

[6] С. 469. О Чацком Достоевский писал неоднократно, например еще в 1863 г. в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (*Достоевский,* V, 61—62), а также в главе четвертой июльско-августовского

выпуска «Дневника писателя» за 1876 г., где он назван «необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса» (*Достоевский,* XXIII, 92) и др.

[7] С. 469. О каком «эпизоде» идет речь, неизвестно. Однако неверно, будто Достоевский никогда не обращался к драматическому роду. Недошедшие до нас драматические произведения он писал в юности (см. том первый наст. изд., с. 185 и примеч. 6 к с. 225), задумывал, но не осуществил и ряд других (см.: Родина Т. М. Достоевский. Повествование и драма. М., 1984).

[8] С. 469. Темам, затронутым в этой беседе с Сувориным, Достоевский посвятил последний выпуск «Дневника писателя», вышедший через несколько дней после его смерти, 1 февраля (*Достоевский,* XXVII).

[9] С. 470. Строка из стихотворения неизвестного автора под названием «Господчина», текст которого сохранился в бумагах Достоевского (*Достоевский,* XXVII, 305).

[10] С. 471. По осторожному предположению И. Л. Волгина, речь здесь может идти о Г. З. Елисееве и его жене, которых Достоевский встречал летом 1876 г. в Эмсе (см.: Волгин Игорь. Последний год Достоевского. М., 1986, с. 89—90).

[11] С. 472. Двадцатипятилетие царствования Александра II приходилось на 19 февраля 1880 г.

[12] С. 472. См. примеч. 1 к с. 390.

[13] С. 472. О предложении М. Т. Лорис-Меликова А. Г. Достоевской принять сумму на похороны писателя и устроить судьбу его детей она поведала в воспоминаниях (*Достоевская,* с. 381—382). Вскоре, 31 января, ей и детям была назначена ежегодная пенсия в 2000 руб.

[14] С. 473. Г. А. Де Воллан говорит о впечатлении, которое вынес из сочинений Достоевского и общения с ним: «Он фурьерист», — сказал про него Суворин. И совершенно правильно. <...> Люди, которые начитаются Достоевского, начнут требовать коренного исправления социального строя и не удовольствуются буржуазным парламентаризмом. Они поставят вопрос ребром, чтобы не было бедности. И это почти не невозможность — учение Достоевского так же революционно, как и учение Христа, несмотря на то, что в нем воздается Кесарю — кесарево» (Де Воллан Г. А. Очерки прошлого. — Голос минувшего, 1914, № 4, с. 124—125). Заслуживает внимания в этом смысле и запись в дневнике С. И. Смирновой (Сазоновой) от 29 февраля 1880 г.: «За ужином говорил Суворину про себя, что он русский социалист и что напрасно это просмотрели в 1-й части «Братьев Карамазовых», где он это высказывал, объясняя, в чем состоит русский социализм — в делении государства на церковь» (см.: *Материалы и исследования,* 4, 276). См. примеч. 2 к с. 391 и далее с. 479.

И. И. ПОПОВ

ИЗ КНИГИ «МИНУВШЕЕ И ПЕРЕЖИТОЕ»

Иван Иванович Попов (1862—1942), революционер-народоволец, публицист. По окончании в 1882 году Петербургского учительского института вступил в тайное общество «Народная воля», был членом ЦК Молодой партии «Народной воли». В 1885 году арестован и сослан в г. Кяхту в Забайкалье. Находясь в Сибири, редактировал газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник».

С 1906 года жил в Москве, принимал участие в ее литературной, культурной, общественной жизни. Как член Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, уже после Октябрьской революции, много сделал для разысканий в области истории народнического движения, автор книг о революционерах-народниках С. Ф. Ковалике, Г. А. Лопатине.

Выпустил двумя изданиями воспоминания «Минувшее и пережитое» (Л., 1924; М.—Л., 1933). Фрагмент из этих воспоминаний печатается по изд. 1933 года.

[1] С. 474. Попов имеет в виду многочисленные высказывания о русском народе в «Дневнике писателя», например в главе первой февральского выпуска за 1876 г., где, в частности, есть и такие строки, которые, несомненно, не могли не привлекать народническую молодежь: «Юношество наше ищет подвигов и жертв» (*Достоевский,* XXII, 41).

[2] С. 474. См. об этом также в воспоминаниях Е. П. Летковой-Султановой.

[3] С. 478. Вл. Соловьев привел отрывок из этой своей речи над могилой Достоевского в предисловии к брошюре «Три речи в память Достоевского» (1883): «А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все *род Божий,* верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечной силой любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту победу. Изведав *божественную* силу в душе, пробивающуюся через всякую человеческую немощь, Достоевский пришел к познанию Бога и Богочеловека. *Действительность* Бога и Христа открылась ему во *внутренней* силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он жаждал и к которому стремился всю свою жизнь» (Соловьев Вл. С. Соч. в 2-х томах, т. 2. М., 1988, с. 290—291).

[4] С. 478. 1 марта 1881 г. бомбой, брошенной народовольцем И. И. Гриневицким, был убит Александр II.

И. Ф. ТЮМЕНЕВ

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Илья Федорович Тюменев (1855—1927), литератор, композитор и либреттист; автор неопубликованного дневника в десяти томах («Моя автобиография»), хранящегося в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. С 1880 по 1883 год учился в Академии художеств в Петербурге. Подробнее см. о нем в предисловии Н. Н. Фоняковой к публикации «И. Ф. Тюменев. Из дневника» (*ЛН,* 86). По этой публикации в наст. сборнике печатаются фрагменты из дневника И. Ф. Тюменева.

[1] С. 479. А. Г. Достоевская пишет в «Воспоминаниях»: «В восемь часов тридцать восемь минут вечера Федор Михайлович отошел в вечность» (*Достоевская,* с. 378). Б. Маркевич в заметке «Несколько слов о кончине Ф. М. Достоевского» отметил момент смерти — 8 ч. 36 мин. (Московские ведомости, 1881, № 32 от 1 февраля).

[2] С. 480. Об этом сообщалось в заметке «Кончина Ф. М. Достоевского» (Новое время, 1881, № 1768 от 29 января).

[3] С. 480. В улицу Достоевского переименована Ямская ул., а не Кузнечный переулок.

[4] С. 480. В газете «Голос» (1881, № 30 от 30 января) было помещено сообщение о выносе тела Достоевского в церковь Владимирской Божьей матери (недалеко от квартиры Достоевского в Кузнечном переулке) 31 января. Похороны состоялись не на кладбище Ново-Девичьего монастыря, как сначала предполагалось, а в Александро-Невской лавре, где в церкви св. Духа и произошло отпевание (см.: *Достоевская,* с. 383—384).

[5] С. 480. Федор Федорович Светлов, близкий знакомый Тюменева, учился в Академии художеств.

[6] С. 481. *Передвижные выставки* — Товарищество передвижных художественных выставок, образовавшееся в 1870 г. как объединение художников-реалистов, не удовлетворенных традиционным академизмом. Среди его членов были И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, Н. Н. Ге и др. Особенно важную идейно-вдохновляющую роль в объединении играли И. Н. Крамской и В. В. Стасов.

[7] С. 481. Траурная листовка с факсимиле подписи Достоевского (см. примеч. 32 к с. 250).

[8] С. 481. *Михаил Андреевич* Берман — учитель пения, руководил певческим хором при Городской думе (*ЛН,* 86, 346).

[9] С. 482. В «Мою автобиографию» Тюменева вклеена названная траурная листовка (там же).

[10] С. 483. Андрей Николаевич Бекетов (о «бекетовском кружке» см. в томе первом наст. изд. примеч. 34 к с. 213).

[11] С. 484. Наместником Александро-Невской лавры был архимандрит Симеон, действительно знавший Достоевского лично. С ним писатель советовался во время работы над «Братьями Карамазовыми» по поводу церемонии монашеского погребения.

[12] С. 484. От наименования петербургской фотографической фирмы.

[13] С. 484. Речь идет о близких друзьях Тюменева — Константине Николаевиче и Анне Федоровне Соловьевых (*ЛН,* 86, 346).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* В указатель не введены имена, встречающиеся *только* в научном аппарате издания. Цифры, обозначающие страницы предисловия и примечаний, набраны курсивом.

СОДЕРЖАНИЕ

Д70 **Достоевский Ф. М.** в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2. / Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Сост. и коммент. К. Тюнькина; Подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. — М.: Худож. лит., 1990. — 623 с. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-01025-1 (Т.2)

Во второй том сборника «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» включены воспоминания, в основном рассказывающие о второй половине жизни Достоевского (шестидесятые—семидесятые годы), времени создания «Преступления и наказания», «Дневника писателя», «Братьев Карамазовых» («Дневник» А. Г. Достоевской, воспоминания В. В. Тимофеевой-Починковской, М. А. Александрова, Вс. С. Соловьева и др.).

4702010101—253
028(01)-90 **ББК 84Р1**

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

Том второй

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технические редакторы *В. Нечипоренко, В. Кулагина*

Корректоры *Н. Яковлева, Л. Волкова*

ИБ № 5728

Сдано в набор 04.12.89. Подписано в печать 04.06.90. Формат $84x108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76 + вкл. + альб. = 33,65. Усл. кр.-отт. 34,96. Уч.-изд. л. 36,21 + вкл. + альб. = 36,87. Тираж 100000 экз. Изд. № II-3249. Заказ № 3467. Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28



Н. Г. Чернышевский. Фотография. 1859



Сенная площадь в Петербурге. Литография. 1850-е гг.



А. Г. Достоевская. Фотография. 1860-е гг.



Н. П. Огарев. Фотография. 1857

Петербург. Дом, в котором Ф. М. Достоевский жил с августа 1864 по январь 1867 г. (бывший дом И. М. Алонкина на углу Малой Мещанской и Столярного переулка)



Рафаэль.
Сикстинская
мадонна



Дрезденская
картинная
галерея

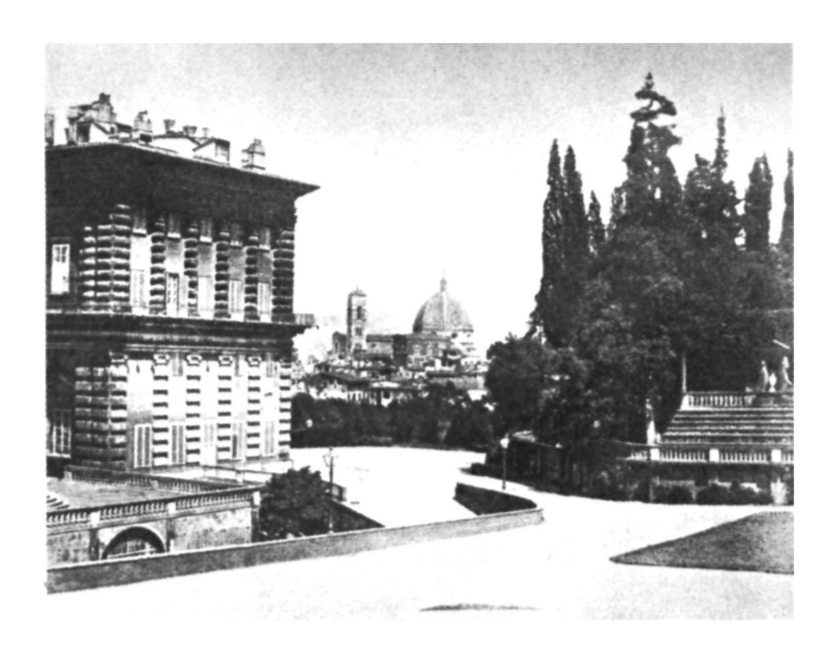




Люба Достоевская, дочь писателя. Фотография. 1876



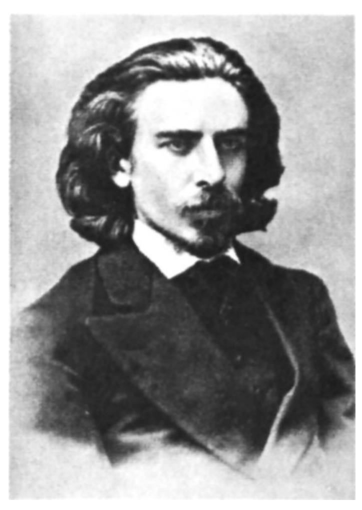
Федя Достоевский, сын писателя. Фотография. 1873



Флоренция. Сад Боболи. Надпись под открыткой сделана А. Г. Достоевской



Вс. С. Соловьев.
Фотография. 1880-е гг.



Вл. Соловьев



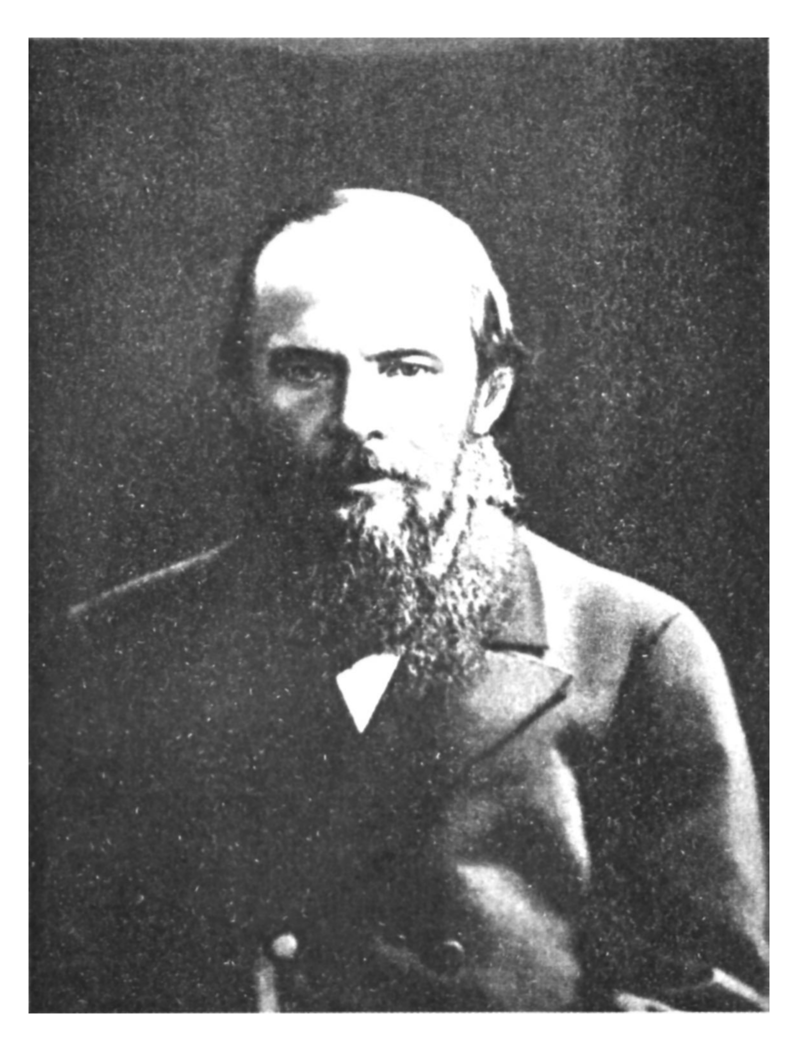
Миланский собор. Надпись пол открыткой сделана
А. Г. Достоевской



А. Г. Достоевская.
Фотография. 1878

Старая Русса.
Фотография



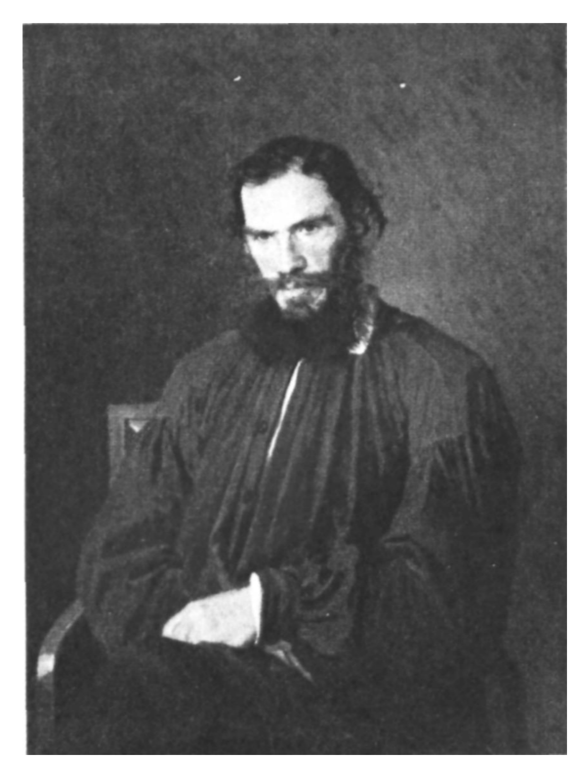


Ф. М. Достоевский. Фотография. 1876



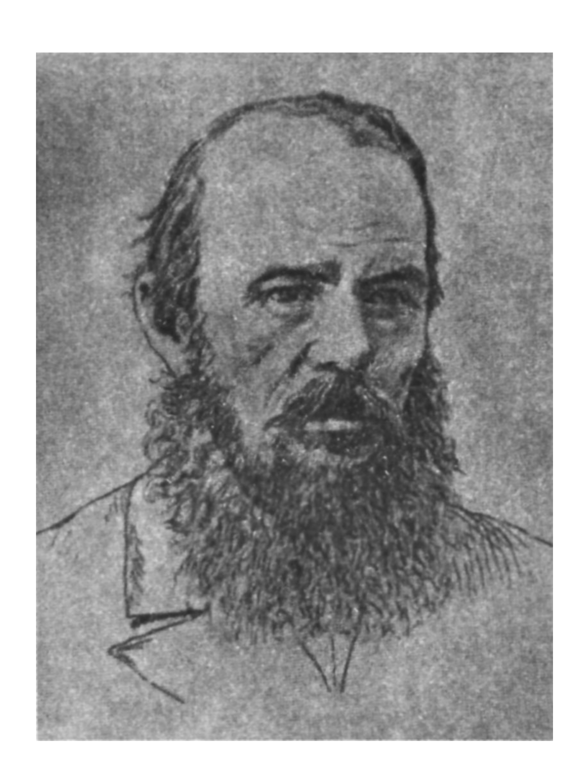
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Художник И. Крамской.
1879

Л. Н. Толстой.
Художник И. Крамской. 1877





Н. А. Некрасов в период «Последних песен». Художник И. Крамской. 1877



Ф. М. Достоевский.
Рис. Л. Е. Дмитриева-Кавказского.
1880

«Братья Карамазовы».
Первая публикация (глава «Великий инквизитор»). «Русский вестник», 1879, № 5



БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

КНИГА ПЯТАЯ

PRO и CONTRA

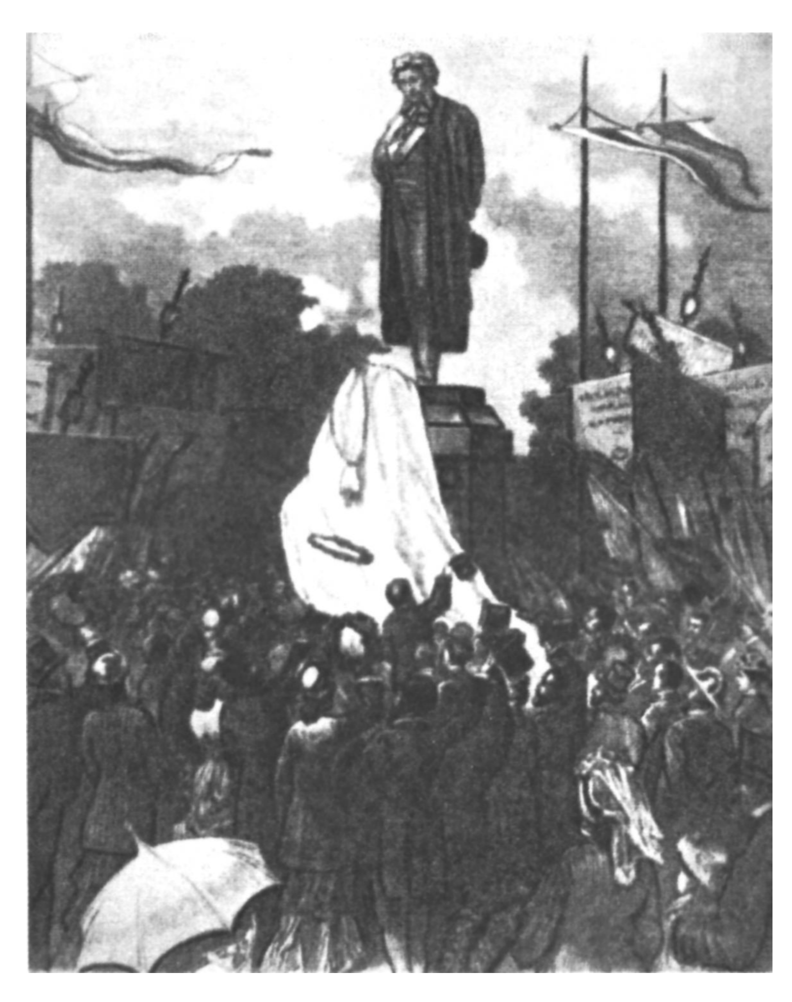
V.

Великій инквизиторъ.

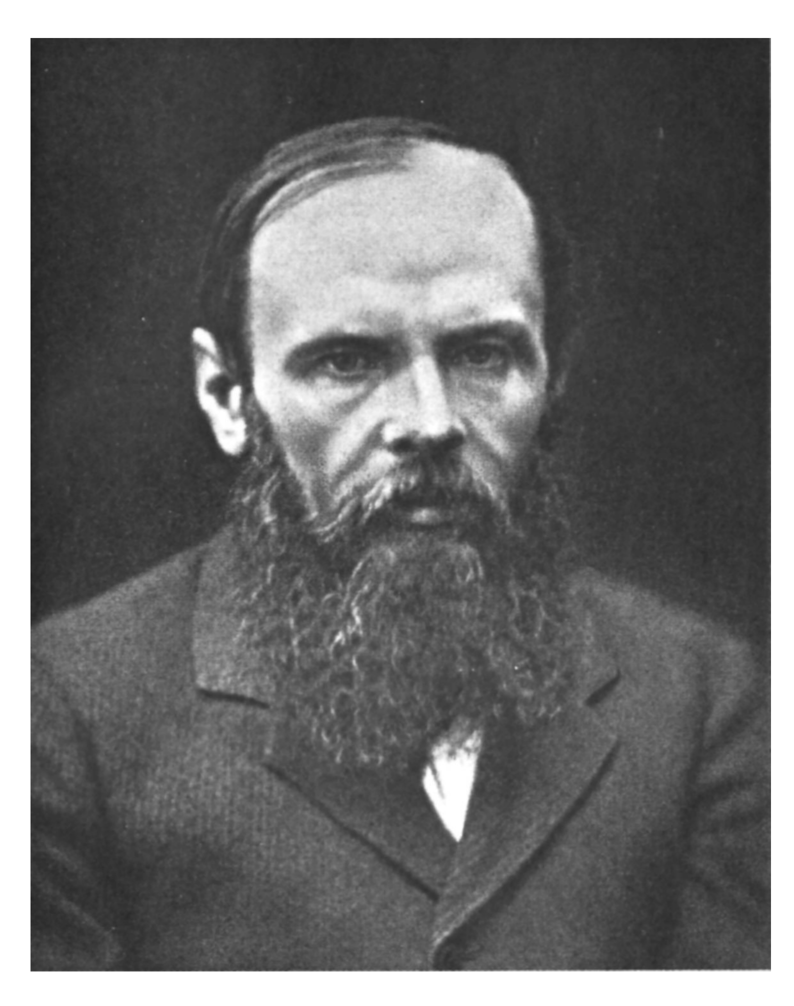
[illegible]



Х. Д. Алчевская



Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. Гравюра на дереве с наброска худ. Н. Чехова. 1880



Ф. М. Достоевский. Фотография М. Панова. 1880



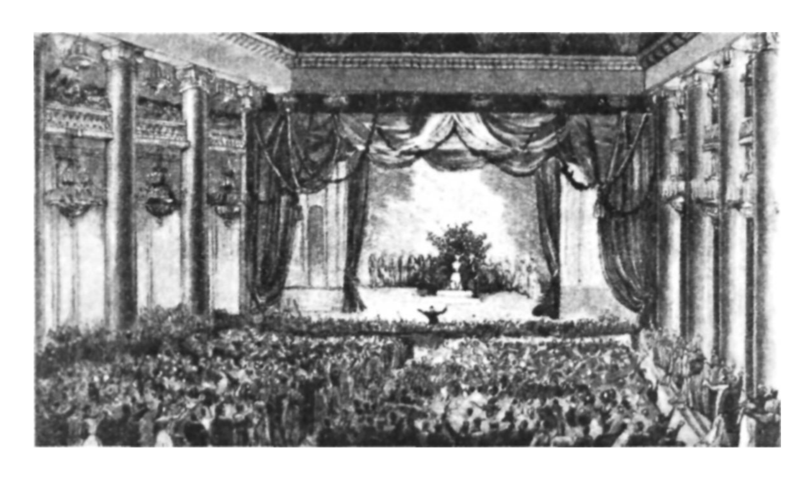
Г. И. Успенский. Фотография



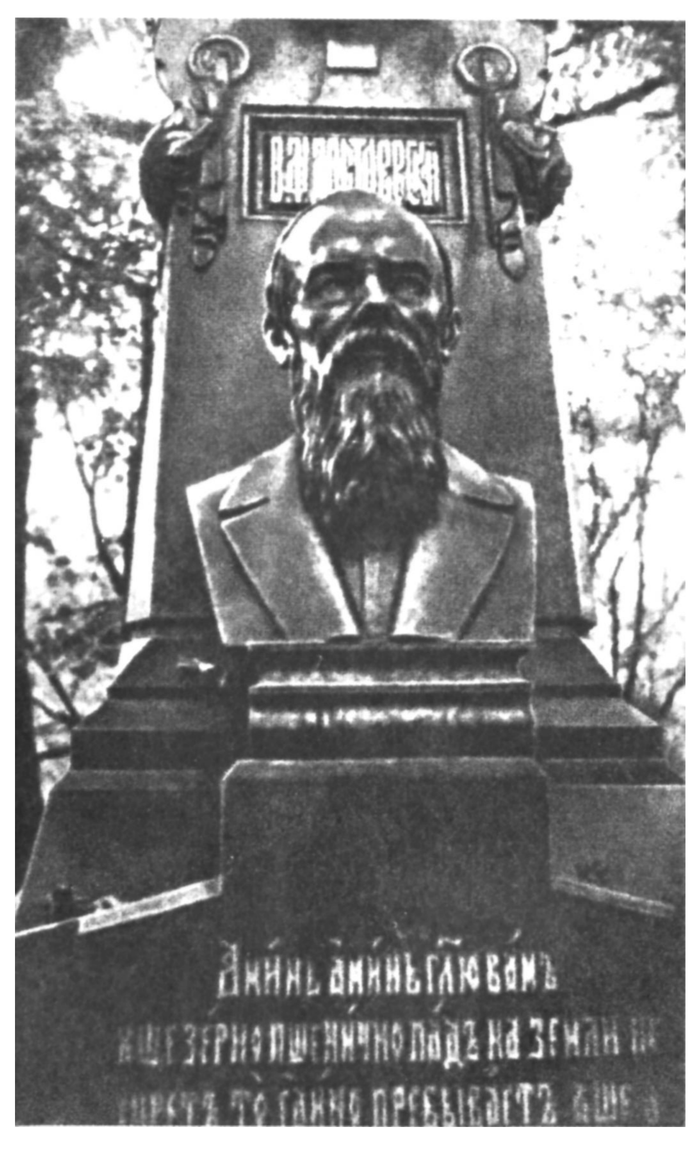
Письменный стол Ф. М. Достоевского в его последней квартире. Фотография. 1884



Петербург. Кузнечный пер., 5. Последняя квартира Ф. М. Достоевского



Вечер, посвященный А. С. Пушкину, в Московском благородном собрании. 1880



Бюст на могиле Ф. М. Достоевского. Скульптор Н. Лаверецкий. 1883